



Борис Полевой

5

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ
ПЯТЫЙ

•

НА ДИКОМ БРЕГЕ

•

НАШ ЛЕНИН

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

Р2
П49

Комментарии
Н. ЖЕЛЕЗНОВОЙ

Оформление художника
А. РЕМЕННИКА

Полевой Б. П.

П49 Собрание сочинений: В 9-ти т.— М.:
Худож. лит., 1982.
Т. 5. На диком бреге; Наш Ленин.
Коммент. Н. Железновой. 1983. 624 с.

В том вошел роман «На диком бреге»— о жизни и труде людей, съехавшихся из разных уголков страны на строительство мощной ГЭС. Кроме этого, в томе представлена биографическая повесть «Наш Ленин», созданная на основе воспоминаний родных и соратников В. И. Ленина.

Р2

НА ДИКОМ БРЕГЕ

РОМАН

— Ваше любимое изречение?

Карл Маркс: *«Ничто человеческое мне не чуждо».*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Пассажирский пароход «Ермак» — большое, нетороплившее судно, ходившее по реке Онь еще в дореволюционные времена,— отвалил от одной из пристаней города Старосибирска накануне под вечер. Позади была ночь пути. И сейчас многочисленное и в большинстве своем шумное население всех трех его палуб еще не насытилось новизной путешествия. С севера дул порывистый, холодный ветерок, доносивший с пойменного берега запахи подсыхающей травы, но никто не уходил в каюты. Лишь порою, движимые любопытством, пассажиры перемещались от одного борта к другому, не обращая внимания на призывы помощника капитана «рассредоточиться равномерно», не создавать опасный крен.

— Ну прямо овцы!.. Куда одна, туда и все. Никаких резонов не слушают! — жаловался он, забежав в капитанскую каюту.— Давненько таких бестолковых рейсов не было.

Капитан Алексей Раков — пожилой, грузный человек с массивным, слегка побитым крупными оспинами лицом,— сменившись с вахты, сидел за столом без кителя, в нательной рубахе, и пил чай, цедя кипяток из электрического самоварчика.

— Молодежь... Любопытные, это хорошо... А Онь — река! Где такую увидишь! — И, дуя в блюдце, продолжал, не глядя на помощника: — Им тут жить. Однако следите, верно б судно не опрокинули... Овцы!

И в самом деле, пейзажи, что с каждым поворотом реки открывались и по левому, гористому, и по правому, пойменному, берегам, поражали людей, откуда бы они ни приехали в эти просторные и еще малообжитые края, своей необычностью, девственной яркостью красок, величавостью природы.

Могучая Онь то разливалась широким, тихим зеркалом, отражавшим в опрокинутом виде и зелень полей, и пестроту тронутых осенью прибрежных лесов, и мягкую голубизну небес, то делилась на протоки, проползавшие меж курчавых пологих островов, то, вновь слившись в единое русло, убыстряла бег своих вод, подергивалась рябью, становилась нервной, беспокойной, а потом, вырвавшись на простор, раздвигала берега и, удовлетворенная, опять поражала четкостью отражений и теплотой красок.

Да и берега ее были необычны, непривычны глазу новичка. Грудью надвигалась на реку могучая тайга — лиственные леса, пронзенные сизыми копьями елей. Нависали над водой бурые слоистые базальтовые скалы, возле которых, как комары в погожий день, стаями толклись стрижи. А потом вдруг за каким-то незаметным поворотом все мгновенно менялось и открывались зеленые, сочные луга.

И жизнь реки была необычна: берега пустынны. Лишь изредка — слева, на крутоярье, или справа, за простором заливной поймы,— виднелись или угадывались большие села, обнаруживающие себя многочисленными причалами для лодок и катеров да путаницей троп и дорог, сбегавших к берегу. Но вот, вслед за пустоплесьем, среди первозданной, казалось бы, природы, как-то сразу возник молодой город. У его пристани «Ермак» задержался больше чем на час. Город этот не значился на карте. На спасательных кругах, висевших вдоль поручней дебаркадера, так и написано было «Пристань». Но пока краны выбирали из пароходного трюма какие-то тюки, ящики, кое-кто из молодых пассажиров, несмотря на ночное время, все-таки успел выбежать на берег. Они вернулись пораженные:

— Ребята, троллейбус, ртутные лампы!.. Это же московский Юго-Запад, честное пионерское!.. Как его сюда занесло?

Но обильные огни безымянного города скрылись за поворотом, и вновь с обоих берегов надвинулась темь пустоплесья, лишь изредка пронзенная огоньком бакена да чуть разжиженная голубоватым мерцанием спелых осенних звезд. Пассажиры стали было расходиться. Но вдруг кто-то закричал: «Глядите, глядите!» За кормою, на горизонте, возникла цепочка быстро приближавшихся огней. Разнесся резкий, требовательный гудок, на кото-

рый старый «Ермак» отозвался сиплым, надсадным ревом. Огни надвигались, забирали в сторону, и, обгоняя ветерана оньских вод, справа проплыло самолетоподобное судно, ослепив всех, кто находился на палубе, голубоватым светом, обдало лицо прохладной водяной пылью и скрылось за поворотом, резко и требовательно сигналя кому-то впереди.

На Москве-реке, на Неве или на Днепре появление крылатого корабля прошло бы, вероятно, незамеченным. Но тут, на Они, где днем неторопливый «Ермак» то и дело осторожно обходил долбленные из целого ствола рыбачьи челны, дощатые шитики, густо смоленные, бокастые баркасы,— появление этого судна так всех поразило, что, несмотря на поздний час, множество пассажиров снова высыпало на палубу. И помощник капитана сорванным голосом, в котором уже звучала безнадежность, умолял:

— Граждане, прошу рассредоточиться!

А чей-то молодой, насмешливый тенор таким же усталым тоном продолжал:

— Будьте сознательны, граждане пассажиры. Не мешайте движению нашего архивного корыта...

И уже девичий голосок подхватывал эстафету:

— ...не толпитесь, как овцы, пройдите в салоны, там к вашим услугам радиола, шашки, шахматы, домино.

— Суднó! Разве это суднó? Это — сýдно.

— А скажите, товарищ начальник, это правда, что на нем Григорий Шелехов ходил при Екатерине Второй в Америку?..

Впрочем, и салоны не пустовали. В этом рейсе пали все классовые преграды. В зале 1-го класса полированные, в бронзовых инкрустациях массивные зеркала, которые отражали когда-то дикие гулянки сибирских купцов-золотопромышленников, видели теперь, как, сбросив кепку и ватник, то небрежно, неторопливо прохаживаясь возле маленькой девушки во фланелевом оранжевом лыжном костюме и в очках на коротком носике, то неистово дробя резиновыми сапогами, то пускаясь вприсядку, кружился плечистый парень. Баянист, сидевший на красном бархатном диване, самозабвенно щурясь, растягивал мехи, а толпа парней и девушек, наполнявших салон, отсчитывала такт ударами ладоней...

Так, хлопотливо шлепая плицами колес, и двигался вторые сутки вниз по течению старый пароход «Ермак», до предела перенаселенный в этом необычном рейсе. И пассажиры его, захваченные красотами удивительного края, раздумьями о своей судьбе, о незнакомой для большинства работе, которая ждала их где-то там, в тайге, на строительстве, о котором они знали лишь то, что оно грандиозно, увлеченные новыми знакомствами, беседами, все просмотрели, как на «Ермаке» появился высокий, плечистый человек примечательной внешности и неопределенного возраста.

Он был обут в странные, сшитые из кожи в виде чулка сапоги. Ремень с патронташем перехватывал видавший виды ватный бушлат. На голове была военная фуражка с облупившимся козырьком и темным околышем. Пряди русых, тронутых сединой волос выбивались на загорелый лоб. Значительную часть лица скрывала густая русая растительность. Усы сливались с бородой, и борода, которой, как казалось, никогда не касались ножницы, густая, волнистая, спадала на грудь. За спиной на полотенце висела корзина, полная грибов. В руке он держал футляр со сложенным охотничьим ружьем.

«Ермак» обходил черную базальтовую скалу. Слоистый откос ее нависал над водой. Он был сплошь источен гнездами. Тучи стрижей с беспокойным писком вились над пароходом. Мало кому доводилось видеть столько пронзительно гомонящих в воздухе птиц. Все толпились у поручней левого борта, а бородач тем временем расположился на правом. Он уселся на палубе с подветренной стороны, привалился спиной к стене, достал охотничий нож и, постелив на полу газету, начал чистить грибы. За этим занятием его и заметили, когда утес с птицами остался позади.

— Ух, грибы-то какие!

— Это вы один столько насобирали? Силён!

— Везучий дядька, грибок к грибку, будто по мерке... С таким счастьем только в карты играть.

— Товарищ, а здесь медведи водятся?.. А волки?

— А мамонты, а бронтозавры?

Маленькие, крепкие, с пузатыми ножками и замшевыми шляпками грибы один за другим ровным рядком ложились на газету. Бородач с какой-то отрешенной от всего окружающего старательностью делал свое дело, словно не видя молодых, задорных лиц, не слыша насмеш-

ливых вопросов. Он даже не поднял взгляда. И все-таки замечено было, что светлые, будто выгоревший голубой ситец, глаза его окружены красными, набрякшими веками и как-то неестественно напряжены, что большие загорелые и, должно быть, сильные руки дрожат.

— Наверное, он глухой,— предположила девушка в оранжевом костюме, в очках с толстыми стеклами, та самая, вокруг которой недавно носился в бешеном танце чубатый. И попыталась отвлечь толпу от бородача.

— Дети мои, разгадка проста,— громким шепотом, адресованным сразу всем, произнес невысокий красивый молодой человек с полным, по-девичьи румяным лицом, о котором на пароходе уже знали, что он инженер по фамилии Пшеничный, певун и весельчак, сумевший уже со всеми перезнакомиться. Общительный Пшеничный даже успел рассказать, что он ученик знаменитого гидротехника Петина, что вместе они покинули Москву и едут в Дивноярское, в тайгу на работу.— Разгадка проста, как улыбка младенца,— продолжал он.— Таинственный незнакомец вульгарно пьян.— Пшеничный шумно втянул воздух мягким, задорно вздернутым носом.— Разве вам при таком благоухании не хочется вынуть из кармана соленый огурчик и закусить?..

Никто не засмеялся. Наступило неловкое молчание. Но бородач и в самом деле, видимо, был глух. Его руки продолжали так же бережно брать гриб за грибом и, аккуратно обрезав ножку, укладывать на газету. Постепенно к нему пригляделись, перестали обращать на него внимание. И только бледная молодая женщина с копною непокрытых темно-каштановых волос, выделявшаяся среди пассажиров ярко-красным свитером и узкими брючками, кутаясь в клетчатый плед, продолжала следить за бородачом, стоя у поручней верхней палубы.

От Пшеничного пассажирам было известно, что эта женщина, занимавшая вместе с мужем единственную каюту «люкс»,— жена Петина, что вместе с мужем она оставила столичную квартиру, удобства и приготовилась сменить их на тяготы палаточного существования. Впрочем, об этом знали не только на теплоходе. На пристани Петиных провожало много людей. Полный, грузный человек с наголо выбритой круглой головой и задорной мальчишеской усмешливостью в узеньких, заплывших глазках, посматривая на жену Петина, полушутя-полусерьезно наказывал вытянувшемуся перед ним капитану Ракову:

— Смотри, Алексей Иннокентьич, чтобы Дину Васильевну доставить в Дивноярское в лучшем виде. Не посрами славы оньских речников.

Дина, тоже почти не покидавшая палубы, очень заинтересовалась новым пассажиром. Она сходила в каюту, оторвала мужа от бумаг, которые он, чтобы не терять попусту времени, изучал в дороге, вытащила его на свежий воздух:

— Наконец-то настоящий сибиряк!.. Ты посмотри, посмотри! Прямо сам Ермак Тимофеевич.

Говорила она тихо, не рассчитывая, что ветер отнесет ее слова к незнакомцу. А тот вдруг поднял голову, посмотрел в их сторону. На мгновение ситцевые глаза его оценивающе остановились на женщине, потом взгляд перешел на мужа, и тут Дина могла поклясться, она отчетливо увидела, как бородач вздрогнул и будто отпрянул. Ей показалось даже, что в глазах его она увидела не то удивление, не то испуг, не то ненависть, а может быть, и все вместе. В следующее мгновение он опустил глаза и снова принялся возиться с грибами. Но немного спустя, будто бы проверяя себя, он снова взглянул на Вячеслава Ананьевича Петина, и женщине стало жутко: такая тяжелая, густая неприязнь померещилась в его глазах.

Дина прижалась к мужу.

— Ты его знаешь?

— В первый раз вижу. Я здесь вообще никого не знаю, кроме первого секретаря обкома, который нас провожал.

— Но этот человек тебя знает... Милый, поверь, знает, он как-то так странно глядел на тебя...

— Американским корреспондентам при слове «Сибирь» мерещатся колючая проволока, сторожевые будки, собаки-ищейки, а тебе, должно быть,— бродяги и каторжники, бежавшие с Сахалина... в царские времена... Нет, милая, все проще. Это,— худой, смуглой рукой Петин обвел просторы, отороченные по горизонту синим забором тайги,— это гигантский, сказочно богатый и очень пустынный край, край, ждущий смелых, трудолюбивых людей, чтобы они его разбудили. Прежняя романтика осталась разве что в книгах да в песнях...

— И все-таки он тебя знает.

— Не исключено.— Вячеслав Ананьевич пожал плечами.— Под моим началом в разное время работало столь-

ко людей... Ну, я пойду. К моменту прибытия надо войти в курс дивноярских дел.

Он ушел, и когда через некоторое время вернулся, неся пальто жены, то заметил, что Дина хотя и перешла на другой конец палубы, но и отсюда незаметно наблюдает бородатого грибника. Теперь Петин и сам заинтересовался им. Большие руки незнакомца орудовали ножом, как ланцетом. Вот был очищен последний гриб, и бородач осторожно начал перекладывать их рядками в корзину. Из-за дремучей растительности на лице трудно было угадать его возраст. Ему могло быть и сорок и шестьдесят.

— Н-да, любопытный индивид... В самом деле, герой, сошедший со страниц Мамина-Сибиряка. Нет, ты посмотри, милая, как он эти свои грибы холит... В колхозах уборка, а такой верзила — грибки.

Порыв ветра, густо настоянного на запахах сохнущей травы, лесной прели, прибрежных осок, сбросил с плеч Дины пальто. Муж снова бережно укрыл ее, обнял за талию. В это мгновение бородач поднялся, отряхивая очистки на газету, и вновь поглядел на них. Теперь светлые глаза его молчали, и все-таки Дине почудилось, что в зарослях бороды прячется невеселая, недобрая усмешка.

— Ну, видел, видел? — возбужденно зашептала она.

На этот раз и Вячеславу Ананьевичу почудилось в этом человеке что-то знакомое. Появилось ощущение безотчетной тревоги, и, чтобы жена не заметила этого, он ласково отвел ее на другую сторону палубы. Там парни и девушки в туристских костюмах, в ватниках, в куртках с молниями, в свитерах, привалясь друг к другу, пели, почти выкрикивая припев:

Едем мы, друзья, в дальние края,
Станем новоселами и ты и я.

— ...Вот они, покорители Сибири! — воскликнул Петин и остановился у поручней прямо над хором.— Они по воле партии разбудят этот богатейший край, создадут гигантскую электростанцию, зажгут огни новых городов.— Песня внизу была допета, кое-кто из молодых людей с интересом посматривал наверх, а Петин, не замечая этого, взволнованным голосом продолжал: — Здесь будет великое сибирское море, все эти скалы уйдут под воду, а по берегам, которые и не увидишь отсюда, разместится

гигантский промышленный комплекс: металл, бумага, цемент, химия, сборные дома, мебель...

Дина подняла на мужа серые глаза. Во взгляде было откровенное восхищение.

— Как все-таки хорошо, что я поехала с тобой!

— Вячеслав Ананьевич, идите к нам! — кричал снизу Пшеничный. Стоя в центре круга, он дирижировал самодеятельным хором.

Петин, улыбаясь, приветливо помахал рукой:

— Некогда, друзья.

И, держа жену под руку, повел ее вдоль палубы.

— А ты колебалась...

— Нет, нет, я теперь ничего не боюсь, ни о чем не жалею. Квартира, удобства, да бог с ними, с этими удобствами! — И, прижавшись к мужу, она сказала: — Знаешь, я все думаю, если бы не этот Литвинов, который свяжет тебя по рукам и ногам, как бы ты там, в Дивноярском, развернулся, с твоими знаниями, с твоим умом, с твоей смелостью...

— Ничего, милая, мы с ним как-нибудь сработаемся. Когда-то и Литвинов был интересным инженером, неплохим организатором, но годы, годы... Все мы состаримся... Если бы не все эти его знакомства — учился с одним, работал с другим, помог третьему, отдыхал с четвертым, с пятым, с десятым... В сущности, может быть, и верно,— он мятый пар, но знаешь, как у аппаратчиков: личное дело Литвинова стоит на первой полке. И будет стоять, пока он сам оттуда не упадет. А Литвинов не упадет... Но нас с тобой это не касается. Ему нужно опереться на новое, современное. Я ему нужен. Вот увидишь, как он нас встретит. К тому же ты видела: первый секретарь нас провожал. Он ему, конечно, позвонит... Это тоже имеет для Литвинова какое-то значение. Ну, что ты задумалась? Все будет хорошо...

— Нет. Я уже не об этом. Я опять о нем.— Дина повела тоненькой озябшей рукой в сторону бородача. Теперь он стоял без фуражки, опираясь локтями о поручни перил. Ветер трепал волнистую, заметно уже поредевшую на темени шевелюру. Корзинка с грибами стояла у стены. Толстая девочка лет восьми-девяти со щеками-булками, с рыжей, туго заплетенной косой, с коротким носиком, густо поперченным веснушками, присев, рассматривала грибы. Худой, голенастый, длиннорукий и светловолосый паренек лет пятнадцати с не меньшим интересом рассматривал

старый футляр, в котором пряталось недоступное для взора ружье.

— Какие грибки кожаные! — общительно заявила девочка, явно стараясь привлечь внимание их неразговорчивого владельца.— Неужели вы один столько наискали? Дедушка, можно их посмотреть? — И любопытные пальчики осторожно пробежались по прохладным замшевым шляпкам.

— У вас ружье какого калибра?.. Вы его заряжаете дробью или жаканом? — вежливо спрашивал подросток, подчеркивая свою осведомленность в охотничьих делах.— Жаканом, конечно? Ведь в тайге сейчас небезопасно. Говорят, к осени медведи злы...— И виновато пояснил: — Я это... читал.

— Сашко! Смотри, грибки-братики... Нет, наверное, сестрички, под одной шляпкой.

Бородач стоял неподвижно. Он, как казалось Дине, даже отворачивался от детей. Сашко, снедаемый любопытством к ружью, к патронташу, к самому бородачу, делал вид, что не замечает подчеркнутой неразговорчивости незнакомца. Но девочка, которую брат назвал Ниной, была не такова. Она решительно дернула бородача за руку:

— Дедушка, это неприлично — не отвечать на вопросы.— И вдруг громко, так, что ее слова долетели и до Петиных, заявила: — Сашко, он выпивши, его развезло.

Дина даже зажмурилась. Но бородач оставался неподвижным, только еще ниже наклонил кудлатую голову. Брат схватил сестру за руку и потащил прочь:

— У, барабошка!

Охваченная непонятным интересом к этому странному человеку, Дина сказала мужу:

— Я куплю у него грибы. Отдадим на кухню, поджарят со сметаной, как ты любишь.

— Зачем? Разве нас плохо кормят?

— Мне самой захотелось,— настаивала женщина. В ее звучном голосе слышались капризные нотки.— Покойный отец и Волька носили грибы корзинами, бывало; мама не знала, куда их девать... Я тоже люблю.

— Ну тогда скажи проводнице, она знает местные цены. А с тебя он заломит,— знаешь их, этих торгашей.

— Зачем мне затруднять кого-то? — спросила жена, поднимая тонкие брови, и узкие глаза ее, сощурившись,

почти скрылись в гуще длинных ресниц.— И, пожалуйста, не беспокойся, я не переплачу.

— Разве я беспокоюсь? — Улыбнувшись, Петин ровным, неторопливым шагом ушел в каюту и тщательно закрыл за собой дверь.

Все еще возбужденная этой маленькой стычкой, женщина сбежала по трапу и подошла к незнакомцу. Но, увидев, что глаза его закрыты, а на виске резко обозначилась синяя извилина вздутой вены, она как-то сразу оторопела и некоторое время стояла молча. Наконец он открыл глаза, обернулся. Взгляд его медленно поднимался. От изящных туристских башмачков пробежал по брюкам, по свитеру и наконец остановился на лице Дины. Это был настороженный, изучающий взгляд.

— Ну? — спросил незнакомец хрипловатым, низким голосом, и Дина почувствовала, как на нее пахнуло винным перегаром.

— Простите, я только хотела... Не могли бы вы уступить... за деньги, конечно, немного этих чудесных грибов? — Она говорила, будто оправдываясь, и ей показалось, что твердое выражение воспаленных, цвета линялого ситца глаз смягчилось.— Мой муж, инженер Петин... Мы едем в Дивноярское, он назначен туда... Он, знаете ли, очень любит грибы.

Ситцевые глаза похолодели.

— Нет! — отрывисто ответил незнакомец и, отвернувшись, стал смотреть куда-то в тенистую глубину освещенного солнцем, густо поросшего соснами распадка, провожавшего к Они какой-то говорливый таежный ручеек. Но когда Дина, обиженная столь резким отказом, стала подниматься на верхнюю палубу, он проводил ее медленным взглядом.

Нет, Вячеслав Ананьевич, как всегда, прав. Не надо было с ним заговаривать. Наверное, какой-нибудь потомок варнаков, которых так интересно описывал Мамин-Сибиряк, или уголовник, из тех, что, отбыв заключение, едут сюда, в малонаселенный край, где из-за безлюдья не так уж тщательно изучают анкеты. Надо извлечь урок. И Дина направилась было к своей каюте, чтобы сказать обо всем этом мужу, как вдруг остановилась. Что это? Скрипка? Неужели скрипка?

В самом деле, играли на скрипке. Играли что-то знакомое. Взволнованная, мятущаяся, то радостная, то грустная мелодия, как эти трогательные ласточки, что дела-

ют гнезда в базальтовых скалах, вилась, кружилась над Оньюю. Ровный гул машины, доносившийся из раструба вентилятора, и трудолюбивое шлепанье плиц не заглушали ее. Нет, это не было пароходное радио, заигранные пластинки которого Дина успела уже не только узнать, но и люто возненавидеть. Кто-то действительно играл, и играл искусно.

Женщина обежала пароход. На корме по-прежнему, пестрея фланелевыми костюмами, вперемежку с ватниками, с военными гимнастерками и матросскими бушлатами без погон, теснилась молодежь. Это были те же парни и девушки, которые с утра выкрикивали без перерыва песенки из кинофильмов, танцевали, плясали под гармонь. Теперь все это шумное и бесшабашное общество образовало широкий круг, в центре которого маленькая плотная девушка в очках, в оранжевом спортивном костюме, уверенно прижимая подбородком скрипку, с порывистой страстностью водила смычком. «Чайковский! — вспомнила Дина.— Канцонетта Чайковского». Девушка играла самозабвенно, и ее круглое, румяное мальчишечье лицо имело властное, суровое выражение. Глаза, увеличенные толстыми стеклами, взволнованно светились. И — что особенно поразило Дину — волнение скрипачки отражалось на лицах тех самых парней и девушек, что всю дорогу надоедали ей своими песнями не меньше, чем пароходное радио.

Сколько необыкновенных сюрпризов хранил этот рейс для москвички, еще третьего дня ходившей по улице Горького! Утром, поднявшись в потемках, чтобы посмотреть рассвет над Оньюю, она вышла на палубу. Река была задернута туманом. Из-за темного, резко обрывавшегося нагорного берега вылезало огромное красномордое солнце. И в свете его увидела она тут же, на корме, кружок каких-то мужчин с зеленоватыми небритыми возбужденными лицами. Мусоля грязные, распухшие карты, они смачно шлепали ими об доски. Сдавал огромный парень, у которого на жирный лоб сбегала детская соломенная челочка. Узенькие глазки зло, недоверчиво смотрели на партнеров. Чуть поодаль, за бухтой каната немолодой человек с кирпичным румянцем, стоя на коленях, молился на восходящее солнце. А по другую сторону канатной бухты худощавый, белокурый, длиннолицый молодой человек в трусах, с такими мускулистыми ногами, что они казались сплетенными из проволоки, методично проделывал

сложные гимнастические упражнения. И все это рядом, при свете солнца, которое, сгоняя с реки туман, заливало веселым светом широкую пойму вплоть до синей полосы леса.

А вот теперь, вечером, здесь же скрипка, как казалось Дине, страстно рассказывала о чем-то волнующем, жутком, чего она еще не знает, что ей предстоит увидеть, перечувствовать, пережить в этом пустынном краю. И почему-то потянуло еще раз посмотреть на бородача, казавшегося ей типичнейшим сибиряком. Она зашла с другой стороны и была остановлена доносившимся снизу мягким женским голосом, который с явными украинскими интонациями певуче говорил.

— Здравствуйте вам, дядечка!

Перед бородачом стояла небольшого роста брюнетка с круглым, миловидным лицом. Черные ее глаза, глаза-вишни, смотрели спокойно, ласково. За ней, опасливо поглядывая на незнакомца, выступала давешняя девочка-толстушка. Уверенно, деловито, как это делают хозяйки на базаре, черноокая женщина потрогала один, другой, третий гриб.

— Гарные. Сколько же, дядечка, за корзинку спросите? Очень уж у меня ребята до грибов охочи, вот и эта болтушка, извиняйте, если она тут лишнее брехнула...

Бородач молча смотрел на мать и дочь. Он точно бы просыпался, приходил в себя. И сверху было хорошо видно, что выразительные складки, перечеркивающие его наполовину загорелый, наполовину белый лоб, будто бы смягчились. В зарослях бороды угадалась усмешка.

— Так как же, дядечка, продадите? — настаивала женщина.

— Уж вы продайте, вам столько и не съесть! — поддержала ее дочь.

— Только не задорого. Мы совсем порастряслись в дороге. Из Усти едем, не близкий путь.

— Берите,— сказал бородач, показывая на корзину.

— А сколько просите?

— Пятачок.

— Пятьдесят рублей за грибы? — ахнула черноглазая, гневно взглянув на незнакомца.

— Пятачок.

— Пятерку, что ли? — Женщина растерялась.

— Пятачок,— повторил бородач, явно наслаждаясь недоумением матери и дочери.

— Какой же это пятачок?

— Обыкновенный, латунный. А нет, так забирайте так... Корзину только верните, не моя корзина.

Черноглазая все еще недоуменно смотрела на странного продавца, но дочь оказалась сообразительнее. Она выхватила из кармана пальтеца монету, сунула ее в руку бородача и, боясь, как бы он не передумал, схватила корзину и, с трудом приподняв, сгибаясь под ее тяжестью, проворно засеменила к двери. Черноглазая все еще нерешительно смотрела на бородача снизу вверх своими блестящими глазами-вишнями.

— Уж и не знаю... Тутошние цены мне, конечно, неизвестны. Но разве это цена — пятачок... А если не шутите, спасибочко, и милости прошу к нам на грибы. Каюта шестая на корме. Заходите. У нашего батька для хорошего случая всегда поллитровка припасена. Поперечного фамилию не слышали? О нем в газетах и по радио бывает — Олесь Поперечный, экскаваторщик,— це он.— И она проворно двинулась по палубе на своих коротеньких, маленьких ножках, женщина-уточка с темными блестящими глазами...

Вячеслав Ананьевич сидел согнувшись, рассматривая чертежи, которые он пришпилил кнопками к полу каюты.

— ...Ты знаешь, что сейчас сделал этот странный человек,— начала было Дина, но муж, подняв от чертежей бледное, с болезненной смуглинкой лицо, недоуменно посмотрел на нее. Не закончив, она смолкла, ибо в семье было заведено: когда Вячеслав Ананьевич работает, заговаривать с ним, включать радио, телевизор и вообще производить какой-либо шум не полагалось.

На цыпочках Дина пересекла каюту, взяла с тумбочки книгу. В романе этом действие развивалось как по маслу. Правильные люди совершали правильные поступки, неправильные мешали им, и сквозь действие шла правильная любовь. Там, в Москве, и потом на самолете по пути в Старосибирск она читала этот роман даже с интересом. А вот сейчас его заслонил этот бородач с былинной шевелюрой, эти парни, девушки, эта скрипачка, женщина-уточка с ее протяжным, певучим говорком, бесконечный калейдоскоп просторных, могучих пейзажей: и, вопреки усвоенному ею от мужа обычаю — обязательно дочитывать

до конца однажды начатую книгу, она сунула ее на дно чемодана.

Когда же Вячеслав Ананьевич, сделав в записной книжке нужные заметки, свернул чертежи, снял нарукавники и поинтересовался, что же случилось, «Ермак», встряхнув стекла хриплым троекратным ревом, отваливал от маленького дебаркадера, прилепившегося прямо к крутому песчаному берегу. И тут они в последний раз увидели бородача. Большой, широкоплечий, он, чуть горбясь, поднимался по расползавшейся в песках дороге. За спиной на полотенце висела пустая корзина, в руке был футляр с ружьем. Он ступал в своих мягких бродням необыкновенно уверенно. На вершине откоса, там, где дорога пряталась под сосны, в сизую тень, уже сгущавшуюся в лесу, незнакомец остановился, повернулся лицом к уходящему пароходу и застыл, опираясь о ружье. Его освещенная солнцем фигура четко выделялась меж золотых стволов.

— А ты знаешь, милая, теперь и мне тоже кажется, что я где-то его встречал,— сказал Петин, чувствуя, как нарастает безотчетное, тревожное беспокойство.— Когда, где — не помню. Но встречал.

...На диком бреге Иртыша,—

несся над пароходом сочный баритон инженера Пшеничного. И молодой хор не очень дружно, зато громко подхватывал:

Сидел Ермак, объятый думой...

2

Когда грибы поспели и сладкий их аромат просочился из камбуза даже на палубу, Ганна Поперечная вынула из чемоданчика скатерку и бросила ее на каютный стол. Толстая Нина проворно расставила пластмассовые тарелки из дорожного набора, разложила ножи, вилки. Александр Трифонович достал оттуда же пластмассовые стаканчики, поставил их перед тремя приборами, коротким, точным ударом маленькой руки выбил пробку и водрузил бутылку на стол. Еще раз окинув все критическим взглядом, он хрипловатым голосом скомандовал:

— Ну, Рыжик, зови своего бородатого приятеля.

Девочка выскользнула за дверь, а отец тем временем, прижав к груди буханку, стал осторожно, тонкими ломтями резать хлеб. Нарезал, положил ломти на тарелку, стряхнул в ладонь крошки, отправил в рот. Потом разлил водку в две большие и маленькую стопки и, так как ему показалось, что одна из них не полна, долил еще. В каждом движении этого невысокого худощавого человека со светлыми, прямыми, будто соломенными волосами и такими же соломенными короткими усиками чувствовалась спокойная положительность. Она сказывалась и в том, как все было тщательно подогнано в его полувоенном костюме, в чистом, только сегодня надетом подворотничке, в надраенных пуговицах, в негромком хрипловатом голосе и в этой манере ясно выговаривать слова.

Он приподнял крышку, закрывавшую миску с грибами, и оттуда полыхнул такой аромат, что у Александра Трифоновича, или, как его все именовали Олеся Поперечного, даже дрогнули ноздри хрящеватого носа.

— И куда это Рыжик пропал?.. За смертью только посылать девчонку.

Но не успела Ганна ответить, как в двери показалась круглая хитрая физиономия, вся раскрасневшаяся от бега.

— Нету! — возбужденно объявила девочка.

— Сонечко, ну как же это нет, ясочка моя, куда же он делся? — спросила мать.

— Сошел. Везде искала, нет. И дяденька капитан говорит — видел, как сходил. Я и у другого, у главного капитана, спрашивала: говорит, выбыл.

— Как, поднималась на мостик?

— Ага, прямо на мост. Там такая клетка, а в ней дядька колесо вертит. Все говорят: сошел.

— Сошел! — досадливо присвистнул Олесь.— А мы человека за подарок и не поблагодарили.— И, огорченный, он стал сливать содержимое одной из стопок назад в бутылку.— Ну, Ганусся, здоровэнька була! — Он чокнулся с женой, разом бросив водку в открытый рот, и семья принялась за грибы, которые Ганна, успевшая понравиться повару и потому допущенная в его святая святых, приготовила по-особому, со сметаной, с лавровым листом.

Семья Поперечных давно кочевала со стройки на стройку. Переезды стали бытом. Как и дома, в пути каждый член ее знал свои обязанности. Отец и сын выбегали на станциях и пристанях покупать припасы, Ганна,

считавшая рестораны баловством, сама готовила какую-нибудь дорожную еду, а Нина, которую отец звал Рыжиком, а мать — Сонечко, то есть Солнышко, убирала, мыла, укладывала в чемодан посуду. И этот давно заведенный в семье порядок, при котором каждый, как прислуга расчета при артиллерийском орудии, знал свое место и свое дело, сильно облегчал тяготы передвижений.

И вот сейчас, когда пароход нес их по огромной сибирской реке на новое, неведомое место, в положенный срок семья улеглась, и скоро в каюте, погрузившейся во мрак, где лишь окно неясно обозначалось голубоватым болотным светом, с коек, помещенных одна над другой, сразу же послышалось сонное дыхание детей, а рядом с Ганной хрипловатое, но тоже ровное и покойное посапывание Олеся.

А вот к Ганне сон не шел. Обида, как и тупая боль, малоощутимая днем, ночью, когда все стихло, снова овладела ею. И оттого, что муж, лежавший рядом, крепко спал, оттого, что дышал он равномерно, а поворачиваясь, будто маленький, даже причмокивал во сне, обида чувствовалась еще острее, перерастала в неприязнь к спящему: дрыхнет, горя ему мало. Наелся грибов, выпил и спит... Доволен! И нет ему дела, куда несет их этот старый пароходишко, что ждет семью там, в этом самом Дивноярском, в тайге, где конечно же поначалу опять не будет ни квартиры, ни школы для ребят, где опять зимой придется жить в тесноте палатки, на ночь наваливать на себя всю одежду и с вечера нарезать хлеб, потому что к утру буханки замерзают, их только разве топором руби. Умываться на морозе, а потом оттаивать пряди волос. Сколько раз это уже было, и сколько обещал он ей: «Ганусся, потерпи, последний раз!» И вот зазвучало: «Дивноярское, Дивноярское. Пришло письмо...» Все забыл, все бросил, и вот они снова, бездомные, несутся неизвестно куда. Бродяга!.. Пройдысвит!.. Цыган проклятый!..

А ведь как хорошо зажили было в последний год в Усти... В темноте каюты перед женщиной возникло жилье, которое они только что покинули: низенькие комнатки в одноэтажном доме, рассчитанном на четыре семьи; кухонька, которую Олесь обложил кафелем, кресло перед печкой, где так хорошо было сидеть с шитьем или штопкой. Со всем расстались, все распродали, кроме этой дурацкой складной мебели, которую он всюду таскает с

собой. С любимым креслом Ганна не смогла расстаться. Оно ехало с ними где-то в багаже. Но куда его поставишь — в палатку? В барак? Все равно выбрасывать придется.

Олесь завозился на подушке, и Ганна отчетливо услышала: «...А эксцентрики переставьте...» И опять, почмокав губами, задышал спокойно, ровно. Женщина отодвинулась, неприязненно посмотрела на остроскулое лицо... Эксцентрики! И во сне машины... Какое ему дело до ее горестей, до забот семьи, ни о чем не думает, эгоист! Ей показалось, что дочка сбросила одеяло. Ну так и есть. Встала, укрыла девочку, поправила подушку у сына, выглянула в окно. Пароход шел правым берегом, а левый, скалистый, поросший поверху редкими голыми елями, виднелся с поразительной четкостью, будто тушью нарисованный на синей, обрызганной белой краской кальке. Отсветы луны, пересекавшие все пространство до подножия скал, холодно мерцали, переливаясь, и вода, вспарываемая колесами, казалась от этого тяжелой, черной, будто нефть. Кругом ни огонька. И таким одиночеством пахнуло на женщину от этого мрачного пейзажа, что, передернув плечами, она поскорее нырнула под одеяло, прижалась к мужу и зашептала: «Любый мой, ну зачем мы туда едем? Чего нам не хватало в Усти?»

Четверть домика, клочок земли, огородик, куры, даже вишенки. Ей вспомнилось, как однажды принес Олесь под мышкой, будто банный веник, несколько вишневых саженцев, присланных ему каким-то приятелем с Украины. Вся семья, как на гостя земляка, смотрела на эти слабенькие прутики с жидкими бороденками корешков. Вишни росли и в Полтаве, на родине Ганны, и на Днепре, откуда был Олесь... «Вышни! Вышни!» С величайшей тщательностью прутики посадили на солнечное местечко, так, чтобы дом закрывал их от злых ветров. На зиму обертывали деревца газетами. И ведь выходили! В прошлом году вишни цвели, дали завязи, вызрели в хмуроватом неласковом климате. Получились кисловатые, но крупные. Их было мало — так, горсточка, но как они были дороги, эти родные «вышни», выросшие в суровом краю. И Ганна представила палисадник у дома и эти деревца, сгибающиеся под напором ветра: никто не укроет их на зиму, не окопает снегом. Останутся они, голенькие, стоять на морозе... Вспомнилась Катерина, жена механика, въезжавшего в их квартиру. Этой толстухе передавала

Ганна и свой огородик, тяжелые зеленые гроздья помидоров на кустах, не дозревшие еще гарбузы, лежавшие, как булыжники, среди желтых, повядших плетей, и эти юные, нежные деревца. Передавала и наказывала, как со всем этим обращаться. Но толстуха рассеянно говорила: «Да, да, сделаю. Обязательно сделаю, Ганна Гавриловна, не беспокойтесь». А сама, должно быть, и не слушала, думала о новой квартире, прикидывала, что куда поставить... Разве эта сохранит?!. И Ганне стало горько, будто в чужих, холодных руках оставила она детей. Горько и вдвойне обидно оттого, что эту горечь так никто с ней и не разделил. Она всхлипнула и повернулась, чтобы уголком наволочки вытереть глаза. Муж пошевелился и снова отчетливо произнес: «Говорю же, эксцентрики переставьте...»

— Опять эксцентрики? А? — Ганна приподнялась на локте и посмотрела на Олеся: он теперь лежал на спине и, приоткрыв рот, негромко похрапывал.— У, машинник проклятый!

Женщина вспомнила, как эти последние месяцы, соблазняемый новым гигантским строительством, начинавшимся где-то у черта на рогах, ходил он сам не свой, как уговаривал ее на этот очередной, «последний переезд», как наконец добился согласия, но за два месяца до отъезда вдруг, вместе со всем своим экипажем, отправился на Урал, где по их предложению усовершенствовалась новая модель экскаватора. Увлеченный там какими-то делами, он не вернулся в срок домой. И ей одной, совсем одной, пришлось распродавать с такой любовью собранную мебель, паковать в дорогу вещи. А он, этот бесчувственный человек, звонил ей каждую ночь по телефону, говорил о каких-то новых своих затеях и жалким голосом убеждал, что без него тут все напутают. В конце концов ей пришлось одной подняться в путь с ребятами и вещами, а он встретил семью лишь на старосибирском вокзале. Тогда, обрадованная, она все ему простила: такой уж человек, весь отдается делу. А вот теперь ей казалось, что все произошло не случайно, что и в Свердловск он удрал, чтобы взвалить на нее всю тяжесть прощания с прежним жильем, всю канитель переезда... «Эксцентрики... Машины на уме, а на семью наплевать... Ишь, храпит, разливается!»

Ганна сердито потрясла мужа за нос:

— Проснись, всех насквозь охрапел.

Олесь встрепенулся, присел на койке; увидел устремленные на него глаза и, прежде чем успел что-нибудь сообразить, услышал злой, захлебывающийся шепот:

— Только о себе, только о себе думает. Семья для него — подсолнечная лузга. Семечко съел, а лузгу — тьфу, выплюнул... Зайдиголова, голодюга!..

— Постой, обожди, Ганудя...

— Шестнадцатый год жду, хватит... Нет, ты скажи, чего тебе не хватает, цыганская твоя душа? Заработка? Инженеры столько не получают. Почета? Люди тебя в райсовет выбрали. Орден вона какой отхватил. В газетах то и дело — Олесь Поперечный да Олесь Поперечный. И все мало, все мало, еще подавай, а нам вот мучайся. Пройдысвит несчастный! До коих же пор будем из-за тебя блукать по свету?

Она присела на койке, опустив маленькие полные ноги. Лямка сорочки сбежала с плеча. Видна была высокая, как у девушки, грудь и полная, налитая рука, сердито терзавшая кромку одеяла. Но косы, которые она на ночь прятала обычно под повязку, были спутаны, лицо сердито, глаза-вишни смотрели непримиримо.

— Ганудя, какая тебя блоха укусила? Ведь с вечера все хорошо было... Профессия ж у нас такая — на месте сидеть нельзя. Да разве впервой? И разве мы одни? Вон товарищ Петин с жинкой едет, Москву покинули. Таких вон целый пароход... А ты вдруг среди ночи...

Он говорил рассудительно, но, как известно, вспыхнувший бензин гасить водой нельзя.

— Пароход, люди, Петин!.. Какое мне до Петина дело! Ты не о них, ты бы хоть о семье раз в жизни подумал, обо мне, о ребятах.— Боясь разбудить детей, женщина говорила шепотом, и, вероятно, от этого слова звучали особенно горько.— Люди! Хлопцы, девчата — у них жизнь впереди... Девчонкой и я за тобой очертя голову бросилась, а сейчас не хочу, хватит. У всех мужья как мужья, а у меня голодюга какой-то, цыган. Не хочу, уйду! Заберу детей и уйду! Цыгань один, прилаживай свои эксцентрики. Может, перед тем как в гроб класть, Героя тебе пожалуют. А мне не Герой, мне муж нужен, детям моим — отец. Мне крыша над головой нужна, вот что.

В сердцах она соскочила с койки и заметалась по крохотной каюте. Олесь с тоскливой беспомощностью следил за ней. Он привык к спокойной, ровной, заботливой Ганне,

и та, что сейчас металась перед ним, как-то лишила его дара речи.

— Разве это жизнь?.. Складную мебель придумал! Какой-то дурак в газете восторгался — складная мебель Олеся Поперечного! А я, если хочешь знать, читала и плакала. Складная мебель... Ничего не надо. Столишко какой-нибудь самодельный, паршивая табуретка, топчан, лишь бы они прочно на полу стояли. Не могу, сил нет! Слышишь ты? Опротивел ты мне вместе со своей складной жизнью!

Эти последние слова были произнесены с такой тоской, что Олесю стало жутко. Он слез с койки и стоял в трусах, в майке — суховатый, маленький, похожий на подростка, немолодой человек с ниточками седины в соломенных волосах и коротко подстриженных усиках.

— Ганнуся, сэрдэнько, ясочка моя... Ну даю слово, слово коммуниста — в последний раз... Никуда больше. Корни пустим. Свято!

Она остановилась перед мужем и, глядя ему в глаза, зачастила:

— Слово! Что оно стоит, твое слово? Сколько уж раз обещал! На Волго-Доне обещал?.. В Волжском обещал?.. В Усти обещал? Ну!.. Не верю я тебе, вот на столечко не верю,— она показала ему кончик пальца. И вдруг горячо зашептала: — Не любишь ты ни меня, ни ребят, чужой ты в семье! Спишь, эксцентрики тебе снятся, и в голове только одно слово: Поперечный... Метод Поперечного... Хлопцы Поперечного... Предложения Поперечного... А что она, твоя слава? Вон был Алексей Стаханов. Уж как гремел, а сейчас? Спроси Сашка́ — и фамилии такой не слышал...

Последние слова женщина произнесла тихо. Опустилась на койку, согнулась, сжав виски ладонями, и, когда Олесь осторожно погладил ее по голове, вдруг заплакала, и плач этот был горше самых злых упреков. Олесь присел рядом, прижал ее голову к себе. Он понимал: словами тут не поможешь. Неожиданная ночная вспышка сбила с толку, испугала его. Так и сидел молча, боясь резким движением вызвать новый взрыв. А Ганна вздохнула, вытерла глаза и, забираясь под одеяло, сказала тихо, но твердо:

— Ты прости, что разбудила, но разговор не забывай. Второго такого разговора не будет. Заберу ребят и уеду, слышишь?

И он понял: да, так она и сделает. И понял, что вот сейчас в жизнь вошло что-то новое, тревожное, угрожающее.

— Ганна, слово коммуниста даю,— произнес он как можно торжественней, но жена не ответила. Глаза были закрыты. Она спала или делала вид, что спит, и оттого, что она прервала разговор, не дав ему высказаться, на душе у Олеся стало еще смутнее.

И главное, так внезапно!.. Ведь как она бросилась к нему, когда он встретил семью на перроне старосибирского вокзала. Забыла про детей, про вещи, прижалась и твердила: «Любый мой, любый мой!» Да и раньше, когда в Усть пришло письмо от старого друга инженера Надточиева, звавшего Олеся вместе с его экипажем на Онь, она только спросила: «Неужели опять куда-то нас потащишь?» — и все. Так казалось тогда, а вот теперь отчетливо вспомнилось, что слушала она это письмо как-то странно, будто окаменев, что целый день потом ходила непривычно молчаливая, а вечером, перетирая посуду, уронила чашку и почему-то заплакала над черепками, хотя особой привязанности к вещам за ней никогда не замечалось. «Н-да, вот оно как... И чего это она ни с того ни с сего?»

Захотелось курить. Но Ганна не терпела табачного дыма и, даже когда закуривал кто-то из гостей, бесцеремонно открывала форточку.

Не зажигая света, Олесь оделся и на цыпочках вышел из каюты. Ночь была по-осеннему темная. Тонкий месяц опрокинулся за скалы нагорного берега, и зубчатая кромка их, подсвеченная сзади, вырисовывалась причудливой змеистой полосой. Звезды были необыкновенно яркие, сочные, и черная, густая вода, отражая их свет, голубовато мерцала за кормой.

Где-то, как казалось — далеко-далеко, светился бакен. Зыбкий его огонек сливался с этим мерцанием, и оттого мнилось, что это тоже звезда, соскользнувшая с неба и догоравшая на земле. Монотонно шлепали плицы. Журчала вода. От кормы к горизонту тянулся, постепенно расширяясь, светлый волнистый хвост.

Было холодно, и, как всегда на старых пароходах, пахло масляной краской, смолой, лизолом и речной сыростью.

3

Остановившись с подветренной стороны, Олесь достал сигарету, машинально сунул ее в рот и тотчас же забыл о ней. Теперь он уже начинал понимать, что все только что совершившееся не случайная вспышка. Просто прорвалось наружу то, что, должно быть, давно копилось и что он, занятый все эти последние месяцы возней с усовершенствованием громадной машины, проглядел, прозевал.

А может быть, не надо было срывать семью с насиженного места, а ехать одному, обжиться в тайге, свить хоть какое-нибудь гнездо, а уж потом звать их к себе? А может, и вообще не надо было трогаться? Надточиев, конечно, серьезный человек, не то что иные. Попусту сманивать не станет. Фронт работы в Дивноярском, наверное, действительно небывалый. Но годы-то немолодые, с утра ничего, а вечером иной раз будто весь избитый домой идешь. И ребята, особенно Сашко — едва прижился в новой школе, едва наверстал упущенное, едва четверки в табеле пошли — и в дорогу. А Нинка? Эта ее музыка... Как вся семья радовалась, когда удалось купить пианино! А теперь куда его — под елку в тайге ставить? Эх, Ганузя, Ганузя, и верно, тяжело тебе с этаким мужем!..

Огонек бакена приблизился. Теперь он походил не на упавшую звезду, а на свет в чьем-то окошке. Уютный свет, возле которого кто-то, отдыхая, занимался домашней работой, а может быть, читал, слушал радио. Огонек в доме. Тепло. Уют. Как это она сказала: лучше паршивая табуретка и крыша над головой, чем вся эта твоя складная жизнь и складная мебель! На одну из строек долго не прибывала техника. Оказалось свободное время. В комнатке, где жили Поперечные, стоял лишь стол, два стула да старая скрипучая кровать с завитушками — и то все хозяйское. И вот от нечего делать Олесь спроектировал и сам в столярной мастерской изготовил складной стол, стулья, диванчик, кровати-полки, на день поднимающиеся к стене, и даже посудный шкафчик. Все это можно было за час разъять на части, компактно уложить и так же быстро собрать на новом месте.

Восхищению Ганны не было границ. Давно было. Она была тогда беременной в первый раз — стало быть, лет пятнадцать назад. Она сама и показала обновку москов-

скому писателю, приехавшему на стройку, а когда тот рассказал об этом в своем очерке, восторженно показывала всем и очерк и мебель. И вдруг — это отвращение... Да, жизнь свертывает куда-то с привычного, накатанного пути. Но куда? Какие перемены сулит ночной разговор?

Приблизившись к бакену, «Ермак» исторгнул хриплый гудок и, пока звук его, раскатившись по просторам Они, возвращался назад, осторожно повернув, стал обходить огонек справа. Теперь это была не догоравшая звезда и не уютный свет в чьем то окошке. Это был всего только неяркий фонарик, беспомощно мотавшийся на волне, поднятой колесами. Опять захотелось курить. Олесь похлопал себя по карманам. Спички остались в каюте, а туда, не успокоившись, не приведя мысли в порядок, идти не хотелось. На мостике в темноте неясно маячила фигура старого капитана. Снизу он походил на памятник, еще не поставленный на пьедестал. Олесь уважал человека на работе и, не решившись беспокоить капитана, пошел поискать спички вниз, в глубь парохода, где кто-то играл на баяне и, стало быть, не спал.

Звуки привели в трюм, в большую общую каюту, где на скамьях и на полу, подложив под себя пальто, а под голову чемодан, вещевой мешок, рюкзак или свернутую одежду, спали, разделенные узким проходом, по одну сторону — девушки, по другую — парни. Посреди каюты стоял стол, освещенный затененной газетой лампой. По одну сторону его, набросив старенький морской бушлат на просторный, грубой вязки свитер с изображенными на нем оленями, сидел загорелый длиннолицый светловолосый человек. А напротив — большой круглоголовый парень, с мурластым, невыразительным лицом, детской челочкой, свисающей на жирный лоб. Оба не спали. Отогнув кусочек газеты, человек в бушлате читал. Перед ним лежала щеголеватая фуражка-мичманка с укороченным козырьком и раскрытая тетрадь. Тот, что с челочкой, растягивал мехи баяна и, наклонив к нему ухо, слушал сам себя. В ответ на приветствие «морячок», как назвал про себя Олесь белокурого, привстал и молча поклонился, а тот, что с челочкой, насмешливо посмотрел на вошедшего.

— Приветик знаменитости!

В каюте было жарко, густо надышано. Пахло потом, хлебом, кожей. Тяжелый дух этот напомнил Олесю обжитую фронтовую землянку, но тут к привычным этим

запахам примешивался еще и аромат дешевых духов. Все еще насмешливо посматривая на Олеся и, вероятно, именно ему адресуя, баянист, игриво аккомпанируя, нарочито сдавленным голосом пропел, коверкая слова:

...Сижу день цельный за решо-о-ткай,
В окно тюрем-мное гляжу,
И слезки капают, братишка, постепенно
По исхудавшему лицу...

Морячок оторвал от книги глаза и пристально посмотрел на баяниста. Тот продолжал играть, но тише, почти неслышно. Олесь сразу сообразил, что между этими двумя что-то здесь уже произошло, и тут заметил, что костяшки пальцев на правой руке морячка заклеены кусочками газеты, а тяжелый подбородок «челочки» заметно припух с одной стороны. Он понял даже, что именно произошло, и, поняв, почувствовал симпатию к худощавому морячку. Подошел к нему, поднял книгу, прочитал на переплете: В. Лучицкий «Петрография».

— Студент?

— Коллектор геологической партии.

— Спички есть?

— Очень сожалею, но нет.

Баянист наклонился к спавшему возле него на скамейке человеку, каким-то неуловимо быстрым движением достал у него из кармана коробок и погремел спичками.

— Знаменитость, дай закурить!

Поперечный, чувствуя, как в нем поднимается досада, все же протянул ему пачку, и тот, взяв две сигареты, одну сунул в рот, другую — за ухо. Дав прикурить от спички, он тем же незаметным движением спрятал коробок в карман маленького человечка с мяклым лицом, со щечками-котлетками, с большелобой, лысой, опушенной штопорками редких кудрей головой. Олесь знал, что это какой-то археолог из Старосибирска, ехавший в Дивноярское спасать сокровище древних курганов в районе стройки. Весь день человек этот шнырял по пароходу, окруженный стайкой любопытствующих, и хрипловатым, петушиным голосом рассказывал истории об этом крае, о здешних землепроходцах, создававших первые поселения на севере Америки, о стрелецких острожках и караулках казачьих застав, сохранившихся на каком-то острове Кряжом, о декабристах, работавших здесь, недалеко, «во глубине сибирских руд», о богатствах края, где, по утверждению

этого восторженного чудака, «зарыта вся периодическая система Менделеева» и любой элемент ее можно добыть, стоит только хорошенько покопать. Обо всем этом он рассказывал так вкусно, что Сашко весь день вертелся возле него, таскал к нему то отца, то мать и даже опоздал на грибы, до которых был великий охотник... Выдающийся человек, а этот, с челочкой, лезет к нему в карман, будто в собственный. Олесь хотел его одернуть, но было в этом тяжелом парне что-то такое, из-за чего лучше было обойти его стороной, как обходит брезгливый человек жабу, вылезшую погреться на тропинку.

С удовольствием затянувшись, Олесь вдруг почувствовал, что на него пристально смотрят. Смотрел морячок. Смотрел на сигарету и еще куда-то дальше. А там, на стене, висела надпись: «Курить запрещено». Олесь поднялся. «Челочка» тоже поднялся и вразвалочку пошел к двери. Так вышли они на палубу. По реке стелился густой ватный туман. «Ермак», сбавив ход, двигался осторожно, то и дело весь сотрясаясь в надсадном реве. Но и голос сирены уходил словно бы в вату. Ни один из берегов не откликался на него.

В сырой, холодной мгле маячил огонек сигареты. Сдавленный голос, нарочито коверкая слова, тянул в рыдающем тембре:

Зачем ты ходишь пред тюрьмо-о-ою,
Зачем ты мучаешь мине?
Ведь ты гуляешь с теми, с кем попало,
Совсем забыла обо мне.

— Долго сидел? — спросил Олесь.

— А это, между прочим, гражданин начальничек, никого не касается. Дорога у нас одна, а фарт разный. Дай еще сигаретку.

— А та, что за ухом?

— Та для моего кореша. Он богу за всех нас намолился. Дрыхнет.

Олесь достал сигарету и, когда спичка осветила парня, увидел вытатуированный на запястье крупной руки крест, обвитый змеей, и надпись: «Не забудет мать родная».

— Это вы с морячком, что ли, потолковали? — спросил Олесь, указывая на вспухший подбородок собеседника, который при ближайшем рассмотрении отливал синевой.

— Этот фраер пусть боженьку благодарит, что мы на

пароходе, а вот сойдем, я ему телевизор так распишу, что мать родная не узнает.

— По решетке соскучился?

— А что я, Иисусик какой паршивый — правую щеку подставлять, когда тебе по левой съездили? Да я из него кишки выпущу и жрать их заставлю. Мой кореш проспится — спроси, кто такой Мамочка.— И, сердито развернув мехи, он дурным голосом пропел: — «Катись ты, умба, умба, переумба, с своими разговорами»,— и пошел назад в каюту, не забыв при этом, однако, бросить за борт недокуренную сигарету.

Морячок, отодвинув книгу, что-то выписывал в толстую тетрадь. Он только поднял глаза на вернувшихся и продолжал записи. Парень со странным прозвищем «Мамочка» тихо наигрывал блатные мотивчики, и Поперечный все с большим интересом посматривал на него. Знавал он когда-то одного такого. Приписали на одной из первых послевоенных строек к его экипажу одного зека — уголовника с большим сроком — в качестве подсобного рабочего. Оказался он сноровистым, сообразительным и вскоре мог в случае необходимости заменять даже механика. Олесь мечтал, засвидетельствовав его трудовые успехи, походатайствовать о сокращении срока. Как вдруг случилось страшное, так и не объясненное потом до конца. То ли этот парень проиграл кому-то в карты, то ли его проиграли, только вынужден он был по приговору барака зарезать кого-то. Потом, когда подоспела охрана, яростно отбивался с ножом. Двоих ранил и был приговорен к высшей мере наказания...

— Вместе едем, а не познакомились,— произнес Олесь.

— Сирмайс, Илмар Сирмайс,— рекомендовался, учтиво вставая, тот, кого он называл про себя морячком.

— Поперечный Александр Трифонович,— и, пожав руку Сирмайсу, Олесь протянул ее Мамочке.

— Кто вас не знает! — Парень с челочкой тоже тянул поросшую белым волосом руку, широкую как лопата.— Третьяк. Константин Третьяк. Сын солнечной Белоруссии. Медвежатник. Гражданская профессия — поднять да бросить. Следую перековываться.

— Ну а песни, только этот скулеж и знаешь? — спросил Олесь у Мамочки.

— Всякие знаю, начальничек. Вот слушай. Эта про всех нас.— Он небрежно повел локтем в сторону тех, кто

спал на лавках и на полу. Пальцы быстро перебрали лады, и баян, словно бы отрезвев, перешел с егозливых, похабных мотивчиков на грустную, задумчивую мелодию. И уже иным голосом Мамочка тихо пропел:

...Мы осенние листья,
Нас всех бурей сорвало,
Нас все гонит и гонит
Неизвестно куда...

Но, заметив, что морячок отодвинул тетрадку и тоже слушает, оборвал мелодию, выбранился, смолк. А Поперечный задумчиво смотрел на спящих. Вся эта шумная, проплясавшая всю прошлую ночь молодежь забылась в крепком сне. Сквозь глухое гудение паровой машины доносилось ровное дыхание, здоровый разноголосый храп.

Молодые, совсем юные парни и девушки спали в беззаботных позах, как спят вдоволь набегавшиеся дети. И, глядя на них, Олесь вспоминал, как когда-то и он, такой же вот юный парубок из большого украинского села с котомкой, с жестяным чайником, со старыми отцовскими сапогами, связанными за ушки и повешенными на палку, босиком, чтобы попусту не тереть подметок, по горячему июньскому шляху шагал на Днепр, где тогда еще только завязывался Днепрострой. Шагал с коротенькой мечтой подзаработать на яловые сапоги, на «кобедняшнюю» справу да на картуз, шагал, не зная, что не вернется он уже больше на отцову полоску и с Днепростроя путь его ляжет в иную сторону. Конечно, эти не о яловых сапогах мечтают. Не желание «подзашибить деньгу» влечет их из больших, обжитых городов в тайгу. Однако знал бывалый строитель, что случится с ними то же, что наблюдал он когда-то на золотопромывке: породу полегче унесет вода, многие сбегут, не выдержав первой зимы, другие, покрепче, продержатся, отработают срок контрактации, и только третьи, как драгоценный золотой песок, промытый сердитыми валами воды, крепко осядут на новом месте. Их останется немного, но, как те солдаты, что обстрелялись в боях, испили горечь отступления и радость побед, они пропишут свои паспорта в городе, который сами построят. И, как обстрелянный солдат, один такой будет стоить десятерых.

— Сявки,— пренебрежительно произнес Мамочка, точно бы угадав мысли Олеся.— Им без отрыва от мамкиной цици и не прожить.— Он плюнул сквозь зубы, и плевок его, пущенный с поразительной точностью, упал

как раз возле двух девичьих голов, лежавших на футляре скрипки,— одной лохматой, по-мальчишески остриженной, другой с копной пушистых, редкого пепельного цвета волос, обрамлявших бледное маленькое личико. Девушкам было лет по семнадцать. Спали они обнявшись, как сестры. Лица у них были нежно-беспомощные, и Поперечному стало не по себе оттого, что спят девушки на полу, а рядом находится этот уркаган по прозвищу Мамочка.

— Вон та чернявка, что на скрипке пиликает, без очков ничего не видит. Покорительница Сибири! А вон тот,— снова метко пущенный плевок с предельной точностью упал у изголовья худого, бледного юноши с угловатым, пестрым от веснушек лицом,— вон этого из суворовского вышибли по здоровью — тоже гроза тайги... Мой кореш говорит: «Фекалии».

— Ну а ты?

— А между прочим, начальничек, меня не тычь, я не Иван Кузьмич... Я? Что я? Если я вам все про себя расскажу, атомная война сниться будет. Но перед мильтами чист: паспорт.— Он похлопал себя по карману.— А теперь извольте меня перековывать, как вам советская власть велела.

Тот, что назвал себя Илмаром Сирмайсом, отложив книгу, слушал. Продолговатое лицо с длинным носом, с острым подбородком было спокойно, строго. Он ничего не произнес. И все-таки Мамочка стал говорить тише, перешел почти на шепот. Нет, когда этот Сирмайс не спит, ничто не угрожает всем этим парням и девушкам. Можно, пожалуй, и возвращаться в каюту, пока Ганна не проснулась и не хватилась.

Олесь осторожно пробрался между спящими, поднялся на палубу. Вырвавшийся из-за утесов ветер заметно оттеснил туман с реки. Всё вокруг — поручни, стены, оконные рамы — блестело от сырости, будто их за ночь отлакировали. На скамейке под электрической лампочкой сидел худощавый человек, державший перед собой клетку. Вытянув губы, он как-то по-особому посвистывал: «Тю-тю-тю...»

— Вот заболел. В Старосибирске в аэропорту клетку уронили. Зашибли. Совсем заскучал.— Он показал Поперечному на желтенький комочек, нахохлившийся на жердочке.— Ну, чего ты молчишь? Тю-тю-тю... Худо, не ест, как бы не помер.— Только тут человек этот разглядел Поперечного, торопливым движением снял с головы не-

складно сидевшую на ней шляпу.— Здравствуйте, Александр Трифонович! Слышал, что едете, а не видал, все вот с ним, с больным, вожусь.

— А откуда вы меня знаете?

— Ну как же, коллеги! Я ведь тоже землерой и тоже на «Уральце» копаюсь... На Лене вот уже пятый год...

У нового знакомого были странные лицо и руки — худые, розоватые. А волосы, брови, ресницы белы, так что казалось, через них просвечивает кожа. Это лицо было светло там, где обычно лица человеческие отмечены красками. Оно напоминало негатив, и, так как незнакомец не назвал себя, Олесь мысленно и окрестил его Негативом.

— Узнал, что вы тоже в Дивноярское следуете, обрадовался.

— Это почему же?

— Да разве Олесь Поперечный худое место себе выберет! У нас тоже, скажу вам, неплохо: зашибаем прилично, полярные идут, но уж больно тоскливо. Ночь накроет — спирт рекой... Неохота там корни в землю пускать, а пора, ох пора!

«И этот о корнях»,— подумал Олесь и вспомнил, что сейчас вот Ганна, наверное, потребует ответа, а он не знает, что ей сказать, не знает, хватит ли у него духу расстаться с привычным образом жизни, со старыми друзьями и начальниками, кочующими со стройки на стройку. Лучше бы разговор этот отложить. Впереди два-три года. Но он чувствовал, надо решить, а трудно, ох трудно ломать жизнь!

— И вот услышал я, вы едете, успокоился. Стало быть, верная карта — Дивноярское, стало быть, и подзашибу как надо. И осесть будет можно... Каковы там расценки-то?

— Понятия не имею. Приедем — узнаем.

— Ну что перед своим-то темнить? Что я, из газеты, что ли? — с укоризной сказал Негатив.— Будто уж так, выгоды своей не узнав, и подняли семейство. Да и что стыдиться? Деньги-то и при коммунизме будут. Фактор сейчас: всякому по труду...

— Нет, я всерьез не знаю,— несколько растерянно ответил Олесь.— Знаю, что не обидят,— и ладно.

— Оно, конечно, обидишь Поперечного! Это ведь не я. Однако ж рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Это ведь тоже не отменено.

В голосе Негатива звучала укоризна. Но как мог Олесь объяснить этому незнакомому человеку то, что не сумел объяснить даже Ганне? Ведь не ответишь же ему словами, которые обычно вставляли ему в рот в своих очерках беседовавшие с ним журналисты: «высокий долг», «радость созидания», «моральная ответственность», и другими подобными, настолько уж примелькавшимися, что давно стерся их первоначальный большой и хороший смысл. Этих слов Олесь не любил, а ничего другого не приходило на ум. Он постарался увести разговор в сторону.

— Певун? — кивнул он на нахохлившегося кенара.

— Сережка-то? Ну, второго такого, наверное, во всей Сибири нет. Тю-тю-тю... Ах, беда! Плох, совсем плох! А как пел! Мы его и Сережкой-то в честь Лемешева назвали, такие коленца отхватывал по утрам... А с харчами-то как там, в Дивноярском, не узнавали? Ну ничего, мы с Сережкой съездим, обнюхаемся, а в случае чего — назад на Лену спирт тянуть, нам не внови.

Как это ни странно, разговор с Негативом несколько успокоил Поперечного. Докурил последнюю, бросил за борт окурок, вернулся в каюту. Не включая света, разделся, забрался под одеяло и, когда жена, не просыпаясь, обвила его жилистую, морщинистую шею своей полненькой ручкой, ощутил вдруг такой покой, что мгновенно уснул. Уснул без сновидений.

4

В дороге быстро привыкаешь к путевым шумам. Стук колес, гул моторов самолета, шлепанье пароходных плиц, даже гудки начинаешь воспринимать как тишину. Олеся разбудили необычайные, тревожные звуки.

За окном едва обозначился серенький рассвет. Мелодично хлюпала за бортом вода. Но гулко стучали торопливые шаги, звучали возбужденные голоса. Кто-то бежал. Что-то кричали. Нервно провыла сирена. «Может, уже Дивноярское?» — подумал Олесь, настороженно поднимая голову. Нет, по расписанию туда должны прийти не раньше девяти, а на дворе вон еще и не рассвело. И вдруг показалось, что в торопливых разговорах, доносившихся с палубы, он различил слово «горит». Потом отчетливо услышал, как кто-то, грохая по палубе сапогами, скверно

выругался и произнес: «...Да ее там рулонов двадцать, этой кинопленки», а в коридоре женский голос почти с плачем выкрикнул: «Да куда он девался, этот огнетушитель, боже ж ты мой?!»

Будто ветром сдуло Олеся с койки. Он сейчас же взял себя в руки, разбудил жену, заставил себя спокойно сказать ей:

— Там что-то загорелось. Одевай ребят, в случае чего, вещи отнесите на палубу. Я сейчас.— И, выбежав из каюты, устремился по коридору в кормовую часть, откуда уже ощутимо тянуло противным запахом горящей масляной краски.

Что такое пожар на судне, он знал. Работая в войну сапером на волжской переправе, видел он, как горел подожженный «мессершмиттами» пароход, на котором из города эвакуировали детей. Вниз по реке плыл полыхающий костер, и время от времени из дыма и пламени в воду выбрасывались ребята, воспитательницы, матросы с малышами на руках. Истребители с черными крестами на желтых крыльях кружились над полыхавшей добычей. Несмотря на обстрел, саперы на понтонах, рыбаки на челнах вылавливали людей из черной воды, а огромный костер, сопровождаемый огненными смерчами, несло все дальше. Эта картина как-то сразу высветилась в памяти. Олесь ринулся в набитый дымом узкий коридор, где помощник капитана в наглаженном белом кителе и почему-то босой вместе с матросами пытался с помощью огнетушителей подавить огонь. На палубе несколько ребят и девушек из пассажиров, толково действуя под командой молчаливого Сирмайса, растаскивали баграми горящую переборку. Из дымной мглы кто-то отчаянным голосом кричал: «Вода, где вода?!» Пожар уже креп, обретал силу. Пламя гудело, изрыгало на тех, кто пытался подойти к нему, зловонный жар, клубы ядовитого дыма.

Китель на помощнике капитана дымился. Волосы опалены. Со щеки капала кровь. На мгновение Олесь остановился, белье стало прохладно-влажным, а ноги сами понесли прочь из объятого пламенем коридора в другой конец судна, где была семья. Но семье пока ничего не грозило, пожар был далеко, и он приказал себе остановиться. В это мгновение кто-то, чуть не сбивший его с ног, выругался ему в ухо:

— ...Путаешься под ногами...

Это был помощник капитана. Он отбросил еще сипевший, но уже пустой огнетушитель. Схватил другой.

— Чем могу помочь? — спросил Олесь.

— Под ноги не соваться! — огрызнулся речник.— Титов, Куприянов, бейте из брандспойта в огонь, в самый огонь! — Потом, должно быть разглядев лицо пассажира, усталым голосом сказал: — Худо, ох худо... Тут негде причалить.— И, вдруг что-то вспомнив, начальственным голосом произнес: — Тебе дело: спустись в трюм, там женщина была с мальчонком, нога у нее, что ли, сломана, на носилках принесли. В углу ее койка, глянь, вытащили ее?

Сирена выла хрипло, протяжно, надрывно. Казалось, звуки эти исторгает объятое ужасом смерти огромное допотопное чудовище. Но Олесь уже не слышал рева. Перепрыгивая через ступеньки, он спускался в общую каюту, где побывал недавно. Оттуда катили вверх клубы едкого дыма. Нельзя было разглядеть и вытянутой руки. Он крикнул несколько раз, но то ли голос сирены заглушал его, то ли каюта была пуста — никто не отозвался. Дыма же было столько, что, вспомнив военные пожары, Олесь пригнулся к полу, чтобы можно было хоть как-то дышать.

— Эй, есть кто живой?

Теперь, когда сирена смолкла, он расслышал: невдалеке кто-то стонет. Двинулся на звук и наткнулся на женщину. Она лежала на полу со странно подвернутой ногой.

— Минька, Минька там... мальчик, сын,— хрипела она, показывая куда-то в угол.

Олесь наобум бросился в шевелящуюся мглу и тут натолкнулся на кого-то.

— Осторожней: у меня на руках ребенок,— сказал девичий голос и спросил: — Где выход? Ой, прошу вас, выведите меня на палубу! Я ничего не вижу.

Ни о чем не спрашивая, Олесь схватил говорившую вместе с ее ношей и, спотыкаясь о скамейки, понес их наверх. Опустил на пол. Постоял, прислонившись лбом к холодной стене, тяжело дыша, собираясь с силами.

— Стой тут, я за матерью его сбегаю.

— И я с вами... Мишенька, постой здесь... Никуда не ходи, сейчас придет мама,— сказала девушка мальчугану, у которого на темной, закопченной рожице, как

у негритенка, белели расширенные ужасом глаза. Это была та самая девушка, что днем играла на скрипке, но что-то изменилось в ее лице. Что, Олесь не понял. Они почти бежали по трапу. Вдруг девушка схватила его за руку:

— Подождите.

— Что вам?

— Я же ничего не вижу.

— Минька, Минька, Мишенька!..— слышалось из мглы. Женщина ползла в глубь каюты.

— Она ранена, поддержите ей ногу! — скомандовал Олесь путнице, поднимая женщину.

Так, неся женщину и волоча за руку малыша, они и добрались до каюты Поперечных. Ударом ноги Олесь открыл дверь. Ганна и ребята, уже одетые, сидели на чемоданах у входа, сидели кучкой, прижавшись друг к другу. Увидев Олеся с его ношей, Ганна ахнула, но, все поняв, быстро откинула одеяло на нижней койке.

— Сюда, опускай сюда. Осторожней. Что с ней?

— Нога. Что-то с ногой. В дыму чуть не задохнулась.

— Сбегай в медпункт за сестрой! — приказала Ганна сыну, а дочь попросила: — Сонечко, воды. Возьми графин в салоне.

Женщину уложили на койку. Раскрыли окно.

— Ну что там, плохо? — спросила Ганна, возясь возле женщины.

— Гасят. От нас далеко... На другом конце.

— Пропала, скверная девчонка! А вы чего стоите? Возьмите вон термос, сбегайте к баку,— сердито сказала Ганна девушке в оранжевом, прожженном в разных местах костюме.

— Ничего не вижу: очки, потеряла очки... Там такой ужас! Дым, чуть не задохнулась.— Слезы катились по пухлым щекам. Глядя на нее, растерянную, дрожащую, трудно было даже представить, что несколько минут назад она спускалась в дымную преисподнюю искать ребенка.

— Как вы его там нашли? — спросила Ганна, садясь рядом с девушкой и прижимая к себе одной рукой малыша, другой — ее.

— Скрипка там осталась. Я... и вот... Ужас! Такой ужас!.. Я ведь плавать не умею...

А когда в каюту ввалилась толстая медицинская сестра с такой же толстой сумкой, украшенной красным

крестом, они втроем засуетились около пострадавшей. И опять в семье Поперечных действовали как бы по расписанию: Сашко бегал за простыней, Нина держала тазик с водой, смачивала бинты, и все так ушли в свои занятия, что никто не прислушивался ни к крикам, ни к смятенному топоту шагов, ни к реву сирены.

— До нас не дойдет, погасят...— неопределенно произнес Олесь, нетерпеливо топтавшийся у двери, но не решавшийся уйти.

— Ох, до чего же я знаю тебя! — невесело усмехнулась Ганна.— Ну ладно, не томись, ступай помогай там. А коли что — к нам, у нас теперь вон кто на руках,— и показала на женщину и на мальчугана.

Олесь с трудом протолкался сквозь густую, глухо гомонившую толпу, скучившуюся в центре парохода, и выбрался на палубу. Рассвело. «Ермак» дрожал, должно быть выжимая из старых машин всю сохранившуюся у них силу. За пароходом тащился дымный, белый, с перламутровыми переливами хвост, и сквозь этот зловещий хвост продиралось солнце, такое, каким его изображали старинные иконописцы на картинах Страшного суда,— круглое, темно-багровое, с четко обрисованными полыхающими краями. А ниже по течению реки в оранжевом свете восхода виднелся продолговатый остров. По гребню его, как хребет дракона, извивалось, повторяя его изгибы, большое село. «Ермак», двигаясь по стрежню, явно держал курс к этому острову. Пробегая по верхней палубе к месту пожара, Олесь расслышал сердитый голос, доносившийся с капитанского мостика:

— Безумие! Это тупое упрямство может стоить сотен жизней! Слышите? Вы ответите советской власти за каждого пассажира. И за людей и за судно... Сейчас же бросайте якорь и отдавайте команду спускать шлюпки.

Другой голос, глухой, но слабый, будто доносившийся со дна колодца, с какими-то домашними интонациями произносил:

— Вася, левее... Эй, в машине, Константин Сергеевич, жми на всю, понимаешь, на всю!

— Вы не безумец, вы преступник! Сейчас же к берегу. Слышите! Моя фамилия — Петин. Первый секретарь обкома говорил вам, кто я такой. Тут сотни моих людей. Я за них отвечаю... Сейчас же к берегу! Эй, вы там, в будке, рулите к берегу!

Хриплый, будто со дна колодца, голос тихо произнес:

— Прочь! Прочь отсюда! — И еще тише: — Костя, жми. Бога ради, жми! Василий, держи вон на косу...

На острове, должно быть, уже были извещены о бедствии или сами заметили горящее судно. К реке по жилкам троп катились к причалам черные точки. Кто-то уже возился у лодок. Красный долговязый трактор тащил какую-то машину на баркас. Но до острова было далеко, а огонь уже продвинулся к середине парохода, к машинам, к нефтяным бакам. В голосах, доносившихся снизу, уже звучал ужас:

— Чего ждете?

— Лодки... спускайте лодки... Изжарить нас хотите? Да? Изверги!..

Какая-то женщина билась в истерике.

А на корме продолжалась борьба с огнем. Помощник капитана сидел на полу. Обрушившаяся перегородка ранила ему голову. Кровь струйками стекала за ворот рубахи, китель весь пропитался ею. Но человек, над которым недавно посмеивались молодые пассажиры, прижимаясь спиной к перилам, продолжал отдавать распоряжения. Паренек в комбинезоне и фуражке речника передавал их матросам, которые, прикрываясь мокрыми брезентами, по очереди забирались в самое пекло, стараясь вонзать струи воды в ревущее сердце пожара. Но шланги были узенькие, старая помпа качала слабо. Все, что им пока удалось,— это отжать огонь от машинного отделения, преградить ему путь к нефтяным бакам. Матросам, как могли, помогали молодые пассажиры, организованные Сирмайсом. Двумя цепями стояли они вдоль бортов. Спускали на веревках в воду ведра, зачерпывали, передавали из рук в руки, и крайний, стоявший ближе к огню, размахнувшись, плескал воду. Олесь встал в одну из таких живых цепей. И вот сквозь рев и треск пламени до него долетел женский крик. Он вздрогнул: не Ганна ли? Нет. Какая-то женщина взывала о помощи.

Олесь бросился на крик и чуть не натолкнулся на Мамочку. Будто в панцире, в пластинчатом пробковом поясе, с большим чемоданом в руке, с баяном под мышкой он метался по палубе, вытаращив испуганные глаза. Налетев на Олеся, он бросился обратно. А на верхней палубе возле горки чемоданов стояла Дина Васильевна

Петина. Увидев знакомого человека, которого ей представили еще на пристани, она подняла на Олеся свои серые глаза.

— Муж, где мой муж? — прошептали побледневшие губы.— Вячеслав Ананьевич... он ушел. Его нет... А какой-то, я не знаю... он вырвал у меня пояс. Я не умею плавать. Здесь ведь глубоко? Да?.. Ужасно!.. Куда же делся муж?.. С ним ничего не могло случиться?.. Очень прошу, не оставляйте меня...

Она вцепилась в руку Олеся.

— Ну, полно, полно! Найдется ваш муж. Я видел: он тут порядки наводит. Успокойтесь. Сейчас приведу.— Но женщина не выпускала его руку. Она вся дрожала, и Олесь проникся к ней снисходительной жалостью.— И река тут неглубокая, и пожар утихает... Вот что, пойдемте-ка к нам в каюту. Там моя Ганна, с нею не пропадете. А?

Все так же судорожно держа его руку, Петина безвольно шла за ним. В каюте было тесно. Напротив женщины со сломанной ногой, на другой койке, скрипя зубами, постанывал молоденький киномеханик, в каюте которого и начался пожар. Как начался, он не знал. Он спал — вдруг пламя, уже охватившее несколько коробок с пленкой, разбудило его. Он старался гасить, выбрасывал незагоревшиеся коробки в окно, но, задохнувшись в едком дыму, упал и сгорел бы, если бы его не отыскал и не вынес матрос, привлеченный запахом гари. Женщины уложили его на живот. Рубашку и брюки разрезали. Тело оказалось покрытым багровыми волдырями. Ганна и медицинская сестра доставали из баночки вонючую мазь и ватными тампонами смазывали обожженые места. Механик, уткнувшись лицом в подушку, выл от боли.

На полу у двери девушка в оранжевом костюме прижимала к себе малыша. Они плакали. Слезы вымывали на закопченных лицах светлые бороздки.

Потрясенная пожаром, страхом, обидой на Вячеслава Ананьевича и на негодяя, который отнял у нее пояс, Дина сначала, должно быть, ничего не видела. Потом разглядела обожженную спину, всего судорожно сжавшегося человека, которому руки, наносившие мазь, причиняли страшную боль. И вдруг нерешительно произнесла:

— Постойте, разве так можно?.. Что вы...

Обе женщины, подняв усталые глаза, с досадой смотрели на короткие брючки, яркий свитер, волнистые пряди, прихотливо обрамлявшие худощавое лицо.

— Дайте, пожалуйста,— попросила вдруг Дина и, засучив рукава, вытряхнула на руку комок мази. Выжимая ее меж пальцев, она стала быстро бросать на воспаленные места. Один из рукавов съехал, стал мешать. Она подняла руку.— Ну, что вы смотрите, закатайте! — распорядилась она, и, так как узенькие руки с холеными пальцами, с наманикюренными ногтями действовали осторожно и понемногу обретали уверенность, Ганна тотчас же выполнила просьбу.— Сестра, дайте еще мази... Это ожог третьей степени. Мазь должна лежать толстым слоем... Ну что вы на меня так смотрите? Я врач...

Потом Дина распорядилась повязать ей голову полотенцем, чтобы волосы не лезли в глаза. Связав концы простыни за спиной, ей сделали импровизированный халат. Положив компресс обожженному, она подошла к женщине, тихо постанывавшей на другой койке. Повязка была сломана. Гипс раскрошился. Из-под острых его кусков сочилась кровь. Послала Сашка к себе в каюту принести рейсшину Вячеслава Ананьевича. Линейку сломали. Сделав лубки, плотно обложили искалеченную ногу.

Вернувшись с линейкой, Сашко принес весть, что пароход уже приблизился к острову. С берега подошли рыбачьи челны. Катер подтащил баркас с машиной и людьми в медных пожарных касках. Поглощенные своим занятием, женщины как-то очень скромно отозвались на эти утешительные известия. Дина, накладывавшая лубки, сказала больной:

— Ну, видите, милая, все хорошо. Сейчас мы вас отправим в...— Куда отправляют, она не знала и потому запнулась. Но все же сказала: — В поликлинику.

Как раз в это мгновение машина «Ермака» застопорила. Неожиданно наступившая тишина сразу проявила и глухое потрескивание пожара и жужжание старенькой помпы, тревожные крики, топот. Стало слышно, как металлический, неестественный голос произнес, должно быть, в мегафон:

— ...Эй, там, в лодках, не лезь под колеса!.. На палубе, отойдите от бортов!..— И выкрикнул: — Держись!..

Послышался глухой скрежет днища, треск, чей-то

вопль. И все стихло. Старый «Ермак» всей своей бокастой тушей сел на мель. Кто-то дико закричал, кто-то отчетливо выругался. Те, кто был на палубе, видели, как грузный капитан, который все это время простоял, расставив ноги, у поручней, неподвижный, будто монумент человеческому упрямству, опустив мегафон, обмяк, присел на ступень лесенки и, сняв фуражку, стал рукавом кителя вытирать бритую голову. Из бравого водника он разом превратился в немощного старика, которого, как казалось, не держат ноги.

Рулевой подбежал к нему с графином воды. Капитан долго, жадно пил прямо из горлышка. Не вставая, поднял жестяную трубу.

— Ребята, шлюпки на воду!.. Косых и Марченко, обеспечивайте порядок на сходнях... Эй, там, на челнах, подходи к трапам по очереди! Больше шести на шлюпку не принимать... Прекратить толкотню!..

Потом, адресуясь к невысокому худощавому смуглому человеку с горбоносым профилем, сидевшему на корме небольшого катера, сказал:

— Спасибо, Иннокентий Савватеич, что услышал крики-то мои... Из последнего к тебе тянул, знал — выручишь... Эй, там, на баркасе, чертовы дети, швартуй у колеса! Пожарники! Понадевали каски, не сообразите, что надо сначала от машин огонь отбивать.

Сильная помпа на баркасе уже работала. Два парня в синих комбинезонах и в медных, со сверкающими гребнями касках уверенно вонзали шипящие струи в окна горевших кают. От новых масс воды пламя стало багроветь, черный дым превращался в курчавые облака пара, шибавшие высоко в небо.

— Эй, там, у трапов, не допускать давки! Косых, куда косишь? Береги людей!

Но этих команд можно было уже и не подавать. Челнами спокойно и очень толково руководил с катера смуглый клювоносый человек, а у трапов в помощь матросам стали: у одного — белокурый Сирмайс в щеголеватой, надетой набок мичманке, у другого — веселый инженер Пшеничный, принимавший во всем самое деятельное участие.

— Не все сразу, всем первыми быть нельзя... Давайте не будем,— приговаривал он веселым голосом, изображая милиционера, и эти юмористические нотки, улыбка, казалось, однажды и навсегда приклеенная к

его румяному лицу, гасили все время вскипавшие у сходней страсти.

Снизу, прочно стоя в покачивающейся лодке, пассажиров принимала рослая девушка в резиновых сапогах, в ватнике, в старушечьем платке, который, казалось, и был надет лишь для того, чтобы оттенять круглое, белое, тронутое нежным румянцем лицо. Должно быть, впопыхах девушка не успела спрятать русую косу. Та свешивалась на грудь, мешала, и она все стремилась отбросить ее назад резким движением головы. Бархатистые брови были сурово сведены на переносье. Действовала она необыкновенно спокойно.

Девушка уже готовилась принять от матери малыша, как вдруг толпа пассажиров будто вскипела. Расталкивая людей, прорывался к трапу дюжий парень с мальчишеской челочкой. В руках у него чемодан и баян. Прежде чем Сирмайс успел задержать его, он локтем оттолкнул мать с ребенком, сбежал по трапу, приготовился прыгнуть в лодку. Но девушка снизу не подала ему рук. Соскочив на корму, он стал мучительно изгибаться, стараясь удержать равновесие. Потом дико вскрикнул. Девушка даже отвела назад руки. Не выпуская своего имущества, парень полетел в воду. Скрылся с головой. Вынырнул. Снова закричал, отчаянно, безнадежно, как кричит в поле заяц, которого настигла собака. Девушка даже не оглянулась.

— Мамаша, не бойтесь, давайте вашего малыша.

— Тонет, тонет же человек! — засуетился кто-то на пароходе.

Уже летело несколько спасательных кругов.

— Не потонет,— сказала не оглядываясь девушка, приняв ребенка.— Тут коса, неглубоко.

И в самом деле, воды было парню по грудь. Он стоял, подняв вверх чемодан, и, смотря, как течение гонит на стремнину его баян, злобным бабьим голосом кричал в сторону парохода, лодок, людей:

— Сволочи, фраеры, я вам всем!..

Выбравшись на палубу, Дина сразу узнала этого человека. Это он давеча вырвал у нее спасательный пояс, нагло бросив: «Отдай, а то потеряешь!» Теперь, когда он барахтался в воде, она возмущалась уже тем, что челны с пассажирами, направляясь к берегу, обходят его.

— Как вам не стыдно!.. Товарищ, товарищ,— кричала она вниз человеку с профилем беркута, распоряжавшемуся

посадкой.— Догоните, возьмите его на катер. Он потонет!

— Дерьмо не тонет,— досадливо отмахнулся тот.

И тут женщина услышала голос мужа, в котором смешались воедино и радость, и тревога, и удивление. Вячеслав Ананьевич со страхом смотрел на окровавленную простыню, заменявшую жене халат:

— Что с тобой? Ранена? Да?

— Да нет... Мы там, у Поперечных... Я немножко помогала пострадавшим...

— Милая, ну можно ли! — с облегчением воскликнул Петин.— Ищу по всему судну... А она, видите ли... Я так переволновался...

— Я же врач,— виновато ответила жена.

— Вячеслав Ананьевич так о вас беспокоился, так беспокоился,— примирительно говорил Пшеничный, оказавшийся возле них.

— Чемоданы валяются на палубе, а тебя нет. Тут самое ужасное придет в голову... Ну, скорее снимай это,— Петин показал на испачканную простыню.— Мы с Юрием посадим тебя на катер вне очереди, мы уже договорились... Ой, и руки у тебя в чем-то...

Теперь, когда пострадавшие, требовавшие помощи, и эта черноглазая деятельная женщина были далеко, ужас снова начал овладевать Диной. «Пожар... Он же не потушен... Где-то там эти баки с нефтью... Вдруг...» И, не решаясь отойти от мужа, Дина сорвала простыню и вытерла ею мазь с рук.

— В лодку, скорее в лодку... Милый, увези меня, я ведь и плавать не умею...

В это мгновение по воде раскатился могучий бодрый рев, и из-за острова показалось небольшое, похожее на утюг, черное судно. Пушистый хвост дыма тащился за ним, точно привязанный к короткой, откинутой назад трубе. Поравнявшись с пароходом, оно с какой-то особой грацией развернулось и стало заходить с наветренной стороны. Вячеслав Ананьевич уже успел разглядеть на борту название судна «Энергетик», а на полукруглой корме — «Оньстрой».

— Это за мной, то есть за нами! — радостно воскликнул он.

Между тем радиорепродуктор на судне кричал:

— Эй, на теплоходе! Освободите левый борт. Всем отойти с левого борта...

И прежде чем пассажиры, толпившиеся у сходен, успели отпрянуть, водяная струя огромной силы обрушилась на пораженную огнем кормовую часть судна, сшибая с палубы стулья, шезлонги, смывая спасательные круги. Своим напором она обрушила прогоревшую стену. Горячее облако, как из паровозной трубы, шибануло вверх, и пар окутал судно, вздрагивающее под ударами гидромонитора.

— Вскройте горящие каюты,— командовал радиоголос, и матросы, на которых теперь неслись каскады воды, уже не боясь обжигающего жара, проникли внутрь коридора с баграми, расчищая путь водяным струям. Насосы маленького судна работали с такой силой, что вместе с огнем как-то сама собой схлынула и паника. Бледные, невыспавшиеся, еще вздрагивающие от каждого резкого звука люди уже тихо толпились у трапов. Челны колхозников, спасательные шлюпки, спущенные на воду, отошли на почтительное расстояние. Поверхность реки, на которую, перелетая пароход, падали потоки воды, кипела.

Теперь, когда столь деятельная помощь предрешила исход пожара, все обратили внимание на двух человек, стоявших на корме утюгообразного суденышка. Они не принимали участия в тушении. Один из них был высокий брюнет в широкой кепке с большим козырьком. С трубкой в зубах стоял он у поручней, вглядываясь в лица пассажиров «Ермака», и, время от времени наклоняясь, что-то говорил коренастому, крепко сбитому, почти квадратному человеку. Тот был в короткой куртке с косыми карманами и тоже в кепке, но сдвинутой на затылок. Так кепки давно не нашивали. Это придавало квадратному задорный, мальчишеский вид. Он стоял, прочно расставив короткие ноги, и тоже искал глазами кого-то. Вот он заметил Петина и Дину, заулыбался, замахал рукой.

— Вячеславу Ананьевичу большевистский привет! — громко выкрикнул квадратный неожиданным для его массивной фигуры тоненьким голосом.— Супруге низкий поклон!

— С прибытием!— кричал высокий.

Небрежным, привычным жестом он прикладывал два пальца к виску, и от этого казалось: на нем не кепка, а морская фуражка и он по-флотски отдает честь.

— Видишь, Дина, какая нам встреча... Сам выехал,

— Литвинов? — Женщина переводила взгляд с одного на другого.— Который же из них?

— Низенький, конечно.

— Ах, этот! — Она была разочарована.

Начальник Оньстроя Литвинов, о котором и дома, в Москве, и по дороге было столько разговоров, представлялся ей совсем другим. Она ожидала увидеть располневшего, холеного, сановитого человека, говорящего густым басом, этакого стареющего льва, а этот скорее походил на вышедшего в тираж борца. Вспомнилось вдруг, как в Старосибирске кто-то из обкомовцев, провожавших Петина, рассказывал, как Литвинов перед началом стройки заказал в одной из артелей литую чугунную доску с надписью: «Онь, покорись большевикам!», а потом, поднявшись на вертолете над рекой с какими-то комсомольцами, опустился к сужению между утесами Дивный Яр и Бычий Лоб и сбросил эту доску в воду на траверзе створа будущей плотины. Вячеслав Ананьевич, слушая это, только улыбнулся. Но Дине понравилось. Теперь она усомнилась: так ли, могла ли этому комоду в бобриковой куртке прийти на ум такая смешная и все-таки романтическая затея? Наверное, хрипун, анекдотчик, матерщинник... И как это несправедливо, что он будет возглавлять строительство, а талантливый, энергичный Вячеслав Ананьевич, с его современным мышлением, с его ясным умом, будет играть вторые роли!

Теперь, когда гидромониторы задавили пожар и с обезображенной кормы доносилось лишь потрескивание обугленных досок, утюгоподобное судно, маневрируя, стало приближаться к пароходу. Можно разглядеть уже и лица встречавших. У Литвинова оно крепкое, с грубо очерченными скулами. Крутой невысокий лоб нависает над маленьким, коротким носом. Узкие, широко посаженные глазки смотрят из-под кустистых желтовато-серых бровей. Рот большой, плотно сомкнутый, а тяжесть круглого массивного подбородка как бы смягчается еле заметной продолговатой ямкой, разделявшей его на две половинки. «Грубейшая физиономия! — удивилась Дина.— Но что же придает ей такое своеобразное, не то насмешливое, не то озорное и даже ироническое выражение? Вероятно, эти глубокие полукруглые вертикальные морщины, в которые, как в скобки, взят рот».

— Молодец, не побоялась таежной жизни! — тоненьким голосом кричал Литвинов.— Уважаю храбрых... дам.

Ты будешь у нас тут как Белоснежка среди гномов... Мы вот с ним, с Ладо Ильичом,— он толкнул в бок стоявшего рядом с ним высокого человека,— мы вам тут палатку «люкс» оборудовали, куда там и «Метрополь»! Так, Ладо?

Высокий брюнет сдержанно улыбался. Дина подумала: вероятно, не одобряет грубоватой шутливости Литвинова и его «ты», обращенного к женщине, которую он первый раз видит. И она с благодарностью посмотрела в серьезное продолговатое лицо, на котором черные усики казались, однако, лишними. А между тем Литвинов продолжал кричать, не обращая внимания, что к нему прислушиваются и другие пассажиры:

— ...Про тайгу-то, наверное, там страхов наслушалась? Медведи по улицам бродят, да? Весной, верно, забрел тут один бедняга, с голодухи. Наш шум-гром его, должно быть, из берлоги поднял. Баранью тушку с саней спер... Больше не заходил, милиции боится. Может, думаете, у нас милиции нет? Есть, хватает... Мы теперь не какой-нибудь там паршивый почтовый ящик, мы — «Оньстрой». Имя-то какое для себя сочинили — не пообедав, и не выговоришь: «Оньстрой»!

Дина искоса посмотрела на мужа. Собранный, сдержанный, не допускавший сам и не одобрявший в других чрезмерной общительности, он, видимо, с трудом выжимал на лицо улыбку. «Ах, как ему будет тяжело с этим хамоватым старым болтуном!» Но она тоже старалась выглядеть как можно приветливее: провинциалы, что с ними сделаешь!

Между тем солнце поднялось довольно высоко. Снова чистое, будто выметенное от облаков, небо сияло бледной голубизной. Скалы, нависшие над водой, потеряли ночную зловещую хмурость. Четко, до последней самой малой складочки очерченные солнечными подсветами, они оказались обрамленными поверху кромкой хвойных деревьев, которые чуть подальше как бы сбегали по распадку к самой воде веселой лохматой толпой.

А большой остров, на который матросы на лодках, а рыбаки на челнах и дощаниках продолжали теперь уже неторопливо эвакуировать пассажиров и их имущество, одетый курчавой шубою леса, сиял гаммой теплых красок — багровой, коричневой, бурой, ярко-желтой, которую редко, лишь тут и там, пронзали синеватые вершины елей. Над мокрой палубой, над черным пожарищем,

переливаясь в воздухе, зыбилось марево, и сверкающие паутинки медленно плыли в блеклой голубизне над старым, искалеченным пароходом.

Матросы опускали на катер носилки с раненой женщиной. Черноглазая Ганна суетилась тут же. Она держала Миньку на руках, а Поперечный и Сашко несли какие-то мешки и свертки, о которых раненая, казалось, беспокоилась теперь даже больше, чем о сломанной ноге и о сыне. Страшная ночь сроднила Дину с этой семьей, и она бросилась было к ним, но утюгоподобное суденышко коснулось борта, и старый пароход вздрогнул.

— Дорогая, пошли, нас ждут,— мягко произнес Вячеслав Ананьевич, беря жену под руку, и попросил Пшеничного: — Юра, если это вас не очень затруднит, пошефствуйте над вещами.

Не дождавшись, пока закрепят чалки, Литвинов с какой-то грузной, совершенно неожиданной для него грацией перепрыгнул на пароход, стиснул руку Дине так, что она едва сдержала вскрик боли, а потом обнял Вячеслава Ананьевича и трижды со старозаветной чинностью поцеловал его со щеки на щеку.

— Ну, спасибо. Ух, как мне тебя не хватало. Столько времени тройкой работал — сам в корню да две ляжки в пристяжке... Теперь закипит каша! — Он подтолкнул к Петину высокого: — Парторг наш, Капанадзе. Ладо Ильич. Моряк. Крейсер его распилили, на сухопутье он еще не во всем у нас разбирается, но свистать всех наверх умеет, не разучился. Здорово свищет!

Капанадзе, так же сдержанно улыбаясь, снимал папиросную бумагу со свертка, который держал в руках. Это был букет— полевые цветы, подобранные, однако, с таким вкусом, что они выглядели как садовые.

— Это вам от моей Ламары,— с явным грузинским акцентом произнес Капанадзе и поцеловал Дине руку.

— Ах, какая она милая, но когда же она успела, ведь вы же ехали к нам на помощь?

— Нет, мы просто все ждали вас на пристани. И сынишка наш Григол был с нами, но ваш пароход дал SOS, и торжественную встречу пришлось отменить...

Тем временем Литвинов уже успел обежать пожарище, потолковать с капитаном, грузно сидевшим все на том же месте. Теперь он что-то кричал в сложенные рупором руки смуглому человеку, похожему на беркута. Дина прислушалась.

— ...Так мы ее к тебе, Иннокентий Савватеич, подкинем. А? Ненадолго... Чего? Нет, кажется, бабенка свойская.

Дина так и вспыхнула. Да как он смеет, кто ему позволил! Но то, что она услышала дальше, как-то примирило ее с Литвиновым.

— Да нет, хлопот тебе особых, думаю, не будет. Это ведь не всякая, как когда-то княгиня Волконская, решится вслед за мужем двинуть «во глубину сибирских руд».

А кто этот, с профилем хищной птицы, к которому ее собираются «подкидывать»? Наверное, какое-нибудь местное начальство. Рыбаки слушаются каждого его слова... «Княгиня Волконская». Придумает старый чудак!.. Дине вспомнилась некрасовская поэма, отважная женщина несется в кибитке по диким степям, по таежным дорогам. Старый губернатор мучает ее на станции... Всепобеждающая сила женского обаяния... «Нет, он не так уж и прост, этот самый комод. Только трудно, ох трудно будет с ним Вячеславу Ананьевичу!» Вон они стоят рядом. Литвинов все что-то говорит, а муж терпеливо кивает. О чем это они? А, о каком-то инженере Надточиеве. Странная фамилия, но вроде бы она уже знакома... Что они там говорят?

— Я, Федор Григорьевич, его знаю. По-моему, все-таки несерьезный человек,— произносит Вячеслав Ананьевич.

Густые, сросшиеся брови Литвинова вздрагивают, лезут вверх по крутому, нависающему над переносьем лбу. Синие, очень синие глаза пытливо смотрят на собеседника, нижняя губа капризно оттопыривается.

— Долго работал с ним?

— Да не очень.

— От языка его пострадал? — Насмешливые скобки возле рта становятся заметнее.

— При чем тут язык?.. Мы разошлись в вопросах принципиальных. Инженер Надточиев однажды позабыл, что мы живем в социалистическом государстве, и мне, как коммунисту и как старшему по работе, пришлось объяснить ему...

— Ах вот как! — Скобки на щеках углубляются.— Ну, Вячеслав Ананьевич, тут мы с вами этого ему забывать не позволим. У нас есть такие возможности.— Литвинов говорит серьезно, но в этих словах Дине почему-то

чудится усмешливая интонация, с какой взрослые говорят с детьми. И тут она вдруг вспоминает, что странную фамилию Надточиев она слышала от мужа и что он даже предупреждал, что будет на строительстве этот литвиновский сателлит, которого начальник таскает всюду за собой и даже, как говорят, готовит себе в заместители... Ой, сколько сложностей ожидает здесь Вячеслава Ананьевича с его непримиримостью, принципиальностью, с его требовательностью и прямотой!

С пострадавшего парохода впятером, сопровождаемые Пшеничным, спускаются они в небольшой катерок, на котором у руля ждет их человек с профилем беркута. Пассажиры почти все перевезены на остров. Видно, как там их сажают в большие автобусы, присланные со строительства. Пострадавший пароход похож на покинутое пожарище. Несколько человек бродят по палубам, разыскивая потерянные в суматохе вещи. Из какой-то каюты слышен женский плач... Пережитые страхи еще веют в воздухе. Запах гари окружает судно. Дина старается не оглядываться.

— А это хозяин острова Кряжо́й, председатель колхоза «Красный пахарь» Иннокентий Савватеич Седых,— представляет Литвинов человека на катере.

Седых, ни слова не говоря, кивает головой. На нем фуражка военного образца, гимнастерка, перехваченная офицерским поясом. Лицо, смуглое от природы, загар сделал бронзовым, и, когда он снимает фуражку, чтобы посигналить шоферу, осторожно спускающему к мосткам пристани большой черный лимузин, на лбу становится видна резкая граница загара, а в темных волосах седина, блестящая как иней на угле.

— Миллионер, но жила страшный,— продолжает Литвинов.— У него, как говорится, в крещенье снега не выпросишь... Клуб-то как, все строишь, Иннокентий Савватеич?

И Дина почему-то угадывает за этим простым вопросом какой-то другой, более значительный.

— Строю, Федор Григорьевич, строю...— неохотно отвечает он.— Все, что колхозу надо, все, что правление утвердило, все строю.

— Вот и пустишь колхозные деньги на ветер.

— А это из завтрева посмотрим, оттуда-та видней.

— И Тольша твой говорит, что зря. Строили бы, говорит, сразу у нас в Ново-Кряжове...

— Мы его на собрании за эти разговоры так выпарим, этого Тольшу, до новых веников не забудет.— Привычными движениями, почти не смотря на реку, Седых направлял катер, и быстрое суденышко, не сбавляя скорости, послушно маневрирует, обходя невидимые мели.

Суть разговора Дина не уразумела, но поняла, что этих двух, таких непохожих людей — начальника грандиознейшей стройки и председателя островного колхоза — связывают не только деловые отношения.

У длинных дощатых мостков, возле которых, как рыба на кукане, толпились лодки, навстречу катеру вышел коренастый человек в кожаной куртке, державший в руке кожаные перчатки с крагами. Двигаясь с этаким развальцем, он перемещал свое грузное тело так, что даже вода не хлюпала под прогибающимися досками причала. При этом на толстом лице его, в карих выпуклых глазах, на ярких губах сохранялось добродушное, плутовское выражение.

— Разрешите доложить,— сказал он не то шутливо, не то всерьез, вытягиваясь на мостках перед Литвиновым,— комната для них,— он кивнул головой в сторону прибывших,— готова. Обед Глафира собрала: уха, пельмени, шанежки — дух на всю улицу. Горючее, как было приказано, подброшено в должном количестве.

— Забери вещи, разместишь в багажнике. Иннокентий Савватеич довезет молодого человека,— Литвинов показал на Пшеничного.

— Яволь! — ответил человек в кожанке с «молниями».

И, ловко подхватив все четыре чемодана, два держа под мышкой, а два в руках, быстро стал взбегать по глинистым ступенькам, вырубленным в береговой круче.

— Мой водитель. Все зовут Петрович, имя и фамилию, наверное, сам забыл.— Литвинов ласково поглядел вслед шоферу, скрывшемуся за гребнем откоса.— Из блохи голенище скроит, а уж как поет... Вот подождите, за обедом...

Говоря это, Литвинов тянул Дине с мостков коротко-палую, поросшую волосом руку. Но, не успев принять ее, женщина оступилась. Вскрикнула и полетела бы в воду, если бы руки, крепкие как железо, не схватили ее под мышки, не подняли, как казалось, без всяких усилий, не пронесли бы по мосткам и бережно опустили уже на берегу. Она не поняла даже, как это получилось, а Лит-

винов, будто бы ничего не произошло, уже вернулся на мостки и принимал с катера бледного, не оправившегося еще от испуга за жену Вячеслава Ананьевича.

В машину начальник строительства втиснулся на переднее сиденье, а Петрович, открывая перед Диной заднюю дверцу, ласково, даже слишком уж ласково поглядывая на нее, сказал:

— Битте дритте!

5

Воздушный путь из Москвы для Петиных прошел незаметно. Вскоре после того, как поднялись в воздух, Дина уснула и проснулась, когда воздушный лайнер, подняв в небо стрельчатое крыло, круто разворачивался над аэродромом. Пожилой летчик, стоя в дверях рубки, улыбался:

— Поздравляю с прибытием в аэропорт Старосибирск.

И люди как ни в чем не бывало, как на какой-нибудь подмосковной остановке Болшево или Монино, торопливо надевали плащи, суетились с ручным багажом, как будто за ночь и не проделали путь, на который когда-то Антону Павловичу Чехову понадобился не один месяц. И, даже не чувствуя дорожной усталости, Дина торопливо прибирала сбившиеся во сне волосы, красила губы, улыбалась каким-то незнакомым, плотного склада людям, встретившим их у трапа. Двое суток, проведенные на злополучном «Ермаке», она тоже прожила как бы вне времени. И только очутившись на острове Кряжом, в чистенькой, непривычно обставленной комнате, именовавшейся в доме Седых светелкой, она почувствовала, как же далеко от родных краев занес ее самолет за одну короткую ночь: начала мучить поясная разница времени.

Дом Седых засыпал. Из-за стены слышался натруженный храп Иннокентия. Мягко ступая в своих толстых шерстяных чулках, Глафира, погремев поленьями у печки, пошуршав лучиной, обходила комнаты, щелкала выключателем и сразу стихала, будто растворялась во тьме. Вместе со светом луны, клавшей на пол синий, мерцающий коврик, с улицы то тихо, то громко начинали доноситься песни: молодежь еще гуляла. Но вот и они стихали. Осторожно звякнуло кольцо калитки, в сенях скрипнули половицы, послышался приглушенный

шепот. Это, чтобы не разбудить отца, раздевались, опоздав, дети Иннокентия — Василиса и Ваньша. На цыпочках добирались до своих кроватей, и вот уже слышалось здоровое, сонное их дыхание.

Гармонь, побродив еще по селу, тоже смолкала. Начиналась первая перекличка петухов. И она обрывалась на отрывистом выкрике какого-то запоздалого петушишки, а московская гостья все ворочалась в своей перине, и сон, объявший огромное село, обходил ее.

Так лежала она с открытыми глазами до вторых петухов. Зато просыпалась, когда день был уже в разгаре, солнце вкатилось в невысокий осенний зенит, освещало вдали утес Дивный Яр, хорошо видный с Кряжого в погожий день, а за окном лишь куры пылили.

Приезжала из-за реки Василиса. Принималась торопливо накрывать на стол к обеду. Это была та самая белокурая красавица с толстой косой и нежным румянцем на крепких щеках, которая, принимая людей с парохода в челн, не подала руку человеку, отнявшему у Дины спасательный пояс.

Московская гостья сразу прониклась симпатией к этой то не по летам рассудительной, то по-детски наивной, то веселой, то задумчивой девушке, и та со спокойным достоинством приняла предложенную дружбу. В доме смуглых, суховатых, подвижных Седых была она, как сама говорила, «белой вороной». При светлом лице, не принимавшем почему-то загара, при нежном румянце щек руки у девушки были большие, с жесткими ладонями, с загрубевшей кожей, растрескавшейся на кончиках пальцев.

Как-то с утра завязался и весь день шел обложной дождь. На уборку в Заречье не плавали. Дина весь день провела с Василисой и за это короткое время узнала о сибирской природе, о здешних обычаях столько, что перед ней, уроженкой Центральной России, выросшей к тому же в самой Москве, стал открываться новый мир. Но дождь на следующий день кончился так же сразу, как начался. С рассветом Седых отплыли на заречные поля, и женщина опять осталась одна в почти пустом селе.

Но ей все-таки везло. Во дворе, в приземистом, рубленном из бревен сооружении с толстой дверью на ста-

ринных кованых петлях поселился прибывший на том же злополучном «Ермаке» старосибирский археолог.

— Онич. Станислав Сигизмундович Онич, ниспосланный вам судьбою сосед,— рекомендовался он московской гостье, церемонно шаркая ножкой, обутой в здоровенный резиновый сапог.

Он тут же объявил, что он внук польского ссыльного поселенца Онджиевского, а по линии матери праправнук декабриста Бестужева-младшего. Посылая отсюда корреспонденции в варшавские и московские либеральные газеты, польский ссыльнопоселенец подписывал их Онич, что означало живущий на реке Онь. Станислав Сигизмундович — последний из Оничей, ибо он холост. Он научный сотрудник областного музея, работает над диссертацией о первых русских поселенцах в этом крае, а сейчас спешит собрать по пойме реки исторические экспонаты, ибо все это,— он повернулся, обводя окрестности маленькой ручкой,— в недалеком времени станет дном нового, Сибирского моря.

— ...Которое будет, правда, поменьше Каспийского, но побольше Азовского. Да, побольше Азовского, именно, именно.

Маленький, обезьяноподобный, многословный и восторженный, Онич вообще-то, вероятно, был опасно болтливым собеседником, так как даже любопытная Василиса пряталась от него. Но своеобразный край, в который Дина попала, все больше захватывал ее, и она представляла для археолога благодарнейшую аудиторию...

Вот и теперь, после того как глухо отстукали и стихли вдали моторы колхозных баркасов, увозивших людей на заречные поля, Дина, быстро расправившись с оставленным для нее завтраком, вышла на дощатый замкнутый двор, окруженный со всех четырех сторон домом и хозяйственными постройками. Онич сразу же возник из-за своей двери. Он шел к ней многозначительной пританцовывающей походкой, что-то пряча за спиной.

— Дина Васильевна, приготовьтесь быть потрясенной до глубины души.— Он вытянул руки с железной полосой, изъязвленной ржавчиной.— Монгольский меч тринадцатого века. Его мне вчера прислал Тольша. Они роют силосные ямы и на глубине двух с половиной метров вскрыли чрезвычайно интересное погребение знатного воина. Тольша написал...

— Какой Тольша?

— Как какой? Здешний колхозный агроном. Это же он строит в тайге на реке Ясной Ново-Кряжово.

— Какое Ново-Кряжово?

— То есть как какое? Живете здесь уже несколько дней и не знаете. Новое, социалистическое село. Его так, конечно, не называют, его называют просто молодежной бригадой «Красного пахаря». Так вот, представьте себе, они раскопали древнее погребение. Богатое погребение, каких тут еще не находили... Но пока прислали только этот чудесный меч.— Он любовно осматривал ржавую железину.— Вы знаете, как он его сюда прислал? В футляре охотничьего ружья, обложив соломой. Умница. Именно, именно, редкий умница...

— Кто умница?

— Ах, вы надо мной смеетесь! Ну он же, конечно, Анатолий Субботин, по-местному Тольша. Жених нашей Василисы Прекрасной. Не правда ли, ей очень идет это имя: Василиса. Именно, именно. Между прочим, Дина Васильевна, я не сделал сегодня одного важного дела — я еще не поцеловал вашу ручку, мой предок никогда бы мне этого не простил...

Осторожно положив железину на помост, Станислав Сигизмундович вытер правую руку о полу гулкого брезентового плаща и, приложившись к руке Дины толстыми теплыми губами, задержал их дольше, чем того требовал рыцарский этикет.

— Мои кадры сегодня в поле. Седых услышал: приближаются заморозки, и мобилизовал даже ребят. Вплоть до пятиклассников. Копать не с кем, и я весь в вашем распоряжении. Именно, именно, распоряжайтесь мной как хотите,— и, загремев плащом, он снова шаркнул ножкой.

— Я очень рада,— искренне отозвалась Дина.

Тут, на этой таежной реке, несущей чистые холодные воды с Саянских хребтов с такой быстротой, что, если пристально смотреть на них, начинало казаться, будто бы не вода, а остров, как корабль, несется навстречу, она за несколько дней увидела столько, что о московской квартире, где сейчас жила ее мать, вспоминала только вечером, перед тем как утонуть в своей жаркой перине. Все тут поражало масштабами. Неожиданное стояло сразу же за воротами двора, набранными по-старинному, «в елочку», замыкавшимися тяжелым засовом.

Когда-то до войны, девочкой, Дина выезжала в Под-

московье в пионерский лагерь. После рабочего общежития Трехгорки, где ее семья занимала комнату, все там казалось чудесным: и изрезанная золотыми косами речка, и луга, огороженные изгородями из жердей, и сосновый бор, и веселые перелески белых березок с мягкой трепещущей листвой, напоминавшие ей толпу девушек на школьном выпускном балу, и жаркий воздух под соснами, остро пахнущий богородской травкой. Дина, босая, с исколотыми ногами, в трусах, в красном галстуке на белой блузке, готова была от восхода и до заката бегать по теплому песку, по скользкой лесной хвое, вдыхать запах смолы, приходить в восторг от каждой грозди светлой, неспелой, еще только начинавшей румянеть брусники и вставать с рассветом, чтобы посмотреть, как гаснет на зеленоватом небе последняя звезда. Огромным, ярким, щедрым казался ей лесной мир!

Тут, в Сибири, он вспоминался маленьким, бедным. И село Кряжое с его крытыми дворами и отдаленно не напоминало бревенчатые деревни ее родных краев. И дом Седых был не дом, а именно дощатый двор, образованный обступавшими его постройками. Только фасад жилой избы с шатровой четырехскатной крышей да ворота выходили на улицу. Справа — коровник, слева — конюшня, а в глубине — амбар, где живет Онич, и рядом шоха — драночный навес на столбах, где сейчас сушатся сети, висит рыбачья снасть. Все крепкое, рубленное на века. У каждой двери кованые пробои для замка. А снаружи все: и оконницы, и коньки крыш, и ворота — оторочено кружевом грубоватой деревянной резьбы.

— Кержацкое село, староверы хозяева,— рассказывал Онич.— У них каждая копейка рублевым гвоздем была прибита. От высланных сюда духоборов село пошло. Помните, как-то Некрасова цитировал?

И хрипловатым голосом Онич декламировал:

Горсточку русских сослали
В страшную глушь за раскол.
Волю и землю им дали,
Год незаметно прошел.
Едут туда комиссары,
Глянь, уж деревня стоит,
Риги, сараи, амбары,
В кузнице молот стучит.
Так постепенно, в полвека
Вырос огромный посад,
Воля и труд человека
Дивные дивы творят...

— Вот именно, именно, дивные дивы. Мы, чалдоны, народ особенный, крепкий народ. Крепостного права здесь не было, вольно жили. И отбор. Именно, именно, по Дарвину: больной, хилый, малодушный — он сюда не доходил, в дороге помирал. Только сильные телом и духом тут на землю садились...

Село тянулось по хребту острова. Вольно, на отлете друг от друга стояли дворы-крепости, отделанные с внешней стороны резьбой, когда-то покрашенные. Теперь краска обветрилась, облупилась, но село хранило опрятный вид, и на воротах одного из дворов хозяин даже изобразил темный силуэт всадника в папахе, скачущего по горам на фоне голубых небес, скопировав его с коробки папирос «Казбек».

— А все-таки мрачновато — эти глухие заборы, ворота, засовы,— говорила Дина своему спутнику.— То ли дело наши среднерусские избы — палисаднички, черемухи, изгородки из жердей, колодезные журавли...

— Бытие определило сознание, Дина Васильевна. Нелегкое бытие. Тут в прежнее время мужик в дальний путь без топора не выезжал. Именно, именно, просто нельзя было. Думаете, зря про бродяг столько песен?.. А вы знаете, вам страшно идут эти, простите, брюки. Я терпеть не могу, когда женщины этот мужской предмет надевают, но при вашей фигуре...

— Спасибо за комплимент, но вы говорили о сибиряках.

— Боже, какой комплимент! Это лишь констатация абсолютной, не нуждающейся в доказательствах истины. Если бы существовали дуэли, боюсь, как бы четверть населения Дивноярского с вашим появлением не пала бы, «стрелой пронзенная».

— Вы, кажется, сказали, что у Василисы есть жених?

— Так считает колхозная общественность. Именно, именно, во главе с ее почтенным папашей Иннокентием Савватеичем. А вот считает ли так сама девица, я, как историк, привыкший анализировать лишь свершившиеся факты, сказать не могу. Для Иннокентия этот брак прежде всего династический. Тольша — отличный агроном, сын его старого друга. Иннокентий просто влюблен в этого парня и собирается его таким образом навечно приковать к своему «Красному пахарю», чтобы со временем передать ему скипетр и державу. Но это, конечно, рабочие гипотезы, не больше. Василиса все как-то ухо-

дит от разговоров. Она мне сказала: «Пять лет в институте, а за пять лет тут города настроят. Мало ли что будет». Но вот сейчас срезалась по немецкому, и сей вопрос, очевидно, встал на повестку дня.

— Неужели насильно замуж выдадут? — спросила Дина, которую болтовня археолога встревожила. Уж очень необыкновенной казалась ей эта девушка.

— Мамина-Сибирячка начитаться изволили?— усмехнулся Станислав Сигизмундович.— Да тут, на Они, и в прежние времена женщиной не командовали... Мало их было, женщин. Одинокой баба остаться не боялась, сейчас же другой с радостью возьмет... Насильно...— Онич смеялся тонким, икающим смехом, смеялся так, что даже вспотел его лысый выпуклый лоб, а штопорки волос тряслись.— Тут, на Они, знаете, обычай был — окунание. Вот если муж жену раз побил, два побил, три побил,— женщины соберутся, поймают его, мешок на голову, веревку под мышки и в прорубь. Раз окунут, другой окунут, третий, а потом вытащат и разбегутся... Помогало. Именно, именно, и еще как! Без всяких восьмых мартов равноправие установили, а сейчас,— Онич пригнулся к уху собеседницы,— мне тут один человек говорил, будто Иннокентий и эти молодежные выселки-то на Ясную — это самое Ново-Кряжово — затеял, чтобы их свести, Василису и Тольшу... Только вряд ли что выйдет, не очень-то теперешняя молодежь за родные дома держится. Едва оперится, взмахнет крылышками и куда-нибудь в город — фюйть...

— Красивые у нее глаза, у Василисы: голубые, чистые-чистые,— задумчиво произнесла Дина. Они шли больше часа, а перед ними все еще развертывалась та же улица, все такие же дворы-крепостцы, огороды за ними, а дальше, будто бы вовсе не приближаясь, маячил сизый гребень леса, сквозь который то справа, то слева посверкивала река.

— Ваши глаза лучше! — воскликнул Онич.— У вас они как окна на болотах, знаете? Чарусами их здесь зовут. Этакое маленькое, крохотное зеркальце среди яркой зелени, а наклонишься — и засосет.

В этот день они дошли до конца острова. Осмотрели массивные четырехугольные срубы с продолговатыми, на три стороны выходящими амбразурами: острожки стрелецких застав времен Ивана Грозного. Лазили через бойницы внутрь срубов, и археолог рассказывал, что,

когда граница государства Российского отошла на восток, эти острожки превратили в тюрьмы, и в разное время тут томились в заключении известные истории люди. Щелкнув кнопкой карманного фонарика, Онич высветил на черных, в полтора обхвата, грубо отесанных бревнах вырезанные на них славянской вязью, заплывшие плесенью надписи, знаки, четырехплечие раскольничьи кресты. Дина ничего не разбирала, но он читал эти надписи по памяти и вслух мечтал, что теперь, когда сюда подойдут воды будущего моря, ему удастся вывезти эти острожки и другие памятники в Старосибирск, собрать их там где-нибудь в парке на оньском крутоярье на обозрение грядущим поколениям.

— Так все же развалится,— сказала Дина, с любопытством следя за поворотами луча фонарика.— Здесь же все такое старое, ветхое.

— Ветхое? — Онич залился икающим смехом, потом достал откуда-то из-под гремучего плаща маленький охотничий топорик, дал Дине.— Ударьте по бревну, ударьте как можно сильнее. Ничего, ничего, ударьте вот хотя бы по нижнему венцу.

Дина ударила и почувствовала в руке боль отдачи. Археолог снова как бы заикал, отделяя одно «хе» в своем смехе от другого.

— Это же лиственница. От времени и воды она еще больше каменеет. Тут все крепкое. У Иннокентия отец — хромой Савватей, вы его не знаете, он сейчас на пасеке живет. Интереснейший экспонат. Ему, наверное, под восемьдесят, а он в позапрошлом году медведя убил. Правда, при курьезных обстоятельствах, но убил. Я сам окороком от того медведя закусывал. Именно, именно, закусывал...

Домой они добрались, когда солнце уже опустилось за Дивный Яр. Утес издали казался позолоченным от подошвы до скалистой вершины, и Дина даже разглядела на ней лохматую сосенку, будто крохотное темное облачко, вставшее на якорь.

Хозяева были дома. В открытом окне виднелось суховатое лицо Глафиры с каким-то монастырским, морковного цвета румянцем на смуглых щеках. Седых кричал по телефону: «...Да не подведем, не подведем! Не дергайте только, дайте хоть денек без вожжей поработать... Как обязались — все будет... Сверх? Ишь ты! Нет, такого слова я не даю, чтобы сверх обязательств. Дудки!

За чужеспинников «Красный пахарь» работать не будет. Не будет, говорю!» На крыльце, сбросив свитер и кофточку, у глиняного рукомойника с шумом умывалась Василиса. Онич залюбовался красиво очерченной длинной шеей, покатыми плечами, полными руками девушки. Некоторое время, смывая мыло, она не замечала его. Потом перехватила восхищенный взгляд и, быстро накрыв плечи полотенцем, приказала сердито:

— Ступайте, ну!

И болтливый человек этот, к удивлению Дины, послушно засеменил к своему амбару.

— Бурундучок,— презрительно сказала Василиса и тут же, как-то мгновенно преобразив красивое лицо, растянув рот, выпятив верхние зубы, очень похоже изобразила Станислава Сигизмундовича.

— Бурундучок?

— Ну да, зверюшка такая есть,— пояснила Василиса, и Дина снова обратила внимание на привычку девушки примечать в облике окружающих ее людей черты зверей, птиц, домашних животных. Так, про Глафиру она сказала «выпь», про Петровича — «барсук» и пояснила: осенью барсуки бывают жирные, почесаться ленятся, и очень прожорливы.

— А я на кого похожа? — спросила Дина, когда они входили в дом.

Василиса повесила на деревянный гвоздь полотенце, положила на полочку мыльницу, зубную щетку и, румяная, свежая, смотрела на гостью, не тая смешинок в голубых глазах... «Нет, Николай Кузьмич, это не резон,— кричал в трубку Иннокентий Седых,— кто с сошкой, а кто с ложкой, какой же это социализм? Социализм — это когда по труду. Учил, знаю... Не я, не я, а эти твои сводочники той самой средней цифрой колхозы режут. По обязательству сдам, больше не взыщи. Мне строиться надо. А райком что? Ну, зови на райком. Только я ведь и в обком дорогу знаю...» Седых положил трубку и плюнул в сердцах.

— Опять за лежебок сдавать? — спросил Ваньша, снимавший с рук темную маслянистую грязь намоченной в керосине тряпкой.

— Не твое дело. Учись помалкивать. Дед правильно рассуждает: кто говорит, тот сеет, а кто слушает, тот собирает. Лучше помоги Глафире чугун перетащить.

Василиса все еще смотрела на Дину, а та ждала. Ей

почему-то хотелось услышать, кого напоминает она этой девушке.

— Ну так что же?

— Не обидитесь?.. Нет, все равно не скажу.— И Василиса потянулась к шкафчику доставать тарелки, приборы, перец, соль...

В субботу под вечер приехал со стройки Вячеслав Ананьевич. Дина вся засияла, когда он появился в дверях. Она немедленно потащила его смотреть село, стала рассказывать то, что сама за эти дни узнала от Онича и Василисы. Он слушал рассеянно, погруженный в свои заботы. Потом они сидели под соснами, под самым обрывом, на узловатых корнях, смотрели тихий закат, предвещавший на завтра хорошую погоду. Комары столбом толклись в воздухе. Дина все говорила и говорила, а муж слушал и не слушал, и на лбу его резко обозначались вертикальные складки.

— А мои дела тебя совсем не интересуют? — вдруг спросил он, отмахиваясь от комаров.

— Да, да, конечно. Как ты там, как устроился? Как твои новые сотрудники? Кто этот чудной Литвинов?

— Он не чудной, милая... Что он, кто он — еще точно не знаю, одно ясно: в аппаратных делах — шахматист, на пять ходов вперед все предугадает.

— Что? Уже начал мешать? — встревоженно спросила Дина.— Выдыхающиеся старики всегда очень самолюбивы, боятся, как бы их не затмили... Это? Да?.. Умоляю, будь осторожен.

— Нет, он мне пока не мешает,— усмехнулся Петин.— Я ему нужен. Как говорит Юра Пшеничный, он хочет питаться моими мыслями, моими идеями, выдавая их за свои... Со мной необычайно любезен, заигрывает. Но стоило мне подать ему список людей, которые мне здесь позарез нужны, сразу сказал: «Терпеть не могу работников с хвостами...» Но Юрия, Гурьянова, Власова, которые уже приехали, принял. Между прочим, Юрий его уморительно изображает. Вот приедешь, покажем.

— А как наша палатка «люкс»?

Вячеслав Ананьевич чуть улыбнулся:

— Тут он выкинул номер. Достроили его коттедж, и вот он сделал жест: уступает его нам, а сам остается в палатке... Так, во всяком случае, мне велено передать тебе вместе с нижайшим поклоном.

— Ой, как это мило!

— Мило? Дина, ты у меня совсем ребенок.— Вячеслав Ананьевич погладил ее по плечу.— Мы бы не были с тобой марксистами, если бы под этими милыми надстройками не видали базиса. А базис, моя дорогая, есть. Этот самый почтенный Литвинов, видишь ли, возмечтал в рекламных целях построить этакий социалистический город Дивноярск: проспекты, площади, стадионы, даже троллейбусы. Ни больше, ни меньше: троллейбусы в тайге. Ну и ничего путного, понятно, не построил. Вот и хочет снова зимовать в палатке Зеленого городка, «не отрываясь от масс», чтобы ему за эти затеи не воздали по заслугам. Маневр: несу тяготы вместе с народом... Отсюда и этот жест: авось поверят, что он это сделал, воздавая тебе должное.

Все, что сказал Вячеслав Ананьевич, было резонно. И все-таки Дина огорчилась: иногда приятно заблуждаться. Но муж был мил, внимателен, любезен с хозяевами, остался ночевать. Щедрый хозяйский дар — фамильная перина Седых была немедленно сброшена на пол. Дина уснула хорошо, крепко, и проснулась, когда муж уже уехал, а хозяева ушли на работу. Поднявшись, она нашла на столе записку: «Ждут дела. Постараюсь форсировать твой переезд. Ежевечерне буду звонить по телефону. О моих трудностях не думай. Нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики».

Вечером, когда баркасы привезли колхозников с заречных полей, Дина вновь завела с Василисой вчерашний разговор:

— ...Ну а муж мой на кого похож?

Девушка сегодня так устала, что даже отказалась от ужина. Она, видимо с трудом, улыбнулась.

— Про него не знаю, а вы... Диночка Васильночка, вы не обидитесь?.. Вы похожи на кошечку, на красивую кошечку, которую хочется погладить.

— На кошечку? — В вопросе прозвучало недоумение.

— Ну вот вы и обиделись,— вяло сказала Василиса, по-видимому совсем этим не огорченная. Встала, потянулась.— Уж я сейчас и засну!.. Спокойной ночи.

«Кошечка — и с чего она взяла?» — раздумывала Дина, ворочаясь в своей перине. Лежала с открытыми глазами, слушала разноголосый храп, доносившийся из-за переборки, пиликанье сверчка, звучное шлепанье капель, падавших в лохань, и все представлялась ей пушистая кошка с розовым бантом и такие же лохматые

котята, вылезавшие из соломенной шляпы, представлялась с той литографской отчетливостью, с какой они были изображены на картине, висевшей в овальной раме в их московской гостиной. Эту картину Вячеслав Ананьевич берег как память о завершающем этапе войны, и Дина мирилась с ней, хотя мохнатая эта идиллия была ей не по душе.

Краткий приезд мужа так много сразу напомнил, что сон в эту ночь упорно обходил ее. За пять с лишним лет совместной жизни они ни разу надолго не разлучались, и теперь она скучала по Вячеславу Ананьевичу: образовалась какая-то пустота, которую ничто не могло заполнить и которая все больше напоминала о себе.

В сущности, Вячеслав Ананьевич появился в ее жизни, когда она была еще девчонкой. Они с матерью получили тогда, почти одновременно, две похоронных, в которых говорилось, что ефрейтор Василий и рядовой Владимир Захаровы, ушедшие с фабрики в московское ополчение, пали смертью храбрых в боях за город Вязьму. Дина еще никак не могла освоиться с тем, что отца и брата больше нет в живых, а тут немецкая авиабомба развалила то крыло огромного общежития текстильщиков, где они жили.

В военной Москве оставшихся без крова вселяли в пустовавшие квартиры. Ткачиха с дочерью получила ключ от жилья инженера, находившегося где-то в эвакуации вместе со своим институтом. Они заняли маленькую комнатку, предназначенную для домашней работницы, а фабком прислал им сюда две железные койки, пару табуреток, столик со шкафчиком. Было не до удобств, и осиротевшая семья считала бы, что устроилась неплохо, если бы не тягостное ожидание владельца квартиры. Ничего о нем не зная, мать и дочь заранее невзлюбили этого человека и даже обдумали, что они ему скажут, куда пойдут на него жаловаться, если он попытается их выселять... И вот сейчас, утопая в жаркой своей перине, Дина вспоминала первое появление будущего своего мужа.

Они вернулись с матерью из фабричной столовой, открыли дверь и замерли: в прихожей горел свет. В углу аккуратной стопкой лежали чемоданы, пузатый портплед, какие-то ящики. Вкусно пахло свиной тушенкой. Приехал!..

А хозяин квартиры уже появился из ванной и шел к ним навстречу в пестром купальном халате, в мягких

туфлях на босу ногу, чисто выбритый, аккуратно причесанный, благоухающий добротным довоенным мылом.

— Ах, вот кого вселили в мою квартиру? — Спокойно приветливый тон, каким были произнесены эти слова, поразил своей неожиданностью.— Ну, здравствуйте! Петин, Вячеслав Ананьевич Петин. Познакомимся...

И даже вот сейчас, столько лет спустя, Дина вспомнила это мгновение с благодарностью. Потом на кухне мать поила Вячеслава Ананьевича довоенным грузинским чаем, пачка которого свято хранилась у нее где-то под тюфяком. Он принес пакетик урюка, а Дина получила плитку шоколада «Золотой ярлык». Мать поспешила заверить нового знакомого, что заживаться у него в квартире они не собираются: вот восстановят трехгорцы разрушенное общежитие, и они тотчас же освободят комнату.

— К чему? — радушно спросил Вячеслав Ананьевич.— Конечно, я мог бы и сейчас вас выселить, ибо по должности располагаю правом на изолированную жилплощадь. Но зачем? Война. Все обязаны помогать друг другу чем могут, я очень рад помочь вам... Оставайтесь до конца войны, а там... Ну, до этого еще нужно дожить, а меня наверняка скоро мобилизуют...

Мать с дочерью с благодарностью приняли предложение. Вячеслав Ананьевич действительно скоро был мобилизован. Уехал на фронт. Комнаты его обычно были заперты, но жилицы убирались в них, поливали цветы. После войны хозяин квартиры служил в оккупационных войсках. Но в любое время, неожиданно нагрянув в Москву, он мог спокойно вставлять ключ в замочную скважину, зная, что его ждут чистота, порядок, живой уют, заботы пожилой громкоголосой, добродушной женщины и серые, мечтательные глаза рыжеватой девочки, красневшей, когда он с нею заговаривал, и украдкой следившей за ним...

Когда теперь, под перекличку ночных петухов этого островного села, Дина вспоминала все это, ей казалось, что Вячеслав Ананьевич совсем не постарел, даже вовсе не изменился с того дня, когда сказал им в коридоре свое «здравствуйте». А вот Дина у него на глазах превратилась из круглолицего крепыша с копною волнистых рыжеватых волос, с серыми, с восточной раскосинкой глазами сначала в длиннорукого, застенчивого подростка, а затем в стройную, изящную девушку, студентку медицинского института.

6

Вячеслава Ананьевича Дина с детства привыкла считать своим человеком, чем-то средним между старшим братом и дядюшкой, с которым можно пошутить, поболтать, посоветоваться, а при случае даже и поделиться девичьей тайной... Боже, какой она была дурой, когда однажды поведала ему об одной сердечной неудаче! Было странно видеть этого спокойного, выдержанного человека таким взволнованным, рассерженным, огорченным. «Есть же на свете люди, которые принимают чужое горе как свое»,— подумала она тогда. И даже потом, когда Вячеслав Ананьевич приносил ей ветку мимозы, дарил в день рождения туфли, часики, брошку, приносил билеты на какой-нибудь выдающийся концерт или футбольный матч, она воспринимала это лишь как естественное проявление доброго сердца. Иногда он заезжал за ней на машине в институт, чтобы прямо оттуда везти ее в театр или в ресторан. И в этом не видела она ничего особенного и даже любила, когда однокурсницы, говоря о Вячеславе Ананьевиче, называли его «твой».

А мать вздыхала, беспокоилась, сердилась. Требовала перестать быть девчонкой, подумать, куда это все ведет, чем угрожает. Угрожает? Что может сделать плохого внимательный и немножко смешной этой своей влюбленной внимательностью Вячеслав Ананьевич — добрый дядюшка, умный старший брат... Он и танцуя в ресторане, где наглядишься всякого, ведет ее, как будто она не студентка, какими битком набита любая аудитория, а принцесса из сказки... И когда однажды на пути домой, в машине, подняв предварительно под каким-то предлогом стекло, отделяющее переднее сиденье от кабины, Вячеслав Ананьевич, схватив ее руки, заявил, что давно уже любит, мечтает видеть ее своей женой, Дина только растерялась и сказала невпопад:

— А институт, как же институт?.. И какая же я жена? Мама говорит: я ничего не умею...

— Ты будешь прекрасной женой, о какой я давно мечтаю. Клянусь, я воспитаю из тебя идеальную жену. Мы будем счастливы...

...Тикают часы. Два сверчка перекликаются в разных концах избы... Счастливы!.. Да, он, как и всегда, оказался прав, Вячеслав Ананьевич. И хотя в первые недели ее замужней жизни Дина стеснялась без стука входить

в комнату, где он находился, а в обращении к нему у нее то и дело срывалось «вы», он был доволен. Из нее вышла хорошая жена. Пришлось, конечно, кое-чем поступиться. Он был против того, чтобы она работала в районной поликлинике, куда ее направили после института. Настоял, чтобы подождала лучшего назначения. Обещал хлопотать. Назначения не было. Дома оказалось много дел... И все-таки ей удалось договориться о месте в клинике. Но вдруг возникла перспектива ехать надолго в Германию... Друзья Вячеслава Ананьевича посоветовали ей пойти на курсы иностранных языков, изучить как следует немецкий. На курсы ее возили на машине. Училась она старательно и закончила их даже досрочно. Когда же был получен диплом, диплом с отличием, которым Дина очень гордилась, выяснилось: поездка не состоится... «Ну что ж, ремесло плеч не тянет»,— как говорил когда-то Динин отец. Второй диплом лег в ту же шкатулку, где хранился первый. Не важно, все пригодится в жизни... Зато как гордился Вячеслав Ананьевич своей образованной женой!.. И когда этот смелый, самоотверженный человек, как бы советуясь, сказал ей однажды, что хочет ехать в Сибирь, в тайгу, на передовую линию строительства коммунизма, она не колеблясь заявила:

— Поеду с тобой!

И вот он уже там, на строительстве, окунулся в дела, конечно, устает, конечно, тяготится без привычных удобств, конечно, скучает по ней, а она вот, пожалуйте, живет тут, на Кряжом, как какая-нибудь дачница, и ничем ему не может помочь. Стоило ли прощаться с матерью, покидать Москву, нестись за тридевять земель, чтобы бродить с утра до вечера без дела среди чужих, занятых людей?..

— ...Фу, невозможная жара,— вслух произносит Дина, в который уже раз поворачивая подушку.— Нет, так не заснешь. Духотища...

Она соскакивает с кровати и распахивает окно во двор. Прохладный осенний воздух, чуть-чуть припахивающий навозом и бензином, как-то сразу оттесняет тревожные думы. Натянув одеяло, Дина сразу забылась. Проснулась уже утром, разбуженная голосами, раздававшимися под самым ее окном.

— ...Уж как мы тебя, Павел Васильевич, ждали! Будто ты мне правую руку отрезал,— слышался голос

Иннокентия Седых.— Тут этот дизель прибыл, пустить бы его зараз, а мы ходим, как коты вокруг горячей каши, и машина лежит. Ваньша раз не стерпел, попробовал ящики вскрыть, так я ему рукавицами по ушам: храбер таракан за печкой, до Василича не смей притрагиваться... Спасибо, хоть быстро ты на этот раз управился.

— Есть за что... Это я тебя благодарить должен,— отозвался другой, хрипловатый, басовитый голос. Говоривший сильно напирал на «о», и это показалось Дине знакомым.— А Ваню зря вы к дизелю не подпустили, на глазах в механика растет. Что он, что я — какая разница...

— Не скажи, Василич, из одного дерева и икона и лопата. Однако на икону молятся, а лопатой навоз собирают... Так говоришь, видел его, этого Петина?

— Видел, когда он от вас к машине шел.— Кто-то шумно вздохнул.— Тот же. Такие не меняются, у них вместо крови антифриз в жилах.

Дальше разговор пошел о моторах, о горючем, о запасных частях, которые обязательно нужно где-то «вырвать», звучали имена Ваньш, Петьш и сочные сибирские пословицы, которыми Иннокентий перчил свою речь. Но Дина уже не вслушивалась. Она старалась угадать, где она уже слышала этот хрипловатый голос, эту окающую речь. Наконец, соскользнув с перины, босая, на цыпочках она подошла к окну, встала за косяк, наклонилась и чуть не вскрикнула. В полутьме утра, уже проявившего постройки двора, под самым окном виднелись две головы: чернявая и большая, кудлатая, русая. Это был тот самый бородач, что так грубо отказал продать ей грибы и задаром отдал их Ганне Поперечной. И тут ее точно по ушам резануло:

— ...Ну, а жиличка-то ваша какова?

— А вроде-та ничего, с Васенкой сдружилась.— Иннокентий помолчал.— А все-таки зря этот Петин бабенку сюда притащил, что ей тут в зиму... Комнатный цветок, первым сквознячком его и срежет...

Стоя за косяком, прикрываясь занавеской, Дина кусала губы. Так вот что они о ней думают! Но разговор продолжался.

— Видал и ее,— произнес бородач.— Красивая.

— Известно, в чужу жену черт ложку меду кладет.

— Да нет, не то. Мою она мне, Иннокентий Савватеич, напомнила.— Послышался вздох.— Когда Ольга

студенткой была и любовь наша только начиналась... Э, к чему это!

— Верно, ни к чему. Печаль в делах не помощница... Много мы из-за тебя, Василич, дел пропустили. Наверстывать теперь надо.

Стараясь ступать как можно тише, Дина добралась до кровати, села, поджала ноги, обняла колени руками. Задумалась: «Кошечка... Домашний цветок...» Неужели они ценят человека только по трудодням? И этот бородач. Почему он так зол на Вячеслава Ананьевича? Наверное, какой-нибудь негодяй, которому в свое время досталось по заслугам... Но было в нем что-то, что невольно снова и снова возвращало мысли и к встрече на пароходе, и к только что подслушанному разговору... Могучий человек, красивый какой-то прочной, русской красотой. Настоящий сибиряк!.. А как уважительно говорит с ним Седых!..

Дина быстро оделась, прибралась, села за завтрак вместе с братом и сестрой. Иннокентий уже укатил.

— С кем это ваш отец разговаривал сегодня утром во дворе?

— Наверное, с механиком нашим, с Павлом Васильевичем Дюжевым,— ответила Василиса, окуная хлеб в кружку с густым топленым молоком и поддевая на него коричневую блестящую пенку. А когда Ваньша намеревался что-то с энтузиазмом прибавить, сестра так взглянула на него, что тот прикусил язык и пробормотал только: «По машинам бог».

— А что у него произошло с женой?

Брат и сестра переглянулись. Ваньша вскочил, стал надевать комбинезон.

— О семье его мы не знаем, мы не партбюро.

Потом они укатили на велосипедах. Двор стих, даже Онич исчез. Горячка на полях «Красного пахаря» спадала, и археологу удалось сколотить из семиклассников группу, с которой он на выпрошенном у Седых грузовике уехал в Ново-Кряжово продолжать раскопки. Дина осталась одна и сразу заскучала.

Прошлась по пустому двору. Деревянный настил гулко отзывался на каждый шаг. Толстые двери... кованые запоры... засовы. И ни один не заперт. Даже калитку брат с сестрой позабыли закрыть, и ветер качал ее так, что массивные петли поскрипывали. Дина хлопнула щеколдой. Потом вернулась в дом, где старин-

ный запах сухого дерева, свежих хлебов, сушившегося на печи зерна смешивался с острым ароматом бензина. Задумчиво прошла в куть — ту часть избы, где Глафира стряпала. Тут все блистало чистотой, каждая вещь знала свое место. Молчаливая женщина уже успела истопить печь, приготовить пищу и по обыкновению куда-то бесшумно исчезла... Странная, одна такая в общительной, разговорчивой семье... Как-то незаметно для себя Дина отворила маленькую дверь за кутью, в закуток — крохотную комнату, нечто вроде чулана, воздух в котором был густо насыщен запахами трав. Свет проникал сюда в крохотное, размером в две ладони, оконце, прорезанное в толстом бревне, и, приглядевшись к полумраку, Дина рассмотрела узенькую кроватку, а в углу икону божьей матери, такую старую, что при качающемся свете лампадки трудно было рассмотреть на ней сухое, темное лицо, суровое, замкнутое, напоминавшее лицо самой Глафиры.

Вдоль стен на гвоздиках сушились пучки трав и кореньев. От них и шел этот терпкий многообразный запах... «Странно. Председатель колхоза, член райкома партии, и под его крышей икона, колдовские травы в тайном закутке»,— подумала Дина. Ей стало не по себе, точно, сама того не желая, она проникла в чужую тайну. Сухоликая женщина строго смотрела из старинной чеканной ризы потемневшего серебра, будто понимая и осуждая эти мысли. Дина быстро вышла из закутка и, преследуемая навязчивым, будоражащим запахом трав, бросилась в светелку. Теперь ей казалось, что и здесь пахнет лесом и лугом. Пришли на память восторженные слова Онича: «Удивительный, единственный в своем роде край. Именно, именно единственный...» И люди какие-то, ну, особенные, что ли. Вот этот бородач Дюжев... Где же все-таки он мог встречать Вячеслава Ананьевича? Что между ними произошло?..

Дина знала: есть люди, не любящие ее мужа. Он ей сам рассказывал. Не любят потому, что честен, прям, принципиален, нетерпим к человеческим слабостям. Но в этих краях он не бывал, в деревне вообще никогда не работал. Где он мог встречать этого колхозного механика?.. Красивая... Что он понимает в женской красоте?.. Но все-таки Дина подошла к овальному зеркалу. Очень точное, в резной раме красного дерева, это зеркало особенно бросалось в глаза в скромной обстановке дома

Седых. Может быть, оно попало сюда в те времена, когда громили усадьбы помещиков? Хотя Онич говорит, что помещиков тут не было... Красивая... Ничего особенного. Бледное, худощавое лицо, шапка волнистых прядей того самого каштанового цвета, который в школе доставлял столько неприятностей. Ребята звали рыжей. Нос вздернут так, что видны ноздри. Вот глаза... Глаза действительно при любом, самом плохом настроении радовали Дину. Узкие, серые, даже зеленоватые, по-восточному чуть-чуть раскосые, они, как ей казалось, придавали лицу многозначительную таинственность... Красивая... Да нет, конечно... Но вот и этот потомок декабристов... «А может быть, премудрый Иннокентий Савватеич прав: действительно, в чужую жену черт ложку меда кладет... Особенно в ту, муж которой далеко и по горло занят делами?.. Фу, о какой чепухе я думаю!..» Но случайно подслушанный разговор не выходил из головы. Вспоминать о нем было и досадно, и грустно, и почему-то тревожно.

Резкий звонок телефона спугнул эти мысли. В трубке зазвучал сочный голос Юрия Пшеничного:

— ...Вы сегодня переезжаете, Дина Васильевна. Вячеслав Ананьевич ведет сейчас важное совещание и попросил меня известить вас, что выслана машина. Вы знаете, Дина Васильевна, ваш коттедж...— Юрий хотел добавить что-то, наверное, приятное, но на полуфразе его прервали.

Дина не стала ждать возобновления разговора. Она бросилась в светелку и принялась бросать в чемоданы свои платья. Даже самые любимые она совала комом и при этом, сама того не замечая, громко напевала песенку, которая так надоела ей на пароходе:

...Едем мы, друзья,
В дальние края.
Станем новоселами и ты и я.

7

Чемоданы были упакованы, вынесены в сени. Семья Седых вернулась на обед, и все сидели уже за столом, когда стекла в окне, вздрогнув, зазвенели и у крыльца медленно остановилась машина. Это был не голенастый вездеход «козел», на котором намедни приезжал Вяче-

слав Ананьевич, а черный лимузин Литвинова, весь обрызганный глинистой грязью. Из машины выкатился и проворно покатился к крыльцу уже известный Дине Петрович. Кожаная куртка, перчатки с крагами и даже круглая, румяная физиономия — все было в той же красноватой глине. Он был явно смущен и, вероятно, поэтому старался держаться развязнее.

— Мир-та дому-та сему,— заявил он, пародируя здешнюю манеру добавлять в речь частицу «та».— Прошу прощенья,— обратился он к Дине.— Терпел бедствия в этой проклятой глине. Вячеслав Ананьевич было «козла» снарядил, а Федор Григорьевич велел «козла» поменять на «зимушку», вот и припухал на здешних колдобинах, чтоб вашего председателя исполкома на том свете черти по такому сибирскому асфальту катали.

Между тем Глафира поставила перед Петровичем миску, до краев наполненную густо дымившейся ухой, положила деревянную ложку.

— Вот-та кто понимает мою душу! — восхищенно воскликнул гость и, бросив ложкой в рот обжигающую похлебку, изобразил на своей физиономии высшее блаженство. Но тут же осклабился: — Понимает-та, да не совсем-та. Чевой-то вроде маленько не хватает.

Глафира разжала плотно сомкнутые губы, казалось вовсе не умевшие улыбаться:

— Не один поедешь, балаболка...

Петрович покорно вздохнул:

— Точно.— Проворно действуя ложкой, он ухитрялся болтать.— Мы с Федором Григорьевичем разную уху кушали: и днепровскую... и бугскую... и дунайскую — там ее чорбой зовут... И на этой самой Шпрее, черт бы ее побрал, какой-то там киндерзуппе из костлявых ершей варили... На Волге тоже хороша уха!.. Но вот здешняя, сибирская, в исполнении заслуженного мастера печки Глафиры Потаповны — мой готт! —И он, молитвенно сложив руки, поднял к небу плутовские глаза.— Сила!

Поднимаясь из-за стола, он галантно произнес: «Данке шён». А открывая перед Диной дверцу — свое неизменное: «Битте дритте». Болтал он без умолку и все время косил глаза на сидевшую рядом с ним женщину. Казалось Дине: он всех и все знает. Но когда она попробовала осторожно порасспросить его об управленческих делах, о сослуживцах мужа, о том, как встречен был приезд Вячеслава Ананьевича, ей было отвечено:

«Откуда мне знать? Наше дело — баранку крутить да пищу есть».

Баранку он «крутил» мастерски. Руки в кожаных перчатках будто бы совсем небрежно лежали на ней, а тяжелая машина на большой скорости, не притормаживая, проносилась по невероятной дороге, по узенькой обочине бежала высоко над рекой, затормаживала у самого ограничительного бревна парома, бесстрашно проходила «впритир» к борту гигантского самосвала. Москвичка, привыкшая к ровному асфальту столичных проспектов, к бетонной прямизне пригородных шоссе, быстро убедилась, что этот смешной увалень, должно быть однажды и навсегда взваливший на себя обязанности всеобщего увеселителя,— редкий мастер своего дела... «Санчо Панса? — раздумывала Дина, стремясь по своему обыкновению измерить заинтересовавшего ее человека литературной меркой.— Санчо Панса... Нет. Швейк? Тоже нет. Но есть в нем что-то и от того и от другого. А в целом это третье — своеобразное и любопытное».

— Вы женаты, Петрович?

— Нет.

— Почему же?

— По переписи у нас, Дина Васильевна, женщин на двадцать миллионов больше, чем мужчин. Надо же о них заботиться! Это ведь тоже большой важности задача.

— Так и не были женаты?

— Может быть, и был, не помню уже...

— А дом у вас где-нибудь есть?

— Дом есть, как не быть дому. Я его, как улитка, весь на себе ношу. В войну по фронтам таскал, а после войны — по стройкам. Где моя лайба стоит, тут и дом... Хорошо, между прочим.— И вдруг, обернувшись, сказал: — Я ведь хочу до ста лет дожить.

«Н-да, орешек! Болтает, болтает — и ничего из него не вытянешь. Хитрущий!.. А ведь наверняка все ему известно».

— Федора Григорьевича давно возите?

— Порядочно. Во многих местах мы с ним «шрамчики» на глобус нанесли. «Шрамчики» — это его словечко... Любит Старик эти «шрамчики» на глобус наносить.

— А что он за человек? — спросила Дина и тут же, зная психологию шоферов-персональщиков, внутренне

усмехнулась, предугадывая, какие услышит слова, рассчитанные на передачу начальству.

— Старик-то? Обыкновенный человек... На двух ногах.

«Нет, Василиса, сравнения твои чисто внешние,— решила Дина, вспоминая, что девушка определила Петровича как смешного прожорливого зверька.— Нет, милая, не так он прост». Машина шла по дороге, по-видимому совсем недавно прорубленной через лес. От зеленоватых солнечных лучей, пробивавшихся сквозь листву, рябило в глазах. Острые локти корней толкали колеса. Чтобы не прикусить язык, Дина плотно сжала зубы. «Ошиблась, Василек, и во мне ошиблась, какая я кошечка?.. А вот интересно было бы узнать, как она определила бы этого механика, этого Дюжева, что ли».

— Петрович, вы не скажете, что такое антифриз?

— Антифриз? — Петрович с удивлением оглянулся.— Жидкость такая. Для охлаждения в радиаторы здесь в стужу заливаем, не замерзает. А на что вам?

— Да так, почему-то вспомнилось.

Лес оборвался внезапно. Машина будто вырвалась из тоннеля, солнце, уже клонившееся к закату, брызнуло прямо в глаза, заставив зажмуриться. А когда Дина подняла веки, машина уже бежала будто бы по линейке — так пряма была профилированная грейдерная дорога, рассекавшая поле, и поле это было ровно острижено комбайнами. На горизонте, будто два жука, ползали тракторы, превращая золото пожни в черный бархат пашни. Доносился ровный стрекот. Впереди, возле дороги, у самой обочины, стоял третий трактор с плугами. Рядом мотоцикл, и возле него человек, рассматривавший какую-то металлическую штуку. Услышав шум приближающейся машины, человек оглянулся, и Дина почувствовала, как встревоженно ворохнулось сердце: это был тот самый бородач, о котором она только что думала.

Машина остановилась. Высунув в дверцу круглую свою физиономию, Петрович жалостно просил:

— Пал Васильевич, плесните бензинчику! К вам, в «Пахарь», пробирался, знаете, дорога какая, все пожег, с пустым баком, на одном самолюбии тяну!

Бородач неторопливо положил деталь, чистыми концами вытер руки. Рассмотрев в машине пассажирку, он, как показалось Дине, нахмурился, но поклонился. Потом

сунул голову в дверцу и, взглянув на приборы, спокойно сказал, будто скомандовал:

— Поезжай.

— Кощей бессмертный! — проворчал Петрович, трогая машину, но в тоне звучало больше смущения, чем досады.

— Кто такой? — Дина старалась произнести этот вопрос как можно равнодушнее.

— А, один здешний абригенец! Первый на весь район жмот! Пьянь страшная! И не то чтобы пил как люди: вечером домой в полужидком состоянии воротится, а назавтра выспится — и что твой огурчик малосольный. Этот как закурит, так на неделю: ружье на плечо — и в тайгу. Седых ему задним числом командировки выписывает, покрывает. Фронтовые дружки они, что ли?

— С семьей у него что-то плохое случилось?

— Какая у него семья! Холостякует. И дома у него нет, живет тут у одной старушонки, стряпает она ему, стирает...

— Типичный сибиряк, правда?

— Кто? Дюжев? — Петрович усмехнулся.— Какой же он сибиряк! У него вон, послушайте, «о»-то круглое, как баранка: дОрОгОй тОварищ. А здешние, они шепелявят, «ц» у них под языком застревает.— И, явно подражая голосу Иннокентия Седых, он сказал: — «Ваньша намедни кунису-та закапканил. Такая куниса, всем кунисам — сариса».— Дина засмеялась, и, поощренный этим, Петрович тут же изобразил лингвистическую сценку: — Приезжаем мы как-то к отцу Иннокентия, к хромому деду Савватею, на пасеку: «Дед, что нового?» — «Новое-та есть. Едет намедни Ваньша на козлишке своем, а кобелишка-та наш впереди трусит. А тут, хвать, наперерез кобелишке-та волчишка. Кобелишка-та неробкий у нас — сап волчишку за ляжку, а одолеть не может. Ваньша козлишку-та притормозил да с подножки прямо на волчишку-та и пальсами глазишки волчишке выдавил. А счас волчишка-та, слышь в баньке-та у меня воет...»

Все это было произнесено с особыми, старческими интонациями и, вероятнее всего, тут же и придумано. Но придумано и исполнено ловко. Хорошо были переданы две замеченные уже Диной особенности речи жителей Кряжова...

А между тем кончилось поле, и опять поплыли навстречу машине, все время меняясь, необыкновенные,

непривычные глазу среднерусского человека первозданные красоты, от которых веяло романтикой немереных просторов, нехоженых троп, непуганых зверей. Утомленная их нескончаемым разнообразием, Дина закрыла глаза, и опять встал перед ней Дюжев, с которым так странно скрещивался ее путь. «...В жилах течет антифриз». Антифриз — незамерзающая жидкость. Что бы это могло означать? И Дине пришла догадка, что над этим самым Дюжевым довлеет что-то тяжелое и что ее муж имеет к нему какое-то отношение. Но какое? Разве мог Вячеслав Ананьевич, человек, которого все так уважают, причинить беду невиновному? Значит, Дюжев сделал что-то нехорошее... Надо будет все-таки порасспросить мужа. Попросить вспомнить. Это нужно, наконец, и для его безопасности. Кто знает, что может выкинуть этот бородач! Здесь всего можно ждать...

С этими мыслями Дина задремала и проснулась уже оттого, что Петрович резко тормозил. У дороги, подняв руку, стоял крупный человек без шапки. На шее у него, как саксофон, висело на ремне ружье, за спиной сумка, как казалось, набитая пестрыми перьями. Несколько крупных птиц висели, притороченные к ремню-патронташу. В ногах на траве, вывалив длинный язык, лежала лохматая, вислоухая черная собака с шелковистой шерстью.

— С полем, Сакко Иванович! — крикнул, опустив стекло, Петрович.— Утки?

— Семь уток и селезень...— довольно ответил охотник.— Подбросишь?

Петрович вопросительно посмотрел на Дину, а охотник уже и сам подошел к машине, и, приоткрыв дверцу, представился:

— Человек со странным именем Сакко и неудобопроизносимой фамилией Надточиев.— Не протягивая руки, он наклонил свою непокрытую голову, пряди темных волос упали ему на лоб, и Дина тут же определила, что он похож на Маяковского. Губы энергичного, большого рта сжимали сигарету. Голос рокотал так, как у поэта на пластинке «Голоса советских писателей».— А вы можете не рекомендоваться, я вас знаю. Вы, конечно, та самая «русская женщина», которая а-ля княгиня Волконская устремилась вслед за любимым в сибирскую глушь, о которой наш Старик выражается лишь высоким стилем.

— А как вы меня узнали? — спросила Дина, представлявшая Надточиева, по рассказам мужа, совсем иным.

— Это я вам все обстоятельно расскажу, если вы меня захватите... Может быть, вам хочется попить, тут рядом ключик — куда там нарзан!

— Очень хочу.— Дина выскользнула из машины.— Только как же, вода сырая, здесь ведь болота... Ничего?

— Роднички с кипяченой водой остались, увы, в Москве,— произнес Надточиев и отвел алюминиевую кружку, протянутую проворным Петровичем.— Кто-то когда-то в старину сказал: могущий пить из родника не станет пить из кувшина.

Родничок оказался скрытым в зеленой, сочной траве, будто бы обрызганной ярко-желтой краской. Это были цветы, которые, как Дина уже знала, назывались «жарки». Кто-то вкопал тут бездонную дубовую бочку. Переполняя ее, вода переливалась через гребень позеленевших клепок и, журча, собиралась в песчаном русле крохотного ручейка, тут же уползавшего в траву, так что дальнейший его бег можно было угадать лишь по густой и яркой растительности.

— Наклонитесь и пейте,— сказал Надточиев.

Вода оказалась такой холодной, что заломило зубы. И хотя на зыбкой ее поверхности плавали кружась кусочки коры, пушки цветочных семян, какие-то щепочки, она была необыкновенно вкусна. Сразу же почувствовав себя бодрой, Дина начала умываться.

— Вот этого вы при сибиряках не делайте. Не полагается. Умываться пожалуйте к ручейку, а из родника пьют, и только ртом.— И, наклонившись сам, он стал делать крупные глотки.

Замечание обидело Дину.

— Спасибо за урок,— холодно произнесла она.

— Не за что,— просто ответил новый знакомый.— Учтите, вам еще здесь многому учиться надо. У них тут хорошие обычаи, неизвестные у нас в Центральной России.

Надточиев небрежно побросал в машину свои трофеи, уселся на заднем сиденье, куда за ним уже без приглашения вскочил пес, занявший место на сиденье рядом с ним. Его шерсть блестела, будто нарисованная черной тушью. И женщина сейчас же почувствовала, а потом и увидела, что в косое шоферское зеркальце бесцеремонно рассматривают ее две пары темных глаз—

человеческие и собачьи. Она изменила положение. Глаза исчезли.

— Почему? — спросили сзади.

— Не люблю, когда на меня глядят.

— Неправда, любите.

— То есть как это неправда? — воскликнула Дина, стараясь рассердиться.

— Интересные женщины любят, когда их рассматривают. Вы — интересная. Только этот фон...— Машина теперь неслась по широкой, ровной, асфальтированной магистрали, должно быть недавно проложенной. Следы бульдозеров еще не изгладились на песке обочин. За этой развороченной землей тайга была черной. Обгоревшие, лишенные веток деревья поднимались будто допотопные гигантские хвощи.— Только этот фон не для вас. Он подошел бы яркой брюнетке с красным, как у вампира, ртом, а вы... Чтобы вас увидеть во всей красе, надо, наверное, усадить вас в кресло, бросить вам под ноги коврик, покрыть колени пледом, поднести стаканчик чего-нибудь некрепкого и включить телевизор... Записываюсь к вам в поклонники. Очередь здесь пока еще небольшая? Каким я буду по счету?

«Нет, он смешной и совсем неплохой, кажется,— подумала Дина.— Даже забавный». И вдруг предложила:

— Давайте дружить.

— Я не верю в дружбу мужчины и женщины.— Крупные губы сами, без помощи руки перегнали потухшую сигарету из левого в правый угол рта.

— А я верю. У меня среди мужчин есть добрые друзья.

— Муляжи на витринах мясной очень похожи на окорок и на колбасу, однако есть их нельзя. Ведь так, Бурун?— спросил он собаку.— Нет, нет, вы посмотрите получше на моего друга: какие глаза, какой взгляд! Если бы он был мужчина, он пел бы тенором, экзальтированные бабенки образовали бы лигу бурунисток и с визгом рвали бы его жилетки и носовые платки на сувениры.

Надточиев замолчал, Дина опять задремала, и, когда она открыла глаза, мужчины задумчиво пели. Петрович — маленьким приятным тенорком, Надточиев — баритональным басом:

...Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах...

Пели тихо. Дина снова задремала, а когда толчок машины ее снова разбудил, спутники уже разговаривали. Не открывая глаз, не меняя позы, она стала слушать. Толковали о каких-то неизвестных ей людях, причем Надточиев не скупился на насмешливые характеристики: «Ну, этот из тех, кто всегда чешет левое ухо правой рукой...», «Какой он доктор технических наук! Даже не фельдшер, брат милосердия, не больше», «Одни поют, что знают, другие знают, что поют. Вот этот как раз из этих, последних...»

Внезапно открыв глаза, Дина спросила совсем не сонным голосом:

— Что же, выходит, вокруг вас, Сакко Иванович, так-таки и нет хороших людей?

Давно погасшая сигарета отклеилась от губ Надточиева и упала ему на колени. Он стал мучительно краснеть.

— Здорово она нас поймала! — сказал он, оправившись от смущения.— С ней, Бурун, нам с тобой надо быть осторожнее...

— А мой вопрос?

— Ну что же?.. Флора у нас здесь, как видите, исключительно богатая. А фауна? Со всячинкой фауна... Ну, споем, что ли, Петрович?

И мужчины снова запели, на этот раз про Байкал, который сибиряки называют своим морем, и песня эта, какую в детстве певал и покойный отец Дины вместе с ее братом и соседями по общежитию, тут, на молодом, еще как следует не объезженном шоссе, проложенном прямо через таежные дебри, звучала как-то необыкновенно волнующе. И хотя голоса у Дины не было и в школьном хоре ее всегда ставили в последний ряд, она как-то незаметно присоединилась к дуэту. И ей казалось теперь, что она давно знакома и с лукавым увальнем Петровичем и с этим похожим на Маяковского инженером.

— Кстати, откуда у вас такое необыкновенное имя — Сакко?

— А видите ли, родители проявили международную пролетарскую солидарность. Нас с братом — он на пятнадцать минут старше меня — угораздило родиться как раз в день, когда в Америке посадили на электрический стул двух невинно обвиненных профсоюзных вожаков. Мне еще относительно повезло, а вот старшему досталось Ванцетти. Ванцетти Иванович! Вот это уж действительно

язык сломаешь! В школе нас звали: Карандаши, — знаете, карандашная фабрика Сакко и Ванцетти...

Шоссе то поднималось на песчаную насыпь, то уходило в выемку, прорезавшую возвышенность. Полотно было безукоризненно ровно, а за незаросшими песчаными обочинами сплошными рядами лежали огромные пни, вывороченные с трассы. Переплетаясь корневищами, они походили на гигантских спрутов, выброшенных прибоем. Местами тайгою прошел пал, этот страшный спутник лесных строительств, и там, где он побывал, в огне исчезли все краски, кроме черной. Все вокруг — земля, скелеты обуглившихся деревьев, пни — стало траурным. Ветер гнал через полотно, завивая и подбрасывая в голубое небо, темный, с сизоватым отливом мусор.

— В этом есть что-то марсианское, правда? — задумчиво сказала Дина, заметив, что Надточиев переместился на сиденье так, что мог снова через зеркало заглядывать ей в лицо.

— Ничего, сейчас наш космический корабль пройдет межпланетную зону и снова приземлится... А у вас зеленоватые глаза и поставлены как у буддийской богини. Красиво... Вы не с Востока?

— Нет, я москвичка.

— Ну что ж, монголы побывали и в Москве.— Темные глаза Надточиева неотрывно смотрели на лицо Дины, и этот пристальный взгляд уже не раздражал, а смущал ее.

Пни кончились, и будто бы сразу посветлело. Замелькала зелень, освещенная низко стоящим солнцем. Петрович своим тенорком завел, и Надточиев тут же басовито поддержал:

На диком бреге Иртыша-а-а...

— Глядите, глядите, Дина Васильевна, вон он какой, «дикий брег!» — не без гордости произнес инженер, обрывая песню. — Петрович, покажем?

Машина сошла на обочину. Все трое вылезли. Отсюда, с вершины пологой высотки, вид открывался до горизонта. Со всех сторон на высотку, теснясь, как бы карабкались деревья, но за взлохмаченной пеной их вершин голубела, как жила на натруженной руке, Онь. Чуть ниже по течению вóды ее с разбегу накатывали на преграду порога Буян и с бешеной яростью прорывались сквозь его каменную гребенку. Над Буяном в свете

низко стоявшего солнца красиво изгибалась тугая, сочная радуга. Строители шоссе, пробивая выемку, оскальпировали вершину холма. Но среди расчесанных бульдозерами песков был оставлен девственный квадрат грунта, с которого, будто с пьедестала, поднималась вцепившаяся в него корнями старая лиственница. К ней не очень аккуратно, чуть даже наискось кто-то прибил доску. По доске грубо выведена была надпись: «Коммунизм — это Советская власть плюс электрификация всей страны. Ленин». Заинтересованная радугой, Дина, стоя под лиственницей, не обратила внимания на эту уже посеревшую от ветров доску.

— Нет, вы посмотрите вот на что. Это написал и прибил кто-то из первой партии дорожников, когда они прорубились сюда через тайгу... Старик приказал не трогать — ни лиственницы, ни доски. Пусть стоят как памятник первым строителям.

— Кто это Старик?

— Ну, наш Литвинов. Так его тут зовут. Он ведь, Дина Васильевна, романтик. Среди первых все такие. Так и в анкетах надо бы им отвечать: профессия? Романтики!..

Странно было слышать такие слова от Надточиева.

— А вы, стало быть, тоже романтик? — спросила Дина и тут снова увидела, как Надточиев краснеет.

— Нет, я грубиян и циник. Циник местного значения,— ответил он и, сплюнув далеко в песок изжеванный окурок, хмуро произнес: — Вы лучше не на радугу, а вон куда смотрите. Радуга — чепуха! — Он показал рукою ниже по течению реки.

А дальше воды Они, ускоряя бег, неслись меж двух огромных утесов, стискивавших реку. По сосенке, поднимавшейся над одним из них и похожей на вставшее на якорь облачко, женщина узнала Дивный Яр. С противоположного берега надвигался на реку другой, напоминавший упрямую, склоненную для удара голову зубра. И она догадалась, что это Бычий Лоб.

По волнистой, сверкавшей на солнце поверхности, по тому, как сгустки пены вытягивались на стремнине, чувствовалось: Онь несется меж утесов с большой скоростью. Все кругом утесов было ископано, изрыто вдоль и поперек. С высоты Бычьего Лба нависало над рекой какое-то ажурное металлическое сооружение. Люди были издали неразличимы, но машины можно было

рассмотреть: они двигались взад и вперед по дорогам, куда-то спешили, что-то везли. Все вместе, издали, напоминало муравьиную кучу, по которой с озабоченным видом взад и вперед снуют удивительные насекомые, торопливо, деловито совершающие какое-то очень важное для них и непостижимое для человека дело.

— А где же строительство? — спросила Дина.

Шофер и инженер переглянулись. Оба испытующе смотрели на спутницу: не шутит ли она над ними? Нет, она не смеялась. Муж столько раз говорил ей, что они едут на одно из самых грандиозных строительств, какие когда-либо предпринимал человек. Жемчужина семилетки! Оно огромно. Работы здесь идут уже второй год. Ей не терпелось поскорее взглянуть на него. А тут она не видела ничего, кроме реки, утесов и этих муравьев, ползающих по разворошенной земле взад и вперед...

Пряча ухмылку, политичный Петрович наклонился что-то поднять, а Надточиев картинно всплеснул руками: «О дамы, дамы!»

8

Поперечным столько раз приходилось начинать жизнь заново, порой вдали от человеческого жилья, что очередной переезд лишь ненадолго выбил семью из привычной колеи. Им отвели «семейный», то есть отгороженный от общего помещения, «конец» в одной из больших палаток так называемого Зеленого городка. «Конец» был размером четыре на шесть метров. Но при нем было собственное косое, вшитое в брезент оконце с крохотной форточкой, а у входа стояла отдельная от общей чугунная печурка, так что супруги, которые знали, с чего начинаются строительства в необжитых местах, считали, что в общем-то они на первых порах устроились неплохо.

Вскоре на грузовике с потерпевшего бедствия судна доставили их пожитки и знаменитую складную мебель. Отец с сыном за один вечер собрали ее, и вот, в то время как остальные обитатели палатки были вынуждены довольствоваться койкой, тумбочкой, одной табуреткой на двоих да общим столом, стоявшим посредине помещения, у Поперечных оказалось все, что было нужно для семейного жилья, включая гордость всего этого «цыганского гарнитура» — супружескую кровать, которая днем поднималась, как полка в вагоне, и не занимала места.

Надточиев, зайдя однажды вечером к старому знакомому посоветоваться о подготовке к приему новых машин, которые должны были вскоре прийти с Урала, хозяина не застал. На семейном «конце» оказалась лишь Ганна с дочкой. Инженер остановился на пороге, пораженный картиной, открывшейся перед ним. Крохотное окошко было обрамлено вышитым рушником. По грубому полу проложены пестрядинные дорожки. На столе пел электрический чайник. Невысокая, полненькая и какая-то вся тоже уютная женщина с темными косами, уложенными венцом, поднявшись из-за стола, певуче произнесла:

— Здравствуйте вам!

— А хозяина дома нет? — спросил инженер, все еще не освоившийся с уютом этого тесного гнезда, которое ухитрились свить в уголке обычной, неприглядной, не очень чистой палатки, где окна будто сквозь зубы цедили свет, едва выделявший из тьмы кое-как покрытые койки, обувь, теснившуюся вокруг печки, где пахло портянками, потом, несвежим бельем, застоялой пищей.

— Батько наш туточки, недалече,— певуче произнесла женщина и, обмахнув передником и без того чистый стул, пригласила: — Сидайте, товарищ Надточиев.

— А вы откуда меня знаете?

— Да уж знаю.— На круглое лицо женщины легла хмурая тучка.— Вы же мужа-то сманили, всех нас с места сорвали. Сашко, наверное, опять без школы маяться будет.

— А я музыку бросила,— сказала толстая девочка, своевольным движением перебрасывая на спину рыжую косицу,— и пианина моя в ящике стоит...

Но хозяйка, должно быть, умела владеть собой. Тучка была отогнана, на полном лице появилась улыбка.

— Вы сидайте, сидайте. Я вам из свежей заварки сейчас чашечку налью,— произнесла она.— А ты, Сонечко, голубонька, сбегай за батьком, скажи, товарищ Надточиев к нам пришел... Вы пейте, пейте чаек, не бойтесь цвет лица потерять, у вас он здоровый...

— А, пить так пить, сказал котенок, утопая в ведре,— подмигнув девочке, произнес гость.— Роскошно вы, я вижу, устроились, хозяюшка.

— Мы те же цыгане. Лошадь выпряг, оглобли к небу — вот тебе и дом,— вздохнула женщина.

— А хозяин где?

— Батько-то наш? Они с Сашком землянку робють.

— Землянку? Зачем? Вы и так уютно живете.

— Э, какой же тут, бог с ним, уют! Станем мы зимовать в этих общих житиях! Коченей со всеми или топи за всех. Торчи дома как привязанная, или все покрадут...

Зеленый городок левобережья строили прямо в тайге, деревья валили, оттаскивали тракторами, кранами вырывали или взрывали пни, бульдозерами ровняли землю, и тут, в девственных зарослях малины, на почве, местами буквально розовой от брусники, разбивали ряды больших, утепленных, с двойными полотнищами, с тамбурами палаток. Над городком продолжали шуметь сосны, лиственницы, пихты.

С востока территория городка была обрезана глубокой падью, по дну которой к реке Онь спешил звонкоголосый, хлопотливый ручей. Вот тут-то, под срезом крутого берега, загораживающего от северных ветров, и облюбовал Олесь Поперечный место для землянок.

Бывалый человек, он знал, что такие вот звонкие ручьи не замерзают и в лютые зимы. Из проруби легко достать воду. Леса вокруг навалено сколько угодно, есть из чего построить сруб, кровлю. Сколько таких нор встроил сапер Поперечный в берега российских, белорусских, польских, немецких рек! В этом деле он знал толк. А тут сын подрос. Тощий, нескладный, длиннорукий, с большими ступнями, Сашко был для своего возраста отменно силен и успел уже перенять от отца тягу к любому делу. И вот теперь, пока там на Урале собирали экскаваторы новой, усовершенствованной по предложению Поперечного модели, пока их по частям грузили на платформы и везли, мужчины Поперечные копали две землянки: для семьи и для экипажа экскаватора. Копали всерьез, стараясь использовать каждый погожий день. И отец, чувствуя в первый раз настоящую сыновнюю поддержку, радовался: подмога растет. Даже была мысль, если к зиме среднюю школу не достроят, взять мальца в экипаж без ставки,— пусть помогает собирать машины, пусть приживается к делу.

Траншея для первой землянки была почти прорублена. Копая, Олесь прикидывал, как впишет в нее сруб, чтобы было и окошко, выходящее на юг, и дверь, не пропускающая суровых в этом краю холодов. Все шло на новом месте, казалось бы, как надо. И все-таки покоя не

было. Тревога, рожденная в ночном разговоре с женой, не рассеивалась. Ганна ни разу не вернулась к тому разговору. Но сам Олесь, точно бы став в ту ночь зорче, по множеству мелочей, по тому, как подолгу, думая, что ее не видят, смотрела Ганна на фотографию домика, который они оставили, по тому, как произносила: «А у нас в Усти», как она однажды, должно быть забывшись, твердо сказала в пространство: «Ладно, в остатний раз потерпим трошки...»,— по всему этому Олесь понимал, что она ничего не забыла. Понимал и думал: «И верно и правильно: хватит, покочевали!»

— И баста! — вслух сказал Олесь, останавливая тягостные мысли.

— Батя, вы что? — недоуменно оглянулся Сашко, который сбрасывал под откос землю, выбираемую отцом.

— Что да что, кидай себе знай! — сердито отозвался Поперечный, снова хватаясь за заступ. Мудро, задумчиво шумели деревья, по-осеннему редко цвикали птицы, сердито звякала лопата, а перед Олесем стояли дорогие, полные тоски и обиды глаза-вишни. «Может, под старость Героя себе выцыганишь!» — звучало в ушах. «Эх, Ганка, Ганка, за что так? Как можешь о муже так думать, шестнадцать лет вместе прожили!.. Героя!»

И опять лезли, теснясь, толкаясь, непривычные мысли. Ну не деньги, не слава, так что же тебя загнало в эту тайгу? Почему меняешь обжитой дом на эту вот звериную нору? Ну?..

— Говори, почему тебя в пройдысвиты тянет? — снова произнес он вслух.

Сашко оглянулся, но ничего уже не сказал. Что-то странное творится все эти дни с батьком. Сердитый стал, раздражительный, сам с собою во сне разговаривает. Вот и сейчас...

— ...Седой волос пробился, а прыгаешь, как блоха с плеши на задницу, хай тебе грец!..

Нет, лучше не спрашивать. И мама тоже. И оба они это друг от друга скрывают. У батька вон на лбу морщины какие! Раньше появлялись, когда уставал, а теперь точно ножом вырезали.

— Давай, Сашко, поспевай, а то завалю! — кричит Олесь, увеличивая шматки грунта, летящие вниз. Но вот опять стоит он, опираясь грудью о деревянное стремечко лопаты, и смотрит не то на вершины пихт, не то на про-

летающие над ними чистые, будто бы только что выстиранные облака. Но лицо у него не спокойное, не мечтательное, какое бывает у людей, смотрящих на небо, а тревожное, растерянное.

Раньше все как-то просто объяснялось: социализм, коммунизм строим. Великие дела требуют и личных жертв. Но разве на Усти, откуда они уехали, где было дело, и дом, и заработок, и почет, разве там, на этой гигантской электростанции, совсем недавно рожденной, не та же семилетка и не то же строительство коммунизма? А может, права Ганна — это для молодых, для холостёжи? Но разве он один такой мыкается сейчас по Зеленому городку, на улице которого по пути на работу можно наесться брусники и малины? Сколько знакомых еще по Днепру, по Волге, по Иртышу встретил он здесь, на Они, среди сачков, как именуют тут строителей-новобранцев! А сам Старик? Ему уже под шестьдесят. И вдруг вспомнилась мурластая физиономия, низко остриженная, круглая голова с мальчишеской челочкой, татуированная рука и этот словно бы ущемленный, рыдающий тенорок:

Мы осенние листья,
Нас всех бурей сорвало,
Нас все гонит и гонит
Неизвестно куда...

— «Осенние листья». Тьфу! — Поперечный с сердцем всаживает лопату в песок. Потом замечает встревоженное лицо сына и поясняет: — Муха в рот залетела — хай ей грец!

— Батько, батько! — доносится сверху голос дочери.— Мама за вами послала. У нас сам Надточий сидит, по три куска сахару в чашку кладет... Мама велела — бегите скорей.

— Шабаш, Сашко!.. Идем, Рыжик, идем!

Солнце уже повалилось за вершины деревьев. Со дна пади вместе с тонким, волокнистым туманом карабкались вверх по откосу, цепляясь за кусты орешника, душистые сумерки. Но розовые лучи, пробив полутьму, вонзаются в землю, зажигая в полумраке палый листок, сломанную ветку или красный мухомор. От вечерней сырости воздух еще больше насытился смолистым духом, и в тишине еще ядовитее зазвенели тоненькие трубы комаров. Но кроме физической усталости, которая ему всегда приятна,

Олесь чувствует тяжесть в голове, будто провел он день не с лопатой в таежной пади, а в прокуренной комнате, на каком-то длинном, скучном собрании.

Он торопливо шагает к своей палатке. Надточиев — человек занятой. Просто в гости чаи гонять не придет. И действительно, инженер принес телеграмму: опробование эскаваторов на стенде закончено. Усовершенствования превзошли ожидания. Машины начали разбирать, готовя в дальний путь. И вот двое, инженер и рабочий, склоняются над складным столом, где разложен план товарной станции, еще не обросшей сетью запасных путей. Огромные машины нужно встретить, сгрузить, собрать. После долгих споров решают, что собирать надо тут, на месте. Отсюда гиганты пойдут самоходом. Для этого нужно пробить до карьеров дорогу. Собеседники спорят, чертят, зачеркивают, и в комнате, где воздух густоват, как-то сама собой растворяется та тяжесть, что скопилась в голове Поперечного от непривычных мыслей и нерешенных вопросов.

9

Подобно многим людям, постоянно погруженным в новые и новые заботы и дела, Федор Григорьевич Литвинов не замечал своего уже очень немолодого возраста. Он жил по одному и тому же, заведенному еще в юные годы, на Днепрострое, порядку. Вставал по-крестьянски рано. Летом и зимой обливался холодной водой и всюду, куда бы ни бросала его кочевая судьба строителя, возил с собой две старые пузатые гири: двухпудовую и пудовую. Бóльшая лежала у него дома, а та, что поменьше, тщательно пряталась в укромном месте служебного кабинета. По утрам, до умывания, он упражнялся с большой, а в тихую минуту, тщательно заперев кабинет, доставал иногда меньшую. Это называлось у него проветрить мозги.

Малого роста, короткошеий крепыш с просторной, высокой грудью, поросшей курчавым волосом, с короткопалыми руками, на которых играли крутые мускулы, он любил по субботам попариться в бане, отчаянно хлестал себя веником и нагонял при этом на верхнем полке такой жар, что люди, которые были иной раз и не прочь потереть спину начальству, скатывались вниз и отползали

на четвереньках к двери. А он лежал в густой, опаляющей жаре, постанывая от удовольствия, и умолял:

— Парку, еще парку!

Да и чувствовал он себя неплохо. Был легок на ногу, по строительству большей частью ходил пешком в длинных бурках, в короткой куртке, в кепке, сбитой на затылок, которая лишь в особенно яростные морозы менялась на ушанку. Неожиданный, он оказывался вдруг на объекте, в бараке, в магазине, в парикмахерской или в очереди на автобус. В управление приходил часов в одиннадцать, уже успев управиться со множеством дел. К этому времени ему готовили бумаги, назначали встречи, совещания, заказывали нужные телефонные разговоры.

Нет, он не мог пожаловаться на годы. И хотя со стройки на стройку шло за ним прозвище «Старик», таковым он себя отнюдь не считал.

Во время редких наездов в Москву в кругу друзей юности, с которыми связывали его воспоминания о Днепрострое, они, крупные хозяйственники, начальники главков и управлений, почтенные партийные работники, иные бывшие уже членами ЦК, обращались друг к другу по-старому: «хлопцы», «ребята». И если встречались у кого-нибудь дома, любили истошными голосами распевать былые комсомольские песни.

Единственно, чем возраст все настойчивее с каждым годом напоминал о себе Литвинову,— так это тем, что люди вокруг как бы странно молодели. Инженеры, гидрологи, геологи, механики, врачи — все, даже секретарь Старосибирского обкома, кандидат в члены ЦК, мнились ему молодежью. Из-за этого своеобразного зрительного обмана Федор Григорьевич однажды даже обратился к доктору технических наук, прибывшему из Москвы с ученой комиссией, со словами: «Вот что я тебе скажу, парень».

В утро, о котором идет речь, уже побывав на двух-трех объектах, Литвинов торопливо усаживался в свой вездеход. Три девицы, в ватниках, в стеганых штанах, подбежали к нему и, умильно глядя, попросили:

— Дедушка, не подкинете до котлована? Нам зарез: проспали!..

— Ну загружайтесь, внучки,— разрешил Литвинов. И поймав ухом: «Девчонки, да это ж наш Старик», проворчал: — Ну, ну проворней, возись тут с вами!

Впрочем, рассевшись сзади на неудобной металлической скамеечке, девушки тут же забыли о нем и страстным шепотом принялись обсуждать какого-то Юрку, который щеголяет в зеленой румынской шляпе и воображает о себе невесть что; некую Мурку Правобережную, в которую втрескиваются почему-то все парни, хотя она, конечно, просто крашеная дрянь, а прическа «приходи ко мне в пещеру», в которую она уложила свои оранжевые патлы, ей вовсе не идет.

— Вы с бетонного? — спросил начальник строительства, не упускавший случая потолковать с людьми.

— Не, мы механизация. Слесаря.

— Ну и как там у вас?

— А как? Свистим. Части экскаваторов с Урала не прибыли. Делать нечего. Работенка — поднять да бросить. А начальнички — им что? Этот ваш знаменитый Поперечный от нечего делать землянки какие-то роет. Ему можно, деньги идут, а вот мы задаром свистим, а у нас разряд. Руководители... руками водят.

«Потолковать с Надточиевым»,— отметил про себя Литвинов, но вслед за деловой этой мыслью появилась другая: «М-да, стало быть, дедушка... Чудно́... Конечно, действительно, четверо внуков. Что есть, то есть, но все-таки... А ведь верно, пенсионный возраст подпирает, сколько уж дружков на пенсию вышло!» Литвинов вздохнул.

Вероятно, это последняя его стройка! Нынче линия на молодежь. Верная в общем-то линия. Сам в двадцать пять лет прорабом был. Но кто из этих вот мальчишек пять раз без передыха пудовой гирей перекрестится? Надточиев? Петин? Капанадзе? Да и вот пример — секретарь ЦК — годами постарше, а моложе молодого — везде поспевает, а тоже вон дед.

Эта мысль как-то успокоила. Он вспомнил этого человека, каким увидел его в первый раз,— молодым, курносым, в белой косоворотке. Они приехали тогда делегацией днепрогэсовцев к Серго Орджоникидзе просить, чтобы Москва в обгон плановых сроков поставила нужные детали, из-за которых тормозился монтаж агрегатов. Серго угостил делегацию холодным боржомом из запотевших бутылок, слушал, посмеивался в усы:

— ...Нехорошо, товарищи днепрогэсовцы, мне в обгон государственных планов свои приказы давать. Могу, конечно, но будет неправильно. Сходите-ка вы лучше с днепростроевским поклоном к московским большевикам,

к их новому секретарю. Он парень молодой, энтузиаст. Убедите его уговорить столичный рабочий класс помочь вам в порядке дружбы. Москвичи, они такие: тронете их за сердце — горы свернут... Ну а не выйдет — тогда уж ко мне...

Секретарь МК, к удивлению Литвинова, оказался чуть постарше его самого. Он усадил днепрогэсовцев и, весело поглядывая на них небольшими, светлыми и, должно быть, зоркими глазами, сдабривая речь шутками, стал с пристрастием допрашивать о делах, о строительстве, о соревновании, тогда еще только нарождавшемся. То и дело его соединяли по телефону с нужными людьми. Звонким, напористым голосом он начинал разговор все с одной и той же фразы:

— Вот у меня сейчас сидят товарищи, знаете — откуда? Не знаете. С Днепростроя. Ну так вот они...— Дальше излагалась просьба, а потом говорилось: — Ну, раскидывайте мозгами. Знаю, нелегко, но ведь кто просит? Днепрострой! — И, повесив трубку до следующего вызова, продолжал спрашивать: — Ну а женщины как? Много их? А как со столовками? У нас еще паршиво, воображаю, как там у вас... А заработки?.. Да, а ученые старики смирились с тем, что будете затоплять остров Сагайдачный?

Потом, после какого-то звонка, секретарь вскочил из-за стола, посмотрел на всех веселыми глазами и, насунув на белокурую голову кепку с пуговкой, с мальчишеским задором пригласил:

— Ну, пошли толковать с рабочим классом.— И, пропустив всех, бросив по дороге секретарше: — В случае чего ищите на «Динамо» или на «Шарике»,— опережая всех, сбежал по лестнице...

Самое удивительное было лет тридцать спустя. Литвинов перед отъездом в Дивноярское пришел в ЦК для последней напутственной беседы. Снова сидел он в кабинете этого человека и докладывал ему свои соображения в пользу полного, комплексного освоения Оньского каскада, что было тогда очень спорным. А секретарь, прервав цепь доказательств, вдруг спросил:

— Вы, Федор Григорьевич, в тридцатых годах у меня в МК были?.. Постойте, насчет чего же? — Он нетерпеливо пошевелил пальцами.— Ах, насчет лопастей и подшипников, будь им пусто... Ведь были? — И вдруг засмеялся, отчего широкое, полное лицо его опять стало

задорно-мальчишеским.— Помните, как вместе московскому рабочему классу челом били? А?.. Так, значит, опять в походе? Есть порох в пороховницах? Ну, ну, простите, перебил, так вы считаете, надо осваивать весь каскад? Так... А вот есть и другое мнение: очень много пахотной земли затопите... Как с этим? Взвешивали? Хорошо взвешивали?..

Это воспоминание как-то успокоило Литвинова — порох в пороховницах еще есть. «Мы еще себя покажем всем этим мальчишкам... «Дедушка, подвези...» Нет, озорницы, женщине столько лет, на сколько она выглядит, а мужчине — столько, сколько он сам чувствует. Это сугубо правильно». Он победно откинулся на спинку сиденья и, хотя его немилосердно подкидывало и раскачивало на ухабах, распорядился:

— Петрович, а ну подбавь газку, не яйца везешь!

«Ничего, ничего. Дивноярскую отстроим, могут и еще одну, Усть-Чернавскую, дать».

Усть-Чернава, следующая за Дивным Яром,— самая большая ступень каскада. Она была заветной мечтой Литвинова. «Отгрохать бы ее напоследок, положить бы на землю еще шрамчик, порадовать бы еще раз народ, а там, верно, можно, пожалуй, и на пенсию... Дедушка. Вон оно как. Этот дедушка еще за себя постоит...»

Возле приземистых дощатых построек двора большой механизации девушки повыскакивали из машины, сыпля на ходу: «Спасибо, Федор Григорьевич!.. Счастливого пути!.. Извините за беспокойство!..»

Машина пошла тише. Литвинов задумался: «Дедушка! Это верно: уж больно много за последнее время морщин. Морщины, черт бы их побрал! Но разве это беда — морщины на лице, лишь бы на сердце морщин не было». Эта мысль ему понравилась — сердце без морщин! И он постарался ее запомнить. Может быть, где-нибудь и пригодится. «Но все-таки, в сущности, обидно короткая эта штука — жизнь. Только во вкус войдешь, ума наберешься — ан сдавай дела...»

— Ничего, Федор Григорьевич, вы у нас как огурчик,— произнес вдруг Петрович, свертывая к двухэтажному бревенчатому зданию управления Оньстроя.

— Что? Ты о чем? — вздрогнув, спросил Литвинов. Притворяться он не умел и рассердился: — Куда суешься? И вообще говори, да откусывай. Понятно?

В приемной сказали, что важных звонков не было, срочных бумаг тоже, и начальник, оставив, как он говорил, в «предбаннике» кепку и куртку, не заходя в кабинет, отправился к Петину, которому в управлении отвели самую большую и солнечную комнату, служившую раньше для общих собраний. При появлении начальника строительства люди, ожидавшие в приемной, поднялись. Все, кроме двоих. И этих двоих Литвинов успел рассмотреть: худой, жидкого сложения паренек с бледным лицом, поперченным яркими веснушками так, что оно походило на яйцо кукушки, и коренастая девушка с мальчишеской головой, румяными щеками, с очками на коротком носу. Прежде чем скрыться за дверью петинского кабинета, он заметил даже, что в темной оправе этих очков почему-то нет одного стекла.

Повесив пиджак на спинку стула, в свитере, из-под которого смотрел хорошо накрахмаленный воротничок и безукоризненно белая сорочка, в сатиновых нарукавниках, Петин, спокойный, деловой, сидел у просторного стола, на зеленом поле которого ничего не было, кроме лампы дневного света, подставки для вечной ручки да папки с бумагами. Перед ним на кончике кресла сидел комендант Зеленого городка, демобилизованный офицер в стареньком, но отглаженном кителе. При появлении Литвинова разговор прервался. Комендант сделал было поползновение уйти, но начальник сказал: «Продолжайте, продолжайте» — и, пройдя на цыпочках в глубь комнаты, устроился в конце стола заседаний.

— ...На первый раз я вынужден объявить вам выговор,— не повышая голоса, произнес Петин,— и предупреждаю вас, товарищ, вы не справляетесь со своими обязанностями.— А Литвинову пояснил: — Ну как же? Партия ему доверила такой участок — быт. Быт живых людей, а у него в Зеленом городке печи дымят, в швы палаток дует. Ремонт не только не окончен, а даже и не начат...

— Товарищ Петин, вы же знаете, людей мне не дают, материалов не отпускают. Я же сколько раз докладывал в управление... Вот,— комендант тянул какие-то бумаги.

Не принимая их, Петин решительно встал.

— Все. Я отвечаю за то, что мне доверено. Вы отвечаете за то, что доверено вам. Понятно? Если непонятно, вас на такой должности нельзя держать ни минуты. Это понятно?

— Так точно,— тихо произнес комендант и даже пристукнул каблуками. По его грубоватому лицу пошли алые пятна, а под кожей до синевы выбритых скул перекатывались желваки.— Будет сделано... Разрешите идти?

— Ступайте.

— Нет, стой! — подал голос Литвинов.— Насчет заявок па материалы ты тут не врал? Дай-ка твой архив.— Узенькие синие глазки так и сверлили коменданта, нерешительно остановившегося среди комнаты. Литвинов хлопал себя по карманам. Очки остались в кабинете. Далеко отставив от себя бумагу, он старался ее прочесть.— Ну какое же здесь — «будет сделано». Из чего?.. Трус, тряпка... Большевик не должен ни перед кем хвост поджимать... Так и говори — ничего не будет сделано, пока не дадите столько-то кирпича, столько-то леса, столько-то теса, столько-то гвоздей... «Будет сделано»... Ты что ж, воровать материал собрался?.. Составь еще раз заявку и принеси... А людей не жди, не будет. Самих жильцов мобилизуй: не хотите мерзнуть — чините. Вон Олесь Поперечный со своим мальцом, говорят, две землянки отгрохал — для себя и для экипажа. Учитесь. А теперь — кругом марш.

И когда дверь за комендантом закрылась, пояснил виноватым тоном:

— Извините, Вячеслав Ананьевич, вмешался... Знаете их — военная косточка. Там ведь им все материалы, как говорится, от пуза по заявке давали. Вот и отвык мозгами шевелить. Может, выговор-то на первый раз и не надо, а?

— Нельзя, Федор Григорьевич,— твердо сказал Петин.— И обязательно в приказе. Ведь из редакции «Огней тайги» еще письмо переслали. Вот оно. «Поселок к зиме не готов»... Ну, эти «Огни» ладно,—могут в «Правду», в «Известия» написать. Знаете, какой народец сейчас стал! И тогда уж не ему отвечать придется...

— Ну, раз объявили, оформляйте,— неохотно согласился Литвинов. И вдруг устало опустил плечи.— Письмо сибиряков прочли? Ну, что скажете?

— Странные люди. Местники.— Петин поднял со стола бумагу, пеструю от карандашных подчеркиваний.— Хотят идти к коммунизму с кругозорцем удельных князей!

Литвинов взял бумагу и, отставив ее на вытянутой руке, пробежал глазами документ, адресованный в Цен-

тральный Комитет партии и Совет Министров и в копии пересланный в управление строительством. Это было обстоятельное, со знанием дела написанное послание. И говорилось в нем о том, о чем в свое время с сомнением говорил Литвинову и секретарь ЦК,— о большом уроне, который нанесет Старосибирской области, начинающей бурно индустриализоваться, затопление многих обжитых, плодородных массивов речной поймы. Сейчас это житницы и молочные фермы отдаленного края, дающие многим старым и новым городам зерно, молоко, мясо. Сибирское море, разлившись, по проекту Дивноярской станции, похоронит часть этих земель, возделанных еще во времена Ермака. Многим колхозам, лежащим выше будущей плотины, придется разрушать хозяйство, а десяткам, может быть, сотням тысяч людей — покидать села, деревни, даже один городок и уходить в глубь тайги на необжитые места.

Самому Литвинову все было ясно. Он так сжился с этим большим проектом, что мог, зажмурив глаза, точно представить себе весь огромный промышленно-энергетический комплекс, который через несколько лет должен возникнуть по берегам Сибирского моря, пока еще существовавшего только на эскизах. Днепрогэс, Магнитка, Комсомольск-на-Амуре — все эти строительства, волновавшие умы в дни его молодости, казались незначительными по сравнению с перспективой возрождения этого богатого края. Но, старый большевик, он знал, что можно думать и по-другому, что тем, для кого большой проект лишь отвлеченная мечта, затопление Оньской поймы может казаться даже антигосударственным делом.

Перечитывая документ, снабженный выкладками, расчетами, таблицами и даже картой затопляемых земель, Литвинов не мог не волноваться. Все было убедительно. В особенности внушительной была карта, на которую чья-то умелая рука нанесла все подлежащие переселению колхозы и обозначила оранжевой краской, краской пожара, пахотные земли, обреченные на затопление. Петин посматривал на начальника: «Этакий он все-таки тяжелодум. Ну чего тут смотреть, ведь все наизусть знает»,— тонкие пальцы нетерпеливо выбивали на стекле стола барабанную дробь. Позвонил телефон, он снял и повесил трубку. Секретарь просунул было голову в дверь, но услышал резкое: «Занят». Литвинов наконец дочитал до конца. Половину последней страницы занимали подписи.

Первой среди них стояла подпись председателя сельхозартели «Красный пахарь» Иннокентия Седых.

— М-да...— задумчиво протянул Литвинов.

— Ох эта мужицкая тупость! — Петин старался сдержаться, но это ему плохо удавалось. — На пороге коммунизма — и этакое собственническое мышление. В краю созидается чудо, которое разбудит всю реку, а они, видите ли, не желают подвинуться, уступить ему место.— Он перегнулся через стол и, снизив голос до шепота, спросил, указывая на карту: — А не думаете ли вы, Федор Григорьевич, что кто-то из начальства в области их накачивает: видите, расчеты, чертежи, карта... Я, конечно, здесь еще мало кого знаю, но согласитесь, эти термины: «коэффициент использования», «дебет областного сельскохозяйственного баланса», «пути экономического преобразования» — все это не колхозные выражения. Ведь знали, какие доказательства подсунуть, знали даже о спорах, которые шли в Москве. Вот бы угадать: кто им все это сочинял? — Пальцы Петина нервно били по стеклу.

— ...Да, Иннокентий Савватеич, старый друг, сунул ты нам ножик под пятое ребро,—задумчиво произнес наконец Литвинов. — То-то, я вижу, он на острове снова клуб строить принялся. Клубище!.. Под затопление для града Китежа такие не строят. И главное — молчком... М-да. Сугубо серьезно... Видите, хотят нас на первый вариант свернуть — пониже плотину, поменьше зеркало, без больших затоплений.— Литвинов поморщился. Уж очень не любил он этот первый, осторожный проект, который превращал Дивноярскую станцию из уникума просто в большое гидротехническое хозяйство, каких в стране уже немало и каким этот край не разбудишь...

— Завидую вашему спокойствию.— Вячеслав Ананьевич испытующе смотрел на собеседника, вертевшего письмо в руках: что он темнит? Струсил? Или что-то уже учуял там, в сферах, и начинает перестраиваться, ловчить?

— Такие дела только спокойно обсуждать и надлежит,— задумчиво заговорил Литвинов.— Слыхал ты, что человек один, знаменитый ученый, у нас на Днепрострое с плотины головой в воду бросился, когда мы остров Сагайдачный затопляли?

«...Неужели он искренне? — Петин с некоторой даже жалостью взглянул на Литвинова, на его устало оплыв-

шие плечи, на опущенную круглую голову.— Сдаете, сдаете, друг мой. Где вам такую станцию поднимать в эти дни!» Но сказал он примирительно:

— Это когда было-то? С тех пор мы социализм построили. Новые поколения социалистических людей воспитались, никогда и не дышавшие капиталистическим воздухом...

— Н-да, а я вот думаю, что и при коммунизме человеку будет нелегко насиженное гнездо покидать, дедовские могилы бросать...

— Ну, знаете... А мне вот странно, как Седых с его психологией в партии? Жена рассказывала, да вы и сами видели,— кулацкий двор, толстенные двери, замки, засовы... Богородица там какая-то, лампадка, колдовские травы... И это в век спутников!

— Кулацкий двор?— Голос Литвинова стал тоненьким, дребезжащим.— А ваша супруга вам не докладывала, что эти Седых — отец и сын — первые на весь плёс охотники, в войну, когда люди тут от голода пухли, целыми лодками в Старосибирск битую дичь возили, а на весь заработок танк для армии купили? Так и назывался — «Оньский охотник». Лампадка в глаза бросилась, а благодарность от главы правительства за этот танк — нет. А она ведь на видном месте в светелке, в рамке висит. Как же это так? Спросили бы вашу супругу...

Петина уже предупреждали, что может случиться, когда эти мохнатые брови, напоминавшие гусениц, так вот нервно заходят по выпуклому лбу, а голос начальника сорвется на фальцет и он заговорит на «вы». Рассказы о бешеной вспыльчивости Старика сопровождали его со стройки на стройку. Тут, уличив какого-то инженера во вранье, он стукнул кулаком по столу, и раскололась доска; там, поймав в кармане руку вора, ее сжал так, что хрустнули пальцы. Да и сам Петин был свидетелем, как однажды на коллегии министерства, когда один видный работник начал было выкладывать на стол не вполне точные акты какого-то тенденциозного обследования, Литвинов, вскочив, бросил тоненьким фальцетом ему в лицо такое словечко, что его не решились повторять, когда инцидент этот потом обсуждался в партийном порядке...

— ...Я здесь человек новый, вы, конечно, лучше их всех знаете,— примирительно произнес Вячеслав Ананьевич.— Я могу только посоветовать покруче приструнить

Седых. Нужно разом покончить с этим. Вы человек с большими полномочиями, вас наверху знают.

— Его тоже знают. Он Герой Социалистического Труда.

— Ну, Героев много, а начальник Оньстроя один.

— Его тут все уважают, это умница. Его Сергеич, выступая перед сибиряками, маяком назвал.

— Да? — сразу посерьезнев, переспросил Петин.— Я этого не знал... Ну, тогда в самом деле надо действовать поосторожнее...

— Давай письмо,— не очень любезно прервал Литвинов. И положил листки во внутренний карман.— С людьми по-человечески говорить надо. Их надо убедить, доказать им... Знаешь что? Завтра выходной. Съезжу-ка я к Седых. Может, отзовут они эту свою бумагу...— Тяжело ступая, он поднялся и вдруг спросил: — Ну, а как супруга? Скучает небось? Не захочет ли с нами на Кряжой съездить, повидать своих знакомых? Может, и ты? — Синие глаза уже добродушно посмеивались.— Может, полюбопытствуешь на кулацкое житье, на замки, на лампадки, а?.. Такую ушку обещаю, какую на всем земном шаре только на Кряжом и варят. Зовется скитская...

Пошел и вернулся.

— И еще попрошу тебя: проверь, как там, на Урале, с отгрузкой экскаваторов. Торопить надо, а то у нас...— Он вспомнил трех смешливых девиц, обозвавших его дедушкой, и улыбнулся.— Вот, говорят, свистят люди.

10

День был длинный, трудный, битком набитый большими и малыми заботами, ворохами бумаг, телефонными разговорами со Старосибирском, с Москвой и другими городами, откуда сюда, в село Дивноярское, не нанесенное еще ни на одну крупномасштабную карту, везли машины, материалы, двигались эшелоны людей. Но начальный период, когда на сотни километров шумела нерубленая, нехоженая тайга и Онь, как и миллион лет тому назад, с громом протаскивала свои быстрые воды сквозь черные зубы порога Буян, когда, даже имея перед собой подробные планы и точные расчеты, невозможно было представить, что через четыре года тут будет воздвигнуто,— этот период уже прошел.

В окно управления сквозь пышную хвою пихт Литвинов видел теперь прорубленную в тайге просеку, вдоль которой справа и слева поднимались пока еще деревянные, пока еще двухэтажные дома. В разных местах, разделенные лесными массивами, уже возвышались мастерские, гаражи, машинные парки, строительные дворы, бетонные, деревообделочные заводы. Им надлежало со временем разрастись, соединиться в стройный производственный комплекс.

Строительство еще лихорадило, как это бывает в первые годы: то не хватало людей, то машин, то материалов. Неотлаженная механизация работала с перебоями. Но время, когда приходилось соединять все эти разно работающие группы нитками военного полевого телефона, а то и просто живой связью, время, когда из-за буранов, останавливавших движение на дорогах, порой не хватало даже хлеба, когда продукты на дальние объекты приходилось доставлять волоком, на тракторных санях, время, когда из-за нехватки яслей и детских садиков женщины устраивали в управлении тяжелые сцены,— это трудное для каждого строителя время было уже позади.

Каждым участком руководил человек, которого Литвинов знал и узнавал все лучше. Все очаги строительства, разбросанные на пространстве в десятки километров, он, начальник, уже начинал ощущать как бы продолжением своего тела и почти физически чувствовал, где больно, где жмет, куда плохо подается кровь, где не хватает воздуха. Наступала излюбленная Литвиновым пора — руководя, можно было творить на ходу.

Поэтому заботы уже не так тяготили, а новые трудности, возникавшие вдруг и требовавшие необычных решений, не раздражали. Даже возбуждали энергию. Но письмо, ох это письмо... Петину все просто, человек недавно приехал, никого здесь не знает. Для него, инженера, все ясно. Он видит два проекта и спокойно решает: второй лучше, перспективней. Литвинов же видит людей, писавших бумагу, знает их как умных, честных. Больше того, он понимает и их заботу, понимает, что они защищают не только насиженные гнезда, даже не свои села, а тоже общенародные интересы, рассмотренные с другой точки зрения. Три депутата, член обкома, два Героя Социалистического Труда,— как это можно их

«приструнивать»! Хозяева края! Москва может и их послушать.

Нет; убедить, во что бы то ни стало, убедить хотя бы этого Иннокентия Седых, который конечно же у них закоперщик. А легко ли доказать человеку, что нужно бросать с таким трудом отвоеванное, обжитое, начинать в тайге все заново? Литвинов видел перед собой сухопарую фигуру человека с профилем хищной птицы. Кремень мужик. Докажи-ка ему...

Письмо нарушило привычный строй работы. К концу дня у Литвинова разболелась голова. Он сообщил Петровичу, что пойдет домой пешком, и, озабоченный, нахмуренный, вышел из кабинета. Деревянные ступеньки тяжело поскрипывали под ногами. Он взялся было уже за ручку двери, как две фигуры, возникнув из полутьмы раздевалки, заступили ему дорогу.

— Ну, чего надо?— неприветливо буркнул Литвинов, узнав худого парня и девушку в очках с одним стеклом.

— У нас к вам, товарищ начальник, важное дело,— сообщил, по-военному вытягиваясь и даже прихлопывая каблуками ботинок, юноша с пестрым лицом.

— Личное, страшно важное. И только, пожалуйста, не вздумайте отправить нас в отдел кадров. Мы там трижды были. И к товарищу Петину — тоже, мы и у него были и больше не пойдем,— торопливо произнесла девушка, пристраиваясь к шагу Литвинова и сбоку заглядывая ему в лицо.— И учтите, речь идет о всей нашей жизни, и вы просто обязаны нас выслушать. Вы последняя инстанция.

Правый глаз девушки, защищенный стеклом, смотрел просительно, даже умоляюще, зато левый, широко раскрытый, глядел требовательно, гневно. И такой он был обиженный, сердитый, этот незащищенный глаз, что появившееся было чувство острой досады как-то сразу улеглось.

— Ну, последняя инстанция слушает. Только, братцы, коротко и на ходу. Во-первых, последняя инстанция устала и, во-вторых, хочет есть.— И, глубоко засунув руки в карманы, Литвинов, продолжая идти, спросил: — Вы кто такие?

— Я Валя, а он Игорь.

— Товарищ начальник, докладываю: нас не приняли на работу,— четко сказал юноша.— Почти всех, кто с нами приехал, взяли, а нас не приняли: не по набору, самотек,— это раз.

— А два?

— А два... Вот, видите ли, у меня слабое зрение,— заявила Валя,— а он, Игорь, был исключен, то есть отчислен, то есть просто не принят в офицерскую школу после суворовского училища: легкие, видите ли.— Энергичная Валя крепко держала Литвинова под руку, и тот невольно был принужден подстраиваться теперь к ее шажкам. — А мы хотим работать в Дивноярье. Мы приехали сюда не по вербовке, а по повелению сердца, как пишут в газетах.— И вдруг выпалила: — Мы никуда отсюда не уедем, слышите!.. Мы жаловаться на вас будем. Мы в ЦК напишем.

Что-то давнее, очень знакомое послышалось Литвинову в задорном, напористом голоске. Сразу развеселившись, он спросил:

— Вы что ж — супруги, что ли, муж и жена?

Молодые люди даже остановились. При свете совсем еще юного, тощенького месяца было видно, как они покраснели.

— Мы?.. С чего это вы взяли? Мы товарищи по несчастью,— смущенно произнес Игорь.

— Этот ваш Петин, он нам так сказал,— круглое, мальчишеское лицо девушки изобразило выражение снисходительной уверенности, — «удивляюсь, как вы, молодые люди, этого не понимаете? Комсомол посылает на стройку свою элиту, а вы...»

Все это она произнесла так похоже на Вячеслава Ананьевича, что Литвинов расхохотался. Валя и Игорь недоуменно переглядывались, а он, утихнув, вдруг снова восклицал: «Элиту! Ведь скажет тоже,— снова смеялся.— Элиту! Ох, уморили вы меня». Потом вдруг стал серьезным.

Неровная грейдерная дорога, за обочинами которой двумя рядами лежали пни-выворотни, была покрыта выбоинами. Иней густо посолил все вокруг. Свет тощего месяца, пробиваясь сквозь кроны реденьких лиственниц, как бы клал под ноги ковер, расшитый шевелящимися световыми пятнами. Схваченная морозом грязь была тверда как камень. Молодые люди то и дело спотыкались, а приземистый человек шагал своей спорой, вразвальцу походкой, будто бы обладал кошачьим зрением.

Наконец у двух обширных груд вывороченных корневищ дорога распалась на несколько троп, и перед спутниками засияли неяркие огни палаточного городка.

По видимой лишь ему тропке Литвинов привел их к палатке, возле которой вырисовывался костлявый силуэт вездехода.

— Вот и моя изба,— сказал начальник строительства, останавливаясь возле деревянного тамбура.

— А как же наше дело? — спросил Игорь упавшим голосом.

— Нет, мы вас так не отпустим. Это нечестно.— Валя решительно загородила дверь.— Вы так от нас не уйдете,— решительно говорила девушка, похожая на мальчишку.— Вы последняя инстанция. Мы, конечно, не элита, нас кто-то там не отбирал, но я окончила школу с золотой медалью, Игорь свое училище — тоже с отличием. Как советские граждане, мы имеем право...

— Прежде всего право выпить с холоду чашку горячего чаю,— перебил Литвинов, все еще роясь в своем прошлом и стараясь припомнить, кого же это напоминает ему упрямая парочка.— Ну, проходите,— тоном приказа сказал он, открывая дверь.— За чаем последняя инстанция все обсудит.

В палатке было жарко. Единственное стекло в Валиных очках сразу запотело. Протерев его, девушка увидела, что половина помещения отгорожена дощатой переборкой. Там, где они находились, стояла чугунная печь. С гудением горели в ней смолистые лиственничные корни. Койка застлана по-солдатски. Стол, и на нем тарелки, прикрытые салфеткой. И наконец она рассмотрела коренастого человека в свитере и ватных штанах, заправленных в валенки. Лицо, нос, губы, щеки — все это у него было округлой формы, и сам этот коротконогий и короткорукий человек показался Вале круглым. «Один квадратный, а другой круглый»,— подумала она. Круглый укоризненно посматривал на нежданных гостей. Он так ничего и не сказал, пока из-за переборки не вышел Литвинов, успевший переодеться в старый синий лыжный костюм и сунуть ноги в разношенные валенки.

— Ну, что стоите? Садитесь,— сказал он и приказал круглому: — Давай, Петрович, разворачивайся. Что-нибудь у нас там для гостей найдется?

— Чашка чаю есть, а так что же?

— Ну, ну, не скупись, пошарь как следует... Есть, наверное, хотите? — Гости промолчали.— Ну вот видишь, Петрович, хотят. Давай, а то я сам в твои тайники залезу.

— Будет сделано,— неохотно сказал Петрович и так же неохотно ушел, всем своим видом показывая, что это позднее гостеванье считает лишним. Когда же шкворчащая в свином сале яичница, поданная прямо на большой сковороде, исчезла, Петрович поставил перед каждым по стакану крепкого чаю, а посреди стола корзиночку с печеньем.

Литвинов ел, посматривая то на парня, то на девушку. Кого они ему напоминали, он так и не вспомнил, но нравились они ему все больше.

— Ну так, последняя инстанция слушает. Вам хочется на работу. Ну, а как насчет квалификации?

— Пока никак,— ответила Валя.

— Но ведь вы тоже, наверное, не родились гидростроителем,— парировал Игорь.

Петрович испуганно посмотрел на начальника, но Литвинову этот ответ, как кажется, даже понравился.

— Резонно,— сказал он.— Я начал гонщиком. Знаете, что такое гонщик? Мы с отцом, с братьями в Селижарове — есть такое село, где Волга начинается,— зимой валили лес, возили его к реке, делали плоты, по-тверскому — гонки... Но у меня, молодые люди, между прочим, инженерный диплом.

— А ведь мы и не просимся в начальники стройки,— уже осмелев, перебила Валя.— На любую работу.

— Здесь столько курсов при учебном комбинате: курсы бетонщиков, курсы шоферов, курсы экскаваторщиков, курсы десятников. Неужели нигде не найдется для нас местечка? Вот мой аттестат с отличием.— Игорь, вытянувшись по-военному, протянул черную с красной звездой и золотым тиснением книжечку.

Литвинов поднял вверх руки:

— Сдаюсь. Убедили. Только помните, ребята: на любую работу, куда пошлют, где нужны... А ты, курносая, что ходишь в очках об одном стекле?

— Ой, не говорите! — Валя едва скрыла ликование.— Я было и вовсе ослепла. Пожар был на пароходе — такой ужас. Я очки потеряла. Потом их нашли, но одно стекло разбилось... А где тут вставишь?.. Мне ведь и скрипку раздавили.

— Скрипку?

— Ну да. Я ведь немножко играю. Мама и говорит: возьми с собой, меньше будешь скучать по дому. А тут в суете наступил кто-то и — трах, гриф сломался.

— Скрипка... Как же ты со скрипкой надумала сюда ехать?

— Ну и что? Весной перед выпуском нам учительница Юлия Осиповна сочинение дала — кем хочу быть. Я написала о Дивноярском и получила пятерку. Раньше я об этом и не думала, а вот получила пятерку и сказала: тут твоя, Валька, судьба... Товарищ начальник, вы не забудете о нас? Правда?

Она вдруг взглянула на часы, спохватилась, вскочила. Оба заторопились.

— Спасибо вам за чай. Мы отняли у вас столько времени! — Уже одевшись, Валя вдруг обернулась.— Извините, пожалуйста. Скажите, для чего у вас эта смешная гиря? — Она указала на пузатый двухпудовик, скромно стоявший в уголке палатки.

— А я с ней по утрам упражняюсь,— не без самодовольства заявил начальник строительства.

Валя потрогала гирю ногой, обутой в хорошенький меховой башмачок. Гиря стояла на месте. Игорь тоже попробовал ее покачнуть — гиря стояла.

— Вы шутите?

— Нет, почему же.— Литвинов подошел к гире, расставил ноги, изготовился, взял ее и вдруг рывком оторвал от пола и бросил вверх — раз, два, три, четыре. Лицо у него покраснело, на переносице выступил пот, но, поставив гирю, он самодовольно улыбался.— Видали?

В глазах юноши, светло-серых, но с такой же пестринкой в радужной оболочке, как и на лице, появилось нескрываемое восхищение.

— Разрешите мне попробовать двумя руками?

— Валяй!.. Но не выйдет. Жидковат.

Подражая Литвинову, юноша расставил ноги, рывком обеих рук оторвал гирю от пола, поднял до пояса, но тут же поставил. Он густо покраснел, повторил попытку, и снова пришлось опустить.

— Сразу, брат, это не дается,— снисходительно сказал Литвинов.— Мало каши ел...

Но Игорь взялся за гирю еще раз. Поджилки дрожали. Дыхание стало прерывистым. В это мгновение он никого уже не видел и ни о чем не думал, кроме этой чугунной пузатой штуки, в которую была вбита дореволюционная медная проба — «два пуда». Наконец, снова схватив за дужку, он поднял гирю до пояса и, сцепив зубы, весь дрожа от напряжения, чувствуя, как про-

брызнувший пот течет по лицу, присев, толкнул гирю вверх. Он все-таки выжал ее, но тут же она выскользнула и упала, разбив доску.

— Ну заставь косолапого дуги гнуть,— сердито сказал Петрович, осматривая побитый пол.

— Нет, нет, парень, правильно! Молодец! — закричал Литвинов и хлопнул Игоря по плечу так, что тот качнулся.— Машины, они, конечно, машины, но сила, ловкость — важная штука. Я вот в вашем возрасте, разве чуть постарше, с рабфака домой к себе в Селижарово приехал. Ну, мать обрадовалась, отец водки выставил: плотогонам без этого нельзя. Выпили. И что уж мне в голову влезло — возьми спьяну да и завяжи кочергу узлом. Утром храплю на полатях — и вдруг как меня по спине ожжет. Взвился. Отец! В одной руке ременный чересседельник, а в другой — кочерга с узлом. «Я те научу баловать!» Да еще чересседельником раз, раз... А потом развязал на кочерге узел, без молотка, руками ее выпрямил и к матери: «На, не реви, сама виновата. Силу парню дала, а разуму пожалела...»

— Так мы пошли,— решительно произнесла Валя, не очень вежливо прерывая разговорившегося начальника.

Не одеваясь, не прикрыв даже голову, Литвинов вышел за ними из палатки. Пока они пили чай, пошел снег. Все кругом стало белым. Палатка, машина, стволы лиственниц — все теперь четко вырисовывалось в синеватом мраке. Было тихо, будто постелили пушистые ковры. Молодой снег пах свежо, вкусно, как хорошо выстиранное белье.

— Дорогу-то найдете, товарищи по несчастью? — поинтересовался Литвинов.— Не боитесь, что волки съедят?

— Найдем,— послышался из полутьмы голос Игоря.

— А волков тут нет,— отозвался девичий голосок.

Совсем уже вдали чему-то засмеялись. Литвинов смотрел им вслед. В одной из палаток женщина баюкала ребенка... Динамик напевал вдали неаполитанскую песню. Где-то пьяный голос убеждал: «Васька, ты слышишь, ты слышишь, бесчувственный ты черт! Я к нему всей душой, а он ко мне всей спиной...» В другой палатке не то радио, не то магнитофон передавал концерт Рахманинова. Крикливый женский голосок шепотом говорил: «Я ей так и сказала: ты от него отойди. Я тебе его все равно не отдам». И все это в торжественной

белой тишине, в млечном сиянии молодого месяца, совершавшего свой путь над притихшей, побелевшей тайгой.

«И чего это я сегодня перед этими желторотыми силой расхвастался», — подумал Литвинов. И опять пришла мысль: «Кого же напоминает эта смешная парочка? Может быть, собственную молодость? А?»

11

— ...А ты знаешь, дорогая, этот Литвинов к тебе определенно неравнодушен, — многозначительно произнес Вячеслав Ананьевич, когда жена кормила его обедом.

— Что ты говоришь? — удивилась Дина Васильевна, останавливая в воздухе разливательную ложку и стараясь скрыть интерес к этому сообщению.

Она понемногу уже приспосабливалась к роли хозяйки особняка на таежной просеке. Просека называлась — Набережная. На Набережной стоял пока один этот домик, для остальных лишь расчищали участки. Домик был у лесистого откоса. До берега Они от него километра три-четыре густого лесного массива. Но, как все эти еще только начинавшие застраиваться просеки, откос уже имел свое название.

В домике, где густо пахло смолой, непросохшей штукатуркой, Дина постаралась воссоздать подобие привычного жилья. Начала с того, что сорвала с окон, с дверей тяжелые занавеси и портьеры рытого бархата, повытаскала из комнат на террасу лишнюю грузную разнокалиберную мебель. Все это вместе с аляповатыми масляными копиями с известных картин «Утро в сосновом лесу», «Охотники на привале» и современным полотном «Счастливая старость», заключенным в толстую золоченую раму, было возвращено заведующему административно-хозяйственной частью управления, разбившемуся, по его словам, в лепешку, чтобы выполнить приказ начальника и создать для Петиных «настоящий столичный уют». В опустевших комнатах вместо рытого бархата на окна были повешены занавеси из пестрого ситца, а в дверях на месте портьер — деревенские пестрядинные дорожки, какие в этих краях хозяйки выкладывают на вымытых и выскобленных полах.

Переоборудованием дома Дина занималась с увлечением. На деревянных полках, сделанных по ее наброс-

кам старичком столяром из села Дивноярского, она расставила купленные на рынке глиняные горшки, горланы, блюда, от каких в колхозах давно отказались. Картины в тяжелых золотых рамах заменил плакат «Покорим тебя, Онь», нарисованный кем-то из местных художников и отпечатанный в типографии газеты «Огни тайги».

Начальник АХО, с энтузиазмом трудившийся над оборудованием домика, был плотный, быстрый, добродушный человек с голым черепом и очень черными глазками. Он был известен своей любовью делать приятное кому только мог. В этом он видел свою жизненную миссию. И что бы он ни доставал — телефонный ли аппарат особенно привлекательного вида, перекидной календарь, отпечатанный в типографии Гознака, какое-нибудь особенно удобное, с фасками стекло на стол или еще что-нибудь необыкновенное, он, весь сияя улыбочками, оставлявшими ямки на его полных щеках, говорил: «Только для вас достал, только для вас». Из этой фразы управленческие остроумцы и соорудили сложное прозвище Толькидлявас.

И вот теперь бескорыстное доброжелательство Толькидляваса было уязвлено. «Какая мебель! Немецкий резной буфет!.. Рижский диван!.. Венгерская горка!.. Где это здесь достанешь? А картины? Ну ладно еще «Мишки па дровозаготовках», «Тары-бары» — бог с ними. Это копии, они везде висят. Но «Счастливая старость»! Ее же иллюстрированный журнал на целую страницу поместил, о ней где-то писали. Какое мастерство! Каждый волосок отдельно выписан. А материи на одеждах — их даже пощупать можно. Я чуть не подрался с директором старосибирского театра, хотевшего купить это полотно для украшения фойе... И вот, пожалуйста, эта дамочка выставила произведение искусства на балкон, а вместо него повесила какой-то паршивый плакатишко, каких на заборах сколько угодно. Разве она что понимает в мебели, в шедеврах искусства?» Так думал уязвленный Толькидлявас, но думал про себя, ибо осуждать людей было не в его правилах, а начальников и их родственников — тем более.

Из всего добытого с таким трудом Дина оставила самую чепуховую, по мнению Толькидляваса, мебель: стулья, кресла, диван-тахту из толстой гнутой фанеры и такой же торшер. А в кабинете она водрузила оканто-

ванную медью старую фотографию, где муж был снят в Германии в последний день войны. Фотограф запечатлел его сидящим во дворе какого-то замка в момент, когда девушка-парикмахер сбривала ему усы. Это фото, висевшее и в Москве, заняло привычное место над письменным столом Вячеслава Ананьевича.

Покончив с оборудованием домика, Дина Васильевна принялась хозяйничать. Муж, самоотверженно сменивший столицу на таежную глушь, должен как можно меньше ощущать тяготы перемен. Она старалась кормить его как в Москве, до мелочей соблюдать домашний режим, крахмалила воротнички, манжеты его рубашек, заботилась, чтобы на брюках всегда была четко обозначенная складка.

За хлопотами и заботами она старалась не замечать и порой действительно не замечала, что все-таки скучает, почти весь день одна, в обществе домашней работницы, девушки из села Дивноярское, которая ничего в доме не умела делать, всему удивлялась, понемножку била посуду и всякую свободную минуту что-то читала и выписывала в тетрадку, мечтая попасть на курсы учетчиков при учебном комбинате строительства...

И вот теперь, за обедом, это сообщение о Старике.

— Ты смеешься надо мной? — осторожно произнесла Дина, стараясь скрыть интерес.— Старик неравнодушен? Да он со мной как с девчонкой разговаривает.

— Ах ты, рассеянная моя! — перебил муж.— Сколько уж раз мы с тобой говорили, что ты не будешь наполнять мне тарелку выше риски.

— Ой, извини, милый, заболталась. Дай я отбавлю... Ну кушай, кушай, я подожду.

В семье Петиных постепенно выработался кодекс обычаев, который Дина старалась сейчас соблюдать особенно тщательно. Например, если не было посторонних, за столом не разговаривали. И хотя теперь ей и хотелось поскорее узнать, что муж ответит, она выждала, пока Вячеслав Ананьевич покончил с супом. Она знала: он внимателен, он не забудет вопроса.

— Я не шучу,— сказал он, положив ложку и отодвигая тарелку.— Начальник аккуратнейшим образом по утрам справляется о твоем здоровье, каждый день шлет нижайшие поклоны, так что, если я и забываю их тебе передавать, знай — ты их получаешь... А сегодня вот, пожалуйста, пригласил ехать с ним на остров Кряжой, к твоим, как он изволил выразиться, знакомым.

Остановившись со сковородкой в руке, Дина слушала. Но муж сказал с мягким упреком:

— Дорогая, котлеты стынут.

Спохватившись, она быстро подала ему второе и уселась напротив, всем своим видом показывая, что ожидает подробностей. Но Вячеслав Ананьевич, ласково поглядывая на жену, продолжал в молчании отделять кусочки котлеты, окунать их в соус, мазать горчицей, добавлять пюре, несколько горошин и отправлять в рот.

— ...Скучаешь ты, дорогая. Вижу, скучаешь,— произнес наконец Вячеслав Ананьевич, вытирая губы салфеткой.— Мне, собственно, нечего тебе рассказывать. Просто начальник едет на Кряжой улаживать одно очень неприятное дело. Эти колхознички подложили нам огромную свинью, а Литвинову, вместо того чтобы утрясти все в партийном порядке, вздумалось их уговаривать.— Вячеслав Ананьевич поковырял в зубах, вежливо прикрывая рот ладонью.— Знаешь, мне с ним все трудней. Витает где-то там в первых пятилетках. Где надо приказать — просит, где надо кулаком стукнуть — затевает переговоры. А иногда наоборот — упрям как осел. Ну хотя бы эта история с капитаном Раковым — помнишь, этот старик, из-за которого мы все чуть было не сгорели? Ну вот, я написал об этих его головотяпствах. Приехала комиссия из пароходства, и что же? Литвинов встает на защиту. Я, который там был, который чуть сам не погиб в этой катастрофе, говорю одно, Литвинов — другое: он, видите ли, его знает, капитан проводил ему суда через Буйный. Черт знает что... Поставил меня в дурацкое положение... Милая, тебе непременно хочется ехать с ним на остров?

— Надеюсь, он меня не одну пригласил?

— Ну конечно. Но я не смогу. Эта статья, сколько уже раз звонили из Москвы... И потом стройка — не можем же мы оба ее оставить... Я вижу, тебе все-таки хочется поехать.— Вячеслав Ананьевич вздохнул, и лицо его стало печальным.— Ну что ж, поезжай, хотя мне будет без тебя грустно... Очень.

— А ты не рассердишься?

— Нет, конечно... Хотя, признаться, совсем не понимаю, что ты там не видала...

...И теперь, когда машина несла ее по уже знакомой и, как Дина называла ее про себя, «марсианской» дороге, она, вспоминая фразу за фразой вчерашний разговор

с мужем, старалась угадать, рассердился он или нет. И если рассердился, то почему: действительно не хочет оставаться один или за то, что она поехала со Стариком? И если второе, то опять почему: неприятно, что жена дружит с человеком, который мешает развернуться способностям и талантам мужа, или это все-таки ревность? Но, чудак, ревновать к этому смешному, взбалмошному комоду...

— ...Верно, душа радуется? Красотища-то какая! — обернулся к ней Литвинов.— Нет, смотри, смотри — за одну ночь все-все переменилось, будто в театре.

И в самом деле, ударивший ночью ядреный морозец сразу все преобразил; прочного снегу еще не было, но белый кристаллический иней густо посолил все вокруг: дорогу, нагромождение корневищ по обочинам, деревья, кусты, траву. Небо над тайгой было ясное. Солнце омывало все холодным светом, лиственные деревья, застигнутые врасплох и еще не сбросившие своих уборов, окропляли эту радующую глаз белизну золотыми, красными, темно-багровыми и ярко-зелеными пятнами. Убитая морозом листва текла с неподвижных веток при малейшем дуновении ветра. Сорвавшись, листок вертелся в воздухе, задевал другие, сшибал их, и они как бы порхающим ручейком устремлялись за ним. Там, где дорога углублялась в тайгу, она пестрела, будто выстланная ситцами. Литвинов опустил стекло, и ветер бросил в машину влажную прохладу, густой бражный аромат.

— Какие края! — Синие глазки, все массивное лицо, иссеченное тоненькими морщинами, изображали полнейшее удовольствие.— Я вот утром на заре из палатки вылез — тишина. Слышно, как лист в воздухе кружится, и вдруг подумалось: ведь года через два тут все зашумит, загремит, загудит. Безлюдье, нехоженые места... А мы сюда такой промышленный комплекс посадим, какого другого, может, и на свете нет... Сколько уж раз это бывало, а все никак не привыкну... Все словно впервой... Так ведь, Петрович?

— Яволь,— отозвался тот небрежно, будто лениво шевеля баранку руля.—...А я вот, Федор Григорьевич, все думаю: пройтись бы вам по морозцу с ружьишком. Зайцы тут, говорят, просто в очередь перед охотником становятся. А вы в этом году так ни разу в лес и не вылезли.

Машина между тем сошла с шоссе и остановилась у ската оскальпированной высотки. Дина тотчас же узнала ее: ну да, и старая лиственница стояла на кубике нетронутой земли, будто бы на пьедестале, и доска, на которой чья-то рука не очень умело вывела ленинские слова об электрификации, была на месте. На песке сохранились даже смутные отпечатки женских ног и больших сапог Надточиева.

Это отсюда Дина впервые увидела строительство. Увидела и разочаровалась: ничего особенного. Так она и сказала по приезде Вячеславу Ананьевичу. Тот улыбнулся, обещал завтра все показать. Но из-за занятости не смог. Поручил это Юрию Пшеничному. Молодой инженер уже успел освоиться на новом месте, завести множество знакомств. Строительство он показывал со знанием дела и весело, с удовольствием, как гостеприимный хозяин. И вот тут-то перед москвичкой и открылись истинные масштабы того, что происходит сейчас в Сибири.

Тайга всюду сохраняла еще свой вековечный облик. Тем неожиданней и удивительней возникали внезапно среди девственной природы строительные площадки — огромные бетонные корпуса, то уже готовые, застекленные, дымившие, то в виде каменного кружева, то как фундаменты, будто бы еще только прорезающиеся сквозь землю. Тут и там виднелись, господствуя над самыми высокими елями, макушки костлявых кранов. Машины высотою в трехэтажный дом копали землю... Потом дорога, как в тоннель, втягивалась в заросли. Кроны деревьев смыкались. И вдруг открывалась гигантская искусственная котловина. Совершенно, казалось, безлюдная, она напоминала лунный кратер, в котором копошились машины. И опять шла тайга, и по ней в разных направлениях бежали самосвалы, каких Дине и видеть не доводилось. Пшеничный пояснял: бетонный завод... Полигон сборных конструкций... Деревообделочный комбинат... Гравийный карьер... Называл какие-то, вероятно, очень большие цифры. Но Дина сидела молчаливая, тихая, жадно и опасливо смотря в опущенное стекло.

Потом, взвыв, машина стала карабкаться вверх, вся содрогаясь в жестких колеях прошитой кореньями дороги. Остановилась на вершине какой-то высоты. По корявой сосенке, изогнувшейся на обрывистом краю небольшого плато, Дина догадалась, что они на макушке

Дивного Яра. Когда, неведомо почему взволновавшись, она глянула вниз за гребень утеса, то невольно вздрогнула: так широк был открывшийся перед нею горизонт. Внизу, где, входя в сужение между двумя утесами, Онь заметно убыстряла бег и бурые воды ее обрастали белыми гривками, перед ней открылось такое, чего видеть ей еще и не доводилось. В огромной земляной чаше, отгороженной от реки каменной дамбой, работало множество людей и машин. Казалось, все движется, перемещается, точно кипит.

— Когда же они успели все это построить? — невольно вырвалось у нее.— Неужели полтора года назад тут ничего не было?

— Широки шаги семилетки! — с пафосом произнес Пшеничный и принялся рассказывать, что здесь будет через два, через три, через пять лет.

Собеседница не слушала. Она смотрела потрясенная, думая о том, как же это дьявольски трудно — управлять всей этой массой людей, механизмов, транспорта, потоками грузов. И ей, всегда гордившейся мужем и его работой, может быть, впервые вот здесь, на Дивном Яре, довелось ощутить, как грандиозны его дела...

Голова у нее кружилась.

— Отвезите меня домой, Юра,— тихо попросила она.

— Как? — воскликнул Пшеничный.— Мы же еще не осмотрели правобережья — главное сейчас там... Правобережье лидирует...

— Хватит, — сказала она жалобно и больше уже не глядела в окно машины...

...Когда в первый раз Дина смотрела отсюда, с этого оскальпированного холма, на панораму строительства, оно казалось ей муравейником. С тех пор ничего не изменилось, ничего не успело прибавиться. Но виденное жило в ней, и она сама казалась себе сейчас маленьким муравьем, затерянным среди непонятных громад...

— Вот оттуда, с того самого утеса Бычий Лоб, через реку на Дивный Яр и пойдет створ плотины. А! Как?.. Эдакий шрамчик на глобус... Сколько уж шрамчиков мы с тобою, Петрович, таких положили, больших и маленьких! — говорил Литвинов.— Не зря, Дина Васильевна, живем на свете!

«Расхвастался!» — подумала она.

А между тем дорога сбежала к реке, пошла под-над берегом, по кромке, в тени диабазовых скал. Черный ка-

мень стеной надвигался на воду, а слева шумел, грохотал порог Буйный. Вспарываемая «бойцами» вода клокотала, кипела и густо курилась. Все вокруг было одето в белую мохнатую шубу.

— Видишь на скалах надписи? — спросил Литвинов, когда они вышли из машины, и показал Дине на диабазовую стену.

В самом деле, в слоистых скалах, наверху, куда брызги не достигали и где иней не удержался, было что-то написано.

— Это лоцманы. Проведет через Буйный судно — и автограф оставит... С давних времен. А ну смотри, Дина свет Васильевна, вон туда, где деревцо.

Иные надписи можно было разобрать. На скале, на которую указывал толстый, короткий палец, славянской вязью значилось: «Евтихий Раков. Казенный караван». И дата: «1780». А ниже, совсем над дорогой, современным «стенгазетным» шрифтом было убористо размещено между двумя трещинами: «Алексей Раков. Шесть катеров» — и тоже дата: «Май. 1958 год». Значились поблизости и еще какие-то Раковы. Но Дина смотрела на эту нижнюю, написанную «стенгазетными» буквами.

Раков! Алексей Раков! Ведь, кажется, именно так звали старого капитана, из-за которого они чуть было все не погибли на горящем «Ермаке». Вспомнила вчерашний разговор с мужем и, удивленная, спросила:

— Неужели это тот самый горе-капитан?

— Правильно,— хохотнул Литвинов, потирая руки.— Он же из здешних, из коренных лоцманов. Вон откуда.— Короткий палец указал на верхнюю надпись.— Вон от кого род ведет... Специальный самолет за ним посылал, чтобы протащил наши суда через Буйный на нижний бьеф... Ух мастерище! Нам вот с этого места глядеть страшно было, а он — одно, другое, третье, пятое... И без отдыха... Вон там боец, Лопата называется,— видишь, камень торчит, плоский такой. Мой катер на него поволокло. Ну, думаю,— в щепки. А ведь и его провел...

— Как же тут проведешь? — Дина вопросительно смотрела на Литвинова. Может, он шутит над ней? С него станется. Онь, вспоротая бивнями бойцов, неслась с такой бешеной быстротой, что кружилась голова.— Федор Григорьевич, вы надо мной смеетесь? Да?.. Разве тут можно судно провести?

— Мы с тобой ореховой скорлупы не проведем, а сибирские лоцманы проводят. Ходы меж бойцов знают, повороты потока чувствуют. Этот Раков провел последнее судно, сошел на берег, сел вон на тот камень и с час отдыхал. Выглядел, будто со смертного одра. Потом потребовал грузовик, чтобы его с людьми домой, в Дивноярское, отвезли. Там у него сестра-старуха уж баню истопила. Попарился вместе с рулевым и боцманом, тоже здешними, с Дивноярья. Литр спирта втроем высадили и завалились на печь. А утром проснулись люди, глядят — вот эта надпись. А дружки тю-тю, в Старосибирск улетели. Благодарность вслед им почтой пересылать пришлось. Вот, милая моя, какая штука... Так ведь, Петрович?

— Рыхтих,— подтвердил тот, смешно выговорив немецкое слово.— Мне этот самый басила-капитан тут недалеко в тайге речку показал, вшивая речушка, переплюнуть можно, но несется как настеганная по камням... В ней омутки, так не поверите — хариусы в них с бою на муху берут.

— А что-то не кормишь меня хариусами?

— У вас половишь! Часто вы мне выходные-то даете?

А машина неслась по дороге, так хорошо запомнившейся Дине. Иней изменил цвета, но все-таки узнала она и ключик, из которого пила воду, и поворот, где тогда подобрали Надточиева, и поле, где встретился бородатый механик. Только вместо вихрастого мальчишки-паромщика у мо́тора сидела старая, закутанная в шаль тетка и вязала кофту. Предоставив Петровичу самому устанавливать и укреплять на мостках машину, она запустила слабенький, перхающий мотор.

— Ты чего тут, за русалку работаешь? — спросил Литвинов, беря у нее из рук руль.

— ...А водяные-та все за рекой, Федор Григорьевич, и Петьшу-паромщика туда снарядили. Мороз-то, вон он как к нам подкрался, а в поле еще столько-та гектаров не кошено... Зря едешь, село-та как есть все пустое.

— К Иннокентию Савватеичу мы.

— Ну разве что председатель, и то навряд. Трещала, правда, два раза его моторка... А остальные-та все чем свет на поля подались.

Действительно, Кряжое будто вымерло. Лишь за заборами брехали вслед машине псы да за оградкой яслей

гуляла стайка ребятишек. На строительстве клуба тоже никого не было, но цепкий глаз Литвинова заметил на вершине сруба несколько свежих венцов, а золотые стружки лежали даже поверх инея. «Строит-таки, чалдон проклятый!» И решил, увидев председателя, сразу же положить перед ним письмо и начать разговор начистоту: твоя, Савватеич, затея?

Но и дом председателя был тих. На стук никто не отозвался. Дина вспомнила, куда здесь прячут металлический стерженек, подымающий щеколду. Звякнуло кольцо, и, пройдя на мощеный двор, на дощатом помосте которого по инею отпечаталось множество следов, приезжие поднялись в избу. Оглушительно громко тикали часы. То стихая, то припуская с новой силой, орал стоящий на подоконнике телефон.

Литвинов поднял трубку, и оттуда сразу вырвался сердитый голос.

— Нет, Иннокентия Савватеича нету,— ответил гость.— В поле, все в поле. Говорит посторонний.— Голос так и рвался из трубки.— Посторонних людей в Советской стране не бывает? К сожалению, еще бывают. Еще частенько бывают, а вот быть их не должно, это верно... Кто тут философствует? А Литвинов философствует. Плохо ты, секретарь райкома, кадры свои изучаешь, даже члена своего бюро не признал. Говорю: Литвинов, вот кто... А я тебя, Николай Кузьмич, по голосу сразу угадал. Голос у тебя звонкий. И чего тебе надо, знаю. Успокойся: все в поле. Где? Да уж, наверно, там, где надо... Постой, вот тут записка какая-то лежит. Дайте-ка записку.— И он прочел в трубку: — «Павел Васильевич, два раза заскакивал в село и не застал тебя. Гони скорей свою ремонтную лайбу к Медвежьему Ложку. Стоят двойка, шестерка и семерка. Подшипники. Перехожу к отцу на пасеку. В случае чего, гони Ваньшу туда... Мороз проклятый». Нет, не подписано. Да разве по стилю-то не узнаешь?

Литвинов помолчал, повертел записку и добавил:

— Это он вперед свой НП вынес. Я за ним туда поеду. Что передать? Зачем еду-то, а? — Синие глазки Литвинова хитро сощурились.— Пельмени, секретарь, я страсть люблю, а где же тут лучше пельмени, как не у моего дружка? Ну, будь жив! — И, подмигнув, он осторожно положил трубку и пояснил Дине: — Секретарь райкома. Любопытный. Интересуется, зачем мы едем... А?

12

Пасека колхоза «Красный пахарь», куда по травянистой, проросшей узловатыми корнями дороге Петрович доставил путников, располагалась на просторной, окруженной тайгою поляне. Разноцветные пчелиные домики, еще не убранные, были расставлены, как шашки на доске. В углу поляны, у опушки, виднелась избушка, рядом с которой горбился пологий холмик омшаника. У навеса, пристроенного к избе, стоял у верстака худой старик и, закрываясь ладонью от солнца, смотрел в сторону приближавшейся машины. У его ног лежала лохматая собака. Заворчав, она бросилась было навстречу, но, остановленная окриком, вернулась, улеглась на прежнее место, подозрительно поглядывая на вылезавших из машины людей.

Пасечник остался у верстака. Длинные, еще темные, но наполовину уже разбавленные сединой волосы были перехвачены по лбу ремешком. В руках он держал рубанок, а вокруг, как мыльная пена, вздымались стружки. Прихрамывая, двинулся он навстречу гостям.

— Кто приехал-та, Федор Григорьев, мил-человек! А я слышу, мотор шелестит, говорю Рексу: кого же это бог несет?

— Не забыл, Савватей Мокеич? — Литвинов тряхнул сухую, жесткую, еще сильную руку пасечника.— Помнишь, как вместе в тайге бедовали в буран? Кабы не ты...

— Ох, плохо я штой-то нонешнее помню. Сколько их, буранов, через меня перенесло! Вот про мирное время или про гражданскую— помню. И как Колчака под лед пускали — помню. А вот на нонешнее — решето память.

Но память, как видно, была не так уж плоха. Пасечник неприязненно покосился на Петровича, подходившего к нему с заметным смущением.

— А ты, Васисдас, еще катаешься?

— Моя профессия такая — кататься. Чего мне...

— А то, что в старое время таких, как ты, до чужих баб хватов, мужья тут скопом, как конокрада, забивали.

— За что же меня бить, я человек общественно полезный и...— покосившись на Дину, он что-то в своем ответе передумал.— Да я в случае осложнения обстоятельств и сам кого...

— Храбер таракан за печкой... В мирное время тут говаривали, что вы, ярославцы, все российское железо на кандалах к нам в Сибирь перетаскали... Только ты, парень, гляди, тут тебе не Ярославль, тут места серьезные. Так с тобой поговорят...— Потом, переведя на Дину свои черные, колючие, с белками кофейного оттенка глаза, спросил со старческой бесцеремонностью: — А это кто ж такая?.. Не знаю ее.

Как и сын Иннокентий, пасечник был невысок, худощав, смугл, и нос у него был такой же, с крутой горбинкою. Так же походил он в профиль на хищную птицу. Он заметно прихрамывал, но двигался проворно.

— Я о вас много слышала, Савватей Мокеич.— Дина старалась говорить громче.— От Василисы, от тети Глафиры...

— Не кричи, не тугоухий,— остановил старик и вдруг догадался: — Это вы там у нас, на Кряжом, стояли? Сказывала, сказывала Глашка... А я-та думаю, кто такая в штанах? — И, обернувшись к Литвинову, прямо спросил: — Пошто прикатил-та?

— Много меду взял нынче, отец?

— Да был кой-какой медишко. В июле-та, помнишь, жара стояла, ну попусту летали, а посмурнело — на иван-чае маленько поправились да на вересках. Глашка тут прикидывала — килограмм по пятьдесят пять на семью, ежели огурешным счетом.

— Пятьдесят пять, ишь ты! Это на сколько же надо множить пятьдесят-то пять? — спросил Литвинов, не то действительно удивленный, не то делающий вид, что удивлен, чтобы польстить старику.

— А множь на полтораста для ровного счета.

— Ух ты! Видали? Да ты же драгоценный человек, Савватей Мокеич!

— Где же мне ноне, Федор Григорьевич! В охотничьей да в рыбачьей-та бригаде — там, верно, наваришко кой-какой с меня был. Кабы не ревматизм, разве я пошел бы на этот апостольский промысел! — И опять спросил в упор, без всяких старческих интонаций: — А все-таки зачем приехал? Один я на пасеке, и Глафира и Ваньша — обое в поле, и Кеша туда чуть свет подался. Один я, какой теперь во мне интерес?

Разговаривая, пасечник не переставал ни на мгновение что-то делать: снял с волос ремешок, сложил, сунул

в карман фартука, стряхнул золотистые опилки, повесил фартук на гвоздь. Потом взял свежую, из можжевеловых веток метлу и, разговаривая, стал заметать в угол пружинистые стружки. При этом Дине почему-то казалось, что, несмотря на дружелюбный тон, он все время настороjжен. От мужа она знала о письме. Без труда угадывала, что и этот дед о нем знает. Может быть, потому он так и поглядывает на Литвинова?

По белесому небосклону солнце вкатилось уже в свой невысокий зенит. Заметно потеплело, иней растаял. Лежал он теперь отчетливо очерченными белыми пластами лишь в тени избы, древесных крон, пчелиных домиков, а все вокруг весело зеленело, будто отлакированное. Над полями снова потянулись паутинки, сверкая крохотными капельками росы. В небе, как плохо смазанное тележное колесо, скрипел журавлиный косяк.

— Сегодня выходной, вот мы и решили с Петровичем Дине Васильевне настоящую Сибирь показать,— прищурившись, сказал Литвинов.— А где ее ныне и увидишь, настоящую Сибирь, как не у деда Савватея... А ты, Савватей Мокеич, хорошо выглядишь.

— Хорошо, в аккурат кошачьи мощи.

— Мне бы так в твоем возрасте выглядеть! Меня к этим годам совком собирать надо будет.— И, обращаясь к своей спутнице, Литвинов сказал: — Вот этот человек в семьдесят с гаком лет вместе с еще одним чалдоном из бурят через глухую тайгу нас вел и ни разу не сбился. Вот тут какие люди.

— Да ладно ты — чай, я не девка, с похвал не растаю,— проворчал старик.— Пошли коли в избу. Чего на ветру стоять.— И Дине стало ясно, что он понимает, что Литвинов до поры отводит главный разговор, понимает и поддерживает эту игру.

Все вместе: неожиданно нагрянувшие холода, заиндевевшая тайга, пустое село, пасека и избушка в дремучем лесу, этот старик, которого по своей привычке ко всему прикладывать литературные мерки Дина отнесла уже к героям Лескова, а главное, то, что начальник огромного строительства, имеющий влияние на все дела края, вроде бы даже тушуется перед ним,— все это было так ново, что ей казалось, что она и впрямь попала в какой-то иной мир.

В приземистой избушке было сумеречно. Два маленьких оконца рассеивали полумрак лишь до половины по-

мещения, и вошедшего сразу же, с порога, обволок душный запах трав и кореньев. Они пучочками висели на гвоздиках под потолком. Этот запах смешивался с густым ароматом меда и воска. Русская печь занимала добрую треть помещения. На ней виднелись подушки в красных наволочках. С полатей свешивался овчинный полушубок. Кровати не было. А на стене висели рядом блестящий барометр-анероид самого современного образца и часы-ходики, на козырьке которых подвыпивший камаринский мужик с балалайкой отплясывал трепака. Вместо гирь к цепочке были подвешены два костыля, какими прикрепляют рельсы к шпалам. На лавке мурлыкал радиоприемник, работающий от термостата, установленного на керосиновой лампе. На самом видном месте висели два ружья: одно — очень старое, с прикладом, для чего-то изрезанным зарубками, другое —самое современное, двуствольное, дорогое. На нем Дина рассмотрела серебряную дощечку: «Нашему дорогому проводнику С. М. Седых от благодарных гидростроителей». В красном углу на полочке, где раньше, вероятно, стояли иконы, так как она была закапана воском,— книги. И можно было рассмотреть на корешках: «Энциклопедия пчеловода», «Лекарственные травы». Но на скамейке лежали пухлые, припахивающие деревянным маслом «Жития святых».

Эта странная смесь нового, даже новейшего со старым и просто древним заставила Дину еще раз поискать по углам взглядом икону. Но хотя все здесь — и травы, и эти «Жития», и ослепительное сверкание алюминиевой посуды — говорило о Глафирином пребывании, иконы не было. Со старого, должно быть давным-давно повешенного, портрета, прищурившись, смотрел Ленин в кепке и с красным бантом в петлице...

— Ух как тут медовухой пахнет! — шумно втягивая воздух носом, произнес Петрович, скромно остановившийся у дверей.

— Ишь ты, учуял... До чего ж у тебя, парень, до баб да до выпивки нос острый,— сказал пасечник и, достав из самодельного шкафа мягкие полиэтиленовые фужеры по числу приезжих, поставил на стол. Подошел с ковшом к одному из бочонков, стоявших в углу. Оттокнул затычку, стал цедить мутноватый, густой, остро пахнущий медом напиток. Потом, наполнив фужеры, поставил их перед каждым.

— Духовито, с последних, с вересковых медов.— И предостерег гостью: — Испейте, только не ошибитесь-та: это не квас.

Прохладная ароматная смесь сладости и горечи, сдобренная мятой, так и шибанула в нос. Напиток казался безобидным. Но скоро Дина почувствовала себя легкой, молоденькой, а всех присутствующих, даже мохнатого Рекса, ревниво следившего за каждым из гостей,— милыми, веселыми, доброжелательными. Она уселась на стол и, болтая ногами, потребовала налить еще. Хозяин, ничего не говоря, пошел к бочке.

— А может, хватит? — сказал Литвинов.

«Какой он смешной, чего он испугался? Что я, девочка?» И Дина храбро выпила до дна. Потом сама налила себе и еще выпила. И вдруг почувствовала, как ее неодолимо клонит в сон. Засмеялась. Махнула рукой и, устроившись поудобнее на лавке, подобрала под себя ноги, закрыла глаза... Когда она проснулась, солнце светило в окошко косо. Свет был усталый, желтоватый. Литвинов и пасечник у стола потрошили рыбу. Руки у них были в серебряной чешуе. На полу стояло закопченное ведро с водой. Туда они и кидали крупные куски... Голова была будто наполнена ртутью. Веки точно слиплись. Сквозь полусон женщина слышала, как Литвинов, орудуя ножом, говорил:

— ...Едал я, Савватей Мокеич, уху на разных реках, а вот такой, как тут, на Они, нигде не едал. На Нижней Волге, между прочим, рыбу в куриный отвар кладут...

У себя под головой Дина обнаружила подушку в красной наволочке, пряно пахнувшую лесной травой. Кто-то прикрыл ей ноги овчинным полушубком. Как все это произошло, она не помнила. Вот так медовушка, ай-яй-яй!.. А у стола продолжалась беседа.

— Куриный отвар, оно конечно... Но лучше, как от мелкого ерша, отвару не бывает,— говорил пасечник, ловкими движениями острого ножа вспарывая брюхо толстой рыбине и выжимая из нее клеенчатые внутренности. — Юшку здешнюю отцы-наставники в староверских скитах выдумали. Не знаю уж, как там насчет бога, это не по моей части, а уж пожрать-та, не при Глафире говоря, они умели. Она и сейчас, эта юшка, зовется «скитская». И нигде такой юшки сварить не сумеют. Потому где, кроме здешних мест, хариуса возьмешь? Или такого ершишку, что у нас другой раз из мор-

ды хоть ведром черпай?.. Кажется, вот ерш — чепуховая рыбина, вроде кедрового орешка,— жуй да плюй. А для первого навара, для соку самой жирной курчонке против него не выстоять. Эх, вот лавровый лист Глафира куда-то упропастила! — И без всякого перехода пасечник спросил: — Сын-та насчет письмишка, поди-ка, нужен? Уговаривать его, поди, прибег?

Дина даже приподнялась на локте, чтобы посмотреть, как Литвинов, который явно не желал посвящать кого бы то ни было в свои переговоры с Иннокентием Седых, будет отвечать. Но тот только стряхнул с рук рыбью чешую.

— Угадал, Мокеич, угадал. От тебя разве чего спрячешь?

— А и прятать не надо, угадать не хитро. Кто ж это поверит, что такой человек в тайгу попрет, чтоб пригожую бабенку на машине катать!

Дина плотно закрыла глаза и прижалась щекой к подушке.

— Только зря бензин жжешь, начальник... Все мы для тебя делали: и инженеров ваших с инструментами в тайгу вели, и лодки тебе свои отдавали, когда ты гол как сокол был, и кормили всю вашу братию — кусок надвое разламывали... Все, как советская власть велела, делали... А чтоб ты нас затопил — нет, не согласны. Мы народишко упрямый. С родных, вековечных мест подыматься не станем. Топи! — Это последнее слово старик даже выкрикнул.

Заговорил Литвинов. Дина и не предполагала, что этот квадратный, грубоватый человек обладает таким умением убеждать. Муж много говорил о строительстве. Ей казалось, она хорошо представляет и размах работ и значение Дивноярско-Тайгинского промышленного комплекса, который должен был к концу семилетки вырасти вокруг электростанции. Но только сейчас, слушая, что Литвинов рассказывал этому старому пасечнику, она представила близкое будущее края, где и сейчас еще можно было месяцами ходить и жить, не встречая человеческого следа, не слыша голоса. Заинтересовавшись, она уселась на лавке с ногами и, обняв колени, слушала. А Савватей рассеянно правил о ладонь свой и без того, должно быть, острый, как бритва, нож.

— Оно так-та,— кивал он головой. И вдруг, прервав Литвинова, злым, звенящим голосом произнес: — Это ж,

выходит, отдай жену дяде, а сам иди...— Но, заметив, что женщина слушает, изменил окончание: — а сам иди к куме... Не быть тому! Не возьмем мы письмо назад. Не в Америку какую-нибудь — своему правительству написали. Пусть оно нас и судит. Ему с вышки видней, у него вся страна на глазах...

И, должно быть, желая показать, что разговор закончен, он взял ведро с кусками рыбы и, прихрамывая больше обыкновенного, сказал:

— Пошли юшку варить. Скоро, поди-ка, и Кешка нагрянет. Смеркается.— Прибавил в лампе фитиль, отчего в радиоприемнике музыка стала слышней, и пошел, а за ним и Литвинов вышел из сумеречной избы, где Дина продолжала сидеть одна, наблюдая, как забродили на потолке отсветы костра. «Вячеслав Ананьевич, может быть, и не знает всех этих сибирских дел, но он все-таки прав,— думала она.— Ну зачем затевать эти разговоры? Кто согласится добровольно, без борьбы или без приказа покидать свое жилье и землю? Можно заставить, но убедить...» С этой мыслью она снова задремала и проснулась, когда от звука приближающегося мотора задребезжали стекла. По потолку полыхнуло белым светом. Послышался лай Рекса, который почти сразу перешел в радостный визг. У костра, что горел под окнами, раздались мужские голоса.

Дверь отворилась, и в ней, как всегда бесшумно, возникла высокая, прямая фигура Глафиры. Ватник, резиновые сапоги, голова обмотана платком, но и в этой обычной рабочей одежде она выглядела монахиней: худое лицо, плотно сомкнутые губы. Кивком она поздоровалась с Диной, у порога сбросила сапоги, отнесла их к печке, потянулась так, что захрустели кости. Села на лавку и, понурив голову, неподвижно затихла.

— Что? Тяжело было? Холодно?

Не ответив, Глафира подошла к бочонку на ножках, стоявшему рядом с тем, из которого цедили медовуху, налила полный ковш такой же мутной, желтоватой жидкости и единым духом опорожнила его.

— Медовуха? — В этом вопросе Дины прозвучали и восхищение и страх.

— Квас,— ответила Глафира и, взяв с полки большое деревянное блюдо, бросив туда обливные ложки, пошла к выходу.— Юшка поспела. Одевайтесь, ждут мужики.

Во дворе перед избой догорал костер. На трех камнях стояло ведро, из которого на уголья плескало кипящую жидкость. Литвинов и пасечник сидели по обе стороны, и, по очереди сняв пробы, дули в деревянные ложки.

— Поспела,— утверждал Литвинов.

— Пусть еще покипит,— решил Савватей и, налив из стоявшей под рукой поллитровки полстакана водки, плеснул ее в ведро.— Ершиный дух отгонит...

Иннокентий Савватеич в приготовлении ухи участия не принимал. Он сидел на поленьях и, обхватив руками колени, смотрел в огонь. Не скрывая усталости, он равнодушно следил, как отец вместе с начальником строительства подняли на палке ведро, отнесли на стол, выставленный на крыльцо, как Глафира переливала уху в деревянное блюдо, раскладывала ложки и как отдельно поставила фаянсовую тарелку с ложкою металлической — для гостьи.

Только когда Савватей Мокеич призывно постучал ложкой по столу, Иннокентий поднялся, занял свое место, стал есть. Ели молча. Даже водка не оживила разговора. Молчание было тягостным. Гостья поняла, что до того, как она вышла, у костра что-то произошло. Есть ей хотелось, но наваристая уха была так горяча, что ложка обжигала губы. Заметив это, Глафира, стоявшая в стороне скрестив руки, принесла деревянную, обтерла полотенцем и дала гостье. Дело сразу пошло.

— А я, лопух, и не догадался, — покаялся Петрович, успевавший бросать в рот по две ложки в то время, как остальные по одной.— Ох и ушка, Дина Васильевна, хенде хох! — И тоже, должно быть тяготясь молчанием, зачастил на бойком ярославском своем наречии: — Тут у них, Дина Васильевна, особая химия. Вон Федор Григорьевич не даст соврать, из деревянного блюда с деревянной ложкой уха вкуснее. — И, подмигнув в сторону Глафиры, тихонько сказал: — Тут, говорят, раньше и блюда после ухи не мыли, так прямо на полку и ставили: пусть тараканы долизывают. И от этого будто еще смак прибавлялся.

Но Глафира расслышала этот навет.

— Постыдился бы,— вспыхнула она.— Едят же люди! Не верьте ему, у него правды — сколько в решете воды... Барабошка!

Мужчины усмехались. Савватей торжественно постучал ложкой по краю блюда, все начали таскать куски

рыбы; белые, сочные, дымящиеся, они были необыкновенно вкусны.

За всю трапезу Иннокентий не произнес ни слова. И только когда гости шли уже к машине, он остановил Литвинова:

— Крылья вы нам ломаете, Федор Григорьевич! Только они стали было отрастать, крылья, а вы по ним хрясь, хрясь! — И твердо сказал, будто припечатал: — Письма не отзовем. Вы большевик, я большевик. Ну и пусть нас партия судит. Может, за письмо это мне и попадет, пусть: жены бояться — детей не видать...

— Понятно,— отозвался Литвинов, нисколько, к удивлению спутников, не обозленный таким ответом.— Начнем бороться, Иннокентий Савватеич... Все же клуб-то погодил бы строить, а?

— Это раньше, Федор Григорьевич, тут было: закон — тайга, медведь — прокурор... Сила, она, конечно, солому ломит, только мы не солома... Мы все здешние заводы кормим, о нас тоже в Москве слыхать. А партбилеты, они у всех одинаковые.

И снова удивилась Дина: своевольный и, как о нем говорили, вспыльчивый до бешенства, Литвинов первым протянул председателю руку...

День этот был таким длинным, вместил столько новых впечатлений, что, забившись в уголок машины, сунув руки глубоко в рукава, Дина сразу уснула. Сквозь сон доносились до нее какие-то разговоры, хлюпанье воды на переправе, два голоса пели, но глаз она не открывала. Даже когда водитель, сняв куртку, укутывал ей ноги, она только поерзала щекой по спинке сиденья. И вдруг без перехода, будто прямо из сна, ворвалась в ее сознание дикая сцена...

Останавливаясь, машина скрипела тормозами. За стеклом с внезапностью, которая бывает лишь в кошмарах, она увидела у самого радиатора, как какая-то девица, не обращая внимания на огни, хлещет по щекам высокого, плечистого человека. Хлещет и что-то зло кричит. Потом он, размахнувшись, бьет ее. Она падает, снова вскакивает, снова бросается на него. И тогда он, опять сбив девушку с ног, нагибается над ней, яростно сжимая кулаки, а она только закрывается руками:

— Лицо... Не смей бить в лицо... Сволочь!

В снопе лучей вдруг появляется Петрович. Коренастый, круглый, он начинает надвигаться на огромного

незнакомца, а тот, разъяренный, многозначительно сует руку в карман.

— Ах, ты с пером ходишь? — кричит Петрович, и у него в руке появляется разводной ключ. Они стоят, готовые броситься друг на друга. И тут мурластое лицо незнакомца, стриженая голова, детская челочка, сбегающая на лоб, подсказывают Дине, кто это.

Ну, да, это он. Это бандит, отнявший у нее спасательный пояс. Рука у него в кармане. Он что-то сжимает. Чувствуя, как у нее на затылке шевельнулись волосы, Дина, высунувшись из машины, отчаянно кричит:

— У него нож!

В это мгновение в световой полосе возникает Литвинов. Он отбросил локтем Петровича и очутился перед парнем. Лицо у него точно бы осунувшееся, глазки — щелки, ноздри вздрагивают. Происходит что-то, что трудно разглядеть. Дина видит только, что руки начальника стройки сжимают кисти рук противника, и парень, смотревший на Литвинова сверху вниз, извивается, ревет от боли, стараясь вырваться. Блеснувший было нож падает на дорогу. Литвинов отбрасывает его ногой. Но самое неожиданное происходит после. Девица, которую бандит только что бил, бросилась к Литвинову, забарабанила кулаками по его рукам, а потом, наклонившись, должно быть, укусила. Воспользовавшись этим, парень вырвался и стал невидимым, выскочив из освещенной полосы.

— ...Вы меня еще припомните, фраеры!.. Двое на одного... По одному с вами встретимся! — слышится из темноты.

Теперь Дина рассмотрела и потерпевшую. Это невысокая, хорошо сложенная девушка, в одежде которой сразу бросилось в глаза странное несоответствие — кокетливый кротовый жакет и резиновые сапоги, в каких ходят строители. Обильные, необыкновенного оранжевого цвета волосы, уложенные в распространенной в те дни прическе «приходи ко мне в пещеру», да к тому же еще и встрепанные в потасовке, закрывают лицо. Стоя в свете фар, она плакала злыми слезами, грозя кулаком во тьму. Литвинов взял ее за плечи, подвел к машине.

— Садись,— приказал он.

Девушка, должно быть, только сейчас узнала начальника строительства и сразу присмирела. Она вся дрожала, всхлипывая, шумно шмыгала носом, из которого текла

кровь. Когда незнакомка опустилась на заднее сиденье, Дина инстинктивно отодвинулась, но, поборов в себе брезгливость, протянула ей носовой платок. Та отрицательно мотнула оранжевыми космами, достала свой, тоже чистый. Машина тронулась. Ехали молча. Мужчины еще тяжело дышали, должно быть недовольные собой. А Дина, отодвигаясь, готова была, казалось, втиснуться в стенку машины. Ее соседка оправилась раньше. Засветила в машине лампочку, вынула зеркальце, вытерла окровавленное лицо. Внимательно проанализировала сизый, как грозовая туча, синяк, набухавший над глазом, прижала к нему зеркальце. Горько вздохнула. «Гад... Шизофреник... Клинический идиот!» — шептали дрожащие губы.

Опять посмотрела в зеркальце, снова вздохнула и принялась поправлять прическу. Теперь, когда она успокоилась, стало видно: она молода, очень недурна собой. На смуглом, в меру скуластом лице задорно смотрит вверх короткий, тупой нос. Рот великоват, губы кажутся припухлыми, но это не портило ее. Во всем ее облике было что-то вызывающее. Снова, уже без зла, она пробормотала: «Ну подожди!» — и, достав помаду, привычным движением подкрасила губы.

Петрович первым оценил внешность новой пассажирки.

— Сначала доставим потерпевшую? — спросил он Литвинова и, получив в ответ молчаливый кивок, обернулся к ней: — Виноват, ваши координаты?

— Сбросьте тут, дойду...

— Только через мой живой труп... Начальство приказало доставить — мое дело исполнять. Сбросить!.. Какой нонсенс...

— А этого типа мы отыщем, бандюга... Распустились, с ножами бегают... Добегался, пришпилим. Вы его знаете? — спросил Литвинов.

Незнакомка молчала.

— Мне кажется, я его узнала,— произнесла Дина, но, прежде чем успела продолжить, рука соседки сжала ей локоть.

— Он не бандит, я сама... Вы же видели, как я его по морде хлестала.— Незнакомка очень встревожилась и вдруг потребовала: — А ну останови машину, Нонсенс.— И, прежде чем Петрович окончательно затормозил, распахнула дверь и выкинулась во тьму.

— Зубастая.— Литвинов усмехался, рассматривая укушенную руку.— Вот уж верно, в чужом пиру похмелье.

— Этот индивидуй — определенно из урок. Заметили, причесочка «второй день из тюрьмы»?.. И на руке картинная галерея,— констатировал многоопытный Петрович.— А вы, Дина Васильевна, его признали?

Вспомнив предостерегающий знак, данный незнакомкой, Дина туманно сказала, что, кажется, видела его однажды в фойе кино. Последняя встреча на дороге окончательно убедила, что судьба занесла ее в необыкновенные места, в среду малопонятных людей, среди которых она чужая, и что, наверное, пройдет немало времени, прежде чем она научится в них разбираться. От мысли этой ее потянуло поскорей в маленький домик на не существующей еще Набережной, где она с таким старанием создала для себя привычный микроклимат и где ждал ее муж, самый умный, самый предусмотрительный человек на земле.

13

На четвертые сутки работы комбайны «Красного пахаря» остригли наконец последние гектары уже схваченного морозом поля на дальнем, новом для колхоза участке, у Медвежьего Ложка. Таким образом, удалось вырвать остатки урожая у неожиданно нагрянувшей зимы. Иннокентий, уставший за эти дни, не стал вызывать Ваньшу с машиной.

Он решил отдохнуть и от бессонных ночей, и от тяжелого разговора с Литвиновым, и от назойливой, тоскливой, не покидавшей его теперь мысли, что, может быть, уже и недалеко время, когда и родное его село, и богатые луга, и пашни речной поймы, отвоеванные еще прадедами у тайги, и все, во что он, став председателем, вложил столько сил, может скоро очутиться под водой, на дне нового, Сибирского моря.

В последние дни физическое утомление отгоняло печальные раздумья. Внезапный приезд начальника строительства разбередил незажившую рану. Чтобы заглушить боль, Седых решил возвращаться на Кряжой без дороги, тайгой, незаметными постороннему охотничьими тропами. Вместо сапог надел он хранившиеся у отца

бродни, закинул за плечи мешок с обычными охотничьими припасами— ведерком, спичками, обернутыми в клеенку, баночкой соли, комком лиственничной смолы на случай ранения. Куртку плотно перепоясал патронташем, взял ружье. И, будто сбросив от всего этого с плеч десятка полтора лет, тронулся в путь.

— Насчет теса-та не забудь, председатель. Кончается тесок, подкинь с Ваньшей! — кричал с крыльца старый пасечник.

— Ладно, подкину...

Это было все, что сказали на прощанье отец и сын. Провожая взглядом быстро удаляющуюся фигуру, Савватей, научившийся в последние годы разговаривать сам с собой, пробормотал под нос:

— Ступай, ступай. Тайга-матушка — от всех болезней лекарство.

Привычным спорым шагом Иннокентий углубился в лес. Впрочем, углубляться и не пришлось, ибо сразу же, как только поляна с ульями скрылась за кустами, начиналась тайга, какой она простиралась на сотни километров. Была пора, когда осень еще не ушла и зима как бы наступала ей на пятки. В тени деревьев лежал нестаявший иней. Неистово пахло побитым морозом листом, грибной прелью.

Как знакомы, как хороши были эта торжественная тишина и эти сытные запахи! С детства, когда Иннокентия звали Кешка, в такую вот предзимнюю пору, когда утром любой, самый малый следок вырисовывается на заиндевевшей земле будто на бумаге, Савватей уводил мальчика и его старшего брата, Александра, на свой охотничий станок, и втроем они неделями промышляли зимой белок, колонка, а если везло, ставили капканы и на куницу. Отец учил бить белку в голову, чтобы не попортить шкурку. На медведя ходить в одиночку, с собакой, валить его с одного выстрела, почти в упор, когда лайка, вцепившись в него сзади, взбесит зверя, отвлечет его внимание. А капкан на куницу ставить не там, где следы этого редкого зверька, а там, где под снегом солончаковые тарелки и зимою грунт не промерзает, давая мышам возможность рыться в корнях.

С тех пор и научился Иннокентий читать тайную для непосвященных книгу тайги. Без компаса, по древесным кронам, по мху на стволах, по румянцу на ягодах брусники и множеству других примет определять направле-

ние и распутывать петли звериных следов. С тех пор и до дней, когда заботы о большом колхозе, собравшем под свою крышу земли чуть ли не целой волости, держали его в селе, тайга, ее голоса, ее запахи и звуки, ее звери и птицы тянули его к себе, и он пользовался любым свободным днем, чтобы насладиться одиночеством у дымного костра, в окружении нетронутого мира. Он понимал этот мир, и таежный мир понимал его.

Спорым шагом шел Иннокентий, продираясь сквозь кусты, перепрыгивая заросшие мхом колоды, обходя старые, местами красневшие от брусники выворотни. По бревну перебежал безымянную бурливую речонку, задумчиво постоял у омутка, крутившегося возле завала. Теперь, когда вода стала холодной и водоросли опустились на дно, река была прозрачна, в толще ее отчетливо темнели силуэты рыб. «Самая бы пора сейчас ее лучить»,— вздохнул Иннокентий, вспоминая, как в детстве перенимал у отца искусство метания остроги.

Но даже и воспоминания не освободили от навязчивых мыслей. Ведь все — даже эта лесная речка и эти рыбные омутки, эти пихты, кедры, сосны, ели, все, что радует глаз, кормит множество зверья, птицы, может прокормить тысячи людей,— все вскоре останется под водой.

Как он радовался, когда на пленуме Старосибирского обкома услышал, что на пустоплесье за Буйным решено соорудить электростанцию! Будто с праздника, вернулся домой и, едва соскочив с катера, принялся рассказывать встретившим его соседям, как преобразится край.

— Большая вода, море. А как же мы с домишками нашими? — спросил его отец, живший тогда еще в селе.

Теперь этот вопрос вспоминался Иннокентию часто. В те дни известен был первый, начальный вариант. Станция задумывалась не такой грандиозной, и система дамб предохраняла от затопления значительную часть поймы. Выгоды же «Красному пахарю» все это сулило необычайные. Открывалась возможность сделать колхоз молочной, мясной, овощной фермой строительства, а потом и города, который должен был возникнуть вблизи от станции. Агроному Анатолию Субботину было велено произвести перепланировку полей. Тот, тоже захваченный этим делом, отправился в пригородные хозяйства Старосибирска за опытом. Вернулся оттуда растерянный, привезя известие: проект пересмотрен. Станция будет

грандиозной. Водохранилище станет морем, которое уже не удержишь дамбами. Старые земли колхозов окажутся под водой.

«...Большая вода, море. А как же мы с домишками нашими?» Теперь этот вопрос стал общим. «Строители — что ж им? Это перекати-поле. Построят и уедут. Им только бы сдать объект. Что им до тех, кто эту землю пóтом пропитал, до колхозных служб, наконец-то построенных с такими трудностями, до добрых угодий, до урожаев, не так-то легко дающихся на суровой земле!» Иннокентий с тоской посматривал на открывавшиеся перед ним картины. Пересмотр проекта казался ему не только несправедливостью, а страшной ошибкой, может быть, даже антигосударственным делом, за которое придется потом долго расплачиваться. Огромный «Красный пахарь» был для него не просто сельхозартелью. Это было родное село. Он видел перед собой каждого жителя, знал каждую семью. Думая о затоплении, он легко рисовал, какие беды оно сулит семьям, где хозяйствовали вдовы или одни старики...

Так он и сказал вчера напрямик Литвинову, наотрез отказавшись отозвать письмо. И то, что нравный Старик не шумел, не бранился, а просил, показало Иннокентию, что и он далеко не уверен в своей победе. «Эх, если бы Москва вняла голосу Оньской поймы! Старик ведь не отрицает, что еще не поздно вернуться к первому варианту. И в обкоме и в сельхозуправлении есть сторонники. И в Москве они имеются... Эх, кабы так!» Несколько рассеявшись, Иннокентий пошел быстрее. Охотничий инстинкт заставил его свернуть с прямой дороги, и ноги сами привели к небольшому озерцу, которое, как он знал, было как бы узловой станцией на путях птичьих перелетов. И не ошибся: ухо вскоре уловило захлебывающиеся гусиные клики, донесшиеся издалека.

Гусь — птица осторожная. Недаром скитники-духоборы во времена оны, опасаясь внезапных налетов урядника, разводили гусей. Человек проспит, собака прозевает, а гусь услышит, загогочет. По кликам Иннокентий угадал: на озере перелетный косяк. Ступая так, что и сам слышал лишь свое приглушенное дыхание, двинулся он к озерцу. Сквозь густые заросли тальника посверкивала водная гладь. Озеро было круглое, как блюдце, и в гладкой воде с поражающей четкостью отражались и тальник, и зеленый, поросший молодым ельником ко-

согор, и блеклое небо. Невдалеке от берега гомонила стая. Крупный гусь, должно быть вожак, стоял на торчавшей из воды корче и быстрыми движениями клюва перебирал перья, будто укладывая их одно к другому. Гася возбуждение, Иннокентий снял ружье.

Гусь большой — наверное, жирный. Ведь стая в пути. Осторожным движением развел он ветви, поднял ружье. Вывернувшийся из-под руки прут со свистом распрямился, больно хлестнул охотника по лицу. Тот не издал и звука. Затаился. Но вожак насторожился, вытянул шею. Она была очень красива, эта птица, уже посаженная на мушку прицела. И охотник подумал, что и это вот озерцо, может быть тысячи лет служившее гусям пристанищем на большом перелете, тоже исчезнет, и напрасно птицы будут делать в небе круги, ища его. Рука дрогнула. Прогремевший выстрел пошел впустую. Вожак издал протяжный крик, тихая вода закипела в хлопках птичьих крыльев, и птицы стали взметываться одна за другой. Вот уже они поднялись так, что еле слышен стал свист их крыльев, и, очутившись на недосягаемой высоте, будто дразня, косяком прошли над сконфуженным охотником. «Это же надо — так промазать... Такого еще не бывало».

Когда косяк скрылся за лесом, Иннокентий вздохнул, дослал новый патрон и двинулся в обход озерка. За ним начался кедрач. Первые великаны уже темнели косматыми шапками в веселых зарослях молоди. Потом молодь исчезла, пошел бор, где и сейчас на грани зимы воздух, как в летний полдень, был напитан смоляным ароматом. В кедраче, у маленького родничка, шелестевшего меж узловатых его корней, Седых развел костерик, повесил над ним закопченный котелок, наломал веток и, бросив на них куртку, улегся ничком.

Синеватые ветви застыли в белом небе, и, хотя были они неподвижны, кругом стоял ровный, неумолчный шум, напоминавший тот, что слышится, если к уху приложить большую раковину. Седых вздохнул; верно отец говорит: «В сосняке трудиться, в березняке веселиться, а в кедраче богу молиться». Да, отец, отец, он-то как переживает! И ведь все-таки ничего не забыл. И вареной рыбы в тряпицу завернул, хлеб и кус сала, и соль в коробочке от патефонных иголок, и перец в пробирке из-под таблеток... А все-таки слабеет. Нога-то вон вовсе волочится. А какой ходок был!

Заваренный в ведерке чай припахивал дымком. Седых прихлебывал этот обжигающий напиток, чувствуя, как душа отдыхает под сенью могучих кедров, стоявших, наверное, и тогда, когда их деревня, выселенная сюда с Волги за раскол, осела на острове Кряжом. А может быть, стояли они и раньше, когда первые дружинники державы Российской спускались сюда по Они на своих стругах. А ведь и лесных великанов рубить придется... И от мысли этой стало зябко. Шум хвои зазвучал печально, а припахивающий дымком охотничий чай потерял вкус. А тут еще показалось, что ухо улавливает еле слышные удары деревом о дерево и будто бы даже голоса. До Кряжого отсюда километров десять, до другого ближайшего села — Дивноярского — и все двадцать пять. «Шишкуют!» — подумал Седых. И сразу родилась догадка: «Уж не мои ли? Вчера сообщил в райком, что посылаю людей и свободную технику на помощь дивноярцам, застрявшим с уборкой. А может, вместо помощи кто за шишкой подался? Ну и ну!»

Сбор кедровых шишек не возбранялся. В свободное время им мог заниматься любой колхозник. Но, возмущенный предположением, что кто-то уклонился от помощи соседям, председатель вскочил, затоптал костер, тщательно залил последние угольки остатками чая и двинулся на еле слышный звук. Он становился все отчетливее. Уже можно было различать и голоса — мужские и женский или мальчишеский. И вот, перепрыгнув через ручей, Иннокентий увидел шишкователей: четыре парня. Работали парами. Уперев ручкой в землю тяжелый деревянный молот — колотень, они били им по стволу кедра, а пятый — парнишка лет пятнадцати — шнырял под деревьями, собирая в корзину увесистые шишки. В стороне, на солнышке, возле сложенного из лапника шалаша, сушилась целая россыпь добычи. Тут же стоял мотоцикл, и, развалясь, в коляске сидел грузный парень в кепи с пуговкой. На жирный его лоб из-под короткого козырька сбегала мальчишеская челочка. У мотоцикла стояли полные мешки, должно быть уже приготовленные к отправке. Точным глазом таежника Седых разом оценил обстановку: давно шишкуют, опытные. Но люди не из «Красного пахаря». Чужие. Чьи же? Кедра много по всей реке,— стало быть, не иначе как из Дивноярского, из того самого колхоза, куда вчера «Красный пахарь» послал свою помощь.

— Тсс, кряжовский председатель! — крикнул парнишка.

Тяжелая злость поднялась в Седых. Усталые, невыспавшиеся, измотанные за последние дни люди, машины, требовавшие ремонта, пошли им на помощь. А они шишкуют, деньги выколачивают в свой карман...

Но тайга есть тайга, и крутые ее порядки Седых тоже знал. Подошел, поздоровался, сказал, по традиции, «помогай бог», спросил, по тому же кодексу сельской вежливости, хорошо ли шишкуется. Шишкователи были явно смущены и, прекратив работу, молчали.

— Как председатель-то, все ревматизмом мается? — будто бы невзначай спросил Иннокентий.

— Мается возле поллитровки,— сказал один из парней и прикусил язык. Но уже было поздно.

— Ну а хлеба под снег много оставляете? — уже не скрывая усмешки, спросил Седых.

Рослый, с челочкой, тот, что сидел в калоше мотоцикла, встал, взял в руки ружье, вразвалочку подошел к Иннокентию:

— А между прочим, катись ты отсюда, гражданин, горячей колбасой. Шишковать законом не запрещено, а с разными фраерами время терять у нас охоты нету.— И он многозначительно переложил ружье из правой руки в левую.

— Ну нету так нету,— покладисто отозвался Седых, проводя большим пальцем под ремнем своей двустволки.— Между прочим, опусти, парень, ружьишко, а то не бахнуло бы. На грех ведь и грабли стреляют... Человека бекасинником, конечно, не убьешь, но корявым ходить кому охота.

— Бекасинник! — недобро усмехнулся парень.— Откуда известно, что бекасинник заряжен?

— Да уж известно! — усмехаясь ответил Иннокентий.— Спроси вон у дружков своих, они здешние, мои соседи, они тебе скажут, что жаканом вот какие ружья заряжают.— И собственное ружье очутилось у него в руках. Тогда, обращаясь не к незнакомому с челочкой, а как бы сквозь него, к шишкарям, строго сказал: — А вы, голуби, свертывайте лавочку — и в колхоз. Скажите председателю, когда он из забегаловки вернется, что чужеспинничать мы вам не позволим. Людей и технику сейчас же отзову...

— Мы никого не знаем, мы вовсе и не колхозники,— хмуро произнес один.

— А вам почему известно, что мы из Дивноярского? — пробормотал другой, явно очень смущенный.

— Сами сказали адрес: председатель — пьяница. Точней не придумаешь. И давайте, давайте по-быстрому...

— А ты не стращай,— угрожающе сказал парень, вертя в руках ружье.— И вы чего испугались? Тут тайга, нечего с этим понтом разговаривать. Откуда он знает, кто вы такие?

— А номер у мотоцикла на что? — спокойно ответил Седых.— У нас не Москва, мотоциклы по пальцам пересчиташь. Ну, кому сказано, свертывайтесь.— И насмешливо обратился к тому, что с челкой: — А ты, нездешний, с ружьями в тайге не балуй. Я, спроси вон у них, с десяти метров белке в глаз попадаю.

И пошел, не оглядываясь, спорым шагом, больше уже никуда не сворачивая с прямой своего маршрута. «Вот, Николай Кузьмич, куда она ведет, эта твоя «социалистическая» взаимопомощь,— мысленно продолжал он давний спор с секретарем райкома.— Вот она, «среднерайонная» цифра-то, чем обертывается. Один с ложкой, а другие с сошкой. Одни в свой карман с мазуриками шишкуют, другие, усталые, измученные, их поля убирать поехали... Честь района!.. А она, эта твоя «честь», захребетников плодит, а трудягам поджилки подрезает. Вот и будет честь, когда нечего станет есть».

Уже в сумерки сквозь деревья поредевшего леса замаячили за темной протокой электрические огни Кряжого. Как радостны были раньше мгновения, когда после лесных скитаний, шалашного житья, ночевок у костра вдруг сквозь шум деревьев услышишь брех собак, пение петуха, женские голоса с плота, где колотят белье, а обостренное в лесу обоняние уловит запахи особого, уютного, избяного дымка! А сейчас вместо радости тревога: все ненадолго, всего этого не будет, и через год-два-три над островом поплывут пароходы.

Мысль эта была так тяжела, что, войдя к себе во двор, Иннокентий, вопреки привычке, не разулся, не стал греметь рукомойником, не потребовал у встретившего его Ваньши истопить баньку, а прошел прямо в избу, бросил патронташ, куртку в угол и, не снимая отсыревших бродней, уселся на табурете. Глафира сразу заметила и беспорядок, и пустую охотничью торбу, и хмурое лицо

деверя. Не говоря ни слова, поставила перед ним кувшин с квасом, тарелку щей, нарезала хлеба. Иннокентий пил долго, прямо из кувшина. К щам еле прикоснулся. Отодвинув тарелку, стал разуваться. Полез на печь, но задержался:

— У тебя, Глафира, в твоем ведьмо́вском сене от бессонницы травки какой нету?

Вопрос удивил женщину. Деверь всегда с насмешкой относился к ее возне с корешками и травами. Но посмотрев на Иннокентия, вздохнула:

— Для кого есть, а для тебя нету. Не помогут тебе мои травы. И мне не помогают; той же бессонницей маюсь.— И вдруг молчаливая эта женщина, слова которой были всегда тихи, бесцветны, почти закричала: — Иннокентий, как же, ведь если море, оно и *его*, оно и *их* затопит? Да?

Только кивнув в ответ, Седых полез на печь.

14

Зима нагрянула на строительство сразу, как редко бывает даже в этих суровых краях. Еще вчера, поднявшись над развороченной, вздыбленной землей, солнышко днем заметно пригревало, и морозная корка, слегка покрывавшая пропитавшиеся дождем пески карьеров за ночь, к полудню отходила. Но вот подул северный ветер, который на строительстве почему-то назвали «свистограй». Он дул при ясном небе, на котором днем светило вовсю блеклое солнце, а ночью, казалось, можно было пересчитать все звезды. Дул, дул, и когда на следующее утро яркий оранжевый восход окончательно победил свет прожекторов, землю покрывал прочный ледяной панцирь.

Грунт превратился как бы в камень. Зубья экскаваторов скользили, лишь высекая искры. Работы затормозились. Свистограй не затихал. Песок сек лица людей, будто пускали его из пескоструйного аппарата.

К полудню от непредвиденных перегрузок оборвался трос на втором экскаваторе. К концу дня встал первый. Олесь Поперечный, работавший теперь временно, до прибытия усовершенствованных «уральцев», на «пятерке», еще маневрировал и ухитрялся кое-как добывать из-под мерзлого панциря не схваченное еще морозом. Но и у него выработка упала наполовину. Сколько будет дуть

этот ветер, никто не знал. Молодой инженер Марк Аронович Бершадский, начальник правобережного карьера, которого рабочие для краткости звали Макаронычем, посоветовавшись с Надточиевым, решил прибегнуть к взрывчатке. Машины отвели, и вечером строители услышали сквозь сухой свист беспощадного ветра серию взрывов, которые напоминали тем, кто побывал на фронте, первые залпы артиллерийской подготовки.

Ночью работы были возобновлены. И когда Бершадский, еле волоча ноги, добрался до своей палатки, ее почти выстудило. Его сожители, такие же, как и он, молодые инженеры, навалив на себя поверх одеяла все, что могло греть, похрапывали на разные голоса. Возле чугунной печки возвышалась горка принесенных с вечера дров. Поседевшая от инея печь была такая холодная, а инженер так устал, что растапливать ее не хватило сил. Он по примеру друзей напялил на себя все, что можно было напялить, и, не снимая валенок, забрался под одеяло, свернулся калачиком и постарался уснуть. Усталое тело понемногу согревалось. Ознобная дрожь проходила, а сон не шел. Перед глазами стояли вздыбленные горы поседевшего от изморози грунта, завивались вихри холодного песка, виднелись яростные лица людей, бранившихся у оборванного стального троса, к которому на морозе прихватывало руки. Инженер видел даже свою собственную длинную, угловатую персону в кожаном пальто, которая, уткнув нос в меховой воротник, беспомощно моталась по карьеру.

Карьер на правобережье был первым на земле местом, где молодой инженер Бершадский после окончания института пробовал свои силы. Внезапная и такая злая зима была серьезным испытанием. И вот он сейчас выбит из седла. Поперечный, этот нашел выход, хоть и не быстро, но работает и при проклятом свистограе. Но Поперечный один, у других ничего не получается. Можно, конечно, продолжать работать со взрывчаткой, но, наверное, есть и еще какой-то выход? Должен быть. И, забившись с головой под одеяло, Бершадский перебирал в памяти все, чему учили в институте. И вдруг его точно осенило: ну да, в одном из учебников описан способ добычи грунта в суровых условиях Заполярья! И без взрывчатки. Ах, черт возьми! Эти золотодобытчики, они же не прекращают работ и в самые суровые морозы! Ого!

Бершадский вскочил, сбросил на пол все, что наложил на себя сверх одеяла: ему стало жарко. Опасаясь, как бы счастливое решение не ускользнуло, отодвинул на столе остатки чьей-то вечерней трапезы, с головой накрылся одеялом и, стараясь подавить ознобную дрожь и не стучать зубами, принялся набрасывать на бумаге схему своей идеи, которая должна была побороть свистограй, и не только тут, в Дивноярье, а и во всесоюзном масштабе. И когда в палатке разноголосо затрещали будильники, возвещая приближение рабочего дня, и пятеро соседей Бершадского, будто взбрызнутые холодной водой, повскакивали с коек, они увидели у стола согнутую фигуру. На табурете, поджав под себя ноги, навалившись грудью на стол, с головой закутавшись в одеяло, спал начальник правобережного карьера, а на столе и вокруг него валялись комья мятой бумаги.

Утро выдалось серенькое. Свистограй утих, но промерзшую землю не отпустило. Взрывы гремели чаще, и, хотя в полном темпе работы восстановить не удалось, Бершадский испытывал радостный подъем. В кармане лежал набросок заветной схемы. Мысленно воображал он ее уже в действии и столь же ярко представлял толстый научный журнал, в котором опубликована статья под солидным названием «К вопросу об организации экскаваторных работ в условиях суровых зим» и скромную подпись, которая всеми специалистами, конечно, будет замечена: «Инженер Марк Бершадский, Дивноярское-на-Они». Он представлял, как заговорят в инженерных кругах: «Кто же такой этот Бершадский?», «Ах, молодой инженер из Дивноярского! Молодец, талантлив как черт!»

— Что-то с нашим Макаронычем деется, сияет, как тот куб-титан в прорабке,— сказал Борис Поперечный Олесю, но тот только отмахнулся, весь поглощенный движением стрелы, которую он заставлял выскребать грунт из-под морозной корки. Опередив отгруженные машины, экипаж Поперечного вернулся с Урала и временно работал на чужом экскаваторе.

Понемногу и другие экскаваторщики привыкли поднимать грунт в виде замороженных глыб. Но Марк Аронович, ничего никому не говоря, продолжал трудиться над своим проектом. Прямо с работы на попутном грузовике он ехал в пока еще безымянный город, в клуб. Тут, в техническом кабинете, возле временной печки,

которую топили сами посетители, он рылся в советской и иностранной литературе, разбирал схемы, чертежи. И не только его сожители, но даже и сама Вика, худенькая, бледная девушка с маленьким миловидным личиком, утопавшим в копне пышных, редкого пепельного цвета волос, не знала толком, что с ним происходит, хотя полагала, что имеет право знать абсолютно все о жизни Марка Ароновича.

И вот однажды вечером, улучив момент, когда в кабинете Надточиева никого не было, инженер Бершадский предстал перед ним приодетый, выбритый, неистово благоухающий парикмахерским одеколоном. Сунув руки в карманы спортивной куртки, с сигаретой, как бы однажды и навсегда приклеившейся к нижней оттопыренной губе, Надточиев широкими шагами мерил эту почти пустую комнату, где были лишь стол, два стула, валялись детали, а на стенах висели схемы.

— Садитесь,— сказал Надточиев, показав посетителю на стул, а сам продолжал шагать, как-то особенно твердо ставя ноги в больших ботинках на толстой подошве. Рассохшиеся половицы поскрипывали.

— Вы познакомились с моим проектом? — робко, глотая слова, произнес инженер. По правде говоря, он ожидал, что при виде его Сакко Иванович раскроет объятия и начнет благодарить.

— Где это вы такой скверный одеколон достаете? — спросил Надточиев, поводя носом. Приостановившись, он вынул из стола знакомый посетителю чертеж, небрежно и, как показалось Бершадскому, пренебрежительно развернув его, задумчиво прошелся еще несколько раз, остановился перед автором, широко расставив ноги, и, перегоняя изжеванный окурок губами из одного в другой угол рта, сказал: — Возьмите. Увы, промах.

— Сакко Иванович,— жалобно произнес молодой инженер.— Мне кажется... Мне думалось... Я полагал...— Худой, с рыжей всклокоченной шевелюрой, с лицом и руками, густо обрызганными коричневыми конопушками, он выглядел совершенно растерянным.— Ну, рассмотрите, пожалуйста, еще раз... Я ведь все продумал.

— Не годится. Верно, динамит в наших условиях — недопустимое и дорогое допотопие. Но вы искали не там и нашли не то. Вы, Макароныч, фигурально говоря, предлагаете скрестить ужа с ежом, чтобы получить полтора метра колючей проволоки. Вот суть вашего проекта.

Частенько сам повторяя и разнося по стройке остроты своего начальника, Бершадский и не предполагал, как больно они могут ранить. Он вскочил:

— Но не станете же вы отрицать, что в проекте есть хотя бы рациональное зерно.— Он старался говорить как можно внушительнее, но губы предательски дрожали и голос получался какой-то ломкий. Трубка чертежа так и ходила в худой, поросшей золотым волосом руке.

— Зерно есть, но оно не ваше, и у нас оно не прорастет. То, что выгодно золотишникам при добыче золотого песка, при масштабах наших землеройных работ — недопустимое расточительство. Конечно, есть еще у нас этакие «хитриоты родины», готовые кормить коров сливками, чтобы потом трепаться в рапортах о повышении жирности молока... Чем все это кончается, знаете?

— И вам нечего мне больше сказать? — едва сдерживая предательскую дрожь, спросил молодой инженер.

— По этому поводу — нечего. Но вообще мне хотелось бы, Макароныч, потолковать с вами. Вы талантливый парень, и если бы вам спароваться с Поперечным... Курите,— он протянул Бершадскому портсигар.

— А для разговоров «вообще» у меня, товарищ Надточиев, нет времени.— И, повернувшись, постарался хотя бы спокойно выйти из кабинета. Выходя, услышал вдогонку насмешливый голос:

— Если соберетесь на меня жаловаться, ступайте к Петину, он меня терпеть не может.

Бершадский остановился в дверях и выкрикнул:

— Не только он один. Знайте это!

До сих пор молодой инженер уважал Петина, но уважал издали, не будучи с ним знаком. Жаловаться ему или кому бы то ни было он вовсе не собирался. Но столько мечтаний, столько надежд вложил он в эту первую самостоятельную работу, столько раздумывал он о ней и о будущей статье в специальном журнале с солидным названием! Да и не имеет он, в конце концов, права губить идею, которая, может быть, раз и навсегда избавит землеройные работы от власти морозов, губить из-за того, что она не понравилась какому-то Надточиеву. По достигнутой с вечера договоренности, в конце рабочего дня небезызвестная уже нам Вика должна была ожидать Бершадского под репродуктором, который с утра до вечера, без отдыха и перерыва на обед, орал с высокой лиственницы возле дома приезжих. Но инженер

решил, что общественное должно возобладать над личным — Вика может немного подождать,— и не без волнения постучал в дверь кабинета Петина.

Тот, завершив рабочий день, уже снял сатиновые нарукавники и готовился надеть пиджак, когда перед ним возникла фигура молодого инженера. Вячеслав Ананьевич многозначительно посмотрел на часы, но, узнав о разговоре автора с Надточиевым, попросил присесть, сам вернулся за стол и стал слушать. Бершадский старался изложить ход событий как можно объективней, но Петин, слушавший очень внимательно, все-таки возмутился:

— Так обращаться с молодым специалистом! Нет, нет, расскажите поподробнее.

Управленческая дверь хлопала и визжала блоком все реже. Наконец она совсем стихла, а Петин все слушал. Не выдержав, он воскликнул:

— И это в годы семилетки, на передовой стройке страны!.. Эх, когда я научу здесь людей по-партийному относиться к молодой технической интеллигенции!..

Прибыв через полчаса после этого в условленное место, под неугомонный репродуктор, Бершадский не дал озябшей, засыпанной крупным снегом Вике даже рта раскрыть. Не успев даже отчитать его за опоздание, она узнала, каким диким хамом оказался вдруг этот Надточиев и какой хороший, умный, чуткий, а главное, принципиальный человек Петин.

— Вот это инженерище! — кричал Бершадский, крупно шагая и волоча под руку свою спутницу сквозь крутящиеся снежные вихри.— Сразу, с первого взгляда уловил суть моей идеи. Все понял... Теперь мы с ним этого самого Надточиева расчленим на первоначальные множители.

15

Как это уже не раз случалось в жизни Поперечных, и на новом месте все постепенно вошло в норму. Ганна и дети освоились с землянкой, врытой в откос под могучими, день и ночь звеневшими деревьями, с сибирскими морозами, с метелями, иной раз за ночь припиравшими дверь сугробом. Привыкли, что на ручей за водой нужно спускаться, забирая не только ведра, но и пешню, и не очень даже испугались, когда однажды какой-то зверь

оставивший на снегу следы, похожие на собачьи, унес из тамбура замороженного тайменя, купленного Ганной намедни на базаре у рыбаков.

Землянки отец с сыном построили на славу. С двойными окошками, смотрящими из бревенчатой стены на юг, с печками особого устройства, дым из которых, прежде чем вырваться наружу, совершал путешествие по изогнутой под потолком трубе, отдавая все тепло. Привычно встала складная мебель. Ее хватило даже для того, чтобы кое-как оборудовать и соседнее «холостёжное» жилье, где разместился экипаж. Даже излюбленному хозяйкой старому, «настоящему» креслу нашлось место возле печки.

Ничто не могло убить в Ганне стремления к чистоте, к уюту. Она разбросала на стульях, развесила по стенам вышитые рушнички. На видном месте, над креслом, прибила коврик-гобелен, на котором была изображена тройка бешено мчавшихся коней, атакуемая волчьей стаей.

В один из вечеров, когда Ганна поила детей чаем, в землянку постучали. Открывать дверь полагалось рыженькой Нине. Вместе с ней в облаке пара появился парторг Капанадзе. Он и раньше заглядывал сюда. С наступлением холодов хозяин и экипаж по вечерам долго пропадали в карьере. Ожидая Олеся, он познакомился с семейством и так успел к себе всех расположить, что Ганна стала считать его своим человеком.

— ...Нету, опять нету нашего батька,— встретила она гостя.— Все с этими машинами кохается, совсем нас бросил... Ой, снежища-то сколько! Ступайте обратно. Сонечко, дай, ясочко, дяде веник, а то он все свои меха перемочит, у нас же жарко.

Парторг, южанин, особенно страдавший от морозов, обзавелся дошкой телячьего меха и собачьей шапкой с длинными ушами. «Настоящим чалдоном стал»,— шутил он, хотя никто из работавших на стройке сибиряков в таком наряде не ходил.

— Нету моего,— повторила Ганна, подвигая гостю стул.— А вы садитесь, Ладо Ильич, чашечку чайку с нами выпейте... Сонечко, что надо сделать, когда гость за стол сел?

Маленькая толстушка с высыпавшими уже на переносице веснушками достала из шкафчика стакан с подстаканником, на котором был изображен Большой театр, и поставила перед Капанадзе.

— А еще что полагается? — строго спросила Ганна.

Девочка на мгновение задумалась, прихмурив короткие бровки, потом резким движением головы перекинула косу с груди на спину, бросилась к шкафу и вернулась, неся в руках граненую стопку и графинчик. Поставила, подумала и произнесла:

— С холоду без закуски пьют? Да? — и с сознанием исполненного долга уселась на стул.

Ганна густо покраснела. Наступило неловкое молчание. Все усугубилось тем, что Сашко, не выдержав, прикрыл лицо книгой и тихонько повизгивал, стараясь подавить смех.

— Ложку, чайную ложку нужно было дать,— простонала Ганна.

Но Капанадзе будто бы ничего не заметил.

— Вот кто понимает сердце грузина,— сказал он с улыбкой, придвигая графин и стопку, но, не налив, продолжал: — А я на этот раз не к Александру Трифоновичу, а к вам, дорогая Ганна Гавриловна! У вас лучшее жилье в поселке, вы сами его устроили. Собственными руками. Нужно делиться опытом.

— Какой уж тут опыт,— отозвалась женщина, все еще сердито косясь на дочку.— Опыт...— В голосе ее вдруг послышались слезы, и она почти выкрикнула: — Никому, никакой вражине я этого опыта не пожелаю... Как цыгане, едем, едем, остановиться не можем... Опыт... Да пропадай он, этот опыт! На худую хатенку, на уголок за печкой всю эту складну́ю жизнь поменяю.

Капанадзе молча прихлебывал чай. Сашко с удивлением смотрел на мать, а Нина, не очень задумываясь над происходящим, украдкой поглядывала на веселого черноволосого человека, корчила ему рожи.

— Эти вы все сами вышивали? — спросил гость, трогая рукой рушники, украшавшие комнату. Потом взгляд остановился на коврике-гобелене.— Война?.. Кенигсбергское направление? Военторг?

— А вы откуда узнали? — поразилась Ганна.

— У меня дома такой же висит. Олесь Кенигсберг брал? Я тоже. Мы, моряки, тогда в пешем строю шли.

— И я там была,— тихо сказала Ганна, потупя черные глаза.

— Вы?

— Ну да... В медсанбате... Санитаркой.

— Стало быть, мы все вроде друзья-однополчане.— Капанадзе подошел к коврику, задумчиво погладил его.— Память о войне?

— Память о войне,— механически повторила Ганна, чувствуя, как кривятся губы.— Память о войне! — выкрикнула она вдруг лающим голосом и зарыдала громко, шумно, к ужасу дочери и сына.

Коврик, коврик, как много ты знаешь! Это был подарок Олеся, сделанный в полусожженном немецком городке с колючим, трудно произносимым названием, в день, который оба они считали днем своей свадьбы. Ему тогда было около тридцати пяти. В саперной части он считался умелым подрывником и уважался начальством за хладнокровную храбрость, за искусство умно, в нужном месте поставить мину и, наоборот, обнаружить ее, как бы хитро ее ни замаскировали. Ганне шел двадцатый. Она была одной из тех, кого фашисты угнали с Украины в Германию. Батрачила у помещика... Служила в няньках... Точила снаряды... Но отовсюду убегала, стремясь пробраться домой. Поймав в последний, в третий раз, ее посадили в концентрационный лагерь. Часть, где служил Поперечный, освободила заключенных. Все устремились домой, а Ганна заявила, что хочет воевать, дошла до командира, была зачислена санитаркой в медсанбат, куда однажды был доставлен и Олесь, раненный и контуженный на польской земле. Рана была серьезная. Но он, боясь отстать от своей части, упросил врачей не отправлять его в тыловой госпиталь. Лечился, а потом, встав на ноги, долечивался в своем медсанбате и, чтобы оправдать существование, помогал чем мог.

Ганне сразу понравился скромный, не по возрасту умудренный человек, знавший, как казалось, все ремесла на свете: понимавший и в автомобилях и в сложных медицинских машинах; умевший даже при случае, когда удавалось добыть трофейной мучки, испечь для раненых лепешки; подбивавший друзьям сапоги; топивший баню так, что люди потом постанывали от удовольствия в «живом» пару.

Но из всех этих достоинств молоденькая черноглазая санитарка, на которую не без интереса поглядывал и начальник госпиталя, больше всего оценила скромность этого несомненно симпатизировавшего ей земляка, который «вел себя культурно», «ничего себе не позволял» и не

говорил ей, как иные: «Эх, сестренка, живи, пока жива! А довоюем, все за счет войны спишется».

Он даже не очень за ней и ухаживал, этот Олесь. И вот она сама назначила ему первое свидание, сама потянулась к нему потом за первым поцелуем, сама положила ему голову на плечо, когда они стояли вдвоем в тени развалин. А потом, когда случилось то, что неминуемо должно было случиться, он не заверял, не обещал, не постарался торопливо уйти, а сказал на родном певучем языке:

— Ну, здорова була, жинко! Помиркуем, як же мы з тобою житы будэмо?

В этот день и подарил он ей этот купленный в военторге немецкий коврик-гобелен, что всегда висел у Поперечных на самом видном месте в любом их жилье.

И хотя война шла в Германии, а от родины, где можно было узаконить брак, их отделяли земли двух государств, сумел серьезный сержант поставить дело так, что все самые разудалые батальонные сердцееды стеснялись приставать к черноокой полненькой симпатичной санитарке, фронтовой жене сержанта Олеся Поперечного.

Нога зажила. Олесь вернулся в свою часть. Теперь лишь изредка, больше по ночам, наведывался он «до жинки», и в короткие эти часы, украденные у войны, оба они мечтали о возвращении в родные места, в беленькую хатку с нахлобученной соломенной крышей, к родной, жирной украинской земле, к сельской жизни в колхозе, где после войны найдется дело и для его умелых рук и для ее накопленных в скитаниях по чужим краям сил... Ах, как они об этом мечтали, лежа обнявшись на пожухлой прошлогодней траве меж битого и закопченного кирпича, на берегу вонючей и грязной, в радужных разводах речушки, мечтали под близкий гул артиллерии и пение сумасшедшего, позабывшего о войне соловья!

Если бы сбылись эти мечты! А вышло ведь все поиному. Верно, доехали Поперечные до колхоза, где люди ласково встретили молодую, уже ожидавшую потомства односельчанку, которую не чаяли и увидеть, и ее мужа, умельца на все руки. Родители Ганны умерли, но хатка, хотя и поразмыли ее дожди, еще стояла. Олесь мигом привел жилье в порядок, а сам определился к машинам, поломанным и растасканным за четыре года. Работы было по горло. И именно тут, где теперь было у них и жилье, и садок с вишнями, о которых они мечтали, а внизу, в

лощинке, колхозный прудок под вербами, и гребля, на которой так хорошо посидеть вечером после работы,— Олесь вдруг стал встревоженным, нетерпеливым, нервным, как журавль перед отлетом. Заметно заскучал. А когда через день зашел к ним председатель колхоза и предложил ему стать бригадиром, он встал, будто для доклада начальству, и ответил:

— Ни, дядько Пэтро. Дякую. Тилькы мы йдэмо на Днипробуд. По справи своий, по дилу своёму, по тэхници нудьгую.

Эти задумчиво произнесенные слова словно иглы вонзились тогда в сердце Ганны. До сих пор помнила она даже интонацию, с какой они были сказаны.

— Подумай, Олэсь, колгоспу люды дуже потрибны.

— Думав, дядьку Пэтро, голова вид дум трищить, а тилькы зруйнована нимцем моя хрэстыльна купэль, кому ж, як нэ мэни, и видбудувать...

С тех пор не висел подолгу этот коврик в хорошем, благоустроенном жилье. Едва успевала семья обзаводиться квартирой, мебелью, едва Ганна водружала его где-нибудь в уютном месте, над любимым своим креслом, как приходилось снимать, свертывать, увозить в неведомо что сулящую даль...

И хотя в землянке ей и удалось создать какое-то подобие жилья, о котором она мечтала, жизнь шла не так, как думалось ей на войне, где в огромной массе оторванных от дома людей ей посчастливилось отыскать своего Олеся. Раньше муж хоть домой приходил вовремя. А сейчас, когда с Урала вернулись его брат Борис и весь экипаж, а потом грянули холода, он возвращается поздно и так устает, что только кое-как поест да и спать... Ласкового слова не скажет, делами не поинтересуется. Ганна начинала ревновать мужа, как к женщине, к машине, поглощавшей все его внимание. Уже не раз, проснувшись среди ночи, Олесь видел жену в слезах.

— Что с тобою? Ну что, сэрдэнько?

— Ничего. Сон плохой видела. Спи.

Он засыпал, а ей было уже обидно и оттого, что он так легко успокоился, что, кажется, даже и не догадывается, а может быть, и не хочет догадываться о ее переживаниях. Все это Ганна старалась гнать от себя, а вот сейчас заветный коврик все разбередил...

— Опыт... Да пропади он, этот опыт! Са́мой поганой бабенке такой жизни не пожелаю... Опыт!

Сын и дочь с удивлением смотрели на плачущую мать, не понимая, что так ее взволновало, а парторг, будто не видя этих слез, сидел на корточках у печки, поправлял кочережкой с треском горевшие сухие лиственничные поленья.

— Хорошо все-таки у вас, дорогая Ганна Гавриловна,— сказал он, когда женщина, вытерев лицо, поправив волосы, но все еще нервно вздыхая, подошла к нему.— И отчего хорошо, и отчего уютно? Всё вы.

— Олесь это — я что? Он знаменитый, а мое дело маленькое — их всех обшить, обстирать, обштопать. Кто меня слушает? — В голосе еще звучала невысказанная обида, но собеседник, будто не замечая и этого, гнул свое:

— Сам-то я из села, так вот у нас в горах говорят: «Без мужа дом не покрыт, без жены вся семья непокрыта». Первый тост у нас, дорогая Ганна Гавриловна. старики за хозяйку дома, за мать пьют... Вот мы тут как-то по Зеленому городку ходили. Зайдешь в женскую палатку — чисто, койки под покрывальцем, на тумбочках салфетки, тепло. Рядом мужская — входить не хочется: холод, грязь, сырость, вонь. Плакат висит на одном гвозде: «Развернем борьбу за чистоту и уют!» А под плакатом валяются в сапожищах на койках. Говоришь: вместо того чтобы развертывать борьбу, взяли бы веник да подмели, «Веника нет». Вон тайга, наломайте, сделайте. «Очень надо, пусть выдают», «Пусть уборщицу присылают». Знакомо это вам, дорогая Ганна Гавриловна?

— Знакомо, Ладо Ильич... Сначала на стройках всегда так: народ пришлый, все ему чужое, то ли останусь, то ли удеру. Хорошо еще — тут холодно, а то клопов да тараканов поразвели бы...

— А нельзя ли начать без этого начала, а?.. Вот и пришел я к вам за опытом. Совещание у нас было по быту, так товарищ Литвинов говорил, будто бы вы к себе в землянку в обуви не пускаете, разуваются у вас гости, как в мечети.

— Да откуда он знает? — всплеснула руками Ганна.— Как в мечети... Да Федор Григорьевич у нас и не был.

— А вот и верно,— вмешалась в разговор Нина.— Ты же всегда меня учишь правду говорить. Она всех заставляет разуваться, а батько говорит: мама у нас чистёха.

— Видите, моя приятельница подтверждает,— усмехнулся Капанадзе, подмигивая девочке.— Вот и просим мы покорно вашу маму-чистёху позаботиться о других.

— С веником по палаткам пройти, плакатики развесить: включайтесь в поход, да? — В голосе все еще слышалось раздражение, но звучала уже и заинтересованность.

— Зачем с веником, дорогая Ганна Гавриловна, почему плакатики? А пример? Старик, то есть, извините, товарищ Литвинов сказал, что Ганна Гавриловна Поперечная у нас опытно-показательная жена.

— Неужели он так и сказал, не смеетесь?

— А батько говорит, что у нас мама самая коханая,— произнесла девочка.

— Нинка! — вспыхнула женщина.— Пошла бы к хлопцам в землянку, буквы пописала, а то болтаешь тут.— И, явно смущенная, ответила: — Уж что и сказать вам, Ладо Ильич... Ведь и так уж я, почитай, весь экипаж обстирываю, обштопываю. Только отвернись, сейчас эти мужики в жилье ужей разведут.

— Так, значит, поладили? — Капанадзе начал облачаться в свои меховые доспехи.— Ну, до свиданья, коханая, опытно-показательная жинка... До свиданья у нас в парткоме.

Скрипнув, хлопнула дверь, впустив морозный пар и запах тайги. Прохрустели, удаляясь по снегу, шаги. Потом в наступившей тишине донеслось отдаленное пение радио и ближе, отчетливей из-за ручья — голодное завывание зверя. Женщина задумчиво смотрела на коврик-гобелен, прибитый к сочащимся смолой бревнам, и черные глаза ее были встревоженны и печальны.

16

Существовал в дореволюционные годы в казахских степях этакий особый телеграф. Назывался он «узун кулак» — длинное ухо. С помощью его новости и сплетни, передаваемые друг другу встречными незнакомыми всадниками, с непостигаемой быстротой распространялись по огромным пространствам. Существует такой своеобразный узун кулак и на отдаленных стройках, где масса людей, связанных пока что лишь производственными делами, вынуждена жить в пустынных местах, в отрыве от больших городов.

И вот в разгар зимы, когда и в короткие солнечные дни и в длинные синеватые, усеянные колючими звездами ночи над огромным строительством стояли крутые клубы пара, по такому вот не познанному физикой телеграфу распространилась весть, что у начальника строительства крупные неприятности. Толком никто ничего не знал. Одни утверждали, что Москва рассердилась на Старика за то, что, отказавшись от барачного жилья, он сразу же вместе с сооружениями первой очереди принялся за город, замыслив его с подлинно социалистическим размахом — с проспектами, площадями, набережными, клубами, театром, стадионом и плавательным бассейном. Эскизные проекты ансамблей этого города в чертежах и объемные, исполненные группой молодых архитекторов макеты были выставлены в зале клуба. Паровое отопление в клубе еще не работало. Жизнь теплилась лишь в отдельных комнатах, отопляемых чугунными печками. Молодежь, набиваясь по вечерам в промозглый зал танцевать под радиолу, не снимая валенок и телогреек, рассматривала эскизы улиц, площадей — макеты будто бы летящих построек из бетона и стекла. Город только рождался, он не имел имени, но все уже звали его Дивноярск. И это звучало гордо.

Была даже выдумана игра «Где моя квартира?». Кому-то завязывали глаза, ставили перед планами, раскручивали, а потом заставляли ткнуть пальцем в один из чертежей. Так вот теперь иные и утверждали, что Дивноярск признан несвоевременным и Старика «берут за жабры», инкриминируя ему распыление средств.

Другие уверяли, что Дивноярск, который уже начинал вырисовываться отдельными, пока еще разрозненными ансамблями в девственном лесу, тут вовсе ни при чем, а все дело в статье, помещенной в одной из центральных газет, о том, что на строительстве пренебрегают крупной механизацией. Эта статья была напечатана на второй странице, на видном месте. Всезнайки многозначительно утверждали: тут уж без звонка «сверху» не обошлось, и Старику это хотят дать понять.

Наконец, третьи уверяли, что Москва сердится вовсе не за Дивноярск и не за механизацию, с которой в общем то не так уж плохо, а что «наверх» дошло письмо колхозников Оньской поймы, в котором они протестуют против второго варианта проекта. Литвинов этот второй вари-

ант яростно отстаивал, отстоял, и вот теперь за него и берутся...

Толком никто ничего не знал. А тут еще строительство, о котором раньше много писали, почти исчезло со страниц газет. В этом находили подтверждение — рассердилась Москва на Старика. И любители дальних прогнозов, какие, разумеется, всегда найдутся в любом учреждении, уже начинали гадать: если снимут — пришлют другого или выдвинут из местных? И тут уж обязательно называлась кандидатура Вячеслава Ананьевича Петина.

А между тем строительство шло. Отдел хроники в газете «Огни тайги» отмечал нормальное течение его жизни: «Бетонный завод правобережья удвоил выпуск ячеистой продукции»... «В новогоднюю ночь в зале клуба состоится костюмированный бал-маскарад. Зал будет натоплен»... «Учебный комбинат продолжает прием заявлений в заочный техникум и строительный институт, а также на курсы подготовки»... «Пианист Святослав Рихтер дает три концерта, для чего большой зал клуба будет специально отоплен и будет открыта раздевалка»... «Бригада экскаваторщика Олеся Поперечного получила звание коллектива коммунистического труда»... «В левобережном поселке на улице Бычий Лоб открылся новый книжный магазин, где посетители сами выбирают себе на полках покупку»... «С Урала на пятидесяти двух платформах прибывают части новых экскаваторов, усовершенствованных по предложению братьев Поперечных»... «В большой читальне учебного комбината гроссмейстер Таль дал сеанс одновременной игры на сорока досках, причем тридцать две партии выиграл, семь свел вничью, а одну проиграл инженеру Надточиеву С. И.»... «Охотничий кружок клуба устроил в воскресенье облаву на волков с флажками и в один день уничтожил семнадцать хищников»... «На строительство приехал поэт, лауреат Ленинской премии Александр Твардовский»... «Жена машиниста крана Нина Березина в акушерском отделении больничного городка разрешилась от бремени и принесла трех близнецов. Все три вновь рожденных жителя Дивноярска чувствуют себя и развиваются хорошо»...

Листая «Огни тайги», легко было почувствовать: пульс стройки бьется нормально. Но слухи всё шли и шли, и даже серьезным, не склонным к сплетням и болтовне людям начинало казаться, что в них что-то есть.

И они, серьезные люди, невольно с особым вниманием приглядывались к двум героям этих сплетен. Ничего, что давало бы возможность сделать те или иные выводы, заметно не было.

Литвинов по-прежнему поднимался до рассвета, упражнялся со своими гирями. Утром его можно было встретить в любом конце огромной строительной территории, а в положенные часы, в половине одиннадцатого, «сняв сливки рабочего дня», он появлялся в управлении. Многие инженеры считали эти утренние его походы неким атавизмом, отрыжкой первых пятилеток. Петин насмешливо называл их «пустым мотаньем», но Старик оставался верен себе.

Вячеслав Ананьевич любил говорить: «Управление — это мозг. Мозг всегда должен быть неподвижен».

Так они и работали, каждый по-своему. Иногда, с исхлестанным ветром лицом, с росинками растаявшего инея на мохнатых бровях, Литвинов вваливался в кабинет Вячеслава Ананьевича, садился на стул, хрипел: «Продрог как последняя собака», требовал принести стакан горячего чаю и, обжигаясь, выпивал его. Стараясь замаскировать нотки снисходительного сожаления, Вячеслав Ананьевич говорил:

— Ну зачем вы себя не жалеете? Управление должно работать, как точное счетно-решающее устройство. Аналитическая машина, Федор Григорьевич, располагая информацией, мгновенно перепробовав все возможные варианты, выбирает самые правильные, самые рациональные решения. Она никогда не ошибается. Так должны руководить и мы. Все зная, все вперед предусматривая, исключая возможность случайных решений.

Литвинов, откусывая крепкими зубами кусочки сахара, с шумом потягивал из стакана чай, ерошил рукой жесткий бобрик, и в синих глазах его загоралось лукавство.

— Привычка, дорогой Вячеслав Ананьевич, привычка! Когда нас, совсем зелененьких, бросили из политехнички прямо на Днепрострой, какая была тогда техника? Лопаты, кирки, тачки, грабарки. Американский паровой экскаваторишко «Марион» чудом казался... За десять верст смотреть бегали... Ох, прикажи еще стаканчик налить! Вкусно твой секретарь чай заваривает, не то что мой — отваром банного веника поит... Так вот, однажды пыхтим мы в карьере и видим: идут над котлованом

двое — один пожилой, седой, с острой бородкой, другой военный. Остановились, глядят, потом тот, что с бородкой, спрыгивает в карьер, кричит: «Инженер, куда вы смотрите, черт вас возьми! Как ваши люди лопату держат? Какой у них из-за этого косинус фи?» Сбрасывает пиджак. «Подержите и смотрите, молодой человек, вот как землекоп должен стоять, а вот как бросать». И вмиг наполнил тачку. «А ну, говорит, повторите сейчас же». Я красный, мне стыдно, бородачи грабари посмеиваются, — ну, стараюсь. «Вот теперь лучше. Какой институт вы, молодой человек, кончали?» — «Московский политехнический». — «А я — Киевский». Нас учили, чтобы инженер сам мог любую работу делать. Понятно это вам?» Отвечаю: понятно... И знаете, кто оказался? Начальник строительства Александр Васильевич Винтер — знаменитейший гидротехник. Ленин его знал. — Литвинов допил чай и победно поставил стакан на стол.

— Так вы же сами сказали, это в первую пятилетку было.

— Ну и что?

— Сами сказали, какая была техника: лопаты, кирки, грабарки.

— Ну и что?

— А сейчас спутники над нами летают, счетно-аналитические устройства мгновенно решают задачу, над которой сотни математиков просидели бы сотню лет.

— Ну и что?

— Зачем нужна лопата, когда экскаватор Поперечного один работает за тысячу лопат?

— Ну и что?.. Человек-то остается венцом творения. Мой дружок Максим Сердюк как раз заправляет в институте, где эти самые «мыслящие» машины придумывают. Он рассказывал: среднего шахматиста машина обязательно обыграет, а мастера никогда. Нет в ней творческого импульса. Она не может создавать что-то новое, не способна творить, не может, наконец, блефовать, черт возьми, когда это надо.

Глотая чай, рубя воздух короткой рукой, Литвинов тоненьким голосом выкрикивал:

— Отличная информация — хорошо. Но разве она заменит когда-нибудь живые человеческие контакты? Людей тысячи, и это не «рабочая сила». Кстати, терпеть не могу этот отвратительный термин, который мы вытащили когда-то из буржуазной политэкономии и который

к нам так и прилип... Это не рабочая сила, а мыслящие индивидуальности, как вы и как я. А о чем думает человек, что ему нравится, что ему мешает, что его вдохновляет, что размагничивает,— это пока еще ни одна машина угадать не сумеет. Это, дорогой Вячеслав Ананьевич, *чувствовать*, это *ощущать* надо. Все время. Каждый день, каждый час. Вот тогда действительно можно все предусмотреть или предвидеть...

— Ко мне на прием, дорогой Федор Григорьевич, ходит — извините меня, но это статистика, — ходит больше людей, чем к вам,— с доброжелательной снисходительностью замечал Петин.

— Верно. Статистически верно,— задорным мальчишеским голосом кричал Литвинов.— Но к вам ходят те, кому вы нужны, а не те, кто вам нужен... А я вижу и тех и других...

Такие споры возникали частенько, и каждый раз, возвращаясь после них к себе, Литвинов ухмылялся: «Далеко пойдет. Башка!» И все-таки добавлял, подумав: «Только кажется, не с того конца эта башка затесана».

А Петин дома, прихлебывая кофе, который Дина приносила ему после обеда в кресло под торшер, снисходительно улыбаясь, рассказывал:

— Опять воспитывал этого... Ну, как это по немецки-то будет... Ну, давно прошедшее время?..

— Плюсквамперфектум?

— Вот-вот, этого плюскомперфекта... Трудно, очень трудно поддается. Простейших современных истин не хочет понимать. Упрямейшее существо, никак его не вытащишь из этих первых пятилеток... Сейчас суда водят по приборам, а он, начальник, бегает по карьерам...

Прихлебывая кофе, ласково посматривая на изящную фигурку жены, Вячеслав Ананьевич как бы думал вслух:

— Упрямство это иногда просто бесит, сдерживаю себя изо всех сил... Он, в сущности, неплохой человек, но морально устарел,— знаешь, как стареет на складе машина, даже если на ней и не работают... Боюсь, плохо кончит, сейчас это не в моде...

Такие разговоры тревожили Дину. Слухи, ходившие по стройке, были ей, разумеется, известны. Они вызывали в ней двойственный отклик: уважая мужа, веря в его талант, она радовалась, что, возможно, сбудется их мечта: он станет первым на строительстве и тогда во всю

ширь расправит крылья. И в то же время ей было больно за этого своеобразного, самобытного, немножко смешного Старика, который все-таки, что там ни говори, сердечно принял их обоих, хорошо к ней относится.

С некоторых пор в доме Петиных появилось новое существо — маленькая японская собачка Чио-Чио-Сан, которую по просьбе Вячеслава Ананьевича отыскал, приобрел и привез Пшеничный, летавший в Ленинград в служебную командировку.

— Чио, а он ведь все-таки неплохой, этот Старик. Ведь так? — говорила Дина, и Чио подтверждала: «Гав-гав»...

Однажды прямо в прихожей, не дожидаясь послеобеденного, самого уютного в семье часа, отведенного Петиными для обмена новостями, Вячеслав Ананьевич сообщил, что начальника стройки срочно вызвали в Москву. Его предупредили о возможности задержки, и было при этом сказано, что временно управление он передает Петину. Вячеслав Ананьевич рассказывал об этом спокойно, но жена чувствовала: он весь напряжен, прикладывает неимоверные усилия, чтобы скрыть радость. Ей стало грустно, и муж заметил это.

— Бедный Федор Григорьевич, нелегко ему придется,— вздохнул Вячеслав Ананьевич.— Наверное, письмо. Помнишь, вы ездили тогда в колхоз?.. Но тут уж он сам виноват, я предлагал пресечь все это в самом зародыше. Нет, видите ли, нельзя. Эти люди «по-своему правы», их надо убедить, им надо доказать. Вот и доказал... А теперь придется убеждать уже не сибирских мужиков, а инстанции.

— Но я же слышала, как он говорил с ними. Это был искренний разговор,— грустно произнесла Дина.

— Разговор. Вот именно разговор... Если бы командир, поднимая роту в атаку, говорил: «Товарищи солдаты, прошу вас бежать под пули. Вас, конечно, может быть, и убьют, но прошу вас, не думайте об этом, нам страшно важно захватить высоту»,— выиграли бы мы войну? Развевался бы наш флаг над Берлином?.. Дисциплина, железная дисциплина, приказ, железный приказ... в этом — успех. Досадно, но теперь и мне порой приходится говорить все это: «подумайте», «обсудите», «взвесьте», «сообщите»... Сколько на это времени уходит, как устаешь! И понапрасну, попусту...

— А все-таки мне его жалко,— упрямо произнесла Дина.

— Ты у меня добрая, тебе хочется, чтобы всем было хорошо. А так не бывает. Новое всегда ломает старое, иначе жизнь бы остановилась. И еще,— в голосе Вячеслава Ананьевича послышалась искренняя грусть,— и еще, не кажется ли тебе: жалея его, ты совсем не жалеешь меня?..

...На дивноярский аэродром, находившийся километрах в сорока от строительства, Литвинов выехал затемно. Он не любил провожаний, никому не сообщил часа отлета и был удивлен, увидев на террасе недостроенного аэровокзала высокую фигуру Надточиева и худенькую, легкую Дины. В стоячей меховой шапке фасона «Иванушка-дурачок», как определил Петрович, Надточиев, казалось, вырос до монументальных габаритов. Женщина в меховой, инкрустированной кожей чукотской парке, в унтах рядом с ним походила на медвежонка.

— Вы куда это собрались? — удивленно спросил Литвинов, рассчитывавший, оставшись наедине, еще раз внутренне обсудить оба варианта, выстроить в логический ряд все свои аргументы.

— Мы никуда. Мы вас провожаем, — просто ответила Дина.

— Думали удрать втихаря,— усмехнулся Надточиев. — Прошу вас, пока не поздно, просто требую: немедленно обратите внимание на эту парку. Она так идет Дине Васильевне. Этакий симпатичный, передовой, прогрессивно мыслящий эскимосик из фильма, поставленного советским режиссером по произведениям Джека Лондона...

Пассажиры, летевшие в Старосибирск, толпились на терассе аэровокзала, ибо в недостроенном здании было холоднее, чем на дворе. Ступеньки терассы вели в никуда, упираясь в поленницу дров.

— Они будут сходить к морю,— пояснил Надточиев этот кажущийся архитектурный парадокс.— Ну да, вон туда в низину придет море, а самолеты будут над ним заходить на посадку.

— Ну вас, разыгрываете вы меня,— отмахнулась Дина.

— Он вот тоже не верит,— хмуро сказал Литвинов, показывая на Иннокентия Седых, вылезавшего в эту минуту из вездехода.— Не верит и даже клуб на Кряжом

строит.— И вдруг рассердился: — Э, да что вам говорить! Разве поймете?

И тут Дина заметила, как за эти дни осунулось, постарело грубоватое его лицо.

— Воздух! — по-военному протянул Петрович.

Все подняли головы. На посадку, точно бы соскальзывая с неба, шел коротенький «ИЛ-14», похожий на икристую рыбу таймень. Вот он, урча, бежал по пробитой бульдозером дорожке, поднимая вихри сухого снега.

— Ну, ни пуха вам, ни пера! — сказал Надточиев.

— К черту, к черту! — по охотничьей привычке вполне серьезно отругался Литвинов и повернулся к Петровичу: — Чур, в палатку к нам баб не водить. Слышишь! — Осторожно пожал руку Дине: — Привет супругу. Я ему из Москвы позвоню...

Поднявшись, самолет лег на курс, и тайга побежала под крыльями — бурно взлохмаченное море, которое силою какого-то волшебства вдруг застыло со вздыбленными волнами. Вскоре на горизонте обозначились отлично видные на бело-зеленом фоне городские, еще только поднимавшиеся вдоль просек ансамбли, здание клуба, непокрытый спортивный зал, кинотеатр, стайка чистеньких построек больничного городка... Все это лежало в тайге, как кубики, позабытые в траве ребятишками. А дальше река. Утесы на ее берегах как бы устремлялись друг на друга, как бойцы, готовые броситься в драку... котлован... язвы карьеров... — все это в облаках пара, дыма, в желтых песчаных вихрях... Где-то вот тут, посевернее Дивного Яра, бросили они чугунную доску: «Онь, покорись большевикам!» Борьба еще только начинается. Но она покорится, эта великая Онь, как покорялись большевикам другие реки, на которых Литвинову приходилось работать. Он поискал глазами Зеленый городок, нашел цепочку палаток, а вот своего дома не рассмотрел. Свой дом... Все это было своим домом, было его жизнью, его волнением, его надеждой. А как все это пойдет, если... если сбудется то, о чем столько болтают все эти недели! «Может быть, дальше будет без меня. Может быть, я вижу это в последний раз». Литвинов оглянулся. Оньстрой скрылся. Тень самолета бежала по тайге, хорошо видная сверху, как рыба в чистой воде на фоне песчаного дна.

«Без меня». И Литвинов зажмурился, откинувшись на спинку кресла.

— ...Товарищ Литвинов, что с вами? Может быть, вам дать аэрон? — раздался встревоженный голос.

Федор Григорьевич открыл глаза. Перед ним стояла маленькая, хрупкая бортпроводница, по-видимому якутка, с круглым плоским личиком, с узкими, косо поставленными глазами. Тонкие, будто фарфоровые ручки ее протягивали на выбор — бумажный пакет и коробочку аэрона.

— Ничего, ничего, не беспокойся. Все в порядке, все в полном порядке.— И Литвинов постарался улыбнуться как можно шире.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Вячеслава Ананьевича неприятно удивило, когда за ужином жена попросила у него машину, чтобы утром ехать на аэродром провожать Литвинова. Но когда он узнал, что Дина встретилась там и с Надточиевым и вернулась домой в его машине, он всерьез обиделся. Нежелая опускаться до вульгарной семейной сцены, он заставил себя отложить объяснение до утра. Возясь перед зеркалом с упрямой запонкой, никак не желавшей влезать в петлю накрахмаленного воротничка, он, весь поглощенный этим занятием, будто случайно обронил:

— ...Да, дорогая, ты меня огорчила. Ты совсем забываешь о положении, которое мы здесь занимаем. Все знают: Надточиев — креатура Литвинова. Тот тащит его с собой вот уже на третий объект. Этот болтун предан ему как собака. А ты кокетничаешь с ним. Я-то тебя знаю, но что люди могут подумать... Не кажется тебе, что ты на этот раз перекрахмалила воротничок? — Вытянув шею, Вячеслав Ананьевич казался весь поглощенным борьбою с запонкой.— И что особенно досадно, мне придется сейчас проводить с этим почтенным, как его называют курьеры, Саккой серьезный и неприятный разговор.

Дина с удивлением, даже с радостью посмотрела на мужа:

— Ты, кажется, ревнуешь?.. Наконец-то!

Вячеслав Ананьевич обернулся:

— Я ревную?.. У нас с тобой такие отношения... И к кому? К этому ничтожеству, к этому шуту гороховому? Ну, знаешь... ты слишком уже переоцениваешь свои чары.

Запонка села на место. Вячеслав Ананьевич довольно поерзал шеей в воротничке и, осторожно водя гребешком по волосам, стал прикрывать боковыми прядями сильно поредевшую макушку. Дина замолчала и вся както поникла. Мужу стало ее жалко.

— Ты не так меня поняла. Я только хотел сказать, что я выше ревности. Ведь это же отвратительное собственническое чувство, и, мне кажется, я совершенно его

в себе изжил... Я тебя, милая, понимаю: тебе скучно, а я весь в делах, постоянно занят. На мне гигантская ответственность, а ты... Дружи, пожалуйста, с кем хочешь, даже с этим Саккой. Я тебе абсолютно доверяю. Но только прошу: не забывай о моем положении. Оно ко многому нас обязывает.

Он поправил галстук, еще раз взглянул в зеркало, поцеловал жену в лоб и пошел к двери. Дина сделала было движение ему вслед, но остановилась, да так и осталась стоять, пока его шаги не проскрипели по снегу под окном, пока не щелкнула дверца машины.

Покачиваясь в завьюженных колеях, петинская «Волга» мягко бежала по заиндевевшей дороге. С вечера над всем здесь довлел густой туман. Теперь он рассеялся, и, когда над тайгой поднялось солнце, все кругом было опушено и розовато сверкало. Под скатами сугробов, местами набегавших на самую дорогу, лежали глубокие фиолетовые тени. Село Дивноярское, хорошо видное с дороги, утопало в снегах, над избами стояли пушистые хвосты дыма, а за ними, над Буяном, который не угомонялся и в самые лютые зимы, круто клубился пар, будто неосторожно спустившееся с небес облако примерзло ко льду и изнемогало в тщетных усилиях оторваться.

Дивно хорош был этот тихий морозный день. Но Вячеслав Ананьевич, занятый своими думами, не замечал его. Наконец-то наступило время, которого он так нетерпеливо ждал. Литвинов улетел. По указанию свыше стройка оставлена на него, Петина; там, кажется, наконец оценили его благородный поступок. Вот теперь-то он сможет без помех показать свои силы, развернуться вовсю. Литвинов когда-то был, конечно, тоже неплох. Но вот, как и надо было ждать, стал жертвой своих устаревших представлений, методов, привычек. Собственно, ничего не произошло. Вячеслав Ананьевич не допускал и мысли, чтобы из-за какого-то там письма стали пересматривать проект, утвержденный наверху. Письмо, по-видимому, сыграло роль лакмусовой бумажки, показавшей истинное лицо начальника стройки.

Ну нет, он, Петин, такого промаха не даст. В газетах, конечно, можно писать что угодно, но руководить следует железной рукой. Теперь он все подчинит основной задаче — станет безжалостно отметать то, что мешает. Невзлюбят? Пусть. Люди, вершившие крупные дела, редко бывали приятными для окружающих. Вот если бы узнать

только, какие флюиды там веют, какие решения зреют в Москве?

Придя на работу, Петин сразу же заказал телефоны нескольких своих московских знакомых из гидротехнических кругов и с удивлением услышал, что ни один из них не отвечает. Тогда он вспомнил, что в столице сейчас ночь.

Подавив нетерпение, он усилием воли ввел себя в обычную рабочую колею: снял пиджак, повесил его на спинку стула, надел сатиновые нарукавники, просмотрел рапортичку о телефонных звонках, уже составленную секретарем, положил перед собой план дня, обдуманный с вечера. Первым в этом плане значилось: разговор с Надточиевым.

Тот явился сейчас же. Увидев на стене надпись «Здесь не курят», о которой он всегда забывал, вынул изо рта сигарету, поискал пепельницу и, не найдя, открыл форточку и выбросил окурок. Вячеслав Ананьевич попросил его присесть. Поговорили о делах, об экскаваторах, двигавшихся из Свердловска слишком медленно, о Литвинове, который сейчас, наверное, уже спит в Москве. При этом Петин вздохнул и выразил надежду, что все кончится хорошо. Он, как всегда, был сдержанно приветлив, и разве что, отвечая на некоторые телефонные звонки, с излишней старательностью отчеканивал: «Временно исполняющий обязанности начальника строительства слушает». Надточиев внутренне усмехался: все люди, все человеки. Закончив дела, он встал и пошел было к двери, но Петин окликнул:

— Простите, у меня к вам, Сакко Иванович, еще одно и, скажу прямо, крайне неприятное дело.— Надточиев вернулся к столу.— Нет, вы уж присядьте... Как-то был у меня тут этот ваш молодой инженер с правобережного карьера.

— Макароныч? — усмехнулся Надточиев.— Со своим проектом? Жаловался?

— Апеллировал,— поправил Петин, постукивая костяшками пальцев по стеклу стола.— Он оставил у меня свой проект.

— В котором он блистательно доказывает, что пирог вкуснее хлеба... Славный парень этот Макароныч. Думающий, но... навозну кучу разрывая, петух, увы, на этот раз не нашел жемчужного зерна... Вы в этом, надеюсь, убедились?

Петин неторопливо отпер средний ящик стола, достал знакомую Надточиеву трубку чертежей, развернул.

— ...А мне, наоборот, кажется, он нашел нечто крайне нужное. И не только нам здесь сейчас, но для всех, кто вынужден вести землеройные работы в условиях суровых зим. Этот молодой человек... э-э-э...

— Макароныч... Не смотрите на меня так, это не я, это ребята на карьере так его прозвали. Его зовут Марк Ароныч...

— Этот Марк Ароныч — способный инженер, с хорошо развитым чувством нового, и я считаю, что его предложение — очень веский вклад в сокровищницу семилетки...

— Видите ли, я как раз и хочу спарить его с Поперечным, науку и опыт, и тогда, может быть...

— Чтобы получить какую-то там колючую проволоку? — перебил Петин, в словах которого уже появились холодные, настораживающие нотки.— Вы, кажется, именно так изволили шутить над молодым специалистом, принесшим к вам свой первый проект?

— Ну, это уже не спортивно. Нечестная игра.— Надточиев даже вскочил.

Петин тоже встал и, пристально глядя на него, барабанил пальцами по столу.

— Здесь не стадион, здесь кабинет временно исполняющего обязанности начальника строительства, и я говорю не с футбольным болельщиком, а с инженером, которого до сих пор считал серьезным работником и который позволил себе сейчас, в годы великой семилетки, недопустимое, я не побоюсь этого сказать, антипартийное, да, именно антипартийное отношение...

— Антипартийное? — Массивный Надточиев, с крупным лицом, с большими руками и большими ногами, казалось очень прочно стоявшими на полу, растерянно смотрел на худощавого бледного человека, спокойно наблюдавшего за ним.

— Да, дорогой Сакко Иванович, я привык называть вещи своими именами. Партия учит нас подхватывать любую полезную инициативу, а вы...— В голосе Петина не было ни злости, ни досады. То, что он говорил, было правильно. Округлые фразы были знакомы, много раз слышаны и читаны. Но в устах этого человека, как казалось Надточиеву, они приобретали почему-то обидное, даже кощунственное звучание...

— Вячеслав Ананьевич, вы опытный строитель, вы не можете не видеть, что ценна тут только тема. А суть: масса людей, огромные средства, а результат потом придется рассматривать в электронный микроскоп. Позвольте, я тут при вас прикину.— Надточиев достал из кармана логарифмическую линейку, губы его шевелились. Он быстро производил подсчет.— Ну вот посмотрите, сколько стоил бы кубометр грунта и во что примерно обошлась бы нам вся эта затея...

— Затея? Нет, дорогой Сакко Иванович, это не затея, да будет это вам известно. Это ответ мыслящего молодого инженера на один из важнейших вопросов семилетки. И мне, видимо, придется заставить вас...

«Что с ним? Что ему надо?.. Только бы сдержаться, не разругаться, не сделать невозможным общение с этим человеком»,— проносилось в голове у Надточиева, с удивлением наблюдавшего, как Петин, этот деловой, умный, добропорядочный сухарь, каковым до сих пор инженер его считал, на глазах оборачивается какой-то другой, ни разу еще не виденной и, вероятно, тщательно скрываемой им от людей стороной. Ах, если бы не эта женщина с узкими серыми глазами, он бы нашел слова для ответа! Надточиев стоял, опустив голову, каменея от физического напряжения: если бы не она...

Еще в тот пестрый сентябрьский день, когда случай сделал его спутником Дины Васильевны, Надточиев сразу проникся к ней симпатией. Он был холост, кочуя со стройки на стройку, хозяйством не обзаводился. Жил в общежитиях, в домах для приезжих. Если были гостиницы, снимал номер. Питался в столовых, перебивался холостяцким сухоядием. Из домашних вещей имел лишь электрический чайник, сковородку да туристскую газовую плитку. Думая о женщинах, он мечтал о возвышенной любви, о большой дружбе, но все его романы, связанные главным образом с поездками в санатории, в дома отдыха, с командировками, строго говоря, ни к любви, ни к дружбе отношения не имели. Они даже в памяти не оставляли следов: два-три письма, посланные до востребования, поздравление с Новым годом, какая-нибудь посылочка...

И вот появляется эта женщина, похожая на девушку. Происходит нечто в жизни инженера Надточиева еще небывалое: мир точно бы раздвигается, его мелодии стано-

вятся звучнее, краски ярче. Человек, слывущий среди малознакомых нахалом, даже наглецом, вдруг обретает мучительную застенчивость, не может скрыть дрожания голоса, называя в телефон заветный номер, придумывает невероятные, порой смешные поводы, чтобы лишний раз «случайно» оказаться возле Дины в библиотеке, в магазине, в клубе, встретить ее на улице или стать ее соседом на концерте. Об этих встречах он мечтает даже по ночам, а очутившись возле, вдруг становится хмурым, обидно насмешливым или даже грубым.

Дина была из тех, кто умеет отличать маску от лица. Целый день предоставленная самой себе, она скучала. Ей казалось интересным держать возле себя этого человека, который был одновременно мужественным и слабым, застенчивым и язвительным, видеть, как в ее присутствии он вдруг смущается, краснеет, чувствовать на лице его мрачноватый неотвязный взгляд.

Чтобы открыть себе возможность хотя бы изредка бывать у Петиных, Надточиев старался перенести свои симпатии и на мужа, пытался искать его дружбы... И вот этот разговор, который может все оборвать. А что, если Петин и затеял его, чтобы начать ссору и потом с треском захлопнуть свою дверь? «Нет, нет, сиди, молчи. Молчи ради нее»,— приказывал себе Надточиев, столбенея в неудобной позе, с напряженным, неподвижным лицом.

— ...Так вот, почтенный Сакко Иванович, возьмите проект и направьте в разработку. А через десять, нет, через семь дней вы мне доложите о результатах.— И, перекинув на столе листики календаря, Петин четким почерком написал на соответствующем листке: «В десять часов Надточиев с проектом Бершадского».

— Но ведь если крыжовник побрить, виноградом он от этого не станет? — пробурчал Надточиев сквозь зубы.

Черные глаза Петина оставались невозмутимыми, и Надточиеву почудилось, будто на него движется машина: не отскочишь — задавит.

— ...Ваши остроты, дорогой Сакко Иванович, мне известны, и, признаюсь, я не поклонник вашего остроумия. Советую, когда придете ко мне в среду, в десять часов, оставить их дома.— И, не ожидая, пока Надточиев ответит, он позвонил секретарю.— Пригласите следующего.

В приемной толпилось немало людей, и, проходя мимо них, Надточиев с омерзением подумал: «Если бы у меня

был хвост, все бы они увидели, как он отвратительно поджат». А вернувшись в пустой свой кабинет, он вдруг застыл посреди комнаты, пораженный жестокой мыслью: «Как же ты врезался в нее, Сакко Иванович, голубчик мой, если так вот покорно позволяешь возить себя мордою по полу!»

2

У Петровича была любимая поговорка: «Самое важное в военном искусстве — это вовремя смыться». Стоило Литвинову вылететь из Дивноярского, как он сразу же с аэродрома, не заезжая в гараж, отправился в авторемонтные мастерские. Благодаря веселому праву, умению угодить нужным людям, а также увлечению фотографией, этим могущественнейшим средством покорения сердец, он заранее выхлопотал сюда наряд на профилактический ремонт.

И когда Петин потребовал лимузин к подъезду управления, его не без труда отыскали в мастерских. Машина стояла в цеху, поднятая над ямой, мотор был полуразобран, а самого Петровича привели к телефону в комбинезоне, с замасленными руками. Он продолжал неторопливо их вытирать, прижимая плечом трубку.

Временно исполняющий обязанности начальника сам пожелал отчитать самоуправца. Из трубки летели сердитые слова. Произнося их, Петин, разумеется, не мог даже и предполагать, что в этот момент объект нагоняя, не слушая, подает сквозь стекло будки многозначительные сигналы румяной нарядчице, посылает ей воздушные поцелуи и лишь изредка, поднося трубку ко рту, озабоченно роняет туда:

— Виноват, бу сде... Так точно... бу сде...

Шофер не разделял симпатии своего начальника к Петину. Он считал ее заблуждением, а Дину Васильевну, к которой благоволил, жалел за то, что у нее такой «малохольный» муж. Когда же в ответ на очередное, вероятно невпопад поданное, «бу сде» из трубки послышались угрожающие ноты, он подмигнул все той же нарядчице и плаксивым голосом, скороговоркой стал перечислять длинный список того, что в машине сработалось,

разболталось и «запсивéло». Ответом было яростное молчание, щелчок и гудки отключения. Тогда он повесил трубку, удовлетворенно произнес: «Ауфвидерзеен» — и отправился сообщить нарядчице те самые комплименты, которые она не могла расслышать через стекло.

Неторопливо, гуляющим шагом направлялся Петрович по утрам из Зеленого городка в мастерские автобазы. Проходя мимо котлована, он каждый день и все с большим интересом прислушивался к женскому голосу, доносившемуся из диспетчерских репродукторов. Голос этот гремел среди огромных нагромождений песка, железа, метался среди бетонных громад, разносился над замершей рекой, улетал вдаль и возвращался обратно в виде эха. Этот как бы богатырский голос ничего, в сущности, интересного не сообщал: десятника Уса требовали к прорабу Бершадскому. Шоферам приказывалось ускорить подачу машин к экскаватору Поперечного. Бетоновозам предписывалось не нарушать ритм подачи. Снова требовали запропастившегося куда-то Уса, а потом приказывалось гнать «восьмерку» и «десятку» к южному забою.

Дело было не в смысле этих обычных диспетчерских приказов, а в их форме и тоне.

— Ус, Ус, куда вы запропастились? — слышался задорный девичий голос.— Сообщаю официально: у Макароныча лопается терпение. Вот ужо вам будет по усам... Эй, шоферы на дальнем, заснули? Маруськи снятся? Давайте продерите глаза и нажимайте на газ. Я вижу, как Поперечный вам из кабины кулак показывает... Там, на бетоновозах, не яйца тащите, не разобьете. Давай нажимай, а то привезете вместо бетона ледяную лепешку.— И иногда между этих веселых фраз слышался вздох: «Уф, ну вас ко всем чертям. Намаялась я с вами, бестолковыми».

Все это, репродуцированное мощными динамиками, летало над правым берегом, вызывая у всех улыбки. «Ох уж эта Мурка, дает жизни»,— улыбался десятник Ус, торопливой рысцой поспешая к прорабу... «Ей на язычок только попадись!..» — ухмылялись водители машин, нажимая на газ. «Так вот целый день в сплошном фельетоне и живу»,— жаловался Бершадский, поглаживая вечером узенькую холодную ручку Вики в темноте кинозала, служившего в здешнем морозном климате лучшим местом свидания влюбленных.

Мурка, как все без исключения называли помощницу дежурного диспетчера, была на строительстве не менее знаменита, чем самый известный столичный радиокомментатор. Мало кто видел ее в лицо. Но остроты, словечки Мурки Правобережной ходили из уст в уста. Они были так распространены, что в клубной живой газете сама Мурка фигурировала уже как некий литературный персонаж, от имени которого велся отдел юмора.

Но Петровича заинтересовали не комментарии и даже не их форма, а голос. Он казался ему странно знакомым. Всякий раз, когда в динамиках начинало потрескивать, предвещая, что Мурка «выходит в эфир», он останавливался, поднимал голову, морщил свой жирный лоб, старался вспомнить, где раньше он его слышал. Наконец он решил познакомиться с обладательницей «нахального голоса».

С этой целью вечером он прибыл к строительному управлению правобережья, дом которого, похожий на дачу, с открытой террасой, увенчивал вершину утеса Бычий Лоб. Оттуда открывался широкий вид на реку, на все строительство. Но Петровичу было не до видов. Он узнал, что диспетчерская дежурка — маленькая будочка из горбыля — помещается рядом, и отправился туда. На двери висела дощечка: «Посторонним вход воспрещается». Посторонним Петрович нигде себя не считал, но входить счел нецелесообразным. Он забрался на завалинку, заглянул в окошко и тут же отпрянул. В будочке, где двоим, наверное, было бы даже и повернуться трудно, сидела та самая незнакомка с нечесаной копной оранжевых волос, которую ему пришлось когда-то спасать от кулаков хулигана. Перед ней на дощатом пюпитре лежали бумаги, рядом стояли два телефона — белый и черный, а со стены на решетчатом, растягивающемся кронштейне к ее губам, будто змеиная голова, тянулся микрофон.

«Так вот, оказывается, кто эта знаменитая Мурка Правобережная!»

На девушке была ярко-зеленая кофта, а на руке, прижимавшей в эту минуту телефонную трубку, ногти были выкрашены чуть ли не в синий цвет. Петрович замер в восхищении. Между тем девушка положила трубку, притянула к себе микрофон, и по карьерам раскатился хрипловатый озорной голосок:

— Водители большегрузных самосвалов «МАЗ», что во сне видите? Шиш вместо премиальных? А ну

давай-те в карьер по самому быстрому, а то вам вместо медведя начальник поганую метлу на радиатор приделает. Поторапливайтесь, поторапливайтесь, молодые люди!

Только произнеся это и оттолкнув микрофон, девушка заметила круглую физиономию, смотревшую сквозь стекло плутовскими карими глазами. Она узнала ее. Не без самодовольства встряхнув оранжевыми кудрями, она вскочила на стол, открыла форточку:

— Тебе чего, Нонсенс? Здесь не подают.— Но ответ слушать не стала, должно быть, потому, что холод, ворвавшийся в будку, сразу же сделал матовыми ее стекла. Когда же тряпка, намоченная в соляном растворе, прошлась по ним и стекла снова обрели прозрачность, круглая физиономия исчезла. У Петровича возник гениальный план. Теперь он нетерпеливо топтался у дороги, ожидая попутную машину, которая могла бы подбросить его до ремонтных мастерских.

Зато, когда смена закончила работу и люди в ватниках, в стеганных брюках, в валенках, опустив уши меховых шапок, выбирались из котлованов, топали, греясь, у автобусных остановок, тянулись пешком по обочинам шоссе — перед будочкой из горбыля, блистая лаковыми боками, остановился лимузин начальника строительства. И как только помощница диспетчера появилась на пороге, дверца лимузина открылась и высунувшийся оттуда Петрович лихо произнес:

— Битте дритте!

Девушка остановилась. На ней было широкое, мешковатое, самое модное в тот год пальто, вязаная мохнатая шапочка — «пудель», столбиком стоявшая на голове. Весь этот наряд, воссозданный по последним моделям, опубликованным в журнале «Огонек», в сочетании с большими валенками на толстых, мягких подошвах производил внушительное впечатление. Великодушный жест Петровича, несомненно, поднял его в глазах помощника диспетчера. На миг девушка остановилась, задумалась, потом, своевольно тряхнув оранжевыми прядями, выбивавшимися из-под ершистого колпачка, насмешливо поинтересовалась:

— С чего бы такие любезности?

— Умоляю, мне это ничего не составляет... Доставлю хоть на луну с космической скоростью.

— Вот начальник узнает — обретете такую скорость, что моментально уйдете за пределы земной атмосферы.—

Это было произнесено тем же тоном, какой звучал в динамиках.

— Начальник!.. Он же в Москве! — отчаянно выкрикнул Петрович.

— Извините, меня ждут,— учтиво закончила разговор девушка и пошла прочь, легко неся свою складную фигурку, которую не очень даже портили шедевры современной моды. Пошла, но, отойдя немного, обернулась, помахала рукой в пестрой рукавичке и обнадеживающе произнесла:— Пока.

А тут на грех забарахлило неотрегулированное зажигание. Петрович увел машину из мастерских, сказав, что будет проверять отремонтированные узлы. Нужно было скорее возвращаться. Кое-как устранив неполадки, он покатил по дороге. На повороте, где на голой метле лиственницы была прибита вывеска: «Остановка автобуса № 6 Котлован — Индия», он вдруг заметил того самого хулигана, который когда-то бил Мурку. В сапогах гармошкой, в распахнутой шубе на хорьковом меху, в кепочке с пуговкой, он стоял в стороне от очереди, ожидавшей автобус. Под мышкой у него был кулек, из кармана торчало горлышко бутылки. «Так, понятно,— пробормотал уязвленный Петрович.— И чего она в нем нашла? Морда как пятка. Типичный урка». И, горько вздохнув, стал насвистывать классическую арию о непостоянстве сердца красавицы.

Весь следующий день он честно не вылезал из мастерской. Петин мог теперь каждую минуту вызвать машину. Под вечер кто-то из слесарей вдруг сообщил: диспетчерское радио потребовало, чтобы шофер начальника строительства подал к концу вечерней смены машину к управлению правобережья. Петрович озадаченно оглянулся, но вдруг радостно спросил, обнимая ничего не понимавшего слесаря:

— Врешь?

— А что мне врать? Послушай,— наверное, повторит.

И действительно, «нахальный» и такой теперь знакомый голос деловито, без шуток и прибауток повторил приказ. Петрович сейчас же погнал машину в Зеленый городок. В положенный срок лимузин стоял на месте. В освещенные окна будочки было видно, как девушка передает бумаги своей сменщице, как она достала зеркальце, подкрашивает губы, сказала что-то и, засмеявшись, прильнула к стеклу. Потом она легко сбежала с

крылечка и, оглядываясь на окна будки, так уверенно подошла к машине, что растерявшийся Петрович, открывая дверцу, позабыл даже сделать свое обычное приглашение.

— На пять минут опоздали,— сказала девушка, усаживаясь рядом с ним.— Порядочка нет. Нехорошо, товарищ Нонсенс.

Все это было так необычно, что Петрович, который, по выражению Глафиры, и на Страшный суд явился бы, насвистывая и держа руки в карманах, только спросил:

— Куда везти?

— Зеленый городок, палаццо номер двадцать восемь,— распорядилась спутница, а он с восхищением косился на ее грубоватый профиль, на чуть плоский, задорный нос, на «растрепанные», как он определил, губы, сохранявшие капризное, самоуверенное выражение.

— Может быть, по пути заедем ко мне, погреемся, чашку чая выпьем,— сказал он, впрочем так тихо, что его, вероятно, не без труда можно было расслышать.

— К вам? У вас, конечно, роскошная вилла? — прозвучал насмешливый вопрос.

— Нет, я живу в палатке с... одним человеком. Но он сейчас уехал... Я один, так что мы никого не побеспокоим.

— Удобно ли? — задумчиво произнесла спутница, становясь вдруг серьезной.

— А почему?— встрепенулся Петрович.— У нас патефон. Пластиночки погоняем. Выдадим танчик.

— А кто же этот, ваш сопалатник?

— Он... он, видите ли... Он мой начальник... Мы завсегда вместе селимся, давно, еще с войны.

— О, шикарно! — протянула девушка. И в карих глазах, которые только что были устало полузакрыты, сверкнули искорки.

Сегодня Петрович оделся, как одевался всякий раз, когда ему предстояло возить по строительству иностранцев. Особая «грузинская» кепка с длинным козырьком, летная кожаная на меху куртка с «молниями», перчатки с крагами, каких давным-давно нигде не производили. Все это ему придавало представительный и несколько театральный вид. Девушка тут же насмешливо оценила его наряд:

— Вы как из кино «Забытые ленты». Очков только не хватает.— И вдруг решила: — Ну что ж, едем. Посмотрю

хоть, как большое начальство живет. Много у Старика, кроме вас, прислуги?

Прислуги! Попробовал бы кто-нибудь спросить так Петровича! Но этой девице с оранжевыми волосами он лишь смиренно пояснил, что никого другого при начальнике вообще нет, и теперь, когда Старик в командировке, они будут совершенно одни. При этом он многозначительно посмотрел на свою спутницу, а та только кивнула. Девушка неожиданно оказывалась сговорчивой. Но чувства превосходства, делавшего Петровича самодовольным, наглым, это почему-то не рождало. Молча доехали до маленькой палатки, стоявшей на отшибе, на окраине Зеленого городка, молча сошли с машины, молча, связанный малознакомой ему застенчивостью, Петрович отпер дверь.

Засветившаяся лампочка обнаружила накрытый уже стол, бутылку портвейна «три семерки». На нее, удивленно вытаращив глаза, глядела селедка, державшая в зубах пучок зеленого лука. Возле теснились тарелки с нарезанной колбасой, сыром, шпротами. По обе стороны стола стояли два прибора.

— Это ваше или хозяйское? — не без иронии спросила гостья, грея руки над не совсем еще остывшей печкой.

— Юберзецте, что это значит, ваш вопрос? — с обидой произнес Петрович, подбрасывая в печь поленья.

— Во-первых, не юберзецте, а битте юберзетцен зи. Во-вторых, я, как вы знаете, неплохо понимаю по-русски. А в-третьих, если это хозяйское, я уйду.— И она потянулась к своему пальто.

— Да нет же, за мои любезные куплено, вон еще и пакеты валяются,— взмолился Петрович и хотел по своему обычаю сказать «зицайте», но сказал: — Садитесь.

Осмотрев первую половину палатки, гостья, откинув полог, заглянула во вторую. Там стоял складной рабочий стол, на котором оглобельками вверх лежали стариковские очки в темной оправе, висела у стены полочка с книгами. Узенькая койка была заправлена с солдатской тщательностью. Возле стояла тумбочка, точь-в-точь такая, какие были в общежитиях. Внимание привлекали разве что ружья, ягдташи и иные охотничьи доспехи, висевшие на вбитых в стойку гвоздях, да рамка красного дерева, стоявшая на столе. Любопытная гостья взяла рамку, но вместо фотографии или портрета увидела

телеграмму. Буквы почти выгорели, но все же можно было прочесть: «Срочная правительственная Днепрострой. Бригадиру бетонщиков Федору Литвинову. Руководитель Днепростроя товарищ Винтер дал правительству обещание празднику увеличить вдвое поток большого бетона тчк Надеюсь не подкачаете тчк Привет тчк Нарком Орджоникидзе»... Девушка пренебрежительно поставила рамку обратно.

— А ведь думаешь: как оно живет, начальство?

— По-разному живет... А мы вот всегда так: пока первые улицы не построят, в палатках, не отрываясь от масс,— сообщил Петрович.

Гостья все больше нравилась ему: эдакий перчик. Свои огромные подшитые валенки она оставила у порога и осталась в чулках. Ножки у нее были маленькие, стройные, ступала она на цыпочках, упруго, неслышно. Но, восхищаясь, он становился все более застенчивым. Непривычное это чувство тяготило, как узкие ботинки.

— Так, может, сядем, выпьем, как говорится, рюмочку чая, а? — просительно произнес он, нерешительно принимаясь раскупоривать портвейн.

— Может, у вас водка есть? — спросила вдруг гостья.

— Водка! — радостно воскликнул Петрович, всплескивая руками.— Слеза пресвятой богоматери?.. Ну конечно же.—И достал из-под кровати непочатую поллитровку и граненые стаканчики. Гостья критически осмотрела посуду, вынула чистый носовой платок, помочила его из чайника, протерла стаканчики. Сама налила себе и Петровичу как раз по самые краешки и выпила до дна спокойно, как пьют боржом или нарзан. Потом пошарила вилкой по столу, выбрала кусок селедки.

— Вкусная. Кто же это вам все приготовил?

— На бога не надеемся, всё сами.— Он тоже выпил, стал хмелеть, застенчивость проходила.— Я, знаете ли, Мурочка, простите, не знаю, как вас величать...

— Мария, Маруся.

Хмелея, Петрович, как всегда, свертывал на «интеллигентный» разговор:

— Я, знаете ли, Марусенька, продукт нэпа... Ни папы, ни мамы. С пяти лет на хозрасчете. Может быть, слышали: «Позабыт, позаброшен, с молодых, юных лет я остался сиротою...» Еще селедочки? Великолепнейшее произведение русской кулинарии, мое фирменное блюдо.

Прошу вас... Я вам, если хотите, по всему дипломатическому протоколу стол сильвирую. Аверелл Гарриман тут приезжал... Знаете, кто такой? Акула капитализма! Мне Старик говорит: «Петрович, следи, чтобы сильвировали не как в деревне». Я — «бу сде», и порядочек... Акула наелась до отвала и была довольна... Ух, какие у вас губки! Это удивительное явление, но мне почему-то страшно хочется вас поцеловать.

Гостья не без аппетита ела, но признаки охмеления не проявлялись. И когда Петрович перед решительным штурмом попробовал было снова наполнить ее стакан, она закрыла его ладонью и не дала ему налить и себе.

— Хватит. На бровях, что ли, к машине поползете?.. Терпеть не могу, когда при мне до «Вася, ты меня уважаешь?» надираются.— Но, заметив, что хозяин сразу скис, засмеялась и совсем по-деревенски выкрикнула частушку:

Есть у нас шофер Володя,
Замечательный танцор.
Но ему сто грамм дороже,
Чем сердечный разговор.

А когда Петрович, собравшись с духом, попробовал ее облапить, гостья как-то очень ловко, без всяких усилий вывернулась, засмеялась и вдруг грубо спросила:

— Что, хочешь, чтобы я обед отработала? Уж я лучше деньгами...— И, порывшись в сумочке, бросила на стол кредитку.

Уязвленный, окончательно растерянный хозяин не знал, как и быть.

— Всяким сявкам бить по морде позволяете, а интеллигентному человеку легонько прикоснуться нельзя?

— Это кто же сявка, Мамочка, что ли?— спокойно спросила гостья, и карие глаза ее прищурились.— Да ты, «Машина к подъезду», по сравнению с ним — снеток. Мамочку в сортирную яму брось, он оттуда с живой щукой в руках вынырнет. Он бы из тебя тогда свиную отбивную сделал, кабы не твой начальник... А ну, дай мне пальто и сам одевайся... Проводишь.

И вот сверкающий лаком лимузин «шепотом» подошел к палатке № 28. Приближаясь, фары его спугнули парочку, отскочившую от самого радиатора в тень большой сосны, и глазастый Петрович, несмотря на обиды, кипевшие в нем, как адская смола, успел различить инженера Бершадского с какой-то худенькой девушкой и

девиц, выбежавших из тамбура. Среди них заметил он и маленькую, румяную, в оранжевом лыжном костюме, похожую в своих очках на сову, ту самую, которая однажды вместе с веснушчатым пареньком пила у них чай.

— Приветик, девочки! — сказала им Мурка, выскакивая из машины, и, оглянувшись, пренебрежительно обронила Петровичу: — Спасибо, Нонсенс. Поезжайте в гараж, вы мне сегодня не понадобитесь...

Разворачивая машину, Петрович слышал многоголосый девичий смех, и ему казалось, что ничего более скверного еще не случалось с ним в жизни.

3

Три неприятности, одну за другой, пришлось пережить Сакко Надточиеву.

После разговора с Петиным прошло семь дней. Утром Вячеслав Ананьевич по телефону поинтересовался, что сделано для осуществления предложения Бершадского. Узнав, что ничего не сделано, обронил не то ироническое, не то удивленное «да?» и, не слушая объяснений, положил трубку.

И вскоре в газете «Огни тайги», в статье, посвященной техническому творчеству молодых специалистов, Надточиева в самой резкой форме разнесли за игнорирование предложения молодого инженера. Под статьей стояла многозначительная подпись: «Группа товарищей».

В ответ на телефонный звонок редактор «Огней», который всегда относился к Надточиеву хорошо, привлекал его к выступлениям по разным поводам, только вздохнул: не поместить эту заметку он просто не мог. Советовал поскорее принять меры и обещал немедленно же сообщить об этом читателям.

— Но ведь вздор, мыльный пузырь это предложение.

— Твое мнение нам известно,— отвечал редактор печально.— Мы консультировались в управлении у очень авторитетных людей, и они...

— Но мы не можем позволять себе роскошь — тратить большие средства на пускание эффектных мыльных пузырей лишь для того, чтобы слыть новаторами.

— Как знаешь, Сакко...— В трубке опять послышался вздох.— Я тебе только добра хочу, не упрямься...

На следующий день уже втроем — Капанадзе, Надточиев и редактор — сидели в продолговатой бревенчатой комнате партийного комитета. Надточиев глядел в окно, где меж жемчужными гирляндами заиндевевших проводов, отмечавших будущую улицу, один за другим, фырча и окутываясь сизым дымом, тянулись грузовики с тесом. Редактор изучал на стене золотистые натеки смолы. Капанадзе, сидя за столом, машинально обводил пальцем уже упомянутую статью в «Огнях», лежавшую у него под стеклом. Все трое относились друг к другу с симпатией, вместе в свободное время хаживали на рыбалку и потому сейчас чувствовали себя особенно неловко.

— Ну чего ты, генацвале, упрямишься? Сам же говоришь, что лучше, когда волосы на голове, а не на гребешке. Так почему же, дорогой, не бережешь прическу? Петин — за, пресса — за, партийная общественность — за, а товарищ Надточиев — против. Уселся, как пан в старом польском сейме: не позволям... Хорошо это?

— Пойми, Ладо, и ты, печать, пойми, это пшик, ничто. Вы все убедитесь в этом, когда попусту будет вломлена в это дело куча денег... Я ему представил самый простой расчет: ведь это копейку рублевым гвоздем прибивать. Чушь, сплошная чушь... Он — за... Я ведь знаю, чьи слова цитирует эта «группа товарищей». Петин любит, чтобы его цитировали, как библию. А я неверующий. Мне ничьих цитат не надо, у меня своя голова. Петин! Вы еще его узнаете. Вещь в себе этот Петин, вот он кто.

— Сакко, дорогой, мы с тобой друзья. Друзья или не друзья? — спрашивал Капанадзе, и потому, что в речи его усиленнее обозначался акцент, Надточиев знал, что он по-настоящему волнуется.— Друзья? Ну так слушай, друг, брось упрямиться. Никто этого упрямства не поймет, коммунисты осудят. Это же не по-большевистски.

— А по-большевистски, если я, опасаясь начальственного окрика, ради случайного мнения большинства стал бы кривить совестью? Большевизм — это прежде всего принципиальность, честность, искренность и уж никак не гибкость позвоночного столба.

Надточиев вскочил. Большой, массивный, он заметался по комнате, и рассохшиеся половицы застонали под

его ногами. Редактор комкал в пальцах душистый комочек смолы и с опаской поглядывал на секретаря парткома. В таких случаях Капанадзе бывал порою горяч. Но тут он только хмурился и продолжал задумчиво обводить пальцем статью.

— ...Обсуждать будете? Обсуждайте. Буду драться.— Половицы сердито скрипели.— Прорабатывать? К вашим услугам. Зубы у меня не вставные. Выговор подвесите? Ну что же, обогатите парторганизацию еще одним выговороносцем. Со строительства Петин выживет? Ну и что. Мне корни рубить не придется, рюкзак в машину, «Бурун, за мной» — и будьте здоровы...

— Сын мой, Григол, Гришка по-вашему, он еще лучше однажды женке моей, Ламаре, сказал: «Вот, говорит, возьму и нарочно отморожу себе нос, назло папе». Тоже очень принципиальный товарищ.— Капанадзе невесело улыбнулся.— А ты подумай, дзмао, подумай... Из пустой царапины гангрена может получиться...

Но Надточиев не отступил. Через несколько дней уже впятером, вместе с Петиным и председателем профсоюзного комитета, они сидели в кабинете временно исполняющего обязанности начальника. Беседа была напряженная. По неудобным позам сидящих, по тому, что в разговоре все время возникали тягостные паузы, чувствовалось: всем неловко. Только хозяин кабинета был, как всегда, спокоен, деловит.

— ...Товарищи, я хотел решить все в обычном рабочем порядке, не привлекая внимания общественности,— говорил Петин.— Но Сакко Иванович, которого мы все знаем как хорошего, делового инженера, проявляет в этом деле не только недопустимый консерватизм, но и непонятное упрямство. Я не могу, и это я официально заявляю руководству треугольника, перед представителем прессы, я не позволю сейчас, в годы всенародного трудового подъема, в годы, когда каждый человек стремится принести свой посильный взяток в великий сот семилетки...

«Волга впадает в Каспийское море... Курить вредно... Пить молоко полезно...— твердил про себя Надточиев, стараясь отвлечься от гладких, округлых фраз, поднимавших в нем горькую злость. — Может быть, он хочет, чтобы я сорвался, наговорил грубостей... Что ему нужно? Зачем он все это затеял?..»

— Вы же, Сакко Иванович, помните, как я вас просил, чтобы вы как коммунист, а не как какой-нибудь щедринский самодур относились к молодым специалистам, к их пусть еще робкому, благородному творчеству на общее благо,— продолжал Петин, искоса следя за тем, какое впечатление производят его слова на присутствующих.— Теперь я от вас этого требую перед партийным и профсоюзным руководством и прессой... Я делал все, что мог, чтобы предупредить необходимость этой неприятной беседы. Товарищи могут подтвердить. Но что поделаешь! Теперь придется издать соответствующий приказ, который я вам,— он поклонился в сторону редактора,— пошлю как ответ на вашу очень правильную и своевременную статью... Жалею, очень жалею, но вы сами, Сакко Иванович, понудили меня к этой крайней мере. Я надеюсь, что она поможет вам понять свои ошибки и научит внимательнее относиться к творчеству своих молодых собратьев, вносящих ценные предложения...

— Предложения?.. Пока что, мне кажется, мы говорим здесь лишь об одном проекте инженера Бершадского? — спросил Капанадзе, насторожившись.

— Увы, Ладо Ильич.— Взяв со стола какую-то бумажку, Петин все так же, не повышая тона, перечислил еще несколько совсем уж ничтожных предложений, которые в разное время были отвергнуты.

— Мы с вами работаем рядом, чего же вы раньше молчали? — почти простонал Надточиев, огромным усилием отрубая от этой фразы так и просившееся на язык «черт вас побери».

— Каждый из этих фактов в отдельности не требовал вмешательства сверху. Я бы не упомянул их и сейчас, если бы не совершенно справедливый вопрос нашего партийного руководителя. Дело не в фактах, дело в явлении. Я, как человек, которому временно доверено строительство, считаю своим долгом...

Надточиев упрямо смотрел на тупые концы своих огромных ботинок. Едкие, хлесткие слова вертелись на языке. С каким бы удовольствием бросил он их, не задумываясь о последствиях, в это смугловато-бледное, спокойное лицо с тонкими, бескровными губами! Мучаясь своей немотой, он презирал себя. «Только бы выдержать, только бы не понести...» И вдруг мелькнула спасительная, как ему показалось, идея. Неожиданно он встал и, не поднимая глаз, глухо произнес:

— Простите, меня мутит...

— Что? — Растерянно взглянув на него, Петин не договорил очередной округлой фразы.

— Мутит, подташнивает,— пояснил Надточиев в ответ на встревоженный взгляд Капанадзе.— Понимаешь, наверное, таракана я за обедом проглотил... Вы уж тут без меня...

Тяжело ступая, он вышел из кабинета, оставив треугольник и прессу решать его судьбу. В этот день на станцию, еще не получившую своего официального названия и потому называвшуюся просто Остановка, с Урала должны были прибыть части двух новых экскаваторов. У себя в кабинете Надточиев нашел на столе записку, предупреждавшую его, что эшелоны могут прийти раньше срока. Он оделся и, пройдя мимо своей машины, стоявшей у подъезда управления, зашагал на станцию пешком.

Ему, человеку, как он говорил, «без постоянного адреса», было радостно наблюдать, как, возникая на просеках одновременно в разных местах тайги, будто проявляясь на зеленом негативе, рождается новый город. И вот сейчас, без шапки, с папиросой во рту, он размашисто шел по проспекту Энтузиастов к площади Гидростроителей, которой надлежало со временем стать городским центром. Навстречу двигались машины с бревнами, с тесом, шли приземистые самосвалы, в кузовах которых, точно серая сметана, колыхался жидкий бетон. Могучие «МАЗы», рыча и дымя сизой гарью, тащили костлявые прицепы. На них, точно картон в папке художника, в стальных переплетах, одна к другой стояли стены будущих домов, с окнами и дверями. Надточиев умел конструктивно мыслить. Там, где непривычный глаз заметил бы лишь горы песку, пропасти котлованов, неприглядные серые стены, он видел стройность созидательной гармонии, видел будущее, и оно радовало его, как хорошая песня, как музыка.

По замыслу Старика, город, рождавшийся на глазах в девственной тайге, не должен был вовсе вытеснить лес. Деревья уступали ему лишь пролеты проспектов, улиц, площадей. Рядом со строящимся зданием простирал свои ветви могучий кедр. Фоном домов была стена тайги, подступавшая вплотную к будущим улицам. Это придавало всему своеобразную прелесть. Одна из сосен стояла у самого тротуара, рядом с коробкой поднявшегося дома.

Ствол ее кто-то заботливо обернул толем, чтобы не повредить во время строительных работ, и, когда инженер проходил мимо, он заметил, что снег тонкой струйкой течет с ее ветвей на тротуар. Подняв голову, он увидел серенький комочек, копошившийся в ветвях, потом черные чешуйки растерзанной шишки, крутясь, упали на него, и человек, на миг забыв о своих горестях и волнениях, улыбнулся веселому зверьку: ничего, товарищ Белочка, как-нибудь выдюжим.

На воздухе тоскливая тяжесть понемногу рассеялась. Но осталось смутное предчувствие чего-то худшего. «Опытный инженер, он не может не видеть, что бедный Макароныч снес пустое яичко. Так зачем же он заставляет меня жарить из него яичницу?.. Да нет же, ничего он не хочет... Просто ты, друг мой Сакко, подставил ему в бою борт, и он влепил в него снаряд. Но почему бой? Зачем ему это надо? Неужели ревность? Если бы для ревности были какие-нибудь поводы...»

Задумавшись, Надточиев не слыхал, как его догнала и остановилась где-то рядом машина. Это был черный лимузин Литвинова. За стеклом расплывалась, как восходящая луна, физиономия Петровича, а женский голос, заставивший Надточиева вздрогнуть, покраснеть, позвал из машины:

— Сакко Иванович, вы куда? Не по пути ли? — кричала из машины Дина.— Я домой. Вы посмотрите, какую я рыбину достала — пальчики оближете. Кажется, небольшая, а ведь около шести кило... Знаете, мне дико повезло... Так по пути?

— Я на станцию. Но с вами мне всегда по пути,— ответил Надточиев, внутренне браня себя за банальность этих слов и за то, что не умеет скрыть радости перед этой бестией Петровичем, весьма многозначительно ухмылявшимся за рулем.

— Знаете что? Денек такой звонкий! Пусть Петрович отвезет мои трофеи, а мы пройдемся. Идет? Вам через Набережную, как мне кажется, даже будет ближе? — На миг Дина задумалась.— Только как же быть? Клавдия-то у меня убежала, дома никого... Впрочем, еще идея. Петрович, милый, дорогой, золотой, вот вам ключ от дома, отвезите продукты сами, суньте их куда-нибудь в холодильник, что ли, а рыбину — она в холодильник не

влезет — ну хоть между окон. А? Голубчик, я не очень вас затрудняю? Ведь нет? — Дина просительно прикоснулась перчаткой к его руке.

— Бу сде, Дина Васильевна! — весело отозвался Петрович и из-за ее спины многозначительно подмигнул Надточиеву: дескать, не зевай.

— ...Вчера мне страшно, ну страшно не везло. Утром Клавдия подала в отставку: определилась на курсы учетчиц. Ну, я ее понимаю, девочка почти со средним образованием, недурненькая, вся жизнь впереди,— что ей в домработницах?! А я? Как мне быть? Катюшка — на курсы бетонщиц, Тамара, видите ли,— в электротехники, а эта — в учетчицы. Сакко Иванович я вчера ревела вечером, как, ну... сидорова коза.

— Вымирающий вид,— мрачно пробурчал Надточиев. Он старался не опередить спутницу и потому смешно семенил своими большими ногами.

— Что, что? Что вы сказали?

— Я говорю, вымирающие на земле виды — беловежские зубры, дунайские пеликаны, хвощи и домашние работницы.

— Вам хорошо смеяться, а мне каково? И не помощь мне ее нужна. Но что я буду делать дома одна — рассветает поздно, темнеет рано. Даже по телефону, как у нас на Трехгорке говорили, «потрепаться не с кем»... Но сегодня ужас как повезло. Вы себе представить не можете. Слышите? Что вы на меня так уставились?

— Вы мне очень нравитесь.

— Опять. Вы же приняли мои условия... Так вот, хожу в Дивноярском по базару, купила мясо, луку, меду, шерстяные носки купила себе — дома ходить, вдруг встречаю одного человека. Он из Кряжова: огромный, бородища как у Карла Маркса, даже длиннее. Громадный мужчина, эдакий Ермак Тимофеевич.

— Ну и что же этот Ермак Тимофеевич? — Надточиев старался не смотреть на разгоряченное морозом и ветром лицо спутницы, на длинные ресницы, на которых белели крупицы инея.

— О, эта целая история! Представьте себе, шагает он, тащит какие-то удочки или снасти и пузатую рыбину, похожую на аэростат. Там разные тетки за ним: «Почем рыба? Сколько за килу?» А он будто не слышит. И вдруг увидел меня, узнал, поклонился, и из этих его зарослей, вижу, выползает улыбка. Я тоже: «Не прода-

дите ли? Какая цена?». Он: «Пятачок».— «Что? Пять рублей? Или пятьдесят?» Он: «Пятачок»... Тут я вдруг вспомнила, что он...

— Ермак Тимофеевич?

— Сакко Иванович, не надо смеяться: по-видимому, это действительно хороший и несчастный человек... Так вот он говорит «пятачок», а я вспомнила, что он за эти деньги жене Поперечного целую корзину грибов отдал. Суюсь в сумочку — пятачка нет. Он протягивает мне рыбину и, представьте себе, говорит: «Будете в Кряжом, расплатитесь». И пошел, даже не оглянулся.

— Хорошо, что вы при нем спичкой не чиркнули,— усмехнулся Надточиев.

— Почему?

— Вспыхнул бы голубым пламенем и сгорел: так он весь проспиртован... Я его на охоте встречал. Это какой-то колхозный механик, запойный, бедняга, и как войдет в пике́ — чудит.

— Ну зачем вы мне настроение портите! — воскликнула Дина хмурясь.— Так все было интересно, и вдруг: «запойный», «чудит»... Ну ладно. Слушайте дальше. Мои удачи еще не кончились. Едем домой, знаете, по этой обходной дороге. И вдруг впереди девушка — высокая, стройная, в черном полушубке, серым мехом отороченном, в красном платке: Василек!

— Василек?

— Ну да, Василиса, дочь Седых. Вы ведь их знаете. Ну а я у них жила. Оказывается она в «Заготпушнину» шкурки сдала, порох получала, дробь или пули, что ли. Грустная. «Что такое?» А видите ли, заходила по пути к нам на учебный комбинат и узнала — курсы английского языка есть, а немецкого — нету. А у них на Кряжом, надо вам сказать, немка умерла. Весь выпуск «безъязыкий» вышел, и она из-за этого в медицинский институт провалилась.

— Так чему же вы обрадовались? — спросил Надточиев, осторожно беря ее под руку, но она тут же мягко отстранилась:

— Не надо. Это ведь не Москва. Здесь столько глаз, и этот ужасный узун кулак... Завтра все заговорят, что инженер Надточиев в рабочее время прогуливается под руку с женой временно исполняющего обязанности начальника строительства.

— А вы боитесь?

— Нет, не боюсь. Вячеслав Ананьевич выше ревности. Но положение обязывает...— И вдруг, как бы превращаясь в девочку, она зачастила: — Нет, слушайте, слушайте, так только в кино бывает, и то только в самых плохих фильмах. Ей нужен немецкий язык, а у меня есть диплом курсов иностранных языков. И договорились — Василек приедет ко мне жить, будет мне помогать по хозяйству, а я буду готовить ее к экзамену. Здорово, правда?.. Она чудная девушка, умница, очень интеллигентная, и притом охотница. Я как-то усомнилась, как это можно одной дробинкой попасть белке в глаз. Она сняла со стены мелкокалиберную винтовку, как она выражается — мелкашку, показала мне вдали маленькую шишку где-то в ветвях сосен — бах, и шишка вдребезги. А сама такая... Я понимаю теперь, почему в старину говорили — кровь с молоком.

Сами того не замечая, они стояли у заваленного снегом палисадника перед домом, в одном из окон которого, спущенная из форточки на шнурке, белела толстая, будто алюминиевая рыбина. Было морозно. У Надточиева ломило от холода лоб, мерзли уши. Он даже не притрагивался к ним, не стряхивал с волос иней. Лишь бы она не ушла...

— Это та девица, которая всем дает звериные прозвища? Интересно, как бы меня определила ваша Василиса Прекрасная?

— А она уже определила,— весело сказала Дина.— Еще тогда, когда вы всё на Кряжом, как она говорит, «стояли». Вы — по-здешнему сохатый, то есть лось. Большой, сильный, пугливый и... глупый лось.

И, засмеявшись, вбежала в калитку.

— А вы? — крикнул ей вдогонку Надточиев.

— Не скажу,— услышал он уже с порога дома, где маленькая женщина в меховой парке уже открывала дверь, приветствуемая из-за двери радостным, захлебывающимся лаем...

Было в этот день и много приятного: славные ребята — монтажники с Урала, рабочие, похожие на инженеров, и хлопцы Поперечного, ради приезда свердловчан из своих «спиджачков» и «штанов-махал» перелезшие в комбинезоны, и надписи на контейнерах, выведенные мелом и углем: «Привет строителям Дивноярска от рабочих Урала»... «Посылаем от души»... «Работайте на здоровье», и эти блещущие изморозью искусной шабровки

сочленения машин, и дружба в отношениях между шеф-монтерами и экскаваторщиками, установившаяся, еще когда машины эти изготовлялись... Все это радовало. И все эти радости совмещались в образе худенькой женщины в мехах, растворялись в ее смехе, в блеске ее глаз. И ничего не нужно было инженеру Надточиеву, кроме смутного ощущения, что она где-то здесь, недалеко в этой массе разноплеменных людей, съехавшихся сюда со всех концов страны будить издревле дремотные края.

4

Федор Григорьевич Литвинов мог с полным правом считать себя коренным столичным жителем. Юношей приехал сын селижаровского плотогона с верховьев Волги в Москву. Здесь учился на рабфаке, здесь поступил в институт. Здесь получил диплом инженера. Здесь женился на однокурснице, комсомолке Стеше. Из московского общежития уводил он под руку свою Стешу в родильный дом на Никитской и в тоже общежитие, в уголок, отгороженный для них фанерным щитом, принес своего первенца, умершего потом от простуды из-за вечно гулявших здесь сквозняков. Сюда, на улицу Чкалова, в большой серый дом, на котором сейчас висит гранитная доска, напоминающая о том, что здесь жил когда-то великий летчик, вернулся он, молодой инженер, после пуска Днепрогэса. Тут постоянно теперь жила его жена, Степанида Емельяновна. Здесь прописаны их дети — сын Валерий, тоже инженер-гидростроитель, работающий сейчас в Прибалтике, и дочь Светлана, жена дипломата, аккредитованного в Италии. В квартире хозяйничает Степанида Емельяновна. Она давно уже переквалифицировалась в бабушку, воспитывает внуков, и называется теперь квартира эта «внучья коммуна».

И все-таки, если говорить правду, Федор Григорьевич чувствовал себя в Москве гостем. Прилетев сюда по какому-нибудь делу, он со Степанидой Емельяновной и всем ее «внучиным выводком» проходил сначала «по кругу», то есть посещал любимый ими всеми Театр кукол, цирк и, если везло, ходил на дневное представление моисеевского ансамбля. Затем добывалась большая машина, и на хорошей скорости объезжали строящиеся районы Москвы. Во время этих экскурсий Литвинов радовался

всем столичным обновкам, шумел не меньше внуков, иногда забегал в архитектурные мастерские, смотрел планы и проекты. «Круг» обязательно заканчивался обедом в грузинском ресторане «Арагви», причем, прежде чем войти в него, Степанида Емельяновна слышала всегда одну и ту же шутку:

— А Юрий Долгорукий был неглупый мужик: знал, на каком месте заложить Москву.

Вкусив столичных удовольствий, если, разумеется, не было срочных дел, Литвинов начинал скучать, нервничать, и хорошо постигшая его за тридцать пять лет совместной жизни жена укладывала в чемодан новые комплекты белья, которое муж, когда приходилось жить на строительстве одному, имел обыкновение занашивать до дыр...

На этот раз он приехал внезапно, не в командировку, не на партийный съезд, не на сессию Верховного Совета, не на министерское совещание. Он прилетел озабоченный, хмурый, раздраженный, и уже на аэродроме, встретив его со всем выводком, Степанида Емельяновна поняла, что билеты на привычные развлечения, которые ей не без труда удалось добыть, могут пропасть. Так оно и вышло.

— Э, какие тут куклы! — с первых же слов отмахнулся он. Сразу попросил жену уложить банный чемоданчик и отправился в Сандуны. Тут, добравшись до «острого парку», он ненадолго отвлекся от забот. Но, доведя жар до того, что на голове зашевелило короткие волосы, вдруг подумал: «Балуюсь тут с веником, а *он*, наверное, ходит по кабинетам, выкладывает свои резоны, агитирует начальство». И от одной этой мысли наслаждение сразу поблекло. Вяло спустился с полка и, отказавшись даже от кружки холодного пива, какой заливаются обычно банные неистовства, стал торопливо одеваться.

— Из Дивноярского не звонили? — спросил он жену, удивленную таким быстрым его возвращением.

— Так там же сейчас уже ночь,— ответила она, вынимая изо рта папиросу.— Забыл, что ли?

— Ах да. И ниоткуда не звонили?

— Был звонок. Седой какой-то, что ли?

— Седых? — встрепенулся Литвинов.— Что сказал?

— Говорит, в «Москве» остановился, номер вот оставил.— Степанида Емельяновна подошла к мужу, загля-

нула в синие его глаза, где теперь поселилось настороженное беспокойство.— Ну, чего у тебя там, говори. Что случилось?

— Потом, потом,— отмахнулся он, и жена поняла: плохо.

Литвинов тотчас же пошел к телефону, набрал нужный номер и, услышав знакомый голос, сказал:

— Иннокентий Савватеич, я, здравствуй. Был где? Я тоже не был. Вот что, жена тебя к нам на чай зовет. Пил? Ну ничего, еще раз присядем. Чай пить — не дрова рубить, не все мне у тебя гостевать. Надо с тобой поквитаться. Ладно, жду.— И, положив трубку, сказал: — А ну, Стеша, развернись с чайком. Сейчас прибудет.

— Секретарь обкома, что ли? — спросила Степанида Емельяновна, внимательно следя за мужем.

— Председатель колхоза, мой сосед. Мировой, между прочим, мужик. Вы тут самовар-то не ликвидировали? Давай в самоваре, оно солидней.

— Да что ты, Федька, темнишь? Что, буза какая-нибудь у тебя там затерлась? Ну, отвечай! — Степанида Емельяновна с беспокойством смотрела на мужа, и папироса дрожала у нее в крупной, сильной руке.

— Буза, буза. Ополовинить меня этот человек хочет.

— Как это ополовинить, что ты городишь?

— Потом, готовь чай, сейчас приедет...

Когда в дверь позвонили, Литвинов, оттеснив внуков, сам пошел отпирать. Несколько мгновений начальник строительства и председатель колхоза молча стояли в прихожей и пытливо смотрели друг на друга, как бы стараясь угадать, что уже предприняла противная сторона. Но не угадали, а вопросов друг другу не задали. Ни здесь, ни за столом. Мурлыкал электрический самоварчик, к которому сын Литвинова приделал какой-то собственной конструкции пищик, чтобы он «пел», как настоящий. Самовар ставили, лишь когда собирались свои, семейные. И теперь, разливая чай, Степанида Емельяновна искоса наблюдала за гостем и подумала: что же председатель какого-то колхоза мог затеять, что бы угрожало начальнику одного из самых больших строительств в стране? Седых и Литвинов пили из чашек. Гость даже наливал в блюдце, подносил к губам, дул, шумно схлебывал, чего дома обычно никогда не делал.

— Может быть, оно и некультурно, конечно, однако чаек так куда скуснее,— сказал он, должно быть намеренно произнеся это «скуснее».

— Мы у себя на Волге тоже вот так... Жили-то мы, тверские, не то, что вы, сибиряки, чаек видели разве только по праздникам. Под один кусок сахара по четыре, по пять чашек выдували,— вспоминал Литвинов.— Вот, бывало, в Твери гонки у пристани пришвартуешь, расчет получишь и сразу в Красную слободку, была там такая возле фабрики, в трактир. Вот уж тут чай... Да и то с кипятком чайник побольше, а заварка одна на четырех...

И, к удивлению Степаниды Емельяновны, оба пустились рассуждать о том, как и где пьют чай, потом толковали о новостройках Москвы, о кознях империалистов в Западном Берлине, о том, что хорошее и что плохое принесли совнархозы. Говорили неторопливо, как обычно русские люди беседуют за чаем, но от зоркого глаза хозяйки не ускользнуло, что разговор этот обоих не очень интересует. И создалось ощущение, что дело действительно серьезное. Но только проводив гостя в прихожую, Литвинов заговорил о настоящем:

— Ну, так говоришь, никуда тебя не вызывали? Нигде не был?

— Где же... Только ведь еще прилетели. А вы?

— Тоже — нигде.

— Эх. Федор Григорьевич, а может, все-таки миром кончим? Подумай, на сколько же ты народу этим своим морем замахнулся.

— Думал, ох как думал, Савватеич.— От волнения тонкий голос Литвинова стал даже хрипловатым.— Думал, и скажу я тебе все-таки: ты из прошлого, а я из будущего на это дело гляжу... Умный ты мужик, тебя вон маяком назвали, а в этом деле вперед пятками идти хочешь. Да еще людей вон сколько на это письмо подбил. Зачем?

— В одиночку хором не споешь,— усмехнулся Седых, но усмешка у него получилась невеселая.

— Вот увидишь, Савватеич, после тебе стыдно будет.

— Ничего, Федор Григорьевич, голый разбоя не боится. Раз приехали, пусть уж нас Москва судит. Ей с вышки-то видней.

— Ну, пусть судит.

Не очень еще понимая суть разговора, Степанида Емельяновна заметила, что невысокий, худощавый, щуп-

лый человек этот стоял будто вросший в пол. И Литвинов это заметил. Заметил и подумал: «Этого чалдона разве своротишь?»

— Спасибо вам, хозяюшка, за чай, за сахар, за ласку,— сказал Иннокентий, степенно кланяясь. И когда дверь за ним закрылась, женщина сказала:

— Кремень мужик.

— Сибиряк,— задумчиво ответил Литвинов и как-то сразу, без всяких вопросов, будто даже жалуясь, принялся рассказывать жене о своем споре с жителями Оньской поймы.

Москва отнеслась к спору с большим вниманием. Об этом и раньше были разговоры и в Госплане и в аппарате Совета Министров. Теперь этим занялись крупные люди. Было созвано несколько совещаний. Выступали представители министерств — электростанций и сельского хозяйства. Каждая сторона приводила веские, убедительные доводы, и обе упорствовали. Пребывание в столице затягивалось.

А между тем беспокойство Литвинова за ход дел в Дивноярском нарастало. Как-то там без него?.. Каждую ночь он висел на телефоне и, стараясь как можно тише разговаривать, хрипел на всю квартиру: «Пошел ли большой бетон? Как с паводком? Не угрожает? А с Урала экскаваторы прибыли? Как с людьми?» Слышимость была плохая, разговоры часто обрывались, Литвинов нервничал. Заверения Петина в том, что все в порядке, не успокаивали, в ответах Надточиева ему мерещились какие-то умолчания...

— Врет, определенно врет. Что-то они там скрывают. Где-то у них без меня неладно,—жаловался он жене, лежа рядом с ней на кровати, и вдруг беспричинно взрывался: — Да не кури ты так, душу ты мне всю закоптила. Отвык я от табачной вони.

Та молча поднималась с кровати, приносила из кухни стакан воды:

— Пей... Люди там, наверное, не глупее тебя.

Наконец, так и не вынеся решения по существу спора, Москва создала авторитетную комиссию. Ей поручили еще раз все обследовать, взвесить, доложить. Названы были сжатые сроки.

— Ах, все равно, только бы скорее домой,— сорвалось у Литвинова, когда он рассказал об этом жене.

— Домой? А сейчас ты где? — с обидой спросила она.

— Виноват, исправлюсь, как говорит мой Петрович,— попытался отшутиться Литвинов, но не тут-то было.

— И меня не зовешь?— еще более строго спросила жена.

— Ну куда же тебя сейчас, Степушка? В палатку?

— А для этой Петиной домик небось нашел? — еще более строго спросила Степанида Емельяновна, которая, как и все женщины на свете, несмотря на долгую прожитую вместе жизнь, все-таки ревновала мужа и к делам и к возможным соперницам.

Разговор происходил на аэродроме. Рядом стоял Иннокентий Седых.

— А ну тебя,— сразу помрачнев, грубо отмахнулся Литвинов, не терпевший таких разговоров. И потом, отведя жену в сторону, стал просить: — Ты все-таки нас в курсе держи. Я тебе десять телефонных талонов оставил, каждый день звони. Если что узнаешь, заказывай по «молнии». Ладно?.. К Клавочке, к министерше, захаживай. Может, и из нее что вытянешь, и тоже по «молнии», ладно?

— Уж так и быть, позвоню,— снисходительно обещала Степанида Емельяновна, снова добродушно смотря на мужа, будто перед ней был внук...

Домой «стороны» возвращались вместе. В воздухе им предстояло пробыть с пересадкой и посадками около десяти часов. Это было известно и раньше, но Глафира, никуда никогда из своего Дивноярского не выезжавшая, была убеждена, что Москва — это где-то у черта на куличках, что нигде, кроме Кряжова, готовить как следует не умеют. Снабдила она деверя так, что осталось и на обратный путь. В роскошном салоне «ТУ-104» Седых, застелив газетой полированный столик, разложил на нем оставшиеся припасы. Человек бывалый, он ненадолго скрылся в буфетном отсеке с мешочком в руках, где что-то гремело, будто морские камушки. Там он пошушукался с бортпроводницами, и через малое время по салону распространился ароматнейший запах пельменей.

Эти пельмени в замороженном виде Глафира погрузила в чемодан деверя. Угощать в Москве ими было некого. Хозяйственный Иннокентий держал их на холоде, спустив между окон на веревочке, да так и не съев, в замороженном виде захватил в обратный путь. «...Эх, только бы везти с собой в кармане готовое реше-

ние»,— думала каждая из «сторон», наслаждаясь пельменями.

В Старосибирске пересели на машину поменьше. Самолет этот был не столь роскошен и скорее напоминал «сидячий вагон» поезда, из тех, что в старину именовали «максимами». Разные люди наполняли его: хриплоголосые геологи в ковбойках, золотодобытчики с обветренными щеками и потрескавшимися губами, бледнолицые московские инженеры, летевшие на шефмонтаж промысловых машин, знаменитый певец, следовавший к строителям в Дивноярское с концертом, две студентки-якутки, возвращавшиеся с каникул.

Вся эта пестрая публика мгновенно перезнакомилась, быстро перегруппировалась соответственно своим интересам. И вот уже в передней части салона на чемодане с грохотом «забивали козла». На центральных креслах началась довольно острая партия в очко. В хвосте, усевшись друг против друга на корточках, певец и один из золотодобытчиков склонились над шахматной доской, поставленной прямо на полу.

И во всей этой бывалой, громкоголосой компании, как оранжерейный цветок среди буйных трав, то тут, то там появлялась куколка проводница в опереточном мундирчике и пилотке, из-под которой на плечи сбегали тугие черные косы. Двигаясь меж кресел, она с удивлением посматривала на двух пожилых мужчин, сидевших рядом. Оба молчали.

Литвинов смотрел в иллюминатор: тайга, тайга, тайга. Обычная зимняя тайга, сверху похожая на беспокойное зеленое море, по которому ходят невысокие, с белыми барашками волны. И покуда хватало глаз, ни деревни, ни дымка. И вообще никакого человеческого следа, кроме прямого, будто просеченного ударом сабли, шоссе, вдоль которого гуськом шагали железные фермы электропередачи. Но Литвинов так уже свыкся с планами Оньстроя, что на этом девственном фоне отчетливо видел и плотину, преграждающую путь великой реке, и новое Сибирское море, которое не меньше знаменитого Байкала, заводы и города по его берегам, каменные причалы и корабли у этих причалов.

Нет-нет да и посматривал он на соседа. Седых сидел ссутулившись. Больше чем когда-либо он походил на старого беркута. На беркута, мокнувшего под дождем. И Литвинову не терпелось узнать, что он думает... Не

может же он желать, чтобы все здесь оставалось, как при Ермаке.

— Силища,— произнес он, показывая вниз. Сосед лишь молча покосил глазом.— Разбуди все это — всю страну добром закидаем.— Седых молчал, и Литвинов не выдержал: — Тесно тебе тут?

— Тесно там или не тесно, Федор Григорьевич, не о том спор,— ответил Седых.— Вот если у тебя из любого места — все одно откуда — кусок живого мяса выхватить — закричишь?.. Ну то-то. Вот мы и кричим.

Больше они ничего друг другу не сказали, молча сошли с самолета, молча дошли до машин, ожидавших каждого из них, и, лишь издали помахав друг другу, разъехались.

5

Первое, что сообщил Литвинову Петрович, когда тот, втиснувшись в машину, уселся рядом с ним, была весть о том, что придавило Олеся Поперечного.

— Как придавило? Что ты городишь! — вскричал Литвинов.

— Железякой на товарной станции. Такелажники там части от экскаваторов сгружали, ну и он, конечно, тут. Без него как же? Вот и придавило. Не насмерть, конечно, но и не понарошку. В больничном городке, в хирургическом лежит.

— «Не понарошку»! Говорит будто о куренке каком,— сердито выпалил Литвинов и зло скомандовал: — В больницу!

— Федор Григорьевич, вас в управлении ждут. Товарищ Петин народ созвал вас встречать.

— Не рассуждать.— Литвинов долго молчал, потом спросил: — Еще о Поперечном что известно?

— Ничего... Будто брата Борьку заместо себя сажает... Да вы не беспокойтесь, Федор Григорьевич, там вокруг него сейчас вся медицина танцует. Из Старосибирска хирург прилетал...

Прямо с дороги, в шубе с бобровым воротником, в велюровой шляпе, напяленной до ушей, совсем на себя не похожий, начальник строительства ввалился в хирургический корпус нового, как только что отчеканенный гривенник, больничного городка. Халата по росту ему не

нашли. Выдали большой, и он вошел в палату, чуть не волоча за собой длинные полы. Олесь лежал на крайней койке у окна побледневший, осунувшийся. Лицо затянула небритая щетина, в которой была заметна проседь, а в вороте рубахи курчавились уже и вовсе сивые волосы. Это сразу обнаружило истинный возраст, обычно малоприметный у быстрого, подвижного, худощавого экскаваторщика.

— Як же это вы, пане добродию? — спросил Литвинов, умевший при случае поговорить на той веселой смеси украинского и русского языков, которая на юге именуется «суржиком».

— Та от бис пошуткував,— виновато ответил Олесь.

— Это вот как произошло, Федор Григорьевич,— принялся рассказывать больной с белыми, как бы прозрачными бровями и ресницами.— Так было дело: маховик закранили, подняли, а трос заело. Он лопаться стал, по жилочкам разлезаться. Уралец там один возился под маховиком, ну и этого не видал. Мокрое место от него осталось бы, кабы не Александр Трифонович. Уральцато он выхватил, а самого доской.

— Эх, пане добродию, утешили для ради приезда! — с досадой промолвил Литвинов.— Ну а сейчас?

— Сложный перелом, трещина в плечевом суставе. Поврежден голеностопный,— отрапортовал врач, возникший за спиной начальника строительства.

— Когда на ноги поставите?

— Вот, говорят, может связать движение правой руки,— сказал Олесь, стараясь выжать на лицо улыбку, но губы не слушались, дрожали, получалась жалкая гримаса.

Был обеденный час. Ходячие больные в синих байковы халатах, таких новых, что они топорщились, шаркая шлепанцами, двигались по коридору. Доносился отдаленный звон тарелок, и, перебивая всю гамму острых аптекарских запахов, по коридорам и палатам разносился дух немудреной больничной пищи. Домашние эти звуки и запахи почему-то особенно раздражали Литвинова.

— Свяжет движение? Это почему же свяжет? — строго спросил он врача.— Вы мне его так на ноги поставьте, чтобы в балете «Лебединое озеро» мог танцевать. Знаете, какой это человек!.. Ну а самочувствие, землячок, как?

— Вы лучше скажите, что там Москва, как решила? — спросил Поперечный.

— Все уж, конечно, известно... Ничего еще не решила, Олесь, ничего. Думает... Ну, бувайте здоровы, як мовили на Днипробуде, а?.. Язык не забыл?.. Поправляйся, Олесь, поправляйся, друг мой. В случае нужда какая, звони прямо мне.

И, нахмурив русые кустистые брови, Литвинов вышел из палаты. Проходя по коридору, где за общим столом обедали «ходячие», он в ответ на приветствие помахал им рукой:

— Хлеб да соль. Ну как еда?

— Да ничего еда... Подходящая еда... Спасибо,— вразнобой ответило несколько голосов.

Но в приемном покое дорогу Литвинову заступила полненькая женщина с черными, блестящими, как вишни, глазами, показавшаяся ему знакомой. Из-за ее спины на него глядела рыжеволосая девочка с короткой косой.

— А вже ж пробачьте нас, Федор Григорьевич. Я Олеся Поперечного жинка,— сказала она певуче, по-полтавски растягивая слова. Но, точно бы спохватившись, тут же перешла на русский: — Велите им, чтобы пищу от нас принимали. Говорят, хватает. А что хватает, калорий? Калорий, может, и хватает, да уж больно неказистые тут эти калории. А наш батькó к домашнему привык. Вот мы с дочкой борщику ему, вареничков принесли. А тут не берут.

— Со здешних харчей помереть не помрешь, да и жив не будешь,— отчетливо произнесла девочка, явно повторяя чью-то только что услышанную фразу и энергично встряхивая косой.

— Вот видите, как нас строго судят,— произнес старший врач, провожавший начальника строительства, очевидно стараясь все превратить в шутку.

Литвинов остановился, подумал и вдруг повернул назад, в коридор, туда, где сидели обедающие. Подошел, присел к столу.

— А ну, угощайте меня вашими калориями.

— Сестра, принесите еще прибор,— с трудом скрывая смущение, распорядился старший врач.— Пройдемте, Федор Григорьевич, ко мне в кабинет, пробу принесут.

Синие узкие глазки Литвинова смотрели насмешливо и весело.

— Э-э, нет. Дурак тот командир, который приварок на кухне, а не из солдатского котелка пробует.— И попросил у сидевшего рядом больного: — А ну, друг, дай ложку. Не бойтесь, доктор, я не какой-нибудь бациллоноситель. Здоров как бык.

Все перестали есть. Больные не без ехидства посматривали на медицинское начальство, на сестру-хозяйку, топтавшуюся возле со столовым прибором, на повариху в высоком колпаке, уже подоспевшую с судками. Тут же, за общим столом, Литвинов попробовал первое, попробовал второе, отхлебнул из стакана жидкого бесцветного киселя, пробурчал: «М-да» — и, сорвавшись с места, пошел, слыша, как у него за спиной зашумели, заговорили больные.

— У нас сегодня неудачный день, конец квартала. Мы исчерпали лимиты... И потом вообще нас в последние недели плохо снабжали,— бормотала встревоженная сестра-хозяйка, едва поспевая за ним.

Литвинов остановился.

— Кому, когда, где об этом говорили? — Вертикальные складки пересекли его лоб, синие глаза потемнели.

— Мы не раз ставили об этом вопрос,— вступил в разговор главный врач, который, как и все администраторы на строительстве, знал, что может произойти, когда темнеют эти глаза.

— Где, когда, перед кем вы расставляете эти ваши вопросы вместо того, чтобы как следует кормить больных строителей? Кому на плохое снабжение жаловались? На кого жаловались? — вскипел Литвинов, но, увидев, как приоткрылись двери палат, с видимым усилием поборол себя.— Ладно, потом специально к вам лягу на месячишко килограммы спускать. А передачи принимайте, пока не улучшите эти свои калории.

— Да, но порядок, установленный министерством...

— Люди для порядка или порядок для людей? — поинтересовался Литвинов и, не прощаясь, пошел к выходу. Но задержался возле коренастой девочки с рыжей косой.— Ты, брат, тут самой принципиальной оказалась. Ты вопросов не ставишь, а требуешь, что положено. Как тебя, толстая, звать?

— Нина.

— Нина, гм... Жаль, брат Нина, что у тебя нет высшего медицинского образования. Хороший бы из тебя

главный врач вышел. Хозяйственный, настойчивый.— И, посмотрев на белые халаты, маячившие тут и там, сердито добавил:— А главное, принципиальный.

6

Возвращаясь из Москвы с сессии Верховного Совета или с какого-нибудь всесоюзного совещания по сельскому хозяйству, Иннокентий Седых всегда привозил домашним и близким столичные гостинцы. Ими он набивал старый фанерный, забранный в потертые ремни чемодан, который обычно был очень тяжел.

Нынче он вышел из самолета налегке, и, приняв чемодан из рук отца, встречавший его Ваньша определил: пуст. И хотя отец, как обычно по возвращении, расспрашивал его о колхозных делах и на суховатом смуглом лице его, как всегда, нельзя ничего было прочесть, Ваньша понял, что не получить ему новейшую катушку для спиннинга, о которой он давно мечтал, и что дело, с которым отец ездил в столицу, должно быть, не выгорело.

Сам Ваньша, как и вся молодежь Кряжова, ничего против переселения не имел. Три года назад правление «Красного пахаря» по собственному почину начало строить в тайге на лесистой речке Ясная выселки для молодых семей. Строили их с умом, по плану, привезенному Иннокентием Седых из Москвы. Дома вставали двумя порядками, выглядели на городской манер, с большими окнами, с террасками, с высокими крылечками. И без дворов, ибо на молодежных выселках, которыми командовал агроном Анатолий Субботин, своего скота решено было на заводить. Молоко брали за наличные с фермы и даже открыли столовку, где можно было либо питаться, либо получать еду на дом.

Ваньша часто гонял в Ново-Кряжово на своем «козлике» за любимцем отца, агрономом, которого в колхозе все звали Тольшей. Было у Ваньши там немало дружков. Жили они открыто. В маленьком клубике, имевшем всего три комнаты, было куда люднее и веселее, чем во Дворце культуры центральной усадьбы, переделанном из староверческой молельни. Слушая бесконечные сетования соседей, собиравшихся у отца, тягостные разговоры о сселении с обжитых мест, юноша не понимал, почему все так цепляются за этот давно уже тесный остров, где

летом в три смены издевался над человеком всяческий гнус: днем — толстые басистые слепни-пауты, под вечер — мошка́, а ночью до самого утра — злые комары; почему им так дороги эти обрезанные водой усадьбы и эти хмурые дворы?.. Что там решила Москва, Ваньшу не беспокоило. А вот что катушку отец не привез, огорчило, ибо очень уж хороши были эти новые катушки у инженера Надточиева, с которыми Ваньша ездил как-то осенью на речку Ясная, где на быринках, на самом бою, здорово брали на мушку пестрые хариусы.

Ведя «козелка» по лесной, с глубокими колеями дороге, парень нет-нет да и оборачивался к отцу. Иннокентий сидел понурив горбоносую голову. «Что же он все-таки привез, о чем думает?» — гадал Ваньша. Но спрашивать о чем-нибудь старших, если они сами не начинали разговор, в семействе Седых не полагалось. И Ваньша только вздыхал, распираемый любопытством.

— Клуб-от наш строят? — спросил наконец отец.

— Тут на неделе перебои были, леса у них не хватало, что ли. А вчера на лесопилке нарезали, подвезли... Ехал за тобой — стучат.

Иннокентий вздохнул, замолчал.

— А Павел-та Васильевич в порядке?

— Дюжев? Да будто в порядке. Ничего такого сейчас не заметно. Тут было как-то подмок маленько. Но ненадолго. Куда-то под порог, что ли, отлучался и будто рыбину изрядную поймал, и говорили еще, будто в Дивноярском бабешке какой-то по пути пожертвовал... А сейчас сухой. Это точно... Я вот, батя, все думаю: и с чего он пьет?

— Не твоего умишка дело,— оборвал отец.— Дед вон говорит: кстати помолчать — что умное слово сказать. Слыхал? Ремонт машин идет?

— С космической скоростью. Этот самый конвейер для кормов в Ново-Кряжово готов. Пробовали. Здорово дуто. Девчонки визжали от радости. А Пал Васильевич велел все разобрать и сейчас чегой-то еще колдует. Ему на ферме такую овацию устроили, а он недоволен: не то, говорит, еще не то.

Помолчав еще километров десять, отец опять спросил:

— Так клуб, говоришь, строят?

— Кипит работа...

И перед тем как снова замолчать, теперь уже до самой реки, Иннокентий Седых тоскливо крякнул. «Не к

добру хмур,— думал Ваньша, маневрируя в глубоких, до гранитной крепости схваченных морозом колеях.— Он-то еще ладно, а вот тетка Глафира вся извелась, почернела как головешка. В тайгу с ночевкой уходить стала». И, подумав об этом, Ваньша, осторожно сводя машину с плотно укатанного шинами и гусеницами откоса к протоке, вздохнул.

— А у тебя что за грусть? — будто проснувшись, спросил отец.

— Катушку-то для спиннинга, чай, не привез?

— Катушку? — вдруг взорвался Иннокентий.— Тут голову снимают, а он о гребешке плачет. Катушку ему.

«Что с ним? О чем он там всю дорогу думал?» — маялся любопытством малый, поглядывая на отца.

А Иннокентия все тридцать километров пути глодало и точило предчувствие близкой, быстро надвигавшейся перемены. Он старался отделаться от него, рассуждая: ведь ничего еще не известно, ведь в Москве внимательно слушали их протест... Приедет с комиссией инструктор ЦК, работавший раньше в Старосибирске, не раз гостивший и на Кряжом, знающий здешние дела. Но сама дорога, по которой столько было хожено с детских лет, в разную пору жизни, дорога, каждой извилиной, каждым поворотом что-то напоминавшая, бередила и без того ноющую рану.

И прошлое, всегда имеющее власть над человеком в годах, будто сидело у него за спиной, на задней скамейке вездеходика, взволнованно дышало ему в затылок и вместе с ним, поглядывая в окошко, нашептывало в ухо:

«Помнишь, помнишь, Кеша, вон там, направо в ложку, под разлапистой пихтой, на заимке старого Андрея Рябых, в гражданскую войну был партизанский стан? Помнишь, как мальчишкой на широких лыжах бегал ты в обход сюда с парой цинок патронов наперевес, или с торбешкой гранат-лимонок, или с мешком соли, или еще с чем-нибудь, что было нужно партизанам здесь, где война с белыми вся ушла в леса?»

И вырисовывалась перед глазами четырехугольная бревенчатая избенка, худые обросшие бородами люди в заячьих ушанках, жар костра, на котором в цыганском закопченном котле клокочет тощее едово, и старший брат Александр Савватеич, механик с чумазого буксира «Святая Елена», крупный, белокурый, весь в покойную матушку человек.

«А вон и тот кедр с заиндевевшей шапкой, под которым Александра и трех его товарищей расстреляли колчаковцы. Помнишь ты это? — шептало прошлое, обретая над председателем колхоза «Красный пахарь» все бо́льшую власть.— Петьша Бобыль, пробавлявшийся в старые времена с ружьишком нечистым промыслом на лесных тропах, по которым староверы ходили в тайные свои скиты, выдал партизан колчаковцам. Лесную заимку окружили. Разбуженные среди ночи, партизаны в одном исподнем, отстреливаясь, отходили в тайгу. Раненых, и среди них Александра, подобрали, принесли к этому кедру, расстреляли, и не про них ли была сложена эта песня — «Под частым разрывом гремучих гранат...»? Песня твоей юности, Кеша. Ты и теперь, когда тебе случается вырваться из-за председательского стола в тайгу в ясный, морозный денек, подходишь на лыжах к этому кедру, щупаешь его шершавую кожу. Много уже годовых колец покрыло отметины от пуль, пронзивших твоего брата и его товарищей. Но они и сейчас в стволе, эти пули...»

А дорога несет все вперед, убегая в белесые от инея половодья тайги, и прошлое еще горячее шепчет:

«А вон ту лиственницу помнишь? Здесь партизаны казнили Петьшу Бобыля за то, что за штоф спирта да за богатый закус выдал он партизан. Страшную кару придумали для него друзья твоего брата. В предвесенние дни, когда встревоженно шумит тайга и уже пахнут водою ветры, когда звери начинают свои весенние игры, а волки злы и смелы, привязали партизаны по приговору своего суда Петьшу к этой вот лиственнице, и через малое время возле дерева на снегу лежала лишь груда истерзанного тряпья. Даже кости разнесли звери...

А за ложком старый кедровник. Помнишь его? Ну как же его тебе не помнить, если тут случилось самое важное в твоей жизни событие! Возвращался ты тогда с охоты, неся на поясе трех жирных глухарей. Шел по этой дороге, и оттуда, из-за ложка, окликнула тебя Елена, тогда еще Олёнка Грачева, сидевшая на груде тугих мешков. Грачи всей семьей шишковали в кедраче. Много в тот год было шишек. Старый Грач на двух подводах повез мешки на остров, Олёнка была одна. И каким голосом она сказала тебе тогда: «Присядь, Кеша, скушно»,— помнишь? От голоса того ворохнулось и будто провалилось куда-то сердце.

Уже вторую осень кружил ты тогда возле крепкого Грачиного двора, не одну ночь провел с Олёнкой на бревнышках, возле пожарного сарая, тиская маленькую шершавую руку. Ух и крепкая же девка была эта Олёнка, увертливая, как налим! У тебя в голове шумит, кровь стучит в висках, а она вдруг засмеется, будто горсть камешков на пол сыпанет, и тебе это точно ушат холодной воды на голову. А тут осенняя тишина, душно пахло кедровой смолой. А тут сама положила тебе голову на колени и сказала: «Засылай сватов, Кеша».

Как ты тогда обрадовался и как рассердился. Помнишь? «Сватов? Комсомольцу — сватов? Может быть, и в моленную потянешь, к старцам на благословение?» — «Без того папаша с мамашей не отдадут. Проклянет, убьет отец»,— ответила она. «А моего отца не убили? При царе Николашке уводом мамку со двора умыкнул из самого что ни на есть кержачьего логова. Не убили, чай, промахнулись, и хоть хром он чрез то, а что ж, плохо прожили? Иль мы хуже их? Боишься? Ну?»

Заплакала Елена, а ты обнял ее, сжал ладонями ей голову, стал целовать, и здесь, под этими вековыми кедрами, позабыли вы и про вражду ваших семей, и про староверские проклятия, и про комсомольскую этику. А худо ли прожили?.. Эх, Елена, Елена, сколько же вынесла ты в войну, когда на твои да на отцовы плечи свалился весь Кряжой, ставший бабьим царством. И ушла ты незаметно, как всегда уходила, чтобы никого не беспокоить. И как тебе, Кеша, не хватает сейчас спокойной, рассудительной жены, как нужна тебе теперь, когда решается, быть или не быть селу, трезвая ее голова...»

Вот тут-то и спросил Иннокентий сына в первый раз, продолжают ли строить клуб... Ах, какой клуб задумало правление, когда настоящий достаток пришел наконец в «Красный пахарь»! Лучший клуб по всему плесу, какого и райцентру — селу Дивноярскому — не снилось. Верил, крепко верил Иннокентий, что удастся сохранить остров, и клуб для него был не только клуб, но и показатель этой веры его земляков.

Строят-таки. Ну и правильно... А может, и нет. Может, зря загоняем деньги в это. Может, лучше поберечь их на переезд. Может, на неизвестном, пустом месте, в новом, каком-то там несуществующем селе и начинать?.. Новое село... Ведь все-все, что видит он, все уйдет под воду!

А когда дорога привела их к реке и с высокого берега открылся широкий вид на пойму, на остров, весь белый, мохнатый от инея и будто даже розовевший в закатных лучах, прошлое снова наклонилось к уху председателя «Красного пахаря» и зашептало:

«А помнишь, Иннокентий Савватеич, осеннее утро, когда выселяли кулаков? Это было после того, как в подожженном кем-то пожарном сарае погибли семена первого общественного урожая.

Еще дымились под обгорелыми бревнами непотухшие бурты и по улицам вместе с пеплом носил ветер горький дух обугленного зерна, похожий на запах пригоревшей каши. Ночью Савватей вместе с другими членами правления и милицией обходил дворы тех, кого выселяли. Голосили бабы, плакали дети, лаяли псы, ревела некормленная скотина. И помнишь, Кеша, как твой тесть, старый Грач, перед тем как лезть в лодку, где на дне уже теснилась его семья, посмотрел на село, поклонился на крест моленной, забрал горсть земли, завернул ее в красный в горошек платок?

Простоволосый, в розовой сатиновой рубахе, без одного сапога, каким вывели его со двора, молча сошел он в лодку и так же молча сидел, изредка поскрипывая зубами. Возле его ног, на днище, тоже молча скорчилась твоя теща, одетая во все черное, будто бы на похороны. А к матери жались младший брат твоей Елены — Серенька, белоголовый, лет шести, и совсем маленькая Полюшка. Оба были босы, в одних рубашонках, какими их подняли с постели. Милиционер распорядился было, чтобы их одели в дорогу, а Грач запретил: «Пусть на тот свет скорее перебираются. Нечего невинным душам на такое смотреть». И вот сидели в лодке вшестером: ты, Кеша,— на веслах, твой отец — у руля, а тесть с тещей и с ребятишками — на днище. Дул свистограй. Холодная волна била по бортам. Онь была хмурая, сердитая. Серенька все время икал, а Полюшка, совсем окоченев, мелко дрожа, смотрела в твои глаза. И Савватей не выдержал, сорвал с себя полушубок, накрыл детей.

— Не смей, антихрист, осквернять чистые души! — вскричал старый Грач, яростным пинком пытаясь отбросить полушубок, в который вцепились детские ручонки.

— Скинешь — убью! — так же яростно процедил сквозь зубы Савватей, берясь за ружье.— Убью, контра!

Оба вскочили и стояли друг против друга, неистовые, с непримиримыми, яростными лицами. Стояли, тяжело дыша, глядя друг другу в глаза, и смоляной дощаник дрожал на воде, передавая напряжение этих двух готовых броситься друг на друга людей.

Помнишь, Иннокентий, как ты следил за этим молчаливым поединком? Много ты узнал в эти короткие секунды, пока отец и тесть обменивались взглядами. Наконец старый Грач опустил глаза, прохрипел: «Ну, на этот раз твоя взяла». И, отвернувшись, не обронил ни слова за весь путь до Дивноярского. И как в тайге, на мешках с кедровыми шишками, узнал ты, какой бывает любовь, тут в лодке узнал, какой бывает и ненависть...»

Захваченный воспоминаниями, Иннокентий совсем перестал следить за дорогой. Очнулся, когда машина, уже въехав в село, бежала по улицам. Вдали звонко стучали топоры. Над избами стояли уютные дымы, и прошлое как-то сразу отстало. Сегодняшние тревоги и заботы овладели председателем колхоза.

— К клубу! — скомандовал он сыну. И когда тот подвез его к серому, приземистому, обшитому тесом зданию бывшей староверской моленной, над пузатым куполом которой вместо креста был прикреплен красный, совершенно уже выгоревший, обвисший в безветрии флаг, Иннокентий, совсем очнувшись, рассердился: — Ну, куда ты, еловая голова, приволок? К новому, к стройке!

На снег, топорщившийся золотыми щепками и стружками, он сошел бодро. Подозвал бригадира строителей, похвалил за самодельный кран-укос, на вопрос о самочувствии ответил: «Хорошее». И только когда бригадир уже провожал его к машине, сказал задумчиво:

— Юрша, а кладку все-таки пока кончь...

— Что, Иннокентий Савватеич, значит, Москва нас тово? — И бригадир начертил в воздухе косой крест.

— Москва, парень, ничего. Москва думает... Но и нам самим подумать велела... Понял?

7

После того как неожиданное появление начальника строительства вызвало в больнице переполох, Олеся Поперечного перевели из общей в отдельную палату, для чего была спешно освобождена так называемая «сестрин-

ская» комната, где обычно находились дежурные и отдыхал персонал. И Олесь сразу затосковал.

Невдалеке от больничного городка проходила дорога от карьеров к бетонному заводу. День и ночь самосвалы везли по ней гравий и песок. От тяжкой их поступи днем звенели стекла. Ночью же, когда все звуки усиливались, к ним присоединялся свет фар. Вспыхивали иглистые узоры, нарисованные морозом на стекле, а по потолку начинали полыхать белесые тревожные всполохи. Стройка как бы все время напоминала Олесю, что она рядом, что она не отдыхает ни днем ни ночью. И Поперечный, лежа в неподвижности на спине, мучился от сознания, что где-то вот недалеко его хлопцы вместе с шеф-монтерами собирают экскаваторы, а он из-за глупой случайности лежит как чурка и не может им помочь ни делом, ни советом.

А машины шли, шли, отгоняя сон. Мысли мрачнели. А вдруг не вернется трудоспособность? Кому он нужен, экскаваторщик-инвалид? Конечно, не бросят, назначат десятником, бригадиром, еще что-нибудь придумают. И заработок приличный дадут, но разве в этом дело? Когда человек тридцать лет просидел в будке экскаватора, вынул и переместил целые хребты земли, разве десятник для него работа?

«Ах эти чертовы самосвалы, как же они ревут! Кабы не этот рев, можно было бы хоть отоспаться за всю свою жизнь». Прожил почти полвека, а до этого только раз лежал он на больничной койке, да и то в медсанбате, на реке Висле. Но разве то была рана? Разве то было больничное лежание? На десятый день прыгал на костылях, приспособился к делу, паял кастрюли, чинил госпитальную мебель, писал раненым письма — жил. И возле была Ганна, черноокая, смуглая землячка, еще переживавшая радость возвращенной ей свободы. Была забота об этой молодой, грубо растоптанной, еще только начинавшей распрямляться жизни. И все, все было впереди...

А машины всё шли и шли. Пульс стройки бился ровно и сильно. Это как бы подчеркивало, что там никому нет дела до того, выходит на работу Олесь Поперечный или нет. Все, наверное, уже и забыли: с глаз долой — из сердца вон. И Олесь тихонько вздыхал от сознания своего бессилия и горьких обид, которых ему никто не причинял, от тоскливой неизвестности, ожидавшей его. И хоть бы звук живой рядом, хоть бы койка под кем-

нибудь скрипела, хоть бы храпел кто-нибудь в ухо, хай ему грец!..

Организм был крепок. Снотворные только туманили голову, а беспокойной тоски не притушали. Измученный бессонницей, Олесь на третью ночь не выдержал и неистово затряс колокольчик.

— Куда хотите ложите, только на люди,— заявил он ничего не понимавшей со сна дежурной сестре.— Тихо, как в мертвецкой, хай ему грец!

И пришлось вернуть его в прежнюю палату, где без того лежало четверо, и устроить на прежнее место, к окошку, рядом с человеком по прозвищу «Негатив», которому недавно удалили аппендикс. Этого нового перемещения Негатив не понял: зачем, какой тут покой? Днем — разговоры, а по ночам — храп и еще бог знает что. Но пока он со свойственной ему неторопливостью удивлялся вслух, Олесь уже спал крепким, усталым сном. Он проспал завтрак. Разбуженный на обед, наскоро с аппетитом поел и снова уснул.

Он не слышал, как в палату принесли крупного парня, такого тяжелого, что коечные пружины застонали под ним. После операции новый больной был так слаб, что возле него установили медицинский пост, и от молоденькой сестры-практикантки, усевшейся возле койки с книжкой в руке, палата узнала, что фамилия новенького Третьяк, что он нигде не работает и что милиционеры привезли его утром на «скорой помощи» с ножевой раной, прошедшей на расстоянии пальца от сердца. Новичок с трудом выбирался из дебрей наркотического сна. Он еле слышно постанывал, бормотал отрывистые, плохо связанные слова, из которых трудно было что-нибудь понять:

— ...В карты... Кого?.. Мамочку в карты проиграть... Кишки через глотку повытаскаю... Поквитаемся... — И опять стонал и вдруг тихо произносил: — Мама, мамочка... Я же завязал, я больше не блатую.

— Больной, не надо, больной, прошу вас,— растерянно шептала девушка в белом колпачке.

Вся палата следила за поведением новичка, ловила каждое слово. Слух о нем, должно быть, прошел уже по всему отделению, и в дверь то и дело просовывались головы любопытных. А когда в беспокойном бреду новичок сбросил одеяло, все увидели, что на груди у него что-то вытатуировано. Негатив тут же подошел к койке.

— Ну, чего, чего у него там? — слышался нетерпеливый шепот.

— Чудно́ чего-то. Вроде сердце со стрелой и цепью наколото. И надпись. Постойте, не разберешь тут, под бинтом. Ага, вот: «Сдружусь — до смерти, ссучусь — смерть». М-да, из тех! — многозначительно заключил Негатив.

Принадлежность новичка к уголовному миру не вызывала сомнений, и все принялись обсуждать, что означает эта надпись и этот знак и почему по бессвязным словам, произнесенным в бреду, выходит, будто бы кто-то кому-то проиграл этого парня в карты.

В разгар обсуждения новичок очнулся. Открыл свои маленькие, светлые, с телячьими ресницами глазки. Вздрогнул, весь как бы инстинктивно сжавшись для прыжка. Потом сообразил, где он, вспомнил, вероятно, что с ним произошло, заметил, что грудь открыта, и рывком натянул одеяло. Слабым высоким голосом, так не шедшим его массивной фигуре, он сказал:

— Здравствуйте, граждане, принимайте в свое кодло.— И поинтересовался у дежурной: — Ну как, девочка, сейчас помирать будем или обождем?..

Олесь тихо, равномерно похрапывал у своего окна. Проснулся уже затемно, поинтересовался у Негатива, что передавали по центральному и что по местному радио. А когда ему обо всем обстоятельно рассказали, удовлетворенно откинулся на подушку и только тут заметил, что коек прибавилось и что на него пристально смотрят светлые заплывшие глазки с телячьими ресницами. Он сразу же вспомнил и эти глазки и мурластую, массивную физиономию. Только мальчишеская челочка исчезла с круглой, коротко стриженной головы. Новичок тоже узнал Олеся, беспокойно заерзал по подушке.

Олесь кивнул. Новичок не ответил: то ли не заметил, то ли не захотел, то ли снова впал в полузабытье. К вечеру температура у него повысилась и снова начался бред. Теперь он метался по кровати, исторгая виртуознейшие ругательства. Тонкий окрепший голос был полон злобы. Он кому-то грозил. Несколько раз он отчетливо произнес имя «Мурка». Потом из яростного бреда вдруг выпала тихая, отчетливо произнесенная фраза: «Мамочка, буду гад, если вру... Газету пришлю...— Но тут же он снова панически закричал: — Думаешь, не вижу, шалавый! Не подходи, всего распишу».

Беспокойно метавшегося больного теперь держал уже санитар. Вся палата ловила слова темного этого бреда и только Олесь Поперечный спал, раскинувшись на спине и потрясая всех таким густым храпом, который, казалось, и не должно было исторгать его небольшое, сухопарое тело.

8

С тех пор как в деревянный домик на просеке, авансом названной Набережной, перебралась на временное жительство Василиса Седых, в жизнь Дины Васильевны вошло нечто новое.

Высокая, статная, с нежным румянцем на крупном, строго очерченном, хотя и не утерявшем детской припухлости лице, не по годам развитая, а во многом мило наивная, доброжелательная, разговорчивая, но в то же время и скрытная, Василиса смотрела на Дину как-то двойственно: то как на опытную женщину, у которой можно узнать много полезных в женском обиходе вещей, то как на девочку, незнакомую с самыми, как казалось ей, элементарными житейскими делами.

Особенно подкупало ее то, что Дина — врач. С детства приученная Глафирой собирать целебные травы, кору, подтеки смолы, помогать в таинствах ее нехитрых врачеваний, Василиса прониклась интересом к медицине. Она мечтала о мединституте, и сероглазая женщина как бы делала мечту конкретной. Это очень поднимало ее в глазах девушки. Но то, что заветный диплом лежит попусту, что от него ни его владелице, ни людям нет никакого проку, практичная девушка понять не могла.

— Диночка Васильночка, да как же это так, вы же как Кощей Бессмертный на сундуке сидите,— говорила она со своей обескураживающей прямотой.

И Дина чувствовала себя смущенной под взглядом голубых простодушных глаз.

— Есть люди большие, смелые, как Вячеслав Ананьевич, и есть люди обычные, маленькие, вроде меня,— отвечала она.— И если судьба сводит двух таких людей, маленькие должны помогать большим в их делах. Помогать всем, чем могут. Разве это не радостно — понимать, что я помогаю Вячеславу Ананьевичу развернуть крылья? Я этим очень горжусь.

Очередной разговор на эту тему возник у них однажды, когда ясным, голубым мартовским днем обе они, каждая по-своему, тепло одетые, перепоясанные патронташами, сидели на трухлявой колоде в тайге. Лыжи их были воткнуты в снег. Дина прислонила к сосне шестизарядное немецкое ружье знаменитой марки «три кольца», подаренное ей мужем еще в Москве, когда они только собирались в Сибирь. Василиса по таежной привычке держала карабин на коленях. Следов на снегу они видели много, но сумки их были пусты. Ведя Дину таежной тропой, спокойно, как горожанин, читающий вывески, Василиса показывала ей:

— Вот заяц, он от лисы уходил. Ишь, сколько тут напутлял... А вот и сама кумушка хвост по снежку проволокла... Волчишка! Смотри-кось, опять тот бирюк... Он тут уже третью зиму крутится, двух баранов прямо у фермы зарезал — такой стервец! Сколько уж раз по нему палили. Вон видите, хромает, след неровный.— А на опушке девушка упала на колени, разглядывая тоненькую цепочку легких, ажурных следов.— Ей-богу же куничка. Глядите, глядите — на солнышке грелась. И недавно, вчера на закате... Значит, кунички все-таки еще есть, не всех стройка распугала.

Но оттого ли, что двигались они недостаточно осторожно, все время переговариваясь, или оттого, что мысли их были заняты не охотой,— даже белки не увидали. И вот теперь, не сделав ни одного выстрела, они отдыхали на трухлявой колоде, слушая мелодичный звон хвойных вершин.

— Вот даже в полдень холодно. Мороз щиплется, а весёнка — вот она,— говорила Василиса, подставляя солнцу развернутую ладонь. Тихо стоял огромный лес. Ветер, если ему удавалось пробиться сквозь дебри древесных крон, бросал в лицо сухой, шелестящий снежок.

— Нет, до весны еще далеко, Вячеслав Ананьевич приносил долговременный прогноз: март и апрель будут холодными. Их всех очень беспокоит затяжная зима,— отозвалась Дина.

Василиса, усмехнувшись, покачала головой. Направляясь в тайгу, она косы свои укладывала венцом и надевала на них ушанку. Это делало ее похожей на высокого, статного, совсем юного паренька.

— Видите, цвет какой у снега? Голубоватый. А тени какие? Синие-синие! А кустарник, вон он, будто зарозо-

вел... Зимой этого не бывает... А дышится как? Разве зимой так дышится? Словно бражку пьешь.

Девушка ударила прикладом ружья по колоде, на которой они сидели. Кора, казавшаяся прочной, проломилась, обнаружив гнилую древесину, всю источенную так, что походила она на скат высотки, изрытой окопами, траншеями, ходами сообщений. Из этих траншей открывались ходы точно бы в крохотные блиндажики, и из одного такого отверстия вдруг показались шевелящиеся усики какого-то насекомого. Усики высунулись, помаячили и скрылись.

— Ну, видите! — радостно вскричала Василиса.— А вот у него, у муравья, другой прогноз. А он не бюро погоды, он никогда не ошибется. И я не ошибусь. Отец, прослушав сводку погоды, всегда спрашивает у деда Савватея: «А у тебя какие поправки?» — И вдруг без всякого перехода девушка сказала: — Разве это верно — маленький человек, большой человек, крыла... Разве не у всякой птицы свои крыла?

— Не крыла, а крылья,— поправила Дина, чтобы как-то оттянуть ответ. И в свою очередь спросила: — Ты, Василек, когда-нибудь любила?

— Сколько раз,— спокойно ответила девушка.— С одним парнем мы даже целовались. Школу кончали вместе. Он сейчас во флоте, или па флоте, как это лучше сказать?

— Ну, это детское, а всерьез?

— Всерьез? — Василиса задумалась, стирая рукавичкой снег со ствола своего ружья. Потом вздохнула, потупилась: — Всерьез?.. Отец вон за агронома одного, за Тольшу Субботина, сватает.

— Как сватает? Он же коммунист, ты комсомолка, какие же тут сватанья? — поразилась Дина.

Василиса тихо засмеялась:

— Да нет же, это так говорят — сватает, ну, хочет, чтобы мы поженились. Мечтает об этом... У нас, у Седых, если вам правду сказать, и дед Савватей и отец без венца, под отчие проклины женились... Ах, в ствол снег набился — нехорошо, может ржа схватить.

Порывшись в кармане, девушка достала складной нож, поднялась, срезала прямой прут и, очистив его от коры, стала остругивать.

— Шомполок сделаю, прочищу.

— А это что такое — проклины? Почему?

— Так уж вышло. Любовь такая была. Бабка моя, а потом моя мать — обе убежали без родительского благословения. А ведь это у староверов ух как каралось... У нас на Кряжом Седых чуть ли не целая улица. Так нас раньше и звали — Седых Клятые... Не слышали?

— Ну а он тебе нравится, этот Анатолий?

— Тольша? Хороший. За него на молодежных выселках любая побежит... Видный... Дед Савватей говорит, будто его, этого Тольшу, отец заместо себя в председатели натаскивает.

— Как натаскивает?

— Ну, как умная сука своих щенков на птицу или на зверя... Лисицы лисят тоже натаскивают... Ой!

Разговаривая, Василиса продолжала строгать, рука сорвалась на крепком сучке, и острый нож рассек девушке мякоть ладони, рассек так, что часть этой мякоти отделилась и вся рука мгновенно залилась кровью, Дина сложила в жгутик носовой платок и плотно перехватила запястье. Ток крови утих. Девушка помотала головой и сказала сквозь зубы, показывая глазами на дерево с пушистой кроной, стоящее невдалеке:

— Пихта... Сколупните со ствола свежей смолки, принесите. Только быстрей! — В голосе слышалась спокойная решительность.

Дина перебралась через сугроб к дереву и действительно увидела с солнечной стороны натеки прозрачной смолы. Она сняла пахучую слезинку величиною в лесной орех. Василиса сидела в той же позе, с таким же спокойным лицом, только румянец сошел и оно стало белым.

— Погрейте смолку в ладони.

Душистый комок стал мягким, липким. Тогда девушка одной рукой сделала из него лепешку и быстрым движением положила себе на раненое место... Кровь перестала течь.

Несколько минут просидели молча. Потом, осторожно держа перед собой раненую руку, девушка неторопливо поднялась, закрыла о колено нож. Убрала его в карман, взяла палки под мышку, встала на лыжи:

— Пошли.

Чудодейственное свойство простой смолы, спокойствие девушки и то, что сейчас Василиса двигалась по старому следу без палок так, что Дина еле поспевала за ней,— все это произвело впечатление. «Интересный край, удивительные люди»,— раздумывала Дина, ста-

раясь не отставать. Вот за просторной лесной поляной они увидели в розоватой дали, в кронах плакучих берез, сквозь которые сочились лучи садившегося солнца, какие-то черные и будто бы шевелящиеся пятна. Василиса смотрела на них точно завороженная, даже ноздри вздрагивали.

— Тетерева,— чуть слышно произнесла, точно выдохнула она.— Березовую почку клюют... Попробуйте, а? Я тут постою... Не подпустят только, они сейчас сторожкие. Снег выдаст.

Дина даже возмутилась:

— Оставить тебя, раненую, из-за каких-то тетеревов.

И будто в ответ на ее слова большие, тяжелые птицы взмахнули крыльями. И вот они уже летели в глубь леса, и только тек с деревьев потревоженный ими иней, розовея на солнце.

Дальнейший путь совершили молча. Только когда лыжня вывела их на проселок, а потом на шоссе, в ту самую марсианскую его часть, где даже сквозь снег все казалось черным, где, рыча, проносились один за другим огромные самосвалы, девушка остановилась, подождала спутницу и тихо спросила:

— А он знает про это — про больших и малых людей, про крылья?

— Вячеслав Ананьевич? Конечно, знает... то есть, конечно, не знает. Но в общем-то у нас, конечно, были об этом разговоры.— Дина чувствовала, что краснеет.— Идем, идем, я дома сменю повязку, промою рану, наложу лейкопластырь.

— Не надо, Диночка Васильночка. Смолка с пихты — и пластырь и дезинфекция... Но простите меня, а он с этим согласен?

— С чем — с этим?

— Ну, что он большой, а вы маленький человек.

— Есть вопросы, которые задавать неприлично,— Дина произнесла это как можно строже.

Василиса сейчас же, как улитка, ушла в свою раковину, а когда это случалось, ее трудно было оттуда выманить. Шли молча по тем участкам тайги, которые теперь были уже круглые сутки полны стука топоров, звона пил, дроби пневматических молотков, разноголосого гула моторов. И Дина старалась понять, почему эта девушка всегда как-то настороженно, будто даже неприязненно относится к Вячеславу Ананьевичу.

Правда, в первый день пребывания Василисы в домике на Набережной произошло небольшое недоразумение. Вячеслав Ананьевич, обрадованный тем, что наконец так удачно решался «проклятый вопрос» с домработницей, еще до прибытия Василисы посоветовал жене сразу же договориться с ней об обязанностях и об оплате.

— Какая же оплата, я пригласила ее быть моей гостьей. Мы будем с ней заниматься немецким языком, и вообще это неудобно как-то... Оплата...

Вячеслав Ананьевич улыбаясь смотрел на жену.

— Ты совсем не знаешь жизни, дорогая. Мужики есть мужики, даже когда они и колхозники. Когда ты жила у этих Седых, мы же платили и за квартиру и за питание. Тебе дали на дорогу рыбу и мед, я рассчитался с этим Ваньшей. А Василиса, что же... ну, поломается, конечно, для виду, но вот увидишь, возьмет. И вообще, что в этом плохого, мы живем в социалистическом обществе, деньги не отменены, и, наконец, я, как коммунист, не имею права допустить, чтобы кто-то работал на меня бесплатно...

Все это было убедительно. Дина неохотно согласилась, но попросила мужа потолковать об этом самому. Тот только повел плечами — пожалуйста.

Когда на следующий день Ваньша привез сестру и она, раскрасневшаяся с дороги, спокойно и с интересом осматривала вместе с Диной домик, Вячеслав Ананьевич завел разговор о материальных, как он выразился, делах. Девушка вопросительно посмотрела на Дину:

— Ведь такого уговора не было.

— Но мы же не имеем права эксплуатировать вас, Василиса Иннокентьевна,— сказал Петин.— Партийная совесть не позволяет мне присваивать даром чей-нибудь труд. Вы, может быть, слышали, что есть такая наука — политэкономия.

— Слышала, есть,— ответила девушка.

Дина вся съежилась, чувствуя, будто при ней водят ногтем по меловой бумаге.

— Василек, милый, соглашайся. Вячеслав Ананьевич прав. Он не имеет права...— В спокойном течении разговора Дина начала чувствовать какие-то скрытые противоборствующие токи, которые вот-вот могли прорваться наружу.— Василечек, мы так хорошо будем жить... Ты будешь помогать мне, я тебе. Ну согласись ради меня.

— Хорошо,— сказала девушка. Петин с удовлетворением посмотрел на жену.— Сколько вы мне положите?

— Василиса Иннокентьевна, поверьте, мы вас не обидим... Дорогая, сколько у нас получала Клаша?

— Ах, какое это имеет значение? — почти выкрикнула Дина, густо краснея.

— Нет, почему же, это важно,— неожиданно подтвердила Василиса.— Я завтра узнаю в учебном комбинате, сколько стоит урок языка. Мне тоже придется платить. Вот и надо знать, хватит мне денег или надо съездить на Кряжой...

Так ничем и кончился тогда этот разговор. Его постарались замять. И вот теперь, вспомнив эту сцену, Дина думала: неужели девушка не забыла? Почему она так насторожена в отношении Вячеслава Ананьевича? Почему она в его присутствии меняется, замолкает, уходит в себя? Он хорошо к ней относится, шутит, задает ей иногда вопросы по-немецки, даже занимается с ней в свободную минуту. Он отличный педагог. И сегодня такой хороший, светлый денек, она так славно говорила о весне, и вдруг эти странные надоедливые вопросы. С Литвиновым, с Надточиевым она совсем другая. И будто в ответ на эти мысли, снег скрипнул под колесами затормозившей рядом машины.

Лимузин Литвинова обогнал лыжниц и остановился немного впереди. В опущенное стекло высунулась голова начальника.

— Ну как, товарищи Дианы, повыдохлись? — кричал он им из машины.— Идите, так и быть уж, подкину. Дичи у вас столько, что до дому и не дотащить.

Он захохотал, а Петрович тем временем принимал ружья, пристраивал в машине лыжи. Василиса продолжала упрямо молчать, и, тяготясь этим, Дина Васильевна говорила с преувеличенным усердием:

— Петрович, а где же ваше «битте дритте»? Мы обижены таким невниманием...

— Не трогайте нас, мы влюблены,— хохотнул Литвинов.— Да, да, Дина Васильевна, еще как. Бывало, в баню разве только пулеметными очередями загонишь, теперь каждую субботу. Одеколоном всю машину продушил, житья не стало. И знаете, в кого?

— Федор Григорьевич, очень даже неблагородно с вашей стороны.— Странно было слышать в тоне присяжного зубоскала нотки обиды.

— Молчу, молчу,— похохатывая, ликовал Литвинов и умышленно надтреснутым голосом пропел:

...Ах, зачем эта ночь
Так была хороша.
Не болела бы грудь,
Не страдала б душа.

И вдруг, по каким-то особым, лишь ему одному приметным признакам угадав настроение девушки, спросил:

— А ты чего заскучала, Василиса Прекрасная? Не от обрезанной же ручки? Нет? Тогда почему?

9

В час, отведенный в хирургическом отделении для посещения больных, по правилам допускалось к койке не больше двух посетителей. Ганна Поперечная приводила детей к отцу по очереди.

Толстушка Нина, быстро со всеми перезнакомившаяся, болтала без умолку. Сашко же, наоборот, в непривычной обстановке совершенно терялся и порою мог молча просидеть возле отца, вертя тесемками застиранного халата, ограничившись двумя фразами: «Добрый дэнь, тато!» и «До побачення, тато!»

Зато знаменитый экипаж экскаватора прибывал порою в палату в полном составе. Один Борис Поперечный — большой, громкоголосый, шумный — стоил целой толпы. Когда же появлялись все, становилось тесно. Они выстраивались у койки своего начальника, и вместе с ними в комнату врывались все страсти строительства, накаленная атмосфера соревнования, в которой Олесь оживлялся и как бы расцветал. Это была семья со своими заботами, волнениями, тревогами, с кругом семейных интересов, даже со своей терминологией, которую и Негатив, тоже экскаваторщик, не всегда понимал. Он, этот странный человек, в такие часы прямо застывал, боясь пропустить слово. В беседу он не вступал, но по уходе ребят часто говорил с завистью:

— Вы, Александр Трифонович, везучий. Хлопцы ваши — огонь! За такими сопли вытирать не надо. А у меня, как наше больничное третье — ни компот, ни кисель. Не поймешь что, а невкусно. Каждый в свою сторону глядит.— И вздыхал: — Вон тебя гостинцами заваливают, а мне хоть бараночку бы кто какую принес,

хоть бы открыточку прислали — жив я, нет, им все равно.

— Не хайте, не хайте людей. Последнее дело — людей хаять,— сердился Олесь, всегда в таких случаях с досадой вспоминавший, как нежно человек этот сокрушался на пароходе о больной канарейке.— И мои не сразу такими стали. Сдружить их надо, понимаете, сдружить, тогда все пойдет. Дружба — великая сила!..

Сосед по койке вызывал у Олеся досаду. И жалость. Чувствовалось, человек изверился, опустил руки. Сердит на всех и на всё — где ему зажигать других! А ведь, видно, не лентяй, не тупица. И, стосковавшийся по живому делу, Поперечный часами рассказывал ему обо всем, что сам умел. Негатив слушал, кивал головой, даже завел тетрадку и записывал туда что-то.

— Оно, конечно, Александр Трифонович, это так... А только у вас — орлы! Львы! А у меня мокрые куры.

Палата скептически относилась к усилиям Поперечного. Всем они казались тщетными, и когда Негатив уходил, кто-нибудь обязательно говорил:

— Попусту все. Это ему как мертвому припарки.

— Слушать противно! — кричал со своей койки Третьяк. Могучий его организм брал свое, рана заживала, и он уже охотно встревал во всякие больничные дела.— Таких нудяг на гребешке давить. У вас свой фарт. Вы человек башлястый. Сколько дубов загребаете? Ну и гребите, раз ваше... А этого зачем тащить? Подумаешь мне, нашелся товарищ Христос.

Олесь любил людей с ершистыми характерами: из них всегда в конце концов получался толк. Но к Третьяку душа у него не лежала. И не только из-за темного прошлого, а может быть, и такого же темного настоящего этого парня, а потому, что Третьяк, как казалось, мог говорить и думать лишь о себе, о своей ране, своем самочувствии, часами рассматривал в зеркальце какой-нибудь прыщик на своей маловыразительной физиономии.

— ...Граждане, я сегодня плохо выгляжу. Да? — встревоженно восклицал он по утрам.— Снилось, будто швы разошлись... А что? И могут, очень даже свободно... Паршиво ведь накладывают, халтурят... Наверное, разошлись.

Он бледнел и с лицом, искаженным от страха, исступленно тряс колокольчик. Прибегала дежурная.

— Уморить меня хотите? — вопил он бабьим, срывающимся голосом. Ему постоянно казалось, что лечат его хуже других, что в тарелку ему наливают меньше и жиже, что врачи его обходят, сестры грубят. Расписховавшись, он выл, бранился, требовал администрацию, грозил писать «на самый верх», выводить всех на чистую воду и однажды так толкнул сестру, случайно сделавшую ему больно при перевязке, что та опрокинула тумбочку. «Истерик-самовзвод» — определил его Олесь. Но все-таки не мог не раздумывать, что привело Третьяка на строительство, какая ему радость болтаться без определенной работы среди по горло занятых людей, быть эдаким волосом в супе.

И вот однажды, когда в палате никого не было, Олесь решил поговорить с Третьяком начистоту. Тот читал какое-то письмо и, когда Поперечный добрался до его койки, быстро спрятал его под одеяло.

— Что надо? — спросил он, поднимая маленькие недобрые глазки.

— Вопрос имею.

Третьяк настороженно приподнялся на локте:

— Ну? Только если воспитывать, откатывайся. Перевоспитался. Паспорт без минусов. А то, как говорит один мой кореш, тоже, как ты, хохол,— тэче водыця в стэпу пид яром, а обэртаеться паром.

— Вопрос я имею простой. Зачем вы сюда ехали?

— А мне где ни работать, лишь бы не работать,— с деланной усмешкой произнес Третьяк, и глазки его еще больше насторожились.

«Экий налим, никак его не зажабришь!» — подумал Поперечный, чувствуя, как в нем разгорается желание «размотать» этого скользкого человека.

— А вот я, скажи мне сейчас кто-нибудь: «Вот тебе, Олесь, пенсия, как генералу, вот тебе участок, вот тебе ссуда, строй дом, живи»,— откажусь: хоть какая-никакая работенка — и то слаще... Не понимаю, вот иные военные, другому лет сорок пять — пятьдесят, в самом соку человек, а вышел в отставку, все получил, залез, как тот медведь, в берлогу и сосет себе лапу. А ему б, черту, впору бревна ворочать.

Узенькие глазки смотрели внимательно. Видимо, Третьяк старался угадать, чего от него добивается этот не очень-то разговорчивый человек.

— А я вот тоже гляжу на вас: кто такой? Не то легавый — пробу негде ставить, не то Иисусик паршивенький... Кабы я вас не знал...

— Откуда знаешь?

— Волго-Дон вместе строили.

— Волго-Дон? — удивился, даже обрадовался Олесь.— С какого же стройрайона — с Красноармейского, с Калачевского, с Цимлы?

— Строили-то вместе, да по разную сторону проволоки. Понятно? При въезде на шоссейку портрет ваш висел, а нас мимо него гоняли... Старые знакомые... Ну да ладно, тогда, коли заговорили, ответьте.— Он махнул рукой в сторону строительства.— Там я вас понимаю — газеты, радио, шум: «знаменитый», «известный», «уважаемый»... А вот тут? Они там без вас как щенки слепые ползают. А вам бы: и пусть. Зато вернется Олесь Поперечный, сразу все наладит. А вы им жеваную кашу в рты суете. Какой вам с того навар?

Теперь когда Третьяк приспустил свою обычно придурковатую маску, в нем проглядывал какой-то другой, еще более непонятный человек. Это еще больше заинтересовало Олеся. Но, опытный в обращении с людьми, он не подал виду и весь казался поглощенным сооружением колпака из полотенца.

— Ну ладно еще экипаж. Там Борька, брат ваш, своя кровь. А вот этот красноглазый альбинос. Видите же, дырявый человечишка. Вы его накачиваете, а из него все тут же и вытекает. Нудяга, мразь! Как комар — зудит, зудит, так бы и запустил в него графином... Эх, нет все-таки на свете поганее зверя, чем такой человек. А вы и с ним нянчитесь.

Поперечный тем временем сложил колпак, расправил на колене, примерил. Колпак оказался как раз впору. Он надел его, как пилотку, чуть набок, и это придало ему бравый вид.

— Хочешь, тебе сделаю? — спросил он, вдруг переходя на «ты».

— Руки чешутся?

— Точно. Вот ты сказал: где бы ни работать, лишь бы не работать... А я: чего бы ни делать, лишь бы делать. Руки-то, хлопец, хорошо складывать только в гробу. Вот и еще вопрос: так и будешь весь век по миру мотаться, как фальшивая монета? А? Жить сложа руки?

— Сложа руки. Много ты знаешь.— Третьяк сел на койке. И вдруг выпалил: — И сложишь. Паспорт у меня чистый, а придешь к какому-нибудь хрычу в отдел кадров — нюхает, нюхает, сопит, сопит. «Зайдите через полмесяца». А через полмесяца: ступай в тайгу с геологами рабочим, шурфы бить, гнус кормить или за какой-нибудь сопливой геодезисткой линейку таскать... Эх, это ведь говорится только — паспорт чистый. Толкует он с тобой, а сам поглядывает, как бы ты его вшивую стеганку не смыл, цедит сквозь зубы, чтобы его кто не заподозрил, что он с «элементами» добрый... Не так, что ли, начальничек?

И будто испугавшись внезапной своей откровенности, Третьяк резко отвернулся к стене.

На этом разговор кончился. Третьяк больше ни разу не вылезал из своей раковины, но и того, что Олесь услышал, было достаточно для него. Упрямо разрабатывая свою изувеченную руку, он часто думал теперь об этом парне, о его подозрительности, о его плачевном умении во всем видеть лишь теневую сторону... Да, такого нелегко отремонтировать. Такого надо всего перебирать. Но перебирать было, должно быть, еще труднее. И когда он, опять оставшись наедине, спросил у Третьяка, что значит вытатуированная надпись: «Сдружусь — до смерти, ссучусь — смерть», тот ответил такими ругательствами, что Олесю захотелось пойти и умыться с мылом...

Однажды в час визитов, когда в палате уже сидели Ганна с Ниной, топтался весь экипаж Поперечного да еще зашли проститься со своим дружком уральские шефмонтеры, которые, проводив собранные экскаваторы до первого забоя, уезжали домой, и в комнате было по-настоящему тесно,— все вдруг услышали, как кто-то гундосил.

— ...Братия и сестры, папаши и мамаши,— дребезжало, будто в вагоне пригородного поезда,— взываю к известной вашей доброте, помогите кто чем и сколько может... Продвиньтесь и потеснитесь, дайте войти бедной девушке, потерявшей всякое терпение.

Противный, рыдающий тембр речитатива профессионального вагонного «стрелка» был так здорово передан, что, оглянувшись и увидев в дверях миловидную девицу, утопавшую в больничном халате, у которой из-под марлевой повязки выбивались оранжевые кудри, все застыли в изумлении.

— Мурка Правобережная! — ахнул кто-то.

— Совершенно верно, только не Мурка, а Мария Филипповна. Чего вы тут топчетесь, как у пивного ларька? Сегодня бочкового не будет.

В мгновение, когда взоры всех были обращены к вошедшей, Олесь, взглянув на Третьяка, поразился, как радостно просияла его толстая физиономия.

— Ну что, Костя, не приняли тебя на том свете? Пришлось воротиться? — Гостья положила к нему на тумбочку какие-то сверточки.— А вино не пропустили, дежурный отобрал, говорит: «Поставлю к шкафу, будете возвращаться, верну». Интересно, что он мне вернет? — Подмигнув, девушка извлекла из-под халата бутылку и спрятала в тумбочке.— Вы чего на меня уставились? — спросила она мужчин.— Думаете, нельзя? Вокруг меня один кандидат медицинских наук увивался, все напоить меня хотел и объяснял: кагор — это не вино, это лечебное средство, он восстанавливает силы.— Потом, будто обо всех позабыв, она уселась на койке Третьяка, бросила ногу на ногу так, что из-под халата обозначилось маленькое круглое колено.— А не пора ли вам, граждане? Пусть здесь останутся только родные и близкие.

И когда топоча и пересмеиваясь, экскаваторщики и монтеры скрылись за дверью, она легко вскочила на подоконник, потянулась к форточке:

— Возражений нет? Лезьте под одеяла.— И, поведя своим коротким тупым носиком, удивилась: — И чего это от мужчин, когда их много, такой тяжелый запах...

Час посещений подходил к концу. Ходячие возвращались из приемного покоя, раскладывали по тумбочкам гостинцы. Но три посетительницы еще сидели возле коек. И хотя они полагали, что говорят шепотом, во всех концах палаты можно было отчетливо слышать:

— ...И вот, Олесь, захожу я в эту палатку — пресвятая матерь богородица — свинушник, ну просто свинушник! — возбужденно звучал голос Ганны.— Грязь, вонь, койки не убраны. В углах — мама моя, мама! — целые бороды из инея. Дрова возле печки, а печь холодная. И сами эти общие жители понапяливали на себя кто что смог и сидят, точно в степу на станции. Ну я за них и взялась. «Вы что же тут, милые, ужей разводить? Вон ты, большой, чем на койке валяться, встань да затопи печь».— «Не мое дело».— «Ах, не твое дело. Ну так я за тебя буду топить, ледацюга ты, тунеядец...» Засучаю

рукава, а комиссия моя у двери топчется, не знает, что делать.

— Ганся, ты же, как брат Борис, гремишь на всю больницу.

— Тато, послухайте, мама веником одного,— вмешалась в рассказ Нина.— Он ей говорит: «Вы, говорит, не имеете полного права». А она ему: «Вот как дам веником по бесстыжим глазам — будет полное право!»

— Да тише вы обе... Живете-то вы как, как там у вас? Что нового?..

— Вот я и рассказываю, что нового,— удивленно отвечала Ганна.

— Мы вам и рассказываем,— подтверждала дочка. Олесь смотрел на них обеих с любовью и удивлением.

— ...Эта самая Вика сейчас страшно выпендривается,— звучал другой голос, задорный, чуть хрипловатый.— Волосищи свои уложила в причесочку «вошкин дом». Знаешь, ватрушку такую на голове из волос приляпала и водит под руку своего Макароныча. Ну чучело чучелом! И еще говорит: «Мне, говорит, Надточиев улыбается!» Как же, очень она ему нужна, Надточиеву! Я и Макароныча-то у нее бы в один вечер отбила, только не люблю рыжих, а туда же — Надточиев ей улыбается! Волосы у нее, верно, красивые, цвета пепла, а сама дрянь, дрянь, высосанная какая-то, занудливая, злая... Уж на что у нас Валька, я тебе о ней рассказывала, Валька-телефонистка, которая на скрипке играет... Девчонка серьезная, справедливая, а и то Макароныча жалеет. А еще знаешь...

— Посетители, кончайте разговоры, время истекло,— объявила палатная сестра, появляясь в дверях.

— Ах, какая жалость! Я самое интересное-то и не успела сказать,— произнесла Мурка, вставая и запахивая халат.— У тебя, Мамочка, как там дыра, совсем зажила, не раскроется?

— На днях смотрели, говорят, шов сросся.

— А прочно, не лопнет?.. Ну так слушайте, граждане, потрясающую сенсацию: Мурка Правобережная выходит замуж.— Гостья сделала между коек вальсирующий пируэт, тряхнула оранжевыми кудрями.— Почему я вижу на лицах удивление? Таков закон природы, неумолимый закон.

— За кого? — послышался тихий вопрос Третьяка.

— За мужчину.

— За какого такого?

— За подходящего. За такого, какой мне нужен. Ну, что смотришь?

— Врешь! — мрачно произнес Третьяк, взволнованно приподнимаясь на кровати.

— Вы так полагаете, Мамочка? — Карие глаза иронически прищурились.— Он и сейчас у меня на стрёме, под окошком, в машине сидит. Ходячие могут убедиться, машина — блеск. Мы вам сейчас посигналим, как в коммунальной квартире,— два длинных и один короткий!

Она опять картинно запахнула халат, повернулась на каблуках и, легко неся свою складную фигурку, пошла к двери навстречу палатной сестре, свирепо смотревшей на болтливую посетительницу.

— Всеобщий приветик! — сказала она, оглядываясь и махая рукой. Потом остановилась возле сестры, премило улыбнулась, сделала удивленное лицо.— Какая у вас брошечка чу́дная, прелесть! Наверняка латвийская, И так вам к лицу...

Стук ее каблуков быстро стих в коридоре, а через малое время за окнами щелкнула дверца машины, и сирена мелодично просигналила — два длинных и один короткий.

— Ох, стерва! — сказал Третьяк, и трудно было определить интонацию, с которой было произнесено это слово.

10

Ганна Поперечная была из тех редких женщин, в которых беды лишь возбуждают энергию. Несчастье с мужем как-то даже укрепило ее. Сразу отошли воспоминания об оставленной квартире, о торопливо распроданной обстановке, думы о том, что мужу уже под пятьдесят и что на всех четверых нет у них даже постоянного адреса. И липкое чувство обиды, начавшее уже оборачиваться отчуждением, разом переросло в нежнейшую заботу о муже, беспомощно лежащем на койке.

Парторг Капанадзе, побывав на месте происшествия, решил тогда сам принести в семью тяжелую весть о беде. Спеша к землянке, он опасался слез, истерики и потому не очень торопливо спускался по тропинке к землянкам. Но тут он увидел Ганну. Она вбегала по косого-

ру вместе с долговязым Сашком. За ними едва поспевала толстушка Нина.

— Вы куда, Ганна Гавриловна?

— Куда же? К нему в больницу.— И только тут Кананадзе заметил, что полное лицо осунулось. Но глаза-вишни были сухи. Они лишь требовательно спрашивали: ну что, ну как?

— Ничего страшного, я говорил с хирургом. Придется полежать, но опасности нет,— ответил Кананадзе на их молчаливый вопрос.— У меня тут машина.

— Скорее, пожалуйста, скорее,— произнесла женщина. В дороге она не плакала, ни о чем не спрашивала и только все повторяла это «скорее»...

Тот же порядок сохранялся в землянке Поперечных, так же чисто выскребались полы, так же посетитель при входе должен был оставлять калоши или валенки, так же жила семья, в которой каждый знал свои обязанности. Именно этот, однажды и навсегда установленный порядок, который Ганна вместе со своей складной мебелью переносила, как улитка раковину, со строительства на строительство, помогал ей и сейчас переживать несчастье.

Нет, за семью экскаваторщика беспокоиться не приходилось. Хлопцы из экипажа Олеся, обитавшие по соседству, не оставляли Ганну, и Ганна не оставляла их: общие радости, общие заботы. И хотя после того, как муж оказался в больнице, дела прибавилось, Ганна все так же убиралась и у соседей, штопала их белье.

Днем было ничего. Но вот приходила ночь, сын с дочкой засыпали на своей двухэтажной кровати. В землянку сходила тишина, нарушаемая лишь их сонным дыханием да густым предвесенним шумом тайги, глухо доносившимся сквозь окошко. И заботы обступали женщину. Как-то он там? Постарел, похудел. Больные говорят потихоньку: изводит себя гимнастикой. Целый день жмет эти свои пружины. А рука словно чужая. А ну отсохнет или плетью повиснет? Что у нас есть? Землянка, складная мебель, четыре рта, сберегательная книжка. Так много ли на ней, на этой книжке? Вот потешается над этим Негативом, считающим копейки, и любимые слова у него: будет день, будет и хлеб, не в Америке живем. И текут, текут денежки как вода. Ах, что там деньги, был бы сам живой-здоровый, любый ты мой, сэрдэнько мое! Нелегко с тобой, а без тебя вовсе не жизнь.

Женщина старалась уснуть, чтобы утром проснуться раньше всех, накормить ребят, отправить их в школу, убраться, приготовить обед. И Капанадзе удивился, даже взволновался, когда увидал однажды Ганну у двери своего кабинета среди людей, ожидавших приема.

— Друзья, это супруга Поперечного. Извините, я уж ее вне очереди пропущу,— сказал он, открывая дверь.— Прошу вас, Ганна Гавриловна.— И, еще не дойдя до своего стола, спросил: — Ну что случилось, дорогая, с мужем или дома?.. Да вы садитесь, садитесь, прошу вас.

— По пути я, с базара,— смущенно ответила женщина и подняла вверх авоську, из которой из-за каких-то свертков торчал рыбий хвост.— И дома все ладно, спасибо.— И зачастила: — Вчера деверь мой, Борька, к девчонке он одной ходит, рассказывал: дуже погано люди живут в иных палатках. У этих девчонок брезент кое-где разлезся, ветер задувает, и не только его милая, все бюллетенят.— Выпалив все это, Ганна передохнула.— Помните, зимой вы к нам заходили. Или уже забыли разговор-то?

— Да как же забыть? Но у вас такая беда, решили мы вас не беспокоить.

Капанадзе со смущением смотрел на маленькую женщину, скромно сидевшую у стола.

— Обсуждали мы. Кое-кому всыпали. Поручили комсомольцам начать поход за здоровый быт. Профсоюзы тоже.

— Уже начали: плакатики висят. На нашу землянку тоже прибили, да так, что пол-окошка загородили: «Строителям коммунизма — здоровый быт»... Свет застит, а снять боюсь: наглядная агитация.— И, переложив авоську с колен на стол парторга, Ганна приглушенным голосом, будто сообщая страшную тайну, сказала: — Так материи они не стоят, на которой писаны, плакатики эти, Ладо Ильич. Иней они берегут, если в палатке сыро.— И тут же спохватилась: — Звиняйте на глупом бабьем слове.

Парторг все с бо́льшим интересом слушал эту «уютную», как он про себя определил, женщину. У самой горе, а заботится о других. Ничего в беде своей не попросила. «Не надо, всё есть, люди добрые не оставят...» А тут вон прямо на горло наступает...

— ...А комендант наш, что военная косточка, привык: подметка оторвалась — АХО выдаст, военторг подобьет... Старательный, а что он может один? Я ему тут насчет этой палатки шумнула, где девки-то бюллетенят. Гляжу, на следующий день сам цыганской иглой полотнище штопает. Дело это? Порядок это?

«И как она правильно о людях судит, эта почтенная Ганна! — думал парторг.— Н-да, то плачет из-за какого-то коврика, а теперь вон партком учит».

— Я ведь тоже военная косточка,— сказал он вслух.— Подо мной еще тоже не земля, а палуба... Насчет коменданта вы, между прочим, правы. Ну а что вы парткому посоветуете?

— Я? — спросила женщина и, вдруг густо покраснев, опустила глаза.— Я же беспартийная, Ладо Ильич, какое я имею право тут у вас советовать?

— Так пришли же вы в партком?

— А куда? Жалко ж. Такие здоровенные девки, звиняйте на худом слове, кобылы, пола не помоют, за собой не подметут, полог палатки зашить не могут, и комендант у них с цыганской иглой возится. Небось на своем чулке петелька спустится, сейчас ее прислюнит да скорее поднимать. А тут палатку им мужик будет штопать.

Женщина помолчала, будто собираясь с духом.

— ...Худо это, Ладо Ильич, и я считаю, вы, коммунисты, в этом виноваты. Энта, милая-то нашего Борьки,— у вас кандидат, а ей и в башку не приходит своих девок организовать.— И Ганна снова как гвоздь вбила: — Худо это!

— Да, да, конечно. Вы правы, коммунист, он должен...— Капанадзе чувствовал непривычное смущение. Визит был не только неожидан, но и необычен, и отвечать на эти претензии общими фразами было неловко.— Так что же вы посоветуете парткому? — повторил он.

— А забыли вы наш зимний разговор?.. Давайте мне комиссию, и не каких-нибудь там секретарей-председателей, а баб погорластее. Сама их подберу. Мы быстрехонько все свинушники порасчистим...

Состоялось в этот день новое объединенное решение парткома, профсоюза и комитета комсомола. И необыкновенная комиссия, улучив предвечерний час, когда большая часть населения Зеленого городка бывала дома, двинулась по палаткам. В руках у Ганны была пачка

жилищных жалоб, собранных ею в различных организациях. Вслед за комиссией робко двигался комендант, совершенно потерявший свою военную выправку.

Комиссия, гомоня, бесцеремонно входила в палатку, зажигала свет. Застигнутые врасплох обитатели, кто был в исподнем, спешно ныряли под одеяла.

— Куда? Ошалели?.. Нельзя, не видите — люди раздевшись...

— Нам можно, мы комиссия... Нужно нам на вас глядеть... Грязных подштанников не видели...

— Отвернемся, одевайтесь да докладывайте, почему у вас эдакая помойка? Почему воп сосульки бородой в углу? Почему не топлено?.. Ну, кто тут из вас письмо в партком писал? Не убирают за вами, за гигиеной пе следят... Барашкин? Где он, Барашкин?.. Ага, ты Барашкин. А ну, голубь, вылезай из-под одеяла, покажись!

Появление комиссии производило впечатление урагана, какие порой в этих краях налетают точно бы невесть откуда.

— Это ты, Барашкин, жалуешься, тебе чистоты не хватает? — шумели крикливые женские голоса.— Он, видите ли, недоволен, а взять веник, подмести — он хворый.

— Да вы что, очумели? — таращил глаза Барашкин.— С чего это я буду тут подметать? Я по договору приехал, меня администрация всем обязана обеспечить.

— Строительству рабочие для дела нужны, а не за такими, как ты, с бумажкой ходить, вытирать вам...

— Ах вы, нехлюи, ледацюги!.. По пояс в грязи повязли, завшивели тут... Ишь, чухаются, как поросята шелудивые! — гремела Оксана Ус, жена десятника, высокая, крепкая украинка, подружка Ганны.

В свою комиссию Ганна отобрала женщин боевых, из коренных строительных семей, привыкших к постоянным переездам, умевших, подобно ей, и в трудный период палаточного существования создавать какой-то элементарный уют. И так как члены комиссии за словом в карман не лазили, обитатели запущенных палаток сразу же превращались из жалобщиков в подсудимых. Судьи знали дело, имели опыт, обладали характером, звонкими голосами. Перекричать их было невозможно. Подсудимым оставалось только оправдываться.

— Вам хорошо зубоскалить, мужья-то из знатнень-

ких, им, поди, ключики от квартир вручают,— пытался оправдываться какой-нибудь парень.

— Ключики? Ах, ключики! — возмущалась комиссия.— О Поперечном Олесе слыхал? Так тот самый Олесь по осени сам с сыном-мальчишкой две землянки вырыл — для себя и для своего экипажа. Своими руками, никому не кланялся. Просите у коменданта заступ — тайга вон она. Рой землянку — и будет тебе ключик.

— Вот вы пишите тут «...тумбочки сломаны, бритву, мыло положить некуда».

— Ну а что, и сломаны. Вон они. Их только на дрова... От сырости расползлись... Комендант тут — спросите, сколько раз ему говорено, чтоб обеспечил...

— ...Видите ли, это точно. Заявления поступали...— начал было комендант, но тощая немолодая уже женщина, жена машиниста с электровоза, гроза всех торговых работников, язвительные остроты которой украшали многие жалобные книги, заслонила собой коменданта.

— А вы сами что, молотка, гвоздей не видали? Или тут прынцы наследные живут! — кричала она.— Дома небось на шкафу фанерка отщепится, ты ее приклеишь, шкурочкой протрешь, маслицем помажешь. Так? А тут на глазах мебель, где твои шмутки валяются, разваливается, так тебе дела нет? Комендант, почини!

— Так оно ж казенное, на кой нам сдалось его чинить?

— Ах, казенное! Так пусть разваливается? Так? Лучше под кровать вещички в узелке суну, чем за молоток возьмусь...

— Подумайте, люди, сами себе жизнь поганите, — резонно говорила Ганна. — Выберите старшóго, дежурства установите. У ребятишек вон в детском саду это заведено. Сходите, поучитесь... Ну, чего молчите, языки проглотили?

И тут же смущенные обитатели выбирали старосту, назначали дежурных, только бы поскорее отделаться от зубастой комиссии. При этом уже миролюбиво говорилось:

— Чего вы к нам привязались?.. Что мы, хуже всех? Вы вон туда, под сломанную лиственницу зайдите, сороковой номер... У них вам и дверь не открыть — столько мусора.

— Зайдем, зайдем, ко всем зайдем. И к вам еще вернемся, глядите!

— А чего глядеть? Что мы, себе враги? Две смены отработаем, только чтобы с такими, как вы, ведьмами не встречаться.

Комиссия удалялась, продолжая поход, а кто-нибудь задумчиво говорил:

— А ведь они, пожалуй, правы, эти бабцы.

— Верно, надоело... Убраться, что ли?..

Особенно досталось женской палатке, где обитала симпатия Бориса Поперечного. Тут уж члены комиссии дали волю языку, и стенограмму их беседы с девушками, обитавшими здесь, можно было бы публиковать разве лишь с большими купюрами.

— ...Ведь это ж ухитриться надо в палатке зимой клопов развести,— кричала жена машиниста.— И где вы только их вынянчиваете на таком холоду? За пазухой, что ли, или где поукромней?

— Так заявляли же мы санитарному надзору, приходили, покоптили, пофукали...

— Может быть, вы куда напишете, чтоб вам заодно и лохмы ваши промыли? — язвила Усиха.— Может, при учебном комбинате отдельные курсы для вас открыть, чтобы учили вас простыни стирать да шею мыть. Ледацюги вы, ледацюги!.. Чи вас таких кто замуж возьмет? Ганна Гавриловна, ты скажи своему деверю Борьке, чтоб он к ним сюда больше не ходил, а то как раз клопа затащит, лови его потом!

Комиссия неторопливо, вечер за вечером ходила по Зеленому городку, и, опережая ее, бежала слава о разудалых этих женщинах, у которых на всякое супротивное слово запасено три. По поселку передавали трагические сцены, разыгрывавшиеся в палатках, в очередях цитировались наиболее сочные остроты. Мурка Правобережная, не та живая, что вела свое загадочное существование в дощатой будочке, сколоченной из горбыля, а ее литературный двойник на сцене клуба, посвятила походу целую сатирическую программу, а газета «Огни тайги» поместила фельетон, озаглавленный «Рейд домовы́х».

Так с тех пор и утвердилось за необычайной комиссией Ганны: «домовые». Но вряд ли когда-нибудь, даже в самые отдаленные времена, этот запечный дух внушал такой страх и пользовался таким уважением, как группа энергичных, бывалых женщин, задавшихся целью навести порядок в нелегком палаточном существовании. Даже там, где они не успели побывать, жители, охва-

ченные общим порывом, брались за веники, за молотки, за колуны, выбирали палаточных старост, вывешивали на стены списки дежурных. Действовал страх: уж лучше не попадаться на язык этим бабам. Но действовало уже и сознание: а какого черта жить хуже других, хуже, чем можно и нужно!

«Домовые» наделали шуму не только в Зеленом городке правобережья. Вскоре из тех же «Огней» стало известно, что Поперечная со своими женщинами совершила сокрушительные налеты на столовые, на буфеты в карьерах. За «домовыми» газета следила. Их называли теперь общественной санитарной инспекцией. Женщины поселка левобережья не захотели отставать. «Домовые» появлялись и на отдаленных объектах. Начальник стройки отдал специальный приказ всячески содействовать этому движению.

Ганна Поперечная с головой окунулась в дела. Являясь к мужу в гостевой день, она вместо рассказа о доме, о котором ему не терпелось поскорее и поподробнее узнать, вдруг начинала спрашивать:

— Вот, Олесь, ты толкуешь — коммунизм, коммунизм. Новые люди и все такое. А вот, будь ласков, скажи: почему это человеку свое, хоть и плохонькое, хоть и вовсе паршивенькое, дорого, а не свое, общее, какое оно ни будь, ему на него наплевать? Вот комбинезонишко, старенький, латаный-перелатаный, если свой — ты к жене: зашей, а то заштукуй, да в жевеле не кипяти, да хорошенько прогладь. А если на казенном дыра — горя мало, вари его хоть в серной кислоте. Что, не так? Не бывало у нас? Казенное по две смены в год горит, а свой вон он, живет... А ведь ты коммунист. Вот почему оно так? Объясни, будь ласков...

Олесь недоумевал: что стало с женой? Казалось, знает ее до последней маленькой родинки, и вдруг открывается — то ли новое, то ли раньше не замеченное. Какое-то беспокойство, неудовлетворенность. О доме только и сказала — все, мол, хорошо, все здоровы, ребята в школу бегают, отметки неплохие... И тут же снова о том же:

— Я чем больше думаю, тем лучше вижу — так ведь оно и есть. И зря, зря вы, коммунисты, от этого, вот как ты сейчас, отвернуться хотите.— Она говорила спокойно, а в голосе горечь.— Мы вот по палаткам ходим. Новенькие, а сколько их уж обветшало, обтрепалось, хоть заново ставь. А почему? Вода протекает — ладно. Брезент

гниет — пусть. Государство богатое, новые построит... А кабы свое, чуть щелочка какая, сейчас же латать. Свое — не чужое... Вот и новые дома. Только жильцы ключи получили — и уж волокут заявки на ремонт. Во сколько это государству обходится? Не знаешь ты об этом, что ли? Знаешь! Только глаза закрываешь, шуму не любишь... А тут во все горло орать надо.

«Что такое? Где она этого нахваталась? То о своем жилье ревет, то вон только о чужом и забота»,— недоумевал Олесь, с тревогой посматривая на жену, круглому лицу которой, как ему казалось, вовсе не шли ни этот тревожный тон, ни эти беспокойные мысли.

— Какая там тебя муха укусила? — спросил он однажды вместо ответа на один из таких вопросов.

— Та же, что и тебя,— спокойно ответила Ганна.— Только ты весь в машину свою уперся и кругом не смотришь. «Коммунизм», «Социалистическая собственность», «Народное достояние»... А рядом «Наплевать, не мое», «О казенном пусть казна думает», «Мне что — больше всех надо?»... Не слышал ты этого? Слышал. А ведь мимо ушей пропускал. Разве нет? Лозунги там, плакатики... А вот я другой раз с моими «домовыми» по палаткам помотаюсь, вернусь в землянку и думаю, что какой-нибудь там древний человек в пещере больше о своем жилье думал, чем иные у нас в Зеленом городке. И все дивлюсь: неужели этого самого вы, коммунисты, не видите?.. Может, об этом письмо куда написать? А?

11

Помимо работы у инженера Надточиева в жизни были две привязанности: охотничий кобель Бурун, длинноухое, гибкое существо с лоснящейся шерстью и грустными глазами восточного философа, и автомобиль. Нет, не какая-то там машина определенной марки с определенным номером, а просто автомобиль как явление, лишенное даже конкретности.

С Буруном, натасканным и на птицу и на зверя, Сакко Иванович везде, где доводилось ему работать,— в донских плавнях, в ериках Ахтубинской поймы, в Уральских горах и тут в Сибири — всегда находил хорошую охоту. Машины же он постоянно менял: «опелякадета» на «Москвича», «Москвича» — на «Победу»,

а сейчас, заочно стоя в столице в гигантской очереди, мечтал «Победу» поменять на «Волгу».

Но и «Победа», пробегавшая немало километров по трудным, всегда вблизи больших строительств разбитым дорогам, была у него в отличном состоянии. Она сверкала и лоснилась, как холеная лошадь. Множество всяческих усовершенствований, от вазочек для цветов, прикрепленных с помощью присосов к стеклам, до особо сконструированных таинственных клещей, которые автоматически включали клаксоны и вцеплялись в ногу каждого, кто без разрешения хозяина хотел бы нажать на стартер,— все это сделало машину тесной.

Если выпадал свободный вечер, Надточиев свистел Буруну, и они отправлялись в горбатый, сооруженный из гофрированного железа гаражик. Выводилась машина. С сознанием своего достоинства Бурун вспрыгивал на переднее сиденье. Опускалось стекло. Мотор, в котором инженер любил покопаться всякий раз, когда требовалось разогнать плохое настроение, работал «шепотом». Поскрипывая в снежной колее, машина тихо выбиралась на основную магистраль.

Сначала ехали медленно, поглядывая по сторонам: не покажется ли где-нибудь на улице невысокая, тоненькая фигурка, облаченная в коричневые меха. Оба — и хозяин и собака — вглядывались в тускневшую вечером белизну снегов, в людей, спешивших по тротуарам, толпившихся у клуба, у кино, у магазинных витрин. Иногда, увидев кого-то похожего, оба настораживались. Но этот «кто-то» оказывался не тем, кого так хотелось встретить. Надточиев вздыхал и прибавлял газу.

Вот и Набережная. Вот он, не одинокий уже теперь домик, стоящий первым в ряду достроенных и строящихся. Ведет к нему не проторенная шинами по целине дорога, а улица. На углу, на крылатом, похожем на взлетающую птицу фонаре: «№ 1. Набережная». На миг машина сбавляет ход, почти останавливается. От калитки к крыльцу расчищена дорожка. Ее слегка припорошил молодой снежок. На снежке следы — маленькие, бесформенные, от меховых унтов, и мужские, четко оттиснутые через ровные интервалы. Она где-то там в домике. Но Сакко Иванович — невезучий человек. Она никогда не подходила к окну. Если остановишься, скорее всего увидит он, увидит, да еще, чего доброго, выйдет на крыльцо:

«Вы не ко мне ли, товарищ Надточиев?.. Я к вашим услугам».

Инженер будто слышит эти слова, произносимые бесцветным голосом. И он нажимает на газ. Машина рвется вперед. Мелькают почти достроенные, строящиеся, только что вылезающие из снега домики, а потом разом надвигается торжественное таежное безмолвие.

— Плохо, друг мой Бурун. Вообще что-то нам не везет в жизни,— говорит человек, а пес отвечает ему понимающим взглядом.

Там, где дорога поднималась на холм, машина останавливается. Оба выходят. За спиной догорает узенькая полоска заката. Под деревьями густеет серая тьма, сумерки, выползая из кустов, наступают на дорогу, а на освещенной стороне на верхушках деревьев еще сохраняются отсветы и какая-то особенно высокая ель, еще видящая солнце, сверкает в полумраке. Но вот и она потемнела. В зеленеющем небе зажигаются звезды.

— Ну что же, старина, поехали назад, — говорит Надточиев, и Бурун, опережая его, вскакивает на сиденье.

Включаются фары. Заснеженная тайга, которая днем каждое мгновение поражает разнообразием пейзажей, в искусственном освещении приобретает однообразную красивость. Порывистый ветер задувает в опущенное стекло, хлещет по щеке, иглисто покалывает нос. Уже побеждено тепло внутри машины. Стекла начинают затягиваться иглистой изморозью.

Включается отопление. Окна вновь обрели прозрачность. Машина бежит уже по строящейся улице. Заселенный большой дом приветливо светится живыми огнями. Проспект Энтузиастов выглядит совсем как окраина Москвы. На тротуарах — пешеходы. На каком-то углу девушки и парни бросаются снежками. Подальше — молодежь идет, обнявшись, в несколько шеренг и поет, снова и снова повторяя грустные слова: «...Парней так много холостых, а я люблю женатого».

— Смотри, Бурун, сколько девушек. Да, а вот есть дурень на свете, которому нужна только одна-единственная. И как раз та, которую ему любить не надо, да и смотреть она на него не хочет.— Надточиев говорил серьезно, он давно привык обсуждать сложные вопросы жизни со своим молчаливым другом.— Тебе не смешно на этого дурака? В самом деле, чего он к ней так привязался, этот жалкий человек?

И вдруг на фоне города, за которым теперь встает по ночам желтое зарево стройки, в белых покачивающихся штрихах завязывающейся метели перед глазами инженера мгновенно вырисовывается происшедшая здесь недавно сцена, проносится лента событий, предшествовавших ей...

Все это последнее время Надточиев никак не мог победить слепую, тяжелую неприязнь к Петину. Она росла. И дело было не в выговоре, который так пока еще и торчал в его личном деле. Кто из работников строительств не имеет выговоров, в том числе и несправедливых? Нет, просто эта история с предложением Бершадского, как казалось инженеру, помогла ему рассмотреть истинный облик Вячеслава Ананьевича.

Это был человек с прочной репутацией новатора, непримиримого борца с рутиной, с низкопоклонством перед Западом, за славу родной науки, человек, как рассказывал Юрий Пшеничный, смело разоблачивший в министерстве каких-то ревизионистов, в нужное время и в нужных местах остро ставивший важные вопросы. Наконец — и это знал каждый — он добровольно бросил столицу, приехал сюда, к черту на кулички. А вот Надточиеву, ревниво следившему за каждым поступком, придирчиво анализировавшему каждое высказывание Петина, с некоторого времени казалось, что все это лишь маскировочные плащи, а под ними ему мерещился ловкий конъюнктурщик с великолепно развитым чувством мимикрии, обладающий тонким нюхом на разные веяния, умеющий вовремя поддакнуть, к месту бросить реплику, тиснуть статью, на что-то быстро откликнуться и тотчас же забыть это свое высказывание, предоставляя другим проводить его в жизнь. Именно таким скользким головоногим существом представлялся он теперь Надточиеву.

Он как-то не выдержал и прямо спросил Петина, почему тот потерял всякий интерес к предложению Бершадского. Петин удивленно поднял глаза:

— Мне странно слышать такой вопрос от человека, имеющего от меня серьезные взыскания за игнорирование этого проекта.

— Но разве выговор, полученный мною, исчерпал проблему землеройных работ в условиях суровых зим?

— Еще более странно пояснять вам, что сейчас, накануне весны, когда пора свистограев миновала, не

следует тратить народные деньги на то, без чего уже можно обойтись.— Черные колючие глаза смотрели со снисходительной усмешкой.

Ответ был абсолютно логичен. Но и в нем усмотрел Надточиев какую-то ловкую, еще не совсем ему понятную игру. И он недоумевал, почему этого не чувствуют другие? Даже опытнейший Старик. И сразу же рождалось сомнение: а не говорит ли в тебе обида? Или и в этом признаваться уже вовсе не хотелось, или вульгарная ревность к мужу женщины, которую ты любишь? Какие у тебя доказательства?

Доказательств не было.

Однажды в сердцах Надточиев сказал секретарю парткома, что ему противно видеть, как Петин стягивает к себе людей. Одним дает квартиру, других выдвигает, третьих премирует. И они кричат о его талантах, ссылаются на его выступления, на его работы, цитируют его докторскую диссертацию. Капанадзе, с которым инженер дружил, усмехнувшись, ответил:

— Ну и что? Кто-то сказал, друг мой Сакко: даже бог нуждается в колоколах... Он имеет право окружать себя...

— Своими «популяризаторами»?

Капанадзе шутки не принял. Выпуклые глаза смотрели укоризненно.

— Сакко, друг, нечестно. Конечно, как и всякий человек, Петин имеет свои недостатки, но ты же не будешь отрицать, что это хороший партийный товарищ.

— Нет, буду. Буду хотя бы потому, что хороший коммунист не имеет права чувствовать себя пупом вселенной.

— Но факты, факты, дорогой Сакко... Чем это помешало делу? Когда? Каким образом?

— Будут факты. Вы увидите.

— Тогда будет и разговор. А пока, друг мой, совет тебе: оставь ты его в покое.— Капанадзе снизил голос до шепота: — И ее оставь, ладно? Обещаешь?.. Все живем как на ладони. Нехорошо!

— Ну, парторг, это уж не твое дело. Понятно?

— Непонятно! — ответил Капанадзе. И подчеркнуто повторил: — Непонятно.

Прямодушный, малосведущий в житейских и совсем неопытный в аппаратных делах, не умеющий сдерживать себя и даже скрывать свои настроения, Надточиев

однажды с полнейшей откровенностью выложил все эти мысли и сомнения начальству. Литвинов, который когда-то, еще на Волго-Доне, разглядел в долговязом чубатом молодом инженере гидротехника «милостью божией», всегда сердечно относился к нему,— слушал на этот раз сбычившись, пряча глаза за кустистыми бровями. Потом скулы его заиграли, и вдруг, вскочив, он грохнул рукою по столу:

— Молчать! Не дам разводить плесень! Петина в Москве уважают. И не такие мальчишки, как ты!

— За то, что он хороший преферансист...— начал было Надточиев, но Литвинов стукнул кулаком по столу:

— Молчать! До бабских сплетен опускаешься... Не позволю...

Надточиев был подавлен. И не криком Литвинова. Он знал: такие вспышки следа не оставляют. Ему просто нечего было ответить.

— Тут уж один такой субчик-голубчик приходил на Петина наушничать. Когда, дескать, вы уезжали, он-де то, он — другое... Мерзавец! — Потом, поостыв, уже другим голосом Литвинов сказал: — Сакко, я тебя люблю. Мы еще с тобой много поработаем, но чтобы об этом...— Короткий толстый палец заходил перед носом инженера, и совсем уже тихо начальник сказал: — Ты, парень, сегодня у меня не был. Я этого разговора не слыхал, а ты моего крика тоже. Лады?

«Старик редко ошибается в людях. Может быть, и в самом деле все это нервы, воображение? Может быть, Ладо прав и это действительно из-за нее?.. Ну где, где они, эти доказательства? Эх, в отпуск попроситься, что ли?..»

— Ну что ты об этом думаешь, Бурун? Как нам быть? — спросил Надточиев, когда под впечатлением разговора с начальником усаживался на переднем сиденье машины рядом с ожидавшим его там псом.

Но Бурун не дал тогда хорошего совета. А вскоре, провожая из кино Дину Васильевну, Надточиев, стараясь шагать как можно мельче, в лад с нею, допустил бестактность, дорого стоившую ему.

— ...Вы не знаете, Сакко, Вячеслав Ананьевич снова оказался прав. Москва это дурацкое письмо сибиряков отвергла, — сообщила ему Дина. — Сейчас все они там на острове только и думают о переселении. Седых, конечно, на нас страшно обозлился и увез Василису, а ей

так не хотелось уезжать... Все-таки жестокий народ эти сибиряки.

— Вас неверно информировали,— мрачно ответил Надточиев.— Иннокентий Седых сам отозвал свое письмо. Неужели вам об этом не сказали?

И в самом деле, самим вернуть это письмо, наделавшее столько шуму, вернуть сейчас, когда вот-вот должна была выехать московская комиссия! Не только вернуть, но и публично признать свою неправоту — для этого нужно было большое гражданское мужество.

— Седых и других убедил, что они ошибались. Представляю, чего это ему стоило...

Но Дина не слушала. Мысли ее были заняты расставанием с Василисой.

— ...Мы так подружились... У нее поразительные способности к языкам. Она уже у меня читала со словариком несложные тексты... И это умение раскрывать человеческие характеры через зверей.

— Вы мне об этом уже говорили. Перед вами, согласно этой классификации, сохатый, он же лось.

— А перед вами знаете кто? Перед вами, оказывается... кошечка.

Это было произнесено с горечью, но Надточиев, не уловив интонации, расхохотался.

— Умница Василиса! Ну конечно же вы красивая, пушистая кошечка, которая по вечерам лежит свернувшись на диване и мурлычет свои кошачьи песенки, создавая вокруг этакую уютную атмосферу.

— Сакко, так она не говорила. — Дина произнесла это строго, но глаза ее жалобно глядели на Надточиева. Тот просмотрел и эту перемену в ее настроении.

— Молодец девица! Не кошка, а именно кошечка. Кошка, она ловит мышей, производит на свет котят, слизывает, наконец, сметану. Кошки лазят по крышам, задают по ночам концерты. А вы кошечка, которую хочется погладить по шерстке. Разве вы что-нибудь такое себе позволите?

— Сакко!

— И у кошечки под мягкими подушечками на лапках острые коготки для всех, кроме хозяина, который кормит ее сливками и которому разрешается ее ласкать и гладить.

— Вы говорите пошлости, инженер Надточиев! — воскликнула Дина и пошла быстрее.

Походка стала пружинистой. Надточиев уже не мог попасть в такт ее шагам, и все же с каким-то тупым упрямством он продолжал:

— И вам нравится быть кошечкой. Нет, даже не кошечкой. Кошечка — это все-таки самостоятельное существо. Весной она может выпрыгнуть в форточку и сигануть на крышу. А вот жрицей, создавшей для себя культ, посвятившей себя служению этому культу, жрицей с дипломом врача и дипломом учителя... Высокообразованной жрицей...

Дина остановилась. Серые глаза распахнулись шире. За мохнатыми, посеребренными инеем ресницами Надточиев увидел не гнев, даже не обиду, а смятение.

— Ведь вы не хотели меня обидеть? Нет? Культ... жрица... дипломы...— И вдруг, почти плача, попросила:— Не провожайте, я дойду одна. Хорошо? И не звоните, очень прошу. Слышите? И ступайте! — И, легонько толкнув Надточиева, она быстро свернула с ярко освещенного проспекта Энтузиастов в переулок, странно поименованный «Бычий Лоб» — в честь утеса, которому вскоре суждено будет оказаться под водой...

— Вот тут это было, Бурун. На этом самом месте,— сказал Надточиев, остановив машину на перекрестке.

Метель завязалась не на шутку. Косая штриховка густо неслась перед стеклом в свете фар. Огни едва раздвигали этот шевелящийся занавес. Ничего не было видно, и, чтобы на что-нибудь не наскочить, Надточиев, осторожно ведя машину, высунулся из бокового окошка и слушал, как из снежной мглы доносились до него разговоры, смех, растрепанная ветром мелодия.

— Да, Бурун, не везет нам, старина. Мы не увидим даже ее окошка и не скажем ей из машины: «Спокойной ночи». Вот так-то...

Снег шел крупный, влажный, липкий. Чувствовалось: метель предвесенняя.

12

Набережная — это уже не название на архитектурном плане. Это ряд хорошеньких деревянных домиков, стоящих на расстоянии друг от друга. Их крылечки, калитки палисадников ведут на проезд, вдоль которого сейчас шеренгой стояли молодые, только что переселившиеся из

тайги лиственницы. Балконы и терраски домиков, располагавшиеся с другой стороны, пока что выходили на лес, сбегавший в долину. Но глаз романтиков, строивших город, уже нареченный народной молвой Дивноярском, видел здесь южный берег нового, Сибирского моря.

Так вот в дом № 2, что стоял по Набережной рядом с домом Петиных, и перебрался из своей палатки начальник строительства вместе со своим «верным Личардой» Петровичем, как именовал его Сакко Надточиев.

— Как прикажете обставить? — спрашивал Толькидлявас, радуясь возможности наконец-то развернуться.

— А, как хочешь! — отмахнулся Литвинов.

На строительстве были горячие дни. С верховьев сообщали: приближается паводок. И, как всегда в таких случаях, сразу обнаружилось: тут недоделано, там не готово, в третьем месте — из затопляемой зоны не вывезен материал, в четвертом — не отведены машины. Литвинов только побросал в ладони связку врученных ему ключей и добавил:

— Покумекайте там что-нибудь с Петровичем. Не до того мне.

И Толькидлявас с Петровичем покумекали. Когда ночью, усталый, занятый все теми же весенними хлопотами, Литвинов открыл еще туго отворявшуюся дверь и по скрипевшим половицам вошел в свой дом, он увидел всю ту роскошь, которую в свое время так безжалостно повытаскала на террасу Дина Васильевна Петина.

Стены, крашенные по трафарету «под муар», занавеси и портьеры тяжелого рытого бархата, полированное дерево. На стенах весь классический набор живописных копий в тяжелых золотых рамах. И конечно же шишкинское «Утро в сосновом лесу», и конечно же перовские «Охотники на привале». Имелась и «Незнакомка» Крамского. На копии была даже сделана, так сказать, «поправка на современность», и дама в роскошном ландо сидела на фоне... гостиницы «Москва». На самом видном месте висело конечно же оригинальное полотно «Счастливая старость».

Литвинов торопливо прошел по комнатам, сопровождаемый двумя виновниками торжества. Стоял в кабинете и думал, понравится ли все это Степаниде Емельяновне. Решил: «Наверное, понравится» — и удовлетворенно произнес:

— М-да, кажется, ничего.

— Старались,— сказал Толькидлявас, весь сияя улыбочками, обнаружившими ямочки на щеках и на подбородке.— А вы на этот шедевр, на «Счастливую старость» взгляните, Федор Григорьевич! Рафаэль! Современный Рафаэль... Какие краски!.. В Старосибирске мне из-за нее с директором театра просто драться пришлось... Хотел у меня отбить для украшения фойе. Нет, вы смотрите, смотрите, лица как настоящие. А глаза! Так и глядят... вон у того старика: все волосы на голове пересчитать можно. Мастерство!

В самом деле, старики обоего пола, сгруппированные на этой картине, один к одному, сияли сочным, марципановым румянцем. Они были, наверное, разные, но общее выражение тупого самодовольства, старательно запечатленное художником, сообщало им что-то родственное. Черноволосая, темноокая девица, подававшая им на картине фрукты, показалась Литвинову знакомой. Он тут же вспомнил, откуда переманили ее в компанию марципановых старцев.

— Тут, брат, не только современный Рафаэль, тут и современный Брюллов,— хмыкнул Литвинов. Потрогал уголок нарисованного на полотне коврика.— Ловко написано... Вот, брат, если такой Рафаэль сотенные подделывать начнет — беда. От настоящей и не отличишь.

— Я же говорю,— таял от восторга Толькидлявас.— Все как живое. На костюм поглядишь и скажешь, какая материя, как значится по артикулу, сколько стоит, ей-богу!.. Шедевр! Не хотели отдавать, только для вас и уступили...

Звонок телефона резко разнесся по необжитым комнатам. Звонили из штаба паводка. Прочли полученную с верховьев радиограмму: половодье приближается...

— Докладывайте каждые полчаса,— распорядился Литвинов.— Куда? Как — куда? Конечно, ко мне домой... Куда домой? — он довольно хохотнул.— Набережная, два. Ясно?

Чувствовалось: ему приятно произносить свой новый адрес. Повесив трубку, он еще раз прошелся по комнатам, постоял у двери, ведущей на террасу. За ее стеклами мерцали звезды и в мутной сини голубых снегов темнели кроны деревьев, сбегавших по откосу.

— ...Вот балкон — це добре.— Он отомкнул шпингалеты, взялся за ручку, рванул, посыпалась на пол замазка, и в комнату вместе с влажным ароматом талого снега

вошел по-весеннему возбужденный шум тайги.— За это сугубое спасибо! — И Литвинов довольно пропел из «Князя Игоря»: — «...И гибель всех моих полков, честно за Русь голову сложивших».

С балкона был хорошо виден домик Петиных, освещенное окно столовой. Чья-то тень двигалась по занавеске. Литвинов вызвал нужный номер. Услышал гортанный голосок: «Да-а...»

— ...Привет соседке. Вот нору свою осматриваю. Хлопцы тут...— Он оглянулся на Толькидлявас и на Петровича, ухмылявшихся у него за спиной,— отлично меня здесь устроили. Приходите с супругом чай пить.

Повесил трубку, еще раз осмотрелся.

— Отводок телефона — в кабинет. А возле поставьте койку. Петрович, слышишь? Ту, нашу, из палатки,— распорядился он.

— Бу сде, Федор Григорьевич!..

Но кто был особенно рад переезду, так это Петрович. Как-то в добрый час, после того, как пришло извещение, что Седых и его земляки сами отказываются от своих претензий, начальник пришел в отличное расположение духа, и, воспользовавшись этим, Петрович выпросил у него разрешение соорудить при гараже, как он объяснил, «дежурку». Получив согласие, он, покрутившись вокруг строительного начальства с фотоаппаратом, вручив кому надо по комплекту снимочков, устроил так, что дежурка превратилась в самостоятельную комнату в два окошечка, с дверями, ведущими в гараж и на улицу.

И вот теперь рядом с гаражом, где впервые с удобствами расположился столько за эти годы перенесший, но не потерявший своего моложавого, бодрого вида литвиновский лимузин, у шофера было свое жилье. С помощью все того же всемогущего фотоискусства оно было обставлено кое-какой мебелишкой и украшено все теми же медведями и охотниками, уже в литографированных копиях. Был и чуланчик, оборудованный под фотолабораторию. Увидев, как обернулось его разрешение, Литвинов только головой покрутил: ну и бестия, мол,— но ничего не сказал.

У Петровича были свои резоны и своя мечта. Красотка, чей голос гремел над карьерами, незаметно для него заняла все его любвеобильное сердце. Попытка захватить Правобережную кавалерийским налетом, как нам уже известно, успеха не имела. Получив отпор,

Петрович начал упорное наступление и наконец осаду. Теперь частенько возле дощатой будочки на фоне бесконечных огней стройки, в ночи, пронзаемой иглистыми молниями электросварки, можно было видеть темную фигуру, слоняющуюся поблизости. Кончалась смена, живые человеческие ручейки сбегались в озерца у автобусов. Петрович торжественно вел свою даму мимо остановок, по дорогам, где ему был теперь знаком каждый камешек. Среди подруг Мурка Правобережная не славилась постоянством. Любила подурить, потанцевать в шумной компании, не прочь была выпить. На танцевальной площадке вокруг нее всегда вертелось множество кавалеров, и провожали ее в Зеленый городок почти всегда разные парни. А тут вдруг остепенилась и, к удивлению сопалаточниц из «Двадцать восьмой непобедимой», не скрывала своего интереса к этому кругленькому человеку, которого девушки меж собой звали «Колобок».

Впрочем, особого повода для разговоров не было: ну провожает, ну раза три поужинали в новом ресторане «Космос», открывшемся на площади Гидростроителей. Но ни к нему заходить, ни гулять по уединенным тропкам, каких немало уже протоптали влюбленные в окрестностях Зеленого городка, она себе не позволяла. И когда Петрович, начинавший уже страдать в этих непривычных для него жестких рамках, сетовал, что негде им ни присесть, ни поговорить, она со свойственной ей прямотой отвечала:

— Знаем мы эти разговоры. Пушкина читала? Читала. Шолохова читала? Читала. И за пазуху...

— Мне просто морально тяжело слышать от вас такие слова,— огорчался Петрович.

— А тяжело, так ступайте к тем, с которыми легко. Я, так и быть, по дружбе парочку адресов подкину, взамен тех, что вы из-за меня растеряли.

— Данкишоп, и без ваших адресков обойдусь,— сердился Петрович.

— Данке шён,— поправляла спутница.— И сколько я вам говорила: не смейте при мне калечить бедных немцев. С ними и так Советская Армия за все рассчиталась. «Данкишон»... Глупо, только серость свою показываете.

— Бу сде,— поспешно отшучивался Петрович.

— И это «бу сде» тоже не хочу слышать. Чего вы ломаетесь? Рыжий в цирке за это твердую зарплату получает, а вам чем платят? И кто?..

— А вы чего меня шпыняете? — не вытерпел однажды Петрович.— Какое вы на это имеете полное право?

— Ай, ай, обидели бедного мальчика! — насмешливо произнесла девушка и вдруг, оттолкнув его руку, бросилась вдогонку за проходившим автобусом, по-мальчишески пробежалась за ним, держась за ручку, вскочила на подножку и, удаляясь, помахала рукавичкой.— Приветик!

На следующий день в диспетчерской будке зазвонил телефон.

— Мария Филипповна! Я глубоко извиняюсь за вчерашние свои грубые слова,— смиренно говорил голос, в котором не было и тени шутливости...

Однажды, когда на пути в управление лимузин встряхнуло на ухабе, из-за светлого козырька выскочила и рассыпалась на коленях у Литвинова пачка фотографий. С них смотрело одно и то же задорное женское лицо, с взлохмаченными кудрями, с ровными дужками выщипанных бровей, с тупым, чуть вздернутым носом и полными губами. Оно смеялось, улыбалось, хмурилось, глядело задумчиво, даже грустно, но при всем том даже в грусти сохранялось выражение вызова. Литвинов, вспомнив это лицо, даже поглядел на то место на руке, где когда-то оставили следы острые зубы.

— Она?

Петрович покраснел, сунул фото в карман. Покосился на начальника.

— Ну что ж, сколько вору ни воровать, а тюрьмы не миновать.

— Вам, Федор Григорьевич, все бы только смеяться, а вот мне не до смешков. Поймала она меня, как судака на двойной крючок,— и водит и водит. Рванусь — отпустит, а потом помаленьку катушку назад мотает. А я все хожу, хожу, а леска-то все короче, вот-вот сачком тебя подденет... А вам смех.

— Любил кататься, люби и саночки возить. Девка-то хоть стоящая? Привел бы уж, что ли, смотрины бы устроили. Ведь все равно в посаженые отцы звать придется...

— Говорил я ей — не идет. Моя диспозиция ее не устраивает. По ее регламенту я вроде бы слуга.

— Слуга? Ну!.. А что, она, брат, видать, не дура. Кто такая?

Петрович совсем смутился.

— Она?.. Да ее тут все знают. Может быть, слышали о диспетчере с правобережья.

— Это знаменитая Мурка! — воскликнул Литвинов.— А ну давай свои фотографии.— Он развернул их веером.—Так вот она какая, Мурка! Сугубо интересно... Ну что ж, добре. Юмор в жизни — вещь наипервейшая. Он как чеснок, с ним любую дрянь съешь, да еще и облизнешься... Гм, так...

Помолчав, с кем-то раскланялся сквозь стекло, кому-то помахал рукой.

— Обязательно приведи, слышишь? Будет отказываться, скажи — с милицией вызову.— И, улыбаясь, Литвинов снова пропел свою единственную оперную фразу: — «И гибель всех моих полков...»

13

Половодья в Дивноярском ждали. К нему готовились. В места, которым могли угрожать льды и вода, были завезены горы фашинника, песок, железные балки, тол. Подъехала из Старосибирска и разбила возле Зеленого городка свои собственные палатки саперная часть. Солдаты обследовали берега, связали все угрожаемые участки нитями полевого телефона. В помощь саперам комсомольцы выставили свои посты. А воды все не было, и по вечерам возле военных палаток, где мокрый снег успели уже поутоптать, пел баян, шел пляс и девчата ходили косяками, как рыбы в нерест.

И началось половодье, как никогда не начинается оно нигде, кроме Сибири. На рассвете, в морозной мгле, вдруг раздался глухой раскатистый гром. Он нарастал. Комсомольцы, дежурившие на обоих берегах, у недреманного и зимою Буяна, вдруг увидели, как ледяной панцирь реки у ее средины будто бы вспучивается, пухнет на глазах. Снова загрохотало, и по завьюженной ледяной глади побежали извилистые зеленые трещины, из которых хлынула вода. И, прежде чем дежурные успели соединиться со штабом, по всему немалому пространству от Буяна до двух утесов, у подножия которых шли работы, закипела, заклокотала, неся вниз свои вспухающие воды, великая Онь, мгновение назад казавшаяся сонной и неподвижной.

За считанные минуты вода поднялась на несколько метров, и надпись «Мы покорим тебя, Онь!», выведенная

комсомольцами на стенке бетонной гряды, отгородившей большой котлован, и обошедшая уже на фотоснимках всю советскую печать, оказалась погребенной. Вскоре прибрежные скалы, откосы обоих берегов, все их уступы и морщины казались будто намазанными зернистой икрой — столько людей высыпало смотреть пробуждение сибирского гиганта.

Но Онь на этот раз вела себя относительно благопристойно и не подвела гидрологов. Как змея прорывает старую кожу, прорвала она толстый ледяной покров, выползла из него и, затопив почти все скалы порога, именуемые здесь бойцами, степенно проплывала мимо сооружений Большого котлована. Сотни глаз день и ночь следили за полосатыми линейками, отмечавшими уровень воды. В конторе строительного управления правобережья работал паводковый штаб. По диспетчерскому радио звучали уже не шутки и остроты Мурки, а голос начальника штаба Надточиева.

В течение половодья Литвинов не покидал домика, вознесенного над Большим котлованом и рекой. Отсюда, не выпуская из виду движения льда, руководил он строительством, сюда приходили к нему люди со срочными делами, отсюда он говорил с Москвой, со Старосибирском. Спал, как говорится, «вполглаза», и лишь когда река заметно поутихла и над водой снова появились окутанные кипучей пеной бойцы Буяна, он по-настоящему улегся на клеенчатом диване.

Дверь закрыли. Кто-то повесил на ней бумажку: «Тихо! Старик спит». Но бумажка висела зря, ибо разбудить начальника оказалось делом нелегким даже под вечер, когда за это взялся Петрович.

— Федор Григорьевич, Федор Григорьевич,— бормотал он, как военный телефонист в трубку аппарата, когда связь уже прервана.— Федор Григорьевич, домой пора!

— М-м-м... К черту!..— отвечал начальник, натягивая на себя тулуп сторожа.

— Да ну вставайте же, Федор Григорьевич! — И вдруг, осененный идеей, Петрович негромко, но взволнованно произнес: — Река дамбу рвет...

Литвинов вскочил, точно подброшенный пружиной. Круглое лицо, густо обметанное за эти дни серым жестким волосом, сразу скинуло сонливость, глаза смотрели остро, цепко.

— Дамбу?! Где, на каком участке?

— ...Что вы, какая дамба? — с невинным видом удивился Петрович.— Это я вас бужу, домой пора ехать. Поглядитесь на себя в зеркало: не лицо — щетка...

Лениво потягиваясь, скребя ногтями волосатую грудь, Литвинов сказал сквозь зевок:

— А мне приснилось, кто-то кричит: беда... Ну вот что, брат, катись-ка ты отсюда, а я уж тут досплю.

— Нельзя, Федор Григорьевич, у нас же сегодня гости, вы забыли?

— Гости? Какие гости, что ты мелешь?

— Она...— многозначительно произнес Петрович.— Без милиции согласилась, спросила только, не вру ли насчет вас.— И, видя, что начальник все еще колеблется, завел плаксивым голосом: — Сколько вас вожу, ни отпусков, ни выходных не знаю, а вам жалко одолжение человеку сделать.

Литвинов встал, по привычке поискал глазами гирю, которая всегда лежала около его кровати. Гири, разумеется, не было. Но в углу стоял массивный аккумулятор, принесенный на случай аварии со светом. Подошел, поднял его несколько раз, сначала двумя руками, потом одной правой и одной левой. Поставил на место, высунул руку в форточку, сгреб снегу, обтер лицо, осушил рукавом.

— Ну уж поехали, Ромео.

— Очень прошу вас, в смысле — предупреждаю. Уж вы, пожалуйста, без Ромев.

Отдав Надточиеву, сидевшему в соседней комнате, распоряжение по свертыванию штабных дел, начальник спустился с холма вниз.

— Вон она, ее клеточка,— нежно сказал Петрович, показывая на будочку из горбыля.— Вы и представления не имеете, какая она тут популярная.

В столовой домика, где Литвинов со дня въезда так ни разу и не удосужился пообедать, вспыхнула и засияла подвесками увесистая люстра. Стол оказался накрытым накрахмаленной скатертью, сервирован на три прибора с такой тщательностью, что начальник строительства даже остановился в недоумении.

— Это я все на свои любезные, вашего тут — перец да соль,— пояснил Петрович.— А посуду у Дины Васильевны одолжил, сказал, что вы сегодня ждете видного гостя.

Литвинов только поерошил на голове бобрик, подумав, не пошли бы по стройке слухи по поводу столь роскошного приема начальником «популярной» Мурки. Но, ничего не сказав, пошел в ванную бриться, разрешив Петровичу сгонять на машине за гостьей. Всякое случалось в отношениях начальника стройки к своему шоферу: и сердился он на него за лень, сибаритство и бабничество, и, выведенный из себя каким-нибудь «номером», в бешенстве выталкивал его за дверь. Даже грозил отдать под суд. Но только теперь он начал понимать, что значит для него этот человек, с которым они вместе проездили немалый отрезок жизни. «М-да... двойной крючок, не сорвется, пожалуй...» — думал он, с хрустом соскребая бритвой жесткую щетину. А из прихожей в ванную уже доносился хрипловатый, напористый, столь хорошо знакомый рабочим правобережья голосок:

— Товарищ начальник, вы верно меня приглашали или он врет?

— Приглашал, приглашал. Надо же поглядеть, кого это без моего разрешения он в моей машине катает,— ворчливым тоном ответил Литвинов, наблюдая через зеркало в открытую дверь, как уверенно сбросила гостья на руки Петровичу свое сверхмодное мешкоподобное пальто, как выскочила из валенок и заменила их туфельками на каблучках-гвоздиках, принесенными в газете, как встряхнула кудрями необыкновенного цвета и уверенно подправила помаду. «А губа у Петровича не дура, есть в ней что-то».

Несколько церемонно протягивая ему руку, гостья рекомендовалась:

— Мария. Будем знакомы.

— Да мы уже знакомы. Зубки-то у вас ох какие острые,— улыбнулся Литвинов.

— Нашли о чем вспоминать,— не смущаясь ответила девушка.— Дом ваш можно посмотреть?

Вместе с Петровичем она без стеснения обошла комнаты. Из кабинета гостья вернулась с уже известной нам, заключенной в рамку телеграммой:

— А это что? Стоит вместо портрета.

Литвинов охотно рассказал, как, будучи на Днепрострое, он, начинающий инженер, тогда бригадир комсомольцев-бетонщиков, получил однажды эту телеграмму.

— От наркома Серго, чуешь, курносая? От наркома! С тех пор вот уже тридцать лет вожу с собой, чтобы она

напоминала, как большевику с людьми обращаться надо.— И повернулся к Петровичу: — Сегодня ты хозяин, зови нас к столу. Мне, признаться, с устатку хочется стопку под селедочку хлопнуть.

Каждый новый, необыкновенный человек казался Литвинову задачей. Задачей, которую он с интересом решал. Чем сложнее она была, чем больше было в ней неизвестных, тем сильнее увлекал процесс решения. И вот теперь, не переставая, впрочем, энергично действовать ножом, вилкой, не оставляя в покое и стопку, он бросал на гостью короткие взгляды: неглупа. В речи странно мешаются и самые что ни на есть блатные и интеллигентские обороты. Эту разухабистость она, наверное, на себя напускает. Зачем? Неизвестно. И откуда у нее эта уверенность? Опять неизвестно. Сколько ей лет? Уж не из тех ли она, что приезжают на дальние стройки, отбыв наказание, с тем чтобы начать новую биографию тут, где человека ценят по сегодняшнему, а не по вчерашнему и позавчерашнему дню. И опять, пожалуй, нет: слишком уверенно держится...

Так ничего не разгадав, только еще больше заинтересовавшись, Литвинов усмешливо поглядывал на своего шофера. Тот был в ударе. Подвязав вместо фартука какую-то белую накидку, он со вкусом выполнял роль гостеприимной хозяйки.

— Вот, Федор Григорьевич, она говорит: не люблю толстых. Разве я толстый был, когда мы с вами воевали? Одной пряжкой, без ремня подпоясывался. Подтвердите это Марии Филипповне,— без умолку тараторил он.— А полнота, она от здешних, несовершенных калорий: все мучное да крупяное, а это в жир... И опять же полнота: раз человек в хорошем габарите — значит, характер мягкий. А нынче мягкий характер в большом дефиците, где его найдешь?

«Да, брат, теперь уж не сорвешься»,— подумал начальник строительства, которому нерешенная эта задача все же пришлась по душе.

14

Остров Кряжой половодье обычно не заливало. Вода затопляла заросшие тальником песчаные отмели, поднималась по оврагам и курьям вглубь, покрывала пойменные

луга, но, дойдя до обрывистых ярков, источенных дырками стрижиных гнезд, дальше не шла. Село Кряжое с тех пор, как его построили, всегда оставалось сухим, извиваясь вдоль островной хребтины. А в этом году, хоть весна была и не очень дружная, река, стиснутая дамбами Большого котлована, поднялась сверх меры и даже залила лабазы, где колхоз размещал мастерские для починки своих катеров.

Старики, вышедшие на крутоярье посмотреть на диковинное это дело, хмуро поглядывали вниз по течению бескрайне разлившейся Они.

— Выпирает нас Литвинов, как есть выпирает.

— Сеньша-то снизу прикатил из района, говорит, будто Буйные вовсе скрыла, только Яга да Чертов Рог из воды-та и торчат, и то еле-еле...

— Н-да, ведь это ж подумать только, на дне морском стоим! И что только людишки понавыдумали-та. Как ей и не серчать, Они-матушке. Ох-хо-хо!

— Худо, мужики, худо. Ну, дворы, рухлядишко — ладно. А могилки? С могилками-та как же? Неужели под воду дедов, отцов кости отдавать?

Иннокентий Седых пришел сюда глянуть, как слесари, прозевавшие большую воду, спасают на лодках оборудование затопленных мастерских. Он стоял рядом, слушал. Остров точно бы плыл по воде, весь залитый солнцем. Жирно маслилась набухшая влагой земля на огородах усадеб. Розовел, будто окутанный легкой дымкой, тальник, торчавший из воды. И над всем этим привольем, как бы прицепившись к чему-то невидимому и повиснув в воздухе, звенел, заливался жаворонок.

Оглянулся Иннокентий, и сразу поблекли краски погожего, звонкого дня. С детства привычная картина неузнаваемо изменилась. Кряжое было разворочено, повержено в прах, напоминало те бесчисленные населенные пункты, которые пришлось пройти Иннокентию в дни Отечественной войны. Но у солдата позади война, впереди война, глаз ко всему привыкает. А тут развалины родного села, разобранные срубы, печи, торчащие прямо из земли. В иных из них еще не перебравшиеся на новые места хозяйки готовили пищу. Из труб курчавясь валил дым. Все это под ярким солнцем, под шелест плывущих льдин, под хлюпанье струй, обсасывающих берега.

— ...Да-а, было сельцо на все плесо,—сказал кто-то из стариков.

— Тоже нашли о чем вздыхать, живем, как папанинцы какие на льдине! По комару, мошке́ да пауту скучать будем?—ответил молодой голос.

— Да вам-то, нынешним, что? Где встал, там и дом. Разве вы-то поймете? Что тебе до того, где пуповина твоя зарыта?..

И хотя кошки скребли на душе, слушая этот спор, Иннокентий улыбнулся: все одно и то же — отцы и дети, эта звериная крестьянская тоска по обжитому месту и это молодое стремление к новому, пусть нелегкому, пусть необычному, но к такому, что можно будет ладить на свой вкус. А сам в глубине души был все-таки со стариками. Что там перед собой душой кривить? Дело прошлое, но когда он сочинял письмо в Москву, собирал подписи, убеждал людей в области поддержать их, руководствовался он не только хозяйственными и государственными соображениями, но и этой привязанностью к родному месту, к двору, где рос, к земле, на которой работали еще дед и прадед.

Но уже в Москве, в спорах с Литвиновым, которые они вели и один на один, и в кабинетах государственных деятелей, в сопоставлении доказательств, которые обе стороны приводили в подтверждение своей правоты, Иннокентия Седых стали посещать сомнения. Прав ли он? Не смотрят ли его земляки лишь себе под ноги, не устремляя глаза вдаль? В Москве, в горячке борьбы за земли поймы, эти сомнения было легко отгонять. Но приехал в родное село, и они накатили с новой настойчивостью: а может быть, ты, Иннокентий, из-за деревьев лесу не видишь? Может быть, тебе своя курчонка дороже общественной коровы?

Не один самовар осушили они с Павлом Дюжевым и Анатолием Субботиным за этими разговорами. Молодой агроном с самого начала был против письма: большая ли, малая ли будет рядом электростанция, по-старому все равно не жить. А уж если вырываться на простор, то на большой — земли тут немереные. Чем в Ново-Кряжове хуже живется? Никуда не плавать — земля, вон она вокруг. Ее сколько угодно. Дюжев отмалчивался. Он помогал писать письмо, вел подсчеты, делал выкладки, но слова своего не говорил:

— Я тут гость... Это решать хозяевам...

И только когда однажды, среди ночи, Иннокентий Седых разбудил его и, не зажигая света, взволнованным голосом сообщил, что письмо — все-таки ошибка и что надо, пожалуй, самим до приезда комиссии уговорить земляков отказаться от своей жалобы, Дюжев обнял его и пожал руку так, что склеились пальцы...

Сразу будто спала морока, дурманившая голову, вязавшая по рукам и ногам. Иннокентий вновь не слезал со своего «козелка», вместе с любимцем своим Тольшей носился по окрестностям, осматривал близкие поймы рек и речушек, изучал карты, ища места, удобные для хлебопашества и животноводства. Тут уж он поднял на ноги и науку в сельскохозяйственном институте, и практику в лице Савватея и его сверстников, старых охотников, знавших каждую поляну, каждый ручеек на сто верст в округе. И нашлось такое место, что было и к воде близко, и недалеко от новой шоссейной дороги. Нашел на крутом берегу реки Ясной, чуть выше по течению от места, где Анатолий Субботин уже расположил так называемые молодежные выселки.

Вот тогда-то и развернулась вовсю энергия этого уже немолодого человека. Ему удалось внушить односельчанам мысль: уж если и суждено жить на новых местах, пусть огромный колхоз «Красный пахарь» станет образцовой молочной и овощной фермой рождающегося города Дивноярска. Эта идея произвела впечатление и в районе и в области, и под нее хозяйственному председателю удалось добиться у Литвинова помощи тракторами, строительными материалами, а у области — кредитами. Иннокентий первый разобрал на острове свой двор и, пока его перевозили, жил теперь то у отца на пасеке, то в Ново-Кряжове, куда до поры переехали к своим молодым родственникам некоторые жители переселяющегося села.

Все работы на острове он поручил Дюжеву, а сам хозяйничал на новом месте, «сажал» перевезенные избы на участки, руководил строительством. На острове он не показывался, втайне даже от себя боясь бередить тоску, которую гасил работой. И все-таки прошлое, от которого он старался уйти, настигло его, нанесло ему напоследок жестокий удар.

Люди, разбиравшие в Кряжом дворы, срубы колхозных служб, избы, не раз уже натыкались на памятники здешней старины. Из Старосибирска прибыл старый

знакомец Станислав Сигизмундович Онич, и вскоре же под зданием староверческой молельни, служившей уж много лет клубом, обнаружили рубленный из лиственничных бревен тайный погребок: в нем древние рукописные уставные книги, замурованные кем-то в фундамент гробы, сколоченные из крепких как камень досок, и какой-то совсем уже съеденный плесенью пергамент, к которому Онич никому не давал прикасаться.

Страшные находки были сделаны во дворе тестя Иннокентия Седых — Грачева, того самого, которого когда-то вместе с семьей после пожара в колхозном амбаре везли они с отцом на лодке в район. В уголке двора, за коровником, обнаружили камнем выложенный тайничок, похожий на колодезный сруб, в каких богатые кержаки хранили когда-то свое добро. На дне тайника лежали два скелета — большой и поменьше — мужской и женский, как сразу определил прибывший на место происшествия Онич. А в другом конце двора отрыли замурованную в кирпичный фундамент большую железную шкатулку военного образца и в ней пачки царских кредиток и много золотых монет.

Иннокентия разыскали под вечер. Он подкатил на машине прямо к развалинам двора тестя. До приезда уже вызванных Дюжевым представителей милиции он приказал перенести шкатулку в тайник, ничего не трогать и выставил на караул двух парней с охотничьими ружьями. Молчаливая толпа окружала это место. Иннокентий прошел сквозь нее, по звуку гремучего плаща угадал в темноте Онича.

— У вас фонарик есть?

Онич дал фонарь. Седых спустился вниз. Сверху было видно, как на дне ямы вспыхнул свет. Острый луч высветил оба скелета, слегка прикрытые сопревшими лохмотьями. Седых наклонился к тому, что побольше. Что-то поднял, повертел в руке. Это был старый, зеленый от окиси винтовочный патрон с зубчатым колесиком, приделанным сбоку. К нему на тонкой серебряной цепочке была прикреплена пуля.

— Что это? — нетерпеливо спрашивал сверху археолог, походивший в это мгновение на гончую, делающую стойку над тетеревиным выводком.

— Да вроде солдатская зажигалка,— послышались снизу спокойные слова.— Делали такие из патронов в

империалистическую войну.— И, бросив предмет обратно, Седых обтер пальцы и полез наверх.

— Страшная вещь... Что, что вы об этом думаете? — слышался из тьмы взволнованный шепот Онича.

— Ничего,— ответил председатель и, не оглядываясь, быстро пошел по селу, по бывшему селу, ибо под луной улица его отмечалась лишь двумя рядами безобразных куч. Но где-то тут, среди этих развалин, пел баян и девичьи голоса выкрикивали озорные частушки.

Василиса догнала отца. Она была в стеганке, в резиновых сапогах. Председатель обнял дочь за плечо, прижал к себе, и они пошли рядом. Пошли, ничего не говоря, но думая об одном.

— Папа, ты видел там, у Грачей? — спросила наконец Василиса.

— Видел. Это дядя твой, мамкин брат Николай, Кольша. И женка его Ксюшка — матки твоей подруга... И молчи до поры, слышишь, молчи!

15

Пока Онь играла, и большая вода, клокоча, неслась мимо острова, шурша крупными и мелкими льдинами, и в Кряжом разбирали и подготавливали к вывозке уже последние срубы, посреди села, на дне ямы, под охраной молодых парней лежали, будто обнявшись, два скелета. В первую ночь люди толпились около страшной находки, заглядывали в яму, строили предположения одно фантастичнее другого. Суммы, обнаруженные в железном ящике, росли час от часу: тысяча золотых, пять тысяч, десять тысяч... Но пришел день, все отправились на разборку построек, и ребята, караулившие яму, отложив ружья, сняли рубахи и расположились на досках загорать.

Иннокентий Седых переночевал в пожарном сарае. Страшная находка будто сразу утратила для него всякий интерес: приедет кто надо, разберут. Ненадолго сходил он к развалинам своего двора, отбросил ногою валявшееся на земле ржавое ведро, заметил торчавшую из-под доски тряпичную куклу, поднял, отряхнул, поглядел на нее и, улыбнувшись, положил в карман. Больше туда не возвращался: сидели в пожарном сарае вместе с Дюжевым и толковали о селе, которое надо построить,

набрасывали планы, перечеркивали, спорили. Тут и отыскал его Онич.

— Позволю себе побеспокоить вас, уважаемейший Иннокентий Савватеич. Вы уделяете такое внимание нашей бедной археологической науке. Именно, именно. Вот ваше письмо в облисполком. Подпишите его, голубчик! Вы тут просите отпустить средства на разборку этих чрезвычайно ценных острожков: великолепно, отлично сохранившийся экземпляр средневековой русской архитектуры... Их создали «Коломбы росские», как справедливо называл их Гавриил Романович Державин... Можете не читать, за грамматику не беспокойтесь. Вот мое стило, пожалуйста, вот сюда вашу подпись.

— Не надо.

— Как? Вы допустите, чтобы эти острожки погибли под водой? — ужаснулся Онич, всплескивая своими полненькими ручками.— Вы допустите, чтобы история потеряла их, как потеряла в Дивноярском их братьев, варварски употребленных на топливо в годы гражданской войны?

Седых усмехнулся. Он любил людей, преданных своему делу.

— Написали уж... В тот же день, как вас позвали, написал. Да мы и сами тут... Вон Павел Васильевич распорядился, чтобы все было сфотографировано, а бревна пронумерованы. Онь отыграет, вода уляжется, по реке и отправим. Одна барка все ваши острожки подымет...

— Иннокентий Савватеич, вы государственный, именно государственный муж!

— Ну ладно, ладно,— нахмурился Иннокентий и повернулся к Оничу спиной.

В этот день решено было попробовать провести к острову первый катер, на котором должны были приехать из района представители милиции и следственных органов. Обратно этот катер должен был увезти тех, кто нужен на берегу. Иннокентий был среди них и с нетерпением следил, как, маневрируя между льдинами, быстрое суденышко зигзагами движется к острову. На нем увидел он человека в милицейской форме, какого-то незнакомого в штатском и женщину в красном, ярком бушлате и шапочке колпачком. Вглядевшись, рассмотрел жену Петина, подумал: «Вот еще черт несет!» — и отступил за спины колхозников, ожидавших переправы.

Он был не против, когда в месяцы зимнего затишья Василиса попросилась жить на стройку: как-никак немецкий язык, да и обтешется девка возле этой городской женщины. Но как только началось переселение, направил Ваньшу за сестрой: требовались рабочие руки.

За нерадостными переселенческими делами Василиса быстро забыла о жизни в домике на Набережной. Зато Дина затосковала. Хорошенькое, свитое ею по собственному вкусу гнездо стало казаться ей пустым, скучным. Вячеслав Ананьевич был занят, возвращался усталый, хмурый, бранил все и вся. Даже словом перемолвиться было не с кем, и Дина по примеру Надточиева пыталась беседовать с маленькой Чио. Уже не раз она заводила с мужем разговор: надо бы выписать маму. Вячеслав Ананьевич мягко, но настойчиво возражал:

— Что значит «выписать»? Это пожилой человек. Она привыкла жить в определенных городских условиях... Дорогая, разве можно из-за того, что тебе иногда скучно, лишать мать привычных удобств? — Голос Вячеслава Ананьевича был ровным, но Дина уже умела отличать в нем оттенки скрытого раздражения.

— ...Каких удобств? Она же всю жизнь прожила с отцом в казарме на текстильной фабрике. Знаешь, что такое текстильная казарма, сколько там людей?.. Она скучает одна в пустой московской квартире.

— Нет-нет, это было бы неэтично — тащить ее сюда. Для тебя я все готов сделать. Но не это. Ведь речь идет о почтенном человеке, который многолетним трудом заслужил право на покой...

Недавно, как тут говорили, «вступили в строй» два новых переулка со смешными названиями — Буйный и Бычий Лоб. Каждый день мимо окон Дины из Зеленого городка двигались туда машины с домашним скарбом. В кузовах сверх пожитков сидели женщины, ребятишки. У них озабоченные, счастливые лица. Но это их счастье проезжало мимо Дины, лишь подчеркивая, что она тут всем чужая...

Однажды муж вернулся очень радостный, рассеянный, занятый чем-то своим. За обедом намазал горчицей кусок огурца вместо мяса и, вопреки своему обыкновению, не дождавшись послеобеденного часа, пустился рассказывать о том, что Москва приняла его поправку ко второму проекту. Академики были против, возражали, интригова-

ли, но поправка принята. То-то злятся его враги!.. Профессор Толстиков, наверно, с горя напьется в обществе своей знаменитой секретарши... Нет, Петин еще себя покажет! Эх, если бы не Старик, если бы по-настоящему развернуться!..

— ...А ты, дорогая, кажется, за меня вовсе и не рада?

— Нет, почему же. Рада, конечно,— торопливо сказала Дина, с удивлением замечая про себя, что ей совершенно не интересно, как там будет реагировать на победу мужа профессор Толстиков. Ей вообще казалось теперь, что живет она где-то на дне моря. На поверхности штормы, бури, сияет солнце, дуют ветры, а у нее тепло, тихо. Нервно вздрагивает во сне свернувшаяся в уголке дивана Чио, мурлычет радиоприемник, и вот уже третий день как бродит по потолку неведомо откуда взявшаяся зимою живая муха.

В обращении с Вячеславом Ананьевичем она становилась строптивой. Зная, как он этого не любит, без умолку болтала за обедом. Ботинки Вячеслава Ананьевича оставались нечищенными, даже когда он, усталый и разбитый, ночью возвращался из управления. Утром ему самому приходилось соскребать ножом засохшую глину. Даже когда он после обеда ложился на часок вздремнуть, она, напевая, расхаживала по комнате или громко разговаривала с Чио. Но муж делал вид, что ничего этого не замечает, был терпелив, ласков. Это еще больше раздражало Дину. Со страхом смотрела она теперь, как неторопливо, тщательно пережевывает он пищу, как идет эта пища по горлу, шевеля кадык, как аккуратно вытирает он после обеда свои тонкие бледные губы.

— ...А я знаю, почему ты не хочешь, чтобы мама приехала ко мне,— неожиданно даже для себя колючим голосом сказала она однажды.

Это было после обеда. Муж зубочисткой ковырял в зубах, вежливо прикрывая рот сложенной ковшичком ладонью. Он удивленно поднял брови:

— Я тебе об этом уже не раз говорил.

— Нет, не поэтому.— Голос звучал все раздраженнее. — Ты просто боишься, что разворуют твои вещи.

— Ты хочешь сказать, наши вещи... Но тебе же хорошо известно, что это отвратительное чувство собственности мне абсолютно чуждо. А вот ты собирала все

это с такой любовью, так радовалась каждому приобретению... Разве не так?

Дина замолчала. Что ответишь?.. Ах, почему он всегда оказывается прав...

— Вот что, дорогая,— сказал Вячеслав Ананьевич, обтирая зубочистку о салфетку и пряча ее в бумажник.— Все это, наверное, оттого, что ты соскучилась по этой своей Василисе. Ведь так? Я же заметил: все началось с того дня, когда сию девицу от нас увезли. Хочешь, завтра я дам тебе машину, съезди на остров. В «Огнях» писали, там археологи ведут раскопки, что-то такое интересное нашли... Я дам тебе денег, поживи у Седых...

И вот Дина приближается к знакомому острову на катере, маневрирующем меж льдинами. Остров уже недалеко. Женщина недоуменно оглядывается: «Что такое? Где это огромное село? Развалины... Каменные холмы... Печи под открытым небом... Так выглядели деревни в войну после того, как из них выгнали гитлеровцев... Неужели они все уже переселились? Так быстро? К кому же я тогда еду?.. Нет, нет, вон люди на берегу... И все-таки вдруг Василисы там нет?» Женщина оглянулась. «Ну конечно же и машина уехала. Она же сама сказала шоферу: как катер отойдет, возвращайтесь».

К счастью, чумазый паренек, перетиравший недалеко от причала части разобранного мотора, сказал, что Василиса Седых на острове. Она в той бригаде, что на фермах разбирает запарочные установки.

— Фермы-то уж тю-тю, уехали!.. Но вы ступайте вон туда, за балку. Васенка там,— сказал парень, не без усмешки оглядывая прибывшую. Действительно, наряд у Дины мало подходил к обстановке. Узкие брючки, красный бушлатик, ершистый высокий колпачок — все это должно, вероятно, преглупо выглядеть среди озабоченных, усталых людей, ломающих свои дома. Но делать нечего. Машина ушла. Вот уже и катер отчалил. Путь отрезает широкая протока, по которой идет лед...

Встреча с Василисой тоже не принесла радости. С трудом узнав девушку в одной из темных фигур, молча копавшихся возле какого-то котла, Дина бросилась было к ней. Но та, удивленно смотря на гостью, даже отступила, отводя руки за спину:

— Я же грязная, как черт болотный...

Парни, девушки с любопытством, не скрывая усмешек, смотрели на обеих. Работа прекратилась,

— Я вот к вам... к тебе... Я не знала... я думала...— бормотала Дина, краснея под этими безжалостными, насмешливыми взглядами.

Василиса молча переступала с ноги на ногу, и гостье казалось, что ей досадно, стыдно, что девушка не знает, как от нее отделаться.

— Ребята, я сейчас, на минуточку,— тоже краснея, бормотала Василиса.— Я вот только ее отведу. Ладно?

Парень в комбинезоне, должно быть старшой, разрешающе кивнул головой. Но девушка спохватилась:

— А куда же вас отводить? Вопрос... Ведь нет уже нас — пустое место. Все мы в пожарном сарае ночуем.— Мгновение она постояла в задумчивой растерянности, на лице отчетливо читалось: «Принес тебя черт не вовремя!» Но тут девушка улыбнулась: — Идея! Тут у нас археолог один с ребятишками копается. Да вы его знаете, он у нас осенью стоял. Помните? Смешной такой бурундучок. Вы с ним побудете, а потом мы вас куда-нибудь устроим... Ладно?.. Ну, пошли скорее, а то у меня тут дело...

И, взяв Дину под руку, девушка торопливо повела ее туда, где недавно стояли острожки, а теперь лежали штабеля старых, пронумерованных белилами бревен. Отвела, крикнула: «Станислав Сигизмундович, к вам!» — и, не прощаясь, побежала назад. «Не нужна, никому не нужна. Везде лишняя»,— с обидой думала гостья.

И действительно, даже Онич — галантнейший Онич — на этот раз встретил старую знакомую «как-то не так». Загорелый, потный, прикрывший лысину связанным по углам носовым платком, он, увидев Дину, удивленно поднял перепуганные мохнатые бровки.

— Кого я вижу, боже мой! — сказал он далеко не радостным голосом, но все же подошел, чмокнул руку.— Вы стали еще прелестней, истинное слово! — Но тут же, озабоченно повернувшись к мальчикам и девочкам, рывшимся в земле, закричал: — Ребята, осторожней! Девочки, следите во все глаза за отвалом. Ничего не пропускайте: ни щепки, ни гнилушки! Виноват, минуточку...

Он подбежал к школьникам, начал им что-то бурно пояснять. От обиды у Дины защекотало в горле. Но Онич все-таки вернулся. Он не мог упустить случая поделиться своими последними открытиями.

— Острожки разобраны. Их отправят в Старосибирск, возможно даже и в Москву... Да, именно в столицу нашей родины, в Москву. Найдена масса интереснейших предметов... Великолепно, уникально... Представьте, находки убедительно подтверждают умозрительные выводы, сделанные мною еще в диссертации. Полностью! Красноречивейшим образом!

Торжественно подведя Дину к месту, где на разложенных мешках лежали горки черепков, полосок ржавого железа, бусин, какая-то источенная сыростью деревяшка, отдаленно напоминавшая приклад ружья, он осторожно и со сладострастием показывал эти вещи.

— Сейчас я вам все это поясню,— вдохновенно обещал Онич, но пояснить не успел, рысцой бросился к своим юным землекопам: — Боже мой, что они делают! Прекратите сейчас же!.. Разве не видите угли? Вы вышли на жилой слой. Тут не заступ, тут руки, тут кисточки нужны...

Дина решительно подошла к нему.

— Я тоже хочу копать,— сказала она.

— Вы? — ужаснулся Онич.

— Дайте лопату,— требовательно произнесла Дина и взяла у какого-то паренька заступ.— Ну показывайте, где тут... Вы слышите?

Онич не без труда оторвался от благоговейного созерцания угольков, лежавших у него в ладони.

— Да, да, конечно, пожалуйста. Вот можете здесь, по этим колышкам снимать верхний слой... Наука будет благодарна, что такие прелестные ручки... Именно, именно прелестные...

— Отойдите, не мешайте! — Дина вонзила лопату в землю и отбросила ком влажной, темной земли прямо под ноги Оничу. В годы войны, девочкой, ей пришлось немало потрудиться на подмосковных огородах. Копать она умела и принялась за это с такой страстью, что скоро ей стало жарко. Она сбросила яркий бушлатик, шапочку-колпачок. Но жарко было и в свитере. Подумала, стянула свитер, осталась в одной кофточке. Онич, ползавший по выброшенной из траншей земле и похожий в эту минуту на грача, ищущего червяков в свежей борозде, бросал в ее сторону восхищенные взгляды.

— Осторожнее! — кричал он издали.— Водяные мозоли не лучшее украшение для прелестных ручек.

— А, не треплитесь, подите вы подальше! — отмахнулась Дина, не без удовольствия прибегнув к лексикону рабочей казармы, в которой выросла. И, продолжая вонзать заступ во влажную землю, распрямлялась лишь затем, чтобы обтирать рукавом лоб. Ветер трепал волосы, и ей казалось, что солнце давно уже не светило так ярко, земля не пахла так вкусно, а жаворонок не звенел так звонко.

— Вот только эти дурацкие штаны! Тянут в коленях, мешают, спасу нет. Угораздило же так выпялиться на смех людям,— весело сказала она.

— Боже мой! Какие слова! — Онич молитвенно сложил свои маленькие ручки с грубой, потрескавшейся на ладонях кожей.— В этой одежде вы как роза среди...

— Наверное, в поле, среди ржи,— подсказала Дина.— Роза в поле чувствовала бы себя страшной дурой.

— Но женщина есть женщина... Однажды мы раскапывали вал древней крепости недалеко от Старосибирска. Великолепнейшее древнее сооружение. И вот обнаружили потайной проход, и в нем женский скелет. Представьте, он сжимал в руке — что бы вы думали? — мешочек хны, краски для волос. Не мешочек, конечно,— следы мешочка. Но химический состав краски мы определили точно. Это была хна, именно хна, свидетельствующая о том, что аборигены этого края имели, вероятно через Китай, торговые связи с Арабским Востоком... Но дело и не в этом... Эта девушка давних веков, слышите, слышите, она выбиралась по потайному ходу к своему милому, неся краску для волос... О женщины, женщины!

Тут Онич спохватился и довольно звучно хлопнул себя ладонью по лбу.

— Боже мой, скелеты! Я вам до сих пор не рассказал, что тут три дня тому назад нашли... Неужели еще не слышали? Ну как же так? Интереснейшее открытие! Эдгар По плюс Конан Дойль... Нет, нет, это вам надо обязательно поглядеть. Правда, тут нужен не археолог, а агент угрозыска, но это тоже история края, где раньше мужик, отправляясь к куму в соседнюю волость на крестины, брал с собой ружье или топор. Именно, именно, то или другое. Без этого было нельзя.

И, дав распоряжение своим юным помощникам, Онич повел Дину под руку по бывшей улице к бывшему двору Грачевых. Но посмотреть страшную находку не удалось. Откуда-то снизу, где глинистая дорога спускалась

к причалам, слышались крики. Из-за косогора выбежала женщина в развевающемся платке и, подвернув юбки, понеслась вдоль села. Метались какие-то люди. Дина увидела Василису... Растерянная, она бежала навстречу.

— Диночка Васильночка, беда... Машина перевернулась. Народ побился. Скорее...

Сразу позабыв об Ониче, Дина бросилась за девушкой. Они сбежали с откоса туда, где толпились колхозники. Опрокинувшийся грузовик уже подняли. Раненых оттаскивали в сторону, устраивали под деревом. Они сидели, постанывая, охая, с испуганными, искаженными болью лицами. Дина сразу заметила плечистого бородача, подарившего ей когда-то рыбу. В комбинезоне, без шапки, он лежал навзничь на чьем-то брошенном на землю пальто. Не стонал, не охал, только светлые глаза его смотрели в небо с неестественным напряжением да пот сбегал с высокого лба.

Василиса тянула Дину прямо к нему.

— Павел Васильевич, вы меня слышите? Павел Васильевич!.. Это доктор, врач...

Пострадавший не шевельнулся, лишь повел глазами в сторону Дины.

— Ищите бинты и марлю; если нет — чистые простыни, полотенца... Вскипятите в чем-нибудь чистом воды.— Наклонившись к потерпевшему, Дина спросила: — Вы меня слышите?

Не разжимая плотно стиснутого рта, тот чуть заметно кивнул головой. Отбросив в сторону свой бушлат, Дина засучила рукава. Решительно сняв с Василисы косынку, повязала себе волосы. Наклонилась.

— Где вам больно? — Бородач молча стискивал зубы. Пот тек по вискам.— Вы меня слышите? — Опять утвердительное движение веками.— Ну так где же болит?— Она наклонилась к его лицу так, что ухо коснулось завитков бороды. И отпрянула: слышался скрип стиснутых зубов.

Тем временем девушки принесли из сарая санитарную сумку. Кто-то приволок паяльные лампы. С помощью их вскипятили воду в эмалированном тазу. Механику впрыснули снотворное. Забывшись в полусне, он сразу же стал стонать. Дина осмотрела остальных. Эти отделались легко: вывихнутая рука, ушибы, рваные ранки, выбитые зубы... Их перенесли в пожарный сарай, уложи-

ли на солому, застеленную брезентами. Когда несли грузного механика, он опять очнулся, стих. Только по напряженно вздрагивающим векам да по поту, стекающему со щек, можно было догадаться, как ему больно. Уложив, снова впрыснули снотворное, и он опять застонал. Особых внешних увечий не оказалось. Но он начинал стонать всякий раз, когда сознание покидало его. Можно было ожидать самого худшего — перелома или серьезного повреждения позвоночника.

Как-то совершенно незаметно для Дины окончился день. В черном квадрате раскрытых ворот сарая засверкали звезды. Засветили лампу.

Табуретка Дины стояла в ногах у Дюжева. Свет аккумуляторной лампочки, которую приладил Петьша, выхватывал из тьмы его лицо. Если бы не пышные усы, сливающиеся с могучей русой волнистой бородой,— это было бы, вероятно, обыкновенное, часто встречающееся русское лицо. «Абсолютно ничего особенного,— думала Дина сквозь усталую полудрему.— Но все-таки почему этот человек как-то сразу заинтересовывает... Почему Василиса, когда начнешь ее о нем расспрашивать, отмалчивается?.. Странно... Почему я так часто думала о нем, да и сейчас вот думаю? Еще более странно...»

Осмотрев на ночь всех потерпевших, послушав пульс Дюжева, Дина вышла с Василисой из сарая. Постояли на берегу, послушали, как, торопливо перешептываясь между собой, сталкиваясь и крутясь, быстро плывут льдины. Лед шел гуще, и было ясно, что связь с берегом не скоро восстановят, что Дине придется пожить здесь. Но это совсем не пугало...

— Диночка Васильночка, если бы не вы, мы бы тут просто пропали.

Ничего не ответив, Дина только прижала девушку к себе. Обе замерли. Взошла луна. Сразу похолодало.

— Идемте в сарай, а то простужу вас тут,— сказала Василиса.

Зашли под крышу. Присели у ворот. Недалеко играл баян. Слышался смех, взвизгивали девчата. Когда ветер дул в направлении сарая, можно было различить слова озорных частушек. Дина разобрала:

Мой миленочек не глуп,
Завернул меня в тулуп.
К стеночке приваливал,
Замуж уговаривал.

— Не слушайте,— засмущалась Василиса.— Но у нас и хорошие поют.

И как бы в ответ на это ее заверение хор разделился на мужские и женские голоса. Мужские рубили:

Я тогда тебя забуду,
Ягодиночка моя,
Когда вырастет на камушке
Зеленая трава.

И тут же, как бы навстречу им, задорно рванулись женские:

Ах, я тогда тебя забуду,
Мой миленок дорогой,
Когда вырастет на камушке
Цветочек голубой.

«Веселятся... Деревня в развалинах... Кто знает, что ждет их там, в тайге?.. Тут в сарае лежат раненые товарищи, а им хоть бы что, поют, смеются!» —думала Дина, и ей было одновременно и холодно, и тепло, и жутковато, и радостно, и немножко грустно.

А вот несколько голосов завели песню, которая в ту зиму распространилась по стране, песню «Восемнадцать лет». Она давно уже надоела Дине от бесконечных повторений, эта задумчивая песня, но тут, на острове, под небом, изрешеченным колючими звездами, мелодия звучала как-то особенно.

— Тебе сколько лет, Василек?

— Много. Как раз восемнадцать.

— А я в восемнадцать вышла замуж за Вячеслава Ананьевича... Я тогда в институте училась...— И, вздохнув, Дина задумчиво повторила припев: — «В жизни раз бывает восемнадцать лет...» — И вдруг потянулась к девушке, прижала ее к себе.— Только раз, Василек, ты слышишь!.. Запомни это. Обязательно запомни!..

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Как шутил Сакко Надточиев, безымянный город, рождавшийся в тайге, не имевший еще названия, но уже нареченный народной молвой Дивноярском, грозил стать роковым увлечением Федора Григорьевича Литвинова. Строительству электростанций Литвинов отдавал свой рабочий, не ограниченный никакими рамками день. Время, отведенное на отдых, как бы его ни оставалось мало, отдавалось городу. Начальник строительства сам вел переписку с виднейшими архитекторами, планировщиками, инженерами коммунального хозяйства, скрупулезно изучал каждый архитектурный план, вникал во все мелочи оформления улиц и площадей, придирчиво рассматривал макет любой общественной постройки. Было известно: лучший способ погасить гнев Старика — это завести разговор о городе.

В управлении говорили, что Юра Пшеничный, славившийся своим умением «подбирать отмычки» к начальственным сердцам, с нового года даже выписал себе журналы «Советская архитектура» и «Коммунальное хозяйство».

Эта страсть обходилась Литвинову недешево. Нелегко было устоять перед соблазном быстро решить жилищную проблему, окружив строительство барачными поселками. Он устоял. Смело пошел на создание зеленых, то есть палаточных, городков с тем, чтобы получить возможность сразу начать строить социалистический Дивноярск. Нелегко было отстоять такое решение. И в управлении, и в профсоюзной организации, и в областном комитете партии оказалось немало возражавших.

— Онь — это не Днепр, даже не Волга,—говорил секретарь обкома, щуря свои узенькие, но очень зоркие, насмешливые глазки.— Тут, Федор Григорьевич, Сибирь. Тут дед-мороз строгий, шутить не любит. К тебе люди со всей страны съехались. У тебя южан немало, а ну как ты их поморозишь? А?

— Замерзнуть и во дворце можно. Где дураку по пояс, там умный сух пройдет,— отшучивался Литвинов.— А я считаю, что лучше зиму-другую в утепленных

палатках пережить, чем потом годы бедовать в бараках.

— Зачем же годы? Кто же говорит, годы? — узенькие глаза секретаря обкома посмеивались.— Вы вон как шагаете. Город построишь, бараки снесешь...

— Снесешь? — нетерпеливо перебивал Литвинов.— Разве тебе не известно: ничто так не долговечно, как временные сооружения?.. Москва — прекраснейший город, а с какой стороны к ней ни подъезжай, она тебя издали бараками да дощатыми балаганами встретит. Что, не так?.. Чудо же, чудо мы вам здесь строим! Так какое же мы имеем право это чудо барачным хламом окружать! — И все больше распаляясь, Литвинов кричал своим тонким голосом: — Нет, уж извините, неужели у нас с вами слов не найдется убедить рабочих потерпеть, пожить в палатках, чтобы потом сразу въехать в благоустроенные дома? А? Что, мы с вами с рабочим классом по душам разговаривать разучились? Люди у нас хорошие, умные, хозяйственные. Разве они не поймут?

Вячеслав Ананьевич Петин приводил против такого решения не менее веские доказательства.

— Партия поручила нам строить прежде всего электростанцию. За график основного объекта мы держим ответ. За город мы с вами не отвечаем. Наше дело — обеспечить рабочих временным жильем. Социалистический Дивноярск!.. Это, конечно, красиво, но зачем распылять внимание, средства? Ради чего рисковать? Тем более, что по этому вопросу не было и нет никаких специальных решений...

— Решения, указания, директивы,— перебивал Литвинов и стукал себя ладонью по лбу.— А это на что? А собственный разум? Мы с тобой пришли сюда, как ты сам любишь подчеркивать, не с киркой и грабаркой — с великой техникой, с высочайшей наукой. На нашу станцию человечество века любоваться будет, а мы возле нее всяческие там собачеевки да шанхайчики настроим. Имеем мы на это право? Ну? Мы что, бескрылые деляги? Люди первого и пятнадцатого числа? Или мы большевики? Ну?

Петин пожимал плечами.

— Решайте сами, Федор Григорьевич, вы начальник, но я считаю долгом предупредить... Наверху вас могут не понять. Будут большие неприятности...

И неприятности действительно были. Жилищные вопросы то и дело выплывали на собраниях. В печать шли письма. Одна из столичных газет опубликовала такое послание под заглавием «Оньские Маниловы». После этого вопрос в острой форме возник на областной партийной конференции. Литвинов яростно отстаивал свою идею. Он снова и снова повторял любимую фразу:

— Большевик должен на сегодняшний день смотреть из будущего, а не из прошлого.— Литвинов фанатически верил, что будущее за него, за прекрасный город, который в муках рождается в тайге, и редактору газеты, поместившей письмо, он послал телеграмму, оканчивавшуюся словами: «Время покажет, мы ли Маниловы, или вы Коробочки».

Но при всем том, опытный человек, он чувствовал, какую ответственность взвалил на свои плечи. Сразу поняв значение почина «домовых» и вообще всего дела, затеянного Ганной Поперечной и ее подругами, он ухватился за него. Когда развернулось строительство настоящего города и началось массовое переселение, движение «домовых» было уже немалой силой. Литвинов пригласил общественно-жилищных инспекторов, как теперь назывались «домовые», к себе на товарищеский чай. Толькпдлявас получил приказ постараться. На столах, внесенных в кабинет начальника, было тесно от всяческих немудреных угощений. Литвинов пришел на вечер непривычно торжественный, в накрахмаленном воротничке, давившем ему шею.

— Товарищи женщины,— сказал он,— самое тяжелое миновало. Время зеленых городков кончается, и мы — управление, партком, профком — все низко кланяемся вам за то, что вы помогли без бед пережить и эту очень суровую зиму.— Он действительно отвесил гостям низкий поклон. — Теперь нам надо жить подробнée. — Он подумал и повторил: — Да, именно подробнее. И мы всем треугольником ждем, что вы нам и в этом поможете.

После чая Петрович был послан во Дворец культуры за баянистом. Зазвучали песни, начался пляс. Тоненьким своим голосом Литвинов сам завел «Вдоль да по речке...», и когда песня разгорелась, он, будто сбросив с плеч годков эдак тридцать — тридцать пять, стал выпевать задорный, смешной припев:

Сергей поп, Сергей поп,
Сергей валяный сапог,
Пономарь Сергеевна, и звонарь Сергеевна...

Женщины помоложе удивленно смолкли. Новое поколение не знало этого припева комсомольцев первых лет. Зато те, что постарше, вспомнили свою юность и с особым задором выкрикивали:

...Вся деревня про попа,
Ламца дрица гоп-ца-ца, разговаривает,
Ай да ребята, ай да комсомольцы,
Браво, браво, браво, молодцы!

И когда выкрикивали эти последние строки, начальник строительства, сунув в рот два согнутых пальца, поразбойничьи подсвистывал хору.

Потом начались танцы. Проявляя совершенно неожиданную для его массивной квадратной фигуры ловкость, Литвинов кружил в вальсе Ганну Поперечную, почти отрывая ее от пола. Он весь сиял, и все видели, что начальник веселится не меньше своих гостей, что ему приятно, что у него хорошо на душе. Синие глаза довольно щурились. Отведя на место свою уставшую даму и тяжело усевшись на стул рядом с Ладо Капанадзе, он еле передохнул:

— Фу, аж взопрел!.. Ну как, есть порох в пороховницах? То-то...— И вдруг, как-то сразу отключившись от шумного веселья, заговорил задумчиво: — Молодость-то забывать нам нельзя. Нельзя! А в годы культа мы от нее открещиваться было стали. «Хозяин»... «Сам»... «Дал команду»... Тьфу!.. Слова-то какие-то дохлые. Разве на командах далеко уедешь? Вон, Ладо, она пляшет, наша сила. Скомандуй — может, и подчинится, может, что-нибудь и сделает, а тронь ее за сердце — горы свернет. Помню, студентом я к себе в Тверь приехал. Учеба давалась тяжело, перед зачетами вымотаешься, все ляжки себе исщиплешь, чтобы не уснуть... Еду к землякам и мечтаю: вот уж отосплюсь... Приехал, а они город переделывают, трамвай сами на окраины ведут. И не в порядке там каких-нибудь директив или команд «сверху»... Сами!.. Да с песнями, да с плясом... И забыл я про сон. Так и проотдыхал с киркой да с лопатой.— Литвинов помолчал и опять смачно плюнул.— «Хозяин приказал». «Дал команду». Разве это коммунистическое? Слова эти не коммунизмом — царской казармой пахли...

Секретарь парткома с удивлением смотрел на начальника строительства. Литвинов словно помолодел, на массивном лице появилось что-то задорное, юное, комсомольское. Вдруг он спросил Капанадзе:

— А мы с тобой, Ладо, служителями культа не были? Были. Верили в него? Верили... И как верили!.. Портрет со стены снять, бюстик или какие-нибудь иные культтовары в чулан выбросить — дело плевое... Надо нам этот культ из себя, как гной, выдавливать — вот что.— Литвинов помолчал, растроганно глядя в сторону веселящихся женщин.— Пляшут... А это ведь они нас с тобой, парторг, через эту трудную зиму целыми провели... Хорошо, а? Хорошо тебе сейчас? Эх, вспомним молодость, тряхнем стариной! — И крикнул баянисту: — А ну давай, начальник, «барыню»!

И с той же неожиданной для его фигуры легкостью, пританцовывая, пересек он свой кабинет и молодецки задробил перед пожилой тощей женой машиниста электровоза, вызывая ее в круг...

— Ну как, из норы вашей скоро переезжаете? — спросил Литвинов у Поперечной, провожая до порога шумных своих гостей.

— Да нет, пообождем, Федор Григорьевич,— неопределенно ответила Ганна.

— Что так?

— Да уж так вот. Семьей решили...

Заселение еще четырех домов со всеми удобствами в центральной части Дивноярска шло полным ходом. Поперечные тоже получили приглашение переселяться, но на семейном совете решено было пообождать, пока не начнет застраиваться Птюшкино болото, как по старинке еще именовали город-спутник, возникавший чуть южнее основного жилого массива Дивноярска. Его предложили застроить небольшими двух- и четырехквартирными домами. Ганна и Олесь, любившие в свободную минуту покопаться в земле, решили именно здесь пускать корни. А для этого нужно было подождать, пока новый, недавно начавший работать домостроительный комбинат начнет печь маленькие стандартные домики, компактные и удобные, чертежи которых Литвинов добыл в мастерской одного еще малоизвестного, но очень ему понравившегося архитектора.

Городок, которому предстояло стать спутником Дивноярска, пока что существовал только на планах. Его

улицы были намечены колышками, торчавшими из снега. Названия этим улицам решено было дать от деревьев, которым предстояло быть посаженными аллейками вдоль тротуаров. Поперечным отвели домик по улице Березовой, 6. Супруги побывали там, полюбовались на колышки. Олесь сказал «добре» и больше туда не ходил. Выписанный из больницы на домашнее лечение, он захватил с собой некий несложный механизм, который ему теперь надлежало все время сжимать и разжимать. Тренируя руку, он утром вместе с экипажем отправлялся в забой. Забирался в кабину, садился возле брата и часами сидел рядом, слушая пение мотора, дребезг ковша, уханье земли, валившейся в кузова самосвалов. Гимнастику руки можно было делать и здесь, зато первый раз в жизни он наблюдал работу как бы со стороны. Подмечал неиспользованные возможности, давал брату советы. Рука заметно крепла, и Олесь радовался приближению дня, когда он сам снова сядет у рычагов этой машины, которая казалась ему прекрасной.

И возвращался он из забоя веселый, оживленный, полный замыслов и надежд: хлопцы ждут, хлопцы дни считают, хлопцы любят его, заботятся о нем.

Но в этот день Олесь вернулся домой задолго до конца смены. Он прикатил на мотоцикле брата и, даже не оглянувшись на забрызганную грязью машину, рванул дверь. Дома была лишь Нина. Она готовила за столом уроки.

— Где народ?

— Сашко в школе, а мама... Ой, что сегодня у мамы вышло! — Толстушка соскользнула с табуретки, подошла к отцу.— У мамы ин-цин-дент,— сказала она, раздельно произнося это слово.— Она в домах, на Буйной улице. Там такие безобразия, такие безобразия... Штукатурка валится, какие-то дутики лопаются, форточки как это... наперекосяк... Ужас, ужас... Мама им там всем хвоста крутит.

— Крутит хвоста, а мы с тобой, Рыжик, как же?

— А что мы?.. Ах да, совсем забыла, мама мне велела вас обедом накормить,— спохватилась девочка. Она развернула окутанную газетами кастрюльку.— Вот вам борщ, его со сметаной едят, но сметаны, кажется, нету.— И достав из-под подушки покрытую тарелкой мисочку, поставила на стол. — А это вареники с сыром, только не все ешьте, маме оставьте. Она придет голодная

как волк.— Сказав все это, девочка опять вскарабкалась на табурет. Посмотрела на отца: — Что же вы?

— Не лезет в меня сегодня что-то борщ,— сказал Олесь, отставляя тарелку...— Мама-то наша скоро придет?

— Вот накрутит хвоста и придет. Ешьте и не мешайте мне... Ой, да...— Девочка даже подскочила на табурете.— А я вашего Старика видела, этого, который хотел меня директором больницы сделать...

«Крутит там кому-то хвосты, а тут и поговорить не с кем»,— грустно подумал Олесь, отодвигая и вареники. Он оделся, захватил машинку для тренировки руки, которую Нина называла пищалкой, и вышел на воздух. На миг остановился, ослепленный солнцем, постоял, поскрипел машинкой, не торопясь спустился с откоса, туда, где из талого снега торчала толстая колода. На ней любил он посидеть перед сном. Весь снег вокруг был забросан окурками, спичками. Сейчас его оставалось уже немного, этого крупитчатого, грязноватого, засыпанного хвоей снега. Ниже колоды с шумом, с грохотом катил свои мутные воды набухающий ручей. Глядя на него, Олесь задумался. Не теплой и ласковой, как в степях родной Полтавщины, а могучей, буйной, удалой была весна в таежных краях. Рядом с человечьим жильем клокотал ручей, тихо прятавшийся всю зиму подо льдом и снегом и превратившийся сейчас с мутную реку. Его шум напоминал грохот поезда, идущего по мосту. Он далеко разносился во влажном воздухе, напоенном ароматом нагретой солнцем хвои.

Поперечный сидел возле самой воды. Тончайшие брызги орошали лицо, руки. Хлопок дверцы автомашины, донесшийся сверху, заставил его вздрогнуть. Оглянувшись, он увидел совсем близко от этого дикого потока дверь в землянку. Нина развешивала на кустах орешника стираное белье. Ганна легко сбегала по тропинке с откоса. Усталая, с непокрытой головой, она присела рядом с мужем, собрала концом платка бисеринки пота, выступившие на переносице.

— У, добралась-таки до дома, любый мой... Столько дел. Тебя, батько, хоть накормили тут без меня? Сонечко,— крикнула она дочке,— уж поухаживай и за мамкой-гулепой, собери там что-нибудь поесть! — Она наклонилась, поцеловала больную руку Олеся.— Все скрипишь? В забой ездил? То-то, я вижу, Борькин мотоцикл у дверей валяется. Ну, как они без тебя бедуют?

Олесю не терпелось рассказать жене о том, что произошло в забое, поделиться мыслью, которая сегодня возникла у него и теперь не давала покоя. Но Ганна, задав свои вопросы, слушать ответа не стала и принялась сама рассказывать о безобразиях, которые они выявили в новых домах, о том, как «домовые» тыкали прораба носом в «дутики», появившиеся на стенах, как «взяли они в работу» бригадира штукатуров, и что они ему сказали, и что он им ответил. От происшествия с «дутиками» она без передышки перешла на садочки, которые решено разбить возле домиков на Птюшкином болоте, и радостно сообщила, что опытная сельскохозяйственная станция Старосибирска обещает прислать для тех садков стелющиеся яблоньки.

— Они по земле пойдут, по жердочкам. Их на зиму снег покроет. Никакой мороз им не страшен.

Перешли в землянку. Уселись за стол. Машинально и с аппетитом уничтожая борщ, должно быть не замечая, что она ест, Ганна рассказывала:

— А мы так и вишни в садочке посадим. Ламара Капанадзе, правда, не советует, говорит первый мороз убьет. А я все-таки попробую. Укрывать их на зиму будем... Як же гарно у нас на Полтавщине, колы в садках вышни цвитуть... Всэ биле та рожеве... Та ты нэ чуешь, чи що?

— Слушаю, слушаю.— Олесь старался прикрыть обиду улыбкой, и улыбка получалась кривая, напряженная: мысль, которая поначалу показалась ему самому странной, овладевала им все больше. Захватывая воображение, она, эта мысль, требовала обсуждения, а Ганна болтает там о каких-то вишнях и ничего не хочет замечать.

А волновало Олеся вот что. Впервые очутившись в забое в роли наблюдателя, он все время видел, как разно работают два одинаковых экскаватора — его и соседний, где у рычагов сидел уже известный нам Негатив. Обычно это доходило до него лишь в цифрах, и — что там греха таить! — где-то в глубине души Олесь испытывал даже приятное чувство оттого, что выработка его хлопцев так выгодно отличалась от выработки несчастных «негативов». Теперь он видел не цифры, а самих людей, видел, как они мечутся в пустых стараниях, как зло посматривают друг на друга, а все вместе — на незадачливого своего начальника и как, кончив смену, расходятся, стараясь не глядеть друг другу в глаза.

— Пособить бы им надо,— сказал Олесь брату.

— Им пособишь,— хохотнул Борис,— у них как у Шпаков! Помнишь, наискосок от нас Шпаки жили? Все дрались по праздникам. Бывало, батько Шпак кричит старшему: «Сашко, подай топор!» Старший среднему: «Грицько, батько топор требует». Средний младшему: «Юрко, стервец, батьке топор нужен...» Им одна помощь: вместе с Негативом поганой метлой из забоя гнать, чтоб дела нашего не позорили.

— Чушь говоришь! — рассердился Олесь на брата.— Люди тонут, а ты мимо идешь.

— Ну, взяли бы да и помогли.

— И помогу...

«Помогу» — это легко сказать. Сколько уж раз Олесь толковал с Негативом! Началось еще в больнице. Да и теперь вот подолгу беседовали они в перерывах. И опять Негатив слушал, кивал головой, со всем соглашался, что-то даже записывал. А все уходило, как в песок, не оставляя следа. И вот сегодня утром Олесь поднялся в кабину соседского экскаватора. Поднялся и сразу почувствовал: встретили удивлением, недоумением, даже неприязнью. Розоватое лицо Негатива стало темно-багровым. На потемневшем фоне еще отчетливее обозначились странные белые, будто прозрачные волосы.

— Попробуйте, попробуйте, Александр Трифонович! Испейте из моего стаканчика,— сказал он, неохотно уступая место.

В кабине наступило напряженное молчание. Пять пар глаз следили за каждым движением, и Олесь уже чувствовал, что покалеченная рука плохо слушается, что тут, на незнакомой машине, с незнакомыми людьми вряд ли что у него выйдет.

— Что, Александр Трифонович, невкусно? — спросил Негатив и с притворным смирением, сквозь которое угадывалось злорадство, торопливо добавил: — Вот и мне тоже...

Кровь бросилась в лицо Олеся: признать поражение, расписаться в своем бессилии? Да завтра же заговорят об этом по всем забоям. Ну нет, не бывать тому, хлопче! Сосредоточившись, Олесь постарался добиться того гармоничного слияния с людьми и с машиной, какое сообщало работе истинную красоту. И ничего не получалось. Рука слушалась все хуже. Движения стали причинять резкую боль.

— А вы не надрывайтесь, не насилуйте себя,— громко, явно с расчетом на чужие уши советовал Негатив.

И кто-то из его людей насмешливо фыркнул:

— Известно — чужую беду руками разведу.

Олесь вспыхнул. Он уже понимал: механизмы не отлажены, управление не отрегулировано. Пока все это не приведешь в порядок, ничего не добьешься, а тут еще рука. Встать и уйти? Завтра же раззвонят по всем забоям. «Ах, дьявол, что же делать?»

Насмешливый голос опять произнес сзади:

— Чужой ворох ворошить — только глаза порошить.

Олесь все-таки остановил машину, поднялся. Негатив стоял, опустив прозрачные ресницы. Остальные откровенно ухмылялись.

— Рука вот не зажила,— с трудом выдавил из себя Поперечный, стирая ладонью пот со лба. И тут же услышал:

— Это вам не пенки-сливочки снимать.

— Хватит! Поразвязали языки. Знаете же, что у Александра Трифоновича производственная травма.— Негатив с трудом скрывал свое торжество. Вместе с Поперечным он вылез из кабины и зашептал: — Убедились? С такими орлами, как ваши, всю землю перекопать можно. Вот они как без вас вкалывают. А с моими разве только за гробом ходить.

Он говорил тихо, но до кабины его слова все-таки долетели. Оттуда послышалось:

— За твоим гробом с полным удовольствием...

Лицо Негатива будто кровью омылось, уши стали свекольного цвета.

— Ну не сволочи, а?.. Паразиты, чужеспинники!

— Зачем так о людях! — начал было Олесь.

— Люди! Разве это люди? — В словах Негатива звучала ненаигранная печаль.— Я тут подсчитал финансы. Прикинул заработок — ну, и в «Индии» домишко заложил... А с такими разве заработаешь? До крыши дом поднял, а на шифер денег нет, на окна денег нет... Горю...

«Индия» — так прозвала людская молва поселок индивидуальных застройщиков, что начал расти на север от основного массива. Олесь никогда там не бывал, но знал, что такой существует. Появилась даже автобусная линия, которая так и называлась «Котлован — Индия».

— В долги по уши влез,— сетовал Негатив.— Вам это разве понять? А вот сели бы в мою кабину, поработали бы с моими обормотами — сразу бы все перья повылезли, как у кенара с плохой пищи...

Никогда никто не наносил Поперечному такой обиды: «пенки-сливочки», «перья повылезли»... Хотел людям помочь, а они... Не оглядываясь, дошел Олесь до своего забоя, взял у брата мотоцикл и, несясь по развалившейся дороге, сердито думал: «Если бы не рука, показал бы я этим чертям работу!» И вдруг пришла мысль: «А что? Может быть, действительно показать? Оставить своих на Борьку, пересесть на их драндулет да и показать...»

Там, внизу, возле потока, который с грохотом ворочал камни, нес бурелом, Олесь снова и снова возвращался к этой мысли. Многое было против. Легко ли бросить своих хлопцев — первый на строительстве экипаж коммунистического труда!.. Как он гордился, когда они все поднялись вслед за ним в Дивноярское начинать все сызнова! Борис с третьего курса техникума ушел, двое хлопцев расстались с девушками. Такие люди! И их бросить? Но коммунистический труд — это значит думать не только о себе. Хлопцы опытные, неплохо работают с Борькой, а те... Вон они, будто наядренный чирий — дотронуться нельзя... А что, в самом деле, если показать чертям чумазым, как это он пенки-сливочки снимает?..

Вот об этих-то беспокойных мыслях и хотелось поскорее рассказать Ганне, рассказать обстоятельно, неторопливо, заново переживая, уже вместе, все, что сначала его обидело, затем озадачило, а теперь вот увлекло. Так уж у них было заведено. И именно так — обстоятельно, представляя всех в лицах и даже изображая эти лица, рассказывала ему жена о том, что она сегодня пережила.

— Постой трошки, Ганусся,— в который уж раз пытался он остановить ее и, видя, что это не получается, выпалил: — Я решил от своих хлопцев к «негативам» уйти. Понятно тебе это?

Ганну будто остановили на бегу —такое у нее на лице появилось выражение.

— Шуткуешь ты? Як це можлыво? — воскликнула она, как всегда в минуту крайнего волнения переходя на родной язык.— Да почему?

Почему? Этого Олесь и сам в ту минуту не знал. Решение пришло само собой, в сумбуре чувств. Но, еще

не отдав себе отчета, почему он на это идет, Поперечный уже знал, что сделает именно так и уже никому не удастся его от этого отговорить.

— Олесь, Олесь же,— трясла его жена за руку.— Ведь шутишь? Ну, скажи: шучу... Хлопцам-то какая обида. У них только и разговору: вот Трифоныч вернется. Ну зачем тебе это, зачем?

— А разве людям помогать не надо? — задумчиво ответил Олесь.

— Да на кой бис сдались тебе эти «негативы»? Хлопцы — своя семья. Ты их поднял, а эти? Что тебе до них? И еще: не молодые уж годы! О себе подумай.— Женщина чуть не плакала.

— Не надо, Ганеся,— сказал Олесь, ища по карманам сигареты. И добавил, вздохнув: — Это уже решено.

Он вышел из землянки. Лишь с третьей спички удалось ему закурить. «Ну вот и жинка уже знает. Теперь самое тяжкое — известить хлопцев»,— думал он. Во тьме, сотрясая землю, грохотал поток. То, что давеча мелькнуло лишь как некое предположение, как тема для обдумывания, для разговора с женой, уже отвердело. Хлопцы выгребли на стремнину, управляются без него. А «негативы», они весь забой назад тянут, им нипочем одним не подняться, изверились, крылья опустили. Грохот потока не заглушал и малых весенних звуков. В зарослях тихо журчал ручеек, пробивавшийся к большой воде. В кронах деревьев в темноте продолжал жить неумолчный, по-весеннему тревожный шум. Сквозь ветви просвечивало несколько бледных огней, двигавшихся в одном направлении. Это обитатели Зеленого городка ехали заселять новые дома на улице Дивный Яр. Хлопнула дверца автомашины. Послышались знакомые голоса. Среди них выделялся голос Бориса. По обыкновению своему, он на весь лес рассказывал что-то, что казалось ему интересным. Олесь торопливо притушил о ноготь сигарету: в таких делах лучше рубить одним взмахом. Он втоптал окурок в грязь и решительно двинулся на свет фонарика, опускавшегося по тропинке.

2

Разные люди по-разному отнеслись к странному известию о том, что Олесь Поперечный покинул своих знаменитых хлопцев, приехавших вместе с ним, и ушел в экипаж, который собирались распускать.

Когда сами хлопцы услышали это в тот весенний вечер от Олеся, они попросту не поверили:

— Разыгрываешь, Александр Трифонович? К «негативам»... Скажет тоже!

— Сегодня получка. Они вместе в забегаловку потопали. Ступай, Трифонович, у них шестого не хватает. Негатив-то не пьет: у него язва в кармане.

А дюжий Борис сгреб брата в охапку, поднял в воздух:

— Чем людям голову морочить, сказали бы лучше, когда на работу выйдете... Деньки считаем...

Начальник землеройных работ на этом участке, Макароныч, получил официальное заявление Олеся, вскинул на Поперечного глаза и раза два хлопнул медными ресницами:

— Не вижу логики. То, что они недодают, Александр Трифонович, вы перекрываете сторицей. Да и неудобно: в газетах то и дело — Поперечный, Поперечный. И вдруг — нате, Поперечный исчез. Если вы настаиваете, я уведомлю, конечно, товарища Надточиева, но советую подумать, крепко подумать.

Надточиев, по обыкновению разгуливая по кабинету, заложив руки за спину, с папироской, приклеившейся к нижней губе, слушал Олеся с любопытством. «Что им движет? — старался отгадать инженер.— Материальный интерес? Исключается. Честолюбие, слава? Да может ли быть слава больше, чем у него с хлопцами?.. Так что же?» Оставалось одно предположение: брата выводит на большую дорогу.

— Но Борис Поперечный и так силен. Вот смонтируем третий «Уралец» — дадим ему. Это я вам обещаю. А тот экипаж мы распустим...

— Думаете, брата тащу? — угадал Олесь мысли инженера.— Зря. Я о них, о «негативах» этих, Сакко Иванович. Это ведь легче всего: идите, мол, с богом ко всем чертям. Так всегда и делают, отсталого-то ведь и собаки рвут. Нет, ты, хай его грец, разбуди. Пусть он поймет: глубже пашешь — веселей пляшешь, как у нас на Украине говорят.

Инженер на миг остановил свое движение по кабинету, зажег потухшую папиросу. Вот уже на третьей стройке работали они вместе. Надточиев знал, что в этой русой, уже седеющей голове порой рождаются такие технические идеи, что и инженер снимет перед ним шляпу.

Кое-что из придуманного хлопцами Поперечного уже принято конструкторами, модернизирующими «Уралец». Но то, с чем пришел этот человек сейчас, таило что-то непонятное, выглядело, пожалуй, даже нелепым. Надточиеву хотелось предостеречь старого знакомого от ложного шага.

— Я знаю этих «негативов». В экипаже распространился какой-то скверный грибок взаимного недоверия, неприязни. В маленьком коллективе это болезнь страшная...

Поперечный сидел, сбычив лобастую голову, пощипывал пшеничные усики, играл острыми скулами.

— Грибок. Верно, грибок. А только как же, люди и в коммунизм с этим грибком поковыляют? Или там возле ворот какой-нибудь свой апостол Петр с ключом встанет: здоровые проходи, а которые с грибком — вертай назад, в вошебойку. А вот мой батька говорил: «Человек неученый — что топор неточеный». Неточеный топор не выкидывают, его точат. Разве не так?

— Но бывает, что точить бесполезно. Рентабельнее выбросить. И люди бывают, с которыми возиться — все равно как учить попугая говорить еще одно слово. Подумай, Александр Трифонович, еще раз подумай. Все взвесишь — и потолкуем.

Вечером Надточиев рассказывал о замысле экскаваторщика Вячеславу Ананьевичу Петину. Тот слушал задумчиво, оттягивая и отпуская резинки своих нарукавников. Они издавали резкие щелчки.

— Нет, это не надо разрешать,— сказал он.— Такие люди, как Поперечный, себе не принадлежат. Это золотой фонд строительства, его нельзя разменивать на медяки. Поперечный — имя. Маяк! И вдруг, ударившись в какие-то психологические эксперименты, маяк гаснет... Ведь не с него — с вас спросят: кто разрешил, почему не удержали? Наоборот, мы должны создавать ему условия для новых и новых рекордов. Он, как пишут журналисты, правофланговый, по нему все равняются.

И даже Капанадзе, всегда живо подхватывающий любое доброе начинание, встретил затею Поперечного настороженно.

— Вот что, друг,— сказал парторг, поглаживая свои седеющие усики.— Хороший и добрый ты человек, но... Не делаю секрета: буду советоваться со Стариком. Заходи завтра в четыре ноль-ноль в партком, сообщу результаты.

Но заходить в партком вторично Олесю не пришлось. Поздно вечером, когда Поперечные-младшие уже заняли

оба этажа своей мудреной кровати, а старшие тоже готовились укладываться, послышались голоса и в дверь громко постучали.

— Кто тут? — спросила Ганна, накидывая халатик.

— Свои, свои,— раздался тонкий, хрипловатый голос.— Мышка-норушка да лягушка-квакушка.

— Никак Старик! — вскрикнула Ганна и скрылась за занавеской, отгораживающей в заднем конце землянки родительскую кровать.

Шлепая босыми ногами, Олесь бросился открывать. И в самом деле, вместе с бражным лесным воздухом, вместе с шумом потока в землянку ввалился, именно ввалился, Литвинов. И от этого она сразу стала тесной. За ним, держа в руках кепку, стоял Капанадзе.

— Друг, ты извини, что мы так поздно,— начал было он.

— Нечего извиняться,— перебил Литвинов.— У нас на Верхней Волге говорят: кто вместе на печи посидел, тот не гость, а свой. Ну, Олесь, куда ты свою опытно-показательную жену дел? Я тут вроде ее голос слышал.

— Туточки я, Федор Григорьевич,— пропела Ганна, выходя из-за занавески и одергивая на себе джемпер...

— Ух ты, какая пышная! Гляди, Олесь, как жинка-то расцвела.

— Редко мы ее видим теперь, мамку-то нашу,— ответил Олесь.— Без нас расцветает.— Он уже сунул ноги в валенки и набросил на плечи старую шинель.

— А, взревновал. Ну, это на пользу. Любовь без ревности как щи без соли.

Олесь с нетерпением смотрел то на Литвинова, то на Капанадзе. Парторг утвердительно кивнул головой.

— Так вы уже знаете? — тихо спросил Олесь Литвинова.

— Ты, земляк, в будущее заглянул,— ответил тот и спросил задумчиво: — А назад не попятишься? Ведь в незнакомую дверь шагаешь. Не струсишь?

— Не струшу, Федор Григорьевич,— ответил Олесь, стараясь согнать с лица счастливую улыбку.

— Точно?

— Точно, Федор Григорьевич.

— Добрая курица тебя высидела... Тебе, Ладо, совет: займись этим делом вовсю. Плюнешь на искру — погаснет, а раздуешь — большой огонь будет... Раздувай. А тебе мы, Олесь, верим, не подведешь...

Перед праздником в «Огнях тайги» появилась статья. «Росток коммунизма» называлась она. Было в ней и о семилетке, и о всеобщем подъеме наших дней, и об энтузиазме советских людей, возбужденном гигантскими планами. Но главное в этой статье было то, о чем на следующий день заговорили и в общежитиях, и в котлованах, и в карьерах, и в автобусах, везущих людей на работу, и в магазинных очередях: Олесь Поперечный покинул своих знаменитых хлопцев и ушел к неумехам. Автор статьи называл это благородным почином, ростком коммунизма, призывал следовать примеру Поперечного. Читая, люди задумывались, и — что греха таить — начинались догадки:

— С братом не поладил. Тот его во время болезни обошел, вот и поругались.

— Ничего он не поругался, в Герои рвется.

Те же, кто знал Олеся, кто работал с ним рядом, кто привык его видеть человеком, не умеющим ходить путями неправедными, только разводили руками. И когда вскоре в сводке землеройных работ хлопцы Бориса Поперечного оказались на одном из первых на строительстве мест, а новая бригада Олеся не была в ней даже упомянута, это прозвучало как гром в ясный полдень...

— Еще не привык, не окреп после болезни,— сочувственно объясняли одни.

— Зарвался,— злорадствовали другие.

Но большинство молчало, ждало, как оно будет дальше.

3

В разгар лета на Онь пала тяжелая жара.

Где-то недалеко от Оньстроя загорелась тайга. В знойном безветрии дым не рассеивался, льнул к земле, полз по улицам строящегося города, заполнял карьеры, котлованы, медленно клубясь, вис над рекой. Солнце выкатывалось по утрам из-за утеса Бычий Лоб огромное, багровое, будто налитое кровью. Ровным тусклым шаром оно поднималось в зенит. К полудню гарь становилась душной, ела глаза, першила в горле.

От этой дымной духоты особенно доставалось тем экскаваторщикам, бульдозеристам, бетонщикам, шоферам, что начинали дамбу перекрытия и готовились к строитель-

ству моста, с которого предстояло отсыпать банкет, чтобы заставить Онь свернуть с извечного пути, взять вправо, в пролеты уже поднимающейся плотины, в турбины будущей электростанции. Именно сюда, на этот участок, находившийся у подножия утеса Дивный Яр, воздушные течения и выносили дым, такой густой, что людям порою приходилось дышать через влажную ткань.

Прорабом на этот ответственный участок, по представлению Петина, недавно был выдвинут инженер комсомолец Марк Аронович Бершадский. Свою контору он разместил в снятом с колес дощатом вагончике, в каких трактористы кочуют по полям в горячие уборочные дни. Здесь теснился весь его аппарат. Сам же инженер в альпинистских ботинках на толстой подошве, в шортах, прикрыв свою буйную рыжую шевелюру носовым платком с завязанными уголками, с полевой сумкой, в которой он держал нужные ему бумаги, весь день лазил по диабазовым и песчаным карьерам, торчал на дамбе. Здесь на ходу решал он дела и вносил в это столько страсти, что его возбужденный голос, казалось, доносился одновременно из разных мест.

Когда таежный пожар начал утихать и дым поредел настолько, что днем стало можно ездить, не включая фар, на лохматую голову молодого прораба обрушилась новая беда — начался летний паводок. Было, конечно, известно, что на сибирских реках, которые берут истоки в снегах Саян, летом вода бурно поднимается. В расчетах производства работ это, разумеется, предусматривалось. Но Бершадскому, уроженцу мест, где летом реки мелели, а то и пересыхали вовсе, было удивительно, а как механику было и страшно увидеть, что в густой зной Онь начала убыстрять и без того стремительное движение воды и уровень ее стал повышаться.

Несясь со скоростью более шести метров в секунду, река налетала на дамбу, мысом врезавшуюся в речную гладь, с урчанием разбивалась о диабазовую облицовку и неохотно поворачивала, играя, как спичками, бревнами разбитых плотов.

Стоя на острие дамбы, Марк Бершадский растерянно глядел на это речное буйство. Он лучше, чем кто-нибудь, знал, что покрытие, сложенное из огромных кусков диабаза, выдержит и не такой напор. И все-таки, когда поток гудел, бурлил, а земля дрожала под ногами, было жутко. И странно было видеть, как какой-то бородатый

рыбак, фигура которого все время маячила в дымной полумгле, сидит на острие дамбы, у клокочущей воды, то и дело вырывая из нее сверкающую рыбу.

Не сама дамба беспокоила прораба. За дамбой, в проране, предстояло построить мост на стальных опорах, с которого на будущий год и будет вестись перекрытие реки. Для этого нужно соорудить и опустить под воду кессоны. И инженер думал: какая же это будет нечеловечески трудная работа, какая медленная, дорогая и какая опасная! Не учти что-нибудь, прозевай какую-нибудь мелочь — и в такое вот половодье поплатишься.

— И какая все-таки силища! — произнес он вслух, невольно любуясь буйством воды.

Рыбак, сидевший у его ног, не обернулся, он только повел удилищем и снова застыл в каменной неподвижности, в которой угадывалась, однако, охотничья настороженность.

— Ну и реки у вас тут, дядя! — продолжал инженер. — И сколько же дней эта петрушка займет?

Рыбак подсек. Рыба размером с ладонь затрепетала на конце лески. Бородач взял удочку под мышку, неторопливо поймал трепещущую рыбу, отцепил ее и, наклонившись, пустил в клубящийся поток.

— Зачем? — не вытерпел инженер.

— Пусть подрастет,— ответил рыбак. Обернулся, неторопливо осмотрел собеседника, начав с альпинистских ботинок на голых тощих ногах до красного, распаренного лица, и, явно пряча где-то в зарослях бороды улыбку, добавил: — А петрушка эта, племянничек, будет продолжаться до тех пор, пока в Саянах не прекратится таяние снегов и дебит в истоках не понизится до нормального.

Затем бородач надел на крючок козявку, поплевал на нее и забросил удилище за кромку пены. Но инженер успел заметить, что голубые глаза собеседника мутноваты, набрякшие веки красны, что большие руки его дрожат и что от него несет водкой. «Свалится еще, завертит его, и поминай как звали».

— А между прочим, гражданин, ловить здесь рыбу запрещено,— не очень уверенно произнес Бершадский.

— Кем? По какому закону? — Бородач даже не повернулся.— Любительское ужение удочкой разрешается всюду: как в проточных, так и в непроточных водоемах, за исключением заповедников, установленных решением местных Советов. Вот что говорит закон, молодой чело-

век.— И, вытащив удилище, он как ни в чем не бывало стал неторопливо менять наживку.

Молодой человек! Это было уже слишком.

— Послушайте, гражданин! Я инженер, я прораб этого участка. Я приказываю вам немедленно уйти с дамбы. Понимаете? Здесь идут важные работы.— Рыбак даже не оглянулся. Бершадский вспылил: — Уходите немедленно, или я прикажу охране...

— Это вон той даме, что ли? — спросил бородач, поведя головой в сторону вагончика, на ступеньках которого сидела пожилая женщина с каким-то шитьем. Возле нее, в сторонке, прислоненная к стене, стояла берданка.— Это вы ей прикажете меня гнать? Ну что же, поглядим. Любопытно.

Теперь рыбак стоял рядом с инженером и глядел на него с высоты своего роста. И пока Марк Бершадский подбирал в уме фразу похлестче, чтобы осадить бородатого нахала, тот вдруг спокойно и даже с каким-то кротким снисхождением в голосе спросил:

— Вы скажите-ка лучше, как вы реку перекрывать думаете? Неужели пионерным способом? Так это же сколько времени уйдет! Да и не перекроешь Онь пионерным. Вон она какая!

Он спросил это так просто, деловито, обыденно, что Бершадскому не показалось даже странным, откуда этому бородачу известны гидротехнические термины.

— Ну зачем же пионерным? — снисходительно сказал он.— Еще метров двадцать потянем дамбу, а там банкетный мост.

— С кессонами ставить собираетесь?

— Ну а как же еще?

— Кессоны... А вы прикинули, как она пойдет, работа в кессонах, на такой глубине? Два часа спускаются, два работают, два поднимаются... Двухчасовой рабочий день. И при огромном давлении. И река видите какая? Она за час на полтора метра подскакивает...— Незнакомец говорил неторопливо, аккуратно сматывая удилище.

— Все это я и сам знаю, но другого-то выхода техника пока не знает,— ответил Бершадский, сам не понимая, почему человек, от которого несло рыбой, пóтом и водочным перегаром, внушает ему невольное уважение.

— Техника-то знает, а вот вы, к сожалению, не знаете,— сказал бородач, присаживаясь на большой камень и указывая место возле себя. Бершадский сел.— Листок

бумаги и карандаш в вашей полевой сумке есть? — Инженер достал ученическую тетрадку, самописку и протянул собеседнику. И хотя руки у того заметно дрожали, он стал уверенно и точно набрасывать техническую схему...

— Макароныча к телефону! — закричали из вагончика.

— Марк Аронович, разве не слышите? Вас,— повторила девушка с флажком, с помощью которого она командовала шоферами, подвозившими грунт.

— Макароныч — это вы же, наверное,— сказал, не отрывая глаз от схемы, бородач.— Чего же не отвечаете?

— Моя фамилия Бершадский. Инженер Марк Аронович Бершадский,— как можно солиднее отрекомендовался прораб и, сложив ладони рупором, крикнул в сторону вагончика: — Меня нет, я поехал в управление, вернусь ориентировочно через полчаса.

— «Макароныч», изобретут же! — усмешливо продолжал бородач, и инженер, с нетерпением заглядывавший ему через плечо, пропустил это замечание.— Кессоны не лучший выход. Когда в Старосибирске строили мост, сколько времени ушло? Ну? И вы с кессонами поспеете, как говорят здешние люди, к морковкину заговению...

— Я, признаюсь, вот только сейчас об этом думал. Но выход...

— А выход...— Незнакомец вырвал из тетради лист и показал схему.— Выход вот, смотрите: ставите на мертвый якорь баржи или плоты. С них в воду опускаете бетонные трубы, можно сваривать в стыках или на болтах. Диаметр — метр. Опускаете до дна.— Бородач, показывая схему, говорил все это уверенным тоном, каким читает лекцию профессор, убежденный, что его слушают со вниманием.— Вот здесь сильные вибраторы — два или три. Они синхронны. С помощью их трубы загоняются в грунт до скалы. Потом вниз опускается сверло, высверливает диабаз. Туда льют бетон. Вот вам бетонная колонна-опора, никаких кессонов, никаких ряжей. Ну?

Все было ясно, просто. Настолько просто, что Бершадский даже поразился, как ему самому все это раньше не пришло в голову. Грандиозное предложение! Миллионы! А главное, время! Время!

— Законно! — Этим словечком, пришедшим вдруг из школьного лексикона, инженер выразил предел восхищения.

— Макароныча опять к телефону.

— Марк Аронович! Ну что же, опять не слышите? — крикнула девушка с флажком.

— Всех к чертям собачьим! — откликнулся инженер, сложив руки рупором.— Я вас слушаю, слушаю.— Стоя возле бородача, он с нетерпением переступал с ноги на ногу.

— Всё. Разберетесь по схеме,— ответил тот и, передав тетрадный листочек, стал торопливо засовывать расчлененные удочки в брезентовый чехол. Потом достал из воды тяжелый кукан рыбы, протянул Бершадскому: — Нате, это для знакомства.

Приняв сверкающую и еще трепещущую рыбу, Бершадский свободной рукой хлопал себя по тем местам, где полагалось быть карманам.

— Рыба — это чудесно! После каши-блондинки, которой нас потчуют в столовой... Но у меня, кажется... нет с собой денег.

— Ничего, потерплю... За вами пятачок.

— Марк Аронович, «к чертям собачьим» не выходит, это начальство, это товарищ Надточиев. Он сердится.

— Извините, пожалуйста. Я сейчас, одну минуточку.— И с чертежиком в одной руке и с рыбой в другой Бершадский, прыгая с камня на камень, ловко маневрируя меж самосвалами, бросился в свою контору. Он влетел в вагончик, схватил трубку и, даже не поприветствовав Надточиева, принялся сбивчиво передавать предложение незнакомца. Он объявил его гениальным.

— Слушайте, Макароныч, это уже художественный свист,— прозвучал из трубки насмешливый голос.— Улавливаю лишь основную мелодию, и то нечетко. Вот что, сын мой: забирайте вашего гения, и оба ко мне. Есть и еще дела.

Зимняя история не оставила заметных следов на отношениях этих двух людей, и Надточиев, хотя выговор еще и украшал его дело, по-прежнему относился к шумному, восторженному Бершадскому с шутливой симпатией.

Прямо из вагончика, минуя лесенку, Бершадский спрыгнул на землю. От толчка веревка оборвалась, и толстые веретенообразные рыбы рассыпались в пыли. Мыс, урчащие самосвалы нечетко вырисовывались в дыму. Но рыбака не было видно. Он как-то незаметно исчез, и ни шоферы, ни караульная с рукоделием, ни девушка с

флажком не могли сказать, куда он ушел. Исчез, как появился, странно, неожиданно, как люди появляются и исчезают лишь в снах. И действительно, все походило на сон, хотя рыба корчилась в пыли и эскиз был в руках.

Предложение незнакомца было настолько ясным, что, взглянув на схему, Надточиев смог сразу оценить его значение.

— Остроумно,— сказал он, выбираясь из-за стола на средину кабинета и начиная свое обычное хождение.— Сугубо остроумно, как говорит наш Старик. Нет, Макароныч, это же просто здорово!.. И смотрите, какая твердая рука, как грамотно! Конечно же гидротехник, и притом опытнейший мостовик. А главное, отдал и исчез. Даже не подписал... Странно... Просто мистика какая-то! Вы хоть бы фамилию его узнали, что ли?

— Я, видите ли, даже за рыбу с ним не расплатился. Он мне сунул рыбу...

— За пятачок?! — воскликнул Надточиев, останавливая свое движение по комнате. — Такой большой, голубоглазый, весь в бородище?

— Вы его знаете?

— С вас бутылка коньяку и пельмени. Слышите? Их тут в «Индии» какая-то чалдонка здорово сооружает... Это Дюжев, механик из «Красного пахаря»... Водкой от него несло? Ну конечно он! Вы помилованы. Считайте, что дешево отделались.— Надточиев опять зашагал по кабинету.— Грамотная рука... Эти чертежные цифры. Откуда?.. Я с ним охотился. Замечательно стреляет, но если с ружьем или удочкой — значит, находится в пике, в запое, а добычу отдает за пятачок тем, кто ему понравится... Ишь, даже векторы вывел! — Надточиев повернул бумажку и с удивлением прочел вслух: — «Мой милый, дорогой лохматый Викусик! Я так...»

Пятнистое лицо Бершадского вспыхнуло, он выхватил листок, бешено разорвал его на мелкие куски и бросил на пол.

— Не стыдно вам читать чужие письма...

— А вам, Макароныч, рвать чужие и очень важные эскизы?

На миг они оба замерли над клочками бумаги. Бершадский бросился на пол, стал собирать.

— Не трудитесь, здесь все ясно и без эскиза. Но милому лохматому Викусику придется провести вечер одному. Разделение труда такое: вы восстанавливаете чертеж,

а я разыскиваю Дюжева... Устраивает? Договорились. А под выходной отправимся в «Индию». Пельмени за вами...

Но разыскать Дюжева оказалось не так-то просто. Связь с Ново-Кряжовом — так называлось молодое село, возникшее совсем недавно на крутом берегу, над рекой Ясной,— была временной. Только к ночи дозвонившись до «Красного пахаря», Надточиев попросил к телефону механика.

— Кто его спрашивает-та? — прозвучал в трубке мальчишеский голос.

— Со строительства, из Дивноярска. Надточиев спрашивает.— В трубке задышали. Потом Надточиев услышал торопливое: «Пал Василича кличут,— что говорить? Ладно».

— Эй вы, все еще на трубке сидите? Так вот, говорят, товарищ Дюжев в командировке.

— А где? — спросил Надточиев и снова услышал шепот: «Спрашивает, где? Такой настырный».

— Эй вы, слышите, он в дальней командировке, Дюжев-та, за моторами поехал...

Надточиев понял: бедняга еще не вышел из пике — и поразился, с какой заботой колхозники прячут от посторонних порок своего механика.

Впрочем, идея Дюжева была так ясна, что ее можно ставить на обсуждение и без присутствия автора. На следующее утро Бершадский и Надточиев знакомили с ней Петина. Тот взял чертеж, старательно выполненный за ночь Бершадским, тоже прочел его без объяснений и, как показалось Надточиеву, чему-то поразился.

— Любопытно, очень любопытно! — как бы про себя произнес он.— Сыровато, конечно, но в идее...— И, покосившись в сторону Надточиева, подчеркнуто произнес: — Я всегда говорил, что Марк Аронович — способнейший, растущий инженер. На этот раз, кажется, и вы, Сакко Иванович, с этим согласны?

— Автор не я,— отозвался Бершадский, краснея так, что все его крупнокалиберные веснушки стали вдруг невидимыми.— Я только перечертил чужой эскиз.

— Ах вот как! — бесцветным голосом произнес Петин, но Надточиеву, настороженно следившему за каждым его движением, за его интонацией, почудилось, что он весь внутренне насторожен и старается скрыть это.— Так кто же автор? — спросил Петин равнодушно.

— Тут один, просто-таки гениальный мужик...— начал с энтузиазмом Бершадский.— Сидит на дамбе с удочкой... Такая мысль, и даже не назвал себя...

— Не назвал себя?

— Его фамилия Дюжев,— произнес Надточиев, смотря в упор в черные глаза Петина. Неодолимая ненависть к этому спокойному, непроницаемому человеку подсказывала, что тот чем-то поражен, взволнован и что это как-то связано с проектом или с его автором.— Его зовут Дюжев,— повторил он и с торжеством увидел, как едва заметно дергается темное веко на спокойном лице собеседника.

— Дюжев? — переспросил Петин. Голос у него был обычный, бесцветный.— Ну и кто же он, этот, как вы сказали, Дюжев? Что он здесь делает?..

— Он здешний. Механик в колхозе... Вы понимаете, сидит на дамбе человек с удочками... Вы не поверите, все это за пять минут на моей полевой сумке набросал...

— А как его зовут, этого механика? — быстро спросил Петин, но, точно бы спохватившись, погасшим голосом сам снял этот вопрос.— Впрочем, какое это имеет значение, оставьте это у меня, я подумаю, посоветуюсь с товарищами.

— Да чего тут советоваться! — воскликнул было молодой инженер.

— Дорогой Марк Аронович, я человек советской инженерной школы. Я коммунист,— исполненным терпеливого доброжелательства голосом произнес Петин.— Я ничего ни отклонять,— взгляд в сторону Надточиева,— ни принимать,— взгляд в сторону Бершадского,— не обдумав, не взвесив, не посоветовавшись, не имею права.— Он решительно отложил свернувшийся в трубку чертеж и повернулся к Надточиеву: — А я, Сакко Иванович, к сожалению, оказался еще раз прав. Поперечный-старший не вырабатывает даже обычной нормы, не говоря уже об обязательствах! Срам! Тут у меня один московский корреспондент брал интервью, и, конечно, первый вопрос: как знаменитый Поперечный? Хорошо, что у нас два Поперечных, и один из них не фантазер, а умный человек. Видите, что получается, когда эмоции побеждают расчет. В век ракет кавалерист с саблей выглядит даже не смешно, а жалко... Расчет, только расчет!— Петин встал.—Оставьте эскиз, я его изучу.

4

С некоторых пор в доме № 2 по Набережной, которая, правда, еще не стала набережной, хотя все-таки уже выросла в улочку маленьких деревянных домиков, воцарился порядок.

Комнату Петровича при гараже занимала теперь немолодая чета: муж, положительный, аккуратный, осторожный человек, возил начальника Оньстроя. Жена, тоже солидная, тоже немногословная, работящая женщина, убирала комнаты, готовила, стирала белье — словом, обслуживала холостяцкое хозяйство, которое раньше коекак, но шумно, с шутками и прибаутками вел Петрович.

Проводив начальника на работу, эта женщина принималась мести, чистить, выбивать пыль из портьер рытого бархата, вытирать золотые багеты картин, к которым она относилась с трепетным почтением. Даже старая пузатая гиря, с которой Литвинов по утрам упражнялся на балконе, была отчищена наждачной бумагой до блеска и поставлена на специальный коврик.

Супруги были добросовестные, честные люди. Приехав ненадолго на стройку, жена Литвинова, Степанида Емельяновна, сразу оценила их. Но сам он скучал по своему веселому, бесшабашному, жуликоватому Петровичу. Дом, где теперь каждая вещь знала свое место, не привлекал его. Он вызывал скуку, а работящая пара — глухое, беспричинное раздражение.

Почему? Что, собственно, случилось? Один шофер сменил другого. Серьезные люди стали заботиться о его быте. Пора, возраст такой, когда всякая бытовая мелочь приобретает значение. Сам же всегда пошучивал, что Петрович что-то вроде Западного Берлина—рудимент минувшей войны. И ушел он по истинному собственному желанию, по-хорошему, без обиды. Так в чем же дело, рабочий класс?— как любит выражаться Степанида Емельяновна. Так раздумывал однажды Литвинов, сидя погожим летним вечером на ступеньках террасы, которая когда-нибудь будет спускаться к морю, а пока что вела в заросли буйных трав. Воздух очистился, к нему вернулась прозрачность, о которой забыли здесь в дни, когда пал тайги приближался к строительству. Гребенка леса уже поредела, его начали убирать со дна будущего моря, и с балкона теперь можно было видеть вереницы домиков города-спутника. Теперь, когда домостроительный комбинат

набирал мощность, они стали расти с такой быстротой, будто их складывали из кубиков. И если раньше, выбравшись на террасу, Литвинов насчитывал один-два новых, то сейчас, когда спала дымная пелена, он увидел несколько только что рожденных, четко вырисованных на зеленом фоне кварталов. Он радовался этим юным кварталам: растет, растет мой Дивноярск!

Но полной радости не было. В столовой звякали тарелки: это накрывали ужинать. Не оглядываясь, он отчетливо представлял себе, как жена шофера в белом накрахмаленном переднике расставляет столовый прибор, тарелки. И вдруг подумал: «Как-то мой Петрович на новом семейном положении?» И тут же рассердился: «Ну что он у тебя из головы не идет? Кто он тебе — сын, внук? Самостоятельный мужик, пройдоха — пробы негде ставить, кого хочешь проведет и наизнанку вывернет...»

— Федор Григорьевич, кушать пора,—тихо, но настойчиво произнес женский голос.

На столе чистая скатерть. Сверкающий прибор. Вилки и ножи разных назначений лежат на своих местах. Тарелка с хлебом прикрыта салфеточкой. Графинчик с водкой даже вспотел: он только что из холодильника. Хрустальная рюмка, блестя, отдает в синеву. Даже коробочка с витамином и та под рукой. А есть и пить не хочется. Кое-как поковыряв вилкой то, другое, третье, Литвинов отбросил скомканную салфетку и встал.

— Ну что же это такое? Опять ничего не скушали. Степанида Емельяновна на меня сердиться будет, плохо вас кормлю,— с упреком произнесла женщина в переднике.— Вы бы врачу показались. Что это такое, целый день человек на такой работе и ничего не ест. Годы-то не молоденькие!

Годы! Не хватало, чтобы ему еще напоминали о годах. Они сами все чаще напоминают о себе. Эта тягучая усталость по вечерам, эта одышка. К концу дня выматываешься, будто плоты с мели снимал... Годы! При чем тут годы? Просто устал... Ну ничего, ничего! Вот Онь перекроем, схлынет горячка, дернем со Степой в Кисловодск. Воздух! Эти шипящие пузырьки щекочут тело. И пойдет все по-прежнему.

Литвинов выходит на террасу и, с досадой обойдя выставленный для него сюда шезлонг, садится на ступеньку. Знойный день угасает. Солнце освещает лишь стрельча-

тые верхушки самых высоких елей. Из тайги надвигается, окутывая все, плотная влажная сумеречная синева. И почему-то вспоминается, что именно в такой вот знойный ясный вечер, когда каждая звезда в небе сверкала отчетливо, как монета, произошло это самое страшное в жизни инженера Литвинова событие. Немецкие танки мнут поспевающие хлеба. Совсем недалеко гремят короткие выстрелы противотанковых пушек. Воды Днепра, процеженные гребнем водослива, сверкают в лучах заката, как расплавленное стекло. Этот шум воды, спокойный, ровный, знакомый с юных лет шум казался здоровым дыханием Днепрогэса. И военному инженеру Литвинову, уже прошедшему со своими саперами сотни километров по скорбным дорогам отступления, страшен не близкий грохот артиллерийского боя, а этот спокойный шум, под который прошла лучшая пора его жизни. Ему, который строил эту прекрасную плотину, ему, который знал ее, как собственными руками срубленный дом, поручено участвовать в ее уничтожении, чтобы гордость страны не стала трофеем гитлеровцев.

Ощущая странное оцепенение, будто в тяжелом сне, Литвинов указывал саперам наиболее уязвимые места плотины, давал команду подрывникам. И когда острые ежи взрывов, встряхнув землю, одновременно в разных местах взметнулись в темнеющее небо и будто удивленная неожиданной свободой вода, мгновение как бы помедлив, трепещущими потоками, с диким, ликующим гамом хлынула в пробитые бреши, Литвинов, не оглядываясь, пошел вслед за своей уже отходившей частью. Теплый песок, в котором тонули ноги, тягуче скрипел. Потом под подошвами зазвенел влажный от росы асфальт. Взошла луна. Неполная, тоненький осколочек, будто бы ее тоже повредило взрывом. Днепр был уже далеко, а Литвинов все шел точно во сне, и в ушах его стоял злорадный рев вырвавшейся на свободу воды. И почему-то все вспоминалось: когда стали уходить под воду острова, где некогда собирались запорожцы, старик ученый бросился со скалы в Днепр. И думалось тогда комсомольцу Литвинову: тупой, злой национализм, старческая глупость. Ах, как теперь военный инженер Литвинов понимал этого старика! Днепрогэс в развалинах! Он сам участвовал в его уничтожении. Немцы прорвались на Левобережную Украину. Надо ли жить? Зачем? Может быть, было бы лучше, выполнив страшный приказ, как тот

ученый, головой с плотины, чтоб ничего не видеть, ничего больше не знать?..

Так и шел в разношенных брезентовых сапогах по спутанным пшеничным полям, где война протоптала много дорог. Было тихо, где-то справа глухо били зенитки. Пыльные грузовики с имуществом части двигались с неровными интервалами. Тяжело шагали саперы, лопатки стучали о приклады винтовок. Пушки били и сзади: должно быть, какие-то части еще сражались в Днепровской пойме, пытаясь прикрыть отступление. А по небу вокруг, куда ни глянь, полыхали багровые зарева... Литвинов скрипнул зубами: «Проклятое время, все рушится. Как было бы хорошо, если бы один из снарядов упал рядом. Разве не лучше мгновенный конец, чем эта вот протоптанная по хлебам дорога, ведущая в глубь страны?..»

Сколько прошел Литвинов в состоянии такого душевного оцепенения, он не знал. Он даже не оглянулся, когда какая-то машина, поравнявшись с ним, приладила ход к его шагу.

— Товарищ командир, товарищ инженер-майор,— донесся чей-то голос. Потом гукнула сирена, Литвинов вздрогнул. Молодой, энергичный голос слышался из машины.— Товарищ командир, садитесь, давайте подвезу.

— Куда? — спросил Литвинов, тупо уставившись на новенькую блестящую «эмочку», катившую рядом с ним.

— Куда прикажете,— жизнерадостно прозвучало из остановившейся машины.

И это так поразило Литвинова, что он машинально сел в машину. В ней густо пахло бензином, яблоками, медом. И действительно, на заднем сиденье лежал толстый, солидно поскрипывавший на ухабах мешок с яблоками. На полу стояло эмалированное ведерко. Из него торчали рамки с толстыми сотами.

— Может, поесть хотите? Наверное, как следует и не поужинали?

Ужин! Сумасшедший он, что ли? Придет же в голову! Литвинов с удивлением смотрел на водителя. Невысокий, коренастый, с румяным чернобровым лицом, совсем мальчишка, он, однако, прочно сидел за рулем. Круглая его физиономия так и дышала здоровьем. Это было первое жизнерадостное лицо, какое Литвинову доводилось видеть в те скорбные дни.

— Откуда ты такой взялся?

— Из Львова,— ответил шофер тем тоном, каким говорят: «Да вот из соседней деревушки».

— А машина чья?

— Теперь ваша, товарищ инженер-майор.

— Как так?.. Что ты мне голову морочишь?

— Никак нет, не морочу. Была бесхозная, сейчас вы ее мобилизовали в свою часть.— Глаза у шофера были большие, выпуклые, темные. В них, казалось, однажды и навсегда поселились озорные смешинки, которые не угасли и сейчас, когда сзади и спереди гремели пушки, над полями, истоптанными гусеницами танков, водили хороводы белесые и багровые зарева и армия, отступая, катилась, изнемогая от жары, пыли и неопределенности.

— Документы есть?

— Так точно! Сейчас ведь лучше голову потерять, чем документы,— многозначительно подмигнул шофер.

Документы были в порядке, и их владелец, которого впоследствии, несмотря на его юность, инженер-майор, а за ним и вся часть стали почему-то величать Петровичем, рассказал свою историю, в которой, впрочем, ничего особенного не оказалось. Эвакуировался из Львова вместе с начальством — директором какого-то треста. Впереди шел грузовик с директорским имуществом. На дороге не раз попадали под бомбежки. Привыкли и к ним и к вздувшимся на жаре трупам лошадей, валявшимся по обочинам, к горящим машинам и к селам, от которых остались одни печи. Когда были уже недалеко от Днепра, по потоку беженцев пронеслась весть: фронт прорван, немецкие танки где-то рядом, а может быть, даже и впереди... Началась паника. А тут как на грех огромная пробка на насыпи. Пытаясь ее обойти, Петрович сорвался, машина два раза перевернулась, но уцелела, оставшись лежать на боку. Уцелели и пассажиры.

Перепуганный начальник отказался ожидать, пока удастся поставить машину на колеса. Он бросил свою бедную «эмочку» и перелез в грузовик... Ведь это подумать, бросить немцам новенькую машину! Отличную, специальной сборки машину, глядя на которую дохли от зависти все львовские шоферы!.. Как бы не так!

Петрович пожелал начальству приятного драпа, сам залез в хлеба, чтобы не подстрелили свои, подумав, что он собирается перекинуться к врагам. И когда скорбный поток прокатился по дороге, когда провезли мохнатые от пыли пушки, спешившие куда-то на новый рубеж, и доро-

га опустела, Петрович соорудил из жердей какое-то приспособление, с помощью его поставил машину на колеса и, чтобы в самом деле не настигли немцы или не подстрелили в горячке свои, без дороги, полем, сторонясь больших и малых шляхов, покатил на восток. О спасенной машине он говорил с нежностью, как о живом существе, о бросившем его начальнике — со снисходительным презрением, о войне — как о чем-то скверном, противном, в чем, впрочем, не было ничего особенного.

Рассказывая, он хитро посверкивал темными глазами и закончил рассказ заявлением:

— Мобилизуйте нас с «эмочкой». Увидите, мы оба вам пригодимся.— И тихонько прибавил: — У меня в багажнике окорок кило на десять и два пол-литра.—Подумав, добавил: — Я фотографировать умею и песни пою...

И вдруг молодым голосом тихонько завел: «Ой на гори тай женцы жнуть». Голос его прозвучал во тьме, освещенной заревами, так же неправдоподобно, как на вечерней заре голос какой-то птахи в исптоптанных войной хлебах...

Та ночь, жаркая, душная, полная тучных запахов ранней осени, очень походила на эту, что спустилась сейчас на Дивноярск. И так же, как тогда, раскатив на полнеба, висит теперь зарево, и так же короткими огнями мерцает горизонт. Только зарево теперь не кровавое, а белесое, электрическое, и мерцают не отсветы выстрелов арьергарда, а голубые зарницы электросварки.

— А ведь и верно говорят: военная дружба не ржавеет,— вслух произнес Литвинов, с кряхтением поднимаясь со ступенек. Но, подумав, снова уселся. Как и все люди, которым вдоволь довелось воевать, он ненавидел войну, но любил вспоминать фронтовые скитания...

Сегодня по телефону Петрович попросил разрешения заглянуть вечерком за гитарой. И вот годы, которые они проездили вместе,— и по горькому пути отступления от Днепра до Волги, и в наступлении, по беспредельно разливающимся украинским грязям, по проселкам Польши, по прекрасным шоссе Чехословакии и широким автострадам Германии,— весь этот путь, как бы ожив, мелькал перед глазами. К концу войны в части инженер-полковника Литвинова была уже богатая техника. Командиры взводов и те обзавелись великолепными машинами. А Литвинов продолжал ездить все с тем же старшиной Петровичем, на той же «эмочке», раскрашенной косыми,

светло- и темно-зелеными полосами, делавшими ее похожей на спелый арбуз. Ездил, пока однажды она на переправе не сорвалась с саперного парома в реку Одер. Но и пересев потом в роскошный трофейный «хорьх», они всё вздыхали по ней: «Хорошая была машина...»

— Федор Григорьевич, вам больше ничего не нужно? Я иду спать.— Это сказала домработница, уже снявшая свой передник.

— Да, да, пожалуйста. Приятных снов,— с веселым облегчением отозвался начальник строительства.

...Прямо с войны, уже в генеральской форме, инженер Литвинов отправился восстанавливать Днепрогэс. Потом форму он снял, работал на других строительствах — на востоке, на юге, на севере. Петрович по-прежнему возил его, жил с ним под одной крышей, заботился о нем — шофер, порученец, друг.

Среди гидростроителей Литвинов слыл знатоком душ человеческих, умеющим укрощать самые строптивые характеры. Но этот медвежеватый проворный парень оставался все тем же любителем легкого варианта жизни. «Все учатся, приобретают квалификацию, растут, времени сколько угодно,— занимался бы»,— говорил Литвинов. И получал ответ: «А зачем? От лишних занятий, как от крепкого чая, цвет лица портится. Что мне, дипломом мух бить? А по шоферскому делу, ставь против меня любого инженера, левенькой положу. Что, не так?» И это было так...

— Ну, как ты? — Это были первые слова, которые Литвинов произнес, открыв дверь Петровичу.

— Лучше всех! — бойко ответил тот, тщательно вытирая о половичок ноги, чего раньше за ним не замечалось, и, с любопытством оглядываясь, в свою очередь спросил: — А у вас тут что? — И на коротеньких, проворных ногах прокатился по комнатам. Остановился. Вздохнул.—Порядок полный, чистота!

Он похудел. Старый «выходной» пиджак свободно болтался на нем. Краски на круглой физиономии померкли, да и плутовская улыбочка как-то пооблупилась, не была такой лучезарной.

— Что, механиковать в гараже не то, что у подъезда романы про шпионов читать?

— Хо, гараж тоже — двадцать машин! — презрительно изрек Петрович.— Станция Прохладная — не холодно, не жарко. Вот Мария Филипповна моя... Вам бы такую,

к гирям бы небось не потянуло: по одной половичке на цыпочках хожу.— Он взял гитару, вынесенную ему из кабинета, сделал быстрый цыганский перебор и вдруг, закатив глаза, с придыханием пропел:

Эх, жена моя не ягодка —
Полынь, горькая трава.

Федор Григорьевич, у вас сто грамм не найдется? — спросил он, кладя гитару на диван.— Да не беспокойтесь. Я сам.—Подошел к буфету, открыл дверцу и отпрянул в изумлении.— Посуды-то, мать честная, мы с вами за всю жизнь столько не перебили!

— Налей уж и мне,— сказал Литвинов, наблюдая за гостем и думая, как все-таки хорошо было, когда в пузатом резном буфете стояло лишь несколько тарелок, две кружки и хозяйничал здесь вот этот проворный увалень.— Я, Петрович, думал, жена тебя кормит-холит и ты еще больше раздобрел.

— Будет вам, Федор Григорьевич, над человеком издеваться! Мурка у меня только кондер варить умеет, да и тот ужас как пересаливает, есть нельзя. Все я, все я! Да и то — это ей пресно, это ей кисло. С пол-оборота заводится. Не жизнь у меня, Федор Григорьевич, а, научно говоря, кал.

Как и всегда, Петрович легко хмелел и, охмелев, переходил на «шибко интеллигентную» речь.

— Дозвольте, я вам некоторый презент сделаю.— Он укатил в переднюю и вернулся с двумя бутылками пива и связкой сушеной воблы.

Литвинов растроганно смотрел на подарок. Вобла с военных времен была их любимым лакомством.

— Эх, картошечки бы печеной, помнишь, с горелым бочком, чтобы на зубах скрипела! — сказал он, разминая сухую рыбу своими могучими пальцами.

— Яволь! Ваша мажордомиха, наверно, держит сей скромный продукт сельской флоры.

Оба прошли на кухню, и, пока Литвинов ловко лупил воблу и складывал отделенные волоконца на тарелку, Петрович вставил спички в отверстия терки, насадил на них небольшие картофелины и все это сунул в духовку:

— Ну, и все-таки, как же ты живешь?

— А вот как: если голой казенной частью на муравейник сесть,— горестно вздохнул Петрович.— С вами ездил — не соответствует ее жизненному стандарту: слу-

га. Механикую сейчас — вроде бы персона грата,— опять несоответствие. Ты, говорит, как та тротуарная тумба, у которой каждый пес ножку поднимает. Это в смыслах производственной рекламации. При вашем гараже квартировали — неладно: людская. Комнату мне теперь субсидировали — опять нехорошо: не отдельная, одна соседка неряха, другая — язык длинен. Давай квартиру! Вот как у нас.

— Уж не с этим ли пришел? — насторожился Литвинов.

— Ваша резолюция мне наперед известна: к «домовым» отправите. Знаю...— Петрович повел носом в сторону потрескивающей плиты, откуда уже тянулся пресноватый приятный аромат. — Вот теперь в самый раз...

И действительно, картошка на спичках поспела, даже чуть обуглилась. От нее шел дымок. Петрович снял одну со спичек, побросал с ладони на ладонь и разбил ударом кулака. Она как бы раскрылась. Приятно крахмалистая мякоть ее густо пахла дымом костра. Под картошку и воблу медленно допили пиво. Петрович снова взял гитару, лихо перебрал струны и опять пропел:

Эх, жена моя не ягодка —
Полынь, горькая трава...

— Вот вы произнесли некогда: отольются кошке мышиные слезки. Отливаются.— Явно хмелея, Петрович тянул плаксивым тоном: — Житья нет: давай отдельную квартиру. Запилила — пошел в профсоюз, так к «домовым» послали. Налетел па эту Поперечниху, она меня таким лексиконом огрела, что я вылетел, точно мной из рогатки пальнули. А моя — нет, ступай в партком. Ведь пошел, пошел в партком. Перед Ладо Ильичом, как перед отделом кадров, открылся, все мемуары выложил: она, мол, у меня как та старуха из сказки: что ни сделай — только пуще лютует...

— Так, ну и Ладо? — Литвинов с трудом сдерживал улыбку.

— А он говорит: сынишка, мол, у меня есть, Гришка, что ли, мать ему ту сказку читала, так он будто бы удивился: чудак, мол, старик, растерялся, просил бы, мол, сразу у рыбки новую старуху.

— А что? Пожалуй, и неплохой совет...

— Не могу, Федор Григорьевич. Ситуация подсказывает: ликвидируй брак и спасайся... Но не могу одолеть

силу притяжения. Люблю ее, стерву крашеную, ферштеете? — Он боязливо оглянулся.— Вот и по-немецки она мне говорить запрещает: некультурно.

Опять схватил гитару, подмигнул и резким голосом, каким дивноярские девчонки пели частушки, прокричал:

Старик старуху разлюбил,
Молодую полюбил.
Это не чудачество,
А борьба за качество...

На миг проглянул прежний, бесшабашный Петрович, но, выглянув, тотчас же пугливо скрылся.

— Ну, а пришел зачем?

— За гитарой... Нет, не стану врать. Она послала. У нее теперь фиксовая идея: не хочу быть Муркой Правобережной, народ потешать; что это за квалификация — помощник диспетчера! Хочу настоящую квалификацию получить — на крановщицу учиться. Там финансовая база: по полторы косых ловкие девчонки зашибают.

— На крановщицу? — удивился Литвинов.

— Ну да.— И опять, соскользнув на плаксивую ноту, Петрович взмолился: — Федор Григорьевич, выручайте, ее из диспетчерской будки не отпускают. Народ, вишь, любит, а? В кадры сам ходил — не вышло, говорят, будто верно правый берег держит. Вот она мне и говорит: ты, говорит, столько лет возле начальства терся, скажи — не отпустят, вовсе уеду. И уедет. И до свидания от нее не услышишь!

— Ну и пусть — опять потолстеешь.

— А я? — Петрович отвернулся и хлюпнул носом.

— Этого не хватало! — брезгливо поморщился Литвинов. — Ничего в ее просьбе худого нет. В крановщики нужны толковые, волевые люди, не такие вот, как ты, ненаучно выражаясь, дерьмо... Ступай умойся.

Петрович нервно вздохнул и обтер ладонью лицо.

— Пятьдесят-то граммов, верно, лишние были,— стыдливо пояснил он.— Уж не забудьте насчет мово кадра-то. Ладно? — В голосе послышались заискивающие нотки, которых Литвинов вообще не терпел. Выйдя в прихожую, Петрович тихо, но тщательно закрыл за собой дверь, а потом, уходя, с той же тихой тщательностью закрыл вторую. И это тоже было в нем новым.

5

«Верим мы тебе, Олесь!»

Как часто вспоминал теперь Поперечный-старший эти слова начальника строительства. «Верим»! Они пришли ему на ум сразу же, когда он вслед за Надточиевым лез в кабину чужого экскаватора, на котором отныне ему предстояло работать. Вспомнил, улыбнулся: «Верим»! Он не сомневался в успехе. Настроение было приподнятое. Весеннее утро еще только занималось над Онью, зеленоватая мгла окутывала огромный песчаный карьер с отвесными стенами, на которых в неясных отсветах зари почему-то особенно выделялись продолговатые следы зубьев ковша. Все это, выхваченное из мглы еще только занимающейся зарей, напоминало какие-то таинственные работы неземных существ, прилетевших с другой планеты. И будто два таких существа стояли в разных углах этой искусственной пади, огромные машины — одна точно бы в дреме, опустив ковш на землю, другая, отбросив стрелу в сторону, будто потягиваясь во сне, заламывала костистую лапу.

Такое сравнение мелькнуло у Надточиева, а Олесь, следовавший за ним, уже заметил и что бывшие его хлопцы сноровисто готовят свою машину к работе, и то, что те, к которым он пришел, хотя и в сборе, но ничего не делают: двое курят у стенки, маленький, похожий на длиннорукую обезьянку электрик, тот самый, что в разговоре сыпал пословицами, читает журнал «Крокодил», а большой хмурый рябоватый детина, слесарь, смотрит в окошко на восход, положив подбородок на сложенные руки.

— Вот, товарищи, я вам нового начальника привел. Звать его Александр, величать Трифонович, фамилию его вся страна знает. Товарищ Поперечный решил вам помочь и добровольно перешел к вам со своей машины,— рекомендовал Надточиев, и по подчеркнуто оживленной интонации, с которой все это произносилось, Олесь понял, что и на этого бывалого строителя первая встреча с новым экипажем подействовала угнетающе.

— Здравствуйте. Как жизнь? — спросил он, чувствуя, что и сам говорит тем же неестественно бодрым тоном.

— Какое наше житье — как встанешь, так и за вытье,— ответил за всех тот, что походил на обезьянку.

— Что так? Машина хорошая, отличная машина, ребята добрые. Я за вами наблюдал. А что не ладится, бывает. Будем теперь вместе налаживать.

— Пустой мешок не поставишь,— ответил электрик.— Ну, включать, что ли?

— Давай...

Моторы тонко запели. Машина очнулась, забился ее пульс. Олесь оглянулся. Фигура Надточиева четко вырисовывалась в дверях на фоне посветлевшего неба. Лица не было видно, но по напряженному положению плеч, по тому, что на нижней выпяченной губе остался прилипший окурок, он понял: волнуется.

Нажал рычаг... Стрела пришла в движение... Прицелился, подвинул машину вперед. Зубья ковша неторопливо очесывали откос. Рука зажила. Суставы сгибались, мускулам как будто вернулась прежняя сила. И все же особым, верхним чутьем, чутьем мастера, Олесь чувствовал: нету между этой стальной махиной, заменяющей четыре тысячи землекопов, и им, человеком, который должен стать ее мозгом, нет у них того контакта, который превращает в радость самый сложный труд.

— Не отлажена она у вас, что ли? — спросил он, оглядываясь.

Четыре пары глаз следили за ним. Три усмешливо, недружелюбно, одна задумчиво.

— Ну что же, справедливо, Александр Трифонович. Денька на два, на три выведем машину на профилактику, на доводку,— ответил Надточиев, сплевывая изжеванный окурок.

Сзади донеслось:

— Мать честная!

— То-то и есть: чужая беда ха-ха, а своя ох-ох!..

Тем же чутьем мастера, обострившимся от волнения, чувствовал Олесь не только машину, но и людей и догадался: первое сказал рябой слесарь, а второе — электрик, похожий на обезьянку. Он даже почувствовал, что двое других недружелюбно молчат. «Не приняли, не верят,— догадался он.— Не верят, злы. Профилактика? Надо бы, но сейчас нельзя... Сейчас — только работа». Он ответил, что пока обойдется и без ремонта, привел машину в рабочую позицию, закрепил. Так начался первый его рабочий день на новом месте, день тяжелый, полный обидных неожиданностей.

Крепко сцепив зубы, весь напружинившись, Олесь

сидел в железном своем креслице, глядя вперед с тем сосредоточенным напряжением, с каким охотник берет на мушку дичь. Вскоре его комбинезон потемнел под мышками, рубашка стала липкой, связывала движения. Пот с висков бежал по щекам, и, мотнув головой, чтобы стряхнуть назад липшие ко лбу пряди, Олесь увидел, как тяжелые капли упали на доску приборов. Циклы получались медленные, неуклюжие, смазанные. Было ощущение, будто вместо гвоздя он ударяет молотком по пальцу. Работа не радовала, раздражала, выводила из себя.

Сзади иногда разговаривали. Из-за звона моторов он не различал слов, но тон казался ему насмешливым, недружелюбным. И пухла, пухла в душе обида: черти чумазые, из-за вас оставил своих хлопцев, к вам на помощь шел с открытым сердцем, а вы?

Он так измучился, что, когда смолк мотор, несколько минут просто сидел, не в силах шевельнуть ни ногой, ни рукой. Видел, как один за другим, ничего ему не сказав, спускались вниз «негативы», как, уходя, оглядывались они на кабину, где он продолжал сидеть. Вот что-то сказал электрик. Все засмеялись. Пошли к повороту дороги, где машина должна была забрать их в столовку. «И не спросили, пойду ли я, даже не узнали, не надо ли чего купить»,— подумал Олесь. Осторожно, будто с больничной койки, слез он с рабочего креслица. Потянулся так, что кости затрещали. Стараясь размяться, разогнать тягучую усталость, сделал несколько гимнастических упражнений.

— Братуха, братуха,— донеслось снизу. Это Борис. Подъехал на мотоцикле и, не выключая мотора, ждал.— Ну, как вы тут?.. У меня этот Негатив старается, спасу нет. А башка у него, верно, не с той стороны затесана. Только и разговору что о заработке, только и дум что о халупе, которую он в «Индии» строит. Узнал, что у нас больше, чем тут, может получать, аж затрясся... Ну а вы?.. Дали духу этой артели «Напрасный труд»?

Олесь медленно спускался по ступенькам. Казалось, он вот-вот упадет. Не понимая, что с ним, брат было двинулся к нему, чтобы поддержать, но тот отвел руку.

— Устал с отвычки... Пару бутербродов, бутылку пива привези,— только и сказал он.

Сам сел на железные ступеньки и задумался. И вдруг понятен стал ему смысл ядовитой пословицы, прозвучавшей у него за спиной: чужая беда ха-ха, а своя ох-ох.

— Вот ведь вы как меня поняли,— зло сказал он вслух. — Нет, голубчики, что-что, а смеяться вам надо мной не придется. Я вас, лайдаки вы этакие, растрясу. Дайте только мне в темп войти.—И, будто взбодренный этими словами, полез обратно в кабину, принялся шарить в механизмах управления, стараясь понять, почему эта машина, близнец той, на которой он до сих пор работал, так тупо реагирует на любой посыл, почему сочленения ее даже поскрипывают, как ноги ревматика при ходьбе.

Он привык ходить на работу летом в светлых брюках и вышитой украинской рубашке, и от хлопцев, кроме слесаря-подсобника, требовал того же. А здесь за несколько минут комбинезон его почернел. «Запустили, черти, машину, не следили за ней»,— подумал он и почувствовал себя легче, как доктор, поставивший диагноз. Решил после смены оставить экипаж, чтобы произвести в кабине хотя бы элементарную уборку. Хлопцам об этом напоминать не приходилось. Эти и сами не ушли бы, не наведя порядок: спичка на полу валяется — подберут. «Эх, хлопцы, хлопцы! Как с вами было хорошо!»

Но и предложение остаться для уборки «негативы» не поддержали.

— Я лично не могу, у меня жена в вечерней смене, не с кем малого оставить,— ответил один.

— А на сверхурочные, товарищ начальник, разрешение имеется? — спросил коренастый носатый человек с бровями, похожими на мохнатые гусеницы. Его звали Сурен.

— Нашел дураков задарма работать! На нас, чай, орденов не вешают...

Только молчаливый рябой, сказав свое «а, мать честная», согласно кивнул головой. Да и то тот, что походил на обезьянку, запирая свой шкафчик, съехидничал по этому поводу:

— Во-во, хороший помощничек, опытный, за козла в кавалерийской конюшне служил.— И, бросив небрежное «пока», побежал к автобусу догонять остальных.

И Олесь, знаменитый Олесь Поперечный, слава которого всегда помогала ему объединить, сплотить, вдохновить людей, растерялся, растерялся, как командир, за которым солдаты не поднялись в атаку. Оставаться вдвоем смысла не было, и Олесь вместе с рябым пошли из карьера пешком. Он пытался узнать, почему так кри-

во сложились отношения в экипаже. Рябой был плохой собеседник. Кроме «мать честная», которым он ухитрялся выражать все чувства, да отвлеченных «да» и «нет», ничего от него услышать не удалось. И когда на углу на проспекте Электрификации, где пути их расходились, он молча пожал Олесю руку, тот, оставшись один, взорвался: «Уйду, плюну на вас на всех и уйду! Копайтесь тут, как жуки навозные. Разгонят — и правильно сделают. Ледацюги!..» Но тут же вдруг на память пришла одна из пословиц, услышанных сегодня от электрика: «Осерчал на блох, да и шубу в печь». Так, что ли? И Олесь улыбнулся.

Но брату, заглянувшему вечером в его землянку, он ни о чем не рассказал. На следующий день экскаватор был выведен из забоя на профилактику. К Олесю сразу вернулась уверенность. Вместе со слесарями, что-то насвистывая, лазил он по огромной машине, выверял работу всех ее сочленений, подтягивал, отпускал... «Нет, други милые, Олесь Поперечный еще себя покажет!..» Работали весь день, работали и при электрическом свете. Уже ночью Олесь добрался до землянки и за ужином под мечты жены о том, сколько грядок они вскопают на улице Березовой, возле будущего своего жилья, и что она на них посадит, незаметно уснул. Зато вскочил чуть свет, сбегал к ручью, нетерпеливо, горстями побросал на себя воду и, кое-как позавтракав, поспешил в забой, чувствуя, что уже прикипает сердцем к новой машине. Возился с ней и верил: отблагодарит. И когда профилактика была закончена и экскаватор был вновь возвращен в карьер, он явился на работу праздничный, в наглаженных штанах, светлой рубахе. Даже когда электрик насмешливо произнес: «Вот щеголь Ивашка, что ни год, то новая рубашка»,— он только подмигнул: мол, знай наших.

Но ожидания и на этот раз не оправдались. Слов нет, машина работала лучше, но уже в первый час стало ясно, что дневной нормы не вытянуть. И опять упало настроение, и опять к концу смены Олесь с трудом преодолевал тягостную апатию, которая, как казалось, поселилась у него в костях. Не дожидаясь, пока подсчитают выработку, побрел к автобусу: лишь бы не видеть разочарованных взглядов товарищей, не услышать в свой адрес еще какой-либо ядовитой пословицы.

И характер стал портиться. Появилась раздражительность. Легко взрывался по любому, самому малому поводу.

И вот неожиданно его вызвали в управление. Предчувствуя, что будет какой-то неприятный разговор, он шел с тяжелым сердцем. Сколько лет был он среди самых лучших! Менялись адреса, менялись марки машин, а мастерство Олеся Поперечного оставалось неизменным, и, щедро раздавая его людям, он привык идти впереди. А тут... вычеркивают из сводок, стыдятся о нем говорить... Фраза «мы тебе верим, Олесь» звучала в ушах. «Что ж, стало быть, и верить тебе уже нельзя, наверное, о том и разговор будет...» Медленно, словно ноги были ватными, поднялся по лестнице. Боязливо отворил дверь в кабинет Петина. Виновато произнес: «Здравствуйте». Он помнил: Петин был против его затеи. Теперь, наверное, скажет, вот, мол, не послушался умного совета и опозорился.

Но ничего подобного не произошло. Петин был обычен. Указал на стул. Попросил секретаря пригласить Надточиева, а пока за ним ходили, справился о здоровье, о семье, о том, скоро ли будут Поперечные переезжать на улицу Березовую.

— Вот у нас тут созрело одно предложение,— сказал он, когда Надточиев появился в дверях.— Сакко Иванович вас сейчас информирует.

— Вы, Александр Трифонович, у нас самый опытный землерой,— как-то очень затрудненно выговорил Надточиев, смотря в сторону.— Перед развертыванием работ на полную мощность нам надо лучше организовать работу «Уральцев»... Короче говоря, вам предлагают стать старшим у экскаваторщиков — будет такая должность...

Олесь вопросительно взглянул на инженера. Надточиев явно избегал смотреть ему в лицо. Поперечный растерялся.

— Мне? Сейчас? За что? За какие такие заслуги?.. Меня ж даже в сводке теперь показывать стыдятся.

— Ну хорошо. Здесь три коммуниста. Будем говорить начистоту,— сказал Петин, смотря в глаза Олеся.— Сводки!.. Да, вы правы. Мы вашу выработку в них не показываем. Мы не можем, не имеем права допустить, чтобы Александр Поперечный, о котором упоминали даже с высокой трибуны, сейчас, в силу разных обстоятельств — вы эти обстоятельства знаете лучше меня,— оказался в хвосте.

«Ну вот, достукался». Олесю показалось, что кабинет, где, сколько он его помнил, ничто не меняло своих мест,

точно бы вздрогнул, начал расплываться, и только эти пронзительные черные глаза, обращенные к нему, эта тонкая линия плотно сомкнутых бледных губ были четко видны.

— Так вы, значит, нарочно там в газете Поперечного без имени помянули,— спросил экскаваторщик, вспомнив недавнее интервью Петина.

— Обдуманно,— уточнил тот.— Обдуманно, Александр Трифонович. Вас высоко подняли, народ знает ваше имя. Я просто не имел права пятнать ваш авторитет.

— И поэтому теперь... Вот сейчас...— Олесь с трудом подбирал слова.

— Вы правильно поняли предложение Сакко Ивановича, именно так... Знаменитый экскаваторщик пошел на выдвижение. Это логично, это в духе всей нашей жизни, вы это заслужили... Кстати, и в заработке вы не потеряете, если учесть премиальные. Об этом я позабочусь.

Наступило тяжелое молчание.

— Прячете? — тихо спросил Олесь. — От людей прячете? — Губы его ломались в болезненной гримасе. Он покачал головой.— Не спрячете. Мой грех — мой ответ. Либо честно на свое место встану, либо уеду отсюда...— И повторил еще тише: — Уеду!

Надточиев ходил по кабинету, будто его мучила зубная боль.

— Никуда мы вас не отпустим, Александр Трифонович,— ровным голосом продолжал Петин.— Заботиться о таких людях, как вы, — наша обязанность. Повторяю, и заработок и обещанную вам квартиру на Березовой — всё вы получите... Вообще я не понимаю, чего вы волнуетесь. Вам немало лет. Вы уж столько отдали сил... Да и не век же быть экскаваторщиком.

Олесь тяжело дышал. Он будто подавился каким-то словом, силился его выхаркнуть и не мог. Потом, так и не произнеся это слово, он покинул кабинет. Спустился по лестнице, вышел на улицу. На крыльце осмотрелся, словно пораженный, что все выглядит как обычно: светит солнце, шумит лиственница, точно бы проросшая сквозь асфальт, весело дребезжит в ее кроне пичуга. Едет машина, битком набитая девчатами в пропыленных известью комбинезонах. Нет, ничего не изменилось, и, удивленный этим, Олесь Поперечный побрел, подволакивая ноги, скребя об асфальт подковками каблуков...

Сзади послышались торопливые шаги. Кто-то догонял. Надточиев. Некоторое время они молча шли рядом. Потом экскаваторщик почувствовал, как большая рука инженера крепко жмет его маленькую, сухую руку.

6

— ...Не веришь?.. А я это видел. Видел собственными глазами из окна моего кабинета. Догнал, остановил, начал жать руки и что-то там такое говорить, сопровождая это театральными жестами. Потом они пошли вместе. Воображаю, что он этому Поперечному на меня наболтал!.. Просто не нахожу слов от возмущения.

Супруги Петины только что поужинали. Вячеслав Ананьевич в пижаме, в мягких туфлях сидел в своем любимом кресле под торшером, Дина Васильевна — на диване напротив. Она забралась на диван с ногами, забилась в уголок и рассеянно смотрела куда-то сквозь мужа. Рука ее машинально гладила спинку прижавшейся к ней Чио.

— ...Во-первых, на политическом языке это называется двурушничеством. Во-вторых, это — грубое нарушение элементарной инженерной этики. В-третьих, это просто подло по отношению ко мне... Дорогая, ты не слушаешь... В последнее время ты, кажется, совсем перестала интересоваться моими делами.

— Нет, нет, слушаю. «В-третьих, это просто подло...» Ну, они ушли, что же дальше? — Она все так же смотрела как бы сквозь мужа, погруженная в свои, должно быть невеселые, мысли.

— Мне кажется, что с тобой творится что-то странное. Это ты и не ты. Пожив там, на острове, ты как-то совсем отошла от меня. Вот сейчас я рассказываю тебе о том, что меня возмутило до глубины души, а ты витаешь где-то в облаках.

— Нет, я слушаю. И все слышала.— Дина спустила с дивана ноги и отстранила от себя собаку.

Теперь она сидела прямая, чуть подавшись вперед, в неудобной позе, и Петин подумал, что вот так сидят у него в приемной посетители, вызванные для неприятного разговора.

— Я все слышала,— продолжала Дина, подчеркнуто четко выговаривая слова. — Слышала, и если хочешь мое мнение, то мне кажется, он был прав, этот человек, когда

возмутился. А Надточиев был прав, когда догнал его и пожал ему руку. Я бы, наверное, сделала то же самое.— Продолговатые серые глаза из-за решетки ресниц смотрели прямо в лицо Вячеслава Ананьевича.— Видишь, я не пропустила ни одного твоего слова.

— Но ты говоришь дикие вещи! — Тонкие пальцы Петина забарабанили по полочке торшера.— Что обидного или унизительного я предложил Поперечному? Выдвижение — разве это обидно? Он немолод, устал. Ведь даже металл устает. А тут достойный, хорошо оплачиваемый пост. Да как же иначе, пойми: Поперечного знают наверху — и вдруг исчез. Это тень на всех нас и на меня тоже. А мы должны высоко нести знамя Оньстроя. Ну подумай как следует, разве не так?

Вячеслав Ананьевич объяснял все это терпеливо, с доброй, снисходительной улыбкой, а Дина сидела все в той же напряженной позе, сдвинув брови, упрямо закусив губу.

— Нет, не так. Знамя... авторитет. Это хорошо, когда на чистом сливочном масле, как любит выражаться Старик. Ты извини, но в данном случае я Поперечного понимаю больше, чем тебя. И поступила бы, наверное, так же, как он.— Женщина так стиснула ладони рук, что они побелели.— Ты предложил ему замаскированное дезертирство. Он возмутился. И я бы возмутилась на его месте, и любой честный человек...

— Так что же, я не честен! — воскликнул Вячеслав Ананьевич, вскакивая. Плотно сомкнутые губы его стали совсем незаметны.

— Я этого не сказала. Я говорю только, что ты рекомендовал совершить нечестный поступок. Я мало знаю таких людей, как этот Олесь, но мне кажется, чувство чести у них очень развито... Вон Иннокентий Савватеич сам написал в Москву, что ошибался, защищая свой остров. Разве это не прекрасно!

— Ах, как ты еще наивна! Совсем ребенок! Просто у этого Седых хороший нос, он учуял, куда там, наверху, подул ветер. Ветер переменил направление — и он быстро сменил парус. А Поперечный — просто тупой, упрямый хохол. Ему создали имя, я сам несколько раз упоминал о нем в своих статьях и интервью... Пойми же, как руководящее лицо, я не могу разрешить, чтобы из-за его капризов на строительство легла хоть какая-нибудь тень.— Вячеслав Ананьевич уже взял себя в руки, снова

сел в свое кресло и опять говорил тоном доброго наставника. Но он видел, что жена продолжает сидеть будто у него на приеме. Только глаза ее теперь с интересом следили за ним, точно видели его впервые.

— А вообще, почему ты всегда так плохо думаешь о людях? — вдруг спросила она.

— Видишь ли, дорогая, у меня большой опыт. Этот опыт говорит: лучше думать о человеке плохо, пока он не докажет, что он хороший.

— А почему не наоборот?

— Партия поставила меня на такой участок, что я не могу позволить себе роскошь быть простофилей. Человеку моего масштаба надо строить свои отношения с людьми по точному расчету, с хорошим запасом прочности. Ведь это же ужас, когда человек, которому ты доверился, с которым делишься сокровенными планами, вдруг изменяет тебе, перекидывается к твоим врагам... Вот так... И, может быть, хватит об этом. У меня и без того был сегодня скверный день... Лучше расскажи, чем сегодня занималась, моя хорошая?

— ...А ты верно заметил — все началось с той весенней поездки на остров. Со мной там что-то произошло. Нет, нет, не беспокойся, ничего особенного не было... Ты уже знаешь: опрокинувшаяся машина, люди, нуждающиеся в моей помощи, этот человек, который подавлял невероятную боль и стонал во сне... Незнакомый и очень интересный мир.— Дина говорила задумчиво, словно стараясь сама понять, что же с ней случилось.— Ты знаешь, это странно, конечно, но мне кажется, после этого я стала лучше видеть, лучше слышать. Вот и тебя я лучше вижу. Ты умный, волевой, принципиальный, но...

— Милая, я обычный советский человек, и, право же, я не заслуживаю столь пристального изучения со стороны моей доброй, ласковой женки.— Петин поднялся с кресла, обнял было жену, но она тихо отстранилась:

— Нет, докончим наш разговор. Вот ты упрекаешь: я не интересуюсь твоими делами. А знаешь, честно говоря, вот только сейчас я и начала ими интересоваться. Просто я, кажется, перестаю быть твоей тенью, твоим эхом, обретаю свой язык и, слышишь ты, свое мнение... И вот я вижу: тебе это неинтересно, мое собственное мнение, тебя оно раздражает. Ты хочешь одного — чтобы я тебе поддакивала, восхищалась тобой... Один человек назвал меня кошечкой.

— Конечно, великий остроумец Надточиев. От этого пошляка можно и не такого ожидать... Я никак не могу понять, почему ты с ним дружишь...

— Это сказала Василиса. У нее удивительная способность находить в людях сходство с животным миром. Старик — медведь. Что же, правильно...

— А я? Кому же меня уподобила эта прелестная ясновидица? — с явным облегчением произнес Вячеслав Ананьевич, радуясь, что разговор уходит от неприятной темы.

— Ты? Знаешь, она почему-то не хочет говорить. Сколько я ни просила — нет, и все.

— Странно. Я, кажется, ей ничего дурного не сделал. Я всегда...

— Вот опять... А почему ты решил, что она думает о тебе дурно? Она очень доброжелательная. Вот об этом механике, Павле Васильевиче Дюжеве, она...

— Что? Как ты его назвала? Павле Васильевиче? — Петин сразу оживился.— Этого Дюжева зовут Павел Васильевич? Ты это точно знаешь?

Дина удивленно посмотрела на мужа. Беспокойный взгляд, бледные пятна, проступившие на висках сквозь смугловатую кожу. Что его так взволновало? И тут отчетливо вспомнилось, как тогда на пароходе бородач както особенно пристально смотрел на Вячеслава Ананьевича.

— Да, его зовут Павел Васильевич,— не сводя глаз с мужа, сказала она

— Он в партии?..— спросил Петин.

— Кажется, да... Ты с ним знаком?

Лицо Вячеслава Ананьевича терялось в тени абажура, но крепкие ногти тонких пальцев, выбивавшие на столике барабанную дробь, были хорошо освещены. Дина смотрела на них и старалась понять, почему она сама так волнуется, почему учащенно забилось сердце.

— Так, значит, Павел Васильевич? Отлично. Это последняя точка над «и». Ты, дорогая, избавила меня от неприятных хлопот.— Вячеслав Ананьевич нетерпеливо снял телефонную трубку, назвал номер Литвинова, но тут же бросил трубку обратно.— Сколько лет прошло, а я сразу угадал. Вот что значит, дорогая, иметь блестящую память...

— Ты его знаешь? — спросила Дина уже требовательно.

— Не его лично. Но я многое знаю об этом человеке. Колхозный механик... борода... Но технический почерк — это даже больше, чем личная подпись: его не изменишь.

— Вячеслав Ананьевич,— сказала Дина, вставая,— я еще раз спрашиваю: кто он? Меня этот человек интересует.

— Ах вот как! Ну тогда мне придется тебя огорчить. Этот человек должен интересовать не скучающих хорошеньких дам, а соответствующие органы... Ты поняла? Больше я тебе ничего не имею права сказать. Есть дела, о которых с женами не разговаривают.

Петин торопливо скрылся в спальне. Услышав, как щелкнул рычажок телефона, Дина прислушалась. Начало разговора ей не удалось разобрать: Вячеслав Ананьевич вел его вполголоса. Потом, должно быть, увлекся, заговорил громче:

— Это тот самый Дюжев. Он, видимо, отпущен по амнистии, а может быть... Простите, я вас не понимаю: как — это все равно? Можно ли доверять таким людям? И какая наглость снова тянуть эту идейку, за которую государство уже расплатилось такими деньгами и за которую его осудил советский суд! А главное, не подписал, подкинул и не подписал... Вы так полагаете? Как начальник, вы, разумеется, можете принять любое решение... Хорошо, я представлю вам свое письменно зафиксированное возражение...

Дина слушала, покусывая губу. Она видела перед собой большую лохматую голову, лицо, скрытое на две трети буйной растительностью, остекленевшие глаза и всего этого будто окаменевшего человека, подавляющего невероятную боль. И этот человек с нечистой совестью? Преступник? Может это быть? И все в ней протестовало: да нет же, нет!

Погруженный в свои мысли, Вячеслав Ананьевич вышел из кабинета.

— ...Вот видишь, и еще один пример, как я прав в своем подходе к людям,— сказал он, не замечая напряженной позы жены.— Когда-нибудь, дорогая, я тебе все расскажу. Криминальный роман с катастрофами, с гибелью людей, с проницательным детективом и эффектным разоблачением... Сама того не зная, ты мне очень помогла. А Литвинов... Не понимаю его... Ну что ж, это его дело. А тебе спасибо, дай я поцелую руку.

Но жена не заметила этого движения. Она стояла, сжимая виски:

— Ой как дико болит голова!

— Ну, для устранения этого недуга человечество еще в прошлом веке изобрело чудное средство — пирамидон. Мне оно сразу помогает.— И Вячеслав Ананьевич пошел в спальню за таблетками...

7

Начинался август. Щедрая, изобильная пора. Тайга стояла в могучем зеленом летнем уборе. Отходила в чащобах малина, зато уже чернела в яркой зелени крупная смородина и брусника подставляла солнцу румяные щеки. Толстый слой хвои поднимали замшевые шляпки грибов первого урожая, которые здесь называли колосовиками. В полдень воздух в тайге был густо напоен ароматом разогретых хвойных смол, подсыхающей травы. Но по вечерам в закатный час становилось прохладно, по земле ползли слоистые туманы, и звезды над ними сверкали уже по-осеннему ярко в бархатной черноте неба.

В такой вот вечер на пасеке «Красного пахаря», в избушке деда Савватея, которую, должно быть, в память о его былых охотничьих заслугах все в колхозе именовали «станок», за столом сидели трое: сам хозяин, босой, в рубахе без пояса, в старых, заплатанных штанах, сын его Иннокентий Савватеич и Павел Васильевич Дюжев, имевший сегодня особый, непривычный для окружающих вид.

Он подстригся, округлил бороду, убавил усы. Вместо комбинезона, в котором его привыкли видеть, или дешевой пиджачной пары, какие в будни носили колхозники, на нем были офицерская габардиновая гимнастерка, плотно перехваченная поясом, армейские шаровары, заправленные в хромовые, начищенные до блеска сапоги. Над кармашком была прикреплена пестрая орденская колодка, не слишком большая, но и не маленькая, на которой солдатский глаз сразу отличил бы рядом с орденом Красного Знамени ленточки орденов, какие получали командиры частей за успешное проведение боевых операций. И если раньше трудно было определить на взгляд возраст Дюжева, который одним казался стариком, другим — молодым, сейчас, крепко затянутый ремнем, он

выглядел человеком «в самой поре», как определил дед Савватей, пораженный новым обликом колхозного механика.

Избушку наполнял прохладный полумрак, и так как за окном ходили тучи и вдали погромыхивало, запахи обострялись, и в ней густо пахло медом, хлебом, сухими травами. На столе стояли яичница с ветчиной, блюдо с румяными шанежками, солдатский котелок, полный малины. На тарелке лежал круглый кус домашнего масла, сохранявшего оттиск тряпицы, в которую оно было завернуто. В глиняном блюде виднелся медовый сот с воткнутым в него ножом. Хмельного не было.

Глафира, бесшумно стоя поодаль, у печи, уже несколько раз напоминала, что с закусками надо кончать, ибо пельмени «доходят», но никто не притрагивался к еде.

— ...Так помни, Павел Васильич, дом твой тут,— в который уже раз повторял Иннокентий Седых, любовно глядя на друга.— Как там ни обернись, ты наш. Из правления мы тебя вывели, а из колхоза не отпускаем, и книжка твоя у меня в столе будет.

— Не вовремя, не вовремя ты нас, Васильич, бросаешь,— тоже уже не в первый раз вздыхал Савватей.— Оно конечно, коза-то на горушке, говорят, выше коровы в поле, а все-таки мое тебе слово — зря. Дел-то на новом месте для тебя сколько! Город, чистый город вон Кеша строит. Там для твоей башки какой разворот — крути, верти... М-да, неладно, Васильич, неладно... Приютили тебя люди в трудную твою годину, как свово, семейного, приютили, а ты?..

— Папаша, ни к чему это,— остановил сын.

— А что, не правда? Каким он к нам приехал? Я не сужу, в расплохе и медведь труслив, а все же теперь вон какой сокол. Ох-хо-хо, смотри, Васильич, не смени кукушку на ястреба!

Ничего не ответив, Дюжев встал, подошел к зеркальцу, висевшему на косяке.

— Сколько лет сбрую эту не надевал! Сейчас надел — старик, совсем старик.— И по тому, что в речи своей он упирал на «о» больше обычного, Иннокентий понимал, как волнуется его друг.

— Горе-от, Васильич, разе что рака красит,— отозвался Савватей.

— М-да, времени прошло немало... Все будто осело,

устоялось, а тут снова поднялось. Нет у меня на свете людей ближе, чем вы, Седые. На партсобрании не сказал бы, а вам скажу: живет, живет во мне эта боль. Она как вот рана.— Дюжев хлопнул себя по голени.— Давно ее затянуло, а как погоде меняться, замозжит, задергает...

— Отваром редичным надо, а то капустный лист. Напарить в масле и прикладывать. Горячий, как можно только терпеть. Сразу полегчает,— послышался совет из полутемной избы.

— Эх, Глафира Потаповна! Глубока она, моя рана, не пропаришь ее... Другой раз и вовсе забудешь, а вот захотел погоду менять — и...— В словах Дюжева прорвалась тоска.

— У нас вот говаривают: «Долго горе горевать — все равно что хрен жевать!» — с деланной бесшабашностью воскликнул Савватей.— Нет на свете ни радости вечной, ни печали бесконечной... Глафира, пельмени, чую, у тебя доспели. Тащи.

— Так вы ж закуски не тронули.

— А ну их к корявому дьяволу, эти-от закуски... Тут большой разговор идет.

И пока Глафира перекладывала пельмени в блюдо, заливала их отваром, старик не переставал говорить.

— И еще у меня, Павел Васильич, за тебя сомнение. Вот рассказывал ты нам про человека того. Он-та там сила. С ним тебе хороводы-та водить придется.— На остром беркутином лице старика, за это лето очень высохшем, отразилась отеческая забота.— Не хочет он тебя, против его воли идешь. Раз он тебе жилы подрезал, и другой подрежет... А?

— Не хотел я с ним встречаться и за проект опасался. Думал, отдам чертеж, скроюсь, пусть люди пользуются... А вот нашли... Ничего, не беспокойтесь, все будет хорошо, диалектика говорит: все течет, все изменяется.

— Что она такое диалектика, мне неизвестно,— настаивал старик.— Однако у нас говорят: волк-от каждый год линяет, а нрава не меняет.

— ...А женка у него славная. Легонькая, будто косуля. Штанишки на ней эти смешные, как у клоуна какого, а руки твердые, уверенные. И крови не боится, будто сестрой медицинской по фронтам прошла,— задумчиво сказал Дюжев.

— Видели мы тут эти самые штанишки... Ле́са-та, Васильич, по опушке не узнаешь...

Молча ели пельмени. Добавляли, перчили, поливали уксусом, макали в сметану. Каждый думал свое, и когда блюдо опустело, разговор снова начался с того самого места, на котором оборвался.

— В случае что, Павел Васильич, помни: все мы твой тыл. Вся наша колхозная парторганизация. — Иннокентий отложил вилку.— Мы тебе такую характеристику напишем, хоть в ЦК тебя выбирай. А вот насчет этого самого, насчет жидкого-та, полечиться бы тебе. Говорят, теперь лечат... У нас тут каждый тебя своим одеялом прикроет, а там у всех на виду... Ох, беспокоит меня этот Петин!.. Конечно, по всему, надо б тебе на него, а не ему на тебя злиться...

— Не скажи, не скажи! — перебил Савватей сына.— В старину говаривали: «Кто кого обидит, тот того и ненавидит...»

Глафира шумно вздохнула. Она слушала весь этот разговор стоя, лицо у нее еще больше похудело, стало совсем похожим на лик раскольничьей иконы старинного письма. Черные глаза блестели из-под низко надвинутого платка, и была в них, в этих глазах, такая тоска, какой ни по одним святцам не знали небожители.

— Уж и угостила же ты меня на прощанье, Глафира Потаповна,— сказал Дюжев, решительно вставая.— Умирать буду, пельмени твои вспомню... Ну, спасибо, пора мне...

— Ты нас, Павел Васильич, совсем-та не кидай. Выставка тут нам чертежи парников и тепличек прислала, без твоей-то головы трудно будет,— сказал Иннокентий и вздохнул: — Без тебя и вообще-та мы на голову ниже станем.

— Да что вы его как на кладбище! — сердито оборвала Глафира.— На его коне до Ново-Кряжова час скоку.

— Вот-вот, именно час,— поддержал Иннокентий.— Будем тебя на консультацию вызывать, суточные, командировочные — всё чин чином... А потом мечту я имею, Павел Васильевич.— Иннокентий потупился.— Породнимся, может, а? Тут все близкие, секретов от них не держу. Вот как Ново-Кряжово дострою, запущу все на полный ход, мечтаю свадьбу сыграть. Понял? Тольша Субботин — круглый сирота. Так тебя за посаженого позовем. Вот и будем сваты-браты...

Дюжев уже стоял в дверях, искоса поглядывал на старинные ходики с камаринским мужиком, отплясывавшим трепака на циферблате.

— А я-то думаю, зачем это Иннокентий новый дом с двумя крыльцами рубит? — сказал он усмехаясь.— Обещаю: на луну ушлют, оттуда прилечу на свадьбу.

— Ну, прощай,— сказал Иннокентий, протянув руку.— Забудь, что мы тут наговорили... Правда у нас всегда верх возьмет, такая страна.

— Уж на что щука востра, а не взять ей ерша с хвоста,— с деланной веселостью поддержал Савватей.— Сибирь-матушка на всяк случай пословицы придумала.

Дюжев хотел что-то сказать, но не сказал, сглотнул слюну и, резко повернувшись, скрылся за дверью. По крылечку проскрипели сапоги, резко взревел мотоциклетный мотор. С ходу взяв скорость, машина промчалась мимо окон, но рокот мотора долго еще слышался из тайги, и какой-то уголок надтреснутого зеркала звенел, отвечая ему. Наконец все стихло.

Старый Савватей встал, пошарил рукой за печкой, извлек оттуда пол-литра, коротким ударом выбил пробку, налил полстакана.

— Ну, доброго ему пути. Полный большевик, как твой, Глафира, муж, Александр Савватеич покойный...

Выпили не чокаясь, как пьют на похоронах. Тикали ходики, за окном, в сгустившейся тьме сверкала молния. И вот полыхнуло где-то рядом, послышался оглушительный раскат, и крупный дождь забарабанил в стекло. Из глубины избы, где стояла кровать, слышались приглушенные всхлипы. Там плакала Глафира, вцепившись зубами в подушку.

— Эх, отец, отец, дернуло тебя про Александра поминать! Мне легче с Кряжом проститься, чем ей с той могилкой, вся жизнь ее там.

— Промазал,— шепотом признался старик и еще тише добавил: — Васильич, он ведь, верно, на брата твоего старшего с лица здорово смахивает. У того ж от нас ни кровиночки не было. Весь был в мать, такой же вот ражий да русый.

Вошла Глафира, черный платок совсем закрывал лицо, и только глаза светились из узкой щели.

— Иннокентий, тебе в избе стелить или с отцом на сеновале ляжешь? — будничным голосом спросила она.

8

Ганна Поперечная и Ламара Капанадзе познакомились весной на Птюшкином болоте, когда оно было еще пустошью, лежавшей в низине, отороченной по краям березовым лесом. Городок — спутник будущего Дивноярска, весьма симпатично выглядевший на плане, как окруженный леском поселок одноэтажных двух- и четырехквартирных домиков с центральной площадью, образованной зданиями школы, универмага, кинотеатра, яслей и клуба, был тогда пустырем, по которому, как жуки, ползали, гудя и лязгая, канавокопатели, бульдозеры, скреперы. Они осушали низинные места, профилировали будущие улицы, поднимали проезжую часть, тротуары. Вся эта пустошь была уже разбита на строгие квадраты кварталов. На перекрестках виднелись дощечки, на которых можно было прочесть названия улиц: Березовая, Сосновая, Лиственничная, Черемуховая, Кедровая...

Говорили, что названия эти придумал Старик. Он с особой любовью наблюдал за этим районом малогабаритных домиков, где каждая семья должна была получить в палисаднике клочок земли.

— Тут мы будем в наше будущее глядеть,— говорил он особо близким людям, довольно потирая волосатые короткопалые руки.— Мы страна просторная, нам не для чего лезть в небо. Ближе к земле — здоровее.

Так вот однажды, весенним днем, на перекрестке таких двух улиц, о существовании которых говорили пока что дощечки, встретились две женщины: маленькая, полненькая, с глазами-вишнями и высокая, прямая, со строго очерченным лицом.

— Вы мне не скажете, как пройти на улицу Березовую? — спросила та, что была повыше, и в ее правильной русской речи обозначился легкий грузинский акцент.

— А вам какой же дом? — поинтересовалась маленькая.

— Шестой.

— Шестой? Боже ж мой, так мы ж суседи! Вы что же, Ладо Ильичова жинка?

— А вы Ганна Поперечная? Да? Вождь грозных «домовых»? Так познакомимся: Ламара Давыдовна. Зовите просто Ламара.

— А я Анна, зовите Ганна. Так мне привычней. Ладно?

Они пожали друг другу руки.

— Вот и познакомились, и дуже гарно, ходите до нас в гости,— сказала Ганна, показывая на пустырь, где среди грязных клочьев еще сохранившегося кое-где снега торчали ровные ряды колышков, и обе засмеялись, потому что и дом номер шесть, и Березовая улица, и сам город-спутник — все было в будущем, а пока перед ними в весеннем мареве лежал луг, отороченный березовым лесом. Людей не было видно, лишь машины двигались в разных направлениях.

Женщины вместе отыскали Березовую улицу, колышек с цифрой «6» и другие колышки, обозначавшие границы будущего двухквартирного домика. Возле был крохотный участочек. Но для двух женщин это был не лоскуток луговины, а клочок своей земли, и вот теперь они мысленно уже обставляли свое жилье, прикидывали, где будет палисадник, где лягут грядки, где будут посажены фруктовые деревца. Дул ветер. По небу неслись белые, куда-то очень торопившиеся облака. Промозглая сырость забиралась под одежду, на пустыре было неуютно, но женщины не спешили домой. Иногда они сходились у колышков, обозначавших то или иное крылечко, переговаривались.

— День и ночь мечтаю, когда мы в свою хату переберемся. Аж по ночам грезится.

— И я. Представьте, и я. Ладо все рассказывает, как хорошо и умно вы в землянке устроились, а мы вчетвером с сыном, с няней в одной комнате... Если бы вы знали, какая прекрасная квартира была у нас во Владивостоке: всегда горячая вода, газ, вид на бухту!

— А у нас в Усти! Боже ж мой! Пианино купили, Нинку музыке учить начали. Садок с вишней. Первый раз вишни в том садке созрели, каждому по две штучки досталось. Кислые, но свои.

На миг беседа прервалась. Глаза у женщин были влажные. Потом они взглянули друг на друга, улыбнулись.

— Что там вспоминать! Наш батько говорит: назад оглядываться будешь — споткнешься. Гляди вперед.

— А мой, есть у нас такая грузинская пословица, она и у русских есть: не место украшает человека, а человек — место...

Позже, когда подсохло и березы вдали стелили по ветру уже не розовые голые ветви, а нежную, молодую, желтоватую листву, соседки часто встречались у своих будущих крылечек. Приходили с заступами, тяпками, граблями. Из Старосибирского института прислали наконец долгожданные саженцы стелющихся яблонь и северных вишен. Сестра прислала Ламаре из Кутаиси семена цицматы, киндзы, тархуна и других ароматных трав. Соседки поделились друг с другом тем и другим. А однажды в праздничный день Ганна привела с собой хлопцев во главе с Борисом. Дружные дюжие ребята в один день вскопали весь участок Поперечных, а заодно, разойдясь, и соседний. Женщины сварили им на костре хороший обед, ребята сгоняли на мотоцикле в Дивноярск за «горючим» и хорошо угостились среди вскопанных, взбитых, как пуховики, гряд, от которых вкусно пахло землей, влагой, солнцем.

Охмелевший Борис Поперечный, косясь на пригожую грузинку, даже перешел на украинский язык.

— У нас у сэли звычай: комсомольци солдаткам зорать и обробыть помогають. Вы ж, титкы, тип ж солдатки. Чоловикив хиба в сни и бачитэ.

— Молчи, божевильный, цур тоби пэк! — смеялась Ганна.

А потом, когда хлопцы ушли, обе женщины опечалились. Солдатки! Как это к ним подходило! И общая эта тягота еще больше сблизила этих двух таких разных женщин.

— Вы знаете, Ганна, когда мой на флоте в плавание уходил, не виделись по месяцу и больше. Я все мечтала: уйдет в запас, отдохнем, поживем друг для друга. В театр, в кино, на выставки разные будем ходить. Гришей вместе займемся. И вот, это грубо, конечно, сказано, но ведь в самом деле только в кровати и встречаемся.

— А я за солдата шла. Так верите ли, Ламарочка, ясочка вы моя, на фронте в войну больше вместе были. Такая обида, такая обида... А жизнь-то ведь идет. Так всю ее и прозеваешь, сидя на узлах. Я ведь с нашим батьком теперь в иной день и словом не перекинусь. Придумал он каких-то «негативов» за уши вытаскивать, до ночи в забое, придет — тронуть страшно...

Возвращались молча, и лишь там, где пути их расходились, Ганна сказала:

— Солдаткой можно молодой быть, а в нашу пору...— И тряхнула головой, будто комара отгоняя.— А что, если вам, Ламарочка, к нам в «домовые»? — И вдруг, совсем оживившись, сказала: — У «домовых» тогда в парткоме уж не рука, а кое-что покрепче руки будет.— Ганна озорно подмигнула.— То когда-то еще мы с нашими делами к товарищу Капанадзе пробьемся, а то вы ему под одеялом пошепчете: ночная зозуля дневную-то всегда перекукует.

И Ганна бодрой походкой направилась в Зеленый городок, а Ламара, провожая ее глазами, удивилась, откуда эта уютная толстенькая женщина-уточка берет энергию...

С пуском первой очереди домостроительного комбината на пустыре, все еще носившем смешное название Птюшкино болото, дома стали расти поистине со сказочной быстротой. Едва каменщики успевали поднять столбы фундамента, как приезжали машины с готовыми огромными деталями, и монтажники за три-четыре дня собирали дом, подводили его под крышу. Так однажды Олесь Поперечный, придя после долгого отсутствия на Птюшкином болоте, увидел, что Березовая, шесть — уже не колышки с дощечками, а новенький, пахнущий смолой, весело золотящийся на солнце домик, в котором девчата-маляры, напевая, охорашивают стены.

Пустырь превратился в поселок. И пока неторопливые катки ровняли асфальт проездов, по вечерам сами жители — мужчины, женщины, ребятишки — сажали вдоль тротуара деревья, привезенные из тайги. Ламара и Ганна, работавшие вместе с ними, радовались первым почкам, лопнувшим на маленьких и хилых саженцах, звали друг друга любоваться каждым новым листом, выкинутым на огурцах.

Их мужья нередко «заскакивали» теперь на Березовую. Но именно заскакивали. Им постоянно было некогда, постоянно они были заняты и на Березовой чувствовали себя не хозяевами, а гостями.

Хозяйственная Ганна, мечтавшая, что муж в добавление к газовой плите соорудит ей во дворе, по обычаю родных краев, кирпичную грубку, собрала щепу, стружки. Грубки все не было, и ветер растащил кучи и забрасывал мусор и на соседний участок. Было обидно, очень обидно...

В день, когда новым хозяевам домика по Березовой, шесть, были вручены ключи, соседи встретились на

собрании партийного актива строительства. Встретились и договорились, что в ближайшее воскресенье обе семьи перевезут пожитки в новое жилье и, по обычаям, существующим и на Украине, и в Грузии, и тут, в сибирском краю России, совместно «обмоют» новые стены. Об этом торжественно было объявлено дома. Но случилось так. После известного уже нам тяжелого разговора в управлении Олесь решил провести выходной день в кабине машины, разгадывая причины своих неудач. В тот же день прибыла делегация старых коммунистов Чехословакии. Они прилетели за тысячи километров смотреть рождение сибирского колосса. Капанадзе с утра показывал почетным гостям строительство.

Жены решили перебираться сами. Особых трудностей это не представляло. Хлопцы и Сашко погрузили, перевезли мебель той и другой семьи и под руководством хозяек расставили по комнатам тяжелые вещи. Даже печи истопили. Но радость дня, которого так ждали обе женщины, постепенно меркла. Пока хлопотали с перевозкой, с выгрузкой, с расстановкой, было еще ничего. Но вот подмели пол, с удовольствием пощелкали выключателями, повертели краны, подергали водоспуски в уборной. Установили: все работает.

Пришлось самим составлять на общей террасе столы, самим водружать на них закуски, бутылки. Больше делать было нечего. Нина и Григол убежали играть во двор. Сашко уткнулся в книгу. И опять пришла большая обида: в такой день — одни. Но обе прятали обиду, держались, болтали, пока Ламара случайно не сказала:

— А я все думаю, какие вы с мужем умные, практичные люди. Не успели переехать, и все у вас на месте. А у меня, смотрите, лавка комиссионная. Все снова приобретать надо. Даже тахту бросили во Владивостоке, а какое же грузинское семейство без тахты, без мутак! — Она еще раз прошлась по комнатам Поперечных.— Какая прелесть эта ваша складная мебель!

В ответ на похвалу слезы брызнули из глаз Ганны, и удивленная, испуганная Ламара услышала сквозь рыдания:

— Будь она проклята, та складная жизнь, будь проклята, будь проклята...— И хотя к этому не было добавлено ни слова, Ламара все поняла. Обняв новую подругу, она тоже расплакалась.

Когда Олесь Поперечный и Ладо Капанадзе, уже затемно, прибыли домой по своему новому адресу, они нашли праздничный обед безнадежно остывшим, а жен спящими в обнимку на диване.

9

С некоторых пор у начальника Оньстроя появился толковый, деятельный, разбитной помощник, не числящийся в штатах управления и не прошедший сквозь сито отдела кадров. Больше того, ежедневно общаясь с ним, давая ему разные поручения, начальник строительства никогда не видел этого помощника и почти ничего не знал о нем.

Помощник этот вступал на должность постепенно, незаметно врастал в нее, а так как руководство Оньстроем — это масса разнообразных дел, Литвинов и не заметил, как это произошло.

Автоматическая телефонная станция Дивноярска еще только сооружалась. Связь велась с помощью телефонисток. И вот однажды среди знакомых уже голосов из телефонной трубки послышался новый, звонко, напористо, энергично отвечавший: «Седьмой». Началось все в праздничный вечер. Литвинову понадобилось сообщить в Москву, как чувствуют себя чехословацкие гости, но Капанадзе, который сопровождал их весь день, отыскать не удалось. После двух неудачных звонков он с досадой произнес:

— Вот незадача! — и бросил трубку.

Через некоторое время раздался вызов и напористый голосок сообщил: «Соединяю с Капанадзе». И сейчас же знакомый голос с грузинским акцентом спросил:

— Вы меня ищете, Федор Григорьевич?

— Ищу, а ты где, откуда говоришь?

— С Птюшкина болота, из милиции.

— Нет больше Птюшкина болота, есть городок-спутник,— поправил Литвинов. А потом, получив сведения о чехословацких гостях, удивился: — Как же ты, Ладо, угодил в милицию?.. С новоселья?.. Ты что меня разыгрываешь?

— Вы же сами за мной посылали участкового.

— Ах вот оно что! Это Седьмой, его работа...— догадался начальник и довольно прибавил: — Ишь ты, какой

молодец! — Подумал, решил поблагодарить. Но, подняв трубку, услышал: «Пятый»...

Вся эта маленькая история так, вероятно, и забылась бы, но на следующий день Седьмой опять заявил о себе. Понадобился Надточиев — его не оказалось ни в кабинете, ни в доме приезжих, ни в вагончике у Бершадского, где Сакко Иванович проводил теперь много времени, наблюдая, как Макароныч и вновь назначенный инженер Дюжев подготавливают строительство моста. Надточиев был найден и приглашен к телефону... в молочном магазине, где он покупал себе кефир. На этот раз Литвинов поблагодарил Седьмого и даже поинтересовался, как это ему удается делать.

— Очень просто,— прозвучал напористый голосок.— Дежурная в доме приезжих сказала, что пошел за молоком. Молоко в магазине, молочная на левобережье одна, телефон известен.— Но слушать благодарности Седьмой не стал. Он исчез из трубки.

Литвинов любил все текущие вопросы решать на месте, на ходу. Кабинетная работа была у него плохо организована. Его секретарь, пожилой, растолстевший человек, переезжал с ним уже на третью стройку. В управлении он всегда был председателем месткома, слыл активистом. Это был аккуратный человек. Что-нибудь ему поручив, можно было не бояться: не забудет, рано или поздно сделает. Но делал он чаще поздно, не было в нем энергии, смекалки, инициативы. Как-то огорченный Литвинов неосторожно сказал: «Ты, брат, как чемодан без ручки — и в дело не годен и выбросить жалко». Так за ним и пошло: «Чемодан»... Вот почему такое непрошеное вторжение в его дела оказалось Литвинову весьма кстати. Теперь он часто просил:

— Слушай-ка, Семерочка, отыщи-ка ты мне, голубчик, такого-то.

Потом уже с вечера, уходя домой, стал давать проворной девушке поручения:

— Семерочка, не в службу, а в дружбу, запиши-ка там у себя: я с утра на домостроительном комбинате, потом на дамбе у Макароныча, потом на правобережье, там, где Мурка-зубоскалка свирепствует... Потом заеду в карьер на четырехкубовые. Ясно? Ты уж не подкачай. Чуешь, звонок серьезный — поищи. Идет?.. Ну спасибо. Дай бог тебе жениха хорошего...

И Седьмой, за которым по просьбе начальника закрепили его провод, неукоснительно, с большой точностью выполнял все поручения. Так понемножку таинственный Седьмой занимал в управленческих делах все большее место, и Чемодан, единолично владевший до сих пор персональным проводом начальника, ревнуя, недоумевал, откуда она взялась, эта настырная девка. А та, обладая острой памятью и, видимо, очень организованная, оказывала Литвинову все более существенную помощь. Впрочем, Седьмой был строг, комплиментов и шуток не слушал, и как только разговор сходил со строго деловой колеи, голос гас в трубке и Седьмой исчезал без предупреждения.

И вот однажды утром вместо Седьмого ответил Пятый.

— Почему Пятый, где Седьмой? — буркнул Литвинов.

— Она заболела,— был ответ.

— Что с нею?

— Ангина и грипп,— ответил девичий голос, показавшийся Литвинову скучным и противным.— Валя оставила мне список тех, кого вам надо утром вызывать. Начать?

— Ну, включай.

Но у Пятого, как он ни старался, ничего не получилось. Многих нужных людей не оказалось на месте, найти их Пятый не сумел или не счел нужным. И вся первая, самая любимая часть рабочего дня оказалась у Литвинова смятой. Вот тогда-то Литвинов снова подумал, что нужен настоящий помощник, без которого до сих пор позволяли ему обходиться собственная необыкновенно острая память, энергия и чутье. Новый небывалый даже для него объем строительства, сложные соотношения производств, разбросанных в разных местах, далеко друг от друга,— все это требовало не ветхозаветной скрупулезности и неторопливой исполнительности Чемодана, а энергии, инициативы, творчества; да, именно творчества.

Об этом вечером усталый Литвинов и рассказывал с досадой Петину. Тот слушал его сетования с понимающей улыбкой.

— ...Я вам всегда говорил об этом, Федор Григорьевич, четкий, слаженный аппарат — это все. Эти ваши утренние мотания по объектам, простите, плюскомпер-

фект — давно прошедшее время. Вы, может быть, помните, как юнцы критиковали меня на партсобрании за то, что я редко бываю на объектах. Зачем? Не ездил и не поеду. Времени мало. К чему терять его на пустые разговоры? Четкая работа аппарата позволяет мне чувствовать пульс всего строительства, в любое мгновение знать, что где происходит. Ленин же говорил: социализм — это учет.

Литвинов любил учиться. Встретив нового человека, причастного к новым теориям, к интересным открытиям, к свежим инженерным веяниям, он зазывал его к себе, потчевал обедом, с ученическим усердием выспрашивал все, что тот знал. Внимательнейше слушал, иногда даже записывал в тетрадку. А вот сейчас, высоко ценя организаторские способности Петина, он все-таки весь внутренне встопорщился: нет же, черт возьми, никакой аппарат, никакое управление, никакие мертвые связи не заменят живого сношения с людьми, такими разными, такими сложными, такими не похожими друг на друга! Ленинская формула, произнесенная Петиным, взволновала его.

— Да, Ильич говорил: социализм — это учет,— тоненьким голосом произнес он.— Но Ильич не говорил, что учет — это социализм... Нет. И он сам, неся на своих плечах государство, все время общался с людьми, бывал на фабриках, в селах, сам принимал делегатов, ходоков...

— У меня тоже, как вы знаете, немало людей бывает на приемах,— ответил Петин.— Если меня что-то интересует, могу с ними побеседовать, но мало кто может сообщить мне что-то новое.

— Это потому, что к тебе ходят те, кому ты нужен, а не те, кто тебе нужен. Тем некогда околачиваться по предбанникам начальства. В крайней нужде позвонят или напишут. И ты об их нуждах не знаешь...

— У вас есть конкретные факты?

— Есть. Утром был на дамбе. Там сейчас этот Дюжев всем ворочает. Замечательный парень! Из-за какого-то подлеца столько зря отсидел... Так он так нас с тобой раскритиковал за то, что благословили отсыпку пионерным способом... Признаюсь, я было шумнул, а он улыбается: «Подумайте как следует и увидите: я прав...» И ведь прав, собака, прав... Ты об этом знаешь? Ну?

А Дюжев такой, что к нам на прием не попросится. Пример? Ага!

Петин спокойно слушал, но Литвинов уже знал, что значит, когда его губы сжимаются так, что почти исчезают с лица, а пальцы худой руки начинают выбивать по стеклу дробь.

— Вы правы в одном: этот человек ко мне не придет. И хорошо сделает. Я уже вам представлял письменное возражение против всей затеи со сборными конструкциями опор... Мы строим не какую-нибудь там межколхозную электростанцию. Мы ведем строительство мирового значения. Это наш козырь в игре с Западом, а тут сомнительные эксперименты. Сомнительные — это вежливое выражение... Я вам уже и устно и даже письменно сигнализировал, что этот заманчивый вздор уже обошелся однажды государству в миллионы рублей плюс несколько человеческих жизней. Это зафиксировано в решении суда, советского суда. Злая воля или преступная глупость — это в чисто инженерном аспекте не так уж важно — единственная причина, заставившая меня письменно предупреждать вас о пагубности затеи этого человека...

— Вы письменно предупредили не только меня,— хрипловато сказал Литвинов, переходя на «вы». И вдруг стал изысканно вежлив.— Вы изволили так написать министру и соблаговолили информировать инстанции...

Литвинов, которому только что было тесно в широком кресле, весь подтянулся, сидел прямо. Резкие морщины на лбу углубились, синие глаза смотрели замкнуто. Петину тоже были хорошо известны эти признаки.

— Федор Григорьевич, я этого не собирался от вас скрывать... Ну что ж, признаюсь, я немного чиновник. У меня нет вашего авторитета, вашей широты, ваших... Ну, прямо скажу, и ваших связей. Я не могу брать на себя то, что можете вы, и, как коммунист, я только счел долгом...

— Коммунист? А я кто? — Литвинов давно уже знал, что в борьбу против проекта Дюжева Петин стремился вовлечь многих людей, знал о его докладных, о телефонных разговорах. Приняв меры, он не собирался мешать Петину доказывать свое. Но тут уж сорвался и удержаться не мог.— Так вот, под столом я карты не тасую. Я приказом назначил этого Дюжева ответственным за

проектирование и строительство банкетного моста. Я поручил ему руководить составлением чертежей. Я командирую его в Москву в институт консультировать проект. Я прекращаю отсыпку дамбы. Я, коммунист Литвинов Фе Ге, член партии с 1920 года. Можете сообщать об этом кому угодно. Я весь к вашим услугам.

И тяжело, с хрипотцой дыша, Литвинов вышел из кабинета. Когда он проходил через приемную, Чемодан сжался, замер. Он знал эти припадки тихого бешенства, которые были куда опаснее, чем шумный гнев и грубоватая брань, доносившаяся порой из-за двери.

— Надточиева! — бросил Литвинов на ходу.

Щелкнул замок. Оказавшись один, Литвинов стал пить прямо из кувшина, потом подошел к окну, перегнулся через подоконник и остаток воды вылил себе на круглую стриженую седеющую голову. Он уже терзался досадой, что дал себе так распуститься. Седая голова Чемодана просунулась в дверь и шепотом доложила, что Надточиева нигде нет.

— Растяптяй! — снова взорвался Литвинов и сорвал с телефона трубку.

— Пятый,— ответил голос.

— Почему Пятый, где мой Седьмой?

— Я же говорила вам, она больна, у нее ангина.— Голос телефонистки дрожал.

— У, черт вас всех!..— и трубка была брошена на рычаг.

Сидя в темноте, не зажигая огня, Литвинов успокоился. Рано или поздно это все надо было Петину сказать, обязательно сказать, но деловито, корректно. Браниться было не из-за чего. Что он такого, в сущности, сделал? Ну, написал о своих сомнениях и возражениях министру. И что? Идею всегда можно отстоять, если она хороша. Впрочем, если бы министр не получил бы когда-то под руководством Литвинова боевого инженерного крещения, если бы он теперь не позвонил и не поинтересовался, что, мол, Федор Григорьевич, у вас происходит, из-за чего загорается сыр-бор, может быть, и провалилось бы дело. «Связи...» Ишь куда метнул! А может быть, Сакко прав, нужно быть с Петиным поосторожней? Н-да!

Покидая кабинет, Литвинов попросил соединить его со старшей телефонисткой.

— Слушай, две просьбы: когда прочихается этот ваш почтенный Седьмой, попроси его на досуге зайти ко мне

в управление. И еще скажи своему Пятому, что, мол, перед ней извиняюсь, я ей черта ни за что ни про что в трубку запустил. Отзываю этого черта. Слышишь? Скажи Пятому: мол, не со зла, а в расстройстве чувств.

10

Выйдя из управления, Петин попросил шофера:

— Прокатите меня куда-нибудь.

— Хотите на Птюшкино болото? Туда сейчас асфальт проложили, фонари ставят.

— Ах, все равно...

Проспект Электрификации совсем потерял свой экзотический вид. Дома, обложенные желтой керамической плиткой, асфальтированный проезд. Пестрые петуньи на газонах вдоль тротуаров, деревья, привезенные из тайги и еще поддерживаемые проволочными расчалками, уже принялись, дают тень. Зеркальные окна, неоновое и аргоновое мерцание. И люди идут по тротуару такие же, как в Москве, или в Киеве, или в Тбилиси. Редко увидишь в толпе промасленный комбинезон, брезентовую робу, резиновые сапоги. Только и разницы, что накомарники на головах. Да и те девушки ухитряются кокетливо носить набекрень, как широкополые шляпы с вуалетками.

Петин редко выезжал за пределы молодого города, и поэтому на каждом шагу его ждали сюрпризы. Ухабистая, разбитая таежная дорога превратилась в шоссе. Тонкие бетонные столбы, красиво изгибаясь, держат над ним сильные ртутные лампы, а на поворотах, как и прежде, фары выхватывают из тьмы стены вековечной тайги.

Социалистический город в тайге. Всякому другому дорого бы обошлись эти миллионные утопии в годы, когда экономят на персональных машинах, урезывают ставки министров, руководящих работников, по перышку ощипывают аппарат. А Литвинову все сходит: министра он когда-то вытащил в люди. В Совмине, в ЦК дружки. Ах, какого же дурака вы сваляли, уважаемый Вячеслав Ананьевич, недооценив это обстоятельство!

Сегодняшний разговор поразил Петина. Старик позволил себе говорить, как с каким-нибудь желторотым инженеришкой, с ним, с Петиным, которого знают большие люди, ценят как человека принципиального, как

новатора, непримиримого в борьбе с рутиной. И не только ценят, но иной раз и приглашают для советов!

Первой мыслью Вячеслава Ананьевича было оборвать начальника, объясниться, потребовать извинений и, если они не будут принесены, тут же заявить об уходе. Но второй такой электростанции в мире не строят. Вспомнил мечты, с которыми он ехал сюда, на берега пустынной сибирской реки. Что ж, крах этим планам? Несколько лет будут мертвым промежутком в его такой яркой, насыщенной биографии? Конечно, Литвинов — мятый пар, отработанный, потерявший энергию. Конечно, он держится именем да связями, этот выдвиженец образца тридцатых годов. Но бросаться с ним в открытую схватку, не накопив и не расставив силы, не подготовив исходные позиции, бросаться лишь для удовольствия проучить этого хама — нет, такой роскоши умница Петин позволить себе не может...

Забраковав идею бурного объяснения, Вячеслав Ананьевич стал смотреть в опущенное стекло, стараясь успокоиться. Асфальт, фонари... Светофор... Совсем московский автобус... А пахнет лесом, и какая-то птица ухает во тьме... Город-спутник на Птюшкином болоте — это же тоже затея для «Крокодила». Кому они нужны, эти жалкие жилищные эксперименты, когда на строительстве величайшей в мире электростанции работа руководителей измеряется лишь опережением графика! Эх, если бы во главе строительства встал Вячеслав Ананьевич Петин — боевой, динамичный, современный человек!.. Он бы сразу показал, чего он стоит. Но ничего, ничего, придет время. Терпение и еще раз терпение...

Решив, что думать об этом пока бесполезно, Петин, чтобы отвлечься, перекинулся мыслями в свой маленький домик. Но на душе стало еще тревожней. Как хорошо, как согласно жилось им с Диной в Москве! Какую очаровательную жену воспитал он для себя из этой тоненькой сероглазой студентки! Жену по своему вкусу: ласковую, умную, понимающую его с полуслова, проникнутую его заботами, думающую почти синхронно с ним. Как это приятно было чувствовать, что любая твоя мысль тотчас же находит отклик в этом чутком, послушном существе!.. А тут... Воздух, что ли, здесь какой-то особый, тлетворный?.. Этот резкий тон... Беспокойные, настороженные глаза... Это упрямство... Кто настраивает ее против него? Надточиев?.. Или, может, Дюжев, с которым она позна-

комилась на острове?.. И откуда вдруг эта некрасивая, неженственная, так не идущая ей строптивость?.. Нет, все-таки он, должно быть, ошибся, взяв ее с собой... Не следовало. Но оставить одну в Москве... Нет, и об этом лучше сейчас не думать...

Машина медленно развертывалась на небольшой площади, которую обступали еще не достроенные, скромной архитектуры здания. Возле одного из них стояла большегрузная машина. В кузове на садовых скамейках располагался духовой оркестр. Он усердно изрыгал из своих труб какой-то пошленький мотивчик, а посреди площади яростно отплясывала молодежь. Каждый одет был на свой манер. Модницы, обмахивавшиеся накомарниками, как веерами, были даже в вечерних платьях. Это было особенно мило, потому что в паре с ними шли ребята в клетчатых рубахах, в штанах, заправленных в сапоги, а один, должно быть бросившийся в танцы прямо с работы, был в комбинезоне, пропитанном маслом. Руки у него были в мазуте. Чинно крутясь со своей дамой, он старался не касаться ее и поэтому оттопыривал ладони.

— Назад! — распорядился Петин, раздраженный этим безвкусным зрелищем. Чтобы развернуться во всю ширь своего таланта, он уехал от московских премьер, концертов, вернисажей в эту чертову глушь, где извольте любоваться вот эдакими жанровыми картинками.

— Ну что вы так медленно едете?

Машина уже бежала по проспекту Электрификации и остановилась у светофора перед поворотом на Набережную. Справа, совсем рядом, у ярко освещенного входа в библиотеку, Петин увидел жену. Она стояла с Надточиевым и каким-то другим верзилой. Маленькая, тоненькая, она оживленно разговаривала. Слов не было слышно. Вот Надточиев что-то сказал. Она улыбнулась. Третий, тот, что стоял спиной к машине, отрицательно покачал головой и тоже произнес какую-то фразу. Теперь смеялись все трое. Мужчины смеялись громко, и смех этот больно отозвался в сердце Петина. Служба, дом — одно к одному! И как это вышло, что здесь, где близкий человек, являющийся твоим вторым «я», особенно дорог и нужен, вдруг соскочила с рельсов жизнь, которая, казалось, так надежно по ним катилась. Всегда была домоседкой. Могла целыми вечерами, не уставая, слушать его рассказы, обсуждать его замыслы, радовалась его радостям, любая его тревога находила в ней отклик. Как

часто в ответ на предложение пойти в театр или в кино он слышал: «Нет, милый, лучше посидим дома». Вечера почти всегда принадлежали им двоим. И вот...

Петин отпер дверь. Огни в доме погашены. Лишь в столовой маленькая лампочка освещает угол стола. Один прибор, записка, приколотая к салфетке: «Ушла в библиотеку. Первое, второе в духовке. Подогрей. Кипяток в термосе, заварка в чайнике». Как хороши были молчаливые ужины вдвоем, в тишине!.. Первое и второе в духовке... Заварка... А сама болтает с этим дубиной Надточиевым и еще с каким-то олухом.

Вячеслав Ананьевич не пошел на кухню, не разогрел первого и второго, не переоделся в пижаму и покойные на меху туфли, которые Дина сама соорудила по чукотской выкройке и преподнесла ему в день рождения. Всего год назад. Как этот год все изменил! Интересно, что он там отмочил, Надточиев, чему они смеялись... Нет, нет же, это совсем не ревность, ревность — это атавизм... Но неприятно же, черт возьми, есть подогретые котлеты и искать заварку, в то время как какой-то захолустный болтун чешет язык с твоей женой, черт побери!..

В двери заскрежетал замок. Дина, несколько смущенная, вошла в комнату. Увидела мужа в костюме и ботинках, увидела на столе нетронутый прибор.

— Куда-нибудь собираешься? — спросила она, и Петину почудилось, что ей было бы приятно, если бы он ответил: «Да, ухожу».

Она положила на стол медицинские журналы и книгу. В руках у нее остался букетик желтеньких таежных цветов. Ушла на кухню. Зашумела водой. Потом вернулась. Букет был уже в вазе. Поставила его на столик, погладила Чио и, ничего не сказав, снова скрылась на кухне. Все стихло. «Что она там делает?» — подумал Петин, стараясь подавить поднимавшееся в нем раздражение. Жена стояла у плиты и читала. Что-то кипело перед ней в кастрюльке, наполняя комнату аппетитнейшим запахом.

— Он же у тебя весь уйдет,— с мягким упреком произнес Вячеслав Ананьевич, указывая на кастрюлю.

— Да, да, конечно... Наливай сколько хочешь, хоть все, я уже ела. Вкусный бульон... Тут статья о полиомиелите... Как я дико отстала!.. За эти годы терапия сделала такой скачок...

— А может быть, дорогая, ты покормишь сначала го-

лодного мужа? — Вячеслав Ананьевич уже не мог сдерживать обиду. У него такое событие, его оскорбили, бросили ему перчатку. Разговор с Литвиновым может бог знает чем кончиться, а тут журнал, терапия...— Мне думается, не стоит ломать наших добрых традиций. Пусть каждый из нас по-прежнему по мере своих сил выполняет свои обязанности в отношении общества и в отношении друг друга.

Проголодавшись, Вячеслав Ананьевич все-таки с удовольствием ел отливающий янтарем бульон. Жена продолжала листать журнал.

— Я не вижу перца. Дорогая, ты прости, я сегодня так устал. Может быть, ты все-таки поищешь перец?

Она оторвалась от журнала, принесла перец. Значительно, будто последнюю точку в письме, поставила его на стол.

— Еще что-нибудь понадобится? — спросила она.

— То есть как понадобится?

— А так, чтобы я могла принести все сразу и дочитать статью.

— Какую статью? Зачем она тебе нужна? Мне кажется, что милейший доктор Айболит давно уже превратился в очаровательную маленькую Дину Васильевну Петину, самую красивую даму Дивноярска, которой завидуют все женщины.

Дина смотрела куда-то в пространство. Лицо задумчиво. Трудно даже угадать, слушает она или нет. И Вячеслав Ананьевич подумал: «И еще эта привычка смотреть куда-то внутрь себя, это тоже новое...»

— Вот ты только что сказал: «...мы должны выполнять свои обязанности...» С той самой поездки на остров, о которой ты не раз напоминал, я все думаю о своих обязанностях. В чем они? Быть пушистой домашней кошечкой? Мурлыкать, когда тебя гладят, и закрывать глазки, когда тебя чешут за ухом, любить сливочки и теплое место в уголке дивана? Кошечкой с двумя дипломами? В этом смысл? Да?

— Какие глупости! — возмутился Петин.— Какой идиот тебе все это внушает?

— Это не важно. Если, например, я назову Василису, от этого что-нибудь изменится?

— Ты зрелая женщина. Два высших образования — и слушаешь какую-то серую колхозную девчонку! И из ее болтовни выводишь целую теорию.

— ...Тут как-то я разболталась с Толькидлявасом насчет ткани на занавески. И вдруг телефонистка Седьмой номер говорит в трубку: «Прерываю. Абонент нужен для деловых разговоров...» Ой как мне вдруг стало стыдно! Вот что,— сказала она вдруг тем строптивым голосом, которого Вячеслав Ананьевич боялся,— запомни: домашней кошечки больше нет, исчезла, сбежала, сдохла — все равно. В твоем доме теперь будет жить врач, плохой, неопытный, неумелый врач, который все, что приобрел, растерял, но который все это найдет. Слышишь?..

— Как ты наивна!.. Тебе известны столичные клиники... Огромные окна, кафель, никель... А здесь на врача жалко смотреть. Их не хватает, они целый день на ногах, им в кино сходить некогда...

— Тем более...— Серые глаза, недавно внимательные, задумчивые, приобрели сталистый оттенок, смотрели прямо, твердо.— И скажи, неужели тебе это непонятно?

— Мне понятно одно.— Петин постарался выгнать на лицо снисходительную, добрую улыбку, но это плохо получилось.— Мне понятно, что тебе скучно, нет людей твоего круга, ты стосковалась по Москве, по маме, по нашей милой квартире. Мне будет тут очень тяжело и пусто без тебя, без нашей любви. Но ради твоего покоя и здоровья я готов на любые жертвы. Поезжай-ка ты в Москву, отдохни... Я тебя понимаю.

Дина резко отстранилась:

— Нет, Вячеслав Ананьевич, не понимаете. Теперь мне вовсе не скучно. Я даже не вспоминаю о московской квартире. По маме я действительно стосковалась, но я ее выписываю сюда.— Сказав все это и будто почувствовав облегчение, она устало улыбнулась.— А теперь, Вячеслав, если хочешь, посидим на нашем диване.— И, сбросив туфли, она поджала под себя ноги.

Вячеслав Ананьевич примостился рядом в костюме, в ботинках. Ему было неудобно, но он сидел тихо, боясь спугнуть это, по-видимому еще не очень прочное, умиротворение. Самое лучшее — с ней не спорить... Уедет, оторвется от этой обстановки, отвлечется от этих людей, успокоится. Все станет на место.

— Дорогая, я сегодня видел тебя там, возле библиотеки. Хотел тебя подвезти, но ты так была увлечена разговором. Кстати, кто еще был с вами? Я его что-то не узнал.

Дина насторожилась, спустила с дивана ноги. Опять стала холодной, колючей.

— Инженер Дюжев. Павел Васильевич Дюжев, тот самый, проект которого ты почему-то пытаешься провалить. Кстати, зачем тебе это нужно?

— Я уже говорил тебе, я на таком посту, что не обо всем могу рассказывать дома... А чему вы смеялись? Это не секрет?

Колючая, неприятная улыбка тронула губы Дины.

— Секрет? — Дина пожала плечами.— Говорили об этой идее — поставить на площади гидростроителей памятник Ломоносову. За то, что он первым заговорил о Сибири. Помнишь его слова: «Российское могущество приумножаться будет Сибирью...» Кажется, так? Так вот, Сакко сказал, что, если бы тебе предложили сделать проект памятника, ты бы изобразил себя читающим Ломоносова. А Дюжев сказал: «Нет, он на это бы не пошел. Он изобразил бы себя читающим свою статью о Ломоносове».

Смуглое лицо Петина пошло белыми пятнами.

— А ты? — очень тихо спросил он.— Ты что сказала, когда при тебе оскорбляли твоего мужа?

Дина вспомнила только что состоявшийся разговор. Остроты друзей точно попадали в цель, и она невольно улыбнулась. Потом ей стало не по себе, она обиделась и, запретив себя провожать, почти бежала до дому. А теперь? Теперь, с вызовом глядя в глаза мужа, она ответила:

— Ты же видел — я рассмеялась.

11

Подписав последние бумаги и оставив Чемодану распоряжения на завтра, начальник строительства обводил взглядом кабинет, припоминая, не забыл ли он что-нибудь сделать. Дверь открылась, показалась голова Чемодана. Флегматичный этот человек был чем-то взволнован.

— К вам, Федор Григорьевич, некая Валентина Егорова. Говорит, будто вы ее вызывали.

— Егорова? Кто такая? Никакой Егоровой я не вызывал.

— Нет, вызывали,— твердо выговорил за дверью напористый голос, заставивший Литвинова просиять.

— А, почтенная Семерочка, входи, входи... Дай хоть гляну на тебя, какая ты есть.

Обойдя Чемодана, застывшего в дверях, решительным шагом вошла маленькая, коренастая девушка, мальчишеское лицо которой показалось Литвинову знакомым. Ну да, где-то, и не в толпе, а при каких-то особых обстоятельствах, видел он эту складную фигурку, это курносое лицо, короткие щеточки-бровки и эти светлые глаза, которые толстые линзы очков делали огромными.

— Стой, Седьмой, так я ж тебя где-то встречал?

— Меня зовут Валентина Вадимовна, можно Валя. Действительно, однажды я обращалась к вам насчет работы. Может быть, вспомните, мы приходили к вам с Игорьком, то есть с Игорем Капустиным. Зимой.

— А! Товарищи по несчастью! — воскликнул Литвинов и звучно захохотал. — Вот в кресло садись и рассказывай. Это сугубо интересно. Так, значит, ты и есть Седьмой?

Валя молчала, мальчишеское лицо сохраняло независимое выражение.

— Ну а этот — твой друг, что ли? Его ведь, кажется, отвели тогда по здоровью...

— А вы и о нем помните?.. Игорь — замечательный человек. Вот в нем действительно вы не ошиблись. Его же тогда после суворовского из-за слабых легких в офицерскую школу не приняли. Он здесь стал закаляться, занимался гимнастикой, обтирался снегом, гирю, вроде вашей, завел. Его теперь не узнáете...

— Ах и славные же вы, черти! — умилился Литвинов, с удовольствием рассматривая курносое, задорное лицо посетительницы.— Ну, и куда же он тогда попал?

— Ой, это целая эпопея! — Валя оживилась. — Сначала на курсы бульдозеристов. Они в суворовском танки изучали. Он эти курсы вместо полугода за месяц окончил. С отличием. Стал бульдозеристом па дамбе, его там Сакко Иванович Надточиев заметил. «Учитесь, говорит, на десятника». Игорь: «Не хочу». Надточиев: «Приказываю!»

— Десятник — ого! Здорово шагает. Стой, а где же он десятничает?

— Он закончил и эти курсы, и тоже досрочно, но подесятничать ему не удалось: не дали. Его выбрали... Да вы же его знаете. Он секретарь комсомольского комитета.

— Как? Капустин — это он?

— Я же вам с самого начала сказала: Игорь Капустин.

— Здóрово! Знаю, конечно... Я тут слышал, как он наш учебный комбинат однажды отчитывал — министерская речь. Я еще подумал: вот этого бы сопляка да в директоры комбината.

— Ой, не надо,— всполошилась Валя,— пожалуйста, не сажайте его на комбинат! Да он и сам не пойдет.

— То есть как не пойдет? Это же должность.

— А его мы, комсомольцы, не отпустим. Знаете, как мы его любим? — Но, заметив, что Литвинов ухмыляется, девушка строго сдвинула брови-щеточки.— Ну зачем же вы?.. Я же говорю в общественном смысле «любим».

— Ах в общественном... Да, да, помню. Вы товарищи по несчастью.

Позади у Литвинова был трудный рабочий день, полчаса назад он мечтал поскорее добраться до дома, поесть, посидеть на крылечке, провожая солнце. Он любил эти богатые сибирские закаты, и хотя гнус, именовавшийся здесь мошкой, в этот час особенно зол, Литвинов, если было время, не упускал возможности посмотреть, как большое красное солнце окунается в тайгу. А сейчас вот, позабыв о машине, ожидавшей у подъезда, он сидел, развалившись в кресле, и с удовольствием болтал с этим смешным очкариком.

— Так, стало быть, ты и есть Седьмой?

— Меня зовут Валя.

— Вот что, Валентина Вадимовна, я тут уже закруглился. Поедем ко мне пить чай с малиновым вареньем. Там и потолкуем о всех важных делах.

— Говорите здесь, я не поеду,— сказала Валя, сняла очки, стала протирать стекла. Лишенные привычной защиты, глаза ее, как бы сразу уменьшившись, стали беспомощными, и сама она выглядела почти девочкой.

— Это почему же? Сугубо интересно узнать,— спросил уязвленный Литвинов.

— Видите ли, как-то раз вечером к вам приезжала одна девушка. Вы знаете, о ком я говорю. На следующий день разговоров было...

— Что? — воскликнул Литвинов, даже привскакивая в кресле, потом, поняв, о ком речь, еще раз сказал: — Что-о-о?

Собеседница водрузила очки на место и смотрела опять невозмутимо спокойно.

— Вот видите, вы даже и не знаете. А ведь сколько болтали. Мне-то известно, что она была невестой вашего шофера и он привозил ее к вам на смотрины.

— Ты и это знаешь? — Литвинов смотрел на Валю с изумлением.

— Знаю.

— Да откуда?

— Здесь все новости быстро распространяются. А с Мурой мы живем в одной палатке.

— С этой рыжей?

— Она не рыжая. Она яркая блондинка.

— Это что же еще за масть?

— Вы же видели — палевая. Но сейчас она уже не яркая блондинка. Она постриглась под мальчика. Она говорит: буду крановщицей, а крановщице нужна голова не апельсиновая, а настоящая...

— Так ты знаешь эту Мурку?

— Да, конечно. Я же сказала... Наши койки в палатке стоят рядом.

— Стой! Ведь она же замуж вышла.

— Вышла, а живет у нас. Лучше, говорит, я приходящей женой буду, чем в какую-то паршивую комнатушку полезу... Она очень своеобразная, добрая. Вашему Петровичу с ней сейчас нелегко, но она из него человека сделает.

— Человека? А кто же он сейчас?

Девушка улыбнулась, пожала плечами:

— Вы его лучше знаете.

Помолчали. Литвинов все с бо́льшим любопытством разглядывал собеседницу; та сидела совершенно невозмутимо, и это сочетание мальчишеской внешности с какой-то безулыбчивой серьезностью подчеркивалось очками в темной оправе.

— Так вот, Семерочка...

— Валя,— поправила девушка.

— Ну, Валя, Валя, экая ты строгая! Ты знаешь, как ты мне помогала? Вот слегла — у меня будто руки короче стали. Честное комсомольское.

— Нет, вы это серьезно? — На мальчишеском лице в первый раз за всю беседу появилась улыбка, сразу же обозначившая круглую ямочку на подбородке и две на щеках.— Нет, вы не шутите?

— Какой тут шучу! Сугубо серьезно, с тем и позвал.

— Товарищ Литвинов, я так рада! Знаете — почему? Когда я окончила школу, дома была дискуссия. Мой папа скрипач,— может быть, вы слышали? Вадим Егоров — это он. И оба мои брата, как особо одаренные, учились в школе Гнесиных. А я не особо одаренная, но тоже училась играть на скрипке. А мама у нас скрипичный фанатик — скрипка, скрипка, хоть в ресторанный оркестр, да скрипка. А мне захотелось сюда, в тайгу, на дикий берег. Ведь у Джека Лондона все маленькие и слабые люди в борьбе становились сильными. Я признаюсь: страшно люблю Джека Лондона, а тут не золотые какие-то жилы, а самая большая электростанция, и не жажда разбогатеть, а коммунизм... И я думала: вот я маленькая, подслеповатая маменькина дочка, неужели я не стану человеком, если очень захочу?.. Ну, в доме дискуссия, мама плачет, братья глядят как на больную, папа говорит: «Намерения твои благородны, но куда ты, совенок, со своими окулярами? Будешь только у всех в ногах путаться...» Словом, уехала.

— Ну а скрипка?

— Скрипка со мной, но с ней случилась беда. Раздавили ее во время пожара на «Ермаке». Наши комсомольцы послали ее в Старосибирск, тамошние комсомольцы склеили, но голос сел. Я все-таки играю — девушки каждый вечер заставляют, и из других палаток приходят. Вы не были на молодежном балу?.. Жалко, хороший был бал! Я там выступала.

— Вот что, Валентина Вадимовна,— сказал Литвинов,— тут у нас в правлении человек такой есть. Товарищ Толькидлявас. Не слыхала такую фамилию? Плохо. Великих людей не знаешь. Отнеси ему завтра свой инструмент, он в Москву лучшему мастеру пошлет — все голоса к ней вернутся. Это раз. Будешь маме писать — напиши, что тебя здесь благодарят за отличную работу, это два, и еще напиши ей, что начальник строительства (есть, мол, тут такой хрыч, которого все мы Стариком зовем) предложил тебе стать своим секретарем. Это три. Понятно?

— Что вы сказали? — переспросила Валя, испуганно направляя свои окуляры на собеседника.

Литвинов был удивлен. Он любил делать приятное людям, которые ему нравились, и огорчился скудостью реакции. Девушка только переспросила:

— Вы предлагаете мне работать секретарем тут, в управлении? Так я вас поняла?

— Именно,— сердито буркнул Литвинов.

— Хорошо, я подумаю,— деловито ответила Валя.— Ко мне на телефонной так все хорошо относятся, премировали, девочки выбрали комсоргом. Они могут не отпустить.

— Ну, мы их попросим — может быть, уважат просьбу,— еле скрывая улыбку, сказал Литвинов.

Валя эту улыбку не заметила.

— Ну если так, я подумаю. Завтра сообщу свое решение.— Поднялась, поправила очки.— Можно идти?

— А может, все-таки попрощаешься?

— До свидания.— Валя вложила свою маленькую пухлую ручку в волосатую руку Литвинова.

Походка, как и речь, была у нее стремительная, напористая. Закрылась дверь, каблуки простучали по лестнице, а начальник строительства некоторое время сидел улыбаясь, будто вспоминая рассказанную ему веселую историю, а потом, запирая сейф, пропел себе под нос любимую музыкальную фразу из «Князя Игоря».

12

Однажды, встретив на улице похудевшего, озабоченного, спешившего куда-то Петровича, уже совсем не похожего на круглый, поджаристый, весело катящийся по дорогам колобок, Надточиев остановил его, спросил:

— Ну, как жизнь?

— Как в сказке,— торопливо ответил Петрович и, перехватив недоуменный взгляд инженера, пояснил: — С чертями вожусь, и жена — ведьма.

О чертях Надточиев кое-что слышал. Начальник автотранспортного отдела докладывал однажды в управлении, что бывший шофер Литвинова, отлично справляющийся с обязанностями механика управленческого гаража, пришел к нему и сам предложил выдвинуть его начальником пятой, самой отсталой, самой расхлябанной автобазы, ко-

торую на строительстве называли родимым пятном капитализма. По чьему-то недогляду большинство водителей этой базы оказались из бывших уголовников, что, отбыв наказание или освобожденные из тюрьмы по амнистии, приехали в Дивноярск начинать новую жизнь. Среди съехавшихся на это таежное строительство такие бывали. Работая в огромном коллективе, они как бы растворялись в нем, постепенно становились обычными тружениками, и, хотя случались срывы и рецидивы, хотя порой вспыхивала поножовщина, обнаруживались кражи, время делало свое дело. Кое-кто из них уже встал на ноги прочно, обзавелся семьей, числился среди передовиков.

На пятой автобазе эти люди оказались в большинстве. Слов нет, многие из них были мастера вождения машин. По показателям база была не из отсталых, но за ней волочился длинный хвост различных происшествий: и бешеная езда, и аварии на магистралях, и злостные нарушения правил движения. Ходили слухи о спекуляции бензином, о «левых» перевозках и других еще более серьезных делах, но за это нельзя было даже и покарать, ибо все происходило шито-крыто: улик не оставалось.

Несколько раз пытались укрепить базу. Посылали хороших людей. Ничего не выходило. Последний начальник базы — коренной строитель, коммунист — явился недавно в управление и заявил:

— Убирайте куда хотите, сил моих нет: с этими дьяволами либо партбилет положишь, либо нож тебе под лопатку загонят.

В транспортном отделе уже был подготовлен проект реорганизации базы, но начальник все не мог набраться храбрости доложить его Литвинову. А тут неожиданно является Петрович, человек в управлении известный, находящийся при хорошем деле, и сам просится на это заклятое место.

— Собственноручно сажусь без трусов на муравейник, но при условии: вместо моей паршивой комнатенки — квартира.

Обо всем этом не без смущения начальник транспортного отдела доложил Литвинову. И на всякий случай добавил: «Квартиру — какая наглость!» Реакция была неожиданной.

— «Собственноручно сажусь на муравейник»! — Литвинов хохотал.— Собственноручно! Узнаю... Ну, и каковы же ваши предложения?

— Да, по-моему, надо попробовать,— несколько увереннее произнес начальник транспортного отдела.— Парень знающий: с вами столько лет ездил. Жалко, конечно, брать такого механика из управленческого гаража, но... квартиренка при базе действительно есть. Тот, что сбежал, уже освободил: только бы ноги поскорее унести... А ведь, по совести говоря, если он этих охламонов охомутает, ему не только две комнаты — дворец дать стоит.

— Ну, добро! Пусть собственноручно садится, готовьте приказ.

Появился соответствующий приказ, и по пятой базе пробежал слух, что начальником назначен личный шофер Старика, что прикатил он на машине начальника, привез грузовик барахла и что жена у него — «шалавочка хоть куда», фартовая баба, та самая Мурка Правобережная, которую в клубе в «живой газете» изображают.

Действительно, возвращаясь вечером из рейса, шоферы увидели, что в окнах квартиры бывшего их начальника, которого они объединенными силами «съели» несколько дней назад, горит свет. Какой-то круглый румяный дядя, опоясанный женским фартуком, приподнявшись на цыпочки на подоконнике, прибивает шторный багет. У него за спиной, подбоченясь, стоит маленькая фигуристая женщина с озорным лицом, с полными, будто надутыми губками. Стоит и дает какие-то насмешливые указания. Пятая база сразу вынесла новому начальнику приговор: тряпка, подкаблучник, повязать его ничего не стоит, а за шалавочкой можно и приударить...

Последующие дни, казалось, подтвердили эти радужные предположения. Начальник оказался веселым увальнем. Технику он знал «как бог», а в человеческие отношения на базе как-то не вмешивался. Не замечал или делал вид, что не замечает, что вокруг происходит. Механиком на базе состоял грузный, угрюмый усач, которого все звали дядько Тихон. Он был из северных шоферов, что гоняют зимой караваны машин по льду Вилюя и Лены. Однажды машина его, шедшая головной, угодила в запорошенную снегом полынью. Он ехал, как всегда ездят в тех краях по участкам с сомнительным льдом, с открытой дверью кабины. Пока машина погружалась под лед, успел выпрыгнуть. Но при этом все-таки вымок, а мороз был такой, что ртуть застыла в градусниках. Ребята с других машин запалили на льду огромный бензиновый костер, оттерли ему ноги спиртом, дали спирту вовнутрь.

Кто-то отдал ему сухие валенки. Закутали в брезент. И все-таки он слег с воспалением легких. А пока лежал в больнице, молодая его жена, хорошенькая бабенка из сахоляров, сошлась с другим. Не стерпев обиды, Тихон жестоко поколотил ее и всех этим возмутил. Получив от коммунистов строгий выговор, обиделся еще больше. Вернулся с партсобрания, уложил в рюкзак смену белья и, бросив все, что было нажито, уехал, не снимаясь с партийного учета, на Онь. Это был мрачный, опустившийся человек, с сиплым голосом, недобрым взглядом темных глаз. Он носил усы. Усы эти закрывали ему рот, и казалось поэтому: он молчалив, трудно добиться от него слова. Когда Петрович заговорил с ним о делах базы, Тихон только покривил губы под усами:

— С меня за технику спрашивай. Я, брат, тут, как Индия,— вне блоков. До людей мне дела нет, мне за это не платят.

— Но ты же коммунист.

— По вашему недогляду. Какой я коммунист! Меня из партии поганой метлой гнать надо.

— Ну, ладно, держи свой нейтралитет. А мне что посоветуешь? — допытывался Петрович.

— Собери общее собраньице, толкни речугу, цитатками посори. Ну, они сразу всё поймут, перевоспитаются,— недобро усмехнулся механик.— Один я тебе дам совет, парень: гайки подкручивать поопасись. Тут кое-кто с ножиком ходит. Или угодишь в «Огни тайги» в отдел происшествий как жертва бешеной езды...

Петрович поблагодарил и за этот совет. Мастерство, умение, знание техники в рабочей среде — самый сильный магнит. Все поняли: новый начальник знает автомобильное дело, а на все, что творится вокруг, смотрит сквозь пальцы. Он был признан человеком подходящим, и прозвище ему было дано — Лопух. А гаражные ухари завели привычку появляться в живописных позах перед окнами квартиры начальника. Замечено было также, что Мурка Правобережная, которую теперь уважительно именовали Мария Филипповна, отнюдь не тяготится этими знаками внимания. Нет-нет да и подойдет к окошку, улыбнется, насмешливо скажет:

— Ну чего скучаете? Газетки бы почитали, занялись бы поднятием своего культурного уровня.— А карие глаза ее при этом откровенно смеялись. Волосы свои она коротко подстригла, укладывала так, что голова выглядела

нечесаной. И были эти волосы двух цветов: сверху — апельсинового и снизу — естественного. Можно было даже удивляться: почему и это ее не портит?

Когда любителей позубоскалить собиралось у окошка слишком много, жена начальника встряхивала пестрой шевелюрой: «Ослепнете» — и задергивала занавеску. Такие сценки случались порой и в присутствии мужа и потому возбуждали немало надежд.

На новую квартиру Мурка пришла с маленьким чемоданчиком. Но уже на следующий день в двух комнатах стало тесно. У Петровича была давняя заветная мечта — приобрести машину. Все свободные деньги, все, что удавалось ему приработать фотографией, получить за «левые» ремонты личных машин,— все это клалось на сберегательную книжку. Собралась изрядная сумма. В Москве Петрович уже несколько лет стоял в гигантской очереди за «Волгой». Каждый месяц он посылал в комитет этой очереди, существовавший под командой какого-то отставного генерала, открытку, напоминая о себе. Сознавать, что вожделенный час обладания «Волгой» приближается, было до некоторых пор самой большой его радостью. И, как мать, ждущая младенца, шьет ему заранее распашонки и чепчики, он припасал для этой будущей машины запасные части.

Вместе с сердцем Петрович отдал жене и сберегательную книжку, вручил в ее руки свою самую заветную мечту. На деньги был сейчас наложен секвестр. По поводу мечты был не без огонька спет изящный куплетец, завезенный в Дивноярск каким-то артистом Старосибирской филармонии.

Мой любимый старый хрыч
Приобрел себе «Москвич»,
Налетел на тягача —
Ни хрыча, ни «Москвича».

— Сделаться вдовой? Фу, неоригинально, не хочу,— говорила Мурка.— И для чего я буду сидеть на полу, а платья вешать на гвоздики? Стоило замуж выходить!

И часть денег, собранных с таким старанием, немедленно была снята с книжки и затрачена на покупку мебели. Лишь когда в новой квартире стало достаточно тесно, хозяйка успокоилась. Придя со своих курсов, она снимала комбинезон, вешала его в «модерный» платяной шкаф, долго и тщательно умывалась, укладывала волосы в

лихую прическу, подкрашивала сердечком губы и, облачившись в одно из своих платьев, которые все отличались тем, что точно бы облепляли ее стройную фигурку, с ногами забиралась на подоконник. Опиралась спиной о косяк и раскрывала учебник или тетрадь. В этой позе она ухитрялась читать, писать, заниматься всерьез.

Шоферы, слесари, возившиеся во дворе у разобранных моторов, то и дело поглядывали в ее сторону. В зрителях недостатка не было. Сыпались шуточки. Даже мрачный механик подергивал свои обвисшие усы, косился на окно и хрипел:

— Г... да... гм...

— Да закрой ты эту выставку достижений народного хозяйства, мне этот кобеляж во дворе вот где сидит! — сердился Петрович, стуча себя по шее.

— Не мешай заниматься. У меня трудное место — тормозные фрикционы,— отвечала жена, не отрывая глаз от тетрадки.

— Знаю я эти фрикционы... Я со стыда как бензиновый факел пылаю, а ей хоть бы что.

Мурка опускала тетрадку, морщила задорное личико:

— Вот если бы жена у тебя была метелка какая и на нее смотреть противно было, тогда, верно, хоть вовсе сгорай. А то... Дай со стола яблоко... Не то — пожелтей выбери. Спасибо! Итак... «Тормозные фрикционы на мощных мостовых кранах последних систем...» И вот что, ты тут мне Отелло не изображай. У тебя внешность неподходящая, на Фальстафа еще, пожалуй, вытянешь... Я тебе рога не наставляю? Нет. Вот и благодари бога, что пока безрогий.

— А что о тебе люди говорить будут?

— Хуже, чем о тебе говорили, не скажут. Знаешь, как тебя у нас в палатке девчонки звали? Перпетуумкобеле.

— Выгоню, ох выгоню я тебя когда-нибудь! Клянусь, выгоню!

— Сам уйдешь,— спокойно перевернув страничку, произносила жена.— Скатертью дорога, хоть сейчас... Счастливого пути!

Но во время одной из таких перепалок жена вдруг отбросила учебник, соскочила с окна и, озабоченная, встала перед Петровичем:

— Вот ты говоришь: обо мне худая слава... А знаешь, как о тебе сейчас заговорили?.. Ты лучше скажи, когда

ты всех этих, — она кивнула в сторону окна,— когда ты этих сявок, это пшено переберешь? Их гладить долго по шерсти нельзя: на шею вскочат. Погонят тебя из начальников, а нас из квартиры. Вот о чем думай.

Когда лицо с тупым носиком, с пухлыми, «растрепанными» губами становилось серьезным, заботливым, Петрович сразу забывал все свои обиды, любовался своей женкой, готов был прощать все ее выходки.

— Подождите, детки, дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток,— многозначительно ответил он.

— Не прозевай срок-то. Вон, видишь, та сявка опять из кабины в полужидком состоянии лезет.— И, снова изменившись, кричала в окно: — Эй, шизофреник! Обойди паяльную лампу, вспыхнешь, сгоришь — так проспиртовался...

И опять становилась серьезной, озабоченной.

— А этот механик ваш, дядя Тихон, жалко его: сломанный человек... Но разве это дело: с молодых ребят, с курсантов калым ломит? Один тут не захотел его угощать, так он ему: «Ты про Дарвина слыхал?» — «Ну слыхал».— «Так вот, сильный побеждает слабого. Понятно?» И побежал парень за поллитровкой. Дело это? Ведь у него партбилет в кармане. И за все с тебя спросят, ты ведь тоже кандидат партии.

— Не торопись, не торопись. Дай срок.

И вот срок пришел. Неожиданно персонал пятой базы был созван в цех на производственное совещание. Объявили, что доклад сделает начальник базы. И так как он ни разу еще публично не выступал, собрались все. Собрались, ворча: «Только покороче: жрать хочется», «Толкни речугу — и полно. Не к чему бодягу разводить...», «Скажите сразу, за что голосовать надо,— проголосуем и аплодисменты выдадим...»

— Так начнем, что ли? — хрипло произнес дядя Тихон, которого назвали председателем. Он беспокойно посматривал на аудиторию, нетерпеливо топтавшуюся в полутьме цеха, рассевшуюся на полу.— У нас один вопрос — о работе пятой базы. Слово по этому вопросу имеет наш начальник. Давай, товарищ начальник...

— Время! — рявкнул какой-то коротко остриженный круглоголовый детина.

— Ты очень торопишься? — ласково спросил его Петрович, шагая от стола прямо к нему.— Может быть, у тебя заседание в ООН? Может быть, ты приглашен на

обед к аргентинскому послу и опоздать боишься? Может быть, товарищи, отпустим его? — И вдруг рявкнул на оторопевшего парня голосом, какой в нем нельзя было и предполагать:— Пшел вон отсюда! Нечего вертеться под ногами у серьезных людей!

Председательствующий даже оторопел. Он хотел было предупредить оратора: так, мол, тут опасно,— но потом довольно разгладил усы. Он знал: все эти ребята, заново начинавшие здесь свою биографию, обидчивы, капризны, готовы «распсиховаться» по любому поводу,— и был удивлен: никто не двигался с места. Все насмешливо следили за парнем, который, спотыкаясь о чьи-то ноги, выбирался из толпы. Вот, гулко бухнув тяжелым блоком, закрылась за ним дверь.

— ...А сейчас, когда остались серьезные люди, начнем серьезный разговор,— продолжал Петрович домашним голосом.— Вот что, филоны, мы собрались тут толковать не о работе нашей базы, а выбирать, что лучше: закрыть базу или распустить здешнее филоническое общество. Закрыть базу — это всех вас в три шеи без выходного пособия, и никакому профсоюзу не взбредет в голову за таких филонов заступаться.

— За что, что мы сделали? — послышался чей-то нарочито плаксивый голос.

— За что? Я не легаш и не хочу вмешивать милицию и угрозыск в вашу сугубо семейную жизнь. Но если уж ты, милый, такой любопытный...— Петрович достал из кармана пухлую записную книжку и послюнил пальцы.— Ну как, читать?

Собрание ошеломленно молчало. Человек, над которым посмеивались, которого прозвали Лопухом, вдруг повернулся какой-то иной стороной, какую в нем весь этот стреляный народ даже и предполагать не мог. Все замерли в ожидании.

— Ну, запросы от господ парламентариев имеются?

— Чего зря людей обижаете? За такие намеки к ответу можно,— совсем уже неуверенно заявил обладатель плаксивого голоса, на которого докладчик смотрел в упор.

— Достопочтенный сэр, на ваш запрос мы сейчас ответим.— Петрович листал странички.— Вот, пожалуйста. Шестого июня сего года кто заменил передний скат на старый, а новый загнал в сельпо села Дивноярского? Поскольку вы, молодой человек, любите откровенный

разговор, этот скат вы вернете, а если не вернете, вы и ваш сельповский коммерческий партнер прогуляетесь в суд... Больше запросов не поступает? Садитесь.— И обратился к аудитории: — Просите еще факты?

— Нет, не надо... Все ясно,— загомонило собрание.

— Так вот, если я вас правильно понял, филоническое общество с завтрашнего дня закрывается. Это раз. У всех у вас за долгие годы выработался «левый рефлекс». Излечиться! Это два. Появился обычай, что на дальних ездках вам идут не только командировочные и суточные, но и шейные.— Петрович многозначительно щелкнул себя по шее.— Шейные отменяются! Это три. Кто себе лишний километраж с помощью электросверла накрутит, того мы тут все вместе раскручивать будем. Это четыре. А кто при этом бензин сольет или налево загонит, как вы это делаете,— купит его за собственные любезные. Это пять.

Петрович поднял свою пухлую руку с пятью загнутыми пальцами.

— Вот вам пять условий товарища Петровича. Изучайте и следуйте... Всё запомнили? Униженные и оскорбленные есть? Примерчики, фактики никому не требуются? — Он опять угрожающе потряс своей записной книжкой.— Таковых не имеется?

Сбитый с толку председатель собрания дергал усы, басовито откашливался, удивленно глядел на Петровича. А тот, в свою очередь, весело посматривал на притихшую аудиторию и видел на лицах уважение, даже страх. Несколько человек из тех, кого на базе не без иронии звали работягами, кто трудился честно, в махинациях не участвовал, и в особенности ребята — практиканты с курсов, не смевшие до сих пор и голоса подать, бесстрашно пересмеивались. Они еще не решались выступать. Да Петрович и не вызывал на это, но он видел их лица и понимал: это опора — и старался заприметить каждого. И еще заметил он в дальнем конце огромного цеха, возле железной фермы, поддерживавшей шатровую крышу, яркую куртку. Лицо жены трудно было разглядеть, но ему казалось, она улыбается... Пришла, слушает... И не подавая виду, что он ее видит, продолжал:

— В этой вот книжице много чего есть, но литературного чтения сегодня не будет. Сегодня. Понятно? Как говорят юристы, закон обратного хода не дает. Но запечатлейте на горизонте своей психики: если кто-нибудь на

прежнее повернет — вылетит отсюда с космической скоростью и, преодолев земное притяжение, уйдет за пределы земной атмосферы. И тогда эти мои мемуары пригодятся. Ясно?

Снова помахал книжечкой и, обращаясь к дяде Тихону, задумчиво терзавшему пальцами моржовые усы, сказал:

— О соревновании, о коммунизме, о семилетке разговора не будет: не созрела аудитория. Пусть доходит...

После собрания он взял механика под руку, с самым дружеским видом повел его по пустеющему цеху.

— Вот что, дарвинист,— сказал он, лучезарно улыбаясь.— Чтоб калым больше с ребятишек не выламывать. Понятно? Ишь ты, вспомнил: сильный побеждает слабого! А еще коммунист!

— Ну, ставь на парткоме, семь бед — один ответ.— Механик пытался произнести это с лихой беззаботностью, но руки разошлись в смущенном жесте.

— Никуда я писать не буду и биологическую дискуссию с тобой не открою. Бесполезны эти биологические дискуссии. Сильный побеждает слабого! Лады.— Петрович потряс перед носом механика увесистым кулаком величиной с дыньку.— Вот это нюхал? То-то! Еще раз повторится — как раз по Дарвину и поговорим.

Дома же, суетясь возле плиты, поджаривая к ужину картошку по особому, семейному способу, со сметаной, он сказал жене, которая задумчиво стояла, прислонившись к дверной притолоке:

— Или мы в этой квартире корни пустим, или вынесут меня отсюда ногами вперед, как несвоевременно погибшего на боевом посту... Гад буду, если я этим филопам не растолкую, что такое коммунизм и как его полагается строить.

13

— Эх, Буруп, Буруп! Странный народ эти женщины! Что они думают, что хотят, нам, дорогой ты мой собакевич, это непонятно. И никогда понятно не станет, потому что мы с тобою старые холостяки.

Такой монолог был начат Надточиевым однажды в воскресный вечер в его комнате в старом доме приезжих. Приезжие здесь уже не останавливались. На площади Гидростроителей к их услугам была гостиница с ванной,

душем, с санблоками и всем тем, что может предложить своим гостям добропорядочный молодой город. Но бревенчатый двухэтажный дом, привечавший под своей крышей первых гостей Дивноярска, по-прежнему стоял на проспекте Электрификации и по-прежнему перед ним в кроне долговязой лиственницы с утра до вечера орал и пел сильный динамик. Жили же в этом доме теперь такие вот одинокие люди, как Надточиев, вечно занятые, приходившие домой лишь ночевать, мало заботившиеся о своем быте.

На любом строительстве имеется категория работников, не предъявляющих к жилищному управлению и хозяйственной части больших претензий. В бревенчатом холле этого дома Толькидлявас обставил для них мебелью средней громоздкости гостиную, повесил на стены копии с картин в золоченых багетах, установил приемник, один телефон на всех, купил пару шахматных досок, домино и завел двух сменных уборщиц, которые не очень усердно следили за чистотой, но зато круглые сутки кипятили титан для удовлетворения общей потребы в горячей воде. Толькидлявас причислял Надточиева к особо дорогой ему категории «вечно приезжих». Из уважения к этому в дополнение к койке, тумбочке и платяному шкафу в номер затащили письменный стол и «вольтеровское» кресло с инвентаризационными номерами, прибитыми на самых видных местах...

Вот в этом-то кресле и сидел Сакко Иванович. Было душно. Вечерний жар, пахнущий уже не тайгой, а разогретым асфальтом и пылью, волнами вкатывался в окно. Надточиев был в трусах. Зажав коленями плюшевого игрушечного кота, он возился над очередным усовершенствованием своей машины. Кот этот, по его замыслу, должен был лежать за спинкой заднего сиденья, смотреть в окно на дорогу. На поворотах у него должен был зажигаться и гаснуть правый глаз, а при остановке — загораться оба...

Друзья знали: раз инженер принялся возиться с машиной — стало быть, неспокойно, тягостно у него на душе. Открытый, общительный, но во всем, что касалось лично его, был необыкновенно застенчив. И так как даже самого замкнутого человека мучит порою желание с кем-то потолковать, облегчить душу, Надточиев обычно беседовал вслух с молчаливым своим другом — шелковистым сеттером.

— Почему, Бурун, мне так не везет? А? Почему из множества женщин, которые встречались, я смог полюбить только одну, и именно ту, которую любить нет смысла? Сколько из них охотно перенесли бы свою мыльницу, зубную щетку и маникюрные принадлежности вон на ту полочку. И ты, собакевич, знаешь, были среди них славные. Даже красавица была... А вот полюбилась одна, которая иногда болтает с нами от скуки, но которой мы с тобой как таковые вовсе не нужны... Ну что обидного я ей сказал? Что она, как люминесцентная лампа, ярко светит, а тепла не дает... Ты помнишь, Бурун, как все это было тогда в лесу?.. Все остались где-то позади. Она побежала. Я догнал ее. Она рассмеялась и поцеловала. Я стоял потрясенный, а она, как медвежонок, сцеживала прямо с куста в горсть малину, с ладошки собирала ее в рот и посмеивалась. Руки и губы у нее были в ягодах. Потом подошли остальные, она болтала с ними, будто бы ничего не произошло. Я видел только ее, слышал только ее голос... А она?.. Да, брат, плохо, когда человек на сороковом году вдруг возьмет да и влюбится первый раз. Ведь так?

Бурун смотрел на хозяина задумчивыми глазами, и тот, как всегда, видел в них именно тот ответ, который хотел услышать. Возясь с проводничками, с крохотными электрическими лампочками, весь уйдя в это занятие, инженер продолжал беседу с собакой:

— ...Итак, Бурун, проанализируем наши с нею отношения... Когда-то, помнишь, она сказала: «Давайте дружить». Я ответил, что не верю в дружбу мужчины и женщины. Кто же из нас был прав? Вот мы друзья. Она доверяет нам, наверное, то, о чем не скажет этой своей электронной машине, именуемой супругом. О Бурун, это ультрамодерная, самая модная машина, в память которой кто-то время от времени вкладывает самые современные фразы из самых свежих газет. Она, разумеется, не думает над этими фразами, но умеет все взвесить и, подсчитав, быстро выбросить нужную формулировку. Она может мгновенно вычислить, куда следует повернуть — вправо, влево, взять вниз или вверх, чтобы при любом маневре обеспечить наиболее выгодную позицию. Но она машина, Бурун, механизм. У нее нет сердца. Она может пугать, давить людей, но не может вдохновить и увлечь. Ей можно удивляться, но ее трудно любить. И тут у нас с тобой, тугодумных, плохо защищенных, часто ошибающихся

и говорящих невпопад, кажется, есть маленькое преимущество. Потому с нами более откровенны, доверяют, поэтому с нами встречаются, гуляют, советуются. Нас вот, видишь, даже поцеловали. Но не подпускают близко... Итак, подытожим. Кто же был прав? Может ли быть дружба между женщиной и мужчиной? Ну? Молчишь?..

Если бы пес понимал все, что ему столько уже раз за эти последние месяцы говорилось, он наверное бы взвыл, как выл когда-то в юности на молодой месяц. Но слов он не знал и лишь ощущал по тону, что хозяин расстроен, что ему плохо, преданно смотрел на Надточиева, терся шелковистой мордой о его голое колено.

— ...Да, брат Бурун, в тот вечер, когда возвращались домой на катере, она сказала, что хочет переменить жизнь... Переменить... Не знаю, что у нее это значит, но ясно: мы с тобой тут ни при чем... Может быть, собирается уехать? Ну что ж, солнце будет всходить и заходить над Дивноярском, плотина расти, город строиться, а мы работать. И будем верить, что однажды мы все-таки увидим, как в ночь на Ивана Купала на обыкновенной лесной поляне на папоротнике вспыхнет чудесный цветок. Вспыхнет и для нас с тобой, собакевич. Как ты думаешь, вспыхнет? А?

За окном совсем стемнело. Тонких проводничков, над которыми трудился Надточиев, не стало видно. Слышно стало, как шумит одинокая лиственница, как бы забытая среди улицы отступившей тайгой. Из динамика, спрятанного в ее кроне, сладчайший тенор ревел во всю мощь своих легких:

Спи, моя радость, усни,
В доме погасли огни...

— ...Вот подожди, Бурун, достану когда-нибудь монтерские когти, залезу на это дерево и заткну проклятую глотку,— в который уже раз пригрозил Надточиев, но, как всегда, идя по линии наименьшего сопротивления, лишь закрыл окно. Из-за тонкой рассохшейся двери стал доноситься яростный стук. Это обитатели дома приезжих «забивали козла». Под этот стук не хотелось беседовать даже с собакой, и инженер, отложив плюшевого кота, отвертки и проволочки, раскрыл металлический чемоданчик портативной газовой плитки, зажег синий огонек и не торопясь принялся стряпать на ужин любимое блю-

до — яичницу с хлебом и салом. Яичница уже сердито разбрызгивала горячие прозрачные капли, когда удары костей за дверью разом оборвались. Мужской голос отчетливо ответил на чей-то вопрос:

— ...К Надточиеву — вторая направо, стучите крепче: наверное, спит.— И сейчас же послышался частый нервный стук.

— Не заперто,— ответил инженер, убавив газ под яичницей.

Дверь распахнулась. На фоне освещенного коридора стояла Дина Васильевна Петина. Какой-то несвойственной ей, решительной походкой она вошла в комнату. Бросила у двери чемоданчик и, расстегнув верхнюю пуговку плаща, остановилась в напряженной позе.

— Дина Васильевна! — тихо произнес Надточиев, вскакивая со своего кресла. Он был так поражен, что забыл о своем костюме — вернее, об отсутствии костюма.

Гостья не обратила на это внимания. Тяжело дыша, она стояла, покусывая губу и напряженно озираясь. Бурун, настороженно ворча, как бы отгораживал своим телом хозяина от гостьи.

— Сакко, я к вам,— странным голосом произнесла Дина.

— Да, да, я очень рад... Так неожиданно. Садитесь.— Он поднял огромное неуклюжее кресло и, бухнув им об пол, подставил его Дине. Только тут, заметив на кресле свои брюки, он вспомнил, в каком он виде, ахнул, схватил одежду, туфли и, стуча босыми пятками, скрылся в коридоре.

Когда он вернулся одетым, с завязанным галстуком, гостья стояла все в той же позе, не замечая, что со сковороды валит чад.

— Ради бога, простите, Дина Васильевна. Я не знал...

— ...А какое это имеет значение,— ответила она, посмотрев на Надточиева сухими, лихорадочно сверкающими глазами.— Вы сказали, что я какая-то там холодная лампа... Нет, это не так... Мне очень плохо, и вот я пришла к вам.

— Это хорошо, это здорово, это просто чудесно,— бормотал Надточиев, еще не сумевший оправиться от перенесенного конфуза.— Я так рад, потому что наша последняя ссора... Да вы садитесь, садитесь, пожалуйста.

— Хорошо, я сяду.— Дина опустилась в кресло и, испытующе смотря на Надточиева, четко произнесла: —

Я к вам пришла, потому что мне некуда больше идти... Не понимаете?.. Я ушла от Вячеслава Ананьевича. Ну да, ушла.— Она говорила четко, как диктор в микрофон.— Я вас еще не люблю, нет... Любовь — это другое... Но вы мой друг, с вами мне легко, вы меня понимаете, и... вы столько раз говорили, что любите меня... Что, испугались?.. Или женщине так говорить нельзя?.. Подождите, а может быть, вы тогда лгали?

— Дина! — Надточиев рванулся к ней, принялся целовать ее руки.

Бурун, смотревший на гостью свирепыми глазами, начал грозно ворчать.

— Он сердится? — слабо улыбнулась Дина.— Не надо, голубчик, потом... Дайте мне прийти в себя. Я никуда не уйду.— И вдруг, уткнув лицо в его плечо, она зарыдала: — Ах, я не знала, что все это так тяжко!..

Надточиев застыл, боясь шевельнуться. Только гладил волнистые ее волосы. Потрясенный, он не знал, что делать, что говорить. Он усадил гостью в кресло. Схватил стакан. В термосе оказался горячий чай, приготовленный на ночь. Он бросился из комнаты. Пробежал мимо соседей, снова принявшихся за домино. Не заметив их вопрошающих, многозначительных взглядов, спустился вниз, где рядом с кубом стоял бак кипяченой воды. Когда он вернулся с полным стаканом, гостья сидела все в той же позе. Глаза красные, нос имел насморочный вид, но растрепавшиеся волосы были уже убраны. Она даже улыбнулась ломкой, болезненной улыбкой:

— Теперь, Сакко, вы будете знать, что такое снег на голову.

— Дина, милая, ты...

— Нет, вы...— сказала она.—...Пока, может быть, ненадолго. Мне надо к этому привыкнуть. — Продолговатые, с восточной раскосинкой, серые глаза просили: — Ведь да? Вы сделаете это для меня?

— Для вас я все, все сделаю.

— Ну вот и умница. Но ничего больше не требуется, только это. Не могу же я вешаться вам на шею так сразу.

Надточиев чувствовал, как, успокаиваясь, она опять ускользает, отодвигается. В тоне появились защитные шутливые нотки, против которых был совершенно беспомощен этот большой, сильный человек.

— И напрасно вы бегали за водой. Мне нужно только поесть... Это началось еще днем. Я прямо спросила его...

Нет, это совсем не важно, что я спросила... Не будем об этом говорить. У меня и без того такое ощущение, будто целый день меня пилили деревянной пилой... О еде даже мысли не приходило, а вот теперь...— она опустила длинные ресницы,— я страшно голодна... И еще мне нужно будет у вас переночевать. Ну что, испугались?

— Дина, милая...

— О да, вы храбрый, я знаю... Только одну ночь. Я не знаю, куда деться. Завтра я выхожу на работу в больницу, мне дадут, наверное, место в каком-нибудь общежитии, и я предоставлю вам возможность хорошенько подумать. Впрочем, вы можете выгнать меня и сейчас... Ну, шучу, шучу... Почему она на меня так свирепо смотрит?— вдруг спросила она, указав на Буруна.— Неужели слепая ревность калечит даже собак? — Гостья зябко передернула плечами.— Как хорошо, что это все в прошлом. Он мучился, мучил меня. Он плакал. Ужасно! Я никогда не думала, что Вячеслав Ананьевич может плакать... Сакко, ну что вы на меня так смотрите? Дайте же мне поесть... На яичницу не глядите, она совершенно обуглилась.

У Надточиева ничего не оказалось, кроме хлеба и куска пожелтевшего сала. Время было позднее, даже ресторан, наверное, закрыт. Одновременно радуясь и огорчаясь тем, что гостья взяла себя в руки, Сакко вдруг хлопнул себя по лбу:

— Эврика! Мы спасены!.. Дюжев! Он мужик хозяйственный, у него, наверное, что-нибудь есть.

— Павел Васильевич? — Гостья вздрогнула и тихо спросила: — Как, он здесь?

— Ну да, тут, за стеной. Мы соседи...

— Так зовите его сюда скорее.

Надточиев был так взволнован, что не заметил, как при имени Дюжева гостья опустила глаза, стала краснеть. Да и могло ли ему прийти в голову, что именно их недавний друг, с которым Дина едва знакома, был причиной того, что произошло в семье Петиных. Соседство Дюжева показалось ей просто символичным. Глядя на стену, за которой, как оказывается, он жил, она вспомнила, как началось то тягостное, мучительное, страшное, из чего она только что вырвалась...

На днях, возвращаясь из библиотеки, она увидела впереди Дюжева и Василису. С несвойственной ей обычно речистостью девушка оживленно беседовала

с бородачем. На каком-то перекрестке они разошлись. Василиса заметила Дину, бросилась к ней. Фигура Дюжева еще маячила, удаляясь, и, смотря ему вслед, Дина вдруг спросила: не знает ли Василиса, что произошло когда-то у этого человека с ее мужем. Это интересовало Дину еще со дня, когда впервые она увидела Дюжева на палубе «Ермака». На ответ она не надеялась, зная, как все в «Красном пахаре» начинали темнить, стоило только что-либо спросить об их механике, и была поражена, когда девушка вдруг сказала:

— Знаю.— И, подняв на Дину большие глаза, которым густой загар лица придавал теперь прямо-таки фарфоровую голубизну, повторила: — Знаю. Ваш муж оговорил Павла Васильевича, и тот из-за него зазря просидел в тюрьме.

— Оговорил? — Разом вспомнились Дине и недобрые взгляды бородача, и разговор под окошком, подслушанный утром во дворе Седых, и загадочные слова про антифриз, и тот нервный, ревнивый интерес, который Вячеслав Ананьевич проявляет к Дюжеву теперь, когда тот появился на Оньстрое... Оговорил? Это казалось чудовищным. И будто обороняясь от чего-то страшного, стараясь это страшное отодвинуть, оттолкнуть, Дина почти закричала: — Неправда! Этого не могло быть!..

Василиса сочувственно смотрела на нее.

— А вы спросите его самого. — Слова девушки прозвучали твердо.

Спросить? Но в самом этом вопросе, в самом сомнении уже содержалось тягчайшее оскорбление. «Можно ли его задать?» — мучилась Дина. Она уже чувствовала, догадывалась, даже знала, что заботливый, чуткий Вячеслав Ананьевич вне дома бывает другим. В последние месяцы она научилась улавливать эту двойственность, и многое в муже, даже то, что она раньше любила: его уверенное, неуязвимое спокойствие, его положительность, любовь к чистоте и порядку,— теперь начинало угнетать, раздражать. Она со страхом замечала, что ее уже не тянет в домик на Набережной, что ей лучше, спокойней работается в шумной, неуютной читальне, что где-то в глубине души она радуется, если Вячеслав Ананьевич до ночи задерживается в управлении. Прикидываясь увлеченной, она иногда засиживалась за неинтересной книжкой, ожидая, пока из-за двери спальни не послышится деликатный храп. Но это все иное. При всем том

муж оставался для нее большим человеком. И вот... Спросить или не спросить?.. Если это окажется правдой, что тогда?..

И, промучившись так несколько дней, сегодня за обедом она задала этот вопрос. Она ждала, что муж усмехнется: «Ты с ума сошла», или возмутится: «Какой негодяй пускает такие слухи?», или, обидевшись, замкнется в себе, перестанет разговаривать. А он... он вздрогнул, наклонился к тарелке и тихо спросил: «Тебе это сказал сам Дюжев?..» — «Так, значит, это правда,— воскликнула Дина,— ты его оболгал! Да?»

И тут произошло то, что она и сейчас вспоминала со страхом. Вячеслав Ананьевич, с которым она прожила столько лет, вдруг преобразился. Вскочил из-за стола так, что опрокинулся стул, тонкие губы его кривились, маскировочная прядь, обычно тщательно прикрывавшая темя, сбилась, обнаружив сияющую, гладкую плешь с жиденьким, походившим на петушиный гребешок хохолком посредине. Каким-то бабьим, ущемленным голосом он закричал: «Я смотрел сквозь пальцы, как ты путалась с этим олухом Надточиевым! Противно было ревновать к этому жалкому мерину. Но сейчас, когда ты тащишь в мой дом грязную болтовню твоих хахалей...»

...Дина со страхом покосилась на стену, из-за которой смутно доносился разговор двух мужчин, как будто они могли услышать эти ее мысли. Потом, точно бы отгоняя наваждение, встряхнула волосами, вскочила с кресла... Когда Надточиев вернулся, подталкивая сзади бородача, несшего в руках какие-то свертки, а под мышкой — бутылку вина, она уже хлопотала у стола, застилая его газетой. Окно на улицу было распахнуто, штора завязана узлом. Вечерний воздух врывался в комнату, как бы вымывая из нее затхлый дух гостиничного, холостяцкого жилья.

— Здравствуйте, товарищ Петина,— произнес Дюжев, выделив «о» в слове «товарищ».

— Не Петина, Павел Васильевич, уже не Петина. Неужели Сакко вам ничего не сказал?.. Я ушла от Вячеслава Ананьевича, а по паспорту ведь я Захарова,— ответила Дина, удивляясь, что с бородачом ей говорить легче, чем с Сакко.

— Это вы правильно придумали. Это хорошо,— произнес Дюжев и, как-то сразу отгородив широкой своей спиной от стола и Дину и Надточиева, стал рас-

ставлять припасы — консервы, колбасу, сыр. Он открыл бутылку цинандали, поставил две стопки. Даже бумажные салфетки положил перед каждым.

Невольно любуясь неторопливыми, точными движениями больших рук, Дина поражалась, как изменился этот человек со дня, когда впервые она увидела его на пароходе. Волосы, усы, борода — все осталось, но сейчас ей и в голову не пришло бы сравнить его с Ермаком. Глаза из-под русых бровей смотрели спокойно.

— И хорошо сделали. Умница, доктор Захарова.— Светлые глаза улыбались.— Кто-то когда-то сказал: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань...»

С появлением Дюжева Дина начала успокаиваться. Она чувствовала ту же слабость и то же ощущение возвращающейся жизни, какие пережила однажды после операции, освобождаясь от наркоза: страшное позади, хочется поскорее забыть его и жить, просто жить.

За ужином говорили о разных безразличных вещах, всячески стараясь обходить и Петина и все, что связано с тем, что произошло. Вино Дюжев налил в два бокала. Третьего не было. Дина достала с полки стаканчик для бритья, вытерла носовым платком и, наполнив, поставила перед Дюжевым.

— Ну, выпейте за мое будущее. За здоровье доктора Захаровой,— сказала она, подчеркнуто окая, поздно заметив знаки, которые подавал ей Надточиев.

Но Дюжев и сам отвел стакан.

— Я ведь из поволжских кержаков,— все так же усиленно окая, произнес он.— Нам по уставу это сатанинское зелье запрещено, а доктор Захарова и без того здорова...

И как-то сразу, без переходов разговор перешел на предстоящую поездку Дюжева в Москву. Он вылетит туда, чтобы в столичном институте построить и испытать модель своих конструкций, но, говоря и об этом, он ухитрялся не упоминать Петина. Хотя тот и был главным противником проекта, Петина не существовало. Его вычеркивали из жизни. И все-таки, несмотря на чуткость собеседников, перед Диной то и дело возникала картина: Вячеслав Ананьевич умоляет простить его. Ну, пусть она не будет его женой, пусть другом, просто квартиранткой, пусть время рассудит их... Это воспоминание да настороженные, недружелюбные глаза собаки, ревниво следившей за каждым ее движением, не давали ей успокоиться.

И, поглядывая на Дюжева, она удивлялась: ни слова не сказал ей о Вячеславе Ананьевиче, ни взглядом, ни жестом не показал, в какую беду попал он по милости ее мужа... Бывшего мужа... Бывшего!

— Счастливый! Повидаете Москву,— сказала она Дюжеву, мечтательно улыбаясь.— Я особенно ее люблю как раз в сентябре. У нас в институте на Пироговке в это время первокурсники — мы их почему-то называли «козероги» — сейчас стайками бегают в своих новеньких, топорщащихся халатиках, шапочках и, говоря между собой, все время произносят «коллега»... Прекрасный город! Вы в этом убедитесь, Павел Васильевич.

— Я в этом уже убежден,— ответил Дюжев, в речи которого волжское «о» начало звучать приглушенней.— Я ведь сын московского дворника.

— Как? А вы говорили: с Волги, нижегородский кержак.

— Верно, родился там. Но еще перед революцией батька мой перебрался в первопрестольную и нас с собой привез. А золотые осенние липы на Пироговке мне очень знакомы. У меня там жена училась.

— Вы женаты?

— Был женат.

Надточиев подавал отчаянные знаки, но Дина, смотря на Дюжева, не замечала их.

— И дети есть?

— Был сын.

— И квартиру московскую имеете?

— Была и квартира.

— Они что же, все... умерли?

— Нет, живы.— Голос Дюжева стал глухим, но, все еще поглощенная своим горем, Дина не замечала и этого.

— А почему же тогда это «была», «был»?

— А потому, что потому оканчивается на «у»,— сказал Дюжев, вставая.— Ну, спать, что ли? Мы с Сакко вносим такое предложение. Вы поднимайте свой флаг здесь, а мы отступаем на заранее подготовленные позиции — в мою комнату... Лады, как говорят у нас на Волге?

— Лады, как говорят и у нас на Москве-реке,— почти весело ответила Дина.

Но Дюжев шутки не принял, ушел в себя. Широкие плечи его как-то оплыли, взгляд стал беспокойным, руки,

убиравшие со стола остатки ужина, потеряли уверенность. Дина попыталась заглянуть ему в лицо, но он отвернулся.

— Простите меня за дурацкое любопытство.

— Попытаюсь.— И Дюжев улыбнулся так, что под русыми усами сверкнул ряд ровных, крепких зубов. Но светлые глаза при этом были полны тоски.

14

На следующее утро Вячеслав Ананьевич Петин приехал в управление, как всегда, точно в девять. Он был чисто выбрит, длинные, умело зачесанные пряди почти прикрывали макушку. Свеженакрахмаленный воротничок подпирал шею.

Проходя по коридору, он с обычной сдержанной улыбкой здоровался с сотрудниками, пожал руку секретарю. Войдя в кабинет, как всегда, сбросил пиджак, повесил его на спинку вертящегося кресла, достал из стола и надел сатиновые нарукавники. Папка с надписью «Первоочередное» уже лежала перед ним. Вячеслав Ананьевич придвинул ее, выбрал в стакане один из остро заточенных карандашей, наклонился над бумагой...

Прошло полчаса. Секретарь недоуменно смотрел на дверь. Вызова не было. Он потрогал никелированную шапочку звонка, осмотрел проводку — все в порядке, а звонок молчал. Вячеслав Ананьевич не без основания гордился своим точно, на минуты рассчитанным рабочим днем. На «первоочередное» отводилось четверть часа. Сегодня в папке лежало всего два письма, требовавших только подписи. «Что-то случилось»,— решил секретарь и тихо, как он умел это делать, отворил дверь. Вячеслав Ананьевич сидел в обычной позе, склонившись над бумагами. Когда половица скрипнула, он вздрогнул и сказал насморочным голосом:

— Занят... Прошу ко мне никого не пускать.

Он не поднял головы, и секретарь бесшумно растворился в дверях с ощущением еще большей тревоги. «Что же произошло?» Впрочем, через полчаса раздался звонок. Рабочий день Петина потек по размеренному на минуты руслу. Но завтракать он домой не поехал, попросил принести что-нибудь из буфета. Завтрак так и остался стоять, прикрытый салфеткой.

— Может быть, вам нездоровится? — участливо спросил секретарь.— Позвать врача?

Вячеслав Ананьевич холодно посмотрел на него:

— Когда мне что-нибудь нужно, вы же знаете, я сам вам об этом говорю.

Но когда секретарь вышел, он все-таки выпил остывший чай. Взял бутерброд, надкусил его, но с отвращением бросил в полоскательницу. В этот момент сквозь обитую дерматином дверь до него донесся знакомый высокий голос, заставивший его быстро сесть в кресло, склониться над бумагами...

— Никого не пускай. Важный разговор,— сказал Литвинов секретарю и толчком отворил дверь.

Петин, оторвав глаза от бумаг, вопросительно смотрел на начальника строительства. И ему показалось, что Литвинов, в свою очередь, вопросительно, даже сочувственно смотрит на него. Но, может быть, только показалось, ибо, опустившись на стул, начальник, даже не поздоровавшись, произнес:

— Знаешь, кто у меня только что был? Сакко и Макароныч со всей своей гвардией... И Поперечный, конечно. Ты понимаешь, что этот чертов сын придумал? И когда придумал! Сам находясь в цейтноте... Только-только свою кривую вверх отгибать начал, а уже мыслит в масштабе строительства: требует создать этакие комплексы механизаторов, чтобы машины к экскаваторам шли конвейером. Конвейером! Ты понимаешь? И знаешь, с кем это они выдумали? С моим Петровичем... Сугубо интересная вещь... А главное, перспективная, масштабная...

Петин слушал с учтивым вниманием. Он плохо понимал, о чем говорит Литвинов, но автоматически в нужных местах кивал головой. А тот говорил с увлечением, но Петина не оставляло ощущение, что собеседник как-то особенно внимательно смотрит на него: «Неужели уже знает? Неужели все расползлось по городу?.. Или, может быть, она сама успела побывать в управлении?»

— ...Слушай, ты что-то неважно выглядишь,— сказал вдруг Литвинов, смотря в глаза собеседнику.

— Я? — удивился Петин.— Нет, благодарю. Ничего...

Разговор продолжался. Теперь Литвинов говорил что-то о молодежи, о необходимости смелее ее выдвигать, о каком-то списке, который подготовил ему комсомольский секретарь Игорь Капустин.

— ...Сугубо важное дело. Ильич в двадцать два года теоретический труд написал, Лазо фронтом командовал, Щорс...— И вдруг, прервав эту цепь доказательств, тихо спросил: — Слушай, может быть, что-то для нее надо сделать, а? Я не хочу лезть в калошах тебе в душу, но...

Петин как-то сразу внутренне преобразился. За столом продолжал сидеть все тот же спокойный, подтянутый человек, но это уже было как бы неодушевленное его подобие.

— ...Признаюсь, я в полной растерянности,— тихо произнес он.— Ушла. Ничего с собой не захватила: ни копейки денег, ни вещей... Я сидел всю ночь, думал — остынет, вернется. Даже и не позвонила. Федор Григорьевич! Я почти не знал женщин, я однолюб. Какая это была жена! Умная, тактичная. Как она вникала во все мои дела, какой заботой меня окружала! Это было второе мое «я»...— Голос Петина дрожал, в глазах стояли слезы.

— Вы об этом вчера и говорили?

— Об этом и о другом... Я не помню. Я совсем сбился с толку... Вот и сейчас, зачем я это все вам рассказываю?

— Ну, допустим, затем, зачем спускают пар, когда стрелка на манометре переваливает красную отметку.

— Ведь она совсем не приспособлена к самостоятельной жизни. Непрактична, беспомощна... Это ужасно. Я даже не знаю, куда она пошла.— Слеза скатилась по щеке Петина и упала на папку «Первоочередное».— Раз уж вы сами заговорили — может быть, можно будет устроить ей в новом доме хоть какое-нибудь жилье?

— Мне кажется, она совсем не так беспомощна... Просто... — Литвинов, не окончив фразы, встал. — Не горюй, бывает... Мой отец говорил: муж с женой бранятся, да под одну шубу спать ложатся...

— Вы так думаете?.. Если бы...— Из черных глаз смотрела неспрятанная тоска.

— Прости, Вячеслав Ананьевич, если неприятно — не отвечай: сыр-бор загорелся из-за того, что она рвалась врачевать?

— Врачевать? — недоуменно переспросил Петин, но тут же утвердительно наклонил голову.

— А ты не пускал?

— Как хорошо жили,— сказал Петин, снова беря себя в руки,— и вот стоило ей сойти с парохода на этот берег, как сразу все...

— Что сможем — сделаем,— сказал Литвинов. И после паузы уточнил: — С жильем... Если что понадобится — заходи на огонек... Буду рад...

И задумчиво вышел из кабинета. В приемной его ожидал начальник секретного отдела, державший в руках какой-то толстый засургученный пакет.

— А-а, лорд — хранитель печати. Ну, заходи. Что у тебя там?

— Тут вот по вашему запросу прислали... Видите? «Выписки из дела по обвинению гражданина Дюжева П. В.».

— Ага, давай, давай сюда,— оживился Литвинов, как бы освобождаясь от мороки только что состоявшегося разговора. Он выхватил пакет. Торопливо разрушил печати. Раскрыв папку, забормотал: — Так, так... особая коллегия... Пятого января 1946 года. Так... Дело по обвинению Дюжева Павла Васильевича во вредительских действиях, наказуемых статьями... Ух ты, сколько статей! Коллегия в составе... Ну, это к чертям... Обвинитель — тоже к чертям. О! Вот! Так я и думал.— Литвинов хлопнул ладонью по папке и, тщательно произнося слова, прочел: — «Эксперт обвинения инженер-подполковник, кандидат технических наук, лауреат Сталинской премии и т. д. и т. п. Петин В. А».— Литвинов победно посмотрел на начальника секретного отдела.— Что? Я тебе говорил? То-то.

— Я проверял. Все, что товарищ Дюжев написал в заявлении о себе, правильно. Освобожден досрочно, дело прекращено за отсутствием состава преступления, партийный стаж восстановлен. Из Дивноярского райкома отличная характеристика. Вот, пожалуйста.

Литвинов оттолкнул рукой бумаги:

— Ясно. Сугубо ясно. Оставь все это у меня.

1

В тот, уже давний вечер, когда Олесь Поперечный весь в смятении вышел из здания управления, сказав свое «нет», он пережил нечто похожее на то, что однажды было уже с ним на фронте. Ему пришлось с группой саперов обезвреживать минный тайник, подведенный эсэсовцами под алтарь старинного польского монастыря. Безопаснее было бы тайник подорвать, но монастырь был

местом католических паломничеств. Приказывалось — сохранить его во что бы то ни стало. И Олесь начал действовать. Взрыватель, заложенный между авиабомбами большой мощности, он отыскал сравнительно легко. Это была обычная адская машинка с часовым механизмом, с недельным, по-видимому, заводом. Но все остальное было неизвестной конструкции и, несомненно, снабжено ликвидаторами на тот случай, если кто-нибудь тайник обнаружит.

Попросив саперов уйти из подвала и отойти подальше, Олесь долго сидел один меж холодных, заплесневелых надгробий каких-то каноников и кардиналов, рядом со смертью, слыша ее тикающие шаги. Он разгадал секрет. Легкими летящими движениями нащупал замаскированные проводки, безопасной бритвой перерезал их. Отделенный от страшной мощи мин, взрыватель сработал у него в руках. Воздушной волной Олеся бросило о полированный мрамор, покалечило ему ногу. Он видел, слышал, обонял, но тело стало будто чужое. Мысли текли обрывками, мучительно путались, а земля все норовила выскользнуть из-под ног.

В тот вечер в кабинете Петина Олесь почувствовал нечто напомнившее ему былую контузию. Глаза видят, уши слышат, ноги держат, а в голове сумятица, клочки мыслей, которые никак не удается собрать. Догнал Надточиев, потряс руку. Почему? Обнял, повел по тротуару. Куда? Зачем?.. Успокаивает. К чему? Заднего хода уже не дашь. Поиски, судорожные попытки наладить дело ни к чему не привели. Только еще больше расхолодили, отодвинули от него людей, которым он хотел помочь, стали подтачивать в нем самом веру в себя.

И вот он так грубо, не думая о будущем, отказался от выдвижения. Отказываясь, обидел того, кто, наверное, хотел ему помочь. Теперь уже и не предложат, а предложат — брать нельзя, иначе и на своем добром прошлом крест поставишь. И эта жестокая, беспощадная мысль: да неужели ты уже спитой чай, Олесь Поперечный?

Ясно было одно: не обдумав все это и чего-то твердо не решив, домой идти нельзя. Ганна — ей не скажешь, по лицу отгадает, в глазах высмотрит. А скажешь — пойдут разговоры, и Усть помянет, и пианино, и вишенки. Эх, в самом деле, не стоило тебе, Олесь, уезжать из

Усти!.. Так и шел он по своему молодому городу, не радуясь ни новым этажам подросших домов, ни светофорам, недавно установленным на перекрестках.

У пивного павильона, построенного, согласно последней моде, из цветных пластмассовых плит и похожего на пряничный домик, он повстречал рябого слесаря из своего экипажа, того, что ухитрялся выражать все оттенки человеческой мысли двумя словами — «мать честная!». Дожевывая бутерброд, рябой был в самом благодушном расположении духа, и Олесь обрадовался ему. Он взял рябого под руку и на ходу стал рассказывать этому, в сущности, чужому еще человеку о предложении, которое только что сделали ему в управлении, о своих беспокойных по этому поводу мыслях. Рябой слушал и, когда Олесь кончил, в самой сочувственной интонации произнес:

— Мать честная!

Поощренный этим многозначительным замечанием, Олесь стал обосновывать резкость своего ответа. Обосновав, убедился: поступил все-таки правильно. И сразу както успокоился, будто занозу вырвал. Потом стал убеждать молчаливого человека, что именно вот теперь он и должен добиться толку от всех этих, в сущности, хороших ребят, заставить их поверить в свои силы, поверить в то, что они не лыком шиты, что, если дружно возьмутся, дело пойдет.

— Ведь так? Ведь правильно? — спрашивал он и в ответ слышал то же «мать честная», только в утвердительном тоне.

— ...Вот если бы нам всем хоть один разок, хоть смену по-настоящему работнуть. На войне, брат, бывал? Не успел? А я навоевался досыта. Так вот, в первый год, когда мы драпали, закинут немцы нам в тыл десант, так, вшивенький десантишко с сотню автоматчиков. Те растрещатся в тылах — полки по лесам разбегались. А соберет какой-нибудь командир или комиссар горстку обстрелянных ребят: «Стой насмерть!» Дивизии останавливали... Вера в себя, хлопец, вера в командира — великая сила. Вот бис тебя, разговорчивого такого, забери, и надо, чтоб ты хоть раз полную силу свою почуял, уважать себя стал. Вон Негатив, вы же его, как вши, ели, а брат мой Борька не нахвалится. И никуда уж бежать отсюда не собирается, в «Индии» вон домишко себе рубит, корни пускает...

— Да уж, мать честная... он уж таки...— вздохнул собеседник.

За разговором они миновали кварталы, которые еще только строились. Остановились на дорожной насыпи, тянувшейся к карьерам. Вдали над горами вздыбленного ярко-желтого песка то в одном, то в другом, то в третьем месте поднимались ковши экскаваторов и, мелькнув в воздухе, выбрасывали рыжий песок. Машин не было видно, только эти то появляющиеся, то исчезающие железные лапы. И опять показалось Олесю, что там, за валами вздыбленной земли, пришельцы с какой-то другой, неведомой планеты, строя что-то понятное и нужное только им, безжалостно ворошат земную утробу. Наблюдая за ними, Олесь, задумавшись, рассеянно выковыривал ногой камень, вмятый шинами в обочину шоссе. Камень наконец вылез из своей лунки и, прыгая, покатился вниз по не покрытому еще травою откосу, оставляя за собой пунктирный след.

— Вот видишь, хлопец, камень. Лежал бы да лежал, травою бы зарос, в землю бы ушел... Эх, браток! Всем нам такого пинка не хватает.— И, задумчиво глядя на работавшие вдали машины, вдруг вскрикнул: — Стой, хлопец! Стой, молчи!.. А что, как сядем мы разок всей артелью к Борьке на экскаватор? Хоть на одну смену сядем. Я эту машину, как Ганну свою, знаю. Даже лучше. Вот и поглядим, кто чего стоит, хай ему грец! Как? А?

— Мать честная!..

В город возвращались быстро. Простая эта идея казалась теперь Олесю спасительной. В самом деле, разве не самое важное — вера в себя, в свои силы, в своих товарищей. Он даже удивлялся, как это раньше не пришло ему в голову. У новомодной забегаловки подошли к прилавку, выпили по кружке пива, и, пожимая на прощание руку рябому, Олесь влюбленно смотрел в его худое, угловатое лицо.

— А и добрый же ты хлопец!.. Здорово умеешь молчать на всякие интересные темы...

Тяжелый разговор в управлении не то чтобы позабылся. Нет, он не выходил из ума. Но теперь он уже не казался трагическим. Наоборот, Олесь уже обдумывал со всех сторон новую затею и, обдумывая, утверждался в мысли, что польза несомненно будет...

— Никак выпил? — удивилась Ганна.— Это с какой же радости? Зачем в управление звали?

— В главные над землероями сватали...

Ганна радостно всплеснула ручками:

— Да что ты!

— Отказался,— поспешно ответил Олесь, отворачиваясь, и обратился к дочке: — А ну, Рыжик, сбегай за дядькой Борей. Отец, мол, кличет. Чтоб сейчас же, по важному, мол, делу. Ну, швыдче, швыдче.

— Так как же отказался? — спросила озадаченная Ганна, все-таки радуясь изменению настроения мужа.

— Эх, Ганусю, ты же знаешь, я и на фронте от пуль возле начальства не прятался... Мы, Поперечные, как сказывал диду поп, от запорожцев род ведем, не тараканы, чтоб от бед в щели залезать...

На следующий день, в перерыв, братья, никому ничего не сказав, остались в забое. С волнением, с каким спешат на встречу с любимой после долгой разлуки, поднялся Олесь в кабину знакомой машины. С тех пор как ушел на другую, он ни разу здесь не был. Приятно поразило, что хлопцы ничего не изменили: прежняя чистота, каждая тряпка знает свое место. Даже открыточка с белым голубем, которую Олесь сунул когда-то за козырек, была на месте. «Не забывают, черти»,— решил он, усаживаясь на сиденье.

Загудели моторы. Дрожащей рукой Олесь коснулся рычагов. А вдруг в самом деле разучился? Вдруг все-таки перелом сделал что-то непоправимое с рукой? Когда махина с мягким гудением дрогнула, ожила, он с нежностью подумал: «Не забыла, слушается...» Ком подкатил к горлу. Все, что он видел за стеклами кабины, вдруг потеряло четкость очертаний. Он не видел, он почувствовал, как взметнулась стрела, как опускается ковш, как зубы его, точно в масло, врезаются в слежавшийся грунт. Послышался скрежет, но из-за того, что все кругом было закрыто как бы туманом, цикл вышел смазанным. Промах будто ударил Олеся, он втянул голову в плечи: неужели выдохся? Но моторы пели, в кабине все было знакомо. Борис, стоя сзади, горячо дышал в затылок. Отерев глаза кулаком, Олесь сосредоточился... И пошло, и пошло...

— Нет, есть еще порох в пороховницах, не иссякла казачья сила, хай ему грец! — сказал он не без самодовольства, оглянувшись на Бориса.

Тот один управлялся за весь экипаж. Большой, огромной физической силы парень, он смотрел на Олеся с тем ревнивым и немножко подобострастным выражением, с каким скрипачи-оркестранты слушают соло заезжего виртуоза: такую бы стать, такую бы технику! А Олесь уже ничего не замечал. Он снова переживал это ни с чем не сравнимое и такое дорогое мастеру любой профессии чувство слияния со своей машиной, которое позволяет ощущать эту послушную, отзывчивую машину как бы продолжением самого себя.

Не сразу заметил он на остром гребне забоя человеческие фигуры, а увидев их, самодовольно ухмыльнулся. Это люди обеих бригад и шоферы, вернувшись из столовой, наблюдали за ним. Остановив машину с поднятой стрелой, Олесь удовлетворенно откинулся на спинку металлического сиденья. С минуту просидел улыбаясь, потом обратился к брату:

— Не машина — оркестр! — И, покосившись на тех, кто еще стоял на гребне откоса, сказал: — Я им покажу, этим «негативам», лягай их блоха, работу!

— Покажете, покажете,— торопливо ответил Борис, радуясь за брата и в то же время испытывая к нему ревность.— А у меня Негатив уже не Негатив, а Позитив, право... Так вкалывает! И чудак: когда ему в эту получку косая на его долю отломилась, слезу пустил. Честное комсомольское, пустил. Так деньгу любит, черт линялый!.

— Строится он... Давняя его мечта, своя хата... Личная. Собственная. Персональная...

Невыясненным осталось: ухитрился ли рябой с помощью своих двух многозначительных слов рассказать экипажу о замысле Олеся или он все-таки пустил в ход и другие, но только бригада уже знала о том, что задумали братья.

— Я вам скажу, друзья, он себя над нами поднять хочет,— сказал Сурен, прихмурив брови-гусеницы.— Вот гляди, душа моя: вот это ты, а вот это я.

Но электрик, любитель пословиц, задумался: «Оно конечно, чужая вина завсегда виноватей. Однако поглядим». А парень-подсобник, которого за склонность все воспринимать «с перебором» в бригаде звали Двадцать Два, восторженно взмахнул руками.

— А что, а что? Вот увидите, так работнем, что долговязому Борьке космические ракеты будут сниться...

И все-таки, понимая, что каждого ждет серьезный экзамен, все готовились к нему. На следующий день, хотя об этом и не договаривались, явились на работу свежевыбритыми, а Двадцать Два успел даже подстричь свои прямые, соломенные вихры и теперь благоухал ядовитым парикмахерским одеколоном. Минут за пятнадцать обе бригады были в забое и стояли, как футбольные команды перед матчем, двумя отдельными группками, ревниво поглядывая друг на друга.

После вчерашней пробы Олесь чувствовал себя увереннее. Но спокойствия не было. Хотелось скорее в кабину, все заново пересмотреть, перещупать, хотелось подойти к каждому из своих ребят, поговорить о сегодняшнем дне. «Речонку бы не худо толкнуть»,— подумал. Но агитировал он всю жизнь лишь примером, до слов был не охотник и потому молча курил, зажигая сигарету от сигареты. И все-таки, когда шли к машине, он не без труда выдавил из себя:

— Вот что, хлопцы, время такое — ушами хлопать нельзя.— И с молодой легкостью, держась за поручни, вскочил в кабину.

Когда все заняли места, он посмотрел на часы — черные наручные часы со светящимися цифрами и стрелками, полученные им когда-то как личный подарок маршала Конева за спасение польской святыни. Оставалась минута.

— И стоять на месте ныне нельзя. Остановишься — пятишься. А ну, хлопцы, все козыри, у кого какие есть, ложи на стол.— Но и эти слова показались Олесю слишком уж поучающими, и он, поведя носом, пошутил: — Ох и навонял же ты, Двадцать Два, своим одеколоном! Аж голова кругом идет!..

Если бы экскаваторщиков, как боксеров, взвешивали до и после работы, вероятно, было бы установлено, что в этот день Олесь Поперечный и его ребята потеряли по доброму килограмму. Но как Олесь работал! Даже скептический электрик любовался им. Впрочем, наблюдать друг за другом им не приходилось. Каждому было впору управиться со своим делом. К перерыву все, кроме Олеся, взмокли. Но из кабины вылезали, шумно галдя, и хотя шофер летучки, отвозивший бригаду на обед, давно уже давал нетерпеливые гудки, никто не тронулся с места, пока счетчица не сообщила выработку.

Она была еще не очень весома, эта выработка. Экипаж Поперечного-старшего еще не дотянул до обычных показателей Поперечного-младшего. Но норму выполнил. Зато хлопцы Бориса на чужом экскаваторе не выработали даже того, что выбирали «негативы».

— Тупая она у вас какая-то,— сердито говорил Борис, яростно скребя низко остриженный затылок.— Сонная. Выкладываешься весь, и все как в мякину.

— Эх, братан, если бы все в машине было!..— ответил Олесь.— Это я не тебе, это я себе говорю. Мы обвыклись, а ты свежим глазом подмечай, что в ней худо. Уж мы ее за жабры возьмем. Так, ребята? — Он был возбужден. Глаза запали, лицо заострилось, на лбу углубились морщинки, но морщинки лучистые, веселые, насмешливые.

Вторая половина дня оказалась еще более удачной. Люди, как говорится, «жали на всю железку». Олесь понимал: нет еще коллектива, чувствовал: каждый тянет свое, не помогает товарищу. Но старались все — это он тоже чувствовал. Из машины вылезали возбужденные, шумные. Даже усталость была не тягостная, и многоопытный Олесь понимал: вспыхнула, загорелась искра. Теперь не дать ей угаснуть. Раздувать, раздувать...

— ...Вот что, орлы, отсюда в павильон, угощаю,— сказал он.— Обе бригады угощаю.

— Зачем обе? — отозвался Борис, вообще-то слывший в семье парнем прижимистым, копивший деньги на «Москвича».— Пиво — ваше, закус — мой...

На следующий день Ладо Капанадзе получил в парткоме письмо некоего анонима, в котором сообщалось, что вчера вечером в новом пивном павильоне на углу проспекта Электрификации и площади Гидростроителей небезызвестный экскаваторщик Олесь Поперечный и его брат Борис пьянствовали вместе со своими экипажами. Выпили, как сообщал аноним, несчетное количество пар пива, съели четыре кило воблы-тарани, что, вместе взятое, заслуживает внимания партийных органов крупнейшего строительства семилетки и соответствующих выводов по линии партийной, а также комсомольской организаций в отношении обоих братьев Поперечных, дабы им в дальнейшем не повадно было втягивать в пьянство служебно подчиненные им беспартийные массы и публично пить пиво и закусывать воблой на улице нового, социалистического города...

И одновременно с этим секретарь парторганизации землеройного участка сообщил Капанадзе, что братья Поперечные, идя навстречу Пленуму ЦК, подписали между собой социалистический договор. Дальше шли показатели, и весьма солидные. Об обстоятельствах и месте подписания этого договора парторг ничего не сообщал.

Капанадзе сравнил эти две бумаги, покачал головой, рассмеялся и положил обе в папку дел, за которыми нужно наблюдать.

Вернувшись на свой экскаватор, люди Поперечного сразу же поняли разницу. Выработка у них мало отличалась от прежней, и, как раньше, каждый, делая свое дело, мало помогал другому. Но духом никто уже не падал. День, который так порадовал их, не забывался, и никто уже не отказывался прихватить сверх смены часок-другой, чтобы понянчиться с машиной. И была уже вера, что она скоро «раскроется», а главное — с того дня все поверили в своего невысокого, немногословного начальника, поверили в себя. А с верой, как говорят в здешних таежных краях, и зверя задушить голыми руками можно.

Вскоре фамилии обоих Поперечных снова появились в сводках. Опережал то один, то другой. И Дивноярск следил за соревнованием братьев с тем же вниманием, с каким в Москве болельщики знаменитой восточной трибуны следят за матчами «Спартака» и «Динамо». Юмористы и сатирики Дивноярска сочиняли на эту тему куплеты. Клубный художник изобразил портреты обоих братьев, на которых они, такие разные, одинаково походили на популярного киноартиста Бориса Андреева...

Олесь преобразился. Он ходил рассеянный и даже немножко шалый, часто улыбаясь, заговаривая сам с собой, невпопад отвечая на вопросы. Вот в один из таких дней он и позабыл о собственном новоселье.

Впрочем, он опоздал вместе с Капанадзе, у которого тоже было немало хлопот. И так как оба они вернулись в свои новые квартиры в отличном настроении, жены простили им эту оплошку, и стены нового домика по Березовой, шесть, были «обмыты» так, что и по грузинскому и по украинскому поверью жилью этому стоять сто лет.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Лето в том краю Сибири, где рос новый город Дивноярск, ясное, но короткое. В конце августа пойдут по логам и падям клубящиеся туманы, покрывающие к утру и старые лиственницы и мелкие былинки обильной росой. Днем солнце греет вовсю: лето и лето. Только воздух слишком уж чист, и все вокруг вырисовывается с какой-то неестественной холодной ясностью. Но закаты уже холодные, тихие: ни зверь, ни птица не подадут голоса. А в сентябре жди поутру крепкого заморозка с густым инеем. За какие-нибудь два-три дня лиственная поросль разошьет мохнатую зеленую шубу лесов пестрым узором.

Вот в такую пору, когда после утренника хвоя на лиственницах огненно пожелтела и на заиндевевшую землю потек осенний лист, ночью, задолго до рассвета, Литвинов и Надточиев отправились на охоту. Вез их по старой памяти Петрович, прикативший за ними на вездеходе, повсеместно именуемом «козлом». Ружья, патронташа, сумки с ним не было: ни зверей, ни птицу он не бил, и вообще охотничья страсть была ему чужда. Прелесть таких поездок заключалась для него в веселой суете у костра, в приготовлении походной пищи, в возможности всласть подремать на свежем воздухе в ожидании охотников.

Предполагалось, что по старой памяти поведет их «на поле» Савватей Седых вместе со своим верным Рексом. Старик знал тайгу так, что, казалось, мог ходить по ней с закрытыми глазами: держал в памяти все звериные тропы, места птичьих гнездований. Денег он за егерство не брал: не в обычаях края. Литвинов припас для такого случая подарок — финский охотничий нож. Этот нож он сам получил как сувенир от директора строящегося лесокомбината, ездившего за опытом в Финляндию. К общему огорчению, гостеприимный старик встретил охотников не то чтобы неприветливо, а как-то вяло. Он трудился под навесом, фугуя доску, и, казалось, даже не услышал приближения машины. Только когда Петрович подвел своего «козла» чуть ли не вплотную, старик вы-

прямился, откинул со лба седые взмокшие пряди и без удивления произнес:

— А, вона кто! А я думаю-от, кто это в эдакую рань в тайге тарахтит.— Он подал приезжему руку; сухая, обычно крепкая рука с заскорузлой, будто подошва, ладонью была какой-то безжизненной.

— К тебе, Савватей Мокеич, бить челом. Пополюем,— попросил Литвинов, с беспокойством замечая, как за полгода старик осунулся, будто ссохся. Черные глаза запали, утеряли былой блеск. Они равнодушно смотрели из углубившихся темных впадин, а волосы, свалявшиеся в косицы, совсем по-старчески свисали на лоб.

— Отполевал я,— ответил старик и, заметив на лицах гостей недоумение, равнодушно пояснил: — Помру скоро.— Еще несколько раз шаркнул по доске фуганком, опять отер рукавом пот, продул жало, бережно отложил инструмент.

Была в этих простых словах такая убежденность, что обычные в таких случаях разуверения и утешения не шли на язык.

— Да, ты что-то неважно выглядишь.

— Известно-от, хворь и поросенка не красит... Пошли в избу, что ли...

Все такая же стояла в домике душистая полутьма, так же пахло медом, воском, травами, черемшой, те же тикали ходики. Но было и новое — какая-то домовитая чистота. В углу из ризы потемневшего чеканного серебра виднелся длинный прямой носик строгой богородицы, державшей в руках младенца, похожего на куклу-матрешку.

— Глафира-от совсем ко мне перебазировалась,— бледно улыбнулся старик.— Вместе со своим опиумом. Пришлось и богородицу пустить. Да ладно, места не провисит.

— Да что с вами, Савватей Мокеич? — спросил Надточиев, чувствуя, как нарастает в нем тягостная неловкость за этот визит, оказавшийся таким несвоевременным.— Врачи-то что говорят?

— А, врачи! — Старик махнул рукой.— Кеша мой — может, в «Старосибирской правде» читали, да и по радио это говорили — в Ново-Кряжове целую-от поликлинику отгрохал. Все они тут перебывали. Однако что он, врач, когда даже Глафира от меня отступилась. Мажу вон грудь ее мазью из пчелиного прополиса да

медвежьего сала. Маленько помогает, не так першит... Врачи... У смерти в глазах-от все равны: что ты профессор, что ты ведун, вроде Глафиры. Смерть причину сыщет.— И, явно желая оборвать этот разговор, сказал: — А чего вам тут торчать? Полевать так полевать. Вон и солнышко из-за деревьев вываливает.

Савватей посоветовал попытать счастья по тетеревам. Растолковал дорогу в рябинник, где в эту пору отъевшиеся за осень птицы клюют тронутую заморозком ягоду. Смахнул со стола пучки трав, вырвал из тетрадки лист и, сориентировавшись по старинному компасу, нетвердой рукой набросал грубую карту пути. Пометил на ней балочку, валун, известную всем «партизанскую пихту», возле которой когда-то колчаковцы расстреляли его старшего сына, и одинокую сосну, где страшно окончил жизнь человек, предавший партизан. Он вручил охотникам эту самодельную карту. По таким ходили, вероятно, в здешних краях промысловые люди времен Ермака Тимофеевича. Растолковал путь, потрепал Рекса, с тоскливым беспокойством наблюдавшего сборы.

— Ну, ни пуха вам, ни пера. А мы с тобой, Рекс, на печку.— И было в этих просто произнесенных словах что-то такое, от чего старый, уже поседевший рыжей собачьей сединой кобель издал короткий, щемящий вой...

— Странно, этот Савватей — умница, не верит ни в бога, ни в черта, ни в сон, ни в чох. Еще в гражданскую был партизаном, и вдруг этот первобытный фатализм,— задумчиво произнес Надточиев, когда охотники отшагали уже немало километров.— Странно, даже дико.

— Кто его знает! — обернулся Литвинов. Скорым шагом опытного пешехода, на редкость проворным при его медвежеватой стати, он все время опережал длинноногого инженера.— А может, и есть что-то такое, чего наука еще не открыла. Биотоки какие-нибудь, что ли... Вот мой отец покрепче меня был, на спор с купцом штоф водки единым духом из горлышка однажды высадил. Бывало, на Волге деревня на деревню на масленой на кулачки выйдут; как послышится: «Гришка-лоцман!» — так чужая стенка и дрогнет... А однажды, я уже был в Твери на рабфаке, вдруг письмо: «Приезжай прощаться. До вербного воскресенья, дальше не дотяну». Зачеты были; думаю — чушь, мистика... На пять дней задержался и не застал: похоронили... Может быть, оно что-то и есть, от чего бывают предчувствия.

До «партизанской пихты» путь лежал по таежной дороге. Весной, когда кряжовцы перевозили свои дома, дорогу плотно утрамбовали множеством шин и гусениц. Стебли вдоль колеи и сейчас еще кое-где чернели от автола. Но колхоз переехал, тайга перешла в наступление, трава закрыла колею, тут и там уже выбивались из нее березки, сосенки, пихточки-годовички. Лишь один человек прошел на заре по этой дороге, и в тенистых местах, где еще держался кристаллический иней, были четко оттиснуты его следы. У «партизанской пихты» человек этот тоже свернул вправо и, обогнув помеченную на карте сосну, сбежал в овраг. Он шел тем же маршрутом, какой Савватей начертил для охотников.

— Видишь, видишь, туда же идет, прохвост,— забеспокоился Литвинов.— Сугубо глупо было выезжать ночью, надо бы с вечера.— Он с азартом оглядывался вокруг и свою замечательную двустволку-«тулку», подаренную ему украинскими организациями в день завершения восстановительных работ на Днепрогэсе, нес уже в руках.— Гляди: по следу мальчишка, сопляк. Подстрелить ничего не подстрелит, а всю птицу распугает... Вот не повезло!

Овражек, на дне которого кое-где в бочажках сохранялась вода, вывел охотников к указанной на карте небольшой котловине, со всех сторон поросшей лесом. Посреди котловины они увидели деревянную оградку. За ней возвышался непонятный металлический предмет. Все это издали походило на могилу. Коренастые, широко разросшиеся ивы осеняли ее ярко-зелеными космами. Возле стояла женщина в темном. Держа ружье в руках, она настороженно смотрела в сторону приближавшихся охотников. Те тоже остановились. Разглядев их, женщина бросила ремень ружья на плечо, широким, мужским шагом пересекла котловину и ушла в противоположную сторону.

— Ее следы? — Надточиев был поражен этой встречей.

Литвинов, прищурившись, смотрел вслед быстро удалявшейся темной фигуре:

— Глафира.

Они миновали поляну. Под ивами, с которых даже в безветрие тек лист, действительно оказалась могила. На продолговатом холмике лежал судовой якорь. К толстому

железному стержню была прикреплена начищенная до блеска медная дощечка. На ней безыскусно выгравированы контуры первого советского герба, буквы «РСФСР» и надпись: «Здесь покоятся славные партизаны тт. Прохоров Терентий, Болоцких Федор и их боевой командир Седых Александр Савватеич, погибшие от озверелой руки колчаковцев 18 ноября 1919 года».

Руки охотников как-то сами потянулись к шапкам. Обнажив головы, они молча стояли у таежной могилы. Самое удивительное было, что тут, в глуши, далеко от жилых мест и проезжих дорог, все сохранялось в отличном состоянии. Якорь был выворонен черной блестящей краской, дощечка сверкала. Холмик был обметен, и на нем лежала ветка калины с сочными рубиновыми ягодами.

— Кто ж тут за всем этим ходит?

— Ну, конечно, Глафира,— задумчиво ответил Литвинов.— Она ж вдова Александра. Мне о нем Седых рассказывал: пароходный механик, он колчаковский транспорт на пороге Буйном стукнул. Всех пустил ко дну, сам выплыл. Партизанил потом, да кто-то их предал. Вот лежат герои...

Позабыв об охоте, они присели на скамеечку, вкопанную возле оградки. Славное прошлое пустынного этого края, где страсти революции бродили не менее круто, чем в больших промышленных городах, подступило к ним. Литвинов вспомнил, как старосибирский археолог со странной фамилией шумел у него в кабинете, выпрашивая водолазный бот, чтобы поискать возле порога Буйный остатки старинных судов. Он тоже рассказывал о гибели транспорта «Император Александр», потопленного партизанами. Говорил он что-то и об этой могиле и сокрушался, что она попадет в зону затопления. Все это теперь связывалось одно с другим, и стало еще более понятным, почему Иннокентий Седых так яростно боролся за эти земли, почему Глафира, когда-то радушно привечавшая гидростроителей, теперь молча уходит из избы, сто́ит Литвинову появится на пороге дома, почему она за это лето совершенно извелась, почему не поехала с остальными в Ново-Кряжово, а обитает на пасеке. Может быть, и Савватей, старый чертяка, не зря наметил им путь через эту котловину. Может, он хотел молчаливо напомнить начальнику строительства, какое еще горе готовит он его семье...

— Ну пошли, пошли,— заторопился вдруг Литвинов.— Глафире не до тетеревов, все нам останутся...

Они шли уже осторожно, останавливаясь и осматриваясь перед каждой прогалиной. Карта говорила: рябинник где-то тут, рядом. Вдруг Литвинов остановился. Пальцем поманил Надточиева. Тот, подойдя на цыпочках, подставил ему ухо, полагая, что Старик заметил дичь.

— ...Знаешь, как назовем мы наш город-сателлит, что на Птюшкином болоте? — неожиданно спросил начальник строительства.— Партизанск. Да, да, Партизанск, вот в их честь.— И он показал пальцем назад, туда, откуда они только что пришли.

Тут он смолк, и они замерли, услышав странные хрипловатые звуки. Они доносились из недалеких, тускло рдевших кустов. Рябинник? Ну да, вон среди ржавой листвы будто брызги крови. И что-то неясно чернеет в ветвях. Вцепившись в ружья и обо всем позабыв, охотники ловили звуки, доносившиеся из-за кустов. Ага, вон и ветки шевелятся! Кто-то копошится в них. Литвинов сделал руками охватывающий жест: надо разойтись и подходить справа и слева против ветра.

Ветер бросал в лицо Надточиеву горьковатый аромат палого листа. На цыпочках двигался он от куста к кусту, держа ружье наготове, не спуская глаз с шевелящихся веток. Уже отчетливо различались в ржавчине листьев силуэты крупных, тяжелых птиц. Не замечая опасности, они жадно склевывали гроздья тронутой морозом рябины. Тут грянул выстрел, затем другой... Несколько птиц, что сидели повыше, снялись и, свистя крыльями, полетели прямо на Надточиева. Одну из них он подстрелил на взлете, другую подбил из второго ствола, когда она проносилась у него над самой головой. Птицы с шумом упали невдалеке. И тут инженер услышал яростный вскрик и брань.

В кустах, красный от досады, стоял Литвинов. Он явно не видел птиц, которые затаились в чаще ветвей. Приложив палец к губам, Надточиев указал ему на них. Литвинов насторожился. Весь напружинившись, он стал тихо подкрадываться, но наступил на ветку. Раздался треск. Еще одна птица, шумно хлопая крыльями, ломая ветви, стала выбираться из зарослей. Снова раскатились по лесу выстрелы. Дробь секанула по листве где-то над самой головой Надточиева.

— Ух...— послышался густой мат. Литвинов стоял весь красный и, проводив бешеным взглядом улетавших птиц, перевел его на удачливого товарища.— Я тебе их на мушку посадил. Моя птица! — кричал он.

А в это время еще один, самый осторожный и самый хитрый петух, бесшумно выбравшись из листвы, полетел, почти задевая вершины рябин. Оба ружья вскинулись одновременно. Оба охотника нажали курки, но грянул лишь один выстрел. Дым рванул из ружья Надточиева: в огорчении Литвинов забыл зарядить свою знаменитую двустволку. А его партнеру, как на грех, продолжало везти. Еще одна птица, самая крупная, самая тяжелая, билась на земле. Стараясь не глядеть в искаженное яростью лицо Литвинова, инженер добил ее. Шум, раздавшийся в рябиннике, все-таки погасил бешенство неудачливого охотника. Вскинув ружье, он метнулся навстречу новой птице. Он выстрелил из обоих стволов, посыпались перья, и бесформенный комок стал падать, кувыркаясь в ветвях.

— Ага! Наконец-то! — вскричал Литвинов, ломясь к добыче прямо через кусты.

— С полем! — радостно поздравил его Надточиев, стиравший травою с рук птичью кровь.

И в ответ — новый залп ругательств. В ярости Литвинов бросил оземь ружье и топтал его.

— Федор Григорьевич, вы же ее мастерски срезали...

— К черту, убирайся ты к черту в штаны! — не помня себя кричал Литвинов.—...И не таскайся за мной! Хватит! Видеть не могу твою рожу!

Приготовившись достойно ответить на обиду, Надточиев случайно взглянул на землю, где лежал трофей его спутника: ком перьев, изрешеченный дробью. Это были пестрые перья сибирской совы. Литвинов, не оглядываясь, уходил в чащу в обратном направлении. Еще слышался треск кустов. Надточиев собрал свои трофеи. Это были две молоденькие курочки и великолепный тяжелый петух. Связав их за шеи, охотник перекинул дичь через плечо и пошел обратно, стараясь держаться следов Литвинова. Тот шел так быстро, что догнать его не удалось. Комок совиных перьев, оставшийся лежать на траве, невольно настраивал инженера на веселый лад. И все же мысли вертелись вокруг одинокой могилы в лесной котловине и этой женщины, похожей на монашку. Он думал о ее

верности, о ее любви, о женской любви вообще и главным образом о том, почему его, Надточиева, никто не любил, пусть не так фанатически, а хотя бы нормально, хотя бы немножко...

На пасеку охотники вернулись порознь. Савватей, которому не раз приходилось полевать с Литвиновым, сразу сообразил, в чем дело. К приходу Надточиева они уже пили чай и подшучивали над Петровичем, который с юмором повествовал о перипетиях своей семейной жизни. Всю эту картину Надточиев увидел еще в окно. Оставив битую птицу в сенях, он медленно открыл дверь. Он был не из тех, кто молча сносит обиды, и уже приготовился к бою, но Литвинов шел ему навстречу, протянув руку:

— ...Ну, прости меня, Сакко: поганый характер. Как говорит Петрович, с пол-оборота завожусь... Не сердишься? Ну и ладно.— И потихоньку попросил: — Про эту окаянную совенку — ни гу-гу.

— Трофеи пополам,— с облегчением сказал Надточиев.— Ведь это же чистая случайность, что ваша птица летела на меня.

— Ну какая тут случайность... Меня за такую стрельбу в станционном сортире утопить мало. Думаешь, я дурак? — И, вырвав из трубки, лежавшей на лавке, лист ватмана, развернул его.— Нет, ты лучше погляди, Сакко, что тут Иннокентий строит. Вот оно, его Ново-Кряжово, в плане, а вот перспективный эскиз. Гляди — площадь, универмаг, поликлиника, школа, дом для учителей, а там, возле Ясной, за стадионом, пристань. Морская пристань! А рядом, смотри, склады. Ледяные склады. Рыбу, убоину, овощи оттуда прямо к нам морем возить будут... Морем! Таежное море, черт возьми!.. А Иннокентий-то, Иннокентий-то не успел на новом месте обжиться и вон уж куда засматривает. И ты смотри, кто ему это все делает! Москва... А между прочим, деду вон не нравится. Так, Мокеич?

— Да-от как сказать? Конешно, ничего, однако ж нашим ли носом да малину клевать. Она ягода нежная... Городское жилье, оно конешно... Устарел я, может, а жаль мне от приволья отказываться... Тут как-то сижу на завалинке, в субботу, что ли, идут парни с девками. По виду ваши, торбы у них за плечами на ремнях, ведерки, снасть, даже цыганский чугун двое на палке тащат. Идут, значит, тайгой подышать. У одного за плеча-

ми приемник, поменьше даже моего. Орет на весь лес... Мне-от жалко их стало. В тайгу — и с радио... Ее ж саму слушать надо. Сколько у нее голосов, сколько песен! А они... Плохо это, Григорич... Иль ты тоже с собой радио по тайге таскаешь?

Старик сидел сутулый, нахохлившийся. Он все еще походил на беркута, но беркута, вымокшего под дождем. Он будто бы и не беседовал, а так, думал вслух, разглядывая какие-то свои мысли. Только раз за весь день в погасших глазах засветился прежний блеск. Это когда он спросил, видели ли охотники партизанскую могилу.

— Видели,— ответил Литвинов, тоже оживляясь.— Слыхал я о твоем старшем. Знаешь, что мы тут с Сакко надумали? Вот посоветовать жителям, чтобы просили правительство назвать новый городок Партизанском. И в том городе площади имя дать — площадь Сибирских Партизан. А? И в городе этом сыну твоему и товарищам его спать на самом почетном месте.

— Эх-хе-хе! — совсем по-стариковски сказал Савватей.— Ладно надумано, только ведь и праха, поди, не осталось. Лет-то уж сколько прошло над той могилой...

— Мы Глафиру Потаповну там видели,— сказал Надточиев.

— Видели? — уже снова потухшим голосом переспросил старик.— Это так, она там. Каждое воскресенье там, могилку приберет, сидит, думает... Вот вы перенесете, похороните с честью, а она куда? У нее не только любовь, но и вся жизнь там закопана.

Когда охотники уходили, старик даже не поднялся их проводить. Сидя на лавке, он подавал им безжизненную, вялую руку:

— Наверно, не свидимся, Григорич, так не забудь про могилку-та.

— Я и о тебе не забуду, Савватей Мокеич. Я тебе такого врача пришлю, плясать еще будешь. Знаешь — кого?

— Знаю, знаю я твово врача... Внучка навещает, все ваши секреты знаю. Только и тот врач без пользы. Савватею Седых на тот свет уже путевка выписана. Чую.— Но вдруг опять что-то сверкнуло в его глазах.— Ты лучше, Григорич, нашего Дюжева не забывай, вот кому врач нужен. Взялся поднять человека — поддерживай. Дело без конца как кобыла без хвоста.

Помолчал, будто тихо удалялся куда-то, и про себя бормотал:

— Полюбился мне этот Дюжев... Приехал тогда с Кешей. Я — матушки-светы, живой мой Александр! До того на старшего моего похож и обликом и характером. Только мой говорун, а этот молчальник. Все молчал... А потом отогрелся, заговорил. Оно известно, в лесу человек лесеет, а на людях людеет... Прям очень, спина-то совсем не гнется, скорее его пополам сломишь, чем согнешь. Ты его береги: большой прок от него людям будет. А пьет, что ж, не для услады, в неволе-та вон и медведь запляшет. Александр-покойник, тот хмельного не принимал, даже чая не пил, даром что ярым большевиком считали, а этот...— И повторил: — В неволе и медведь пляшет.

Когда, простившись со стариком, все вышли на улицу и закрылась дверь, Петрович, оглянувшись на окно и убедившись, что Савватей не смотрит, поманил всех за собой. В сторонке от избы пасечника был врыт в землю погребок-омшаник, куда на зиму прятали ульи. Петрович зажег фонарик. Острый белый луч пронзил сыроватую, пропахшую прополисом мглу и высветил ряды полок. У входа белел прислоненный к стене гроб. Возле стояли аккуратно остроганные тесины еще не собранной крышки.

— Себе жилплощадь готовит,— сказал Петрович.

Шутка не вышла. Ответом на нее было неловкое молчание. Почему-то на цыпочках поднялись по ступенькам, погрузились на своего «козла» да так и промолчали, пока дорога не вывела машину на взгорок, с которого открылся вид на обильные и пестрые огни молодого города Дивноярска.

2

В один из тех студеных и ясных дней, когда леса одеваются мохнатым, сверкающим инеем, на столичном аэродроме приземлился воздушный корабль, прилетевший из Сибири. Пассажиры долго выходили по двум трапам из его брюха, казавшегося бездонным. Это были разные люди: командированные, отпускники, летевшие на юг догонять лето, возвращавшиеся в Москву туристы. Была среди них молодая мать с ребятишками, один из которых сидел на руках, а другой шел, держась за ее юбку.

Военный, должно быть — сын, вел под руку совсем ветхонькую старушку, и какой-то человек артистической внешности в широкополой шляпе и галстуке бабочкой, которого друзья в Старосибирске доставили в самолет, по определению бортпроводницы, «в полужидком состоянии», сходил с трапа, с трудом переставляя как бы негнущиеся ноги.

Самолет вылетел в шесть утра. Он был в пути семь часов, и вот сейчас, когда часы в Москве показывали восемь тридцать и солнце еще только выкатывалось из-за сверкавшего белизной леса, перелет по одной из самых длинных авиатрасс мира был уже завершен. Вероятно, поэтому пассажиры и вели себя, будто выходили из пригородного поезда. Старушка, ахая, выговаривала сыну-офицеру за то, что, вылетая, он забыл выключить в уборной свет. Молодой отец, встретивший жену и ребятишек, совал им конфеты «Мишка косолапый». Двое военных в ожидании, когда подвезут чемоданы, побежали за свежими газетами, а человек с бантиком после трагического раздумья, подняв палец, многозначительно произнес: «Эрго» — и той же поступью каменного гостя стал подниматься в ресторан.

Только один пассажир, вступив на бетонные плиты аэродрома, не мог скрыть волнения. Он остановился возле алюминиевых поручней трапа и, рассеянно держась за один из них, жадно осматривал все вокруг: ряды советских и иностранных самолетов, выстроившихся вдоль бетонных дорожек, маленькие, похожие на сосиски электропоезда, подвозившие пассажиров на посадку, знакомое здание аэровокзала, которое уже явно не могло вобрать в себя всех прилетающих, даже кромку заиндевелого леска, розовевшую за оградой.

— Что с вами, товарищ? — участливо поинтересовалась одна из проводниц, сходившая с трапа уже со своим походным чемоданчиком.— Может быть, вам худо?

Пассажир — высокий, кряжистый, бородатый человек в офицерской шинели и папахе, без погон и знаков различия — посмотрел на нее голубыми глазами и улыбнулся так, что в русых зарослях сверкнул ряд белых зубов.

— Нет, мне хорошо. Мне очень хорошо, девушка.— И, по-военному козырнув ей, направился в аэровокзал, неся в руках новенький, пузатый, перепоясанный ремнями портфель, составлявший, как видно, весь его багаж.

Странное, противоречивое чувство испытывал Павел

Васильевич Дюжев тут, на московской земле, где он рос, учился, вступил в комсомол, потом в партию. Он радовался: снова дома — и волновался, не зная, как этот дом его встретит. Тянуло скорее позвонить друзьям, знакомым. Томила неизвестность: как-то они примут не прежнего Павлуху Дюжева, весельчака, певуна, везучего человека, смелыми, большими шагами входившего когда-то в гидротехнику, получившего в первые же годы работы несколько авторских свидетельств, женившегося на самой красивой и умной девушке своей компании, а его сегодняшнего, побывавшего «там», долго пропадавшего потом неизвестно где; его, бородатого, усталого, еще только нащупывающего дорогу, возвращающую в настоящую жизнь.

И еще беспокоил намек, сделанный Вячеславом Ананьевичем Петиным. Перед отлетом Дюжев заходил к нему по делу. Смотря как бы сквозь посетителя, пожимая ему руку, желая ему доброго пути, тот, едва заметно улыбаясь, доброжелательным тоном предостерег:

— Там не далекая периферия, где Литвинов царь и бог. У Москвы хорошая память. Однажды скомпрометированный проект может встретить там весьма влиятельных и сильных противников. Дружески советую приготовиться ко всему...

Что означали эти слова? Неужели этот человек будет продолжать его преследовать? Во имя чего? Зачем? Ведь Дюжев никогда и никому на строительстве не говорил, что ложные показания, данные, может быть, из трусости, а вернее всего — по инерции времени и испортившие ему жизнь, сделал именно Петин. Зачем ему об этом вспоминать? Сама обстановка, при которой могли происходить такие вещи, разоблачена, сурово раскритикована. Выросло новое поколение гидротехников, которое ничего и не слышало о трагическом происшествии, случившемся когда-то на одной из крупнейших рек страны. Разве Петину выгодно ворошить прошлое? К чему?.. И все-таки против воли снова и снова приходили на память слова старого Савватея: «Кто кого обидит, тот того и ненавидит...»

Одетые инеем подмосковные леса, широкое шоссе, огромные деревянные грибы — белые, подосиновики, подберезовики, стоящие на заиндевевших опушках и указывающие москвичам, где, какие водятся тут летом грибы, и этот новый, не виданный еще Дюжевым приго-

род, возникший сразу, без окраин, за извилиной какого-то ручья, все эти незнакомые ему, старому москвичу, улицы, огромные дома, витрины магазинов и даже самые вывески: «Кинолюбитель», «Изотопы», «Пчелы» — вся эта новая, незнакомая Москва так захватила его, что он жалел, что автобус идет слишком быстро и трудно что-нибудь рассмотреть.

Но и старой Москвы он не узнал: за незнакомым мостом проплыл тоже незнакомый спортивный комплекс. Только колокольни и купола Новодевичьего монастыря, поднимавшего свои золоченые кресты в серое, закопченное небо, подсказали ему, что это знаменитые Лужники. Но Большая Пироговская осталась прежней, заиндевевшие тополи закрывали старые здания. Великий хирург сидел в кресле в той же стремительно-вопрошающей позе, будто спрашивая будущие поколения медиков: «Ну-с, молодые люди, а вы что полезного откроете?» Автобус несся на прежней скорости, но теперь Дюжеву казалось, что мотор еле тянет. За забором перед хирургической клиникой он даже успел разглядеть скамью, на которой он в студеный январский вечер ожидал, пока Ольга окончит свою первую операцию.

Ольга... Да, Ольга и сейчас, может быть, в одной из этих клиник. Сойти, позвонить вон в ту дверь и... Дюжев закрыл глаза и отвернулся от окна.

Гостиница «Москва» тоже не изменилась. Телеграмма Толькидляваса была получена, номер забронирован. Дежурный администратор — молодой человек с головой, как бы рассеченной пополам ровным пробором, вручая ключ, поинтересовался:

— Ну как там у вас в Дивноярске? Неужели скоро перекроете Онь? — И улыбнулся.— Следим, следим, как же! Оньстрой у всех на виду.— И добавил доверительно: — Номеров у нас нет: сплошь конференции, но для Оньстроя...

В научно-исследовательском институте, куда Дюжев явился в полдень, марка строительства сработала также безотказно. Здесь о прилете инженера Дюжева тоже знали. Уже было приказано провести его прямо к директору. Тут, в большом, облицованном дубовыми панелями кабинете, где каждый карандашик, каждая резинка на огромном письменном столе знали свое место, Дюжев встретил первого человека из своего прошлого. Директор института был его однокашник. Дюжев помнил его не-

торопливым, рассудительным, усердным парнем. Звезд он с неба, как говорится, не хватал, но был неизменно дисциплинирован, внимателен, отличался старанием и с курса на курс переходил с хорошими отметками. Он располнел, облысел, в голосе зазвучали властные нотки, но из юности он, должно быть, принес и в этот кабинет свою добропорядочность, ровный ритм жизни.

— Здравствуйте, Павел Васильевич,— произнес он несколько в нос, явно стараясь подавить в себе любопытство и не разглядывать посетителя.— Рад снова вас видеть. Товарищ Литвинов о вас уже звонил, и из министерства тоже. Будем рады оказаться полезными Оньстрою... Ну как там у вас, говорят...

— Когда я могу начать работу? — нетерпеливо перебил Дюжев, с раздражением отметив про себя и это «вас» и эти изучающие взгляды.

— Ну... на той недельке...

— А если завтра?

Директор улыбнулся и, наклонясь через стол, заговорил тише:

— Вы, я вижу, все такой же торопыга... Я знаком с вашей идеей, знаю ее историю, трагическую, можно сказать, историю... Как директора института меня это не касается. Ваш эксперимент для нас — давальческая работа, и мы за нее ответственности не несем. Но позвольте мне, уже как старому товарищу, спросить: вы все взвесили?.. После того, что произошло, вы очень рискуете. Стоит ли именно с этого проекта начинать ваше...— отыскивая подходящее слово, он пошевелил пальцами,— ну, ваше возвращение к инженерной деятельности?..

— Вы мне поможете? Завтра я могу начать?.. Или, может быть, вы трусите?

Директор откинулся на спинку стула, стал официальным, но, видимо что-то в себе подавив, продолжал ровным голосом:

— Там, в Сибири, на Оньстрое, вы на миллионы считаете. Мы институт с мировым именем, но... считаем на рубли. Эти рубли мы не имеем права разбазаривать на неясные эксперименты. Поймите меня.

Спокойный, ровный голос напомнил Дюжеву голос Петина. Он весь встопорщился, вскочил. Буйная растительность закрывала значительную часть его лица, но нетрудно было угадать, что рот его кривит саркастическая улыбка.

— Вы коммунист?

— Что за вопрос? Я вообще не понимаю...

— За решения Пленума о техническом прогрессе, о смелом экспериментировании, о необходимости в нужных случаях идти на технический риск вы голосовали? Может быть, вы возражали? Или записали особое мнение?

— Товарищ Дюжев, я не привык, когда в моем кабинете...

— Привыкайте. Такое время. Нынче надо говорить: да или нет. За или против. Время воздержавшихся прошло.

Воцарилось молчание. Хозяин и посетитель тяжело дышали. Глядели друг другу в глаза, в самые зрачки. Потом, снова что-то в себе преодолев, директор начал неуверенно улыбаться. Все еще смотря в лицо собеседника, он произнес:

— А ты все такой же, Павел Дюжев. И характер...

— Рад бы перемениться, да вот не могу. Не могу и не считаю нужным.

— Где это тебя Литвинов откопал? Получаем проект, подпись «Дюжев», инициалы «Пе», «Ве». Он? Знал, что тебя реабилитировали, партбилет, стаж вернули. Слышал, что гидротехнику ты бросил. Скрылся куда-то. И вдруг этот проект... Пойми же, Павел, я не о себе, честное слово, не о себе. О тебе думаю. После такого... таких... переживаний... А где ты все это время был?

— Не суть важно. Суть — проект. Смогу я тут у тебя все это промоделировать, попробовать? Людей дашь? Или начнем бумажную войну? Тогда нападай, не теряя времени. Я могу, я ко всему готов.

Директор рассмеялся:

— Вояка! Ладно. Всем, чем положено, обеспечим. Оньстрою, как ты знаешь, вообще не отказывают. Но войны тебе не избежать. Дружески предупреждаю. И не со мной. У твоего проекта сильные противники, опытные, рукастые, и не только здесь, но и у вас. Имей это в виду. Но, повторяю, это дело не мое. Я обещаю тебе позитивный нейтралитет.

— Спасибо и на том. Противников уже чую.— Дюжев устало улыбнулся.— Есть у нас там один старый чалдон, мудрейший старец. Так вот он мне на прощание говорил: «Бойся коня сзади, козла — спереди, а человека — со всех сторон». Да если бы мы, техники, не умели кулаками отстаивать свои идеи, разве бы спутник полетел,

разве бы человек в космос шагнул? И еще тот старый чалдон говорил: «На смелого собаки брешут, а робкого рвут». Так-то вот. Помнишь, как мы тебя в институте звали? Испуганный ортодокс!

— Помню, спасибо,— уже не скрывая обиды, сказал директор.— Вижу, не только достоинства, но и недостатки у тебя прежние.

— А нас, поволжских кержаков, так за то и звали: дубовые лбы.

Простились оба настороженные, и уже на лестнице Дюжев жалел, что так нелепо погорячился, стал ломиться в дверь, которая была, оказывается, открытой, обидел человека, явно не желавшего ему ничего дурного. «Нервы, нервы. Чего же ты стóишь теперь, Павел Дюжев, если одна петинская интонация в голосе взвинчивает тебя?»

Встречая Дюжева, директор теперь лишь сухо раскланивался, но работа в институте, вопреки ожиданиям, пошла хорошо. В помощники ему дали молодых, не очень опытных, но зато деятельных, ищущих инженеров, искренне заинтересовавшихся проектом.

Дюжев просиживал с ними все дни и вечера, и его мечты о Художественном, о Большом, о концертах александровского ансамбля, который он любил еще с фронтовых времен, отодвигались на второй план. Ничего, кроме «Чистого неба», не успел он повидать, а на «Небе» так расчувствовался, что в конце не мог удержать слезы и еще в темноте, когда на экране шли последние кадры, стал выбираться из зала, цепляясь за ноги соседей и вызывая свирепое шипение. «Нет, нервы еще не те». Окончательно поставив крест на программе развлечений, Дюжев с фанатизмом ушел в работу. Его детищу предстояло выдержать не только напор ледяных полей, но и, что труднее, ту тайную борьбу, которую Петин через своих людей, сам оставаясь в стороне, начал на Оньстрое и о которой предупредил в письме Сакко Надточиев.

Устав до боли в висках, Дюжев пешком отправлялся к себе в гостиницу. Шел каждый раз новым маршрутом, наслаждаясь созерцанием перемен, происшедших в родном городе. Останавливался возле новых тоннелей и новых виадуков, смотрел на новые здания, наблюдал поток машин. Уже много лет не имел он своей квартиры и вообще был равнодушен к жилью, а вот тут, в Москве, радовался, будто все эти новые дома были его домами,

а новая, простая, удобная мебель, продававшаяся в магазинах, была его мебелью.

Еле волоча ноги, завершал он этот свой вечерний путь. С аппетитом ужинал в закусочной на углу, покупал на утро бутылку кефира, слоеные пирожки и поднимался к себе на восьмой этаж, чувствуя во всем теле приятную ломоту. То, чего опасались его друзья, чего втайне от себя боялся и он сам, не наступало. Он нарочно останавливался у витрин винных магазинов, читал пестрые этикетки, смотрел на мерцание жидкостей, освещенных электричеством: нет, это тоскливое, щемящее чувство, которое, вдруг налетев, парализует волю, убивает разум и, овладев им, заставляет делать то, что нельзя, не приходило. И он радовался, как радовался когда-то, в первые дни, освобожденный из заключения.

По субботам от Надточиева приходили телеграммы, содержащие один и тот же вопрос: «Как дела?» Друзья волновались. Он с удовольствием выводил на телеграфном бланке стандартный ответ: «Все в порядке». И все-таки втайне Дюжев опасался этого, может быть и не совсем побежденного, а только до поры притаившегося внутреннего врага. Наверное, поэтому он и оттягивал встречи со старыми друзьями, с бывшей женой. Сколько раз, вернувшись из успокаивающего похода по залитой огнями столице, он, очутившись в номере, присаживался к телефону, доставал затрепанную адресную книжечку, находил тот или иной номер и... осторожно клал трубку. «Нет, не сегодня. Сегодня что-то очень устал, позвоню завтра с утра». Приходили завтра и послезавтра, назначались и откладывались новые и новые сроки.

Но вот однажды на пути домой, дожидаясь на переходе зеленого света, он вдруг увидел рядом знакомый профиль: жирный лоб, длинный нос, сочные красные губы, выпуклый подбородок, очки.

— Женька! — крикнул он, забыв о всех своих опасениях, узнав в элегантно одетом пожилом мужчине, сидевшем за рулем голубой «Волги», своего друга, бывшего инженер-майора, командира батальона военных мостовиков. Ну да, конечно же это он! И Дюжев постучал в стекло машины. Голова повернулась, брови поднялись над очками, и казалось, сами очки — толстые стекла без оправы, державшиеся на золотых дужках,— удивленно сверкнули. Но машинам открыли путь, голубая «Волга»

тронулась и сейчас же затерялась в густом потоке движущихся огней.

Горькая обида полоснула Дюжева по сердцу. «Ну вот, началось». Ведь как успешно все утряслось в институте, ребята в группе замечательные. Двое из четырех — и оба талантливые — уже просятся в Дивноярск. И опять пришла на ум одна из бесконечных пословиц Савватея: «После меда полынь сама себя горше». Но тут же возникла спасительная догадка: чертов ты псих, а борода, а усищи? Ну кто же тебя, этакого мельника из оперы Даргомыжского «Русалка», узнает? И, совершенно успокоенный этим доводом, он, не поднимаясь к себе, подошел к телефону, стоявшему на конторке дежурного, и сразу же набрал нужный номер. Ну конечно же это он, лысый чертяка! Его грассирующее «Вас с'ушают».

— Женька, это же я, Павел Дюжев. Я тебя сегодня видел на роскошной «Волге» цвета а-ля черт меня побери.

Одно очень короткое мгновение в трубке слышалось дыхание, потом тот же голос, глотая буквы, произнес:

— Па'астите, па'астите, това'ищ, с кем я гово'ю? Гм... Дюжев?

— Да какое там «гм»? Дюжев, Павел Дюжев! Помнишь, в Молдавии на виноградниках вместе в борозде носом землю пахали под бомбежкой, пока «лаптежники» наш мост утюжили?

— Ах вот как...— И после паузы голос, глотая буквы, сказал: — Зд'авствуйте, инженер-по'ковник. Рад вас с'ышать.— В трубке звучало громко, но было ощущение, будто голос доносится издалека, даже и не из Дивноярска, а откуда-нибудь из Сан-Франциско или из Оттавы.

— Вспомнили наконец, и на том спасибо,— весь напрягаясь, сказал Дюжев, и в речи его с особой силой обозначилось увесистое поволжское «о». Молодой человек, с головой, рассеченной аккуратным пробором, опустив глаза, нервно перебирал на столе какие-то счета.

— Что же, вас выпустили дос'очно, това'ищ Дюжев?

— Реабилитировали, восстановили в партии, вернули стаж. Простите, думал, по старой дружбе встретимся, но чувствую: вы занятой человек, не хочу отнимать время.

— Да-а, да, вы п'авы. Я сейчас очень, очень занят.— Голос в трубке сразу оживился.— В обычное в'емя я бы, конечно, с удовольствием, но сейчас... Вп'очем, позвоните по этому те'ефону че'ез неделю-две. П'ашу вас.

— Не позвоню! — почти прокричал Дюжев, опуская трубку, зло смотря на нее.— У, гад! — И, увидев взволнованное сочувствие во взгляде администратора, извинился.

Пройдя мимо лифта, Дюжев стал подниматься по лестнице. Шел с трудом, будто на спине была «коза», груженная кирпичом. С помощью такой «козы» он, студент, зарабатывал когда-то на новый костюм и выходные ботинки, таская кирпичи по лесам первых столичных новостроек. В номер он вошел с твердой решимостью позвонить еще двум друзьям. Сначала он заставил себя позвонить Львову — веселому молодому москвичу, которого он когда-то вытащил из строительного батальона в свой мостовой отряд.

— Кто спрашивает Вадима Юльевича? — послышался в трубке мелодичный приветливый голосок.

— Павел Дюжев. Скажите: инженер-полковник Дюжев, он знает.

— Сейчас.— В трубке послышалось тихое: «Дюжев какой-то. Говорит, ты знаешь». Что ответил мужской голос, разобрать было трудно, но женский, кажется, возразил: «Неудобно, Вадик, он все-таки полковник». Потом тот же голосок лепетал в трубку: — Товарищ Дюжев, ведь так, кажется? Такая жалость, Вадим Юльевич только что был здесь и вот, я не знала, оказывается, вышел. Пошел на уголок за папиросами. Вы, может быть, позвоните ему завтра на работу? Я дам номер.

— Я не позвоню ему на работу,— с трудом сдерживая бешенство, сказал сквозь зубы Дюжев.— Скажите ему сейчас же, громко скажите, что был когда-то под моей командой неплохой парень — техник-лейтенант Вадим Львов, был, понимаете, был.

Дюжев вырвал из книжки страничку адресов на литеру «Л», скомкал и бросил в корзину. Потом за ней туда же полетела и вся книжка. Прерывисто дыша, он прошел в ванную и, наклонившись к крану, долго, жадно пил воду. Вернулся в номер, достал из корзины книжечку с адресами, накопленными за много лет, порылся в ней: «Ну, еще звонок Казакову, чтоб было трое. Будет то же — изорву все к чертовой матери». И опять ему ответил женский голос, только на этот раз дребезжащий, старческий:

— Вам кого?

— Товарища Казакова,— стараясь говорить твердо, произнес Дюжев с просительной, даже лебезящей ноткой.— Вы уж скажите ему, мамаша, что звонит бывший его командир, инженер-полковник.— Краснея от стыда, Дюжев не решился даже произнести свою фамилию.— Скажите, мол, прилетел ненадолго, по делу, хочет по старой памяти парой слов перемолвиться по телефону.

— Скажу, сейчас скажу. Ленечка, к тебе тут товарищ звонит, инженер, не то полковник, я что-то не разобрала. Командовал тобой, говорит, прилетел и хочет...

Фраза не была окончена. В трубку ворвался энергичный, звонкий тенорок:

— Павел Васильевич? Вы? Какими судьбами? С проектом? Вот новость-то! Милый, да где же вы? В Москве? Да здесь же семь миллионов живет, где вас отыщешь? А, гостиница «Москва»! Это рядом, я на углу Художественного проезда и Горького. Я мигом у вас буду.

Дюжев еще сидел в кресле, вытянув ноги, закрыв глаза. Из трубки, лежащей у него на коленях, слышались ровные гудки, когда два звука, раздавшиеся почти одновременно, вывели его из состояния оцепенелости: сердитые, крякающие сигналы телефона и нетерпеливый стук в дверь. И вот перед ним возник коренастый человек в распахнутой шубе, в бобровой боярской шапке, сбитой на затылок. Лишь по дребезжащему тенорку, раздавшемуся в следующее мгновение, узнал он в этом румяном, сдобном толстяке хорошенького техник-лейтенанта, которому в свое время приходилось не раз «всыпать» за нарушения дисциплины самого разнообразного свойства. В распахе шубы золотел лауреатский значок.

— Ого! — сказал Дюжев, не чуждый, как всякий военный, уважения к знакам отличия.— За что?

— Тут некий московский мосток... Не я один, с большой хорошей компанией. Да вы о себе, о себе рассказывайте. Сказали, с проектом. Какой проект? И где вы, где вы теперь? Ну...

Потом, спохватившись, Казаков сбросил на диван шубу, шапку, кашне. Когда шуба падала, она как-то странно грохнула о диванную спинку. Хлопнув ладонью по лбу, гость вынул из кармана шубы бутылку коньяку, лимон. Достал из кармана складной нож. Открыл коньяк. Принес из ванной стаканы. Все это быстро, не переставая

болтать. Протянув Дюжеву стакан, он с пафосом воскликнул:

— «И за учителей своих заздравный кубок поднимает». За вас, дорогой Павел Васильевич...— И застыл со стаканом, удивленно глядя на Дюжева.

— Не пью. Нельзя, брат Казаков, болен.

— Язва?

— Язва,— грустно подтвердил Дюжев.

— Ну так я выпью за то, чтобы она зарубцевалась.— И, чокнувшись с бутылкой, опрокинул содержимое стакана в рот.— Ну, а что же вы после войны делали?

Дюжев усмехнулся:

— Разное. Лес валил, баней заведовал. Мосты строил. Хорошие, между прочим, мосты, только за проволокой строил, как у нас урки говорили: я тебя вижу, а ты меня нет.

И захотелось, неудержимо захотелось Дюжеву рассказать этому шумному человеку то, о чем он избегал говорить даже старому однополчанину Иннокентию Седых, приютившему его после тюрьмы у себя в колхозе. И он поведал Казакову свою послевоенную историю от того самого момента, когда в результате ложного, данного Петиным в испуге или злонамеренно технического заключения он был осужден за вредительство, и до сегодняшнего дня, до его мечтаний и замыслов. Казаков слушал молча. Будто чай, прихлебывал он коньячок, и выразительные глазки его гневались, удивлялись, горевали, восхищались. Вдруг как-то очень просто он спросил:

— А Ольга Игнатьевна? Я ведь ее помню. Сколько раз с фронта письма ваши ей возил! Красивая у вас жена!

— Была.

— Наверное, и сейчас такая. Ведь и сын у вас, Олег, кажется. Бывало, все выспрашивал про бои — дотошный мальчуган.

— Наверное, уже студент.

— Как, вы точно не знаете? — поразился Казаков. Поразился так искренне, что Дюжеву, который весь напрягся, будто кто-то нечуткий трогал открытую рану, даже обидеться было не на что.

— Нет у меня семьи,— глухо сказал он.

— Как так нет? — искренне удивился Казаков.

— Ольга замуж вышла,— задумчиво и твердо ответил Дюжев.— Олега он усыновил. Нет Олега Дюжева, есть

Олег с какой-то другой фамилией. Понимаешь, Казаков, какие дела.

Гость как-то весь завял, съежился. Сразу заторопившись, он подобрал шубу, шапку, кашне и, не одеваясь, с расстроенным лицом стал прощаться, взяв с Дюжева слово, что тот обязательно к нему зайдет, попробует знаменитые, «мировые» блины, секретом которых монопольно владеет его теща. Дюжев проводил гостя до подъезда и, вернувшись в свой номер, сразу же отыскал в книжечке телефон Ольги Игнатьевны. Ее дома не оказалось. Незнакомый мужской голос спросил: «Как о вас передать?»

— Скажите... друг юности.— Теперь, после кавалерийского налета Казакова, Дюжев говорил спокойно. Мужской голос сообщил, что Ольга Игнатьевна в клинике, дал телефон. Позвонив туда, Дюжев уже назвал свою фамилию. Через малое время услышал гортанный голос, заставивший его схватить трубку обеими руками, прижать к уху:

— Павел, неужели это ты?

— Я, Ольга, я.

На том конце телефонного провода явно волновались. Слышалось прерывистое дыхание. Дюжев, сцепив зубы, комкал рукою бороду.

— Как это ты сразу... Вдруг... Не писал. А ведь мы знали, ты реабилитирован, снова в партии. И уже давно. Ни строчки, ни звонка. Почему?

— Как говорят в Сибири, мертвые с погоста не возвращаются, Оля.— И глухо добавил: — И не мешают жить живым...

— Павел,— тихо ответила Ольга, по-видимому прикрыв ладонью трубку.— Павел, я говорю из ординаторской. Я не одна. Надо что-то сделать. Я не знаю. Боже ж ты мой, надо ж увидеться, наконец!

— Надо? — вопросительно произнес Дюжев.— Где? Когда?

— Я не знаю. Ну, если хочешь, в той *нашей* столовке? А? Я ведь не знаю, какие у тебя теперь вкусы, но столовка и сейчас вполне.

— Я тот же. Но учти: я теперь привязываю себе бороду и усы, чтобы не пугать некоторых своих малодушных знакомых,— пошутил он и услышал сердитое:

— Не смей так говорить, Павел...

Кончив разговор, Дюжев разгладил помятую книжку с адресами, достал из корзины страничку на литеру «Л», расправил, вложил на место. Неоконченная бутылка коньяку, которую Казаков забыл закупорить, и ломтики нарезанного им лимона издавали зовущий аромат. Дюжев хотел убрать это в шкаф, но, усмехнувшись, оставил на прежнем месте и стал собираться. Времени до свидания с Ольгой Игнатьевной оставалось немного.

Встречу они назначили на углу Большой Пироговской, где в давние, в «их» времена студенты в дни получения стипендии угощали своих подружек мороженым и клюквенным морсом. Дюжев, приехав первым, занял столик у окна. Сквозь стекло он видел, как по улице прошла Ольга, высокая, прямая, решительная. Она поразила своей неизменностью. Вот, оставив пальто гардеробщику, она, близоруко щурясь, взволнованно, нетерпеливо осматривала зал. Ее взгляд, равнодушно скользнув по его лицу, побежал по другим столикам. Движения стали нетерпеливей. Закусив губу, она посмотрела на часы, дернула плечом. Только когда Дюжев встал, она, растерянно помедлив, бросилась к нему. Инстинктивно они протянули друг другу руки, но в какое-то последнее мгновение остановились. Вместо объятия вышло двойное рукопожатие.

— Павел,—только и сказала она. Потом взгляд поднялся на его лицо, дрожащие губы через силу улыбнулись.— Борода. Действительно борода. Боже мой, какая бородища! А я думала, там, у телефона, это глупая, злая шутка... Фу, зачем ты отрастил это безобразие?

— «Вид воина должен внушать страх супостату»,— говорил Александр Невский, а он понимал в этом толк.

— А ты все воюешь?

— Все воюю...

Они спросили пирожное и, если есть, клюквенный морс. Официантка с удивлением посмотрела на эту немолодую пару, но заказ приняла. Морс, оказывается, водился и сейчас. Он показался им даже вкусным. Потягивая из стаканов кислый напиток, они говорили друг другу какую-то чепуху. Но слова, в сущности, ничего не значили. Говорили взгляды. Они рассказывали куда красноречивее, и, странное дело, выяснялось, что ничего, в сущности, не изменилось. Что эти двое любят друг друга, но что эта встреча ничего не изменит, что по-прежнему жить им врозь и что лучше даже не видеться, ибо

то, что произошло, уже не поправишь, и любые попытки что-то переделать все сразу усложнят, нанесут травму другим людям и, ничего не дав, только вызовут новую боль.

Нет, это лишь издали Ольга казалась прежней. Она постарела даже больше, чем положено для ее, в сущности, не таких уж больших лет. Резкие морщины пересекали высокий лоб, лучиками разбегались от карих умных глаз, взяли в скобки волевой, энергичный рот. В черных волосах, по-прежнему гладко зачесанных и разделенных пробором, сверкала седина. О себе она рассказывала спокойно, будто передавала сюжет какого-то фильма.

Да, когда это обрушилось, все мелкое, что оказалось вокруг их широко открытого, гостеприимного дома, сразу отхлынуло. Но полного вакуума не образовалось. Место отшатнувшихся заняли другие, на которых раньше порой не обращалось внимания. Было нелегко, произошел тяжкий разговор на партийном бюро. Именно после этого бюро, когда она спускалась по лестнице, смятенная, подавленная, когда ей казалось, что она совсем одна, что ей не верят, не хотят слушать ее доводов, что ее чураются и сама фамилия Дюжева вызывает у всех брезгливый страх, ее догнал Владимир, ученый, в клинике которого она работала ординатором, старый большевик, потерявший в Ленинграде семью. Они давно дружили. Но тут он впервые, на виду у всех, взял ее под руку. Он громко сказал, что верит в Дюжева. Предложил вместе бороться за него.

Они хлопотали. Владимир помогал писать заявления в разные адреса. Старый большевик, он верил в людей, верил в невиновность кем-то оговоренного инженера. Не зная его, многим рискуя, он даже написал письмо лично И. В. Сталину. Но ответа не получил. От Дюжева не было вестей. Только одна эта записочка без обратного адреса со штемпелем заполярного города, вынесенная какой-то доброй душой за проволоку и брошенная в почтовый ящик... И все. Полное молчание, молчание, длившееся несколько лет. Потом Владимир сделал предложение, и Ольга приняла его. Владимир усыновил Олега.

— Вот, в сущности, и все.

— А Олег?

— Он учится тут у нас, в Первом медицинском, второкурсник... Решил стать хирургом, пойти по пути отца.

— Отца?

Ольга густо покраснела. Слезы заволокли ее глаза, усталые и все еще прекрасные.

— Прости, я так привыкла...

— Я понимаю... Кое-что, самое главное, мне о вас тоже было известно, потому я, освободившись, и не поехал сюда. Счастливые концы таких историй теперь не показывают даже в кино.

— Зачем ты так? — Глубокий, гортанный голос, который так любили слушать студенты, совсем не годился для того, чтобы что-нибудь скрывать.

— Я колебался: звонить ли, к чему ворошить прошлое, что это даст?

Она сосредоточенно молчала. И тонкие, изъеденные дезинфекцией на кончиках пальцы крошили сухое пирожное и выкладывали из крошек на стекле столика какой-то сложный узор. Пауза затянулась. Осторожно разрушив рукой этот узор, точно бы поглощавший все ее внимание, Дюжев спросил:

— У тебя нет фотографии Олега?

— Нет... Но я вас познакомлю.— Посмотрела на часы.— У них через тридцать минут перерыв. Пойдем.

— Хорошо. Пойдем.

Они вышли из столовой и двинулись по направлению к Новодевичьему монастырю, мимо старых клиник, выглядывавших из-за заиндевевших деревьев. Клиники походили на головы средневековых ученых в белых напудренных париках. Шли рука об руку, оба высокие, прямые, статные. Шли и вспоминали дни, когда Ольга нарочно медленно водила здесь Павла под руку, чтобы похвастаться перед подружками «своим инженером». Далекая юность шагала вместе с ними.

— ...А ты ведь сначала увлекался Зойкой? Я страшно ревновала. А потом вмешался дядя Вася.

— Ну как же. Я однажды привел Зойку к нам, в дворницкую, пусть-ка отец глянет на профессорскую дочку. Он поил нас чаем, и я видел: усмехается. Когда, проводив ее, я вернулся домой, отец сидел насупившись. «Ну как, спрашиваю, понравилась?» — «Ничего, говорит, востренькая. Только что же это ты, Павел, собрался род Дюжевых на мышей переводить?» И пояснил: «Это, мол, в смысле комплекции...» Ну, а потом ты... Ты ему сразу по душе пришлась.

— Послушался отцова совета, большая, здоровая.

— ...и умная и красивая.

— А ты на Сивцев Вражек не ходил? Дворницкая-то ваша цела... Я в тот край на консультацию езжу — каждый раз смотрю, вспоминаю...

— Нет, не ходил... Зачем? В Москве есть на что поглядеть. Бреду из института пешком разными маршрутами и все радуюсь.

— ...А помнишь, Павел, как я пришла к вам и полы вымыла.— Ольга засмеялась, и от этого лицо ее сразу помолодело и даже резкие морщинки на нем будто разгладились.— Я ведь знала, что Зойка у вас провалилась. Она все фыркала: «Дворник — дворник и есть». А я както пришла без тебя, дядя Вася был один. Я вскипятила воду и вымыла полы, протерла стекла. Дядя Вася усадил меня пить этот его липовый чай. Помнишь? У вас только липовый и пили.

— Ну как же. Самый наипервейший напиток. Настоящий-то чай кержакам раньше вера запрещала, а отец в те дни был твердый...

Иногда им навстречу попадались студенты, в одиночку и стайками возвращавшиеся с лекций. Здороваясь с Ольгой Игнатьевной, они с любопытством разглядывали ее спутника. Так дошли до клиники, остановились. Юность сразу оставила их, а о сегодняшнем говорить было нечего. Постояли молча. Ольга украдкой посмотрела на часы.

— Нет, я не пойду к Олегу,— сказал Дюжев.

— Отдумал?.. Ну что ж, может быть, ты и прав...— как-то очень быстро согласилась она.— Я сегодня практикантов собираю. Нет, нет, ты не беспокойся, время еще есть. Мы можем...

— Прощай, Ольга.— Дюжев протянул ей руку.

— Неужели так и разойдемся? — почти вскрикнула она. И они обнялись, поцеловались. Лица у них при этом были печальные, слезы стояли в ее глазах.

— Ну, всего вам хорошего,— заокал Дюжев, отстраняясь.— Пришли фотографию Олежки.

— Пришлю... Если бы ты знал, как он на тебя похож... Ну, до свидания, до свидания.

— Прощай, Ольга,— твердо повторил Дюжев и пошел, не оглядываясь, решительным шагом, высокий, прямой человек в старой офицерской шинели, каких давно уже не носили, и в папахе, увеличивавшей и без того немалый его рост.

Вернувшись в гостиницу, он, не раздеваясь, не зажигая света, сел на кровать. Бутылка коньяку, ополовиненная, высвечивалась в полумраке отблеском уличных фонарей. Остро пахло лимоном. Сколько просидел так Дюжев, он потом не мог вспомнить. Но помнил, как встал, как шагнул к столу и вылил в стакан все, что оставалось в бутылке...

...Потом коридорная доложила дежурному администратору, что жилец из 818-го исчез. Он сейчас же сообщил в милицию, рассказал, что тот вышел ночью сильно под хмельком и с тех пор не возвращается. Инженер Казаков, пришедший вечером тащить Дюжева к себе на блины и узнавший о том же, принялся сам обзванивать ближайшие отделения милиции, лечебницу Склифосовского, столичные морги. Нигде ничего о гражданине по фамилии Дюжев не знали. Директор института, где работал Дюжев, был вынужден на третий день уведомить Литвинова об исчезновении командированного.

Только на четвертые сутки в институт позвонили из милиции и сообщили, что ночью в старом доме по Сивцеву Вражку, в подворотне, куда выходили окошки дворницкой, в состоянии тяжелого опьянения подобран человек в военном без знаков различия. Паспорта при нем не оказалось, но, согласно институтскому пропуску, это некий Дюжев Павел Васильевич, каковым он себя и называет. Сопротивления не оказал. В состоянии полной прострации доставлен в районный вытрезвитель, где находится и сейчас.

— ...Если ваш, забирайте,— закончил официальный милицейский голос и уже неофициально добавил: — Кажется, неплохой парень. Мы тут посоветовались, протокола решили не составлять...

Когда Дюжев, небритый, весь измятый, появился наконец в вестибюле гостиницы, дежурный администратор с головой, рассеченной пробором, сочувственно посмотрел на матовое, отечное лицо и мутные глаза номера 818-го. Посмотрел, вздохнул и, ничего не спросив, протянул три телеграммы. Дюжев взял. Дрожащей рукой разорвал бумажные пояски. «Немедленно возвращайся Нач Оньстроя Литвинов»,— гласила одна. «Не задерживайтесь не останавливайтесь нигде Привет Партком Капанадзе»,— гласила другая. Третья была подлиннее: «Павел ждем нетерпением Много новостей Есть хорошие Торопись Крепко жмем руку Сакко Дина»...

Эту последнюю Дюжев подержал в руках. Потом скомкал все три, пошарил вокруг глазами, но, увидев урну, все же сунул их в карман. Почему-то опять миновав лифт, стал он подниматься по лестнице. Шел, придерживаясь рукой за перила, тяжело дышал, останавливался на каждой площадке. Опять вспомнилось ему, как он, студент, прирабатывая к стипендии, таскает на «козе» кирпичи. Только сегодня, казалось ему, лег на «козу» тот самый лишний кирпич, от которого, по уверению старых каменщиков, «может лопнуть что-то внутрях».

3

Отправив Дюжеву телеграмму, Дина и Надточиев в молчании вышли на улицу. Было холодно. По проспекту Электрификации вскачь неслась поземка, бросая в лица сухой снег, колючий, жалящий, точно песок. Редкие прохожие торопились, подняв воротники, кутаясь в шали, опустив наушники шапок и завязав под подбородком их тесемки. Надточиев открыл дверцу машины. Оттуда пахнуло сухим теплом. Уютно мурлыкало радио. Бурун, нетерпеливо завиляв шелковистым хвостом, теплым языком лизнул лицо хозяина.

— Сакко, милый, если можно, пройдемся пешком,— попросила Дина. Не было уже на ней кокетливой меховой парки с капюшоном и унт, не напоминала она плюшевого медвежонка и по одежде мало чем отличалась от остальных обитательниц Дивноярска: шапка-ушанка, светлый полушубочек, из тех, что «забросил» сюда в эту зиму местный торг, распродававший армейские запасы.

— Ну что ж, пешком так пешком,— согласился Надточиев и, выключив в машине радио, скомандовал: — Бурун, ждать!

Инженер взял Дину под руку, и они неторопливо двинулись по переулкам со странными для непривычного уха названиями: Дивный Яр, Бычий Лоб, Буйный. Строители молодого города хотели сохранить хотя бы на домовых фонарях древние названия порога и утесов, которым суждено было вскоре оказаться на дне нового, Сибирского моря. Шли молча. Оба думали о Дюжеве, но говорить о нем почему-то стеснялись. От друга их от-

деляли тысячи километров. Чем ему поможешь? Единственное, что они придумали, было сообщение о хороших новостях.

Новости же, наоборот, были скверные. Валя, с которой Дина теперь обитала в двадцать восьмой «девичьей» палатке Зеленого городка, по секрету сообщила: Старик взбешен. Получив из института телеграмму, он на чем свет стоит ругал «чертову пьянь», послал строгий вызов. Валя попробовала было заступиться, но ей было приказано держать язык за зубами. Она никому ничего не сказала, но весть, что Дюжев, находясь в ответственнейшей командировке, запил, все-таки как-то просочилась в управление, быстро распространилась среди сотрудников. Вскоре многие в Дивноярске знали, что новый инженер, которому Литвинов оказал такое доверие, очутившись в столице, «вошел в пике». Новость быстро обрастала подробностями... В пьяном виде потерял чертежи... Пропив все, что можно, оставил под залог командировочное удостоверение... Избил постового и привлекается за хулиганство...

И хотя Василиса, недавно вернувшаяся из похода геологов на Усть-Чернаву, повзрослевшая, с лицом, покрытым тяжелым зимним загаром, забежав вечером к Дине, уверяла ее, что, начав загул, Павел Васильевич и ребенка не обидит, что в таких случаях он уходит один с ружьем в тайгу или со снастью на реку, никого не тревожит, что он памяти при этом не теряет и даже худых слов не говорит,— все это мало утешало. В Москве нет ни тайги, ни рыбных рек. И люди там другие и по-другому смотрят на нарушение правил общежития. А тут еще, возмущенная его поступком, группа молодых инженеров во главе с Юрием Пшеничным послала на имя начальника строительства письмо, в котором требовала привлечь к ответу пьяницу, опозорившего честь славного Дивноярска. Такое же письмо, по слухам, будто бы направлено было в обком.

Но главное, мучила неизвестность. Что ж там действительно произошло? А тут еще Надточиеву пришла из Москвы странная телеграмма: «Наш друг в тяжелом положении тчк Прошу тире сделайте на месте все возможное тчк Не бросайте его». Подпись была длинная: «Инженер, доцент Казаков, лауреат Ленинской премии, депутат Моссовета». Но что, что можно сделать на месте?..

Так вот и шли Дина и Сакко, думая о друге и разговаривая о разных малозначительных вещах, о колючей поземке, о том, как поздно приходит в эти края весна, о шахматной партии на сорока досках, которую должен был дать в Дивноярске экс-чемпион мира и которая, наверное, не состоится, ибо вряд ли в такую метель самолет вылетит из Старосибирска... Говорили и о том, что Старик, всегда благоволивший к Вячеславу Ананьевичу Петину, в последнее время почему-то изменил к нему отношение. Со дня ухода Дины из дома не прошло и трех месяцев, но о Вячеславе Ананьевиче она говорила и думала спокойно, как о знакомом, но малоинтересном человеке. Даже самой странным казалось: прожила с ним больше пяти лет, была его тенью, его эхом и вот будто разом вычеркнула его из жизни...

Большинство семейных строителей за лето перебрались в новые дома Дивноярска и в город-спутник на бывшем Птюшкином болоте, которому недавно официально присвоили название Партизанск. Но зеленые городки еще существовали. В них жила молодежь да одиночки вроде Дины, не спешившие заводить свое хозяйство. Палатки утеплили еще надежнее, в центре городков выстроили столовые, открыли буфеты. Когда кровь греет, нет еще стремления завести на земле собственный угол, палатки не такая уж плохая вещь. Молодежь приспособилась, и даже в самые лютые морозы, когда старые, дуплистые сосны, охая, трескались, тревожа таежную тишину, из заметенных снегом брезентовых шатров доносились взрывы смеха, шум споров, иногда и ссор. В эту зиму на смену радиолампам шли магнитофоны, и сквозь шум метелей и вой ветра то там, то здесь выли, сипели, причитали мировые мастера джаза, и, как бурятский шаман, сонным, многозначительным голосом напевал под гитару свои странные, похожие на заклинания песенки Булат Окуджава.

Очутившись в одной из таких палаток, заняв койку знаменитой Мурки Правобережной, перебравшейся наконец к мужу, Дина будто бы вернулась в свои студенческие времена. Даже после затянувшегося приема в больнице, вернувшись усталая, с «разламывающейся» головой в палатку, где вечно кто-то шумел, пересказывал виденный фильм, декламировал стихи, она чувствовала себя лучше, чем последние месяцы на Набережной, в тишине любовно свитого ею самой гнезда.

— Диночка Васильночка, вы теперь стали какая-то совсем другая,— сказала однажды Василиса, забежав к ней по пути в штаб Оньской речной экспедиции, и предложила: — У меня сейчас дел мало — этикетки на пробы наклеиваю... Сходим в тайгу, белок сейчас там... А?..

— В тайгу,— грустно улыбнулась Дина.— Когда же мне в тайгу? Я теперь человек служащий.— И вдруг спросила: — Вот ты всех с животными сравниваешь. Ну а Вячеслав Ананьевич? Кто он, по твоей классификации?.. Теперь-то ведь можно сказать.

— Теперь скажу.— Василиса мотнула русыми кудрями.— Он хорек. Есть такие зверьки, небольшие, несильные, но страшно злые... Он такой красивенький, гладкий, гибкий, но к нему не подходи: брызнет такой вонючей слизью, что потом не отмоешься. Даже лисица хорька не берет. Обходит. Не верите? Честное комсомольское, спросите любого охотника...

— Хорек? — задумчиво переспросила Дина.

— Ага,— подтвердила Василиса.— И любимое занятие у хорька — нюхать хвост. Когда он думает, что его никто не видит, он вертится вокруг и нюхает свой хвост.

Дина думала: «Хорек, придет же такое в голову!» А девушка, уже позабыв о Вячеславе Ананьевиче и о хорьке, рассказывала о своей работе в геологической партии, о каменном угле, выходы которого обнаружены недалеко от реки, о ружье, которым премировало ее начальство, об Илмаре, возглавлявшем комсомольскую геологическую партию, и о том, что если уж ей, таежной девчонке, и суждено кем-то стать, так только геологом... «Вот наука! Сколько богатств природа попрятала в своих сундуках, схороненных тут, в тайге!..» И опять говорила об Илмаре, который в начале зимы сделал такую находку, что сам Старик «аж взвился». Илмара в Москву вызывали с образцами в Академию наук, в министерство...

— Но,—девушка вздохнула,— даже вам ничего не скажу. Секрет...

— А с медициной как же? — спросила Дина, грустно улыбаясь.

— Прости-прощай медицина! — с бездумьем юности отмахнулась девушка и добавила: — Пройденный этап.

— Wirst du die deutsche Sprache studieren? [1]

---

[1] Ты продолжаешь учить немецкий?

— O-o-o, ja, unbedingt. Sie ist doch und für den Geologen nötig [1].

К удивлению Дины, девушка довольно бойко, гораздо лучше, чем прежде, ответила по-немецки, правильно сконструировав фразу.

— Откуда? Ты что же, еще и учиться успеваешь?

— Учусь помаленьку. То есть нет, не учусь, но Илмар... Словом, он говорит по-немецки. Ну и... немножко со мной занимается.

— Да кто же этот таинственный Илмар?

— Его фамилия — Сирмайс. Он латыш. Он служил действительную на флоте, на море, но все время мечтал о земле, о геологии. Парень-гвоздь! И вы бы тоже в него влюбились. В него все девчонки в нашей экспедиции влюблены...

— А Ново-Кряжово? А этот Тольша? Что же, выходит, Иннокентий Савватеич понапрасну дом с двумя крыльцами строил?

Лицо девушки как-то сразу, без переходов, из веселого стало грустным.

— Тольша тоже хороший, он просто замечательный.— Девушка погрустнела еще больше.— Видели бы вы, как он ругал меня, когда я остригла косы! Чудак! В экспедиции коса за каждый куст цепляется, да иной раз и голову мыть некогда. Еще колтун заведешь.— И она своенравно встряхнула обильными жестковатыми кудрями...

Так и жила Дина все это последнее время, имея койку, тумбочку да чемодан. Почти сразу после того, как администрация Больничного городка предоставила ей место в двадцать восьмой палатке, явился Толькидлявас с ордером на внеочередное получение комнаты. Она сразу поняла, чья это забота. Поняла, устало улыбнулась.

— Не надо, не хочу я больше никуда переезжать. Зачем мне? Вот мама приедет,— может быть, тогда...

И вот теперь, когда шли они с Надточиевым сквозь шелестящую поземку, бившую им в лицо будто из пескоструйного аппарата, она с удовольствием думала о своем уголке в палатке, о юных своих соседках, которых она увидит, о жестяной, потрескивающей от жара печке, о возможности сесть возле нее, разуться, вытянуть к огню

---

[1] О да! Непременно. Он ведь и геологам нужен.

босые ноги и, потянувшись, сказать не без удовольствия: «Ох, как я сегодня, девочки, устала!»

У палатки они спугнули пару, которая сразу же отступила в метельную мглу. Но Надточиев все-таки успел различить долговязую фигуру Бершадского.

— Слушайте, Макароныч,— сказал он во мглу.— Ваша подпись была под этим скверным письмом молодых специалистов о Дюжеве. Это удар ниже пояса...

— Сакко Иванович, но ведь это же верно, что там написано,— донеслось из мглы.— Этот человек опозорил честь Оньстроя. Разве не так?

— ...Ну чего ты извиняешься? Кто он такой? Подумаешь, птица — Сакко! Разве от него мы квартиру получим? Сам в доме приезжих живет...— сердито зашептал женский голосок, явно не рассчитывавший на то, что ветер, дувший в сторону Надточиева, донесет эти слова. И уже громко тот же голосок сказал: — Учтите, Сакко Иванович, что вы при свидетелях зажимаете критику всяческих забулдыг и тунеядцев.

— Макароныч,— сказал Надточиев, пропуская мимо ушей и шепот и реплику.— На меня, например, пишите кому угодно. Не возражаю. Но лежачего не бьют... Поссоримся. Слышите?

Сквозь полог палатки, по которому хлестала и шлепала метель, просачивалось тонкое пение скрипки. Играли что-то грустное, душевное. Стащив с головы сибирский, с длинными ушами треух, Надточиев послушал музыку, потом поцеловал руку Дины и скрылся в метельной каше. Женщина медленно открыла скрипучую дверь. Из тамбура пахнуло жаркое тепло, насыщенное смесью дешевых духов и вкусным ароматом печеной картошки. Палатка двадцать восемь, как и все остальные, освещалась электролампочкой, свисавшей над столом прямо на проводе. Еще летом кто-то из девушек соорудил для нее из прозрачной бумаги конусообразный абажур. Потом Валя, большая затейница во всяческом рукоделии, налепила на бумагу высушенные в книжке травы. Теперь помещение заполнял полумрак, тени трав, большие, сочные, лежали на стенах. Неяркий свет вырисовывал мальчишеское личико Вали. Смычок, как стриж, порхал над скрипкой. Девушка делала то резкие, то плавные движения, будто устремляясь за ним куда-то в своенравном потоке звуков.

Два гостя — худощавый, угловатый Игорь Капустин, комсорг строительства, и румяный светловолосый Юрий Пшеничный — сидели у стола. Окропленное веснушками лицо Игоря было задумчиво обращено к жерлу горящей печки. Пшеничный с открытой улыбкой следил за лицом скрипачки. На койке Дины, поджав ноги в чулках, сидела Мурка Правобережная. Она только покосилась на владелицу койки и, когда та подошла, подвинулась, освобождая место. Ее задорное, нагловатое лицо было растроганно, пухлый рот приоткрыт, меж ресниц сверкали слезы.

— Приветик доктору Айболиту,— шепнула она, прижимаясь к Дине, и опять замерла. Впрочем, стоило скрипке смолкнуть, как она тотчас распрямилась, будто пружинка, спрыгнула с кровати и, вскочив на стол, озорным голосом закричала: — Девочки, музыкальный момент окончен. Продолжим наши занятия.— И пояснила Дине: — У нас тут курсы семейной жизни. Урок второй. А это,— она показала ногой на Игоря и Пшеничного,— это наглядные пособия... Так вот, мы остановились на том, что мужей надо держать вот так.— На столе лежала пыжиковая шапка Пшеничного, и Мурка, приподняв юбку, величественно наступила на нее.— В этом, девочки, главное, понимаете? И чтобы из этой позиции,— она указала на шапку, крепко притиснутую стройной ножкой,— вот отсюда, он вылезал разве что по воскресеньям и в большие революционные праздники... Пшеничный, отвернись, ослепнешь.— Она одернула юбку.— Но для Вики особая консультация,— обратилась она к худенькой бледной девушке, только что появившейся в палатке, отряхивая снег с шапочки, с жакета.— Ты, конечно, сейчас завела себе ультрамодную прическу «вошкин дом».— Мурка показала руками, как Вика взбивает свои богатые пепельные косы.— Но ты этим своим сооружением Макароныччу голову не морочь. Квартиру вам Петин все равно без «домовых» дать не может, а «домовые» не дуры. Они знают, кто вам,— она сердито, даже зло, посмотрела на Пшеничного,— кто эти письма «молодых специалистов» диктует... Вам это всем понятно?

Мурка легко соскочила со стола, обняла Дину, влепила ей поцелуй, оставив на щеке мазок помады модного морковного цвета. Но тотчас же послюнила кончик носового платка и осторожно сняла этот след.

— ...Правильно я их учила? Ведь да? — И вдруг, взглянув на часы, вскричала: — Ой, девчонки! Мой молоток уже минут пять по метели блукает! Как же это я? — И стала торопливо одеваться.

— Ну а как живете, Мура?

— Лучше всех. Скоро получу самый высокий пост — буду над вами всеми на кране кататься. Видали, на Бычьем Лбу кран монтируют? Сила! Вот на нем. Уже обещано...

— А на правобережье без вас до сих пор скучают, — сказал Пшеничный. Явно смущенный упоминанием про письмо, он выжидательно следил за торопливо одевающейся Муркой.

— ...Скучают! Если скучают, пусть деньги платят и в цирк идут. Там клоуны постоянно ломаются. Я теперь замужем, мне нельзя у ковра кататься на общественных началах. Я вон и масть меняю.— Она тряхнула коротко остриженными волосами... Проходя мимо Пшеничного, она шепнула: — Не стыдно, а? Ябедники! — И уже от двери помахала пестрой рукавичкой.— Приветик коллективу!

К Дине подошла грустная, озабоченная Валя. Молча подала номер «Старосибирской правды», развернутый так, что сразу бросился в глаза маленький фельетон. «Алкоголик на гастролях» назывался он. Дина все поняла, и еще тоскливей стало у нее на душе...

— Старик видел? — тихо спросила она.

— Конечно. Я сразу ему доложила.

— Ну и что?

— Такое, что я и повторить не решусь... Весь день был у него испорчен... Дина Васильевна, вы не очень устали?.. Можно еще поиграть? Ребята просят. Пшеничный, он так понимает музыку!

И снова сквозь шум метели, будто боксерскими перчатками бившей в брезент, бросавшей в окна горсти сухого снега, сквозь первобытный гуд пламени в чугунной печке и потрескивание раскалявшейся трубы потекли чистые, хрустальные звуки, такие странные в этой обстановке...

Дина прилегла на койке. Закрыла глаза. Запах резких духов еще оставался после гостьи. «Странная... Кто она, откуда? Как сложился такой противоречивый характер? Ведь никому о своем прошлом не говорит». Вспом-

нилось Дине, как однажды стояли они с Муркой вечером возле палатки. Совсем как в прекрасной песне Михаила Исаковского, одиноко бродил, что-то задумчиво наигрывая, гармонист. «Вот судьба чья-то ходит. А хорошо страдает»,— совсем по-деревенски сказала Мурка. В другой раз говорили о молодых писателях, о талантливых, своеобразных книгах, которые сразу завоевали читателя. Дине нравилась самобытность языка авторов, даже их привычка пересыпать речь необычными смешными словечками «молоток», «до лампочки», «пахан», «чувак», «чувиха», часто мелькавшими и в словаре самой Мурки. Та слушала ухмыляясь и вдруг сказала: «Причимгикивать — вместо подойти, рубать — вместо есть... Чудаки, думают: открыли новые краски. Какое же это новаторство? Это — чистейшее эпигонство. Это же всё арго уголовников — блатная музыка...» Она произнесла это, как литературный критик на диспуте. «...Очень странная, и не поймешь, где она играет, где — настоящая...» Потом вспомнилось, как однажды она спросила Мурку, сколько ей лет.

— А сколько дадите? — встрепенулась та.

— Двадцать два — двадцать три.

— Верно! — радостно вскричала Мурка.

— ...А иногда взглянешь на вас — под тридцать, а то и больше,— усталая женщина.

Мурка сразу погрустнела:

— И это верно.— Но тут же тряхнула волосами, которые тогда еще носили оранжевый цвет.— Э, что там, мы еще на земле пошумим, мы еще разок замуж сходим за хорошего человека!

«...А пошла за этого смешного Петровича. Почему? Ей, при ее темпераменте и обаянии, нетрудно было бы вскружить голову молодому парню, ну хотя бы Юре Пшеничному, что ли. Вон он как на нее смотрел...»

Играла скрипка. Шумела метель. На тумбочке возле Дины лежала газета... «Алкоголик на гастролях»... Маленький фельетон... На сердце у женщины было тоскливо, тревожно. Думалось: где сейчас он, этот мужественный и несчастный человек? Что он делает? Как он встретил новую беду? Хотелось оказаться где-то рядом, помочь ему. И удивляло, даже пугало: почему она в последнее время столько о нем думает?

4

И еще одно необыкновенное происшествие взбудоражило умы в молодом городе Дивноярске. Переходящее знамя автотранспортников Оньстроя было торжественно вручено пятой автобазе большегрузных машин, той самой, которую еще недавно именовали «родимым пятном капитализма». В зимние месяцы база эта не имела ни одной аварии. Именно там возникло соревнование, развернувшееся под лозунгом «Два дня работы на сэкономленном за месяц горючем», подхваченное потом всеми шоферами стройки.

— Ребята, мы это знамя автогеном к нашей базе приварим. Никто у нас теперь его не отымет! — кричал с грузовика усатый механик дядя Тихон, которому было поручено принять знамя от имени коллектива.— У нас его разве что вместе с руками вырвешь...

Но не успел номер «Огней тайги», где описывалось это событие, дойти до читателей, как утром, до того как двери парткома были отперты, возле них на крылечке появился тот самый механик, что торжественно принял знамя.

Перехватив Капанадзе на пороге парткома, он начал горестное повествование о том, как люди базы, о которых так тепло говорилось в газете, откупив вчера в ресторане малый зал, на радостях так гульнули, что произошло ЧП. Подрались. В драке опрокинули стол, разбили вазу, являвшуюся гордостью ресторана, и двое из них, а именно бригадиры, по этому случаю выглядят сегодня далеко не так симпатично, как их изобразили в «Огнях».

Капанадзе, так и не заглянув к себе в кабинет, сел в кабину самосвала, и вскоре оба входили под шатер гаража. Большинство машин ушло на линию. Немногие люди, что оказались налицо, пребывали в самом траурном настроении. Начальник базы, с недавних пор принятый в кандидаты партии, стоял у тисков и яростно шабрил какую-то деталь.

— Филоны, сявки вшивые,— бормотал он сквозь зубы.— Вам не почетное переходящее красное знамя, а поганую метлу надо вручить в торжественной обстановке!

Увидев приближавшегося Капанадзе, он положил инструмент. Стоял сбычась, не поднимая взгляда. Ожи-

дал. И вдруг, подставив свою круглую физиономию парторгу, закричал:

— На, бей, Ладо Ильич, с маху бей, не жалей... Заслужил, чтобы фотографией вдоль и поперек по мостовой возили... Ведь это же надо: товарищеский ужин для этих подонков... Бей, парторг, бей! Прошу, легче будет!

— Эй, друг,— сказал Капанадзе слесарю, работавшему на соседних тисках.— Поди в медпункт, спроси валерьянки. Побольше пусть накапают, не жалеют... Вон как начальство распсиховалось.

— Смеетесь? Вам смешно,— плаксивым голосом тянул Петрович,— а мне хоть сейчас в петлю, хоть погодя... Мне моя такое учинила по системе педагога Макаренки... Товарищеский ужин для этих урок... Балда! — И он треснул себя по лицу.

— Где тут у тебя контора? Сядем, все по порядку расскажешь,—сказал парторг.

И в маленьком, отгороженном от цеха кабинетике Петрович горестным голосом поведал историю взлета и падения пятой автобазы. Вкратце она сводилась к следующему: после его программной речи, ставшей для базы в некотором роде исторической, он, поймав с поличным на краже бензина, выгнал двух шоферов. Выгнал с треском, хотя это были мастера своего дела. Столь суровая мера произвела впечатление. Потом, хорошо уже изучив всех своих людей, все надводные и подводные течения общественного мнения на базе, он отобрал трех мастеровитых и самых отчаянных парней. Они держали в руках всех, кто пришел в гараж, отбыв наказание в местах заключения. Петрович вызвал их к себе и сказал им:

— Что вы за гуси-лебеди, я знаю. Что вы тут до меня и при мне выделывали, знаю. Повторяю: у закона обратного хода нет. Но ребята вы с башкой, не какое-нибудь там пшено. Агитировать за советскую власть мне вас некогда. Она сама за себя сагитирует. Я вам предлагаю: хотите стать бригадирами смен?.. Ставочки у бригадиров знаете?.. А премиальные — что потопаешь, то и полопаешь. Я полагаю так: не век же таким фартовым ребятам за баранкой сидеть...

— ...Я ж, Ладо Ильич, их всех как облупленных вижу,— рассказывал Петрович.— Хорошее слово их шкуру не пробивает. Их за спесь блатную как следует дер-

нуть или перед носом сотенной пошуршать... Смейтесь, смейтесь, недаром же нашу базу «родимым пятном» звали. Есть люди как порошковое молоко — калорий в нем сколько полагается, а пить противно. А эти — эссенция в неразбавленном виде: пить вовсе нельзя, глотку обожжешь... Так вот сказал я им это...

Тройка избранных была поражена сделанным ей предложением. Петрович не торопил. Отправил ребят на линию, а после смены попросил зайти. Пришли еще более настороженные: не разыгрывают ли их, не смеются ли над ними? Кто его знает, этого нового начальника, с чем его едят?.. Сели. Сидели молча. Петрович перебирал на столе какие-то бумажки. Не торопил.

— Ну, коли оно всерьез...— осторожно начал один.

— Да что там всерьез, обеими руками голосуем! — сказал другой.

— Обеими руками работать надо, а голосовать надо одной. Понятно? — назидательно произнес Петрович.— Теперь вот вы все трое будете у меня соревноваться как миленькие. Показатели — как у всех людей на базах, а для ваших ребят персональные: ни одной левой ездки, ни одного литра бензина налево, ни одного шухера на линии. Допустил — летишь со всех показателей в сортир, вниз головой. Ясно?..

— Позволь, друг,— остановил Ладо рассказчика,— социалистическое соревнование — дело добровольное. Как же ты им условия ставил?

— Добровольное — это когда люди, а когда это непереваренные филоны, их призывать — все равно что в гроб стучать. А так, какое начали соревнование — ух ты! Не только за своими ребятами — друг за дружкой в оба следили... Тут как-то случился инцидент. Один мне стучит: такой-то со стороны бензин не то выкалымил, не то купил, чтобы показать экономию. Я тому: условия не забыл? В сортир окунем. А тот разошелся: «Голословное обвинение, обелитируй меня, начальник, не то я тому стукачу пером брюхо распишу!» Их ведь, Ладо Ильич, за сердце тронь, гордость в них расковыряй, до души докопайся — золотые ребята, чтоб им сдохнуть! Только бдить надо, ухо востро держать...

— А вчерашнее? — проглотив улыбку, строго спросил Капанадзе.

— А вчерашнее, я считаю, они пересоревновались, а я недобдил... Родимое пятно не прыщик какой — его не сколупнешь, его выжигать надо... Я лопух, сопли распустил: ну как же — первое место... Знамя — это же не жук на палочке! Дай, думаю, ребят порадую, товарищеский ужин им устрою. Сложились все с охотой, заработок да премия — густо нынче вышло. Откупили бесколонный зал нашего ресторана «Онь». На столе шампанское да минералку паршивую выставили, все чин чином. Иные из ребят у меня уж оженились — так те с женами, иные с милыми пришли. Речи толкают, тосты завинчивают. Один другого нахваливает. Вот тут-то, Ладо Ильич, я и недобдил: пронесли-таки в карманах рабоче-крестьянскую. И в большой дозе. Допустил политическую близорукость...

Петрович горестно покрутил головой.

— Тут, друг, не политическая, тут у тебя стратегическая близорукость проявилась. Тактику ты принял правильную, а вот стратегия...— И Капанадзе все-таки не сдержал улыбки.

— Напрасно. Вам смешки, а мне слезки.

— Ты рассказывай про сам инцидент.

— Да что инцидент! Вам, поди-ка, наш новый парторг дядя Тихон по дороге уже все разрисовал. Инцидент, можно сказать, достойный кисти Айвазовского... Уже к концу все и шло, за шапку пора браться, а тут встает один, вроде и не сильно выпивши, и говорит: «А теперь, говорит, за то, чтобы дальше у нас соревнование чистое было. Чтобы баки друг другу не вкручивать. Краплепую карту в кон не кидать». Я радуюсь, вот, мол, какие речи! Попер, мол, капитализм из сознания вон. И как раз тут-то другой бригадир и вскакивает: «На кого намек?» — «На тебя! Ты ж бензин покупаешь».— «Я покупаю?» — «Ты покупаешь».— «Повтори еще раз, ну?» — «И повторю: покупаешь».— «Ах, я, выходит, жулик!» И хрясь по морде... «Ах ты гад, на товарищеском ужине, как в шалмане!» Хрясь, хрясь... А остальные — знаете их нрав: не держи, пусть додерутся. Гляжу, в руках уже вилки. Спасибо, мне тут непочатая бутылка шампанского подвернулась. Я пробку вынул да им в морды, как из пожарной кишки. Ну, помог-

ло, затормозили... А что с того? Вазу разбили? Разбили. Шухер был? Был. Морды друг другу расписали? Расписали... И опять мы не краснознаменная база, а поганое родимое пятно.

Капанадзе смотрел на взволнованного человека и, не очень уж слушая его сетования, думал: «Вот совсем недавно веселым, жуликоватым колобком катился по дорожкам жизни, а тут сидит, переживает происшествие, в котором он сам, в сущности, и не виноват». Когда-то, когда усатый механик, только что избранный партгрупоргом, пришел к Капанадзе потолковать о странных методах воспитания коллектива, применяемых начальником базы, Капанадзе посоветовал ему почитать «Педагогическую поэму». Посоветовал полушутя. И вот результат: преображение самого начальника. На глазах меняется человек.

Закончив свое горестное повествование, Петрович вздохнул:

— Считаю, что за все это происшествие я, как кандидат в члены КПСС, заслужил выговор. Только, Ладо Ильич, не исключайте. Мне моя сегодня так и сказала: «Исключат — уйду. Очень мне надо жить с таким окурком!» А она у меня псих-самовзвод — уйдет и не вспомнит.

Толстые губы на круглой физиономии Петровича кривились, выпуклые глаза были полны беспокойства. И пришлось Ладо Капанадзе, вместо того чтобы отчитывать, утешать проштрафившегося коммуниста. Прощаясь, он сказал:

— Супруге кланяйся. Скажи, друг, все правобережье по ней скучает.

Петрович просиял:

— Спасибо... Только ведь она ж там, на правобережье, и осталась. На кране катается, бетон в котлован подает. Не знаете?

— Она крановщица? — удивился Капанадзе. Он хорошо помнил эту курносую, ярко раскрашенную девицу, матовую смуглоту ее лица, полные губы, вызывающий взгляд карих глаз, оранжевого цвета волосы. Помнил, как шумела она однажды у него в кабинете насчет квартиры. Так и проникал во все щели ее резкий голос: «Огурцам в бочке и то свободнее. Меж ними хоть рассол есть. Что ж нам, огурцам завидовать, что ли? Тоже мне стройка коммунизма!» Ее легко было представить на клубной танцульке, где-нибудь за столиком в кафе,

но в будку крана, в это маленькое застекленное гнездо, высоко вознесенное над строительным хаосом, она как-то совершенно не вписывалась.— Ведь это же сложнейшая специальность — крановщик!

— Вы ее, Ладо Ильич, не знаете, ей все нипочем. Способная— до ужаса, захочет—сделает. Десятник у них там из боцманов, ругатель первый на весь бетон: все стекла вокруг из-за него матовые стали. Так она что? Подвела к нему кран, подвесила над ним бадью две тонны бетона и кричит сверху: «Будешь выражаться при дамах, все на тебя спущу!» Ходу ему потом ребята не давали. И что думаете? Смолк. Жестами теперь выражается, а рот открывать боится.— В тоне, каким Петрович рассказывал про жену, звучали и досада, и восхищение.

— Хорошо, генацвале, доложи своему главнокомандующему, что твою партийную карточку мы трогать пока не собираемся. Мой сын Гриша из детского сада такую считалку принес: в первый раз прощается, второй — запрещается. Понятно? Как тут твои интеллигенты выражаются, так уж и быть, «обелитируем» тебя и знамя вам пока оставим. Но уж чтобы больше...

— Ладо Ильич, я их так пришуруплю!..

По старой флотской манере парторг встал, будто готовясь отдать приказ, и Петрович тотчас же вскочил и даже вытянул руки по швам.

— Чтобы это было последнее чепе, чтобы капитализм тут больше не отрыгался.

— Бу сде!..

Поднимаясь в высокую будку большегрузного самосвала, дожидавшегося его, Капанадзе не сомневался, что этот шустрый человек сделает все, что может, даже больше, чем может, чтобы восстановить честь базы. Капанадзе когда-то любил наблюдать преображение простых, порою неотесанных парней-новобранцев в дисциплинированных, вышколенных матросов. На таежной стройке, куда со всех концов страны стянулась такая масса людей, этот процесс шел бурно, сложно, отличался несчетным многообразием... Старику легко: для него эта стройка — одна из страниц биографии. Пестрая среда ему родная, он в ней будто рыба в воде. Капанадзе даже казалось, что Старику нравится «приводить к одному знаменателю» все эти кричащие противоречия — биогра-

фий, характеров, судеб. Нравится лепить строителей из сырого, упрямого материала. А вот ему, Капанадзе, после флота с его строго очерченным бытом ох нелегко!..

Но сегодняшним днем парторг был доволен. Трясясь на жестком сиденье в кабине самосвала, он думал: «Сколько людей, столько задач! И ни одной похожей. И все эти задачи ты, Ладо, должен решить. Вот одна из самых сложных — Дюжев. Его проступок. Идет всенародная борьба с пьянством. Этот маленький фельетон, гневное письмо молодых инженеров... Юрий Пшеничный, принесший его в партком, дрожал от негодования. И он прав в этом своем возмущении. А с другой стороны, изломанная судьба, последний шанс человека вернуться на прежнее место в жизни. Дюжев заслуживает суровой партийной кары. Но любая кара может снова, и уже окончательно, сбить его с ног. Не заметить? Пойти против общественности? Игнорировать сигнал печати? Подставить борт под огонь всех своих противников?

В эту минуту Капанадзе просто ненавидел партработников из кинофильмов облегченного типа, голубых людей, которые, зная все наперед, решительной походкой выходят на экран в последней части фильма для того, чтобы вывести заблудшего на дорогу, помирить готовых разойтись супругов или вырвать рационализаторское предложение из лап бюрократа...

Вернувшись в партком, Ладо Капанадзе и написал ту самую телеграмму, которую среди других Дюжеву передал дежурный администратор гостиницы «Москва».

5

День был воскресный, но Валя проснулась еще затемно. Лыжи, стоявшие в изголовье койки и с вечера натертые, источали приятный запах дегтя. Именно этот запах, напоминавший о Москве, о школьных товарищах, о вылазках в Серебряный бор, который для краткости именовался «Серебчики», обо всем том дорогом мире, от которого девушка оторвалась, разбудил ее и теперь не давал уснуть. Ну конечно же в эту ночь дежурила по печке лентяйка Вика. С вечера Макароныч наносил за нее дров, но в палатке была померзень. Сама дежурная

спала, навалив на себя все теплое, что у нее было. Дыхание вырывалось изо рта курчавым паром.

Валя соскочила с койки, поправила одеяло у своей соседки, Дины Васильевны. Греясь, сделала несколько гимнастических упражнений. Босиком подбежала к печке, быстро растопила ее и, вернувшись под одеяло, ласково погладила лыжи по лоснящейся от мази поверхности. Эти лыжи вместе с шерстяными носками прислал ей на Новый год отец, полагавший, что без лыж зимою в Сибири шагу ступить нельзя. Подарок пришелся кстати. И если теперь выдавался свободный вечер, Валя ходила по тайге вокруг Зелёного городка, и на протоптанной ею кольцевой лыжне появлялись попеременно то Игорь Капустин, то Юра Пшеничный.

Сегодня договорились совершить втроем далекую прогулку на реку Ясную в Ново-Кряжово, в гости к Василисе. И вот сейчас натертые с вечера лыжи не давали девушке уснуть. Московская квартира, всегда полная музыки, энергичная мама, погруженный в свои мысли отец, близнецы-братья, до смешного похожие друг на друга. «И чего они ко мне сегодня привязались? Разве я не интересно живу? Вот почтенная Вика просто вянет от зависти: такая карьера... Этому, конечно, только Вика и может завидовать. Подумаешь, дело — стеречь предбанник у Старика! Вот Юра Пшеничный. Двадцать четыре года — и уж правая рука Петина. Или Игорь. Сколько уж он достиг за то же время: бульдозерист, десятник землероев и вот теперь —комсомольский организатор строительства!.. А какие славные они оба! Пшеничный, конечно, ярче, у него крылья, а Игорь— тот ходит по земле. Весь день разнесен у него по клеточкам: во столько-то ноль-ноль — это, во столько-то ноль-ноль — то. Зато при всей массе комсомольских дел еще и учиться ухитряется, занимается спортом... Нет, он, конечно, тоже хороший. Только скучноват. Вот если бы ему да крылья Пшеничного!» Валя усмехается: совсем как у Гоголя— вот если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича... Игорь, конечно, интересно расскажет и о сложной игре империалистов в Конго и почему так трудно поладить между собой лаосским принцам; отыщет самое интересное место в каком-нибудь важном докладе и умно его прокомментирует. Но зато как прекрасно читал намедни Пшеничный стихи Назыма Хикмета! Как это здорово у него прозвучало:

И если я гореть не буду,
И если ты гореть не будешь,
И если мы гореть не будем,—
Так что ж тогда рассеет тьму?

И, возвращаясь к накаляющейся печке, постепенно наполнявшей теплом палатку, девушка загадала: если сегодня первым придет Пшеничный — поездка удастся, если Игорь — будет так себе.

Они пришли вместе — Пшеничный с блестками инея на белокуром, выбивавшемся из-под вязаной шапочки чубе и Игорь, задержавшийся в тамбуре осмотреть выставленные туда Валей лыжи. Девушка решила: Пшеничный все-таки пришел первым — и обрадовалась.

И в самом деле, день обещал быть интересным. Светило солнце, лоснился под лыжами хрустящий наст. Холодно. Но по тонкому, стеклянистому ледку, покрывшему срезы снежных наметов, по густой синеве теней возле деревьев и даже по тому, как в полнейшем безветрии ровно шумели сосны, угадывалось, что весна, давно уже бушевавшая на юге страны, робко, на цыпочках входит и в эту девственную тайгу.

Договорились: молодые люди будут по очереди прокладывать лыжню, а Валя по компасу следить за направлением. Все трое были одеты по-спортивному легко, но шли споро, и мороз, сначала пощипывавший щеки и подбородки, быстро отстал. Лыжникам стало жарко. На кудри Вали, выбивавшиеся из-под берета, на щеточки бровей, на дужки очков легли кристаллики инея. Девушка шла обычным спортивным шагом, но ей казалось: она летит. Казалось, никогда еще в жизни она не чувствовала себя так хорошо. Тайга, все еще пугавшая ее своей суровостью, сегодня, при ярком солнце, раскрывала свои затаенные прелести. А там, впереди, свидание с Василисой; может быть, охота или подледное уженце. И, во всяком случае, настоящие сибирские пельмени, обещанные им подружкой.

Все-все, будто сговорившись, радовало девушку. Ни с того ни с сего слетали с деревьев снежные подушки, оставлявшие в воздухе сверкающий след. В пазухе ветвей на елях, где золотели шишки, суетились серые изящные белочки. Ледяные коленчатые сосульки тянулись с ветвей на солнечной стороне. Они многоцветно искрились. Белый заяц, возникший будто прямо из сугроба, встал на задние лапки, постоял столбиком и

неторопливо поскакал прочь, уступая дорогу лыжникам.

— Эх, ружье бы, я бы его с одного выстрела снял! — воскликнул Пшеничный и отчаянным голосом закричал: — Ату, ату!

— Это зайчиха... Их сейчас бить нельзя,— рассудительно произнес Игорь и начал рассказывать, что зайчата-мартовички появляются на свет совершенно готовенькими и в желудочке у каждого сгусточек жира. Это мать, выпуская их в свет, дает им сухой паек на дорогу и сейчас же оставляет, чтобы не навести на их след хищников. Любая другая зайчиха, которую встретит малыш, остановится и накормит его.

«Рассказывает — будто по Брему читает,— подумала Валя.— Милый, хороший, все знает. Но почему он такой какой-то слишком уж добропорядочный, что ли?» И, снова увидев зайчиху, притаившуюся за сугробом, тоже закричала:

— Ату, ату!

А когда зайчиха в ответ только скептически пошевелила ушами, девушка рассмеялась так, что пришлось потом снимать очки и протирать глаза. «Ах, как хорошо! Удивительно красива эта сибирская природа! И как это здорово, что я, простая московская девчонка, выросшая в каком-то Кривоколенном переулке, сейчас среди тех, кто первым пришел зажигать здесь электрические огни!..»

— Ребята, собак-то сколько пробежало! За лисой, наверное, гнались,— сказал Пшеничный, останавливаясь и указывая палкой на множество следов, пересекавших опушку.

— Это волки,— сказал Игорь, наклоняясь и рассматривая следы, скрывавшиеся в леске.

— Тю, волки,— усмехнулся Пшеничный,— где это видано, чтобы волки ходили стаями? Типичный собачий гон. Я как-то с одним большим человеком охотился в Завидовском заповеднике на лис. Вот так же собаки лису гнали. Страшно интересно. Недаром классики любили описывать псовую охоту.

— Нет, это волки,— упрямо повторил Игорь.— Весною они сбиваются в стаи. Я не охотился и волков видел только в зоопарке, но об этом столько говорится в книгах.

— В книгах,— усмехнулась Валя.— Ты слишком

много читаешь.— И, вскрикнув:— Ребята, догоняйте! — бросилась во весь дух с пологого ската, огибая кусты и исчезая на поворотах в белой дымке сверкающей пыли.

Около полудня, уставшие, проголодавшиеся, они вышли на накатанную дорогу. Следы шин и тракторных гусениц вскоре привели их к большому селу, открывшемуся перед ними на пригорке над рекой. К странному селу, представлявшему собой какой-то не виданный еще молодыми людьми гибрид деревни и города. Домики выстроились ровными шеренгами вдоль широкой улицы. Они походили на те сборные финские, что гнездами возникали после войны в пригородных поселках. Ровная, точно бы по линейке очерченная площадь была окружена какими-то общественными зданиями, и над ней поднималась деревянная трибуна, опоясанная выгоревшим полотнищем кумача. Село стояло на голом месте. После буйства таежных красок оно казалось серым и будто уже состарившимся.

— А Василиса его расписывала...— разочарованно сказала Валя.— «Московский проект», «Дома как на выставке».

— Она вообще фантазерка, эта ваша Василиса Прекрасная,— усмехнулся Пшеничный.— Уверяет, будто ее дед недавно сорокового медведя взял, а прадед будто бы полсотни, и будто бы она тоже на медведя ходила. Семь верст до небес и все лесом. Я спорить не стал: красива чувиха. Но, думаю себе, милочка, кого ты обманываешь, в Москве дураки — дефицитный товар...

— Зачем ей врать? Тут и зверя и птицы как нигде.— Игорь с интересом оглядывал Ново-Кряжово.

— Тоже в книжке вычитал? Или в газете: Сибирь — край гигантских возможностей.

— А почему и не поверить человеку, который никогда тебя не обманывал? И потом, один наш комсомолец, ходивший с их партией, говорил: целую неделю ели медвежатину — Илмар Сирмайс матерую медведицу возле самых палаток уложил... Кстати, они все в восторге от этой Василисы.

— Баба красивая, кто спорит.

— При чем тут красота? Они говорят: и по болоту и по бурелому здоровенные парни за ней не поспевают. В «Комсомольскую правду» о ней писать собираются.

— Втюрились. И есть в кого...

В селе начались невезения. Дом председателя отыска-

ли легко. Он был побольше других и выходил на улицу двумя крылечками. Но выяснилось: Василисы нет. Пожилая женщина в черном сказала, что Иннокентий с сыном уехали на пасеку к больному деду, а Василису вызвали в Дивноярск по какому-то срочному делу. Но о приезде друзей она предупредила. Женщина отвела гостей на кухню, обычную городскую кухню, усадила за стол, принесла кринку густого, коричневого, круто топленного молока с сухой припеченной пенкой, яйца, сваренные вкрутую, нарезала ломтики хлеба от свежего каравая, поставила на стол тарелку с медом, другую — с кедровыми орехами и, оглядев все это, ушла, оставив лыжников одних. Впрочем, угощать их не приходилось. Все уничтожалось с аппетитом.

Только к концу импровизированного обеда женщина вернулась. Молча встала у окна, смотря на улицу. Потом обернулась к гостям. На замкнутом лице ее появилась озабоченность:

— Вам обождать бы лучше. Мороз-то закрепчал, а одежонка у вас ветром подбита. Дойти не успеете — метель займется.

Все трое засмеялись. Что им мороз, когда и сейчас еще теплые спортивные куртки влажны от пота!

— Мы, мамаша, дадим такой темпик, что тайге жарко станет.

— Ну, вам лучше знать,— спокойно ответила женщина. А потом вынесла и протянула Вале толстые, вязаные, с красным узором варежки.— В твоих-то разве что за гармошкой ходить. Надень, только не забудь Васенке нашей отдать. Она к тебе на обратном пути, наверное, завернет.

— Спасибо.— Девушка догадывалась, что это и есть таинственная Глафира, хранительница лесной партизанской могилы, о которой однажды в присутствии Вали говорили Старик и Надточиев.— Вот вы, таежница, объясните нам: видели мы по дороге много собачьих следов. Кто же тут охотится?

— Волчишки играют. Течка у них, они сейчас голодные, злые. Говорю, вам лучше пообождать... Вечером в Дивноярск-та от нас цистерна с молоком побежит, вот и подвезла бы...

Но друзья, представив себе, какую обильную пищу они дали бы всем остроумцам Зеленого городка, вернувшись на молоковозе, отказались и двинулись в обратный

путь. Действительно, теперь, когда солнце начало сходить с невысокого небосвода, заметно похолодало. Порывистый ветер бил справа. Их лыжню, тускло, но четко обозначавшуюся на снегу, метель местами как бы уже стерла. Но, отдохнув, молодые люди двигались споро, рассчитывая засветло выйти к Дивноярску.

Они прошли уже треть пути, когда случилась беда. Съезжая с горки, Валя, обогнув куст, вдруг увидела прямо перед собой пенек, торчащий из снега. Инерция бросала ее на этот пенек; делать поворот было поздно, и, чтобы не разбиться, девушка в последнее мгновение попыталась освободиться от лыж. Ее кинуло на снег, перевернуло, вмяло в сугроб. Тотчас же вскочив, она обрадовалась: цела, невредима, даже не очень ушиблась. Только куда-то делись очки, все вокруг точно бы посерело и расплывалось. Впрочем, Пшеничный быстро отыскал их. Вытерев и погрев за воротом своей кофты, он оседлал ими коротенький носик владелицы. Девушку отряхнули, погрели в ладонях ее руки, пока они не стали горячими. Собрались было уже в путь, и тут выяснилось, что одна из лыж, та самая, что попала в рогатку пня, сломана пополам.

— Папин подарок,— огорченно сказала Валя, осмотрев обломки, которые Игорь держал в руках.

— Не горюй, купим лучше,—утешил Пшеничный.— Я видел у нас в «Культтоварах» эстонские, великолепные.

Игорь продолжал озабоченно осматривать обломки. И до Вали вдруг дошло, что они в тайге, что от магазина «Культтоваров» да и вообще от любого жилья их отделяют снежные дали, что мороз крепчает, ветер усиливается. И сразу на память пришли следы на снегу. Все трое почувствовали, как озябли, как коробятся на плечах их уже начинающие подмерзать куртки, что руки окоченели и плохо слушаются.

— Как бы там ни было, надо двигаться,— заторопил Пшеничный.

— А я? — жалобно сказала Валя, показывая обломки лыжки.

И только тут стал ясен трагизм положения. Кто-то должен был остаться в лесу, пока двое остальных сбегают за лыжами или за помощью.

— А я как же? — повторила Валя, и две крупные слезы выкатились из-под стекол ее очков.

Лыжа сломана посредине. Пытаться чинить бесполезно. Несмотря на мороз, обжигавший щеки, молодые люди почувствовали, что бледнеют. Валя, слывшая в своей двадцать восьмой палатке образцом выдержки, вдруг расплакалась.

— Ребята, идите... Идите назад,— говорила она сквозь рыдания.— Я ничего, я тут посижу, я разожгу костер, большой костер. Идите.— Она произносила эти слова, а в голосе звучало: «Не бросайте меня, не оставляйте одну!» — Я сама виновата, а вы идите сейчас же, пока не поздно. Ну что же вы ждете? — бормотал рот, а глаза, лицо, вся ее маленькая, съежившаяся фигурка просто вопила: «Не бросайте меня в лесу, я не выдержу, я умру от страха!»

Молодые люди смотрели друг на друга.

— Ей надо дать лыжи,— произнес Игорь.— Потянем жребий, кто отдаст. Ладно?

— Чепуха. Это не выход! — воскликнул Пшеничный.— Отдавать лыжи — чепуха... Давайте так. Ты останешься с ней здесь. Вы зажжете костер, согреетесь. А я уж как-нибудь добегу до села, принесу лыжи. Я бегаю лучше вас. Не беспокойтесь, не пройдет и часа...

Валя плакала. Молодые люди смотрели друг на друга.

— ...Так ты побудешь тут с ней, Игорь? Идет? Вы будете вдвоем, а я один, но это ничего, я не боюсь... Ведь так, ребята?

Не дожидаясь ответа, Пшеничный, сильно оттолкнувшись палками, побежал размашистым русским шагом. Игорь гневно следил, как мелькал среди мелкого соснячка и наконец скрылся в нем яркий свитер Пшеничного.

«Костер? Но даже спички он увез с собой... Ждать — это замерзнуть через час, через два, через пять, но замерзнуть,— пронеслось в голове Игоря.— Дурак, шел в тайгу и не взял спичек... Нет, выбираться, никого и ничего не дожидаясь, выбираться во что бы то ни стало, пока вот тут, на этой горке...— Он оттолкнул от себя возникшую перед глазами картину.— ...И идти не назад, в село; туда без лыж не доберешься... На дорогу... Где-то тут южнее дорога, по которой колхоз возит в Дивноярск молоко».

Решив это, Игорь быстро отстегнул лыжи, но Валя, поняв, что он собирается делать, яростно замотала головой. Протестуя, она оступилась и чуть не упала в снег.

— Игорек, милый, никогда... Я сама сломала, и я не хочу...

— Не разговаривать! — грубо сказал Игорь. Бесцеремонно поставил ее ногу в замок лыжи и застегнул вилку.

— Да нет же! — еще упрямее крикнула девушка, смотревшая на него с испугом и благодарностью.

— Ты хочешь, чтобы через час здесь сидели два ледяных манекена? Этого ты хочешь? — зло крикнул он.— Дома будешь реветь, а сейчас иди. Слышишь!

С неожиданной покорностью девушка, встав на лыжи, двинулась в указанном направлении. Игорь пошел за ней. Так и продолжали путь: она — прокладывая лыжню, утрамбовывала снег, он — по ее следу, с трудом вырывая ноги из сугроба. На открытых местах, где наст был прихвачен морозом, двигались быстрее, почти бегом. Но кончалась поляна, и снова приходило мучительное ощущение кошмара, когда снится: нечто страшное гонится за тобой, настигает, ты стараешься убежать, а ноги точно прихватывает магнит, и никак не можешь оторвать их от земли. Льдистый ветер крепчал, но пот катил с лица Игоря, куртки обоих курились, как прорубь в студеный день. Где-то в пути Валя остановилась, решительно расстегнула крепления. Выбившийся из сил Игорь спорить не стал. Они поменялись местами. В короткое время, которое потребовалось на эту остановку, мороз снова схватил их влажную одежду, она стала коробиться.

Двигались еще медленнее. Потом Валя опустилась прямо на снег, прикрыла глаза. Слезинки вытекли из-под очков, упали на шарф и тут же превратились в белые ледяные шарики.

— Все. Я больше не пойду. Сейчас или в километре отсюда, какая разница? — сказала она еле слышно.— Оставь меня, Игорь, прошу.— И она зарыдала.

Их одежда быстро задубевала на ветру.

— Встать! Сейчас же встать! — свирепо закричал Игорь.— Встать, черт тебя побери, девчонка! — произнес он тоном, каким командовал курсовой воспитатель в их суворовском училище.— Надеть лыжи! Быстро!

Как в полусне, девушка подчинилась, но пальцы уже не слушались, не могли застегнуть замка. Игорь застегнул, схватил горсть снега, оттер девушке руки, дохнул в недра расшитых варежек, надел их ей. То, что спутница стала беспомощной, будто неживой, вызывало в нем злую энергию.

— Вперед, ну!.. Да шевели ты ногами!..

И пошли. Лес скоро кончился, и перед ними развернулась поляна, будто сверкающим лаком покрытая настом, розовевшим в лучах заходящего солнца. Здесь, на юру, наст держал человека. Воспользовавшись этим, Игорь побежал так, что Вале пришлось уже нажимать и на палки. Теперь девушка целиком подчинилась воле спутника. И вот за поляной в густеющей синеве вечера они увидели телеграфные столбы, вершины которых потухавший закат еще красил в багрово-золотой цвет... Из последних сил Валя двинулась к ним, а потом, вырвавшись из снегов на наезженную дорогу, сбросила лыжи. Игорь воткнул их в сугроб на обочине. И оба побежали, держась за руки...

Их подобрал грузовик колхоза «Красный пахарь», возвращавшийся из Дивноярска. Шофер, молодой паренек, ровесник Ваньши Седых и, как выяснилось даже его школьный товарищ, втиснул обоих потерпевших в кабину, включил отопление и нажал на газ. Через десять минут машина затормозила у одного из крылечек председательского дома. Уже знакомая женщина в черном появилась в дверях, осветила острым лучом карманного фонарика их иззябшие лица:

— Господи Исусе Христе, сыне божий! Говорила же вам...— только и сказала она, сразу все поняв.

Но не разахалась, не пустилась в расспросы. Даже не выразив удивления, молча втолкнула их в прихожую.

— А третий?

— Как, он не приходил? — вскрикнули одновременно Валя и Игорь.

И снова, все без расспросов поняв, черная женщина схватила шаль и, толкнув гостей к теплой голландке, выскочила из дому. Дальше все пошло как-то само собой. Появился высокий, худой, рыжеватый молодой человек с военной выправкой. Скупо расспросил, как и что. Тем временем у крыльца уже галдели люди, стучали лыжи, скрипел снег. Вскоре тот же грузовик, уже набитый людьми с лыжами, с фонарями «летучая мышь», несся по дороге, расшибая светом фар белую кипень метели. Все это вспоминалось потом Вале, как отрывки приключенческого фильма. Она сидит в кабине рядом с рыжим человеком, и тот спокойно, как будто люди теряются в тайге каждый день, выспрашивает подробности. За

стеклом несется метель, и в голове все время толкутся с детства памятные стихи: «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна...»

— Спички у него были?

— Наверное, есть. Он курит.

— Костер зажигать умеет?

— Не знаю. Но он, наверное, все умеет.

Шумная выгрузка, возбужденные голоса, стук лыж, собачий лай. Женщина, похожая на монахиню, с ружьем за плечами, на широких лыжах, подбитых мехом, по-мужски шагает по насту... Огонек фонаря, блуждающий меж кустов. Крики: «О-го-го-го!..» Волчий тоскливый, щемящий вой... Яростный лай собак, бросающихся куда-то во мглу, со вздыбленными загривками, ощеренными мордами... Осколок луны в небе... Черные деревья, возникающие сразу из метельной мглы... И много времени спустя издалека чей-то ликующий призыв:

— О-го-го-го, сюда!..

Лыжи, знакомые лыжи с красной полосой посредине. Они втоптаны в снег под невысокой елью. Множество звериных следов. Огонек фонаря бежит вверх по дереву, и там, в ветвях, скрюченная фигура в пестром свитере.

— Э-гей! Ты там жив?

Молчание. Еле слышный сквозь шелест снега дробный стук зубов.

— Юрша, Ванятка, лезьте на дерево! — распоряжается рыжий. Но карабкается сам, ловко цепляясь за сучья, подтягиваясь на руках.

Сыплется сухой снег. Голос сверху:

— Ишь, ремнем привязался. Эй, там внизу, я разрежу ремень, неровно сорвется, держите.

— Держим.

— Принимай...

Валя цепенеет. Человека, ее друга, опускают, как вещь. Он жив, но не может шевельнуть ни рукой, ни ногой, не может выговорить слова. Он только клацает зубами.

— Спирт, ребята, у кого спирт?

Спирта не оказывается.

— Кто помоложе, скидавай полушубок: домой так добежишь! — распоряжается рыжий.

Какой-то парень сбрасывает верхнюю одежду. Полушубок напяливают на Пшеничного. Женщина в черном снимает шаль, окутывает ему ноги. Пшеничный превра-

щен в тряпичный ком. До дороги его несут на руках. В машине Валя опять сидит рядом с рыжим. Дар речи вернулся к ней:

— Ух, какое же вам спасибо! Простите, как вас звать?

— Тольша, то есть это по-местному Тольша... Анатолий Субботин.

— Жених Василисы?

Субботин улыбается и сам спрашивает:

— А вы ее знаете?

— Как же! Мы же к ней в гости и шли, только не застали...

— Васёнка с геологической партией двинулась... Разве не слышали? Ушла. Нашли они там что-то такое, что и до лета ждать не дали... Москва заинтересовалась, торопит.— Помолчали. Субботин о чем-то задумался.— ...Беда у них в доме: дед Савватей плох. Гаснет, а внучки, любимицы его, и нет... Эй, Сергунька, давай прямо к больнице.

— К полуклинике?

— Ну, к поликлинике, если ты так хочешь.

И пока где-то там за дверью, в новенькой, пахнущей еще не лекарствами и дезинфекцией, а сосновой смолой больнице, Пшеничного, раздев, опускают в ванну, где плавает лед, в коридоре женщина, похожая на монашку, истово крестится староверским двуперстным крестом. Потом оборачивается к Вале и Игорю, что задумчиво стоят у двери:

— Предупреждала вас. Нет же... Тайга баловства не любит. Запомните это, если в наших краях жить собираетесь.

6

Старый Савватей действительно угасал.

Железный его организм, закаленный таежными морозами и ветрами, яростно сопротивлялся болезни. Но старик заметно слабел, любое усилие давалось уже с трудом. Так же старался он хлопотать на пасеке, осматривал зимовавшие пчелиные семьи, давал им подкормку и в предвидении большого взятка, который, по каким-то его приметам, должен был быть на будущее лето во время цветения черемух и лип, сооружал запасные рамки. Он

рассуждал: от смерти не спрячешься, не убежишь — и старался не думать о ней.

Но сил уже мало. Несколько минут труда — и взмокнет рубаха, подкашиваются колени. Мучит кашель, от которого не помогает уже ни одна из Глафириных трав. Врачей, приезжавших к нему из ново-кряжовской колхозной лечебницы, он потчевал медовухой, говорил с ними о политике и отправлял с честью. Лекарства высыпал в помойный ушат: по глазам медиков он давно уже угадал приговор.

Особенно досаждало, что не работается по-настоящему. Сидеть в избе без дела возле радиоприемника еще тягостнее. И вот влезал он в большой, из облезлой овчины тулуп, часами сидел на завалинке. Вспоминал. Думал о жизни. Любовался окружающим миром. И боже ж как хорош казался ему этот мир, даже маленький, ограниченный пределами таежной пасеки! Только вот теперь, когда уже пройден нелегкий путь и остались считанные версты, он, выросший на таежных реках, с мальчишеской поры приученный к рыболовству, знающий повадки любого лесного зверя, умеющий прочесть любой след, разгадать любой лесной крик и шорох, только теперь по-настоящему и увидел он красоту.

Эти поздние зимние восходы... Серые, холодные туманы начинают светлеть, розоветь, таять, и вот уже четко проступает зубчатая линия лесной опушки, потом, высвеченные первыми лучами, возникают над тайгой стрельчатые вершины высоких елей, и вдруг все порозовеет, начинает искриться, и лес встает во всей красе — тихий, молчаливый, благостный. Как это славно! Бесконечное количество раз рождался на глазах Савватея зимний день, а он, погруженный в заботы, совсем этого и не замечал, бегал на лыжах по тайге, прислушивался к звериным шорохам, птичьему свисту, ставил в протоках плетенные из ивы морды или капканы на звериных тропах, весь поглощенный охотничьим азартом. Или слушал в омшанике равномерное шелестящее гудение пчел. Или что-нибудь строгал, пилил, мастерил. На восходящее солнце смотрел разве как на часы. А какая это, оказывается, краса!..

Да, сколько зимних дней родилось до него, сколько видел он их, и так же вот будет рождаться день, когда не станет ни его, ни пасеки, ни вот этой таежной чащи. И все на много верст вокруг покроет толща какого-то но-

вого моря, и где-то там, наверху, выше той ели, где с утра возится, соря шелухой, белка, поплывут какие-то крылатые корабли, о которых ему рассказывает внук Ванятка. Савватею жалко и тайгу, и ель, и пасеку, и белочку. Но он очень хотел бы дожить до той поры, хоть разик поплавать на этих крылатых кораблях, если мальчишка их не выдумал, посмотреть всякие там электростанции, фабрики, заводы, которые тут строит Федор Григорьевич Литвинов. Хотел бы, ан не придется: полно мотать, Савватей, пора и узел вязать.

Крылатые корабли! А может, врет Ванятка? Он ведь насмешник, из теперешних! Для него, поди, дед как старая облигация, по которой ничего уже не выиграешь и не получишь. А впрочем, почему врет? Видели же они с внуком однажды этот спутник: летел, как звездочка в осенний звездопад, спешил куда-то и скрылся за лесом. А потом по радио говорили, что в звездочке этой сидела сучка и что какие-то люди на земле слушали, как она там тявкает, как у нее сердце бьется. Сучка в звездочке! Это тебе не какой-то там Иисус Христос по воде шлепает. Впрочем, Ванятка говорит, что теперь и такое возможно, бает, будто возле стройки ребята на лыжах по воде ходят... Конечно, из воды вино делать не научились, а вот из опилок спирт гонят за милую душу. И зовется в народе тот спирт «сучок». Эх, до чего же он поднялся нынче, этот самый Человек!.. Да, пожить бы, поглядеть, как-то дальше будет... И от мысли, что жизнь кончается, старику становится тоскливо, слезы навертываются на глаза, перехватывает горло давящий, надсадный кашель.

— Ну, полно, полно, Савватей! Вчерашнего дня не воротишь и от завтрашнего не уйдешь! — вслух успокаивает он себя.

Что это там на опушке? Никак заяц! Ну да, он, косой. Шубка-то бела, а снег белее. И до чего ж эта таежная тварь все чует! Разве летось заяц так вот на ружье бы полез? Да он днем пасеку-то за версту обходил. А сейчас — на вот, будто в гости приперся.

— Ату, ату! — кричит старик.

Рекс, лежащий у него в ногах, весь дрожа от охотничьего азарта, срывается, бросается в атаку, но снег глубок, ноги собаки проваливаются. Заяц же делает несколько стремительных прыжков и скрывается в кустах. Пес, возвратившись, укоризненно смотрит на неподвижного хозяина: что же ты, мол? И свертывается на прежнем

месте, положив морду на лапы. Глаза у него грустные-грустные.

— Верно, брат, ну его, косого, пусть живет,— говорит Савватей.— А ты, Рекс, тоже ветшать стал, седеешь. Ишь, рыжина-та шерсть прошила. Отполевали мы с тобой, отполевали...

Странно это — умирать. Живет человек, суетится по земле, кого-то любит, на кого-то серчает, о чем-то там беспокоится и вдруг — раз и ничего. Нет — и все! У Глафиры вон хоть «тот свет» есть. Есть куда переехать. А только ну его к черту, этого ее бога, вместе с «тем светом»! Экая радость — в белых балахонах день и ночь на свистелках наяривать. Ни тебе поохотиться, ни тебе рыбку половить, ни тебе возле пчел повозиться, ни тебе радио послушать — дуди, да свисти, да бога славь, чтоб он пропал, этот бог, со всем его опиумом. Вот коммунизм — другое дело, это тебе не «тот свет». Люди для людей и на земле делают. А что, наверное, и получится.

Коммунизм! Что это такое? Савватею не совсем ясно. Когда-то первенец его, Александр, что лежит сейчас в могиле под якорем, говорил:

— Это как в песне: «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем...»

Ну ладно. Кто был ничем, тот всем стал. А вот охота узнать, как оно там, при коммунизме, человек жить будет. В избе вон радио с зари до зари шпарит, а ведь не рассказало толком-то. Цифры там, проценты да сколько чего на душу. До чего ж скучно!.. А вот посмотреть бы, тогда и помереть не обидно. Только где тебе, Савватей! Ты не только до коммунизма, ты до Ново-Кряжова не доберешься. Ох-хо-хо!

В последние годы, получив под свое крыло огромную пасеку, старик полюбил пчел. Он мог часами сидеть у летка, наблюдая, как мохнатые работяги, прибыв из тайги, тяжело плюхаются на прилетную доску, то просвечивая от меда, то будто бы набив карманы штанов желтой, розовой или бурой пергой. Все работают: и пестуны, и караульщики, и вентиляторщики. А медоносов ни погонять, ни понукать,— сами все делают.

В позапрошлое лето, под утро, Савватея разбудил Рекс. С вздыбленной шерстью он бросался на запертую щеколдой дверь, будто пытаясь ее вышибить. Еще не понимая, в чем дело, Савватей инстинктивно схватил ружье. В одних подштанниках выбежал на крыльцо и

в предрассветной мгле увидел: матерый медведище с ревом катался по траве, отбиваясь от тучи пчел всеми четырьмя лапами. Терся о стойки ульев, скулил, весь облепленный насекомыми. Он был в таком страхе, что не заметил, как Рекс, прыгнув сзади, вцепился ему в загривок. Это был последний медведь, убитый Савватеем, тот самый сороковой, на котором закончился его охотничий счет. С того утра он еще больше полюбил свою «летучую скотинку», и уже не за те весьма солидные доходы, которые она давала «Красному пахарю» и ему, пчеловоду, а за отвагу, за дружную ярость, с какой пчелы защищали свои дома.

— Вот бы у тебя-от так в колхозе жили,— говорил он сыну.— У них-от верно коммунизм. Все за одного, и один за всех. С каждого по способностям, и всякому по потребностям.

Но слышавший это Дюжев возразил:

— Такого коммунизма, Савватей Мокеич, нам не надо. Коммунизм — это не только сытое брюхо, не только коллективность, трудолюбие, дисциплина. Коммунизм — это чтобы каждый человек всем лучшим, что в нем есть, расцвел, чтобы все были разные и каждый по-своему хорош. В ногу-то еще вон древние римляне умели маршировать. В какой-нибудь там Швеции или Швейцарии жрут досыта. Коммунизм, Савватей Мокеич, не царство сытых, это царство умных, талантливых, это не рай, а мастерская, и человек в ней художник...

— Толковый мужик Павел Васильевич,— вслух говорит Савватей. — Верно тогда сказал: работает-та пчела хорошо, но у ней вроде бы культ личности. А это коммунизму вовсе неподходяще, испытали, знаем...

Нить мыслей тянется, путается. Образ друга, так напоминавшего Савватею старшего сына, встает перед ним, и, привыкнув за годы, проведенные на пасеке, беседовать сам с собой, он говорит вслух:

— Как-та ты в Дивноярске, Павел Васильевич? Держись!.. А я-от совсем плох.— И вспоминаются слова из какой-то божественной Глафириной староверческой книги: вкушая, вкусил мало меду и аз умираю... Тьфу, выдумают же... Это ж только самый что ни на есть последний чужеспинник, тунеядец по-сегодняшнему, может так-от вздыхать. Вкусил мало меду. Ишь ты, вспомни-ка лучше, что сделал, а то — вкусил...

А солнышко уже поднялось. Засверкали снега. Подтаявший с солнечной стороны иней стал срываться с верхних веток. Казалось, лес ожил и при полном безветрии деревья шушукаются, переговариваются. В углу крыши с солнечной стороны стала нарастать сосулька. Она маленькая, совсем с мизинчик. «Эко дело — мороз, а на крыше ан тает». Капли сбегали вниз по ребристым бокам сосульки. Докатившись до конца, они как бы задумывались: падать им или нет,— и пока они думали, холод прихватывал их... Растет, растет сосулька... Скоро уж вырастет с руку, повиснет бородой, а вот Савватей Седых этого, наверное, уже и не увидит. Кто-то другой собьет кочережкой эту нависающую над окном прозрачную бороду.

Солнце уже высоко. Глафира ушла давно. Что же это они не едут прощаться? Эдак помрешь, не сказав семейным последнего слова. Да и нехорошо помирать на улице... Опираясь о бревенчатую стену, старик возвращается в избу. Мороз, а рука уж чувствует тепло. Идет, идет весна... Но и ее не увидеть. А жаль! Как оно хорошо, когда тревожно шумит тайга, под ногой крупитчатый, набрякший водою снег и пахнет шут его знает чем, но только здорово так пахнет.

После солнечного буйства среди снегов в избе вовсе темно. Утром, до того, как Савватей услал Глафиру в Ново-Кряжово, она пекла хлебы. На новом месте русскую печь не складывали. Плита. Вот и пекут тут на всю семью. Но запах остывающих хлебов, всегда такой приятный, сегодня кажется Савватею душным, и хотя ноги дрожат, горит внутри, мучает кашель, он опять поднимается и идет на волю. Избу, сени миновал, а вот через порог еле перенес ноги. Так и сел на крылечке, жадно хватая ртом морозный воздух. Солнце вкатилось на самую вершину, тени совсем короткие, сосулька уже с четверть длиной. Эх, пересесть бы на солнышко, на завалинку! Да, пожалуй, не поднимешься. И сына, пожалуй, уж не увидишь. Хорошо, уломал вчера Глафиру хоть помыть перед смертью да чистое исподнее надел. Солдату и охотнику нельзя в грязном на стол ложиться...

— О чем же я-от думал? — вспоминает старик вслух.— Ах да, коммунизм. Не рай, а мастерская, и человек в ней художник. Он ведь скажет, этот Дюжев. Вот с кем бы проститься! Да где ж, вон он опять на стрежень выгреб. Так с тех пор ни разу и не навестил. Ох, до

чего же этот Дюжев с Александром покойным схож! Вошел первый раз в избу. Глафира аж задрожала. Вот таким бы Александр и был, коли б до нашего дожил. Александра б в Ново-Кряжово! Они, говорят, без заборов отстроились, балясник, говорят, для красы, и всё. Хорошо ль без заборов? Это все равно что спать без одеяла. А может, и хорошо. Раз человек — друг, товарищ, брат, чего ж от брата отгораживаться...

Почему-то вспоминается, как привез к нему этим летом сын Иннокентий на своем «козле» военного. Уже в годах, майор, грудь от ленточек пестрая. «Не узнаёте, Савватей Мокеич? Я — Грачев». И тут, верно, бросилось в глаза это сходство со снохой Ольгой, той самой, с которой в войну Савватей колхоз на себе тащил. Вас, Граченков-та, трое было, который же будете?» — «Последний, младший. А братья в войну на фронте погибли».— «А сам Грач?» — «Жили они с мамашей в Казахстане. Хлопком он в колхозе занимался. Две золотые медали с выставки имел. Вот уж второй год, как похоронили мы его».—«А ты что же, по делу прикатил или как тут землячки-сибирячки живут глянуть?» — «По делу, по страшному делу, Савватей Мокеич. Неужто вам сын-то не говорил?» И сообщил майор, что в тайных подвальчиках под их двором, когда его разбирали при переезде, нашли шкатулку и два скелета. Вот, мол, по этому делу и вызвали.

И рассказал тогда Иннокентий отцу, которого не хотел попусту тревожить, что размотало следствие старый тот клубок, и выяснилось: когда белые были разбиты и в Иркутске в Ангару пошел под лед адмирал Колчак, казначей одной из его дивизий вместе с денежным ящиком бежал в эти леса. Ходили слухи, что с какими-то там офицерами скрывается он в одном из таежных староверческих скитов. Послали туда красноармейский отряд, обложили дороги и тропы. А там — никого. Лежат в одной из монашеских келий тела двух неизвестных, зарубленных топором, тронутые уже тленом. Ни казны, ни оружия. Малое время спустя потянулся по Кряжому слушок, будто старый Грач, кержак, богомол, водивший дружбу с чернецами, пригнал однажды ночью чужую подводу и что-то там такое привез. Но высоки были заборы, что за ними происходило, не ведомо было никому. А весной исчезли старший сын Грача, бывший партизан, дружок и приятель покойного Александра, и женка его

Аленка. Говорили, поехали будто на долбленке к порогу Буйному рыбу на заре половить и не вернулись. И следов на земле не оставили. Время было беспокойное. Посудачили люди и умолкли: известно, Буйный сердит, Онь — река быстрая, жертвы свои редко отдает. И вот столько лет спустя страшная находка, сделанная весной, связала все в одну цепь. И узнали люди, что казначея убил старый Грач, казну забрал, и, чтобы не отдавать ее и не отвечать суду, прикончил он сына со снохой, должно быть про то прознавших, и долго еще потом жил рядом с их прахом, лишь бы концы в воду.

Майору нечего было добавить следователю: все произошло, когда ему было пять лет. Но Савватея он помнил и заехал повидать человека, который сохранил когда-то ему и братьям жизнь, прикрыв их, раздетых, своим полушубком. Выпил майор медовушки, закусил сотовым и улетел к себе в часть, оставив старику материал для одиноких раздумий.

— Варнак, убивец этот старый Грач, а на́ вот — и для людей поработал — две медали. Человеком-от помер,— рассуждал сам с собой Савватей.— Искра, она в каждом есть, подуй на нее — разгорится, плюнь — погаснет. Сейчас раздувают искры-та эти самые. Две медали... Да жаль, мало веку отпущено! Самая б пора работнуть на все плечо, ан полно, съела Матрена зубы, остались язык да губы... А все-таки плохо, что души-та нет, все бы заглянул в какую-нибудь там щелку из рая там или из ада: как без тебя Седые на земле живут? Какой он такой выкраивается, коммунизм?

Длиннохвостая сорока смело опустилась совсем рядом на поленницу, провалилась в подтаявший снег, брезгливо стала ощипывать перышки. На мгновение остолбеневший от такой наглости Рекс бросился на нее. Птица неторопливо снялась, вспорхнула на конек драночной крыши и, покосив вниз насмешливым глазком на захлебывающегося лаем пса, продолжала ощипываться. «Ох чует, чует, стервь, что за ружье мне уж не подняться!»

— Солнышко-та — вот оно, на самый бугор вкатило. Сосулька уж в руку стала. Где ж ты, сын мой любезный? Чего медлишь? Неужели и не увидимся?

Старик поник, мысли путались. Опять почему-то мелькнул перед ним сват Грач таким, каким сидел он тогда в лодке, ощеренный, как бирюк в капкане. Подумалось: а может, все-таки есть он, «тот свет»? Может

быть, со сватьюшкой-та встретимся?.. Нет, где же. Там теперь сучки в ракетах летают по небу, для бога места совсем не осталось... А все-таки он, может, есть, бог? Не деревянный, а какое-нибудь там премудрое вещество? И на всякий случай Савватей сказал тому предполагаемому премудрому веществу:

— Поторопил бы сына-та. Что тебе, жалко? Неохота ж одному помирать.

И как бы в ответ на эту мысль Рекс насторожил уши, вскочил и, оглянувшись на хозяина, с лаем понесся в тайгу. Теперь уж и старик различал приближающийся рокот мотора. «Козел», пискнув тормозами, остановился у самых его ног. Иннокентий, еще более похудевший, посмуглевший, будто обуглившийся за этот трудный год, прямо из машины шагнул на крыльцо.

— Чуть не опоздал,— сурово сказал старик. Сын пропустил мимо ушей намек.

— Вон внучек твой, башка не с того конца затесана. Видишь? Кожаные перчатки, очки напялил — ворон пугать, а мотор на дороге чухнет.

— Отведи меня в избу,— приказал старик.— Говорить будем. А ты, Ванятка, тут побудь. Это не для тебя.

И, сидя на лавке возле окна, все время косясь сквозь стекло на тот небольшой кусок зимнего дня, что виден был меж крыльцом и поленницей, старик, к радости сына, заговорил не о смерти, не о болезни, а об обычных делах: пасека — золотое дно, от моря ее надо перевезти в Лисью падь. Там и вербы, и черемуха, и липа летом, и вереска́ осенью. Самое медовое место... Вон под подушкой и статья из журнала «Пчеловодство» о лесных пасеках. Пусть не потеряют. Там деловое... Говорила Глафира, будто какие-то стрикулисты со стройки бензин колхозный покупали. Размотай это. Накажи примерно: от поблажек вор и плодится... Рассказывал Дюжев об этих самых ледяных складах. Чудно́, конечно. Он человек серьезный, врать не станет. Проверь. Теперь, когда овощами занялись, к рыбе вернулись — важное это дело. Воды не занимать, морозы лютые. Ведь и верно, лед-та и летом держаться может: в тайге иной раз и в июле где-нибудь в овраге, под листьями, снежок найдешь... Только это дело самому Тольше поручи, а то бригадир строителей мечется как угорелая кошка, а весна вон уж по крышам ходит. Сосульки. Как раз и зевнешь...

Иннокентий смотрел на отца: лицо восковое, будто даже просвечивает, ястребиный нос на конце расщепился, а на́ вот — пасека, склады. Эх, ему бы пожить...

— Помню, все помню... Учтем.

— Ружье мое, не то форсистое, что в премию строители дали, это бог с ним, а то, старое, заветное, отдай Ванятке. Нет, лучше дай его сюда да кликни парня, сам передам.— И когда со двора, весь в автоле, сразу ослепнув после яркого света, появился Ваньша, старик повел рукой по самодельному ложу, размеченному зарубками.— Возьми, старое оно, а бьет как молодое, ежели глаз верен и рука крепка... На прикладе там сорок засечек — сорок медведей из него убито. Остальные по тайге ходят, это свои. Наклонись.— Он поцеловал внука в лоб.— Ступай!

— Батя, я нашел дефект, знаешь...

— Ступай! — сурово оборвал отец.

Теперь голос старика был еле слышен:

— Денег у меня там на книжке немного, Васенке на приданое копил. Говорил ей — зубы скалит: «На что мне приданое, меня так возьмут». Две косых будто только за то, что геологов провожала, дали,— что ей мои капиталы! Глафире отдай. Она кругом сирота.

Старик все смотрел в окно. Солнце повернулось так, что от крыш легла густая тень, и в ней искрилась сосулька. Она росла уже вширь.

— Ишь какая стала! — усмехнулся старик и заставил себя сесть прямо.— Достань, Кеша, вон там, на загнетке, поллитровку. И стаканы.

— Что? — удивился Иннокентий.— Тятя, вам же нельзя! — Он не называл так отца с детства и даже не заметил, как вдруг пришло на язык это давно забытое слово.

— Достань,— повторил Савватей, и сын подчинился.— По полному наливай.— Дрожащей рукой отец поднял свой стакан, посмотрел на сына, усмехнулся.

Оба они, невысокие, суховатые, сидели друг против друга, и свет из окна четко прорисовывал их ястребиные профили.

— Ну, живите! И чтоб огнем гореть, а не коптеть как головешка! — Приложил стакан к губам и не оторвался, пока он не стал пуст. Поставил на стол. Посидели молча. Слабо махнул узловатой, жилистой, как мож-

жевеловый корень, рукой.— Теперь ступай, помирать буду.

— Тятя! — почти вскрикнул Иннокентий.

— Ступай. Кобель, смерть почуяв, и тот в тайгу уходит. Иди.

Иннокентий поднялся, пошел на цыпочках к двери. Оглянувшись, он увидел, что отец, привалившись к оконнице, смотрит во двор... Из-под машины торчали длинные Ваньшины ноги. Оттуда вперемежку с чертыханьем слышалось посвистывание и постукивание металла о металл. Заметно похолодало и как-то потемнело. Ветер, ставший порывистым, выносил из-за избы облака сухого снега и с шелестом завивал их около крыльца. Дедовское ружье валялось на дерюжке, где Ваньша разложил инструменты. Иннокентий подумал: неладно, отец в окно может увидеть, как отнеслись к его дару. Он хотел побранить парня, но в это мгновение из избы донесся длинный тоскливый собачий вой.

Иннокентий бросился в дом. Савватей лежал, вытянувшись на лавке, сложив руки на груди. Лицо было спокойное, глаза косили в окно. Казалось, старик смотрит на улицу и что-то вспоминает и все не может вспомнить, а возле, запрокинув старую, с пожелтевшей шерстью морду, надрывно завывал Рекс, и сквозь этот вой со двора доносилась мелодия «Подмосковных вечеров», беззаботно насвистываемая Ваньшей.

Иннокентий наклонился и закрыл глаза отцу.

7

Выйдя в это еще по-зимнему холодное, но уже по-весеннему влажное утро на веранду проделать свои обычные упражнения с гирей, Федор Григорьевич Литвинов ощутил непривычную боль в левом плече. Она рождалась где-то в груди и поднималась кверху. Почувствовав к тому же сильное сердцебиение, Литвинов оставил гирю, не доделав положенное количество жимов. Поел без аппетита и, преодолевая непонятную тягостную скованность, пешком отправился в управление. «Простыл вчера на деревообделочном комбинате»,— решил он, вспомнив, какие сквозняки гуляли по огромным, наполовину еще пустым цехам, и, объяснив для себя непривычную эту боль, постарался забыть о ней.

Сунув руки в косые карманы куртки, сбив назад кепку, он энергичным шагом двигался по строительным площадкам, по маршруту, намеченному еще с вечера. Боль притупляла восприятие, рассеивала внимание. Он дважды без особого повода вспылил, обругал хорошего человека за чужую вину, а когда Надточиев со свойственной ему прямотой пытался восстановить истину, попало и ему. Совсем расстроившись, Литвинов позвонил в приемную, попросил Валю прислать за ним машину и раньше обычного приготовить дела.

— Ну что у нас там нового, Валенсия? — спросил он, заканчивая разговор.

— Товарищ Дюжев вернулся, вас дожидается.

И действительно, когда Литвинов шел к себе, среди других ожидавших приема он увидел крупную, характерную фигуру бородатого инженера, сидевшего неестественно прямо и сосредоточенно смотревшего перед собой. Перехватил он и умоляющий взгляд Вали. Конечно, все ожидавшие в приемной читали когда-то «маленький фельетон». Пряча любопытство, они ждали теперь, что произойдет. Литвинов уже обдумал несколько вариантов «сугубо сильного» разговора с Дюжевым. Но, увидев эту будто окаменевшую фигуру, этот застывший взгляд, сразу все их забраковал.

— А, Павел Васильевич! — сказал он почти беззаботным тоном.— Здорово, друг! Что-то ты загостил в столице нашей родины Москве. Какие новости? А ну-ка прямо ко мне.— И, обняв Дюжева за талию, он, сопровождаемый разочарованными взглядами и еще одним благодарным, почти восторженным из-за толстых очков, скрылся за дверью. Сел он не за стол, а в кресло и указал Дюжеву кресло напротив.

Тот продолжал стоять.

— Ну, так как дела? Сие сугубо интересно... Весна — вон она подпирает... Многое не закончил в Москве? Директор института заверил — доделают без тебя. Так ли? Сумеют, а?

Дюжев достал из полевой сумки номер «Старосибирской правды» и молча положил перед начальником. Действовали при этом лишь руки, сам же он пребывал все в том же деревянном оцепенении.

— Читал,— сказал Литвинов, отбросив газету.

— Это все правда,— произнес Дюжев.

— Нет, неправда! — Литвинов вскочил.— Неправда, слышишь ты! Это полуправда, а полуправда хуже лжи.— Литвинов взмахнул руками и тут же сморщился от боли.— Понимаешь, продуло. Прострел, что ли?.. Ты вот что, ты мне тут брата Карамазова не разыгрывай! Сейчас же на реку, там развертывают твой проект, а Макароныч уже зашивается: не тот нарзан, как говорят некоторые классики.

— Все это было,— упрямо повторил Дюжев,— и я обязан вам обо всем доложить.

— Уже доложили во всех подробностях.

— Кто?

— Ну, стукачей-любителей на наш век хватит, завистников тоже не занимать. Но был тут один занятный звонок. Звонил из Москвы какой-то лауреат, депутат, что-то там еще, черт его знает...

— Казаков?

— Вот-вот, Казаков. Ошарашил меня всеми своими званиями и ну тебя нахваливать: и такой ты, и сякой, и немазаный.

Неестественная напряженность, сковавшая Дюжева, на мгновение как-то ослабла, но он упрямо продолжал:

— Я был послан вами в ответственную командировку, и я обязан рассказать вам, как я не оправдал вашего...

Литвинов вскочил, хватил ладонью по столу. Щетинистые брови его встопорщились.

— Хватит! Хватит, инженер Дюжев! Ступай работать, карамазничать будешь дома, в свободное время, в день отдыха...

— Федор Григорьевич, я...

— Да катись ты...— Литвинов со смаком выругался.— За дело, сейчас же, немедленно. Ну!

Дюжев пошел к выходу, у дверей обернулся. Начальник стоял все в той же свирепо-напряженной позе, и лицо у него было странно искажено. Валя, войдя в кабинет, застала его со слезами на глазах, выжатыми смехом и болью.

— Ой, Валенсия, Художественный театр! — И снова, прыснув смехом и морщась от боли, схватился за плечо.

— Да что с вами, Федор Григорьевич? — обеспокоилась девушка.

— Ничего, прострел. Благородных названий сия болезнь, кажется, не имеет. Прострел вульгарис. И давай закручивай мясорубку. Кто у тебя там на очереди?..

День, как и всегда, был довольно напряженный, дел много, разнообразных, горячих, требующих внимания. Апатия постепенно прошла, и боль в плече смягчилась. Прием завершился. Литвинов, ожидая у телефона Москву, вертел в руках бумажку с конспектом разговора с министром, когда дверь вдруг открылась, и не успела появиться в ней Валя, как, мягко, но решительно отодвинув ее в сторону, вошел Дюжев. Руки его терзали и мяли папаху. На лице было такое выражение, будто он собирался произнести речь перед огромной толпой.

— Федор Григорьевич,— сказал он, напирая на «о», и голубые глаза его фанатично блестели.— Федор Григорьевич, даю вам слово большевика.— Он произнес это слово как-то особенно проникновенно.— Даю вам слово, этого...— и опять выделились эти «о».— Этого больше не будет.

Литвинов вдруг тоже взволновался.

— Ну и ладно, голубчик. Ну и ладно, и хватит. Мы действительно большевики, а не пионеры.

— Это нужно не вам. Это нужно мне: слово большевика.

И, повернувшись, ушел, будто только сейчас тут, в кабинете, сбросил с заплечной «козы» тот самый роковой кирпич, от которого «лопается что-то внутрях». Литвинов довольно потер руки и победным голосом пропел: «И гибель всех моих полков...»

— Валенсия! — И когда Валя появилась в дверях, готовая записывать поручения на завтра, он обвел ее веселым взглядом.— Да ты, брат, как секретарша из американского кинофильма,— блокнот, карандаш... Куда там Петину с его счетно-аналитическими помощниками. Так вот записывай: завтра утром совещание по мосту и дамбе. Пригласишь Вячеслава Ананьевича, Макароныча, всех. Не забудь Поперечного с Петровичем с этого самого «пятна капитализма». Докладчик Дюжев. Ясно? Ну, как там у американцев: говори «иес, сэр» и катись... Знаю, у тебя сегодня концерт... Ну, что еще?

— К вам врач.

— Завтра, в приемные часы.

— Он не на прием. Вы плохо выглядите.

— Я его не вызывал.

— Я вызвала,— твердо ответила Валя, и, прежде чем Литвинов, не терпевший в отношении себя никаких само-

управств, успел прийти в ярость, на пороге возникла Дина Васильевна, уже в халате, в белой шапочке, с чемоданчиком в руках. Она вошла так решительно, лицо у нее было такое озабоченное, что Литвинов растерялся, потом смутился и наконец улыбнулся:

— У тебя, умница, такой вид, что вот-вот услышишь: «Больной Литвинов, покажите язык».

— Нет, язык пока не надо, а пульс дайте,— произнесла Дина, протягивая руку.

— Нет, ты это серьезно? — Литвинов спрятал руки за спину.— Да я, умница, с самой войны ни разу у врача не был. Я вашего брата боюсь, как дьявол крестного знамения... Как это там у Толстого: несмотря на то, что его лечили лучшие врачи, больной все-таки выздоровел. Или, может быть, я неточно цитирую?

— Федор Григорьевич, мы так гордимся, что диспансеризовали все население Дивноярска. Вы единственный, слышите, единственный, чья карта не заполнена. Давайте руку! — Проверив пульс, Дина стала расставлять на столе прибор для измерения кровяного давления. Литвинов сидел, засунув руки в карманы, показывая, что ни на какие дальнейшие исследования он не пойдет. Дина тоже уселась в кресле, достала из чемоданчика журнал, раскрыла его:

— Я не уйду.

— Слушай, черт возьми...

— Можете ругаться крепче, я понемногу здесь к этому привыкаю. Только предупреждаю: бесполезно.

— Врываться в кабинет в разгар рабочего дня! Я занят, понимаешь, занят!

— Непохоже. Столько времени теряете на напрасные препирательства.— Дина перевернула страничку журнала.

— Да ничего же у меня нет, — прострел, продуло. Обычный прострел, или как он у вас там именуется по-латыни. Выпью на ночь перцовки, пустым стаканом больное место потру и завтра буду как огурчик.

— Не выйдет,— невозмутимо ответила Дина, рассматривая в журнале какую-то картинку.

— Слушай, кто я, начальник строительства или... хвост собачий? — повысил голос Литвинов.— Ты обязана...

— Вы начальник строительства. Я участковый врач вашего микрорайона. Вы делаете свои дела, я — свои.

Каждый должен делать их добросовестно. Давайте руку, измерим давление. Нет, не эту, правую...

В халате, в распахе которого виднелся свитер, в белой медицинской шапочке, почти скрывавшей волосы, в валенках, имевших необыкновенно добродушный вид, эта похудевшая Дина, у которой по высокому лбу пробежали тоненькие морщинки, казалась Литвинову особенно милой. Больше уже не сопротивляясь, он подставлял руку, кидал колено на колено, дышал и задерживал дыхание, а сам смотрел на эту худенькую, спокойную, уверенную в себе и будто даже малознакомую женщину и думал о ее странной судьбе. Приехала влюбленная по уши в мужа, в его имя, в его дела. Приехала, чтобы жертвенно служить своему кумиру, и вот бежала от него... И не в припадке любовного угара бежала к другому мужчине, а в девичью палатку Зеленого городка, к нелегкой своей профессии.

— Ну как теперь живется-то, умница?

— Устаю. Знаете же, нас не хватает... Дышите, дышите глубже... Нет, в легких у вас чисто. Я не очень постарела? Сочиняете, постарела. Мне это Валя сказала, а она у вас врать не умеет. Так вот, теперь действительно покажите язык и скажите «а». Нет, и гортань чистая... Вы знаете, Федор Григорьевич, мне иногда кажется, что все эти годы я пролежала в сундуке, бережно во что-то завернутая и посыпанная нафталином. Теперь меня вынули, проветрили на солнышке, выбили из меня пыль, и я живу. Всё, застегивайтесь... Вот что, боли эти мне ваши определенно не нравятся, не смейте сегодня никакой перцовки! Слышите? И завтра пожалуйте в больничный городок, снимите электрокардиограмму. Иначе придется доставлять аппарат сюда на машине... Сейчас я вам напишу рецепт...

Заходившее солнце освещало завитки волос, выбивавшиеся из-под докторской шапочки. Глядя на эту женщину в белом халате, Литвинов испытывал нежность, желание подойти к ней и, как маленькую, погладить по голове, поцеловать в затылок. От Вали он знал, как отклонила Дина предложенную ей комнату. Знал, что Петин, этот сдержанный, знающий себе цену, скрытный человек, бродит иногда по Зеленому городку или около больничных корпусов, не обращая внимания на иронические взгляды. Знал, что для того, чтобы помогать матери, Дина работает на полторы ставки, устает, знал о ее

дружбе с Надточиевым и Дюжевым и догадывался, что и тот и другой, каждый по-своему, неравнодушны к ней.

— Что вы меня рассматриваете? — спросила Дина, внезапно подняв голову и перехватив его взгляд.— Этот рецепт я передам Вале, она закажет лекарство. Если станет очень больно, накапайте на кусочек сахара, положите в рот и немедленно зовите врача. Избегайте волнений, резких движений, проститесь с этой вашей гирей...

— Хочешь сунуть меня в сундук, из которого сама выбралась? Дудки! Не влезу, не тот габарит.

— Федор Григорьевич, я серьезно. Мы посоветуемся,— может быть, вам придется поехать на курорт.

— А ну тебя к... монаху! — рассердился Литвинов. И вдруг почувствовал, как плечо, которое перестало было болеть, вдруг снова точно бы загорелось изнутри.

Когда он вышел из кабинета проводить Дину, в приемной сидел Петин. Он встал, отвесил ей молчаливый поклон. Ни один мускул не дрогнул на его сухом лице, но из острых черных глаз глянула вдруг такая тоска, что Литвинов отвернулся.

— Вы ко мне? Долго ждали?.. Что поделаешь, медику в лапы только попади,— сказал он, стараясь не смотреть на Петина, будто был перед ним в чем-то виноват.— Валя, ты бы хоть доложила, что ли.

— А она меня и вовсе не хотела пускать. Говорит, вам нездоровится, зайдите завтра. Строгая девица,— сказал Петин, проходя в кабинет. Присел к столу.— Мы с вами должны поговорить не как начальник с подчиненным, а как два коммуниста, поставленных партией на ответственнейшие посты.— И будто бы для того, чтобы подчеркнуть значение этих слов, Петин встал, подошел к обитой дерматином двери и попробовал, плотно ли она закрыта.

— А я думал, что мы и всегда говорим как коммунисты,— сразу настораживаясь, ответил Литвинов.

— Разумеется, но мне хотелось бы это подчеркнуть, потому что разговор неприятный и мы должны поговорить начистоту.

— А мне казалось, мы и до сих пор говорили начистоту.— Боли в плече усилились, но Литвинов постарался произнести это с безмятежным спокойствием.

— Коммунисты должны быть друг с другом откровенны, и, поскольку вы меня однажды упрекнули, что я действую за вашей спиной, я пришел предупредить вас,

что я категорически...— Петин сделал паузу и повторил: — Я категорически протестую против всей этой дюжевщины. И буду протестовать и здесь, и в обкоме, и, если понадобится, в инстанциях. К этому меня обязывает моя партия, которая требует, чтобы члены ее были принципиальными, непримиримыми...

— ...и глубоко человечными,— закончил за него фразу Литвинов, меняя позу в кресле: когда плечо упиралось в спинку, боль была не так сильна.

— Да, разумеется, и человечными, если под этим немарксистским термином не скрываются либерализм, мещанское благодушие и политическая слепота.

«А может быть, дорогой товарищ, вы вызываете меня на скандал? — вдруг подумал Литвинов, вспомнив, что в приемной у двери сидит этот сдобный красавчик Пшеничный — один из самых верных петинских сателлитов.— Может быть, и свидетеля припасли, чтобы соорудить еще одно письмо «молодых товарищей»? Ну нет, спектакль не состоится».

И еще больше насторожившись, он продолжал разговор на «вы»:

— Ваши мотивы?

— Во-первых, я протестую как коммунист. Сейчас, когда партия ведет всенародную войну с пьянством, устраивать триумфальную встречу человеку, опозорившему в столице честь нашего великого строительства, устраивать, вопреки общественному мнению, вопреки прессе, это... Простите, позвольте мне из уважения к вам не называть это собственным именем. Во-вторых, я протестую как инженер. Мне известно, к чему однажды привела эта идейка, может быть и заманчивая для тех, кто не очень глубоко разбирается в технике... Я вам об этом докладывал и устно и письменно... Мы строим не какую-нибудь там межколхозную электростанцию. Мы строим мировой уникум, за нами следят миллионы глаз, мы не можем, не имеем права допустить...

— В-третьих? — тоненьким голосом перебил Литвинов. Весь сжимаясь от боли в плече, он делал невероятные усилия, чтобы этого не показать.

— В-третьих, я слишком уважаю вас, чтобы позволить вам несколько... э-э... необдуманно поставить под удар ваш авторитет... Лично меня это не затрагивает. Но, как человек честный и принципиальный, видя, что вы делаете ложный шаг...

— ...Вы удерживаете меня? Спасибо. Я очень ценю честных, высокопринципиальных, бескорыстных людей.— Литвинов сказал это совсем спокойно, но грубое лицо его было бледнее обычного и как-то все неестественно напряжено. Петин видел это. А когда начальник встал и пошел к вделанному в стену сейфу, Вячеслав Ананьевич заметил, как он болезненно прикусил губу.

Неторопливо достав из кармана ключи, Литвинов погремел ими, отпер сейф, отвел толстую стальную дверцу. На свет появилась какая-то папка. Это были выписки из уже знакомого нам судебного «Дела». Пропустив преамбулу, Литвинов начал вслух читать с того места, на котором он, знакомясь в прошлый раз с «Делом», остановился:

— «...Дело слушалось... при научно-техническом эксперте обвинения, кандидате технических наук, лауреате Сталинской премии, доценте Петине Вячеславе Ананьевиче...» — прочел он вслух и вздохнул.— Очень ценю бескорыстную принципиальность.— Протянув бумаги через стол, он спросил вежливейшим тоном: — Может быть, вам будет угодно освежить в памяти ваше заключение, прямо скажем, не только техническое?..— И жестко закончил: — Несправедливое заключение, которое когда-то погубило хорошего, честного человека...

Оставив в руках Петина бумаги, он отошел к окну, незаметно разминая рукой плечо. Он видел, как взгляд Петина, скользнув по оглавлению папки, стал растерянным, вопросительно уставился в лицо начальника и тотчас же опустился вниз. Вячеслав Ананьевич продолжал сидеть, держа папку в отдалении, будто в руках у него была живая извивающаяся змея. Смуглое лицо его стало зеленоватым, а на висках выступили капельки испарины... «Как на ломтиках редьки, когда их посолишь,— подумал Литвинов и удивился: — А ведь и верно, пожалуй, похож на хорька, которого собака загнала в угол».

— Так вот и поговорим начистоту, как коммунист с коммунистом.— Маленькие синие глазки цепко держали теперь в поле зрения побледневшее, растерянное лицо Петина.— Ну?

— Взгляните на дату,— тихо произнес Петин.— Вы же знаете, какая в те дни была обстановка.

— Об этой обстановке ЦК партии все сказал народу. Я был на съезде, слышал. Мне выть хотелось, но я говорил: правильно, только так и можно. Больно, а надо

рвать с мясом, чтобы не оставить где-нибудь метастаза... Разве только вы работали в этой обстановке?

— Но у меня требовали...

— Требовали технической экспертизы... А эти слова, я их там в бумагах подчеркнул: «Эти действия гражданина Дюжева носили явно умышленный и злонамеренный характер» — это разве техническая экспертиза?

— Но вы же помните, какое тогда было время...

— А сейчас? — Синие, широко расставленные глаза жестко смотрели в лицо Петина.— Эх вы! Советская власть гордая, самолюбивая власть, перед Павлом Дюжевым извинилась. Партия наша — суровая, непоколебимая партия — признала свою в отношении к нему ошибку. Стаж ему вернула. Сибирские мужики душу ему отогрели, а вот честный, бескорыстный, высокопринципиальный товарищ Петин простить не может того, что человек столько времени из-за его трусости или из-за чего-нибудь похуже в тюрьме отсидел...

Литвинов все еще стоял у окна, как бы смотря на улицу, но в темном стекле, к которому уже прильнула ночь, он четко видел собеседника, продолжавшего держать папку на отлете, видел его растерянное лицо. «Ах, эти бы чертовы капли, обещанные Диной! Но держись, держись, Федька! Этому слабости показывать нельзя».

— И что же теперь? — тихо спросил Петин, положив наконец папку на стол.

— Ничего особенного, приходите завтра на совещание и не бросайте на нем песок во втулки,— ответил Литвинов, возвращаясь к столу.— Тут один мудрец с пятой автобазы изрек как-то: у закона обратного хода нет. Сугубо правильно. Так вот, давай перестанем оглядываться, будем смотреть вперед... Думаешь, я не знаю, откуда все эти ветерки на Дюжева дуют?.. Так вот, тут,— он похлопал рукой по папке,— тут не на маленький, тут на большой фельетон материала хватит. Понятно?..

Петин уже овладел собой. Высморкавшись без особой нужды, он быстро отер платком пот со лба. Лицу вернулось обычное выражение, только чуть-чуть подрагивало веко.

— И вы собираетесь поднимать эту старую, забытую историю?

— Забытую? Гм, забытую... Все зависит от тебя.

— Угроза?

— Нет, совет... Совет, Вячеслав Ананьевич, совет...

Нам еще с тобой, я думаю, долго из одного котелка здесь хлебать. А может, вместе и на Усть-Чернаву поедем? А? Ссориться из-за старых историй, я так считаю, нам не расчет.

Петин старался и не смог утихомирить вздрагивающее веко. Он повернул голову так, чтобы это не было заметно собеседнику, но чувствовал: тот все видит, все примечает.

— Ну, а Дюжев? Вы думаете, он в случае успеха своей идеи не станет ворошить старье? — как бы случайно спросил он.

— Сие — сугубо его дело.— Литвинов говорил задумчиво.— Но это тоже, как мне кажется, зависит от тебя... Он человек порядочный. Но... но при отражении штыковой атаки, как ты знаешь, и саперная лопатка — неплохое оружие.— И, еще раз полистав папку, Литвинов положил ее в сейф. Закрыл толстую дверь. Запер. Погремел ключами. Опустил их в карман и, вернувшись за свой стол, обычным, будничным голосом, в котором слышались даже нотки задушевности, сказал: — Подготовься-ка ты как следует к завтрашнему совещанию. Поддержи Дюжева своим авторитетом. Ты мужик умный, драться тебе с ним, как видишь,— он повел рукой в сторону сейфа,— не стоит, да и не из-за чего. А если не драться, так лучше дружить...

8

С совещания по перекрытию реки, состоявшегося на следующий день в управлении, участники возвращались изумленные каждый по-своему.

Надточиев и Дюжев шагали в дом приезжих радостные, но совершенно сбитые с толку. Слушая доклад Дюжева об испытаниях, уже заканчивающихся в лаборатории московского института, Надточиев волнуясь посматривал на Петина и, главное, на сидевшего возле него Пшеничного, по лицу которого было легче отгадать, что думает и что собирается сделать его патрон. Петин — «вещь в себе», а вот Пшеничный — тот самый прибор, с помощью которого можно обнаружить все раковины, изломы, трещины, скрытые под ровной поверхностью этой вещи. Пшеничный сидел развалясь на стуле и усмехался самым наглейшим образом. В нужных местах

разводил руками, многозначительно испускал ироническое «ха», явно готовился к атаке.

Но особенно удивлял сегодня Надточиева Старик. Он сидел с отсутствующим видом, рассеянно вертел в толстых пальцах стальной восьмигранник слесарной пробы, служивший ему пресс-папье, и казалось, озабочен чем-то другим, далеким от той битвы, которая, как он не мог не угадывать, должна была развернуться сейчас в его кабинете.

Доклад окончился, и произошло неожиданное. Слово взял Петин. Помянув, как он выразился, о решающем этапе строительства, он заявил, что обсуждаемый здесь проект — одна из тех счастливых находок, какие движут советскую технику вперед. Такие мысли поражают своей новизной, их не сразу поймешь, но сейчас, когда тщательные испытания, проведенные в институте, подтвердили правильность идеи, он, Петин, снова изучив все материалы, поддерживает и от души поздравляет Павла Васильевича с плодотворнейшей командировкой. Надточиев смотрел на оратора, широко открыв глаза, и в конце его речи даже потихоньку свистнул. На физиономии Пшеничного, с которой еще не сошли темные пятна на отмороженных местах, изобразилась полнейшая растерянность...

И вот теперь, шагая под руку домой, Дюжев и Надточиев то недоуменно поглядывали друг на друга, то, в который уж раз, произносили: «...И ходят их головы кругом. Князь Курбский нам сделался другом». И принимались по-мальчишески хохотать.

— ...Ну почему ты не хочешь допустить, что человек действительно ошибался, действительно понял, что ошибался, и действительно признал свою ошибку? — рокотал Дюжев.— Ну, струсил когда-то, ну, покривил душой. Время было такое. Это сейчас легко прямо ходить.— Как всегда, когда он был взволнован, круглое, как бублик, «о» так и перекатывалось в его речи.

— Нет и нет,— басил в ответ Надточиев.— Это сухарь, который можно размочить только сверху. Что-то произошло. И неожиданное. Ты ж видал, как этот Юрочка и вся их компания были ошарашены... У него есть в Москве, как он о том все время намекает, сильный покровитель. Может, он... А, что там гадать, черт с ним! Эх и выпьем же мы с Буруном сегодня за твое здоровье, Павел!

Петрович вышел с совещания с Олесем Поперечным. Оба озабоченные. Объявлено было, что и на время отсыпки дамбы и в часы перекрытия, когда сразу в огромных количествах потребуется и гравий, и песок, и скала, и бетонные монолиты, работы на карьерах будут выполнять экскаваторы братьев Поперечных и колонна машин пятой автобазы. Работать предстояло вместе. И вот теперь двигались они рядом — худой, поджарый Олесь и Петрович, который, хотя и осунулся с лица, в фигуре еще сохранял заметную округлость.

Уже миновали дни, когда Олесь, мучаясь с «негативами», усомнился в своих силах. Люди, поверившие в себя и в него, стали не хуже хлопцев, работавших с Борисом. Оба экипажа соревновались. То один, то другой опережал, и имя Олеся Поперечного, экскаваторщика из молодого города Дивноярска, вновь прогремело, как и имя прядильщицы Валентины Гагановой из старого русского текстильного города Вышнего Волочка. У них были последователи, движение раскатилось по стране. Многие бригадиры в Дивноярске, и не только экскаваторщики, но и каменщики, бетонщики, арматурщики и люди новой и очень уже нужной здесь профессии — монтажники, увлеченные почином Олеся, покидали свои сплоченные, организованные коллективы и шли к тем, кому нужна была помощь. Забывалось уже, что когда-то пятую базу называли родимым пятном капитализма. Теперь каждый прораб старался заполучить машины именно этой базы, и в газете «Огни тайги» время от времени без опаски помещали портреты ее особенно отличившихся водителей.

И вот теперь два человека, которым предстояло работать вместе на перекрытии реки, шли молчаливые и задумчивые. Дюжев огласил цифры. За считанные часы надо было погрузить, перевезти, сбросить в реку огромное количество диабазовой скалы, грунта, щебня. И все сделать так, чтобы исключить любую задержку, чтобы тек сплошной, ровный, непрерывный автопоток.

— Це трэба добрэ розжуваты,— задумчиво сказал Олесь.

— Да, брат! Тут без бутылки не разберешься,— ответил Петрович, и произнес это вовремя, ибо как раз в этот момент они проходили мимо того самого ресторана «Онь», где некогда произошел злополучный товарищеский ужин.— Может, зайдем по бутылочке пивка спросим, создадим творческую обстановку?

— Уж и не знаю как... Жинка ждет, и так запозднился. У нее нос через комнату пивной дух учует,— ответил Поперечный, нерешительно останавливаясь.

— Он мне говорит! — трагически воскликнул Петрович.— У тебя Ганна Гавриловна, можно сказать, великий гуманист, а вот моя Мария Филипповна с полоборота заводится... Так мы ж, Александр Трифонович, до «Вася, ты меня уважаешь» — не будем. Мы по бутылочке. А потом кофею в зернах пожуем.— Он достал из кармана несколько зерен, побросал в горсти.— Отшибает...

— Иди уж без меня, а? — колебался Олесь.

— Ни в коем разе. Это невозможно. Если я со знаменитым Поперечным дела обсуждаю, она меня, как у нас на базе говорят, обелитирует, а если так, без идей приложился — хана... Раки тут, между прочим, Александр Трифонович, не раки — бронетранспортеры!

— Ах, хай его грец! — Поперечный махнул рукой.

Через час беседа была в разгаре. Пустые пивные бутылки бывалый Петрович сразу же ставил под стол, но по количеству красных рачьих панцирей, скопившихся перед каждым из друзей, было и издали видно, что собеседники не теряли времени. Впрочем, до «Вася, ты меня уважаешь» дело действительно не дошло, и если бы обе строгие супруги слышали, какой идет разговор, они не очень взыскивали бы с мужей.

— Ты понимаешь, хлопче, яка тут закорюка? Вот тут мой забой, — Олесь вынул из стакана несколько бумажных салфеток и веером расположил на углу стола.— Это мой экскаватор,— он поставил бутылку.— Это твои машины,— он выстроил в очередь десятка полтора рачьих панцирей.— Вот когда они одна за одной, без задержки идут, я так размахаюсь, что аж в разных местах взопреет! А тут у тебя перебой. Одна машина не прошла,— он повернул рачий панцирь поперек.— Другая застряла,— рачий панцирь был брошен в пепельницу.— А то на сгоне сцепились, как собачья свадьба, и остальные их растаскивают. Я стою, ты попусту время теряешь. Теперь, хлопче, смотри сюда.— Он навел в очереди рачьих панцирей порядок, пальцем промерил меж них ровненький интервал.— Вот если ты мне такой конвейер из машины обеспечишь, тогда я развернусь...

— М-да, с этим делом... припухаем, верно... Конвейер... Худо ли? — бормотал Петрович.— ...Чудно́, с от-

вычки даже пиво действует. М-да, припухаем... Это бывает. Конвейер? Оно б железно, но тебе-то легко сказать — конвейер. Настроил свою бандуру и шпарь. «И мой батько и твой батько — оба были казаки...» Ребята у тебя ладные. Я своих не хаю, но моим-то по дорогам гонять. Ведь откуда пробки, почему машины сцепляются? Колеи сбитые, скользко, а бульдозер, грейдер, поливочные машины, пока до них достучишься... Эй, курносая, нам еще парочку, и убери ты бутылки, а то подумают, что мы тут пьем, напишут письмо в редакцию, что мы идейно невыдержанные...

— Не хватит ли?

— Ну как же хватит? Только начался разговор. Теперь это уж на башку не действует. Теперь вступил в силу закон... ну, как его... ох, забыл... Ну, физический, насчет жидкостей в сообщающихся сосудах: лишний раз сбегаешь канализацию проверишь — и всё.

— Хороший ты парень,— сказал Олесь.— Но скажи по совести, тебе от жены качалкой по шее не попадет?

— А что такое качалка?

— Палка такая круглая. У нас на Украине лапшу ею жинки катают.

— Это скалка, что ли? Скалкой — нет, допотопная техника. Моя, брат, Мария Филипповна в ногу с техническим прогрессом, она меня раз хлорвиниловой сумкой так обработала, до новых веников не забуду... Ну, будь здоров!

— Ладно, шоб дома нэ журылысь... Так ты о дорожных машинах начал, хай им грец... Тебе тяжелей, конечно... Это верно.

— Вот если бы такая комбинация...— сказал Петрович задумчиво.— Вот если бы так: тут твоя бандура,— он поставил бутылку.— Тут вот мои машины,— он быстро выстроил две цепочки раковых шеек.— Тут вот на этой координате,— он положил в центре две воблины,— бульдозер, каток, поливочная машина. И все чтоб под нашей с тобой рукой, а? — Выпуклые, плутовские глаза его засияли.— Ну?.. Вот тогда — очко, четыре сбоку, ваших нет...

Поперечный с интересом смотрел на выстроенную перед ним на столе комбинацию, и, когда Петрович потянулся за бутылкой, изображающей экскаватор, отстранил его руку:

— Стой, стой, и сие трэба розжуваты. А что, хлопче, и верно, создадим-ка мы с тобой такую вот комплексную бригаду, чтобы без бюрократизма, все от одного привода вертелись.

Оба смотрели на стол. Полагая, что самая пора рассчитываться, официантка остановилась у столика с блокнотом в руках. Но посетители вели себя странно: не пили, не ели, ничего не заказывали, а смотрели на стол, где на стекле не в очень приглядном виде стояла посуда, валялись раковые шейки и вобла.

— Комплексная бригада? — спросил Петрович.

— Комплексная бригада,— подтвердил Олесь.— Вещь, хай ему грец!.. А ну, хозяйка, еще нам парочку на радостях...

Так в тот вечер возникла идея комплексных бригад, о которой впоследствии было написано в разных газетах немало хороших слов.

А Федор Григорьевич Литвинов в этот вечер, едва дождавшись, пока закроется дверь за последним участником совещания, рванул на себя оконную раму так, что замазка посыпалась на пол, и стал жадно вдыхать прокаленный морозом воздух. Всю жизнь он был неприхотлив, мог работать в любых условиях, но вот сейчас, когда к концу заседания густо надышали, ему сделалось так тяжко, что еле дотянул до конца.

Теперь, когда с улицы катил чистейший воздух, он, придя в себя, по-настоящему оценил совещание, и по кабинету прокатилось победное «И гибель всех моих полков...». Он знал, что на дальних стройках нет ничего страшнее склоки. Опыт повелевал — души ее в самом начале, души беспощадно, пока она не обрела силу, не выползла из норы. Петин и Дюжев — какие они разные. Просто антиподы. Но оба талантливы и нужны... Ох как нужны: Петин с его организованностью, методичностью, собранностью и Дюжев с его размахом, гибким умом, сердечностью, с его удивительным чутьем на людей. Великолепная находка для Оньстроя. И как он пошел!.. Но вот эта старая история. Надо же было, чтобы судьба вновь столкнула лбами этих людей. И все могло кончиться дикой склокой, сутяжничеством... Но... Эх и здорово же сегодня разложился пасьянс! Теперь оба сохранены для Оньстроя и, хотят или не хотят, будут делать общее дело и еще помогать друг другу... «И гибель всех моих полков...» Ах, черт возьми! Хитрый все-таки этот

Старик, умеет вести дела!.. Большевистская закалочка!.. «И гибель всех моих полков...» Петина, конечно, тоже, пожалуй, можно понять — наклал когда-то в штаны, несчастный случай объявил вредительством, оклеветал, сунул в тюрьму человека, охаял великолепную идею, вот и трясется теперь как овечий хвост. А идея-то блестящая. Открытие! Ее еще мир признает... И все-таки хоть этот почтенный Петин умен, слывет образцом технической ортодоксии, в человеческом плане он дрянь, дрянь... Но нужен. Для дела нужен! Дюжев — вот это находка! Кабы его, дьявола, излечить, о лучшем заместителе и мечтать нечего, а то вот, пожалуйста, доказывай, что алкоголизм — это болезнь, цитируй в обкоме Медицинскую энциклопедию. Да долго и не нацитируешься: раз доказал, два сберег, а в третий раз — дадут самому как следует по сугубо мягкому месту... Как он, Дюжев, слово-то давал, будто бы перед знаменем присягу... Н-да... А как же быть с этим письмом, что он принес?.. Может быть, пригласить человека, которого он рекомендует? Ведь еще Иннокентий Седых говорил, что у Дюжева на людей нюх собачий...

Литвинов подошел к столу, взял письмо, оставленное Дюжевым. Это было послание какого-то военного инженера-отставника, служившего когда-то в части, которой командовал Дюжев. Теперь инженер этот жил в собственном доме на окраине Старосибирска на покое и, судя по письму, процветал. Вот прочитал «маленький фельетон», узнал, что у фронтового друга крупная неприятность, и советует плюнуть на все и ехать к нему на житье. «Детей мы с Зойкой не завели, дом замечательный, отведем тебе хорошую комнату, живи, полковник, в свое удовольствие. Пенсии моей и твоей за глаза хватит, а с твоим умом можешь заработать столько, сколько и попу не снится...» Вообще из письма этот самый отставник Карл Ворохов вырисовывался личностью малопривлядной... «Мы, полковник, свое советской власти честно отслужили. Из собственных костей мосты в войну клали. Пусть уж теперь другие отличаются. А нам — заслуженный отдых...», «Поглядел бы, какое я с Зойкой хозяйство развернул: первые в Старосибирске огурчики — мои, первый салат — мой. Из колхозов за рассадой ездят — по себестоимости отпускаю. Бери, для социалистического сектора не жалко...», «Нельзя ли у вас там на стройке, по старой дружбе, достать чехословацкую

комбинированную плитку-котелок? Говорят, у вас там в Партизанске в домиках ставят: и отопление и горячая вода. У нас тут один ловкач уже отхватил. Схлопочи, будь друг, я теперь человек состоятельный — все расходы оплачу...», «Приезжай, полковник, как брата родного приму, а уж Зойка обрадуется».

Строчки эти Дюжев в письме сам и подчеркнул. Но при этом утверждал: и все-таки это ценнейший человек, знающий, деловой, неутомимый, нужный ему позарез. «А, черт!.. Поверил Дюжеву, верь и его рекомендации. Скольких стройка шкуру переменить заставила, и как здесь быстро эти перемены происходят!»

Литвинов позвонил.

— Валенсия, отыщи Павла Васильевича, скажи ему, пусть зовет этого своего дружка. Посмотрим, что он за сокол. Пусть за ним сам слетает... Ну, что у тебя?.. Чего топчешься?

Валя стояла взволнованная. Не отвечая на вопрос, протирала очки.

— Да чего ты их трешь, они чистые! Ну?

— Федор Григорьевич,— едва слышно произнесла девушка,— комсомольцы пропали.

— Как? Какие комсомольцы? Что за пропажа?

— Наши геологи.— Голос Вали прерывался.— Партия Сирмайса. Те, что на Усть-Чернаве.— Девушка покусывала губы.— Василиса там с ними...

— Стой, стой, подожди,— прервал ее Литвинов, хватаясь за плечо и морщась от боли.— Где они там у тебя, эти дурацкие капли?

Валя принесла пузырек, накапала на кусочек сахара. Чувствуя, как бьется сердце, как белье становится влажным, Литвинов положил сахар в рот, брезгливо передернул плечом.

— Откуда известно, что пропали?

— Звонили из оньской экспедиции: с ними прекратилась связь. В субботу было: «...Пошли на север». А в ту ночь, помните, начался большой буран, когда краны поломало... Пятую передачу молчат.

— Почему же до сих пор мне не доложили? — Тонкий голос Литвинова поднимался до самых высоких нот.— Столько времени люди молчат, и мне неизвестно.— Литвинов тяжело дышал.— Расследовать. Кто виноват?

— Я.— Это было произнесено спокойно, и, хотя глаза Вали мокры, взгляд ее был тверд.— Я не доложила. Мы с Диной Васильевной решили вас без крайней надобности не волновать. И я вижу, что она была права.

Обычно, когда Литвинов, как говорили на стройке, «срывался с цепи», все затихало, люди старались не попадаться ему на глаза. А эта девушка, крепкая, как гриб-боровичок, спокойно стояла перед ним. Глядела не отрываясь в побледневшее, искаженное гневом лицо.

— Какие-то клистирмейстерши и сопливые девчонки хотят здесь командовать? Да? — Голос Литвинова стал совсем тонким.— К чертям собачьим! Чтобы духу твоего здесь не было... Речь о жизни человеческой, а они, видите ли, решают!

— Начальник экспедиции полагал, что они сегодня, может быть, выйдут на радиосвязь, и мы договорились пока вас не беспокоить.

— Я, ты, он, мы, вы, они. Кто это мы?.. Вон отсюда! Вон сейчас же!..

— Кому мне завтра сдавать дела? — прозвучал спокойный вопрос.— Я сегодня перепишу, что у вас назначено на завтра, и оставлю на столе.— Девушка повернулась, пошла к двери. Она решительно взялась за ручку, но услышала какой-то клекающий звук. Сморщившись от боли, начальник согнулся, опираясь грудью о стол:

— Воды, дай воды!.. И эту гадость!.. И окно, окно, поскорее...

9

Письмо, полученное из Старосибирска, и обрадовало, и озадачило Дюжева. В нем содержался совет послать ко всем чертям строительство и ехать на жительство к другу, отдыхать от всего, что было, что есть и что может произойти. Если бы такое приглашение прислал человек, которого Дюжев мало знал, он разорвал бы письмо и забыл о нем. Но писал лучший друг фронтовых лет, Карл Ворохов, тот самый, с которым они, отступая, подрывали мосты на реках от Бреста до Подмосковья, а потом, наступая, строили их на всем победном пути до Берлина, веселый, смелый, неутомимый, изобретательный Ворохов.

Почерк был знакомый. И все же казалось, писал кто-то другой, неизвестный, не имеющий отношения к старому

другу. И женку Ворохова, Зою, Дюжев помнил. Это была одна из тех девушек, что в разгар войны уходили в армию, становились снайперами, разведчицами, пулеметчицами, санинструкторами, связистками и вместе с мужчинами несли все тяготы фронтового бытия. Телефонистка штаба инженерной части, Зоя была к тому же, себе на беду, хорошенькой. От поклонников разных званий отбоя не было. Сама же она платонически, почти молитвенно была влюблена в Дюжева, который тяготился этой привязанностью и очень обрадовался, когда уже в Польше его начальник штаба попросил увольнительные для себя и сержанта Зои: они собирались ехать в тыл до первого советского районного центра, чтобы зарегистрировать там свой брак...

И вот письмо. Вот обратный адрес: Старосибирск, улица Победы, дом 14, Ворохов К. М. Вот и сама эта тихая улица, одна из тех, что возникали после войны на окраинах,— реденькие шеренги разномастных деревянных домиков. За годы домики вросли в пейзаж, обветрели. Перед ними выросли черемуха, рябина, лиственницы... Дюжев шел по улице. Дома восьмой, десятый, двенадцатый и... сразу шестнадцатый. Четырнадцатого не было. Что такое? Какие-то пожилые люди — мужчины и женщины — сгружали с машины молодые, курчавые, бережно завернутые в рогожу пихты, привезенные, повидимому, прямо из тайги. Несколько таких деревьев уже выстроились вдоль проезжей части, укрепленные, как радиомачты, проволочными расчалками.

— Простите, не скажете, где здесь дом номер четырнадцать?

— Вороховы, что ли? — спросил один из работавших, высокий худощавый старик в военных шароварах и форменном ватнике.— Он свой дом в глубь двора спрятал, Ворохов. Вон глухой забор — Это его.— В тоне пожилого мужчины, в котором Дюжев без труда угадал офицера-отставника, звучало подчеркнутое пренебрежение.

— Да он и сам тут вертелся, все с утра к звонку своему что-то прилаживает,— вмешалась в разговор полная пожилая женщина.— Вы к ним не за огурцами, часом? Продала Зойка последние огурцы. Золотишники какие-то, что ли, заезжали. Втридорога, говорят, с них слупила... Да вон он и сам, Ворохов-то почтенный.

Действительно, из калитки, незаметно встроенной в тесовый глухой забор, показался человек с отверткой в руках. Не глядя в сторону сажавших деревья, он начал что-то старательно прилаживать. В этом толстяке с нездоровым, отечным лицом, с узенькими, заплывшими глазками было так мало от быстрого, порывистого, энергичного майора, что Дюжев на миг заколебался — подходить ли. Но толстяк уже сам заметил его, бежал навстречу, держа в одной руке отвертку, в другой — кусок проволоки.

— Полковник, Павел Васильевич! Друг сердечный!.. Приехал-таки... Ну, пойдем, пойдем в дом... Вот Зойка-то моя обрадуется! — Заплывшие глазки с любовью смотрели на гостя.— Такой же, но сивый... Ну еще бы!..— Из глазок текли слезы, и Ворохов не стеснялся их.— А я сдал? Да? Пульс — сто с гаком, давление ужасное. Ничего, брат, не поделаешь: сэрдце, пэчень.— В этих словах он, явно подражая кому-то, заменял «е» на «э».— Только вот Зойкиными заботами да латинской кухней и держусь... Да пойдем, пойдем в дом... Постой, я собаку привяжу. Кобель у меня, я тебе скажу, родословная, как у Черчилля, до двадцатого колена. Зверь: чужого молча атакует...

Из-за забора доносилось глухое, злобное ворчание. Ожидая у калитки, Дюжев рассмотрел над щелью для писем и газет дощечку. «Осторожно, во дворе — злая собака»,— предостерегала она. И уже выше этого стандартного предупреждения кто-то чернильным карандашом за словом «злая» вставил «и жадная»... Послышался знакомый мелодичный голосок, так много сразу напомнивший Дюжеву. И вот уже навстречу ему из калитки двигалась, переваливаясь, еще молодая, но толстая женщина в шубе, накинутой на пестрый домашний халатик.

— Товарищ полковник! Вспомнили, отозвались! — говорил знакомый голосок.

«Неужели Зоя?» Ну да, черты лица сохраняли прежнюю привлекательность, белые кудряшки веселыми штопорками выбивались из-под наспех накинутого пухового платка. Но и лицо, и кудряшки, и чистейшей голубизны глаза — все это, казалось, плавало на жировых наслоениях.

— Товарищ полковник, можно мне вас поцеловать?

— Это уж у мужа спрашивайте, Зоя, как вас там по батюшке?

— Зоя, Зоя, для вас всегда буду Зоя. Господи, как мы обрадовались, узнав, что вы живы и работаете тут рядом! И какая подлость этот «маленький фельетон». Я прочла и сейчас же говорю Карлику: «Пиши скорей письмо. Пусть плюнет на них и едет к нам...»

Едва дав гостю раздеться, супруги потащили его смотреть хозяйство. Крепкие сараи, погреб, ледник. Потом домик, где были и газ и батарейное отопление. Показали ванную, заставили дернуть ручку в уборной. Все дышало домовитостью: в чуланах до потолка одна на другой стояли банки с вареньями и маринадами, а в погребе лежали пустые кадки, от которых шел шибающий в нос запах укропа, эстрагона, черемши.

— Лучшие в Старосибирске огурцы, лучшая капуста — наши! — с гордостью восклицали супруги.— Тут один американец, Аверел Гарриман, прилетал. Хочу, говорит, настоящую сибирскую еду попробовать. Так из ресторана к нам присылали. Честное слово! Так что у Зоюшки моей теперь международная марка.— И Дюжева тут же заставили отведать кислой капустки, съесть холодный, остро посоленный огурец, проглотить скользкий ароматный помидор.

— Да куда же вам столько? Тут на целую роту,— спросил Дюжев, выбираясь из погреба.

— Как куда? — удивилась теща Ворохова, кругленькая, подвижная старушка, которая, тоже сопровождая его, издали настороженно приглядывалась к гостю.— Кооперации помогаем, добрым людям продаем... И покупают! Намедни золотишники с Лены вместе с бочками огурцы забрали. Самолетом, говорят, на Лену пошлем. И отошлют, за прогон заплатят да еще наживутся... Были раньше огурчики — неросимые, вязниковские, монастырские! А теперь всё вороховские спрашивают!.. Вороховские здесь в почете...

Все трое суетились вокруг Дюжева, не зная, куда его и посадить. Обеденный стол был сплошь заставлен соленьями, маринадами, да так, что для тарелок и места оставалось мало. Были и свои наливки из здешних ягод: брусники, смородины, клюквы. Была рябиновая настойка, приготовленная по какому-то особому семейному способу. Дюжев любил хорошую народную еду, но такой гаммы русских блюд ему видывать не приходилось. И он охотно отведывал все, что ему клали, отставляя в сторону лишь напитки.

— Ну что вы, Павел Васильевич! Зоин батюшка, муж мой покойный, говаривал: сие и монаси приемлют,— настойчиво угощала теща Ворохова.

— Это же детское, здесь и градусов-то нет. Товарищ полковник, ну выпейте, ну что вам стоит, ну ради меня! — ворковала Зоя, как будто была она все еще прежней тоненькой, хорошенькой восемнадцатилетней, единственной дамой за праздничным офицерским столом.

— А ваш муж?

— «Твой», товарищ полковник, «твой», не зовите меня на «вы». Карлику нельзя, он же у меня насквозь больной. Наш профессор, он, конечно, здешний, старосибирский, но тоже знающий и деньги большие берет, он запретил Карлику всякую работу, физическую и умственную. Никаких волнений, категорически... А пить — боже сохрани!.. Да, Карлик, ты принял эти самые синие катышки?

На отечном лице Ворохова появилось испуганное выражение.

— Ой, забыл! Уж больше полчаса пропустил.— Он торопливо выхватил из кармана коробочку, долго отсчитывал какие-то крупицы, досчитал до пятнадцати, озабоченно положил в рот, налил было из кувшина воды, но Зоя вырвала стакан.

— Это же из бассейки. Это для полковника, а для тебя отварная.

— Так ты же, Карл, только принял какую-то пилюлю? — спросил Дюжев, которому было и смешно, и грустно, и досадно, и любопытно.

— То, Павел Васильевич, от профессора, от аллопата, а катышки — это гомеопат. У него все здешние народные артисты лечатся. Лупит, правда, больше профессора, но я ему больше и верю...— Говоря о болезнях и врачах, Ворохов заметно оживлялся.— Со мной тут еще один приходит гимнастикой заниматься по системе йогов. Что поделаешь? Из каждого положения есть два выхода, и тут либо вот глотай все это, либо ложись да помирай...

Веселая поговорка майора Ворохова о двух выходах из любого положения заставляла когда-то окружающих улыбаться, даже под бомбежкой или артиллерийским обстрелом. Теперь она прозвучала жалко. Кроме болезней в этом доме столь же охотно говорили о том, как с небольшого участка, с домашней теплички и парников извлекать доходы. Зато любая попытка Дюжева перевести

разговор на дела строительства уходила в песок, не оставляя следа. «Неужели человек может так перемениться?» — поражался гость. И хотя за ним ухаживали, наперебой угощали, он испытывал тягостное чувство.

— Ты, Павел Васильевич, человек одинокий. Мамаша тебя в сыны запишет, будет у тебя здесь отдельная комната, та, что наверху, или вот эта, внизу,— любую выбирай... Будешь у нас как сыр в масле кататься,— сулил Ворохов, и заплывшие глазки его влюбленно поглядывали на гостя.

Дюжев знал, что обычно после одной-двух рюмок майор весь как-то раскрывался, становился особенно милым, веселым, душевным.

«Выпить, что ли, с ним, попробовать?» Но слово, данное Литвинову, как бы стояло на страже — не смей, а вдруг... Но ведь кто-то сказал: «Отвыкая курить, держи пачку папирос в кармане». Дюжев, Ворохов и два их товарища-офицера бросали курить на фронте в самую тяжелую пору сражений, в разгар битвы на Волге — 7 ноября. Бросали, испытывая волю. Двое погибли, а он не курит, и до сих пор даже сам запах табака ему противен... Э, была не была!

— Ну, Карл, так уж и быть, по единой, по наркомовской, по фронтовой.

На миг на толстом лице хозяина появился испуг. Потом Ворохов виновато оглянулся на дверь, что вела на кухню, где были женщины, дрожащей рукой налил две стопки из первой попавшейся бутылки.

— Из каждого положения есть два выхода: либо не пить, либо... Выбираем лучшее.— Он как бы вонзил в себя жидкость и закусил соленым груздем, выпачкав губы сметаной. Подождав, пока Дюжев с задумчивым, сосредоточенным видом допьет свою, он налил еще.— Эх, первая колом, вторая соколом! — И торопливо опрокинул ее, до того как дверь в кухню растворилась и Зоя появилась в ней, торжественно неся блюдо с пельменями, а мать, следовавшая за ней,— уксус и перец.

И все-таки женщина догадалась. Почти бросив на стол блюдо, она кинулась к мужу:

— Что ты делаешь, Карлик?.. А вы, товарищ полковник, как же вы ему дали? Это же для него яд.— Она попыталась убрать со стола графины, но муж не дал.

Действительно, он менялся на глазах. В этого толстого, казалось раз и навсегда обрюзгшего человека, не ме-

няя его сегодняшнего облика, как бы возвращался прежний Ворохов.

— Карлик, умоляю... Полковник, прикажите ему! — металась Зоя.

— Карл Мартьянович, побойтесь бога! — вторила теща.

— Брысь! — крикнул Ворохов и хлопнул по столу так, что тарелка опрокинулась и грузди, как лягушки, зашлепали по полу.

Женщины бросились подбирать осколки, а Ворохов, все больше хмелея, презрительно глядел на них.

— Они тебя, Дюжев, думали тоже в эту мышиную нору затащить: поселишься, будешь проектики по давальческим заказам для колхозов делать. Шабашник с дипломом, выгодный квартирант!.. А ты прежний, нержавеющий. Выпьем за прежнее! — Ворохов опрокинул еще стопку и сильным, приятным баритоном завел:

...С берез, неслышим, невесом,
Слетает желтый лист,
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.

Полковник, помнишь нашу свадьбу в Польше, в Соколуве?.. А ну подтягивай, Зоя! Худо ли тогда было!

И, будто подчиняясь гипнозу воспоминаний, толстая женщина чистым, как первый ледок, голоском, из-за которого в свое время ее чуть было не увели в армейский ансамбль, поддержала:

Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы,
Товарищи мои...

Теперь пели втроем. Дюжев вспомнил и этот вечер, и эту песню. Война уже догорала, его часть давно не разрушала, а только строила. Мосты на запад. Была весна, в воздухе пахло черемухой, победой, и под эту любимую песню тех дней всегда вспоминалась ему та давняя московская весна, когда Ольга, оканчивая институт, переходила в ординатуру и они по ночам просиживали, прижавшись друг к другу, на мокрых скамейках в голом парке у Большой Пироговской, слушая шлепанье тяжелых капель. И хорошо мечталось под эту песню о том, как после недалекой уже победы вернется он домой к жене,

к сыну, как заживут они втроем в своей квартирке, полученной всего за несколько месяцев до начала войны.

Под этот вальс осенним днем
Ходили мы на круг.
Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг...

Они пели в унисон. Пели, не замечая, что слезы стоят у них в глазах. Теперь их снова ничего не разделяло, и шустрая старушка, чувствуя свое бессилие, поджав пухленькие губки, зло смотрела на Дюжева черными крысиными глазками.

— А ну, полковник, расширим сосуды! — сказал Ворохов, наливая еще.

— Карл Мартьянович, а профессор что скажет? Зоя, не вели ему!

— Для расширения сосудов... Павел Васильевич, я тебя насквозь вижу. Ты ж меня тащить к себе приехал из этой мышиной щели на большие ветра... Ошибся, друг, опоздал... Нет больше инженер-майора Карлушки Ворохова, есть старый тещин тюфяк. Из каждого положения есть минимум два выхода, а из этого... только в могилу. Всё, конец...

— Карлик, родной, ну прими этот синий катышек! У тебя же такое расстроенное здоровье!

Вырвавшись из колдовского обаяния старой фронтовой песни, Зоя становилась прежней.

— Брысь! Я, бывший гвардии майор, говорю с другом. Павел Васильевич, кто я теперь? Ну, не знаешь? Я теперь Тыбы.

— Это что же за звание? — вяло поинтересовался Дюжев. Хмель не брал его. Он был трезв и тяжело боролся с возраставшим желанием пить дальше.

— Это — мое звание, Тыбы... «Ты бы в аптеку сходил...», «Ты бы кадки пропарил...», «Ты бы за свет уплатил...» Тыбы — вот кто я, понял? — Невесело хохотнув, он вышел из комнаты, вернулся с пачкой «Казбека».

— Карлик! — метнулась жена, но он грубо оттолкнул ее и протянул коробку гостю:

— Сузим сосуды.

— Не курю...

— Все еще не куришь? Фронтовая клятва? А я закурил. Тайно от них предаюсь этому пороку...

Дюжев смотрел на друга. Вот теперь перед ним был прежний Ворохов, но какой же он жалкий, растерянный,

смятый! И Зоя — у нее тот же голос, звонкий, чистый, но во что превратилась эта девочка, в которую когда-то были влюблены все молодые офицеры его штаба?! Было жаль, хотелось помочь, что-то сделать, но он не знал, что для них хорошо и что плохо. Это были, в сущности, незнакомые, далекие люди, лишь носившие принадлежавшие когда-то иным людям имена.

— Тыбы! — продолжал Ворохов.— На надпись на собачьей табличке обратил внимание? «Злая и жадная собака...» Мальчишки сделали. Правильно сделали.

— Хулиганье, уж такое хулиганье!.. Нигде такого хулиганья и нет. Третью дощечку пакостят,— запричитала теща. Сидя у краешка стола, она все время быстрыми движениями клала что-то себе в рот и мелко-мелко жевала.

— Правильная надпись... Они к нам за яблоками, а я кобеля спустил... Видал кобеля? Родословная, как у Черчилля. Зверь!

— А как же с ними иначе, Карлик? Если бы только яблоки — они ж дерево сломали, лучшую яблоню, «стелющийся пепин шафранный».

— Брысь!.. Верно, злая и жадная собака: на детей — кобеля... Ну, давай налью, Павел Васильевич. Ты слушай, слушай. Тут в бане в парилке с одним каким-то типом мы друг друга вениками обрабатывали. Запыхался я, говорю: «Счастливый, легко тебе, а у меня вон брюхо, аж ног не вижу». А он: «Дело поправимое, средство знаю. За месяц твое брюхо начисто выведу». Обрадовался я: «Какое?» А он: «Ты Тыбы?» — «Ну, Тыбы»,— отвечаю. «После бани ставь полдюжины пива с хорошим закусом — скажу».

— Уж сколько раз, сколько раз, Карл Мартьянович... Беда: как выпьет, так и начнет...— закудахтала теща.— Серый человек глупость сказал, а он забыть не может...

— Брысь!

— Ну-ну, дал средство-то? — Дюжев слушал и не слушал.

Он нарушает слово, он пьет. Это страшно. Как магнит притягивает взгляд бутылка водки, стоящая в стороне от разноцветных настоек и наливок. Под ложечкой сосет, ознобная зевота сводит челюсти... «Ну еще совсем немножечко, ну и что будет? Выпью и лягу спать... Нет, нет, нет... Да ведь чепуха, что будет со стакана?» Он презирал себя за самую эту внутреннюю борьбу, но не

думать об этом не мог. И, чувствуя, как слабеет воля, старался отвлечься от этих дум.

— Ну, и какое же средство сказал?

— Сказал,— невесело усмехнулся Ворохов.— Допил он мое пиво, доел последний бутерброд и говорит: «Сколько пенсии тебе идет?» Ну, столько-то. «А семейство велико ли?» Такое-то, отвечаю. «Я, говорит, на все плечо вкалываю и меньше тебя зарабатываю. И ребят трое. Давай поменяемся — за месяц все лишнее подберет. С гарантией...» И ушел, не поблагодарив даже за угощение... А? Каково, полковник, Карлушке Ворохову такое слушать?

Дюжев расхохотался.

Ворохов не сразу, но все-таки присоединился к нему. И вдруг, снизив голос, быстрым шепотом спросил:

— А что ты там на стройке мне предложишь? Поди, какого-нибудь отставной козы барабанщика изображать при твоей персоне? Ну говори, пока баб нет.

И, будто вызванные заклинанием, обе женщины разом возникли в дверях.

— Карл Мартьянович, как же это так? Вам такую жизнь устроили, все завидуют, профессоров, гомеопатов к нему водим...— причитала старуха. И вдруг набросилась на Дюжева: — А вам не стыдно? Люди пожалели, лучшую комнату хотели ему отвести, старались, стряпали... Бессовестный!

Дюжеву было противно. Он понимал: нужно встать и уйти. Но он не вставал и не уходил, весь уже связанный этим, таким ему знакомым, тягостным безволием, все более овладевавшим им.

— Нешто это хорошо, больного человека спаивать? Сам алкоголик, ну и жри, а зачем других-то?..— Старуха наскакивала на Дюжева, как наседка, защищавшая цыпленка от ястреба.

— Замолчи, инфекция! — Ворохов вскочил, сжав кулаки.

— Это какая ж такая инфекция? Да такого и слова-то нет...

— Не могу же я тещу заразой называть!

— Заразой! Да за такое слово я тебя в суд потащу.

Ворохов замахнулся бутылкой, но гость крепко перехватил его руку. А старуха уже кричала откуда-то из-за двери:

— И дом-то не твой, не твой... Он на Зоеньку записан... По суду выселим, со срамом. И уйдешь...

Все было как в какой-то пьесе Островского. Дюжеву было физически противно, хотелось выбить стекло, впустить свежий воздух. А Ворохов мотнул лысой головой, будто отбрасывая назад былые свои кудри.

— Вот так и живем! Так что же ты мне предложишь, полковник?

— Ничего,— ответил Дюжев.— Ничего, Карл Мартьянович. Ничего.

— А я хочу знать. Садись. Выпьем. Все равно плохо.

Теперь никто им уже не мешал. Откуда-то издалека, будто из другого мира, доносились рыдания, злой старческий шепот, басовитый лай кобеля. Загроможденный закусками стол, комната, набитая вазочками, статуэтками, вышитыми салфеточками,— все это нечетко, как мираж, зыбилось перед глазами Дюжева, а фронтовой товарищ сидел перед ним таким, каким видел он его в последний раз, когда внезапное половодье разрушило их творение, на которое они возлагали столько надежд. Этот прежний Ворохов понимал все с полуслова. Вспоминали они разное: дорогие обоим боевые приключения, живых и мертвых друзей. Многих, многих уже не было...

— Снаряды ложатся близко,— хрипел Дюжев. Он сам наливал, пил вприхлебку, как чай. Пил, чтобы не вспоминать о нарушенном слове, о деле, которое ждет, о собственном безволии и об этой проклятой силе, которая снова схватила его, несет, несет.— Да, майор, снаряды ложатся близко.

— В нашем квадрате, полковник, в нашем квадрате. Скоро и нас накроет. Выпьем снова, выпьем тут: на том свете не дадут. Ну а если и дадут, выпьем там и выпьем тут...— И запел любимую:

...Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили милого ножки.

И вслед за ним густой, мягкий бас подхватил:

Позарастали мохом-травою,
Где мы гуляли, милый, с тобою...

Из соседней комнаты слышался плач. Но это не были давешние злые рыдания. У Дюжева сердце защемило от жалости.

— Ждала тебя, полковник, мечтала, к лучшему парикмахеру бегала, видишь, кудри навила,— невесело усмехался Ворохов и, повернувшись к Дюжеву, чуть не

упал со стула.— Поди уж, утешь... Она ведь тоже вроде меня. Она,— Ворохов многозначительно поднял палец,— она тоже разная...

Дюжев пошел в соседнюю комнату. Свет в ней был важжен. Пахло смесью острых духов и лука. Все плыло, качалось. В углу на диване темнел неясно очерченный женский силуэт. Он сел возле. Ему казалось, что плачет не эта, не сегодняшняя Зоя с фигурой, похожей на гитару, а тоненькая девушка, которая когда-то следила за ним влюбленными глазами. Он положил руку на вздрагивающий затылок, погладил мягкие волосы. Она взяла эту руку, зарыла в ладонь мокрое лицо. Ладонь ощутила поцелуй теплых вздрагивающих губ. Звонкий голосок, будто долетавший из далекого прошлого, умолял:

— Товарищ полковник, не трогайте вы его, не бередите ему душу... Ну, ради меня... Ведь он совсем больной.— И опять мягкие губы коснулись ладони.

Дюжев уже не понимал, чей это голос, не мог разуметь, о чем его просили и кто просил. Ему было просто приятно слушать, и он задремал в теплой, покачивающейся, плывущей полумгле...

Проснулся рано, со страшной тяжестью в голове, чувствуя: произошло что-то непоправимое. Бил озноб. Руки и ноги дрожали, все качалось.

Возле дивана кто-то оставил на табурете бутылку водки, стакан и кувшин с капустным рассолом, источавшим густой запах погреба. Дюжев знал, как в одно мгновение снять это гнуснейшее, тягостнейшее состояние. Дрожащей рукой налил он в стакан водку и, преодолевая отвращение, поднес ко рту. И вдруг как наяву встал перед ним Старик, смотрящий прямо в лицо своими синими-синими глазами. Дюжев оторопел, отпрянул. Захотелось отбросить стакан, как ядовитое насекомое, но, преодолев этот панический порыв, он осторожно поставил стакан обратно. Поднял кувшин с рассолом и прямо через край стал пить холодную, приятно солоноватую жидкость. Пил он долго. Утолив жажду, огляделся. Он спал одетым, даже в сапогах... Чтобы подняться на ноги, ему пришлось точно бы отклеивать себя от дивана... «Глоток, один только глоток, ну что будет от одного глотка?..» Быстро поднял стакан и опять осторожно поставил... Почему-то опять вспомнилось, как на фронте он бросал курить. Немцы по ночам кричали через ничейную полосу в какую-то трубу, адресуясь к командиру дивизии: «Родимцев, морген Вол-

га буль-буль!» До реки оставалось метров триста... Дюжев снова поднял стакан. Подержал, даже понюхал и поставил. Усмехнувшись, двинулся к выходу.

В столовой его ждал завтрак.

— Товарищ полковник, куда же вы? — окликнул звонкий голосок, всю ночь звучавший в странных его сновидениях. Толстая Зоя, кутаясь в клетчатую шаль, вопросительно-выжидающе смотрела на него.

— Спасибо... Я пойду.

— Ну, идите.— Смахнув слезу, она тихо добавила: — Не забывайте...

Пока он надевал шинель, папаху, в соседней комнате шуршали женские голоса. Или они звучат в больной его голове? Не мудрено: стены покачиваются, в ушах звенит...

— До свидания, хозяева! Спасибо за все! — Он постарался произнести эти слова как можно бодрее, громче.

— Товарищ полковник, помните, вы мне обещали,— многозначительно прозвенел голосок из прошлого. Разница между голосом, сохранившим всю свою юность, и лицом, на котором знакомые миловидные черты были лишь как бы маской, больно ужалила Дюжева.— А может, все-таки покушаете?

— Нет, уж я в аэропорту.

— Тогда я пойду посажу Джека на цепь.— Зоя вышла во двор. — Джек, Джечек!.. Идите, товарищ полковник, теперь ничего.

Дюжев старался шагать прямо, и потому походка у него была нарочито четкая, как на параде. За калиткой слышалось пыхтение. Толстый, с обрюзгшим лицом, еще более опухший, Ворохов возился с тем же электрическим звонком, приделывая над ним жестяной навесик. Он поднял на Дюжева покрасневшие глаза с набрякшими веками.

— Доброе утро, Тыбы!

— Здравствуй, Павел Васильевич,— тихо ответил Ворохов, вытирая рукавом пот со лба.— Видишь, какой стал. Велика ли работа, а вспотел. Сэрдце, пэчень...

— Ну, а как же вчерашний разговор? — Дюжев, изо всех сил стараясь стоять прямо, прислонился спиной к телеграфному столбу.

— Какой там разговор! Мало ли что человек спьяну наболтает!.. Ничего не помню.

— Так-таки ничего?

— Ну что ты от меня, Павел Васильевич, хочешь? Была война. Майор Ворохов, как тебе известно, от пуль не прятался. Двадцать пять лет в армии отгрохал, полный бант орденов. Ну а сейчас пусть, кто молод, энтузиазм проявляет, а я советскую власть благодарить буду за то, что она для меня сделала.

— Стало быть, Карл, худеть не хочешь?

— Не пойму я, к чему это? Плох я был вчера. Себя не помню. Зоеньку вон обидел, мамашу оскорбил... Прощай, Павел Васильевич! Видать, разошлись наши дорожки.

И они холодновато протянули друг другу руки на пустынной улице, по которой рабочие уже прошли на свои заводы, фабрики, верфи. Было морозно, воздух был чист, студен, снег круто скрипел под сапогами.

Вчерашнее мерещилось смутно и почему-то напоминало Дюжеву недавний охотничий случай. Подбираясь по болоту к уткам, он угодил в чарусу — в трясину, притворяющуюся веселеньким зеленым лужком. Непрочный дерновый слой, зеленевший среди белесого кочкарника, вдруг прорвался, ноги ухнули в жижу и стали быстро погружаться в нее. Дюжев испугался, закричал, хотя знал, что никто, кроме сороки, севшей рядом, его не услышит и никто не может ему помочь, и тогда, взяв себя в руки, победив сковывающий страх и желание поскорей вырваться, он осторожно положил ружье плашмя на нетронутый дерн, налег на него грудью и стал медленно освобождать ноги. Вытащил. Опираясь на ружье, ползком добрался до кочки и, весь в липкой грязи, бессильно лег, уткнувшись лицом в белесый мох, с ощущением великой победы, огромного счастья — счастья жить. И вот сейчас, слабый, дрожащий, он тоже внутренне ликовал: стало быть, и этот беспощадный, грозный недуг отнюдь не всесилен. «А ведь и верно, черт возьми! Курить надо бросать, имея пачку папирос в кармане». И, будто испытывая себя, Дюжев в ресторане аэропорта присел к столику, стоявшему возле буфета. За стойкой полная блондинка в кружевной наколке священнодействовала с мензуркой, отмеривая официанткам в графины, графинчики, стопки, лафитнички разное количество граммов разных крепких напитков. Прихлебывая из стакана жидкий ресторанный кофе, Дюжев смотрел на это священнодействие и вызывающе усмехался.

И вдруг до его сознания дошли два слова: «Литвинов» и «инфаркт». Вздрогнув, он оглянулся. За соседним

столиком сидели какие-то люди, судя по всему только что прилетевшие издалека. Они разговаривали. Дюжев подскочил к ним: так ли он расслышал? Те ответили: так. Они садились в дивноярском аэропорту, а там только и разговоров, что вчера инфаркт хватил начальника строительства.

У трапа, перед погрузкой в самолет, новость эта была уже у всех на устах. Никто ничего точно не знал, но, как всегда бывает в таких случаях, сообщение уже обросло подробностями: инфаркт тяжелый... Случился он где-то далеко от строительства, будто бы даже в тайге. Больной нетранспортабелен. Из Старосибирска специальным самолетом вызвали известного кардиолога, но надежд мало...

«Как же это? Что же это?.. Эх, Старик, Старик!» — думал Дюжев. Думал и сам удивлялся, что даже эта печальная весть не гасит в нем радости первой победы над своим недугом.

10

В трудные моменты Федор Григорьевич Литвинов превращался в сгусток энергии. Он мог работать без устали сутками, мог утомить всех сотрудников, а сам при этом оставаться свежим, деятельным, целеустремленным.

Такой прилив энергии накатил на него, когда пришло известие об исчезновении комсомольцев-геологов. Как только боль в левой части груди немного утихла, он ринулся к телефонам. Валя едва успевала соединять с ним нужных людей в общежитиях оньской комплексной экспедиции, в райкоме, в «Красном пахаре», в Старосибирске.

Картина, предшествующая исчезновению, была ясна. Известно было, что партия Илмара Сирмайса, добравшись на вездеходе по льду реки до лабазов рыболовецкого колхоза, десять дней назад ушла в тайгу по руслу речки Чернавы. Она двигалась целиной, углубилась довольно далеко и вдруг замолчала. В последней радиограмме значилось: «Завязывается буран. Строим шалаши». На этом передача оборвалась.

В Дивноярске кое-кто знал, что геологи-комсомольцы почему-то срочно и в неурочное зимнее время отправились в тайгу. Ходили смутные слухи о каких-то чрезвычайных открытиях, которые были сделаны осенью и которые теперь нужно было уточнять. И люди гадали: что же такое было найдено,— потому что геологические

партии в разгар зимы выходят на изыскания лишь в исключительных случаях.

Случай действительно был исключительный. Партия Сирмайса, обследовавшая район впадения Чернавы в Онь в поисках известняков, песка, гравия, которые могли понадобиться для строительства второй ступени Оньского каскада, под осень, уже завершая работы, сделали неожиданную находку. Ища на ночь укрытие от налетевшего свистограя, коллектор увидел на дне глубокого оврага геологический молоток. Затем под огромным выворотнем был обнаружен почти истлевший рюкзак с образцами. В кармашке рюкзака была «Полевая книжка геолога». На следующий день партия, рассыпавшись, тщательно обследовала откос оврага. Отыскали ржавое ружье с полусгнившим прикладом, патронташ, несколько пустых гильз, клочки растерзанного тряпья и, наконец, заросшие травой разрозненные человеческие и волчьи кости.

Номер «Полевой книжки» не уцелел, но записи, сделанные карандашом, можно было разобрать. Геологи прочли имя погибшего — Кафий Салхитдинов. Год гибели — 1941. Отрывок из инструкции, напечатанной на первой страничке, предписывал: «При утере обязательно заявить руководству экспедиции». Многозначительное обращение говорило: «Нашедшему эту книгу выплачивается вознаграждение по адресу: Москва, Кузнецкий мост, 17». Обычная эта надпись, напечатанная типографским способом на заглавном листе, в данном случае звучала трагически. Но до того, как все это было разобрано на полуистлевшей бумаге, Сирмайс успел осмотреть образцы и выяснил, что погибший, по-видимому, в схватке с голодным зверем Кафий Салхитдинов обнаружил где-то в окрестностях залежи ценной, очень необходимой стране руды. Отличные образцы, лежавшие в рюкзаке, не оставляли никаких сомнений. Это было настоящее открытие, потому что этих ископаемых никто здесь и не предполагал. Но грянули морозы, и поиски пришлось прекратить. Останки погибшего были погребены на холмистом берегу Чернавы, под огромным кедром. Геологи, как солдаты, отдали погибшему честь залпом из охотничьих ружей. Образцы были доставлены в Дивноярск. Их тотчас же отослали в Москву, в Академию наук. Да, они были великолепны, эти образцы. Находка представляла исключительный интерес. На Онь посыпались запросы: «Где? Сколько? Ка-

кие условия добычи? Какие средства сообщения?» Но в тайге бушевали метели. В иные ночи ртуть замерзала в термометрах. Кто мог ответить на эти вопросы?

И вот однажды секретарь комсомольского комитета Оньстроя Игорь Капустин предстал перед Литвиновым с двумя членами молодежной геологической партии: Илмаром Сирмайсом и Василисой Седых. Комсомольцы предлагали организовать на Чернаву зимнюю вылазку для поисков шурфов Салхитдинова. Литвинов, не забывавший о находке, даже разволновался. Молодежь оказалась решительней и предприимчивей, чем руководители оньской экспедиции, чем он сам, начальник строительства. Так он и сказал пришедшим:

— И правильно делаете. И надо на пятки нам наступать. Сугубо нужные металлы найдены. Затылки чесать над образцами некогда... Но...

Дело было не только в металлах. В инстанциях решалась судьба второй ступени Оньского каскада — Усть-Чернавской ГЭС. Речь шла о самой заветной мечте Литвинова — не разрушая уже сложившегося коллектива, постепенно, партиями, переводить по мере освобождения строителей из Дивноярска вниз по реке, на Чернаву. По расчетам, это могло невиданно ускорить строительство второй ступени и значительно бы его удешевило. Но у такого проекта были и противники. Им, этим противникам, подобное решение казалось недопустимым распылением сил... «Дострой Дивноярскую, освой ее, создай вокруг нее промышленный комплекс, потребляющий энергию, и тогда уж думай о другой»,— говорили они. И приводили не менее веский довод: «Ну, допустим, построишь быстро вторую ступень, а куда денешь энергию?» И это было тоже резонно. А тут ценнейшие ископаемые, на самой Чернаве, по-видимому недалеко от створа предполагаемой плотины. Заводы, воздвигнутые на этом месторождении, станут крупнейшим потребителем тока. Может ли быть более веский довод «за»?

Сирмайс, этот молчаливый латыш, у которого за лето волосы стали совсем льняными, твердо смотрел на начальника светлыми глазами и, теребя в руках флотскую фуражку-мичманку, говорил:

— Пожалуйста. Мы просим. Весьма важно.

Василиса, привыкшая, что в ее семье Литвинова считают своим, настаивала:

— Федор Григорьевич, ну что вам стоит!.. Это ж недалеко. Ну и что ж, что зима? Помните, дед говорил: «Где дураку по пояс, там умный сух пройдет»? Честное комсомольское, мы найдем его шурфы. Они где-то тут, недалеко...

А Игорь Капустин, этот юнец, которого Литвинов уважал за энергию, настойчивость и особенно за то, что он успел уже отказаться от многих лестных, сделанных ему Литвиновым предложений и остался на комсомольской работе, говорил:

— За геологов мы ручаемся. Самых лучших отобрали. Нас и ЦК комсомола поддержит. Я уже «добро» от них получил...

Энергичная троица напирала. Казалось, она сговорилась не уходить, не добившись положительного решения. Литвинов улыбаясь глядел в возбужденные лица, слушал задорные голоса. Будто собственная молодость, будто днепростроевские времена смотрели на него этими ясными, твердыми глазами... Жалуются на молодежь, ворчат, что вялая, аполитичная, не интересуется тем, другим, какие-то там американские танцеплясы выдрючивает... Так, други ж мои милые, не смотрите вы на нее на улице Горького, на Крещатике, на проспекте Руставели! Сюда, на Онь, приезжайте... А что вопросики ядовитые задает, науки в пилюлях, в вытяжках, в концентратах потреблять не желает, до всего хочет своим умом дойти, так это же хорошо, это же чудесно! Такими ж и мы были, когда у нас еще усы не росли. Вспомните-ка, молодость всегда вспоминать полезно.

Вон они сидят — начальник геологической партии, еще не окончивший институт и уже сделавший эту огромной важности находку, комсомольский секретарь, в организации которого шесть тысяч членов, простая колхозная девчонка... Сколько здесь таких!

— Сирмайс, тебе сколько лет? — спросил вдруг Литвинов, прерывая его доказательства.

— Двадцать четвертый,— настороженно ответил начальник партии.

— А тебе?

— Двадцать два,— сказал Игорь Капустин, встревоженно оглядывая своих спутников.

— Почти девятнадцать,— опустив глаза, произнесла Василиса, будто признаваясь в чем-то предосудительном.

Наступила пауза.

— Счастливые вы, черти! Сколько ж вы еще увидите! — сказал вдруг начальник и посерьезнел: — Добро... Будет по-вашему. Готовьтесь...

Так, ни с кем не согласовав, не заручившись ничьей поддержкой, Литвинов на свой страх и риск благословил молодежную экспедицию в путь, экипировав ее на средства строительства. Худа не будет. Пусть попытают силы. Пусть скорее найдут эти шурфы Салхитдинова... Как они нужны! Как важно теперь, когда вопрос об Усть-Чернаве вот-вот может встать на обсуждение, подтвердить открытие трагически погибшего геолога!

...И вот партия исчезла. На крупномасштабной карте, разложенной на полу кабинета начальника Оньстроя, от обреза до обреза зеленая краска. Тайга, девственная тайга, лишь изредка прошитая голубыми венами рек да серевющая косой штриховкой болот. Вдоль Они до Усть-Чернавы почти сплошное пустолесье. Лишь несколько сел, далеких друг от друга, льнули к берегам великой реки. То место карты, откуда, как предполагалось, была принята последняя передача,— сплошная зелень. Леса. Где ж тут отыщешь горстку людей? И что с ними? Буран? Мороз? Какая-то неведомая опасность, а может, и беда?

Литвинов вызвал из Старосибирска многоместный вертолет и на тот случай, если в рации геологов испортился лишь передатчик, приказал радиостанции ежечастно работать на их волне.

Под утро, когда два члена спасательной тройки, секретарь райкома партии Николай Кузьмич и районный военный комиссар, ушли проверить спасательную группу, Литвинов прилег в кабинете на диване. Но через час вскочил и приказал Вале, которая тоже просидела на своем месте всю ночь:

— Секретаря райкома! Начальника комплексной экспедиции. И еще позвони товарищу Петину, извинись за ранний звонок, слышь, обязательно от моего имени вежливенько извинись и попроси зайти. Скажи: сугубо важное дело. Улетаю...

И когда на заре вертолет снялся с запорошенного снегом речного льда, Литвинов сидел в нем вместе со спасателями. Это были опытные таежники из охотничьей бригады «Красного пахаря». Их собаки, небольшие, мохнатые, с черными острыми глазками, сбившись в кучу,

испуганно теснились в углу. Лыжи и ружья каждый держал, зажав между ног. Рядом с Литвиновым, покуривая, то и дело посматривая в окно, вниз, сидел Анатолий Субботин. Среди всех этих людей, для которых скитания по таежному бурелому были делом привычным, лишь Игорь Капустин выделялся бледностью лица, городской одеждой. Его не хотели брать. Он упорно утверждал, что отвечает за судьбу комсомольцев, и, увидев, что переубедить этого парня не удастся, Литвинов махнул рукой: пусть летит.

Когда земля как бы провалилась под вертолетом и, покачиваясь, полетела вниз, Литвинов, занимавший переднее, возле иллюминатора, сиденье, оглядел спутников. Никто из них до этого и вблизи не видел вертолета. Но все казались спокойными, курили, негромко толковали о каких-то своих делах. Удивил Литвинова молодой возраст охотников: мальчишки. Даже у самого старшего, имевшего негустую бородку, она казалась приклеенной. И тут снова пришла Федору Григорьевичу на ум часто посещавшая его в последние годы мысль: не мир кругом молодеет, а ты стареешь, мой друг. Но сегодня эта мысль долго в голове не задержалась. Взгляд упал на строительный пейзаж, открывшийся внизу в сверкании снегов, и Литвинов счастливо прищурился: «Как быстро все меняется! Давно ли вот так, вися над совсем пустынной рекой где-то здесь, между Дивным Яром и Бычьим Лбом, бросали чугунную доску с надписью: «Онь, покорись большевикам!» А сейчас вон кругом все ожило, и скоро, скоро покоришься ты большевикам, матушка моя». За спиной у Литвинова было уже немало обузданных рек, и все-таки сердце радостно екнуло: ведь нигде в мире, даже в Советском Союзе, не вводили такую реку в оглобли. А вон и город. Город в тайге, город без окраин, с ровными, будто по линейке проведенными улицами, с просторной площадью. И дальше, до самого горизонта тут и там дымы. «Нет, черт возьми, не зря живем на белом свете!» Эту мысль Литвинов произнес вслух, и удивленный Субботин переспросил:

— Что вы сказали?

— Время, говорю, быстро идет, и не замечаешь,— ответил Литвинов.— Сколько коммунистов раньше в районе было? Ты не знаешь?

— Без малого двести.

— А сейчас полных три тысячи! Это же, парень, сила! С такой силой знаешь что сделать можно! — И оба опять стали смотреть вниз, как бы прикидывая в уме, что можно сделать с такой силой.

Казалось, машина висит, будто привинченная к небу, а под ней бесшумно, медленно поворачивается земля. Дивноярск скрылся уже за кромкою горизонта, внизу текла тайга — ни селения, ни дороги, ни живого дымка.

— Как вы себя чувствуете, Федор Григорьевич? — спросил сзади Капустин, которому перед отлетом Валя наказывала следить за Литвиновым и даже снабдила на дорогу лекарствами.

— Как надо, так и чувствую,— отмахнулся Литвинов.— Ох как прыгаем!

— Что вы сказали?

— Шагаем, говорю, шагаем широко. А время летит — это от старости, парень. К старости время ух как торопиться начинает!

— Ну какая же старость! Вы у нас молодей молодого.

— Уж будто? Скажешь тоже! — довольно ухмыльнулся Литвинов. И все-таки подумал: «М-да, а насос-то сдает...» И, прижимаясь к спинке кресла левым плечом, под которым опять возобновилась эта острая, жгучая, пульсирующая боль, думает: «Вот Дивноярск на карту нанесем — пожалуй, придется все-таки дела сдавать... Но Усть-Чернаву, может быть, все-таки дадут... А? Посмотреть бы, как живет вот эта тайга между двумя энергетическими гигантами. Сугубо интересно бы посмотреть. Но вот насос... И эта почтеннейшая Дипочка, черт ее побери, с ее страхами, пилюлями... Покой!.. В одном-единственном месте хорош покой. Только шалишь, меня туда что-то не тянет».

— Передачи-то для них ведут? — спрашивает он, чтобы отогнать неприятную мысль.

— Каждые полчаса,— отзывается из-за спины Игорь.— Мы для них даже музыку на этой волне крутим. Может быть, слушают. За радио не волнуйтесь, там у меня чудесный парень.

Литвинов смотрит на резкий, энергичный профиль Игоря. В ночь, когда они познакомились, этот профиль казался цыплячьим... Цыплячий! Хо-хо! Три профессии за два года.

— Из института-то своего не сбежал?

— За второй курс сдаю.

— Ну и как?

— Да по-разному, неважно в общем-то, Федор Григорьевич. Тройку вот схватил. Бульдозиристом был — одни отличные, в десятниках появились четверки, а вот сейчас — тройка. Трудно: шесть тысяч комсомольцев.

— Капададзе тебя хвалит.

— Ладо Ильич хвалить любит... Но тут я как-то в воскресенье на лыжах уехал, задержался там... Непредвиденное обстоятельство. Может, от Вали слышали?.. А у меня молодые рационализаторы вечером собрались, и Ладо Ильич меня потом так гонял, небо тряслось.

— Это когда в буран попали?.. Кстати, как это там у вас получилось? Валенсия что-то темнит...

— Да ничего особенного... Лыжа сломалась, потом Юрка Пшеничный потерялся... А вот рационализаторов, верно, прозевал. И Ладо Ильич правильно мне говорил: это оттого, что сам все хочешь делать. Учись, говорит, работать с людьми, а не за людей.

«Хороший, хороший народец поднимается,— думал Литвинов.— Когда-то шумели о лесных школах. Сугубо чепуховая затея. Вот она, лесная школа. Тайга. Мускулы, опыт, коллективизм. Таких, как вот этот Игорь почтенный, как Василиса или как та пестрая девка, что Петровича охомутала, сверни-ка их теперь с пути... Эх, все хорошо, но эти в тайге! Найти бы их целыми...» Литвинов оглядывает спутников. Собаки утихли, лежат у двери сплошным меховым комком, только один кобель сидит навострив уши. Многие охотники спят. Бородатый задумчиво курит, и опять мысль сворачивает на годы: «Недаром ведь зовут Старик». Но вернуться к привычной мысли на этот раз не удается. Штурман, невысокий, немолодой человек в меховой, крытой чертовой кожей куртке, протиснувшись в дверь пилотского отсека, показывает карту:

— Усть-Чернава.

«Вот, вот она, дорогая». Внизу широкий снежный путь. Он разрезает тайгу белой полосой. Меньший рукав — Чернава — круто забирает в сторону и скрывается в гуще лесного массива, а дальше виден обледенелый каменистый порог с проплешинами в снегу, над которыми курятся туманы, и еще дальше — точно древняя крепостная стена из базальтовых нагромождений. Два утеса стоят как сторожевые башни. Замерзшая река, точно дорога, ведет в эти гигантские ворота.

— Здорово,— шепчет Литвинов.— Ни один гидротехник лучше не придумает.

— Что ж, Федор Григорьевич, скоро и тут дощечку кинете: «Покорись, Опь, еще раз»? — спрашивает улыбаясь Анатолий Субботин.

— Кинем обязательно! Вот решение выйдет да река лед сбросит, полетим и кинем,— что ты думаешь!

У Субботина на коленях своя карта. Он смотрит то на нее, то вниз, как бы привязывая к ней местность. Нащупав глазом в тайге ориентир, он ведет карандашом на север.

— От рыбного лабаза, я считаю, она их вот тут по ручью должна повести. Опытная, а это лучшая дорога. Так, товарищи? — спрашивает он охотников.

Они уже проснулись, некоторые смотрят через плечо на карту.

— Я так полагаю, они на Мефодиевом станке забазовались,— говорит старший из них, пощупывая рыжеватую бороденку.— Это тут одна крыша и есть. Больше жилья нету. Мы-от здесь в пятьдесят седьмом не одни бродни стоптали. Савватей покойный еще с нами был. Окромя Мефодиева станка, крыш тут нету.

— А Василиса тот станок знала? — спросил Субботин.

— А как же! Они тут с дедом две недели базовали. Помнится, старик все ругался: медведишка тут к их харчам подобрался, а у старика в стволе беличья дробь... Ушел медведишка.

— М-да, это правильно. Конечно, она их отсюда на тот станок и повела,— раздумывает Субботин. По его худому, скуластому лицу видно, как он взволновался, когда заговорили о девушке, имя которой он произносит с какой-то особой интонацией.

Принимается решение снизиться как только можно и двигаться вдоль предполагаемого пути геологов над лесной балкой. Теперь вертолет идет, едва не задевая колесами за высокие ели и лиственницы. Собакам передалось волнение людей. Они, нервно позевывая, рыщут по кабине, нетерпеливо подвывают.

— Так что ж тут увидишь с этой архангельской высоты?

— Ничего,— приглядевшись, и во тьме видно.

— Вон, вон лыжный след. Ей-богу, след! — вскрикивает бородач.

Все шарахаются к правому борту, машину кренит, из пилотского отсека показывается штурман. Он грозит кулаком в большой меховой рукавице. Радость оказывается напрасной.

— С твоим бы счастьем да по грибы ходить.— Охотники рассаживаются по местам.

Вид спутников вызывает у Литвинова улыбку. Вот такими, в заячьих треухах, в собачьих дошках, в меховых бродням, ходили тут люди во времена Ермака, и псы их, лохматые, с черными пуговицами глаз, были, наверное, такими же, и говорили люди так же, и так же при малейшем шорохе навастривали уши псы. И вот летят они на этой дюралюминиевой стрекозе, какая им вчера, может быть, и не снилась. Летят, покуривают самокрутки, сам черт им не брат, и от этой их деловитой уверенности спокойнее становится Литвинову.

— Эх, соседи, отыщем геологов — для всех банкет; не меньше чем по пол-литра на брата,— говорил он.

— По пол-литру-то нашего сибирского мы вам, Федор Григорьевич, сами поставим, а вот на добром посуле спасибо,— отвечает бородатый, но все-таки уточняет: — А при каком закусе пол-литра? При городском? — Но, глянув вниз, вдруг кричит летчику: — Эй, кучер, помедленнее-то твоя лошаденка бегает? Здесь он где-то, станок. Вот чую, где-то здесь. Тяни правую вожжу и давай кругаля.

Вертолет поднимается, тайга уже не заснеженное море с крупной зеленой волной, а что-то вроде мозаичного поля, выложенного мастером с богатой фантазией.

— Если с Василисой ничего не случилось, они живы.

— Да? — Игорь смотрит на Субботина. Он знает, что это за человек, знает, что чуть ли не весь колхоз сватает своего любимца Василисе и что она, увы, равнодушна к своему нареченному.

— Такой человек.

— Ну, а какой, какой? — настаивает Игорь.

Агроном косится на собеседника, вздыхает:

— Знаешь же...

— Дым! — вскрикивает молодой охотник, парень огромного роста, которого все зовут Серёнькой.— Дым, дым!

«Ой, что-то опять плечо закололо! Где он, этот дым? Только бы не ошибся»,— думает Литвинов и, протерев рукавом стекло, смотрит вниз. Действительно, над верши-

ной кряжистого кедра будто бы пошевеливается синий дымок. Но летчик его уже заметил и, чуть подняв машину, направляет в ту сторону.

— Начальник, не забудь обещанного,— напоминает бородач,— а то бывает, тонул — топор сулил, а вытащили — топорища жалко... Выпивон с хорошим закусом.

— А может, это не они?

— Кому же тут костер палить, медведям?

Теперь Литвинов следит за тем, как растет, приближаясь, дым. Ну, конечно, костер! Вот проплыл внизу старый кедр, за ним среди низкорослой молодой поросли маленькая полянка... Костер... У костра люди. Они машут, что-то кричат, приложив ладони ко рту.

— Вот и нашлась бабкина пропажа у дедушки в штанах,— ворчит бородатый, который, по всему видать, разочарован таким легким исходом экспедиции. Но тут же выкрикивает: — Стой, их тут пятеро! И Васки нет. Кучер, говори «тпру»!

Земля подскакивает и плотно прижимается заснеженным своим боком к колесам летучего головастика. Люди, а за ними и собаки выпрыгивают из люка на снег. Их встречают молодые геологи с загорелыми, обросшими лицами. Растительность делает их старше, но в глазах блестит детская радость. Радость и смущение.

— Что у вас тут? — с досадой спрашивает Литвинов, морщась от боли, которая во время спуска вертолета опять вцепилась ему в плечо.

— Онемели... Передатчик сломался,— виновато отвечает маленький чернявый паренек, армянин или азербайджанец, лицо которого заросло так, что напоминает сапожную щетку.— Прием есть, передачи нет. Конфуз, товарищ начальник.

— Все живы-здоровы?

— Все живы-здоровы.

— А где Седых? — спрашивает Субботин, нетерпеливо врываясь в беседу.

— Они с Илмаром, то есть с товарищем Сирмайсом, с начальником партии, вчера утром ушли на почту. Тут недалеко, километров пятьдесят... Как приняли по радио, что вы там колбаситесь...

— Колбаситесь? — грозно переспрашивает Литвинов.

Теперь его разбирает досада. Он даже видит перед собой насмешливое лицо Петина, слышит, как тот

произносит со своей обычной спокойной снисходительностью: «Я же вам говорил, нет смысла из-за ложной тревоги бросать дела...»

— Виноват, я хотел сказать, беспокоитесь, товарищ начальник,— оправдывается парень, обросший, как сапожная щетка.— Они и пошли доложить, что все в порядке... Сегодня вечером, наверное, будут... Они же о вертолете не знали...

— А работы как?

— О, работы! Тут порядок полный... Два шурфа отыскали... Образцы сходятся. Под одним выворотнем мы пробу взяли, руды тут ужас сколько...— наперебой говорили геологи.

— Подтверждается?

— Еще как! Лучше салхитдиновских образцы. Пойдемте на станок, мы вам покажем. Товарищ Илмар говорит: ярко выраженные залежи, удобные к промышленной эксплуатации...

Все было хорошо, отлично, все радовало, а вот боль не унималась. Будто кто вынул головешку из костра и то приложит к сердцу, то отпустит. И оно бьется, как курчонок в когтях ястреба, это сердце. И уже не в висках, а во всем теле болезненно пульсирует кровь. Пожалуй, стоит пообождать подниматься в воздух. Немножко отдохнуть.

— Что с вами? — озабоченно спрашивает Игорь, видя, что на морозе лицо Литвинова блестит, будто только что умытое.

— Ничего, ровным счетом ничего... Как говорит Сакко Надточиев, усилия наши пропали недаром... Ну что ж, сходим поглядим образцы. Лыжи у вас, баламуты, найдутся? — Литвинов встает на широкие охотничьи лыжи и говорит спутникам, которые уже уселись вокруг костра на снегу и закурили: — Я ненадолго. Ждите. Пройдусь вот маленько...— И, пропустив вперед геологов, двигается за ними. Плечо болит, но на душе хорошо, и боль эта стала какой-то отдаленной, будто бы посторонней.

«Стало быть, получили подтверждение! «Ай да ребята, ай да комсомольцы! Браво! Браво! Браво, молодцы!..» Стоять всем вам, стоять когда-нибудь в линеечку в списке награжденных. А этим Илмару и Василисе... Ух, хорошие вы мои!..» И перед глазами этот каменистый отрог, похожий на стену крепости, и башни-утесы, и река меж ними. И эти ископаемые... «Бросим, бросим в Онь еще одну доску. Самая дешевая энергия!.. А теперь и самая нужная,

именно нужная... И на вертолет опускать эту доску возьму Илмара и Василису. Нет уж, верьте Старику, быть, быть здесь гнезду заводов!..»

— «И гибель всех моих полков...» — победно разносится по лесу и вдруг прерывается тоскливым: — Ох!..

Литвинов стоял, приложив обе руки к груди. Массивное лицо передавало странную смесь удивления и страдания. К нему бросились на помощь, а он, все так же зажимая грудь, медленно опускался на снег.

В первое мгновение Литвинову показалось: кто-то ударил ему под лопатку четырехгранным металлическим наконечником лыжной палки. И, ударив, повернул — такая возникла боль. Сразу вспомнился наказ Дины: «Не волноваться, не делать резких движений». Ну да, то самое! И тут же подумал: «Ох как не вовремя!» И еще: «От этого ведь и умирают». И, наконец, последняя мысль: «Умереть— что, а вот лежать чурка чуркой сугубо глупо».

Увидел: чьи-то головы испуганно наклонились над ним. Смутно почувствовал: сильные руки поднимают его. И новый удар куда-то под лопатку — и лиственница, что была над головой, покачнулась и будто расплылась в воздухе в своем вихревом вращении.

11

В один из дней ранней сибирской весны, когда на солнце подтаивает, а в тени крепко пощипывает мороз, Олесь Поперечный возвращался из карьера к себе на Березовую улицу, вдоль которой ветер раскачивал юные белоствольные деревца. Он шел задумавшись и даже вздрогнул, когда его окликнули:

— Александр Трифонович!

Резкий, с легкой хрипотцой голосок показался знакомым. Оглянулся. Его догоняла молодая женщина в кротовом жакете, из-под которого виднелись штаны комбинезона. И не только голос, но и это смуглое лицо, эти карие глаза, этот короткий, тупой, задорный носик и пухлые, капризно сложенные губы тоже были знакомы.

— У меня к вам дело.

— Ну, раз дело, чего же его на улице обсуждать! Вон моя хата, зайдем, поговорим,—ответил он, не без интереса оглядывая ладную фигурку. И тут вспомнил, что девицу эту видел он в больнице, куда она приходила

навещать мурластого парня, попавшего туда с ножевой раной. Он сразу насторожился.

— Боитесь, жинка в окно увидит? — Карие глаза смотрели на Олеся нагловато и насмешливо.— Так я ж у вас была. Пропуск до вас мне Ганна Гавриловна уже выдала. Мы с ней вместе в «домовых» ходим. Я женщина замужняя, серьезная, меня бояться не надо.

— Да как вас хоть звать-то? — спросил Олесь, стараясь подавить улыбку.

— Ах, нехорошо как! С супругом моим надираетесь, а несчастную, которая из-за этого страдает, не знаете...

— Вы жинка Петровича?

— У меня и свое имя есть: Мария... Мария Третьяк.

— Ну, будем знакомы. Мне чоловик ваш много о вас рассказывал.

— Это он любит. Никак не отучу. Про собак не говорил? Ну как же, у него сейчас коронный номер: «На твою жену напали собаки».— «Сами напали?.. Ну так пусть сами и отбиваются...» Не говорил еще? Значит, давно не встречались. Скажет.

«Ох лихая бабенка!» — подумал Олесь, чувствуя, как против воли на губы снова выползает глупейшая улыбка.

— Зачем я к вам? Сейчас объявлю. У меня брат Костька, вы с ним в хирургической лежали. Мамочка его еще зовут. Парень-гвоздь!

— Он ваш брат?

— А вы думали — милый?

— Ну-ну! — уже выжидательно произнес Олесь. Все, что он мог вспомнить о пресловутом Мамочке, еще больше настораживало.— Стало быть, брат. Ну и что?

— Возьмите его к себе в экипаж,— вдруг попросила собеседница, и маленькая ее рука в ярко-желтой перчатке поправила кисточки на украинской рубашке Олеся.— У вас уходит помощник. Ведь так? Электрика вы передвинете в помощники, моториста — в электрики. Правда?

— Откуда это вам известно?

— Мне все известно.— Карие глаза нагловато посмеивались.— Подсобный у вас мальчишка, он до моторов не дорос. Возьмите Костю в мотористы.— И снова, поправив Олесю воротничок, она умильно взглянула на него.— Очень вас прошу...

За разговором они незаметно прошли квартал, повернули назад и теперь остановились у калитки какого-то дома.

— Так у меня ж экипаж коммунистического труда!.. Коммунистического! — подчеркнул Олесь.

— А что же, по-вашему, в коммунизм по анкете пускать будут? Кто бабка, кто дед, не служил ли в белой армии, есть ли родственники за границей? Состоял ли в других партиях?.. Или все строем, в наутюженных спецовках, с серпом и молотом туда пойдут?..

— Так я же в смысле квалификации,— смущенно ответил Поперечный и подумал: «Вот язычок! Недаром все правобережье его побаивалось».

— А в смысле квалификации будьте спок... Он в заключении не только кондёр в фекалии переводил. Он слесарь — раз, — она загнула палец.— Он шофер — два,— загнула второй.— Бульдозерист — три,— загнула третий.— Он и среди урок не сявка— медвежатник, самая техническая профессия,— четыре,— и перед носом Олеся замаячила маленькая рука в ярко-желтой кожаной перчатке с четырьмя загнутыми пальцами.— Я бы его к моему на пятую краснознаменную базу определила, да не хочу. У шоферов соблазнов много, а он у меня весь по уши в капитализме еще — это раз. Люди там непереваренные — два... Шофер — крути баранку да крути. Разве интересно? Это три. И никаких перспектив — четыре,— и рука уже с развернутыми пальцами снова убедительно помаячила перед носом Поперечного.

— А почему же именно ко мне?

— Потому что, во-первых, вы мне очень симпатичны.— Собеседница весьма квалифицированно и вовсе не противно для Олеся сделала глазки.— Во-вторых, как говорит мой Петрович, вы даже из этих дохлых негативов позитивы сделали. Ну а в-третьих,— сказать? Ну, сказать начистоту?

— Да уж говорите.— Олесь чувствовал, что попадает под обаяние этой шустрой бабенки.

— А в-третьих, в вашем экипаже заработок инженерский, а Костька, я же вам говорила, весь в капитализме. Ему надо перед носом пачку денег потолще повесить, тогда он вперед побежит, темп покажет и в сторону не свернет... Александр Трифонович, ну что вам стоит, ну сделайте это для меня... Сделаете, да?..

— Ладно. Пришлите завтра вечерком вашего братца. Помиркуем. Как его там кличут-то?

— Мамочкой только не надо. Блатное это — Мамочка. Вы уж зовите Константин, Костя. Ладно? — И, встряхнув руку Олеся двумя руками, она заспешила к автобусной остановке, напевая какой-то веселенький мотивчик.

На следующий день в квартиру Поперечных, где еще ощутительно попахивало штукатуркой, сосновой смолой и откуда новая мебель уже вытеснила складную, столь опротивевшую Ганне, явился Константин Третьяк, по прозвищу Мамочка. Он один занял почти весь малогабаритный диван и, все время трогая рыжую, едва завязавшуюся молодую бородку, философствовал:

— ...Деньги, они конечно, но если ты с головой, их и без «фомки», на законы не наступая, достать можно... Деньги, они везде, была б голова... А только надоело, хватит! Вон у шурина моего на базе мой кореш Бублик — по одному делу нас с ним когда-то повязали — сейчас баранку вертит. Фарт приличный, фараоны дорогу дают... В «Огнях» морда его была. А я что, недоносок? У меня что, верхний этаж пустует?.. Скучно мне, гражданин начальник! Скучно... А уж если Костьке-Мамочке скучно,— стало быть, амбец... Помните на пароходе? Ладно, не колите, сам расколюсь, скажу по совести. Думал тогда, приеду — и за дело, а вот... Эх, начальник, сыграл бы я тебе! Гармошки нет.

— Баян есть. Сашко, принеси Ниnкин баян.— Сашко пошел за инструментом и, когда он выходил, чуть не сбил с ног толстушку Нину, смотревшую на гостя в замочную скважину.— Рыжик, ты чего там прячешься? Войди, познакомься. Это дядя Костя.

— Нина,— чинно отрекомендовалась толстушка, подавая гостю руку. Не сводя с его лица любопытных зеленоватых глаз, она вдруг спросила: — дядя Костя, а что такое урки? Они как турки, да?.. Они где живут?

— Сонечко, иди сюда сейчас! — донесся из соседней комнаты испуганный голос Ганны.

Лицо гостя вспыхнуло. К счастью, Сашко внес баян, передал его Третьяку, и тот, насупившись, стал отирать рукавом мехи.

— За инструментом уход нужен,— сказал он парню и подмигнул Нине, рожица которой опять показалась в приоткрытой двери.— А ты, рыжая, слушай, что такое урки и где они живут.— И вдруг запел противно рыдающим голосом:

Сижу день цельный за-а-а решеткой,
В окно тюремное гляжу.
И слезы катятся, братишка, постепенно
По исхудалому лицу...

Девочка стояла в дверях, засунув пушистый кончик косы в рот. Над ней виднелось встревоженное лицо Ганны.

Сидит мой миленький в халате,
На ем сплошные рукава,
Шапчонка рваная на ем на вате,
Чтоб не зазябла голова...

И вдруг, резко сведя мехи, спросил:

— Ну, гражданин начальник, возьмешь?.. Бери, не пожалеешь. Это тебе я, Костька-Мамочка, говорю.

— ...И время не очень подходящее. Сейчас мы с шурином твоим новый метод пробуем, комплексная бригада, слыхал?

— Слыхал. Бублик-то у вас в тех бригадах колонновожатый смены... Хвастал...

— Как, Суханов и есть Бублик? — недоверчиво спросил Олесь.

— А ты думал?.. Три судимости. Катушка!.. Может, полагаешь, я на твои косые зарюсь? Да мне они до лампочки. Тьфу! Мой кореш Бублик — колонновожатый, а я? О Бублике в «Огнях» пишут, а я?.. Ну что, берешь?

— А, хай его грец! — махнул рукой Олесь.— Только, парень, вместе мы всё решаем. У нас, брат, демократия. Мой голос «за», а что там ребята скажут...

Увидев, что гость бережно опускает баян в футляр, Нина, все время жадно разглядывавшая его, не выдержала и шагнула вперед:

— Дядя Костя, а как говорят: «у́рок» или «уро́к»?

Мать опять было бросилась к ней, но гость на этот раз не смутился:

— Если насчет меня, рыжая, говори: бурок — бывший у́рок, понимаешь?

— А у бурков тоже свои песни есть?

— Будут.— То ли закурчавившаяся рыжеватая молодая бородка изменила физиономию гостя, которую Олесь когда-то в больнице сравнивал по выразительности с пяткой. То ли проглянуло на ней что-то совсем новое, еще неясное. Гость застенчиво опустил глаза и, вдруг

достав из кармана продолговатую коробочку, протянул девочке:—На, рыжая.

— А что это?

— Смотри... Это для знакомства от бурка Кости.

В коробочке были маленькие часики на круглой браслетке. Настоящие часики. Они тикали. Девочка жадно схватила их, смотря на мать. Зеленые глазки просили, умоляли.

— Не смей, верни сейчас! — вскрикнула Ганна и, выхватив у дочери часики, сунула гостю.— Как это можно брать такие подарки от незнакомого?..— Голос говорил больше, чем слова.

Третьяк вспыхнул. Лицо приобрело свекольный оттенок, светлые брови, телячьи ресницы, бородка сразу резко обозначились на нем.

— Думаете, темное? — И вдруг, размахнувшись бросил часы о стену.— Эх вы! Сеструхе на день рождения купил.— Он хотел что-то сказать, но произнес лишь еще раз «эх» и выбежал из дома.

Поперечные видели, как он прошел мимо окон, что-то бормоча про себя.

— Зря ты, Ганнуся,— сказал Олесь, прижимая к себе испуганную девочку, — с такими осторожно надо...

— А ты, ты? — зачастила Ганна. — То он от выдвижения отказывается, от хлопцев уходит, то вот, пожалуйста, какого-то урка к себе берет. Зачем? Ну? Какое тебе до него дело? Пусть Мурка к мужу утиль сбывает. Ему небось не сунула, к тебе привела... Ну? Возишься с ними, пестуешься и так и эдак, а с женой, с детьми и побыть времени нет.

— Ганна!

— Ну что Ганна?.. Пройдысвит. До всех ему дело. Все ему свои, только жена с детьми ничейные... На грядке с лопатой уснул, возле радио в воскресенье уснул, за столом уснул... И все мало, все мало... Еще себе на плечи какого-то урка сажает.— Уставив руки в бока, она наступала на мужа и вдруг заплакала: — Нэма у мэнэ чоловика. Нэма у дитэй моих батька́.— Потом выпрямилась, вытерла тыльной стороной ладони глаза-вишни, встряхнула головой: — Хватит! Вот заведу себе дружка — будешь знать! И заведу, попомни мое слово...

В день, когда на улице Березовой происходил этот разговор, Мария Третьяк, ловко поднявшись по скобкам железной лесенки в стеклянное гнездо крана, вознесенное

высоко над стройкой, пребывала в наилучшем расположении духа. Сбывалось то, из-за чего она, девчонка из Белоруссии, столько поскитавшаяся по белу свету, приехала сюда, в тайгу. Наконец-то брат, которого еще в войну мальчишкой занесло в уголовный мир, попал в хорошие, верные руки. Дело сделано, а вот возвращаться уж и не хочется. И муж, и настоящая профессия. Эти, недавно еще совсем дикие берега таежной реки за это время стали такими же дорогими, как белорусское село, где она выросла. Выволокла брата, а сама... Ну что ж, судьба! Как-то там мама? Мурка представила себе школу в селе Елинячах. Седую женщину, медленно передвигающуюся на костылях в пустых летом классах. Солнце засматривает в запыленные стекла. За окнами поют петухи. Женщина присела за учительский столик. Слушает, не раздадутся ли на крыльце шаги почтальона... И вот письмо. И вот весть: сын Костя в экипаже знаменитого Поперечного, а дочь Мария... Своевольно встряхнув мальчишескими космами, Мурка открыла в стеклянном фонаре форточку и крикнула вниз:

— Эй, там, дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно! Ну! Мой журавль готов, подцепляйте свой паршивый горшок!

И когда кран, подняв на цепях огромную бадью бетонной массы, вздрагивая от напряжения, чуть раскачиваясь па ветру, понес его к котловану, ощетинившемуся крючьями арматуры, женщина вдруг ощутила в себе нечто необычное: почудилось, как что-то постороннее, незнакомое шевельнулось, будто дрогнуло, внутри нее. Вся встрепенувшись, она насторожилась: ничего, показалось. И, насвистывая какое-то буги-вуги, даже ухитряясь отбивать при этом ногою такт, она отнесла в котлован вторую, третью, четвертую и еще много бадей. «А все-таки что же это было?.. Неужели?.. Нет, нет... А может?» Потом вошла в рабочий темп и совсем позабыла об этом новом, незнакомом ощущении. И именно когда она о нем позабыла, оно повторилось. Теперь она уже отчетливо почувствовала, будто в ней, в низу живота точно бы ворохнулась какая-то маленькая теплая птица. На миг сняв руку с рычага, приложила ладонь к животу: «Ой!» Ей показалось, что рука ощутила вместе с теплом смутное движение. Кран шел с бадьей, он требовал внимания. Проверить было нельзя.

«Неужели «оно» уже ожило?..» Она ждала, что это придет. Она научилась переносить и скрывать от окружающих и головокружение и тошноту. Были и другие признаки приближения этого дня, но она прятала их даже от мужа. А вдруг ложная тревога, ложная радость, как это однажды уже случилось в ее жизни? Да нет же, «оно» уже живет, движется. Мурка посмотрела в круглое зеркальце, которое она прикрепила к металлической стойке, повернулась вполоборота. Во всех ракурсах на нее смотрело лицо, которое ей очень нравилось, которое она холила, берегла. Сейчас у этого лица было несвойственное ему выражение: удивленное, растерянное, вопросительное.

— Мама Мура, — сказала вслух крановщица, подмигивая карим глазом, и, смакуя, повторила, растягивая: — Ма-ма, ма-ма...

Это первое слово, произнесенное ею когда-то, звучало незнакомо, волнующе, радостно: ма-ма!.. Стальной гигант, ловко действуя своими огромными членами, продолжал трудолюбиво носить бетон. Он ходил размеренно, как всегда, и никому из множества людей, которым он помогал, и в голову не приходило, что живой мозг этого крана, помещающийся в вознесенной над землей стеклянной кабинке, в эти минуты предельно далек от всего того, что делается на плотине.

12

Известие о том, что начальник Оньстроя Литвинов лежит недвижим где-то в охотничьей избушке в тайге, не удивило Вячеслава Ананьевича Петина. Сколько раз говорил он этому старомодному и досадно упрямому человеку, что в век электронно-счетных машин, телеуправления, совершеннейшей диспетчерской связи бесцельно тратить силы руководителя на бесполезное мотание по строительной территории, на то, чтобы всюду совать свой нос... Не дальше как вчера Вячеслав Ананьевич, рискуя нарваться на грубость, убеждал начальника идти домой, поручив розыски исчезнувших геологов штабу, им же самим для этого и назначенному. Так нет, только отмахнулся волосатой лапищей, и вот результат...

Впрочем, докладывая о том, что произошло, в Москву, Вячеслав Ананьевич, подавляя в себе досаду, охаракте-

ризовал поступок начальника в самых сочувственных тонах... Приняты все меры. В Усть-Чернаву при первой возможности был выслан вертолет с врачами... Доставлена удобная койка, постельное белье, медицинское оборудование в должном количестве... Оттуда радировали, что у больного, к сожалению, типичный инфаркт, в котором легко разберется любой районный лекарь. Но все-таки хорошо бы прислать из Москвы профессора... В столицу полетела телеграмма с просьбой откомандировать на Онь известное медицинское светило. Степаниде Емельяновне Литвиновой Петин, обычно поручавший переписку своему секретарю, диктовавший стенографистке лишь особенно важную корреспонденцию, собственноручно написал большое прочувствованное послание.

Затем он созвал высший командный состав стройки. Зная, как всех поразила болезнь начальника, Вячеслав Ананьевич не только подготовился к речи, но и написал ее. В тексте была фраза: «Нелепый случай временно вывел из строя замечательного человека — Федора Григорьевича. Все мы перед лицом этого трагического события должны заверить партию, должны заверить народ, что достойно понесем то знамя, которое нес Федор Григорьевич, и доказать, что лучшие традиции Оньстроя нерушимы ни при каких обстоятельствах».

Эти прочувствованные слова завоевали Петину много сердец. Только Надточиев со своей обостренной восприимчивостью заметил, что тот говорил о Литвинове как о покойнике и как бы призывал, воздав ему должное, начинать новую эру и показать по-настоящему, на что способны оньстроевцы. Даже Капанадзе не уловил этого оттенка. Поддерживая Петина, он говорил:

— ...Друзья, вы знаете, болезнь нашего уважаемого Федора Григорьевича не лечат лекарствами. Единственное лекарство — хорошее самочувствие больного. Давайте работать так, чтобы самочувствие у него всегда было хорошее, давайте радовать Старика добрыми вестями...

В перерыве Петин вызвал в кабинет Толькидляваса и, оправдываясь срочностью дела, начал внушать ему, что начальник в своем таежном домике должен быть обеспечен всем, чего только захочет.

— Вы усвойте,— говорил он, точно бы позабыв о присутствовавших в кабинете,— усвойте раз и навсегда, что речь идет о жизни замечательного советского

гидростроителя. На мне, на вас, на всех нас — огромная ответственность перед партией, перед народом...

— Двадцать два,— шепнул Надточиев, толкая локтем Капанадзе.

— Что, что? — громко переспросил тот, удивленно подняв свои густые брови.

— Двадцать два, перебор.

Парторг нахмурился, резко отвернулся, покачал головой.

А на следующий день, утром, Петин, обычно далеко стоявший от партийных дел, приехал в партком. Приехал запросто, даже предварительно не позвонив по телефону.

В кабинете происходило совещание ведущих агитаторов. Из-за двери слышался голос Капанадзе:

— ...Надо, как говорил великий поэт Александр Сергеевич Пушкин, «глаголом жечь сердца людей», а вы, дорогие друзья, читаете по бумажкам, да так, что вам самим при этом спать хочется. Вот я тут записал у товарища Куликова: «Вина по многим вопросам ложится на...», «которое тормозит наиболее полное использование...» и даже: «Вы занимаете одно из первых последних мест...» Ну разве это слово агитатора? Разве оно кого-нибудь взволнует? Нельзя зажечь людей, если будешь смотреть не в глаза слушателям, а в шпаргалку...

Петин, расположившись в приемной, достал из портфеля бумаги и терпеливо просматривал их. Просматривал, резюмировал. Незаметно поглядывал по сторонам. Люди, ожидавшие приема, несколько удивленно, но с явным сочувствием смотрели на него.

— ...А если подсчитать, дорогие товарищи агитаторы, сколько в вашей речи слов-паразитов, всех этих «как говорится», «постольку, поскольку», «так сказать»...— звучало из-за двери.

— Товарищ Петин, а может быть, я все-таки о вас доложу? — снова, не в первый уже раз предложила девушка-секретарь.

— Нет, нет, зачем же? — громко ответил Петин, неохотно отрываясь от своих бумаг.— В парткоме я такой же член партии, как и все, и я не имею права...

Досказать он не успел, в кабинете послышался шум. Двигали стулья. Капанадзе шел оттуда к Петину:

— Вячеслав Ананьевич, дорогой! Что же вы тут сидите? Входите, прошу вас...

Потолковали о том о сем, обменялись новостями. Петин похвалил комсомольцев за геологические находки, а профсоюзников за то, что они умело подхватили и распространяют идею комплексных бригад. Конечно, «Огням тайги» не мешало бы научиться лучше, шире, ярче рассказывать народу о новых начинаниях, но еще есть время, наверстают. Петин сказал, что очень встревожен сообщениями о здоровье Литвинова, сделанными врачами, вернувшимися с Усть-Чернавы, попросил сейчас же еще раз позвонить в ЦК, уведомить кого надо о тяжелом состоянии начальника да посоветовать жене Литвинова поскорее вылететь... Мало ли что может произойти...

Капанадзе, согласно кивая головой, сам помалкивал. Когда этот самолюбивый человек так открыто и честно признал свою ошибку по поводу проекта Дюжева, он очень расположил к себе парторга, а то, как активно он помогал сейчас готовиться к перекрытию реки, располагало к нему еще больше. Но почему он все-таки приехал? Петин, придвинув свой стул поближе к секретарю, сам заговорил об этом:

— Наверное, думаете, что меня к вам привело? Ведь так?.. Законный вопрос. Столько времени человек появлялся здесь, лишь когда его приглашали, и вдруг приехал сам... Скажу вам как коммунист коммунисту: Федор Григорьевич взял на себя все контакты с парткомом и общественными организациями и очень ревниво охранял свою монополию.

— Он член партбюро, член райкома, член пленума обкома! Это естественно!..— запальчиво сказал Капанадзе.

— Ладо Ильич, голубчик, разве я этого не понимаю? Он старый коммунист, и он, конечно, осуществлял эту связь гораздо лучше, чем это сделал бы, скажем, я. Моя сфера — техника; кроме того, старым большевикам всегда свойственна эта ревность, хорошая партийная ревность, но... Словом, поэтому и только поэтому я и отстранялся от общественных дел. А теперь я могу действовать, ни на кого не оглядываясь, и я... я в вашем распоряжении, Ладо Ильич.

Капанадзе потряс протянутую ему руку. Все, что сказал Петин, резонно. Он человек талантливый, и просто замечательно, что он активизируется и в партийных делах. Это парторг подумал, но не высказал. Он ждал чего-то главного.

— Не кажется ли вам, дорогой Ладо Ильич, что мы относимся к утвержденному для нас плану, ну, несколько делячески, что ли,— доверительно продолжал Петин.— Я обязан говорить своему парторгу правду. Мы неплохо работаем. По большинству показателей мы идем с опережением. Но ведь вся промышленность идет с опережением, а мы — Оньстрой! Мы — уникум. На нас устремлены взгляды не только страны, но и заграницы. На нас ревниво смотрит капиталистический мир. Вы, разумеется, понимаете это лучше, чем я...

Интерес Капанадзе возрастал. Все это так, но не затем же он пришел в партком, чтобы агитировать за советскую власть.

— Мы идем в общем ряду, а нам нужно быть первыми, нам нужно поражать, вести за собой, мы должны лидерствовать. В известном партийном документе о нас сказано: разведчики семилетки. А какие же мы разведчики, если идем в общем строю?.. Улавливаете мою мысль? Нам сейчас надо резко вырваться вперед, вот что...

— Было бы хорошо,— сдержанно сказал Капанадзе. Он и сам немало раздумывал над этим. Радовался почину Олеся Поперечного, радовался неожиданному для него, да и для всех, успеху пятой автобазы. Но ведь это были лишь отдельные почины. Он чувствовал: сейчас этого мало. И вот этот инженер, всегда державшийся в стороне от общественных дел, говорит о чем-то новом, грандиозном.

— Я предлагаю назвать это «Бросок к коммунизму» и дать лозунг: «Квартальный план — за семьдесят рабочих дней!»

— За две недели до срока! А это можно?

— Вам это кажется слишком смелым? — Петин поднял брови, как бы не доверяя собственному слуху.

— Бросок к коммунизму! — Капанадзе как бы взвешивал эти слова. — Хорошо звучит... Это может зажечь.— Встал и совсем по-надточиевски, заложив руки за спину, зашагал по комнате.— Бросок к коммунизму! Отлично!.. А вы уверены, что это может выйти? Квартальный план за семьдесят дней — это возможно?

— Если мы с вами этого очень захотим, мы наперекор всем людям вчерашнего дня, всем любителям работать с запасцем, царствовать лежа на боку, покажем, на

что способен коллектив оньстроевцев. Вот посмотрите это,— перед Капанадзе была положена аккуратная папка.— Мой аппарат давно уже занимается разработкой этой идеи. Он все рассчитал... Тут график по дням, по объектам. Тут расчеты даже на ведущие бригады... Нет, правда, работ по перекрытию, но это — удельное княжество Дюжева. Вы уж сами с ним договаривайтесь.

Капанадзе резко остановился перед собеседником. Он смотрел на него с ласковым удивлением, и глаза его как бы говорили: так вот ты какой!..

— Вячеслав Ананьевич, а ведь я, признаюсь, думал, что вы человек техники, только техники.. Бросок к коммунизму — здорово! Это захватит...

— Только надо действовать энергично, чтобы сразу завертелись все колеса: печать, радио, телевидение. Поперечный и такие, как он, дают интервью... Нужно сразу раскрыть все перспективы этого почина, ошеломить людей... Давайте произведем разделение труда: я доложу обо всем по чиновничьей линии — в министерство, лично министру, а вы займитесь нашими знаменитостями, накачивайте их, поднимайте народ... Ну и потом, конечно, надо поставить в известность партийные инстанции. Это — тоже ваше дело...

— Сделаю, все сделаю. С Поперечным-старшим мы соседи. Сегодня же поговорю. Бросок к коммунизму... Он хлопец умный, живой, сразу загорится...

Дома за обедом Ладо Капанадзе с увлечением рассказывал об утреннем визите. В речи его было множество восклицательных знаков. Ах какой человек, какой кругозор! Может быть, и в самом деле Старик стеснял его своим авторитетом, не давал развернуться, или он сам деликатничал? Ламара усмехалась:

— Новое увлечение? Хорошо, Ладо, что ты вот так мгновенно влюбляешься не в женщин!..

Но сосед, к которому секретарь парткома зашел поделиться мыслями о «броске к коммунизму», несколько огорчил его. Олесь с Сашком сидели у стола, совершенствуя свой радиоприемник. Гостю Поперечный обрадовался, усадил его в кресло, попросил Ганну похлопотать о чае. Слушал внимательно, но руки его, действовавшие как бы сами по себе, продолжали сплетать какой-то проводок, концы которого держал Сашко.

— ...Письмо братьев Поперечных. Понимаешь, друг, какой сразу резонанс?

— Обожди, Сашко,— сказал Олесь и, сдвинув очки на лоб, произнес задумчиво: — квартальный план за семьдесят дней. Сие трэба розжуваты... Посчитать надо...— И, вновь принимаясь за проводок, как бы заключил: — Извините, Ладо Ильич, ничего я вам сейчас не отвечу. Вот посчитаю, поговорю с ребятами и тогда...

— Уж очень это, друг, на тебя не похоже, медлить,— сказал Капанадзе, чувствуя разочарование, даже досаду.

— А мы, хохлы,— тугодумы,— улыбнулся Олесь.— У нас так: не дал слово — крепись, а дал — держись. Завтра скажу, а пока, Ладо Ильич, давайте чайку... У нас варенье вишневое.— И явно повел разговор в сторону.— Вишенки-то мои не видали? Сашко их газетками укутал. Отломил я веточку, в воду поставил. Вон посмотрите, цветут. Ну-ка, Рыжик, принеси.— И Нина, которая уже пристроилась возле гостя, сбегала за вазочкой, из которой торчала цветущая ветка.— Похоже, перезимовали...

— Вишневую наливку сделаем,— сказала девочка, явно выбалтывая семейную мечту.

За чаем Олесь рассказывал парторгу о комплексных бригадах, о том, как слаженно и стройно сейчас работается, говорил о новом машинисте с чудным прозвищем Мамочка, какой это исключительно наметчивый в технике парень. О «броске к коммунизму» Олесь ничего больше не сказал, и уже по одному этому Капанадзе понял, что собеседник полон сомнений...

А дело вскоре развернулось всерьез. Через несколько дней после этой беседы Олеся вызвали в комитет профсоюза. Там было много народу, знакомого и незнакомого. У всех на устах был проект открытого письма оньстроевцев. О «броске к коммунизму» говорили разно: кто с подъемом, кто осторожно, кто несколько растерянно.

— Ну вот и Поперечный-старший,— сказал Капанадзе, выходя к нему навстречу из кабинета председателя.— Здравствуй, сосед! Ну как, подумал?

— Подумал,— тихо сказал Олесь.— С ребятами посчитали, помозговали маленько... Вот наши обязательства,— и протянул маленькую бумажку.

Парторг и председатель профсоюзного комитета нетерпеливо развернули ее. И тут же на лицах их отразилось: на одном — разочарование, а на другом — недоумение. Председатель профкома даже свистнул:

— Только-то? Твой брат вон удвоить выработку сулит.

— Это дело Бориса,— вздохнул Олесь.— У него свой счет.

— Что же, ты хочешь от него отставать? И сейчас, в дни, когда задумывается большой бросок к коммунизму?

— Пустые слова и перед праздником произносить негоже,— сказал Олесь, поворачиваясь к выходу.— Это сделаем, а больше — то ли да, то ли нет.

— С запасцем жить хочешь, Александр Трифонович, а?

Поперечный был уже в дверях, но вернулся. Его худое, угловатое, малопримечательное лицо было спокойно, но Капанадзе почему-то бросилось в глаза, сколько уже седины пробилось в подстриженные усики...

— С разумом хочу жить,— сказал Олесь и, видя, что на него смотрят люди, одни с недоумением, другие насмешливо, пошел к выходу.

— Сдает, сдает,— вздохнул смущенный и раздосадованный председатель постройкома.— Обязательства, конечно, ничего, но как пример в газету не вставишь. Придется в письмо не включать.— И повторил: — Стареет Олесь, а ведь какой орел был! Ну что ж, молодежь идет на смену. Борис обещает квартальный план за два месяца вымахать. «На пять дней раньше срока». Курам на смех! Поговорить бы с ним покрепче, нажать...

Капанадзе ничего не ответил. Упорство Поперечного его беспокоило. Но со всех концов строительства шли такие радостные сообщения, идея везде так хорошо воспринималась. «Старосибирская правда», посвятившая почину передовую, горячо поддержала его. Может, и верно стареет сосед? Годы-то и в самом деле немолодые.

Оказался в стороне от почина, отзвуки которого уже прогремели по области, и весь участок работ по подготовке перекрытия реки, где теперь безраздельно командовал Дюжев. Там подтвердили обязательство заставить реку свернуть со своего вековечного пути в намеченный срок и ничего к этому не прибавили. А когда на совещании командного состава стройки Дюжева стали уговаривать, он только улыбнулся и процитировал какого-то древнего римлянина:

— «Я делаю, что могу, пусть больше сделают могущие».

И Петин, динамичный, требовательный Петин, сумевший в короткое время сосредоточить в руках все вожжи управления и путем не очень даже заметных передвижек расставить на решающих участках близких ему людей, к удивлению участников совещания, только скупо улыбнулся:

— Ну, Павел Васильевич, вы у нас на правах вольного города Данцига... Впрочем, с вас хватит и перекрытия.

Письмо рабочих, инженеров и техников Оньстроя, к которому малое время спустя присоединились коллективы строительств всего Дивноярского промышленного комплекса, наделало немало шума. Сообщение о нем передало ТАСС. Одна из столичных газет на видном месте поместила большую статью исполняющего обязанности начальника строительства В. А. Петина. Она так и называлась — «Бросок к коммунизму». И кое-кто из людей, близко знавших Вячеслава Ананьевича и когда-то недоумевавших, зачем ему, видному, преуспевающему инженеру, понадобилось менять столицу па таежную глушь, читая эту статью, понимающе усмехался:

— Все ясно. Выждал и пошел в гору... Этот на ходу у самой эпохи подметки срежет.

13

Хотя день этот минул уже давно, Федор Григорьевич Литвинов помнил ощущение беспомощного недоумения, когда, придя в себя, он вдруг увидел над головой сложенный из толстых, грубо отесанных бревен потолок, прокопаченный клочьями седого болотного мха. Мелькнула мысль: «Куда же меня черт занес!», и он сделал движение, чтобы, сбросив одеяло, соскочить с постели. Но тут будто током пронзила его острая боль. Тело стало влажным и как бы ватным. Сильные женские руки, протянувшиеся откуда-то от изголовья, подхватили и осторожно опустили его голову на подушку. Знакомый голос произнес:

— Федор Григорьевич, вам нельзя двигаться.

Тут все вспомнилось. Догадался: его принесли на охотничий станок. Попробовал весело спросить: «Кто же

это мною командует?» — и поразился, как слаб и тих был голос.

— Это я, Василиса.— Девушка обошла кровать, встала в ногах. На фоне узенького, прорезанного в одном из бревен оконца обрисовалась ее сильная, стройная фигура.— Вам велено лежать неподвижно на спине. Разговаривать нельзя.

— Кем велено?

— Врачами по радио... Сейчас, слышите, на дворе пуржит,— она махнула рукой в сторону грубо сколоченной двери, которую встряхивал, будто пытаясь открыть, порывистый ветер.— Вот отпуржит, и придет эта ваша стрекоза с врачом, а пока лежите, а я на ваши вопросы отвечать не буду.— И девушка решительно уселась на толстом полене и, уткнувшись в книгу, принялась бормотать немецкие слова, делая вид, что целиком поглощена этим.

Литвинов, кипучий, своенравный Литвинов, который всю жизнь терпеть не мог курорты, санатории именно потому, что они обрекали на бездействие, Литвинов, у которого одной из любимых поговорок было: «Сложенные руки терпимы только в гробу», сейчас обречен, и, может быть, обречен надолго, лежать вот так, неподвижно, со сложенными руками, в этой охотничьей избушке. Вдали от дел, от людей, от телефона и телеграфа. И ему стало вдруг так обидно, так горько, что слезы потекли по вискам на подушку.

— Уйди! — приказал он Василисе.

Видеть плачущего Старика было действительно страшно.

— Вам больно, да? — Голубые глаза девушки беспомощно обежали углы бревенчатой каморки. Наконец взгляд остановился на пузатой брезентовой сумке с красным крестом. Литвинов закусил губу, яростно замотал головой.

— Уйди! — донеслось до девушки, как казалось, сквозь стиснутые зубы. Дрожащими руками Василиса рылась в походной аптеке геологов. Впрочем, когда она подняла голову, больной уже взял себя в руки.— Что? Не нашла? — прошептали бледные губы, на которых теперь можно было рассмотреть каждую трещинку.— Геологи валерьянку с собой не носят, не та профессия...

Когда наутро следующего дня буран наконец утих, появился врач-кардиолог. Он привез все необходимое.

С ним прилетели две медицинские сестры. Возле больного установили круглосуточный медицинский пост. И тут Литвинову было подтверждено, что не только говорить, но и думать о чем-нибудь, что может взволновать, раздражать, ему нельзя. Окружающим — а их оказалось немало, ибо геологическая партия, продолжавшая работу, вся ютилась в той же избушке, за брезентовым пологом,— было приказано ни в коем случае не разговаривать с больным. Сестрам вменялось в обязанность пресекать любые попытки больного задавать вопросы.

В общем-то это соблюдалось. Но молодые люди, видя, как их новый сосед мучается отсутствием новостей, как он интересуется их делами, как жадно прислушивается к любому разговору, в обход медицинской тирании придумали для него такой способ информации: по вечерам они, лежа вповалку на своих нарах, громким шепотом рассказывали друг другу все, что, по их мнению, могло интересовать Старика.

Новости у них были отличные. Больше того, потрясающие. Обследование уже отысканных шурфов Салхитдинова, закладка новых, изучение отбитых образцов подтверждали, что геолог, трагически погибший в тайге в год объявления войны, открыл залежи, о масштабах и богатствах которых он и сам не мог догадываться. Природа, будто предвидя, что когда-нибудь смелые, трудолюбивые люди придут сюда будить эти извечно пустынные края, позаботилась не только о том, чтобы воздвигнуть из твердейшего базальта гигантские каменные ворота, стискивающие Онь, но и спрятала недалеко от этих ворот такие руды, что самая дешевая энергия становилась и самой нужной. Все это пока что было, конечно, лишь в смелых мечтах молодых энтузиастов. Но каждая новая вылазка в заснеженную тайгу, как им казалось, подтверждала эту догадку. И хотя, разумеется, летом предстояла еще тяжелая разведка, оконтуривание выявленных запасов, закладка буровых, много трудной работы, комсомольцы уже называли эти края «Салхитдиновским месторождением» и шепотом спорили между собой, где лучше будет «сажать» обогатительные заводы, агломерационные фабрики, металлургический комбинат.

Лежа в полной неподвижности, Литвинов ухмылялся:

— Вот черти бородаты, им все легко! Знали бы они,

сколько еще предстоит бюрократической канители, борьбы, споров, столкновений интересов и самолюбий!

Все это ему правилось, и он мысленно даже напевал про себя любимое «И гибель всех моих полков...». Но у радостных этих впечатлений была и обратная сторона: вот они шумят, кипят, как вешний поток, а ты лежи, как старая корча на дне оврага, и им возись с тобой! И к горлу подступал крутой ком, слезы текли из глаз.

Голоса молодых геологов, доносившиеся по вечерам из-за брезентового полога, связывали с жизнью. Слушая их разговоры, он узнавал не только новости поисков, но кое-что и из дивноярских дел. Жить было можно. Но вот в лесную избушку прилетело столичное медицинское светило. Больной был тщательно обследован. Даны были категорические предписания, и сразу же оборвалась тоненькая нить, связывающая Литвинова с окружающим. Недалеко от станка построили большую утепленную палатку. Геологов выдворили туда. Неугомонный Толькидлявас, по его словам, в один вечер превратил избушку таежного охотника в «филиал Кремлевки». Стены и потолки были обшиты простынями. С нар, сложенных из пружинистых жердей, больного перенесли на кровать с металлической сеткой. Грубо сколоченный стол, скамьи, чурбаны, заменявшие стулья, и какие-то ящики, исполнявшие обязанность шкафчиков, были выброшены, заменены белой больничной мебелью. Для сестер из Дивноярска доставили даже накрахмаленные халаты и шапочки. В довершение всех этих хлопот Толькидлявас собственноручно приколотил к стене репродукцию со знаменитой картины «Утро в сосновом лесу» в толстой золоченой раме.

Все эти меры возымели обратное действие. Состояние больного заметно пошло на ухудшение. Он заскучал, потерял аппетит, замкнулся. Взор погас. Целыми днями лежал он с закрытыми глазами, но сестры, по очереди дежурившие возле него, догадывались: больной не спит.

— Я не имею права вас обманывать,— говорил вернувшийся с консультации профессор Степаниде Емельяновне Литвиновой, пришедшей к нему на прием перед тем, как вылететь к мужу. Пожилая, полная, курносая женщина с лицом куклы-матрешки тихо сидела в профессорском кабинете, вцепившись большими руками в свою сумочку.— У него железный организм. Но он очень

переутомлен. Это все усложняет... Покой, полная отрешенность от всего, что может чем-нибудь его взволновать,— только это дает слабые надежды.

Ученый похрустел суставами пальцев.

— Трудный больной. Он отказывается от лекарств, почти ничего не ест. И, конечно, эти чудовищные условия, пещерный быт. За всю мою практику я не видел ничего подобного. Даже на войне.

Степанида Емельяновна достала папиросу, постучала по коробке мундштуком и тут же испуганно скомкала и спрятала обратно в сумочку.

— Ну, есть он у меня будет и лекарства примет,— решительно сказала она.— Что еще?

— Ничего. Покой, только покой.— Печально глядя на женщину, профессор развел руками.

Этот разговор сразу возник в памяти Степаниды Емельяновны, когда она, преодолев пешком последний отрезок пути от полянки, где сел вертолет, до охотничьего станка, остановилась передохнуть перед дверью, выкрашенной теперь «под слоновую кость». Передохнула, решительно взялась за деревянную ручку.

— ...Ну вот явление десятое: те же и Мартын с балалайкой,— громко произнесла она, отстраняя медицинскую сестру, выступившую ей навстречу.— Что же это ты, Федька, подкачал? У меня вся коммуна к экзаменам готовится, и вот изволь, лети к тебе. Ближний свет!.. Внуки объявляют деду выговор с занесением в личное дело.

Седая щетина, восковитость запавших щек, короткий нос, обострившийся и даже раздвоившийся на конце,— все это поразило женщину. Неужели этот старый человек — ее муж? И когда она услышала еле донесшееся до нее «Степа!», увидела, как в синих помутневших глазах накипают слезы, она, проглотив подступающие к горлу рыдания, стала сердито обозревать низенькую, тесную каморку, стены, прикрытые простынями, литографию в золоченой раме.

— На дворе весна, солнышко играет, а у вас тут воздух — хоть топор вешай! — Шагнула к окошку — оно не открывалось. Это был кусок зеленоватого стекла, вмазанный глиной прямо в кладь стены.— Дочка! — обратилась она к сестре.— А ну-ка отвори дверь.

— Простите, я имею твердые предписания относительно режима,— начала было сестра, стараясь как мож-

но строже смотреть на эту невысокую, полную женщину в дорогой куньей шубе и пуховом платке, по-бабьи сброшенном на спину.

— Ну-ну, дочка, давай не спорить,— миролюбиво произнесла Степанида Емельяновна, укутывая мужа одеялом. И сестра подчинилась.

В избушку ворвались шум тайги, запах талого снега. Степанида Емельяновна удовлетворенно вздохнула:

— Другое дело, а то лежит в лесу, а лес только вон на картинке... Дочка, я с ним посижу, а ты выдь, наломай хвои, побросай на пол для духу.— И когда сестра вышла, стала у койки на колени, поцеловала мужа в губы.— Тьфу, побрил бы тебя, что ли, кто! А то вон какую щетину отрастил... И не плачь, не плачь! Эдакий комодище плачет... лежи смирно, я тебе про всех наших потомков обзорный доклад сделаю. А ты слушай и молчи.— И, положив большую, с выпуклыми венами руку на руку мужа, бессильно лежавшую на одеяле, она начала рассказывать.

Хотя Литвинов не произнес ни слова, это не было монологом. Это была беседа двух немолодых людей, все-все знавших друг о друге. Одна говорила, а другой отвечал взглядом, еле заметным движением головы. Так было у них всегда. Порой Литвинов не появлялся в Москве месяцами. Но дружба, завязавшаяся когда-то между молодым тверским плотогоном и юной ткачихой на скамье рабфака, была такова, что, прилетев в Москву за тридевять земель, Литвинов чувствовал себя так, будто выходил ненадолго на уголок, в молочную, купить бутылку ряженки.

Врач, прилетевший через несколько дней из Дивноярска, был приятно удивлен.

— Ваше появление — высшая терапия,— галантно сказал он Степаниде Емельяновне.

— Мое появление... Что тут я! — отмахнулась женщина.— Тут — другое. Вы ему всё покой, покой, а у него любимая поговорка: «Покой — это для покойников»,— вот и получалась буза...

Эта пропахшая табаком женщина, стригшая коротко свои прямые седеющие волосы, повязывавшая их для удобства красной косынкой, на манер комсомолок двадцатых годов, со своим громким голосом, с грубоватой речью, в которой иногда встречались такие позабытые

ные словечки, как «буза», «братва», «шамовка», «как из пушки», как-то сразу вросла в жизнь лесного лагеря. Вскоре она называла уже геологов полуименами: Женька, Юрка, Волька, знала их сердечные тайны, бесцеремонно пробирала их за запущенную внешность, заставила перестирать рубахи и белье, а вечером сама засела за штопку и пришивание пуговиц, приспособив к этому и Василису и свободную от дежурства медицинскую сестру. Она добыла у Илмара Сирмайса карманный радиоприемничек, поставила его в изголовье мужа, и теперь он беспрепятственно болтал и пел с утра, которое начиналось в этих краях для радиослушателей позывными Старосибирской радиостанции — первой музыкальной фразой песни «Славное море, священный Байкал...». Под его говор больной думал, дремал, спал. Но стоило выключить радио, как он сразу открывал глаза:

— Почему?

— Но ведь чепуха какая-то. Ответы на вопросы радиослушателей.

— Нет, нет, сугубо любопытно знать, чем интересуются здешние радиослушатели.— И когда батарейка села, больной загрустил, закапризничал: — Ну чего вы меня точно на дно колодца опустили?..

Медициной Дивноярска к тому времени было уже признано, что в правилах, предписывающих при заболеваниях, подобных литвиновскому, абсолютный покой, бывают и исключения. Прибыл Толькидлявас. Торжественно приволок огромный радиоприемник, от которого в лесной избушке стало еще тесней.

— Замечательная машина! Целый орган! Самая последняя модель. Старосибирск получил только один экземпляр, на него было множество претендентов.— Круглая, щекастая физиономия Толькидляваса блаженно сияла.— Только для вас, Федор Григорьевич, и отдали. Вот Ладо Ильич может подтвердить.

— Тольки для вас, тольки для вас и вырвали,— улыбаясь, кивал головой Капанадзе, освобождавшийся от шубы.— Только для нашего Старика. Э-э-э! Да я вижу, он скоро за свои гири возьмется!

Это не было комплиментом. Могучий организм Литвинова заметно преодолевал страшный недуг. Дело шло на поправку. Но парторг, честно выполняя врачебные директивы, болтал о шахматах, о предстоящем футбольном

сезоне, о спутниках и лунниках. Рассказывал о необыкновенно огромном медведе, добытом недавно охотниками «Красного пахаря», и всячески отводил беседу от дел и забот Оньстроя.

— Слушай, Ладо! — перебил его Литвинов.— Вы вот по радио каждый день шумите: бросок к коммунизму, бросок к коммунизму,— а почему ж об Олесе ничего не слышно? Цифры-то удивительные, а Олеся Поперечного нет как нет.

Пришлось Капанадзе рассказывать, как было. Литвинову уже разрешали немножко посидеть на кровати. Он слушал, полуопустив веки, будто в дреме. Когда он поднял их, глаза были тревожны.

— Слушай, Ладо, а у вас там всё на чистом сливочном масле?

— Всё, Федор Григорьевич. Дюжев уже завершает работы. Вот поднимайтесь скорее, летом Онь перекрывать будем.

— Дюжев у вас, говорят, на манер вольного города Данцига,— усмехнулся Литвинов, и коротко подстриженные усики его боевито встопорщились на чисто выбритом, осунувшемся и оттого даже помолодевшем бледном лице.— Я не о Дюжеве, Ладо, я обо всем этом... о «броске», что ли... Дело затеяли на всю страну...

— Федор Григорьевич, врачи мне настрого запретили с вами о делах толковать. Если хотите, я вам сводки посылать буду.

— Сводки... Их нынче писать наловчились, эти сводки... Ух, ловкачей развелось!.. Ну, если на чистом сливочном — в добрый час... Ты все-таки о Поперечном, о Петровиче, о дружках моих расскажи...

— Поперечный еще раз всех удивил,— усмехнулся Капанадзе. — Понимаете, ему на весну в Свердловск вызов. Он там еще какие-то усовершенствования к машине придумал. Спрашиваем: кого за себя оставишь? Он — Константина Третьяка. А у этого Третьяка биография — уголовный кодекс, все статьи. Да и работает с Поперечным без году неделя. А Олесь уперся: ручаюсь, как за себя, «оказываю доверие».

— Здóрово!

— Я вас не понимаю, Федор Григорьевич!

— Сугубо здóрово, говорю. «Я ему доверяю» — красиво. Ведь он, чертяка, сколько я его помню, ни разу в этом своем доверии к людям не ошибся... Эх, Ладо,

Ладо, вот спроси ты меня, каким будет человек при коммунизме, я тебе скажу: смотри на своего соседа, на Олеся Поперечного.

Капанадзе задумался. В отношении Третьяка он Олеся поддержал, посоветовал только хорошенько подготовить новичка. Но слова Литвинова все-таки озадачили.

— Так ли? Это его упрямство: не хочу и не буду... А индивидуализм?

— Другой мой дружок, покойный Савватей Седых, говаривал: «Из гибкой лозы только корзины и плесть, а топорище из березового комля вырубают». Очень уж мы при культе смирных да послушных полюбили, этих самых «бу сде»... Совсем как у Пушкина было: «...Он улыбнется — все хохочут, нахмурит брови — все молчат...» Вот это-то и надо нам в себе вытравлять. Ведь коммунизм — это, Ладо, не «чего изволите», это прежде всего расцвет каждой индивидуальности в коллективе... На «бу сде» далеко не ускачешь. Все достигнутое потерять можно. Культ кончился, не просто исполнять — думать надо, и каждый обязан думать... Что, не так?

Уже снарядившись в обратный путь, надев шубу, закутавшись шарфом, Капанадзе тряс руки Степаниде Емельяновне:

— Ваш приезд, дорогая, сделал чудо.

— Чудо это его родители сделали. Эдакий несгораемый шкаф отгрохали,— ответила женщина, явно довольная похвалой, и подмигнула мужу: — Чего улыбаешься? Конечно, шкаф! Помнишь, мы с рабфака к вам в деревню приехали? Ему тогда было лет двадцать с малым, а отец был постарше, чем он сейчас. Так что вы думаете? Сходили отец с сыном в баню, а потом вдруг бороться схватились. Мнут друг друга, дом трясется, стекла звенят, покраснели оба, ни тот, ни другой не сдает. Лавка под ноги попалась — полетела лавка, стол — полетел стол. Стою, не знаю, что делать, а у них уже не азарт, а злость... Федька, было так?.. Вижу, такая буза, схватила ушат с водой да как на них полыхну! И угомонились. Чай пить сели... А вы говорите, чудо. Разве эдакого селижаровского бугая с одного удара собьешь?

Ладо Капанадзе привез на строительство весть: Старик поправляется.

В день, когда стало распространяться это известие, в уютной квартирке начальника пятой автобазы за столом сидел атлетического сложения человек в свитере крупной вязки. Детская челочка сбегала на его жирный лоб, широкую физиономию обрамляла рыжеватая узенькая «скандинавская» бородка, очень изменившая облик. Он старательно, каллиграфическим почерком тщательно приставлял букву к букве, и на лице было при этом написано такое напряжение, будто он нес большую тяжесть, боялся оступиться, упасть. Возле на столике лежала газета «Огни тайги», раскрытая так, что со страницы смотрела та же бородатая физиономия. Облагороженная ретушью, она напоминала лицо морского волка из какого-нибудь джек-лондонского рассказа.

Вот большая, покрытая медным волосом рука, на запястье которой вытатуированы надпись «Не забудет мать родная» и крест с обвившейся вокруг него змеей, остановилась. Светлые глаза в белесых телячьих ресницах поднялись.

— Вот мать прочтет, ошалеет... Мурк, а Мурк?..

— Если я еще раз услышу это кошачье имя, ты вылетишь отсюда, будто тобой из рогатки выстрелят.

— Чудно... Сам не верю. А Трифоныч так и говорит: «Поднатаскаю тебя и заместо себя оставлю...» Ведь это ж подумать только — заместо Поперечного-старшего...

— А за младшего не согласен?

— Ну, Борька — сявка. Речи толкает, в газетах горло дерет, а кабы ему лучшие карьеры не подсовывали да соседи на него не батрачили, лопнул бы — и одна вонь. Ох, Трифоныч мой за него переживает! Форс этот простить ему не может...

— У нас на базе тоже наобещали с этим «броском» семь верст до небес и все лесом. «Мы», «мы», а теперь воздух продают. А на бетоне тоже... Мне с вышки-то видно.

—А как думаешь, Мурк?..

— Опять Мурка? Вот сниму туфель и — береги свою бородатую фотографию.

Мурка сидит под лампой в пестром байковом халатике. Ее коротким волосам уже вернулся их естественный цвет. Прихмурив брови, она распяливает на пальцах крохотную распашонку и критически осматривает ее. Губы в недовольной гримасе становятся еще более пухлыми.

— Костька, ну почему у тебя сестра такая бездарная? Видишь, опять шовчик ушел, будет ему жать под мышечкой.— Она сердито отбрасывает рукоделие.

— Му... то есть Маша, а Поперечный намедни твово хвалил. Говорил, хоть и назвонил, а обязательство-то вытянет.

— Мой! — Полная нижняя губка своенравно оттопыривается.— Мой тоже любитель сметанку слизывать. Только я ему не даю... И вообще, мальчики, вас бы без меня вши заели... Костька, помнишь, когда я замуж собралась, как ты мне грозился?

— Кто ж знал... А вроде верно, ничего мужик.

— Такой, какой мне нужен,— назидательно произносит Мурка, снова берясь за распашонку. — Вот видишь, где мне не нравится, распорю и снова перешью... Так и с вашим братом...

— Увидит мать мой портрет в «Огнях» — расплачется. Раньше все писала: «Отец в гробу поворачивается от стыда...» — Третьяк повертел в руках исписанный лист. И вдруг спросил: — Сеструха, а это верно, что Старик поправляется?

— Здравствуйте, новость какая! — усмехнулась сестра, заглаживая наперстком шов.— Мой говорит: малую гирю к себе потребовал...

— Молоток! — восхищенно произнес Третьяк.— До сих пор помню, как он мне руки крутнул. Сила! Трифоныч мой ждет его не дождется.

— Один твой Трифоныч, что ли?..

В час, когда в квартире начальника пятой автобазы шел этот разговор, в доме № 1 по Набережной бесшумно расхаживал по пустым комнатам Вячеслав Ананьевич Петин. Он заказал по телефону Москву, министра, и теперь обдумывал разговор, который многое должен был решить. Когда с Литвиновым случилась беда, он попытался осторожно поговорить о замене начальника Оньстроя с руководящим лицом, которое к нему благоволило. Человек этот считал Петина глубоко партийным, остро мыслящим, передовым инженером, доверял ему и, как об этом, будто бы невзначай, рассказывал Петин, иногда звал к себе на дачу, на партию в преферанс. Именно ему, а не министру, который работал когда-то

под руководством Литвинова и до сих пор считал себя его учеником, задал Петин деликатный вопрос. Но на этот раз собеседник то ли не понял, то ли не захотел понять намека, стал расспрашивать о здоровье начальника, о том, чем ему помочь. И вдруг сказал:

— Разве можно освобождать Литвинова теперь, когда его жизнь в опасности? Это может его добить. Нет уж, Вячеслав Ананьевич, вы крепкий товарищ, придется вам пока одному...

Что означало «одному», осторожный Петин уточнять не решился. Он работал с бешеной энергией, и хотя дела по всем показателям шли, кажется, хорошо, хотя «бросок к коммунизму» снова привлек к строительству всеобщее внимание, к Петину иногда приходило ощущение, что время работает против него.

А тут эти слухи о выздоровлении Литвинова. Он послал на лесной станок Юрия Пшеничного. Тот вез с собой специально выписанный из Старосибирска огромный торт и большое дружеское письмо. Вернувшись, Пшеничный рассказывал, что Старик, хотя внешне выглядел будто бы и неплохо, почти не поднимается со своей завалинки, говорит слабым голосом. За разговором то и дело прикрывал глаза, дремал, жаловался на боли. Пшеничный не рассказал, что, когда они прощались, Старик вдруг так стиснул ему руку, что гость вскрикнул от боли, и ему показалось, или это действительно было так: синие глаза начальника в это мгновение поглядели на него с откровенной насмешкой. Об этом Пшеничный распространяться не стал. Наверное, показалось. Он был из тех благоразумных людей, какие не любят волновать начальство плохими вестями, предоставлял это делать другим.

Как бы там ни было, времени оставалось в обрез, и Петин решил позвонить министру. К моменту, когда соединили его с Москвой, и тон и содержание разговора были обдуманы.

— ...С Федором Григорьевичем надо все-таки решать,— грустным голосом произнес Петин.— Принимаю все меры,— тут он перечислил всё — от вызова столичного медицинского светила до посылки уникального радиоприемника. — Делаю все, что в моих силах, чтобы вернуть его в строй, но... надежд, к сожалению, мало. Поинтересуйтесь у прилетавшего к нам профессора, он

говорил: никаких надежд.— В голосе Петина зазвучало волнение.— Мне тяжело, но, как человек, на которого вы временно возложили ответственность за все это гигантское дело, я обязан просить форсировать решение вопроса о начальнике. Скоро перекрытие, самая ответственная пора, а у меня нет даже прав самостоятельно решать большие вопросы...

14

А Федор Григорьевич Литвинов продолжал идти на поправку. Где-то — где именно, средствами медицины трудно установить, но есть основание полагать, что действительно в день приезда Степаниды Емельяновны,— роковое распутье было пройдено, и теперь здоровье возвращалось, хотя нетерпеливому больному казалось, что происходит это «сугубо медленно». И, обгоняя здоровье, к нему возвращались жизнедеятельность и энергия.

Как только разрешили спускать с койки ноги, он в тот же день оказался у окошка. По его требованию оно было расширено, забрано в раму, отворялось. Чуть свет укутанный в одеяло Литвинов садился возле окна, открывал его, слушал цвиканье красногрудых солидных снегирей, кормившихся на недалекой рябине, жадный скрипучий крик соек, шумы тайги, тягучие и взволнованные. Слушал голоса, смех, уханье геологов, обтиравшихся утром снегом возле своей палатки, треск костра, на котором в ведре очередной дежурный варил им на завтрак бессменный кулеш. Потом Литвинов выпросил у врача разрешение сидеть на воздухе. Его выводили из жилья, сажали на завалинку. Привалившись к стене, закрыв глаза, он подставлял лицо уже ощутительно пригревавшему солнцу.

С каждой оказией — а таких оказий теперь в связи со спешным развертыванием геологических работ становилось все больше — к нему прилетал кто-нибудь из Дивноярска. Литвинов сажал гостя рядом и начинал с пристрастием выспрашивать обо всем, что происходит на стройке. Привычная память крепко держала всю картину работ, и, выжав из посетителя все, что тот знал, он обновлял ее, как обновляет свою оперативную карту полководец, получив новое разведывательное донесение.

А так как быть созерцателем в жизни Литвинов не умел, он стал иногда диктовать Степаниде Емельяновне записки разным людям с советами попробовать то, сделать это, поступить так или этак. Эти записки в Дивноярске получили шутливое название «Письма издалека».

Завернутый в доху, почти квадратный, недвижно сидел больной на завалинке. Он напоминал старого, дремлющего на солнышке медведя. Но у медведя этого были совсем не сонные, а, наоборот, острые, цепкие глаза, и те, кто приезжал его проведать, всегда поражались: откуда Старику известны все новости!

— ...Ох, Федька, ко всякой ты у меня бочке гвоздь! — журила его жена, которой он диктовал очередное письмо.— Ведь не комса же коротконосая, солидный человек! Что там, без тебя не разберутся, иль вместе с тобой в Дивноярске умные люди перевелись? — Она жадно курила, стараясь отгонять дым от больного.

Литвинов хитро жмурился:

— Степа, учти, по здешней, по бурятской мифологии, ведьм не полагается. Неймется тебе человека точить — садись на свою метлу и фюйть отсюда в столицу нашей родины.

Таких шуток женщина не терпела. Она сразу настораживалась:

— Гонишь, да? Может быть, по какой-нибудь другой соскучился? Какая-нибудь там секретарша? — Она уже зло смотрела на мужа, неподвижно выглядывавшего из своего мехового кокона.

— Фу, фу, фу! — довольно посмеивался Литвинов.— Ты у меня, как Петрович говорит, с пол-оборота заводишься. Секретарша, брат Степа, у меня такая: по стойке «смирно» стою. А ну-ка, припишем к письму ей приветик. Как-то она там без меня?

С Валей жена была знакома. Они ладили. Боясь огорчить мужа, Степанида Емельяновна даже скрывала, что та уже не работает в управлении...

«Письма издалека» летели на стройку все чаще, все более широкий круг людей получал их. Они ходили по рукам, читались вслух. Пословицы, меткие характеристики, которыми они изобиловали, быстро распространялись, и люди радовались: Старик шутит, Старик поправляется, Старик берется за дело. Но кому эти письма начинали серьезно мешать, у кого вызывали сначала снисходительную усмешку, потом досаду и, наконец,

ярость, так это у Вячеслава Ананьевича Петина. Он как бы физически ощущал, что этот больной, неподвижно валяющийся из-за собственной глупости где-то в тайге человек каким-то образом ухитряется видеть строительство, с нудной въедливостью вникает во все дела, замечает ошибки и, во все вмешиваясь, буквально связывает его, Петина, по рукам и ногам, парализует его инициативу. И кто ему обо всем доносит? Неужели грузин ведет двойную игру? Зачем? Идея «броска» дала этому, в сущности, примитивному и довольно тусклому солдафону возможность оказаться на виду. О нем несколько раз даже упоминали в большой печати, к нему едут изучать опыт партийно-массовой работы. Неужели он, несмотря ни на что, остается преданным Литвинову и только притворяется, что помогает ему, Петину? Это было бы опасно, это надо узнать. И узнать осторожно, чтобы не приобрести в Капанадзе врага или хотя бы недоброжелателя.

В одну из суббот, когда тайга дышала уже ароматом цветущих черемух и у каждой березы майские жуки давали в предвечерний час концерт на контрабасах, Петин позвонил парторгу.

— Ладо Ильич, хочу напроситься к вам в гости. Я столько слышал о вашей семье! Может быть, разрешите одинокому человеку погреться у вашего очага?

— О, Вячеслав Ананьевич, милости просим! Ламара будет в восторге. Я сам шашлык приготовлю. Мечта! Пальчики оближете.

В воскресенье черный лимузин остановился у домика № 6 по Березовой улице. Теперь действительно она была березовая. Тонкие белоствольные деревца, выстроенные вдоль тротуара, стелили по ветру нежную, почти еще желтую листву. Первая смена окончилась, и за штакетниками низеньких заборчиков люди семьями возились в коричневой маслянистой, как автол, земле. Поднимаясь на крылечко, Петин уже уловил аппетитнейший аромат баранины и лука. В самом деле, парторг в сорочке с закатанными рукавами, в женском переднике, вместе с черноволосым мальчуганом священнодействовали во дворе, у самодельного мангала, на котором на угольях, нанизанные на спицу вперемежку с жиром, жарились кусочки мяса. Высокая стройная женщина со строгим миловидным лицом стояла возле, не вмешиваясь в это священнодействие.

— Вячеслав Ананьевич, дорогой гость! — Капанадзе, радушно протягивая руки, направился к Петину.— Мою Ламару вы знаете, а это сын — Григол, Гриша.

Вячеслав Ананьевич протянул хозяйке коробку конфет, а мальчику — шоколадного зайца.

— Остроумие этого молодого человека известно в здешних краях,— сказал он, адресуясь к матери.— Тут, Ламара Давыдовна, однажды у нас готовились принять знатных гостей. Потом выяснилось, они не приедут, подготовку прекратили. Так вот супруг ваш остроумно привел знаменитый диалог, имевший место в вашем семействе. Вы сказали: «Григол, сегодня бабушка приедет, вымой уши». А он ответил: «А если бабушка не приедет, я и буду, как дурак, ходить с чистыми ушами»? Ха, ха! Очень мило.

Но рассказ этот произвел неожиданное действие.

— Опять! — Ламара строго нахмурила бархатистые брови.— Ладо, это — безобразие, кончится оно когда-нибудь?—И пояснила гостю:— Это же он сам за мальчишку фольклор создает.

— К столу, к столу, шашлык готов! — с подчеркнутым оживлением воскликнул хозяин и прямо с жаровни принес на террасу сочащуюся жиром баранину, благоухавшую луком и чесночной подливкой.

Вино наливали прямо из маленького дубового, сделанного в виде чемодана бочонка с ручкой. Хозяева, даже маленький Григол, просто излучали радушие. Петину, который все еще никак не мог освоиться со своим одиночеством, стало необыкновенно хорошо. Хотелось сидеть без всяких дум, смотреть на милое лицо хозяйки. И трудно, очень трудно было начинать тягостный разговор. Даже когда из-за мошки, усиливавшей к вечеру свою активность, с террасы перешли в комнаты, гостя усадили на тахту́, подложили ему под локоть мягкие валики — мутаки и Ламара налила ему ароматный чай, Вячеслав Ананьевич все тянул, чувствуя несвойственную ему нерешительность.

— Вот вы ехали по Березовой, видели, сколько людей в палисадниках возится? Все, я бы сказал, поголовно все,— проговорил Капанадзе.— Я вот хожу и думаю: как же прав был Старик, когда настаивал, чтобы тут, в Партизанске, у каждой квартиры был кусочек земли!.. Крохотный, с ладонь, а какая это радость — покопаться

на нем в свободную минуту! А ведь иные, помните, возражали: частнособственнические инстинкты, индивидуализм.

— Да, да, у нас можно, не заходя даже в дом, догадаться, откуда хозяева,— поддержала мужа Ламара.— Посмотрите через забор: если лук, репа, редька — русские. У моей соседки, у Ганны, помидоры, свекла, а по забору подсолнухи — украинцы. А у нас вот, пожалуйста, вы кушали цицматы, киндзу, тархун. Все свое, здесь в Сибири выросло. Мне мама семена в письме прислала... Старик — умница. Он правильно говорил: кто в Партизанске квартиру получит, тот навсегда сибиряк.

— ...Да, кстати, если уж разговор зашел о Федоре Григорьевиче,— небрежно заговорил Петин, подставляя Ламаре чашку.— У меня что-то с сердцем, мне самый слабый... Спасибо... Так вот о Федоре Григорьевиче. Я давно, Ладо Ильич, хотел с вами как с представителем высшего партийного органа у нас на строительстве потолковать. Эти его письма... Я понимаю: ему там скучно, читать он не любит, что-нибудь изучать, пользуясь избытком свободного времени, не в его характере, а сидеть без дела не привык. И вот пишет, пишет. И часто его советы идут вразрез с моими распоряжениями.— Говоря это, Петин внимательно наблюдал за собеседником. Ламара сразу же ушла и увела мальчика. Капанадзе пересел с дивана на стул. По лицу его трудно было понять, что он думал.— Федор Григорьевич, конечно, опытнейший хозяйственник, самородок, но... любой шофер скажет, если два, даже очень квалифицированных, водителя держатся за руль, авария почти неизбежна... Что вы на это скажете?

— Вот тут ореховое варенье. Очень не люблю этого слова «теща» ни по-русски, ни по-грузински... Ламарина мама его нам на Первое мая прислала. Попробуйте, очень вкусное.— Капанадзе протягивал гостю блюдце с вареньем странного зеленоватого цвета.

Петин машинально положил в рот ложку.

— Да, очень своеобразное. Благодарю вас... Но я хочу закончить об этих так называемых письмах с того света, как их именуют. В одном из них Федор Григорьевич, и откуда — с Чернавы! — обращает наше с вами внимание на такую, например, частность: будто бы Бориса Поперечного, человека, который стал теперь правофланговым в соревновании, запевалой нашего «броска»,

ставят, видите ли, в какие-то особые условия... Александру Коровкину, нашему славному бетонщику, имя которого было однажды даже упомянуто в передовой статье, кто-то там будто бы приписал выработку. Ну что это? Зачем?.. У нас такой подъем! О нас говорят, Оньстрой ставится в пример, а Литвинов ищет каких-то блох... На солнце тоже есть пятна, но кто же, глядя на солнце, думает о пятнах... Не знаю, как вас, меня это, честно говоря, выводит из себя. Если хотите, это просто антипартийно.

Ничего не ответив, Капанадзе отставил чашку, вышел, вернулся с какой-то папкой, порылся в ней и протянул гостю письмо:

— А может быть, нам все-таки стоит прислушаться к тому, на что указывает Старик? Мне об этом Александре Коровкине написали со стройки. — Парторг пробежал по письму глазами.— Вот послушайте: «...Вы сидите высоко, а я — еще выше. Мне с моего крана все видно. Да я и сама знаю, сколько и кому бетона ношу. Васька Чижиков со своими комсомолятами дохнуть мне не дает: скорей, скорей. А этот почтеннейший лидер, дядя Саша Коровкин, который письмо о «броске» подписал и который вот уже месяц верхом на сводке сидит, он в разных местах себя почесывает, и в его смену я иной раз по полчаса свищу...» — Капанадзе отдал письмо Петину.— Полюбопытствуйте.

Письмо было грамотно, запятые стояли на местах, почерк был хотя и небрежный, но красивый, и разухабистый стиль — «верхом на сводке», «свищу» —казался нарочитым. Но Петин обратил внимание только на подпись: «Мария Третьяк». Он сразу оживился.

— А вы знаете, кто порочит знаменитого бетонщика Коровкина? — спросил он со снисходительной ухмылкой. Сделал паузу, взял блюдечко с вареньем, положил ложку в рот, посмаковал.— А ведь действительно вкусное... Так вот именно по этому письму вы как раз и можете судить, что за люди сеют у нас склоки, вызывают недоверие к лучшим ударникам, беспокоят больного товарища Литвинова. Это же пресловутая Мурка Правобережная, которая путалась с каким-то уголовником. С негодяем, который во время пожара отнял у Дины Васильевны спасательный круг... Типичный деклассированный элемент. От таких людей нужно строительство решительно очищать, но Федор Григорьевич носится с этой

допотопной идеей перековки. И вот пожалуйте... Я всегда говорю: большое счастье, что нашей парторганизацией руководит коммунист военной школы, боевой, острый, решительный... Но все-таки не кажется ли вам, дорогой Ладо Ильич, что в этом конкретном случае классовое чутье вам немножко изменило?

— А не кажется ли вам, дорогой Вячеслав Ананьевич, что в этом случае вам немножко изменила чуткость? — в том же тоне ответил Капанадзе, протягивая другое письмо.— Это, видите ли, из Белоруссии, от знаменитого Коляды. Помните, партизанские рейды, освобожденные советские районы в тылу врага?.. От него. Коляда просит наших коммунистов пошефствовать над сыном и дочерью его боевого друга Филиппа Третьяка — сельского учителя, замученного гитлеровцами. Его жену, тоже учительницу, гитлеровцы обливали на морозе водой, искалечили, но люди ночью ее выкрали, спрятали, выходили. А их детей гитлеровцы увезли. Они долго скитались по Европе и по стране, беспризорничали... Потом Мария — она была старше — нашла мать, а брат ее тогда отбывал наказание за взлом денежного ящика... Почитайте, почитайте этот манускрипт, он адресован всем нам, большевикам Дивноярска... Тут товарищ Коляда обо всем пространно повествует.— Голос у Капанадзе будто бы отсырел, губы энергичного рта вздрагивали, и выпуклый, несколько тяжеловесный подбородок заметно ежился.

«Сентиментальная дубина,— с досадой подумал Петин.— Однако он гораздо хитрее или умнее, чем о нем можно думать, и говорить с ним начистоту нельзя».

— Действительно, трогательная история,— сказал он вслух.— Наша эпоха просто перенасыщена героизмом, но согласитесь, что сейчас, когда мы подводим итоги первого этапа нашего «броска», отвлекаться на мелочи нет смысла, да мы и не имеем на это права. Мобилизовали людей, намагнитили общественность, прессу... Гигантское дело! Слава края. В эпоху гигантских дел нельзя быть мелочным. Знаете, как Карл Маркс не терпел филистеров?

Петин с надеждой посматривал на собеседника: свою-то выгоду Капанадзе должен же понимать.

— Я вас очень попрошу, Ладо Ильич, не для себя, нет, лично мне, как вы знаете, ничего не надо. Я прошу вас во имя нашего общего дела, во имя почина, который

родился здесь и у колыбели которого мы с вами стояли, во имя славы Дивноярска, которая нам обоим дорога, не отвлекайтесь на мелочи. И еще прошу как партийного руководителя: поддержите меня. Два водителя не могут вести машину... Помогите мне избавиться от.... этих писем...

Капанадзе молчал. Он мысленно ставил себя на место Петина. Действительно, трудно руководить, когда из-за твоей спины тянутся к рулю другие руки. И какие руки! Но разве можно требовать от Старика, чтобы он отрешился от дел? Разве мозг такого человека, даже сраженного тяжелой болезнью, может быть в бездействии?.. Зачем же пришел гость? Он что-то недоговаривает. Что? И он не из тех, кому задают вопросы. На душе у парторга становилось все тревожней.

— А что, если, дорогой Вячеслав Ананьевич, вам самому слетать к Старику да и потолковать с ним об этом?

Петин настороженно посмотрел на собеседника.

— Вы это серьезно? Вы что же, не знаете, что такое ревность, зависть? — Вставая, он посмотрел на часы.— Ой как я у вас загостился! А мне еще надо заехать в управление. Так я, Ладо Ильич, на эту тему сам поговорю с верхом, а вас, если к вам обратятся, попрошу только подтвердить обстоятельства.

Петин сходил с крыльца. На дорожку вышли Ламара и Григол. Руки у обоих были в земле.

— Что же вы так мало у нас посидели? — сетовала хозяйка.— Вам не понравилась наша грузинская кухня? Приходите, обязательно приходите!

— Я вашего зайца есть не буду, он такой красивый! — Григол тянул гостю запачканную в земле пятерню, и тот сделал вид, что не заметил ее...

Ладо Капанадзе улыбался. И Вячеславу Ананьевичу почему-то пришла на память пословица, которую по какому-то поводу изрек однажды Литвинов: «Пошел по шерсть, а возвращается стриженый». Теперь она будто наполнялась содержанием. «И все этот Старик, этот графоман со своими, как изволит выражаться этот грузин, манускриптами»,— раздраженно думал Петин, пока литвиновский лимузин нес его по асфальту из Партизанска в Дивноярск. «Ведь как хорошо, стремительно все развернулось: Оньстрой, бросок к коммунизму!.. Как это прозвучало по стране! Люди прилетают за тысячу километров изучать опыт. Даже Дина, бедная девочка,

которой эти два жеребца заморочили голову, даже она захвачена моим успехом». Вячеслав Ананьевич часто вспоминал, как однажды в фойе клуба на концерте Надежды Казанцевой Дина подбежала к нему, шепнула: «Как ты развернулся!» И это при Дюжеве и Надточиеве...

О, он еще покажет ей, кто он такой. Он пустит эту великую электростанцию. Он вернется в столицу со званием Героя. И она, усталая, разочаровавшаяся в своих иллюзиях, придет к нему. Он не мелочен, нет. Он великодушный человек. Он простит ее. И как они опять заживут!.. А тут Литвинов, эти его манускрипты: мертвый хватает живого... Ну, Литвинов — это понятно, он борется за свое, но вот как этот грузин не хочет понимать, что в огромном деле могут быть просчеты и... некоторые преувеличения... заострения! Река будет перекрыта в срок. Это — главное. Это — мировое событие! Кто тогда будет копаться в кляузах каких-то там истеричных бабенок? Победителей не судят! Да, в конце концов, он, Петин, и не давал никому приказа жонглировать с учетом. Но надо быть осторожным, надо принять меры...

Вскоре после описанного разговора с Капанадзе Вячеслав Ананьевич созвал в домик на Набережной, как он выразился, «тесный кружок» друзей. Это были люди, которых он выдвинул или выписал из Москвы, работники, обязанные ему квартирой, повышением оклада или новой должностью. Он пригласил их на день рождения, и за столом будто бы между делом, в общем разговоре об итогах «броска» он твердо сказал: пусть помнят, что он никогда и никого не учил жонглировать цифрами.

И это было недалеко от истины. Никаких указаний такого рода он не давал. Даже если бы велись фонограммы его бесед с приближенными, самый лютый враг не мог бы использовать их. В конце каждого месяца, когда подводились итоги очередного этапа «броска», он приглашал этих людей к себе поодиночке и говорил, какой рост выработки он от них ожидает.

— Но у нас в этом месяце не получилось,— робко возражал кто-нибудь из них.

— Мне дела нет, что у вас там было в этом месяце,— прерывал его Петин.— Вся страна смотрит на нас, народ ждет, и я не позволю вам, слышите, не позволю марать славу Оньстроя! Выдвинув вас на этот пост, я полагал, что вы умный и действительно инициативный человек.

— Но у нас из-за...

— Никаких «из-за». Если вам слава Оньстроя не дорога, я вас на этом ответственном посту держать не могу. И, простите за бытовизм, оставьте мечту о квартире. Ее займет более достойный, более преданный делу, более энергичный и умный товарищ.

— Но как же быть?

— Что же мне, думать за вас? Думайте сами. Посоветуйтесь с опытными людьми. Вот хотя бы с Юрием Владимировичем Пшеничным. Они вам скажут, как нужно работать, чтобы не отступить от исторических обязательств, которые вы дали народу... Поняли? Ну, ступайте... Я всегда полагал, что вы умный человек и не позволите ронять марку Оньстроя.

Вот как звучали бы фонограммы таких разговоров. И теперь, когда все эти люди из ближайшего петинского окружения собрались за столом, он спокойно мог спросить их:

— Разве кто-нибудь вам давал такие указания?

— Боже мой, кому это может прийти в голову! — всплеснул руками Юрий Пшеничный, игравший во всех этих делах немалую роль. И хотя сам он уже насторожился, на его румяном лице сияла добродушнейшая улыбка.— Вы, Вячеслав Ананьевич, всегда будете для меня, вашего ученика, и для всех нас, ваших сотрудников, примером честности, прямоты, принципиальности.— И он поднял рюмку:— Еще раз за нашего дорогого новорожденного, за его успех, за счастье в этом доме!

— Погодите, Юра,— остановил его Петин после того, как заздравные рюмки были выпиты.— Дело прежде всего. Мы все должны знать, что отдельные завистники и недоброжелатели уже делают вылазки против славы Оньстроя, втягивают в это больного Литвинова, возможно, и партком. Мы, дорожащие этой славой, должны сейчас сплотиться, как никогда. Понимаете? Если кто-то где-то докопается до каких-то погрешностей и неточностей с учетом, допущенных в спешке, советую тому, кто их случайно допускал, честно, как положено советскому гражданину, сказать: «Да, мол, не желая ронять славу своего участка, я, понимаете, не «мы», а «я», именно я это сделал, надеясь, что в будущем недоработку перекрою». Самое плохое, что может произойти,— я буду вынужден сделать административное замечание, ну, дать выговор. Не больше. Но если кто попытается сваливать

свою вину на кого-то, понимаете, на кого-то, свою, понимаете, свою вину или частный случай превратить в явление, тогда...— Петин развел руками, оставив каждого догадываться, что будет тогда. И, поднимая с несвойственной ему лихостью рюмку, он сказал: — А сейчас выпьем за крепкое деловое сотрудничество, за стойких людей, которые твердо продолжают свое дело, несмотря на всякие наскоки и кляузы...

Выпили молча. Все были встревожены, но старались этого не показывать. Пшеничный, сидевший рядом с хозяином дома, проникновенным голосом прошептал ему:

— Вы такая умница! Я вами восхищен. Позвольте мне, как вашему ученику, выпить индивидуально за вашу неопровержимую логику. Я всегда буду учиться у вас, и «сим победиши».

На дальнем конце стола сидел Марк Бершадский. Он был впервые приглашен в этот дом и потому явился одетый с особой тщательностью, в накрахмаленном воротничке, светлом галстуке, старательно прилизав с помощью фиксатуара свои рыжие упрямые лохмы. Весь вечер он молчал. На него не обращали внимания. И все, в том числе и хозяин дома как-то проглядели что он сидит пораженный, растерянный, ни ест, ни пьет и пестрые глаза его недоуменно и испуганно смотрят на все происходящее.

15

Когда сошли снега и геологам удалось расчистить от леса достаточную по размерам посадочную площадку возле охотничьего станка, Федора Григорьевича Литвинова под надзором врача и под командованием Степаниды Емельяновны эвакуировали в Дивноярск.

Ему уже разрешали ходить, но, по словам врача, так осторожно, что «если бы у него на голове стоял стакан воды, он не должен бы был расплескаться».

По такому случаю Олесь Поперечный, посетивший начальника в день возвращения, преподнес ему палку. Он сам сделал ее из специально подобранного в тайге можжевелового ствола. У диковинной этой палки была такая ручка, что, уткнув конец палки в землю, можно было на ней присесть. Сучки были оставлены в виде зашлифованных бугорков. Вокруг каждой такой выпук-

лости хитроумный Олесь выжег названия гидроэлектростанций, которые Литвинову довелось строить. У верхнего сучка значился Днепрогэс, дальше следовало пять сучков с другими надписями. Седьмым был Оньстрой.

— Это шрамчики, которые вы на земле оставили,— пояснил Олесь.

Принимая палку, Литвинов растрогался.

— Ох, цур тоби пэк, бисов сын,—сказал он срывающимся голосом.— Ведь надумал же подпорку к старой хламине подставить. Да еще и пилюлю позолотил... Степа, гляди, что этот чертушка сочинил... Стой, а это что? — Он указал на две нижние, еще пустые выпуклости.

— А это для тех шрамчиков, которые вы еще нанесете. Может, Усть-Чернава, может, еще какие.

— Ну, хитер, сугубо хитер.— Литвинов рассмеялся, как не смеялся уже давно.— Стой, а почему «нанесете», а не нанесем?.. Ах да, Ладо рассказывал, твоя востроглазая ультиматум поставила — кончай цыганить или цыгань один. Было это?

— Было. Совсем меня запилила,— вздохнул Олесь, вертя в руках фуражку.— И верно, пора к месту прибиваться. Сашко в старший класс бегает, Нинка наконец опять за музыку свою взялась, да и немолодой уж я, Федор Григорьевич. Ох немолодой!

— А я? — ответил Литвинов, снижая тон до шепота.— Думаешь, с меня стружку не сгоняют? — Он указал пальцем на дверь, из-за которой доносился стук посуды и резкий голос жены, снова и снова повторявшей припев: «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне — остановка...» И совсем уже тихо прибавил: — Отец мой покойный говаривал: «Ходит баба задом, ходит баба передом, а дело идет своим чередом». А? Как? — И оба засмеялись, засмеялись шепотом...

Теперь уже не пустовал дом № 2 по Набережной. Рано утром Степанида Емельяновна выводила мужа на террасу. Он усаживался на ступеньках, лицом к лесосеке, которой вскоре суждено было оказаться дном моря. Тут и сидел, опираясь подбородком о диковинную свою палку. Но редко сидел один. Почти сразу же кто-то появлялся около него, примащивался рядом, начинался разговор.

Кто были они, эти люди, которых Петин постоянно видел возле Старика через свое окно, он не знал, о чем

говорили, не слышал. Но всегда поражался, как это больному не надоест, как это его не утомит. Поражался и завидовал. Вот заболей он, Петин. Кто к нему придет? Да не нужны они ему, эти люди. А тут один, другой, третий. А по вечерам, когда утомленный за день Вячеслав Ананьевич ложился в постель в своей одинокой спальне, со стороны соседнего дома, сквозь сетку от гнуса, доносилось пение. Когда пели про тайгу, про бродяг, пробирающихся домой, про Байкал, Петин догадывался: у Литвиновых сибиряки. Лились раздольные «Меж крутых бережков» или «Из-за острова на стрежень» — значит, Дюжев или кто-то из волжан. Сочные голоса выводят «Рэвэ тай стогнэ...» — спивают украинцы.

А иногда слышался не очень стройный дуэт. Мужской и женский голоса выводили давно забытые комсомольские песни про коммунаров, роющих себе могилу перед расстрелом, про молодого красноармейца, раненного белогвардейской пулей и прощающегося с конем,— это значило: Литвиновы одни. «Жалкие, старомодные люди»,— говорил Вячеслав Ананьевич, ворочаясь без сна и не понимая, что завидует Литвинову.

На новенькой, блещущей лаком «Волге» прикатил однажды к Литвинову Иннокентий Седых. Бывшие противники троекратно расцеловались.

— Совсем обуржуился, чалдон! На лимузинах раскатываешь! — Литвинов с любовью посматривал на председателя колхоза, который за это время ссохся, посмуглел и казался еще более похожим на беркута.

— Так вы ж дороги вон какие построили! По нимта вроде и неудобно на «козле» трястись,— отшучивался Седых.— Коли я обуржуился, вам за то перед партией отвечать. Я ведь и сейчас за делом.— И рассказал, что колхоз, построив те самые склады из льда, о которых когда-то было столько споров и шума, теперь может хранить овощи в свежем виде хоть до урожая следующего года. Сейчас Тольшу Субботина одолела идея — построить в Ново-Кряжове теплицы, чтобы зимой снабжать Дивноярск зеленью. Заехав навестить больного, Иннокентий тут же завел разговор о помощи железом, стеклом, трубами...

— Жаловались, уж жаловались мне, как ты тут нашим на горло наступаешь,— говорил Литвинов.— Ловкач, ох ловкач!

— А как же иначе? Вы ж нас с коренного гнезда согнали, можно сказать, в глушь. Откуда у нас теперь деньги? Мы новоселы. Хотите зимой селедочку зеленым лучком заправлять, огурчик свеженький на рождество на стол положить — развязывайте кошелек-от. А как же? Подмогнете — второй магазин в Партизанске открою. Овощами, рыбкой, медком рабочий класс питать будем... Я ж многого не попрошу, нам бы тепла маленько: к вашей централи подсоединиться да труб пять километров. И всё...

— Только! А? — крутил головой Литвинов.— Ну и кулачище ты, Савватеич, сугубый кулачище!

— Не для себя, не в свой-от карман... Нате-ка, принимайте гостинец! — И, развернув чистое полотенце, он поставил около Литвинова тяжелую рамку с печатным пчелиным сотом, от которого так и пахнуло ароматом лета.

— Глафира, что ли, меня вспомнила?

Иннокентий удивленно взглянул на собеседника, и смуглое лицо его погрустнело.

— Глафира?.. А вы ничего не знаете? Хоть откуда вам знать наши горя? Нет у нас больше Глафиры Потаповны.

— Как — нет?

— А вы и верно не слышали? О ней-то вы все знаете?..

И рассказал Иннокентий Седых историю печальную и удивительную. Была когда-то Глафира черницей, в староверческом здешнем скиту. Красавицей была, из богатой старосибирской семьи, и когда в 1917 году затрещала старая Россия, отослала игуменья пригожую черницу в губернию к родным. И вот по пути на пароходе познакомилась она с механиком Александром Седых и не доехала до Старосибирска монахиней. Сошли они на первой большой пристани и обвенчались. Потом, когда вниз по Они отступили выбитые из губернского города колчаковские полки, партизаны и мечтать не могли о лучшей разведчице, чем красивая черница, из старой, широко известной купеческой фамилии. Александра и его товарищей расстреляли. Глафира ночью на себе унесла их тела в таежную котловину, вырыла в торфянистой земле могилу и сама их погребла.

С тех пор, одинокая, молчаливая, работящая и суровая, жила эта женщина в семье Седых. Ходила в черном,

молилась богу, и единственной настоящей ее привязанностью была партизанская могила. Часами сидела она перед ней на скамеечке — и в летний зной, и в зимнюю стужу, и под тоскливым осенним дождем. Сидела, о чем-то думала и никогда никому не говорила, о чем. Лишь однажды, как показалось родным, будто бы начала оттаивать ее душа. Это когда Иннокентий привез в колхоз бывшего своего командира Павла Дюжева. Дюжев внешне да и по складу характера напоминал ей мужа, с которым она и года не прожила. И случалось, часами украдкой следила она из полутьмы закута, как Дюжев работает, читает или спит. А когда Дюжев уехал, опять весь мир странной женщины сосредоточился у могилы.

И вот могилу пришлось вскрывать. Прах партизан решено было перенести в новый город, который в честь их поименовали Партизанском. Сделать это втайне не сумели. Копали при Глафире, и когда сняли слой торфа, все были поражены — три тела лежали рядом, не тронутые тленом. Десятилетия будто перешагнули через них. Старая женщина увидела мужа таким, каким он жил в ее памяти: молодым, крепким, красивым. Со страшным криком бросилась она в разверстую могилу, припала к нему. Потребовались усилия нескольких мужчин, чтобы оторвать ее от тела. Присутствовавший при эксгумации археолог Онич тут же принялся объяснять редкий этот случай тем, что на дне котловины, защищенный от солнца торфянистым слоем, находится чечевицеобразный очаг вечной мерзлоты. Рассказывал, что вот так же однажды нашли в болоте целого мамонта. Объяснения были резонны, но потрясенная женщина ничего не понимала, а может быть, уже и не слышала. Она молчала. А на другой день никому ничего не сказав, исчезла. Исчезла бесследно, и до сих пор никто не знает, жива ли она и что с ней...

— Искали?

— Искали.

— И не нашли?

— Ни следочка. Неужели об этом не слышали, Федор Григорьевич? Про партизан-от и в газете было. — Иннокентий помолчал.— Вечная мерзлота!.. Оно конечно... А все-таки дивно это было. Я-от старый уж, а братан старшой лежит — парень и парень. И ранка на лбу от колчаковской пули так, еле видная...

— Ой, плаксив я что-то, Савватеич, стал,— пожаловался Литвинов, вытирая слезы.— Ну ладно о покойниках. Говори, как живые живут. Что хмуришься? Маяк твой по-прежнему на все Оньское плёсо светит.

— Обобрали вы меня, Федор Григорьевич, кругом обобрали,— вздохнул Иннокентий, будто бы уходя в себя.

— Ну уж, знаешь.— Это Литвинов произнес даже с обидой.— Переехать помог? Помог. Клуб вон какой отгрохать помог? Помог. Сейчас вот с теплицами помогу? Помогу... Обобрали!

— Не отогреют меня те теплицы,— продолжал Иннокентий.— Василису-та этот ваш латыш увел? Увел. До колхоза ль ей теперь? Сколько молодежи так-та вот к вам ушло? Ваньша вон с утра до вечера скулит: отпусти да отпусти в Дивноярск — там техника... И останусь я, Федор Григорьевич, один, как мертвый сук на дереве, ходить по дому с двумя крыльцами: в одно войду, в другое выйду...

— Хорош мертвый сук! Ты, Иннокентий, кедр могучий. Вон твоя крона-то как шумит. И побеги у тебя, хорошие побеги. Уж скажу по секрету: геологов мы представляли — дочке твоей большой орден носить...

— Орден... А кто в колхозах работать, кто кормить вас будет? Вы об этом думаете?..— срываясь на фальцет, выкрикнул Иннокентий.— Тают здешние колхозы — не видите этого?.. Глаза на это закрываете.— Но что-то самое горькое он, видимо, все-таки не высказал, сдержался и сразу заторопился: — Ну, поправляйтесь, Федор Григорьевич! Поправляйтесь и приезжайте, завсегда рады вам будем.

И не успела «Волга» Иннокентия Седых отъехать, как Степанида Емельяновна уже писала под диктовку мужа на депутатском бланке в Дивноярский горсовет, в Старосибирский облисполком и секретарю обкома просьбы помочь колхозу «Красный пахарь» со строительством теплиц: сугубо нужная, сугубо полезная затея...

По мере того как таким вот путем, исподволь, Литвинов проникал в рабочую атмосферу Дивноярска, его близкие все чаще слышали известную им музыкальную фразу «И гибель всех моих полков...», исполняемую в самом боевом тоне.

Надточиев, Дюжев, Валя, Игорь, Дина Васильевна и другие люди, часто забегавшие в домик на Набережной,

блюдя правила медицины, старались не говорить ни о чем, что могло бы огорчить, рассердить или взволновать больного. Даже Ладо Капанадзе, для которого наступили тяжелые дни, старался толковать о шахматах да о новых археологических находках Онича. А так как неприятностей и тревог было у него много, а у Литвинова был острый глаз и скрывать от него что-либо было трудно, парторг старался не оставаться с ним один на один.

Флотский офицер, привыкший к размеренной неизменности корабельной жизни, еще не вжившийся глубоко в атмосферу огромного строительства, Ладо Капанадзе терялся в массе многообразных дел. Идея «броска» захватила простотой и смелостью. В самом деле, кому, как не этому городу, росшему в тайге, и быть запевалой славных починов! И разве истинного большевика может не увлечь мечта идти впереди, показывая путь другим? Петин — умный человек. Он, конечно, все подсчитал, он знает возможности. И горячий Капанадзе с головой окунулся в новое, полюбившееся ему дело. Выступал на собраниях. Помогал людям формулировать их обязательства. Радовался, что «бросок» поддерживает печать, что обком с интересом следит за развертыванием почина, что «Старосибирская правда» опубликовала письмо дивноярцев на первой странице, печатает сводки о ходе дел.

И вот одновременно этот вопрос Старика — «все ли у вас там на чистом сливочном масле» и письмо Марии Третьяк. Капанадзе насторожился. Он сам пошел в котлован, поговорил с коммунистами. И тут увидел, что женщине из ее стеклянной будки действительно удалось рассмотреть все точнее, чем ему самому с высокого партийного поста. Это открытие взволновало Капанадзе. И хотя сводки с участков поступали хорошие и почин, согласно им, развивался успешно, это уже не успокаивало.

В эти последние месяцы Капанадзе как-то особенно сблизился с секретарем комсомольского комитета Игорем Капустиным. Капанадзе, флотскому офицеру, была по душе спокойная, уверенная подтянутость этого немногословного, не очень видного собою парня, который в короткое время стал любимцем молодежи. Игорь был первым, с кем Капанадзе поделился своими сомнениями.

— Организуй-ка ты, брат, проверку на нескольких ведущих участках. Комсомольский рейд, что ли, какой-нибудь.

Игорь ответил «есть» и в тот же день взялся за дело. Но Капанадзе продолжало точить беспокойство, неотвязное, как зубная боль. И уже приходило в голову: а что, если Петин затеял все это лишь для того, чтобы, воспользовавшись болезнью Литвинова, создать шум вокруг своего имени, а он, парторг, которому доверены человеческие души, оказался на поводу у бессовестного карьериста? Ведь именно так характеризовал его Надточиев. И тут уже невольно вспоминались, связывались в общую цепь и давняя история с предложением Бершадского, и борьба против Дюжева и его проекта, и письмо молодых специалистов об этом несчастном человеке, организованное Юрием Пшеничным, и многое другое, чему раньше он не придавал особого значения. Капанадзе становилось жутко. Если это обман, бум, афера, тогда и он вольный или невольный пособник аферистов! Ах, если бы посоветоваться со Стариком! Но тот ненавидит очковтирательство, ложь, даже простое вранье. Взволнуется, взорвется, и это может вызвать повторный инфаркт.

Случай подтвердил: дело серьезное. Как-то утром в партком вбежал, именно вбежал Марк Бершадский и, еще не дойдя до стола Капанадзе, с середины комнаты, срывающимся голосом, будто с кем-то продолжая спор, прокричал:

— ...А я не стану молчать! Пусть не дают квартиры, пусть! Пусть он меня выживет! Пусть она уходит! Я кандидат партии, я коммунист, я не могу этого скрывать...

— Садись,— сказал Капанадзе, легонько подталкивая посетителя в кресло, и, налив воды, протянул ему стакан.— Ну, выкладывай, Макароныч, с кем ты споришь?

— Мы расстались,— трагически произнес молодой инженер, и стакан задрожал у него в худых, будто охрой забрызганных руках.— Между нами кончено. Пусть все летит к черту, я не хочу! Честь коммуниста не позволяет мне...

— Стой, стой! Начинай по порядку. С кем кончено? Что не позволяет честь коммуниста? Кому лететь к черту?

— Как — с кем? С Викой, конечно. А честь не позволяет из-за квартиры, из-за карьеры обманывать, ловчить, подличать. Я не Юрка Пшеничный.

— Кого обманывать, как ловчить? — упавшим голосом спросил Капанадзе, уже чувствуя, что все это как-то связано с Петиным, с «броском», с его собственными сомнениями и раздумьями последних дней.— Ну, чего же ты? Слушаю.

— Вчера у Вячеслава Ананьевича был нужничок.

— Нужничок? Что это значит — «нужничок»?

— Сакко Иванович так называет вечеринки, на которые Вячеслав Ананьевич собирает теперь нужных ему людей... Меня тоже пригласили, понимаете? В первый раз пригласили.

Торопясь, сбиваясь, то и дело повторяясь и глотая целые фразы, молодой инженер рассказал все, что было на этом так называемом «нужничке». Монолог Петина, его предостережение, скрытую угрозу, прозвучавшую в его словах. Ничего конкретного Бершадский сообщить не мог, но Капанадзе уже понимал, что молодой инженер, почти мальчишка, в данном случае оказался прозорливее, чем он сам, любивший называть себя флотским большевиком. «У тебя на глазах с помощью фальшивок создавались репутации,— думал он, смотря на взволнованное лицо Бершадского.— Не знал? Да, конечно, не знал, не рассмотрел, не учуял... Но доверчивый дурак на посту партийного работника ничем не лучше афериста, обманщика, лгуна, который им вертит».

— Я, Ладо Ильич, еще с той зимы, когда Сакко Иванович получил из-за меня выговор, а потом мое предложение было забыто, начал догадываться: тут что-то не то. Но вот вчера, когда он все это говорил, я понял: это организованный обман! — кричал Бершадский, взметывая свои длинные руки.— Обман народа!

— Ясно. Сугубо ясно,— сказал Капанадзе и грустно улыбнулся, вспомнив, что так любит говорить Старик. Но когда ушел удрученный Макароныч, парторгу ясно было одно: «бросок», дело, в которое он так верил, в которое вкладывал душу, превращено в аферу. Надо действовать, действовать немедленно, даже не ожидая результатов комсомольского рейда. Он решил начать с разговора с Петиным: «Будь что будет. Разведка. Разведка боем». И он позвонил Вячеславу Ананьевичу.

— Нужно потолковать. Когда можно приехать?

— Хорошо,— ответил спокойный голос.— Я лучше заеду сам. Ну, например, после рабочего дня.

Петин приехал, когда в парткоме работа окончилась. Но парторг был не один. Кто-то был у него в кабинете. Оттуда звучал голос Капанадзе:

— ...Ваша инструкция — это шедевр для «Крокодила»: «Запрещается, танцуя, крепко прижиматься к даме и в фокстроте делать двусмысленные движения»,— отчитывал он кого-то.— Что значит «прижиматься к даме»! Что значит «делать двусмысленные движения»?

Неприятно удивленный, Петин открыл дверь, вошел, внимательно посмотрел на часы.

— Я прибыл точно, как мы договаривались?

— Да, да, конечно. Извините.— Капанадзе указал на какого-то ярко одетого молодого человека с бородкой, топтавшегося у стола.— Этому товарищу доверили культработу в Партизанске. И ему, видите ли, не нравится, как молодежь танцует. Вы, может быть, хотите, чтобы люди и размножались путем опыления на собраниях?.. Ступайте. А вашу «культинструкцию» я отошлю в живую газету. Пусть там с вами Мурка Правобережная расправляется... Да вы садитесь, садитесь, Вячеслав Ананьевич! — сказал он, указывая на диван, и, когда они остались одни, он сел рядом с Петиным.— Я сам расследовал письмо Марии Третьяк.

— Я об этом знаю,— спокойно, бесцветным голосом сказал Петин.

— И вы представляете, она права.

— Возможно... И признаюсь, меня не очень заботит, что какой-то дурак — десятник или прораб — в азарте соревнования кому-то приписал выработку. Меня больше заботит,— Петин поднял лицо и взглянул на собеседника,— меня очень заботит, что партийный руководитель строительства, вместо того чтобы высоко нести знамя народной инициативы, слушает кляузы каких-то психичек... Мы здесь одни, мы можем сказать здесь вслух: мы авторы идеи броска к коммунизму. Мы вместе вот в этом кабинете радовались ее рождению, поднимали, пропагандировали, не спали ночей, а теперь... Что, собственно, случилось? Почему вы позволяете склочникам убивать наше детище, потворствуете, даже помогаете этим ненавистникам? Думаете, я не знаю, по чьему указанию начался этот так называемый комсомольский рейд?

В голосе Петина звучала обида. И волнение было настоящим. Может быть, Макароныч зря порол истерику?

Может быть, организованного очковтирательства и не было? Может быть, и верно: это лишь чрезмерное усердие каких-то отдельных идиотов, желавших во что бы то ни стало выскочить в передовые. Но тогда почему Петин так взволновался, почему хваленое спокойствие совсем покинуло его?

— Вячеслав Ананьевич, ничего не произошло. Нам помогли вскрыть безобразия. Мы обсудим, осудим этот случай, крепко осудим, чтобы другим не повадно было, и двинемся дальше на чистом сливочном масле. Да, именно на чистом сливочном масле.

Эта последняя фраза будто ужалила Петина. Губы исчезли. Лицо стало злым.

— Я знаю, чья это поговорка... Теперь мне все ясно.— Матово-смуглые щеки посерели, а черные глаза заблестели, как пуговицы.— Теперь я понимаю, почему вы совершили поворот на сто восемьдесят градусов. Хотите откровенности? Хорошо. Да, большие дела не делаются в бе́лых перчатках. Только прошу вас не забывать: сводки подписывали мы с вами. Вместе. И за каждую цифру мы отвечаем оба. Оба! Любые дисбалансные действия с вашей стороны повредят нам обоим.

Матовая маска лица еще казалась спокойной, но запавшие виски вспотели, а маскировочная прядь сползла на высокий лоб, обнаружив гладкую, почти сомкнувшуюся с плешью лысину, вдоль которой петушиным гребешком рос пучочек негустых волос.

— Мы или оба выплывем, или оба станем тонуть. Только то, что для меня, человека техники, будет аварией, для вас, партийного работника, станет катастрофой. Ка-та-стро-фой! Запомните...

Петин встал, снял с рукава какую-то пушинку.

— ...Приветствуйте вашу милую супругу, скажите, я всегда с восторгом вспоминаю вечер, проведенный у вас.— Пошел к дверям, прямой, снова застегнутый на все пуговицы. У двери он обернулся: — Подумайте. Советую подумать. Вместе мы выплывем с честью.

Капанадзе долго сидел один в пустом здании парткома и думал, сжимая голову ладонями. За окном Дивноярск зажигал свои уже многочисленные огни. Теперь трудно было даже представить, что совсем недавно это двухэтажное деревянное здание одиноко стояло в ряду тех, которые еще только строились. А сейчас огни, огни. Тихо прошел под окном солидный троллейбус, бросивший на

потолок отблески своей дуги. В нижнем этаже загудело так, что зазвенело надтреснутое стекло. Это в типографии «Огни тайги» стали печатать первую и четвертую полосы. Позвонила Ламара. Обед давно остыл. Григол кричал в трубку: «Папа, что такое ингредиент?»

А Капанадзе все сидел у стола. Потом тяжело поднялся, запер сейф, погасил электричество, вышел на улицу и двинулся вдоль нее через город, вытянувшийся уже километра на три. Грозовой дождь, прокатившийся совсем недавно, словно бы промыл атмосферу. Воздух был необыкновенно чист, и самые обычные звуки — шуршание шин, говор, смех — приобретали в нем какое-то особое, весеннее, возбужденное звучание. Так что же дальше, как быть? Теперь ясно: Бершадский прав. Дело, в которое ты верил, в которое вкладывал душу, силы,— мыльный пузырь, афера холодного, расчетливого карьериста, который способен, как асфальтировочный каток, неторопливо, спокойно двигаться, подминая и расплющивая все на своем пути. «Ах, как же прав был этот Сакко, и каким идиотом был ты, Ладо, принимая слова друга, сказанные в адрес Петина, за проявление мужской ревности! Какая тут ревность? Вот сколько уже времени Дина Васильевна живет одна в девичьей палатке Зеленого городка, и ее отношения с Надточиевым вряд ли подвинулись вперед... В одном Петин прав: для партийного работника это катастрофа. Партия не прощает таких вещей».

Как-то незаметно ноги привели Капанадзе по хорошо протоптанной тропинке на вершину утеса Дивный Яр. Здесь было еще больше озона. Влажный ветер шумел, взлохмачивая курчавую крону корявой сосенки. Когда Капанадзе преодолевал последние метры подъема, парочка снялась со скамьи под сосной. Юноша прикрывал девушку полой своего плаща, и хотя они прошли совсем близко от Капанадзе и смущенно поздоровались с ним, он не узнал ни Вали Егоровой, ни Игоря Капустина. Что ему было до каких-то там влюбленных, когда на повестке дня сегодня стоял только один вопрос — о Капанадзе Ладо Ильиче, десятого года рождения, члене КПСС с 1941 года, по национальности грузине, к суду и следствию не привлекавшемся и партийных взысканий до сих пор не имевшем. С прокурорским пристрастием допрашивал он себя, и выходило — виновен. Участвовал

в отвратительной афере, обманывал коммунистов, доверивших ему такой пост. Невольно обманывал Центральный Комитет партии.

За сосенкой каменная громада круто обрывалась. А там, на стометровой глубине, пространство было залито огнями так густо, как будто кусок Млечного Пути оторвался, опрокинулся на землю и растекся по ней меж двух утесов вверх и вниз по реке. Белое зарево стояло над стройкой. Тьму то и дело пронзали голубые огни электросварки. Пропасть, у грани которой Капанадзе стоял, как всякая бездна, тянула к себе. Еще шаг, только шаг, и... не будет уже никаких вопросов, не надо будет смотреть в разъяренные синие глаза Старика, видеть разочарованные и укоризненные лица коммунистов... Шаг, только шаг... Камешек сорвался из-под ноги и будто растворился во мраке. Только через несколько секунд донесся звук его удара об асфальт низовой дороги... Траурная рамка в «Огнях тайги» и стандартные слова: «...Несчастный случай вырвал из наших рядов...»

— Фу черт!..— Капанадзе резко повернулся и, не оглядываясь, пересек облитую лунным светом вершину Дивного Яра, спугнул со скамейки уже другую пару и торопливо пошел вниз.

В город он возвращался кратчайшей дорогой, через Набережную. В домике Литвинова спали, ни одного огонька. У Петина светились два окна гостиной. «Тоже вот мучается, наверное», — мелькнуло в голове у Капанадзе. Но слово «мучается» так не подходило к Петину, что Капанадзе даже плюнул.

На миг он задержал шаг у калитки Литвинова. Она не заперта, даже приоткрыта, и ветер раскачивает ее. Пересечь палисадник, подняться на крыльцо, постучать. Он уже представлял, как, отпирая дверь, Степанида Емельяновна произнесет крепкое словцо, но все-таки, наверное, примет, а может быть, разбудит и мужа. Как это было бы здорово — разом выложить Старику все, что на душе, попросить совета! Но нельзя. «Всякое волнение может стать для него смертельным»,— звучал в ушах голос именитого московского консультанта. «Нет, друг Ладо, сам запутался, сам и снимай с себя паутину или гибни в ней».

В домике на Березовой тоже спали. Здесь уже привыкли, что парторг иногда возвращается поздно. Не снимая набрякшего от росы плаща, стараясь, чтобы

рассохшиеся половицы не скрипели под ногами, Капанадзе прошел к себе в кабинет... «А может быть, и ничего? Может быть, как-нибудь обойдется?.. Нет, друг Ладо, ты большевик, смотри правде в глаза. Ничего не обойдется, за все тебе отвечать. Решай».

Утром Ламара, увидев, что спит одна, обеспокоенная, выбежала в прихожую. В углу валялась кепка, глинистые следы вели в кабинет. Муж, не сняв плаща, сидел у письменного стола, положив голову на ладони.

— Ладо! — Женщина бросилась к нему.

— Что, уже утро? — удивленно спросил он, оборачивая к ней бледное лицо.

16

Однажды у калитки домика № 2 по Набережной остановился забрызганный грязью мотоцикл. Загорелый, еще больше заросший за эти последние месяцы Дюжев легко соскочил с седла и пошел в обход дома к террасе, куда уже вела отчетливо обозначившаяся в траве тропинка, вытоптанная посетителями. Как он и ожидал, Федор Григорьевич Литвинов сидел на крылечке. Насадив на нос очки, он читал какое-то письмо.

— Покорителю стихий! — приветствовал он гостя и, сняв очки, положил их на стопку еще не распечатанных конвертов.— Садись, Павел Васильевич! Поди-ка, голодный? А у нас вон чуешь? — Он шумно втянул воздух.— Степа блины сооружает.

— Я к вам, Федор Григорьевич, по делу. Помните, с вашего благословения я еще зимой за инженер-майором Вороховым в Старосибирск ездил? Я вам о нем докладывал.

— Это который Тыбы? — Литвинов улыбнулся.— Помню, ты ж рассказывал: тещин тюфяк. Ну и что?

— Прибыл.

— Как, сюда?.. Сугубо интересно... Ну, ну? — Литвинов поднялся, опираясь на палку, и крикнул внутрь дома: — Степа, гляди, кто у нас, пеки больше, он прямо с реки и шамать хочет, как сорок тысяч братьев! — Вдруг лицо Литвинова стало озабоченным.— А ну-ка дыхни! Приемлешь?.. И не боишься?

— Не боюсь,— весело ответил Дюжев и, обняв Литвинова за плечи, повторил: — Не боюсь, Федор Григорь-

евич, теперь не боюсь. А вообще и не приемлю, это уж ради встречи со старым другом... Я так ему обрадовался...

— Расширили сосуды? — Литвинов не без удовольствия вспоминал дюжевский рассказ о неудачной поездке, выслушанный еще в тайге на охотничьем станке.

— Расширяли,— виновато сказал Дюжев.

— Так как же ты его обрел?.. Степа, ну что же ты? Гость голоден.

— Да с чего вы взяли...

— Но-но-но! Врать ты еще, слава богу, не умеешь... не то, что другие. Я о тебе все знаю. Чай, одна нас врачиха лечит, и обоих от сердечных недугов.— Литвинов, подмигнув, захохотал, а Дюжев, железный Дюжев, уже успевший на строительстве прославиться своей выдержкой, густо покраснел.— Э, брат, да ты и краснеть, оказывается, умеешь. Качество ныне очень редкое, но полезное. Социалистическое, между прочим, качество...

Дюжев и в самом деле оказался голоден. Блины быстро исчезали с его тарелки. Литвинов сам не ел и только, ухмыляясь, посматривал на гостя. Лишь когда миска опустела и Степанида Емельяновна вышла на кухню выпекать новую партию, он спросил:

— Ну и как же он появился, этот твой Тыбы?

— Как черт в опере: возник из-под земли. Сижу вчера вечером в вагончике, задумался, поток шумит, гармошка где-то играет, вдруг вроде бы скрипнула дверь. Оглядываюсь: Карлушка Ворохов... Рюкзак как горб... Снял, поставил: «Здравия желаю, полковник! Не ждал?» Я задаю дурацкий вопрос: «Как же ты так?» А он отвечает: «Вот так! Из каждого положения есть два выхода, и у меня тоже: или подыхать тещиным тюфяком от всяческой аптекарской дряни, или хоть немножко да пожить человеком».

Дюжев пребывал в необыкновенном возбуждении. Похудевший, с осунувшимся лицом, загоревший так, что брови, ресницы, буйная растительность — все казалось серым, ковыльным, в клетчатой рубахе с закатанными рукавами, он казался, несмотря на свою бороду, даже моложе своих лет.

— ...Эх, Федор Григорьевич, мне здесь только Карлушки Ворохова и не хватало. Знаете, какой это начальник штаба?

— Был. Давно уже был, а какой сейчас, мы с тобой не знаем. Люди ох как меняются.— И вдруг, привстав,

перегнулся через стол и, глядя в упор в голубые глаза собеседника, спросил: — Ну, а реку в срок перекроешь? Не финти, отвечай!

— Может быть, даже досрочно,— твердо ответил Дюжев.

— Ну, а эти петинские шулерства, всякие там условные тонны и кубометры, этот «заем у будущего» тебя не коснулся?

Дюжев молчал. Степанида Емельяновна, наблюдавшая за мужем, видела: волнуется. От Дины Дюжев столько раз слышал, что любая дурная весть может снова уложить Старика в постель. Даже сейчас, когда бригады, проверяя на участках отчетность и сравнивая ее с действительным ходом работ, уже обнаружили приписки, ложь в рапортах, подтасовку цифр в сводках, даже Ладо Капанадзе не решался передавать эти вести Литвинову. Это было известно Дюжеву.

— Ну, чего молчишь? Думаешь, старый шляпяк сидит с костылем и не знает, что у вас там творится?.. Все знаю. Не хуже вас знаю. Отвечай: тебя эта плесень коснулась? Ну!

— Нет,— ответил Дюжев, пораженный спокойствием тона, каким был задан этот вопрос.— Про нас же говорили: вольный город Данциг. Я не знаю — почему, но в наши дела Петин вообще не вмешивался.

— Ты не знаешь, а я знаю... Я, брат, все знаю... Так перекроешь вовремя? Дивноярск не уронишь? — В глазах Литвинова появились слезы.— Ну, дай я тебя поцелую, черта бородатого... Вот что, ты скажи этому великому конспиратору Капанадзе, пусть заедет со всеми материалами. И пусть он мне байки про шахматы и про археологию не рассказывает. Меня партийные дела интересуют... А Сакко вернулся? Пусть тоже зайдет. Он зорче всех нас оказался... Ладно, не страшно ошибиться — страшно не поправиться вовремя, и еще страшней — упорствовать в ошибках... Ну, хватит, ступай.— И когда Дюжев пошел к двери, окликнул его: — А этот твой Тыбы, он в самом деле деловой человек?

— Моя правая рука.

— Ну так теща там эту руку в пуховиках грела. Скажи Толькидлявасу, от моего имени скажи, чтоб ему в Партизанске квартиру отвели. Там на Сосновой десять домиков сдают... Может, и тебе квартиру, а? Может, хватит холостяковать? — И подмигнул: — Посоветуйся-ка

ты со своим врачом: может быть, тебе женитьба медицинской показана...— Наслаждаясь смущением бородача, Литвинов разразился сочным смехом.

А вечером в домик на Набережной входил Капанадзе. Он очень изменился за последнее время. Похудел. Щеки осунулись. Лицо обострилось. Черные выпуклые глаза запали и округлились, смотрели нервно. Ночь, когда он, стоя над обрывом на Дивном Яре, мучился над самой сложной проблемой из всех, какие только возникали в его жизни, ночь, когда он сказал себе: «Что значит карьера или даже судьба одного человека по сравнению с судьбой коллектива, делающего огромное, небывалое дело?» — эта ночь была уже далеко. Он рассудил тогда: пусть его, Ладо Капанадзе, снимут, пусть заклеймят за близорукость, ротозейство,— он это заслужил. Пусть наложат любое партийное взыскание, пошлют на любую работу. Но зато никто не скажет, что он карьерист, нечестный человек. В этой мысли он окончательно утвердился в домике на Березовой. Утром, придя в партком, он вызвал Игоря Капустина, а потом поручил инструкторам объездить основные объекты и назавтра созвать секретарей на совещание, посвященное учету соревнования. И когда в полдень позвонил Петин, цель, которую Капанадзе поставил перед собой, была ему ясна.

— Мне уже доложили... Решили действовать против меня? Напрасно. Если допущены ошибки, мы оба в них виноваты. Разницы между нами нет...

Тон Петина был не такой уверенный. Чувствовалось, что он не прочь пойти на соглашение.

— Кроме той, что я, установив болезнь, хочу лечить ее хирургическим путем, а вы, насколько я понимаю, все еще хотите загонять ее внутрь,— без запальчивости, но твердо ответил парторг.

— Я не из тех, на ком можно отыграться и кого можно безнаказанно травить. За травлю интеллигентов ЦК по головке не гладит... тем более, как вы, наверное, знаете: мое имя наверху известно...

— А я, Вячеслав Ананьевич, не из тех, кого можно пугать.

Оба положили трубки. Все это вспомнил Капанадзе, когда знакомой тропинкой он шел к Литвинову. Тот мерно шагал по террасе, держа палку под мышкой.

— А, виднейший очковтиратель всех времен и народов! — буркнул он.

На строительстве бушевали партийные собрания, обсуждавшие ход «броска», сердито, даже свирепо критиковали и тех, кто приписывал, и тех, кому приписывали, очковтирательство было объявлено главным злом. Это слово звучало как самое тяжкое обвинение. И хотя Ладо Капанадзе на собраниях этих крепко доставалось за близорукость, доверчивость, невольное потакательство бессовестным карьеристам, хотя иной раз он возвращался с них домой точно бы весь физически избитый, еле волоча ноги,— очковтирателем его все-таки никто не называл. Слова Литвинова поразили парторга. Он так и застыл возле крылечка, будто ему стукнули по темени.

Литвинов тотчас же заметил это и спохватился:

— Ладо, голубчик, ты не так меня понял. Ты мне все тут насчет шахмат и археологии вкручивал... Я в этом смысле...— И вдруг спросил спокойно и прямо: — Что, очень плохи дела?

— Очень!.. Надо хуже, да нельзя. Павел сказал, что вам все известно.

— Все известно.— Литвинов поиграл скулами.— Сугубо скверная штука. «Бросок к коммунизму»! Курочка в гнезде, яичко еще черт знает где, а вы на всю страну раскудахтались.

— Только не волнуйтесь, дорогой Федор Григорьевич...

— Не волноваться? Ишь, хитрый! Нет, милые мои, без волнения я чуть было не сдох.— Синие глаза насмешливо смотрели на Капанадзе.— Ты что ж, генацвале, думаешь, мне это вот так вчера или сегодня открылось? Плохо ты меня знаешь, у меня, брат, нюх на всякую тухлятину, а ты мне тут про археологию, про пятнадцатый век... Ну, а что дальше делать будем?

— Я написал в Центральный Комитет. Откровенно написал, как все произошло, как вы мне тогда насчет сливочного масла намекали и как я не понял и просмотрел. Все написал.

Литвинов продолжал грузно ходить по террасе.

— Отослал?

— Еще нет. Пришел к вам посоветоваться.

— Не смей пока посылать.

И опять заходил, теперь уже нарочито стуча своей палкой. И если бы не эта палка да не то, что дышал он приоткрытым ртом, это был бы прежний Литвинов, энергичный, задорный, даже жизнерадостный.

— Кто бы мог подумать, а?..— И, уставив на парторга синие хитрые глазки, сказал: — Эх, Ладо, Ладо, не то чудо из чудес, что мужик упал с небес, а то чудо из чудес, как он туда залез. И вот в этом наша с тобой вина. Мы ему сами плечи подставляли... сапоги валяные... Тебя он стращал? Грозился?

— Говорил: то, мол, что для меня авария, для партработника катастрофа...

— М-да...— И снова зашагал по веранде, теперь уже медленнее. И, шагая, беседовал сам с собой, будто что-то для себя осмысливая: — Такие сейчас самые страшные для нас люди... Какой-нибудь дармоед, чужеспинник, даже контрик, что он? Опытный глаз быстро расшифрует. А этот, он замаскирован, забронирован. Он на голову человеку встанет, чтобы сантиметров на десять повыше подняться, встанет и будет при этом произносить слова о чуткости... Глотку грызет и мурлычет о защите общих интересов, о коллективизме, требующем жертв. И чуть ты голос против его затей поднял, тут уж все оберешь: и рутинер ты, и индивидуалист, и даже ревизионист. И ведь случается, таких и большие люди слушают. Да и верно — он весь в правильных словечках, как орех в скорлупе, раскуси-ка его. Вот даже мы, два старых карася, на эту наживку клюнули... И ведь способный, собака, организатор. Этого от него не отнимешь... Какую деятельность развил...

Капанадзе сидел понурившись. Ему казалось, что над ним идет суд. Вот сейчас говорит прокурор, а потом будет приговор... Не посылать письмо? Почему? Что он посоветует? И почему он так взволновался, если ему все было известно?

А Литвинов шагал по террасе все быстрее. Стонали половицы. Сердито стучала палка. Дыхание с хрипотцой вырывалось из полуоткрытого рта. Вдруг он остановился перед Капанадзе...

— Сколько я последнее время над всем этим думаю. Как они вырастают, эти самые Вячеслававаныичи? Как мы им ход даем? — Голос Литвинова все поднимался.— Страшное это дело — петинщина, если за нее сейчас же, как раньше говаривали, всем миром, не взяться. — Теперь он почти кричал.— Их, как клопов, выжигать, ядом травить надо...— Литвинов смолк, глотая воздух открытым ртом. Показал в сторону буфета: — Пузырек... Сахар...

Проглотив лекарство, поддерживаемый Капанадзе, опустился в кресло, бессильно свесил голову, а когда поднял ее, на крупных губах была виноватая улыбка...

— Насос вот, поршни подработались...— Помолчал, успокаиваясь.— А записку свою пока не посылай, не создавай очень занятым людям лишних хлопот. Навалили мы с тобой большую кучу, сами и убрать должны...

И хотя Литвинов не сказал ничего утешительного, Ладо Капанадзе в первый раз после того, как стоял он ночью на вершине Дивного Яра, вернувшись домой, улыбнулся жене и сыну.

17

А на следующий день ранним утром в управленческом гараже позвонил телефон, и диспетчер услышал знакомый высокий голос:

— Литвинов говорит. Машину ко мне на Набережную.

— Федор Григорьевич! — растерянно произнес диспетчер.— Простите, но машина ваша на восемь десять записана за товарищем Петиным. Переиграть?

— Не переигрывай. Пошли мне чего-нибудь, хоть большегрузный самосвал, но чтоб быстро.

Секретарь Петина, высокий, немолодой, тщательно одетый человек, еще только рассаживался за своим столом в приемной начальника строительства, когда в пустом здании управления раздалось постукивание палки, сопровождавшее знакомые тяжелые шаги. В дверях показался Литвинов.

— Здравствуй! — кивнул он.— Перебирайся обратно к себе, а Валю сюда. Где она?

— Разве вас не уведомили, она уже не работает в управлении. Уволилась по собственному желанию. Честное слово!

Литвинов прихмурил пшеничные брови.

— Я все,— он подчеркнул это слово,— все знаю. А ну соедини меня с секретарем комсомола Капустиным.— Подождал и, когда послышался голос Игоря, сказал: — Здравствуй, молодой человек! Литвинов. Ты куда своего товарища по несчастью дел? Или, может быть, вы теперь уже товарищи по счастью?.. Не понимаешь? Ах какой недогадливый, как тебя комсомольцы такого еще держат... Валя, Валя мне нужна. Найди ее,

и чтоб аллюром три креста ко мне. Куда? Как — куда? В управление, конечно, в мой предбанник.

Затем прошел в кабинет, где теперь на окнах, в углах, на диване уже не лежало ни проб грунта, ни бетонных кубиков, ни геологических образцов, где вместо малахитового, похожего на древнеримское надгробие чернильного прибора стояла лишь лампа дневного света да подставка для вечной ручки. Он опустился было в петинский вертящийся стул, но сейчас же пересел на другую сторону стола, в кресло для посетителей, и, порывшись в записной книжке, заказал по высокочастотному телефону Москву, квартиру министра.

— Не узнаёшь, Иван Иванович? Литвинов. Ну конечно я. Не отдыхал? Из театра вернулись и чай пьете? Ну, извинись за меня перед Клавочкой, привет ей... Э-э, хватит о болезнях, осточертела мне эта тема. Здоров твой кадр, на работу вышел. У начальства возражений нет? Приказ — это потом, надо еще вожжи подобрать, а сейчас поцелуй Клавочку. Степа моя вам обоим кланяется. Она? Еле-еле из ее лап вырвался. Знаешь ведь: пока настоящая баба с печи летит, она мужика обругать десять раз успеет... Все-таки удрал.

Потом стал серьезным, долго слушал клекотание трубки, кивал круглой головой, вновь покрытой отросшим седым бобриком.

— Это, Иван Иванович, я уже знаю. Всё. И прошу тебя, как старого друга, и не только тебя, но и в Центральный Комитет передай мою просьбу: не срамите Оньстрой. Всё сами сделаем. Тут наш грузин маленько запутался, морская душа, не знает еще наших сухопутных дел. Но сам и спохватился, и сейчас все сам и разматывает... В ЦК уже известно? Ну и ладно, доложи туда, что Литвинов, мол, своей седой башкой за все ручается. Там меня, чай, тоже маленько знают, скажи, что мы тут сами всем сестрам по серьгам выдадим.

Когда Валя, запыхавшаяся и сияющая, вбежала в кабинет Литвинова, он все еще сидел в кресле для посетителей.

— Пиши приказ,— сказал он, даже не поздоровавшись.— Номер поставишь потом. С такого-то дня вернувшегося из отпуска по болезни начальника Литвинова Фе Ге считать приступившим к исполнению обязанностей. Основание: приказ министра. Номер проставишь потом.

Подпись? М-да, кому же подписать? Ладно, подпишут тоже потом...

Сквозь толстые стекла очков сияли Валины глаза. И не только вся ее мальчишеская физиономия, но и сама поза выражала радостное удивление. Литвинов говорил и действовал, будто они только что расстались.

— Да как вы себя чувствуете-то, Федор Григорьевич?

— Скверно. Некогда позарез, а мне задают глупые вопросы... Вот что, сейчас ко мне по очереди — Капанадзе, потом Надточиева, потом прораба с правобережья, потом... Ну вот список. Всех по списку, и в конце пригласи Вячеслава Ананьевича. Мол, очень извиняется, сам бы пришел, но вот, увы...— он показал на палку,— пониженная ходимость.

— Но ведь я же на работе! Этот сумасшедший Игорь сорвал меня с дежурства.

— Правильно сделал. Соедини меня со своей старшей.

— Я и есть старшая.

— Да ну? Воспользовалась моей болезнью и делаешь тут карьеру? Не выйдет... Соединяй меня с начальником всей вашей звониловки. Ему ударим челом...

А в управлении все уже бурлило. Слово «Старик» так и шелестело по комнатам, по кабинетам: «Старик сердится», «Старик вызвал такого-то», «Юрка Пшеничный вылетел из кабинета Старика весь в мыле», «Старик на такого-то кричал», «Опять появилась эта Валька, уж она Старику подрасскажет».

И единственный, кто в этот день работал в управлении как всегда, принимал людей, говорил по телефону, ровным голосом отдавал распоряжения, был Вячеслав Ананьевич Петин. Он, разумеется, одним из первых узнал об утреннем разговоре Литвинова с министром, следил и за тем, кого вызывают к начальнику. Не мог он не строить догадок и по поводу того, что Литвинов до сих пор не пригласил его к себе. Но он оставался невозмутимым, и разве только секретарь, человек, с которым Петин работал еще в Москве, по верному признаку, по тому, что губы шефа почти исчезли с бледного, матового лица, догадывался, что начальник его в предельном напряжении...

И вдруг по управлению, а потом по конторам прорабств разнеслась ошеломляющая весть: Вячеслава Ананьевича Петина во время разговора с каким-то посетителем, на глазах многих людей хватил сердечный

припадок. Он упал, его подняли почти без чувств, на руках отнесли в машину, доставили домой.

— Удар, настоящий удар,— говорил Пшеничный, который вместе с другими отвозил Вячеслава Ананьевича в домик на Набережной.— Он уже давно жаловался на сердце. Трепка нервов, которую устроил Капанадзе с этим своим расследованием, даром не прошла. Он жертва травли.

Начальник, которому, разумеется, сейчас же доложили о случившемся, попросил немедленно соединить его с секретарем Старосибирского обкома.

— Сергей Михайлович? Литвинов беспокоит. Докладываю: вышел вот на работу, и сразу беда — вместо меня Петин слег. Да, да, заболел, только что с работы увезли. Что? Предчувствовал? Письмо было? Какое письмо? Ах, что его травят... Сугубо интересно... Значит, травят, гм-гм... Вот что, пришли-ка ты сюда человека поглазастей, пусть-ка он по этому письму учинит партийное расследование: травля — серьезное дело. Но прежде пришли лучшего своего кардиолога. Идет? Очень прошу. Диагноз? Ну вот он диагноз и поставит... А обо мне что, работаю вот... Не рано ли вышел? Ты лучше спросил бы: не поздно ли? Поздновато, но все-таки кое-что застал. Приехал бы ко мне, а? Ну хоть на перекрытие приезжай. За перекрытие не беспокойся: у меня там мировой парень — некий Дюжев, у тебя, между прочим, из-под носа его увел... Так, стало быть, затравили, ай-яй-яй!

Литвинов повесил трубку и подмигнул Вале. Она стояла возле с бумагами на подпись, слышала разговор. Перебирая бумаги, начальник Оньстроя фальшивым голосом пропел:

Я милого узнаю по походке:
Он носит плисовы штаны...

Валя наблюдала за Литвиновым и удивлялась. Он будто бы и не выбывал из строя...

А в один из дней позднего мая, когда черемухи в тайге осыпали цвет, а скворцы и скворчихи, покинув свою жилплощадь, со страшной суетой и шумом выводили на огородах в жизнь первое поколение еще желторотых, жадно трепещущих крыльями птенцов, Дина Васильевна шла по Набережной с маленьким чемоданчиком в руках. Она уже мало походила на красивую,

прихотливо одетую даму, что приехала сюда, со снисходительной улыбкой на крупных губах, с удивленно приподнятыми бровями и чемоданами, полными нарядов. Встретив на улице эту худенькую, стройную молодую женщину с тенью усталости в раскосых, серых, опушенных лохматыми ресницами глазах, уже мало кто оглядывался ей вслед. Но Дине некогда было думать о впечатлении, которое она производит на окружающих: слишком много было забот.

В чемоданчике вместе с халатом, белым миткалевым колпачком и лекарствами первой необходимости у нее лежали карточки больных, которые ожидали помощи. Свой участок она уже обошла, но у доктора, обслуживающего Набережную, заболела дочка, и сегодня Дина заменяла его. И вот сейчас, наскоро перекусив в столовой, она идет по знакомой улице к больному, которого ей совсем не хочется посещать.

Стараясь шагать как можно медленнее, она собирала в себе все мужество. О болезни Вячеслава Ананьевича ходили разные слухи. Она знала, конечно, что в день выхода Старика его унесли из кабинета. В карточке значился диагноз: ангина пекторис. Были люди, которые обвиняли Ладо Капападзе в том, что тот довел Петина до припадка. Другие, и среди них Сакко Надточиев, определяли: симуляция, известный ход прожженных политиканов для того, чтобы уйти от ответственности, вызвать к себе жалость вышестоящих, направить их гнев на своих противников, отлежаться под благовидным предлогом, пока все стихнет и время сгладит остроту событий. И в самом деле, гневные партийные собрания уже прошли. Обретя под ногами реальную почву, люди, поразмыслив, искали и понемногу начинали находить пути настоящего подъема. Истинное соревнование заменило шумиху последних месяцев. О ней старались забыть.

Впрочем, сейчас все это Дину не интересовало. Она думала лишь о том, как вступит в дом, который она когда-то с таким старанием обживала, увидит комнаты, где она своими руками поставила каждую вещь, увидит человека, с которым прожила почти пять лет и которого, как ей казалось, когда-то любила до обожания. Даже приоткрыть калитку стоило ей труда. И все же она отворила ее, вошла и, когда двигалась по дорожке к крыльцу, ей показалось, что в кухонном окне на мгновение мелькнуло чье-то лицо. Мелькнуло и исчезло.

Входная дверь оказалась незапертой. Она вошла в прихожую и, постучав задним числом, как можно обыденней произнесла стандартную фразу: «Врач из поликлиники». В то же мгновение из-за двери спальни послышался заливистый радостный лай, и знакомый тусклый голос тихо произнес:

— Доктор, свежее полотенце справа от умывальника.

Стараясь сдерживать волнение, Дина надела халат, колпачок и, вся связанная тягостным чувством, вошла в кухню, сопровождаемая все тем же заливистым лаем, рвавшимся из-за закрытой двери. В кухне была прямо хирургическая чистота. На табурете стоял тазик с крахмалом. В нем лежали стираные воротнички. Один из них был тщательно расправлен на гладильной доске, и возле, чуть потрескивая, стоял утюг. Накрахмаливание воротничков в былые времена никому не доверялось. Дина всегда производила его сама и сейчас невольно подумала: кто же занимается этим теперь? Чье лицо мелькнуло в окне? Еще более смущенная, она открыла дверь спальни. Чио с радостным лаем вырвалась ей навстречу. Высоко подпрыгивая, как маленькая тугая пружинка, она старалась лизнуть ей руку и падала вниз. Дина взяла собачку на руки.

— Здравствуй,— сказала она, решительно входя в спальню, и мгновение спустя добавила: — Здравствуйте...

Вячеслав Ананьевич выглядел неплохо. Он мало изменился. Разве что поредели волосы на темени и прядь «внутренний заем» уже не закрывала лысины.

— Видите, как вас здесь любят и ждут,— сказал он обычным своим голосом, но Дина видела, как вздрагивают его тонкие губы.— Простите, не поднимаюсь. Профессор категорически запретил.— Он подал руку, и тонкая рука эта оказалась почему-то влажной, чуть клейкой.

Дина измерила пульс, проверила давление, задавала обычные профессиональные вопросы, какие положено задавать больному с диагнозом ангина пекторис. Что-то записывала в медицинскую карту. Делая все это почти механически, она чувствовала, что за каждым ее движением следят два черных глаза. В этих глазах были и тоска, и любовь, и, может быть, надежда... Неужели он все еще надеется? И ей стало жалко этого человека. Вот он лежит один, с маленькой собачкой в этом пустом домике. Никого из близких рядом. Кто о нем позаботится? И вдруг почувствовала себя виноватой...

— Ну, как ты тут? — спросила она, с трудом маскируя свое волнение.

От этого «ты» Вячеслав Ананьевич просиял. Но ответить не успел. Его привлек горький запах гари.

— Утюг! — обеспокоенно вскрикнул он, почти инстинктивно вскакивая на постели, но тут же спохватился, сморщился как бы от острой боли, опустился на подушку и слабым голосом попросил: — Там на кухне включен утюг. Его забыла домработница...

— А где же она?

— Пошла в аптеку.

Дина быстро прошла на кухню, выдернула вилку из штепселя. Открыла форточку... «Сам крахмалит себе воротнички»,— догадалась она. Проснувшаяся жалость стала еще острей, но тут она поняла, что это его лицо мелькнуло давеча в окне... Симулянт! И сразу этот дом, только что взволновавший ее, стал противен любым уголком любой своей комнаты.

Она решительно вошла в спальню. Вячеслав Ананьевич лежал, откинувшись на подушку, томно закрыв глаза. Вид у него был измученный, ослабевший.

— Ну, что нам скажет наш дорогой доктор Айболит? — тихо спросил он.— Какие он нам даст новые лекарства?

Не глядя на него, Дина вынула из кармана блокнот рецептов и, кусая губы от злости, размашисто написала: «Rp. Ol. Ricini[1] 30,0. Столовую ложку утром и на ночь. Гр. Петину В. А. Вр. Д. Захарова». Она положила рецепт на ночной столик и со стуком поставила на него мензурку.

— Это быстро поставит вас на ноги. Ручаюсь,— с вызовом произнесла она.

— Какой из тебя получился чудесный врач. Смелый, уверенный.— Петин с нежностью смотрел на худенькую женщину, которую халат и шапочка делали совсем воздушной.

А Дина глядела на окантованную медью фотографию, которую когда-то сама тут и прибивала. Военный инженер-подполковник Петин запечатлен в День Победы. Хорошенькая грудастая военная парикмахерша сбривает ему усы. Как раньше Дина не замечала этой самодовольной ухмылки, как не бросалось ей в глаза, что китель,

---

[1] Касторовое масло.

как бы небрежно брошенный на спинку стула, помещен, однако, так, чтобы можно было рассмотреть каждый орден, каждую медаль? Как не почувствовала всей пошлости этого снимка?

— И что же, доктор уверен, что его лекарство поставит больного на ноги? — ласково спросил Петин.

— Да, доктор уверен в этом, — резко ответила Дина, захлопывая чемоданчик. — Если оно вас на ноги не поставит, вам, Вячеслав Ананьевич, ничто уже не поможет...

18

А время шло. В горячке последних приготовлений к перекрытию Онп история с дутыми цифрами и приписками отошла на второй план, кривая выработки начала опять подниматься, теперь уже «на чистом сливочном масле». Вот тогда-то Вячеслав Ананьевич наконец поправился и приехал в управление. Литвинова в кабинете не оказалось. Он пропадал где-то на мосту. Петин сразу же взялся за дела и, вызывая людей, как бы принялся входить в курс дел.

На исходе рабочего дня Валя постучала в дверь петинского кабинета. У нее не было хорошей секретарской школы. Круглое мальчишеское лицо было красным от волнения, увеличенные линзами глаза смотрели сердито, и вся она походила на молодого петушка, готового броситься в драку.

— Федор Григорьевич приносит глубокое извинение за то, что он сам не зашел к вам,— задиристо произнесла она.— Поэтому, если у вас найдется время и этот час для вас удобен, он... Пройдемте к нему.

— Хорошо, я сейчас,— ответил Петин, неторопливо снимая нарукавники, пряча их в стол. Проходя через приемную, он бросил на пути секретарю: — В случае срочных звонков я у товарища Литвинова.

С тем же спокойным достоинством вошел он в кабинет начальника, потряс ему руку, поздоровался с Капанадзе, сидевшим в сторонке у окна.

— А вы опять горите на работе, Федор Григорьевич? Весь в делах? И напрасно, напрасно, жизнь человеку дается один раз.

— Вот поэтому-то и надо экономно расходовать каждый денек. Сугубо экономно,— закончил за Петина Литвинов.— Садитесь, Вячеслав Ананьевич, о многом надо поговорить.— Но сам он при этом встал, опираясь на мудреную свою палку.

«Ага, на «вы», и свидетелем запасся»,— пронеслось в уме Петина, тотчас же оценившего ситуацию, горячий нрав, способность Литвинова вдруг вспылить, прийти в бешенство, под запалом наговорить лишнего. Все это было хорошо известно окружающим, и свидетель при таком разговоре, пожалуй, не помешает. Но Капанадзе поднялся:

— Так я попрощаюсь, Федор Григорьевич?

— Ступай, ступай, только материалы свои оставь. Они нам с Вячеславом Ананьевичем пригодятся.

— Да, пожалуйста. Вот письма, частично их товарищ Петин уже знает.— Капанадзе положил на стол папку.— Это протоколы партсобраний. Главное я заложил бумажками. А докладная комсомольцев, выводы комиссии Надточиева — в конце, в особой папочке.

Оставленные Капанадзе бумаги лежали на столе рядом с хорошо уже знакомой Петину папкой выписок из «Дела по обвинению гражданина Дюжева П. В.». Хотя поза Петина была абсолютно невозмутима, бумаги эти против воли притягивали его взгляд. Капанадзе пошел к двери, но Литвинов остановил:

— Да, Ладо, напомни-ка, как твой Григол объяснял слово «этика»... Вы знаете, Вячеслав Ананьевич, такой хитроумный у него мальчуган, ну просто беда...

Капанадзе остановился, удивленно глянул на начальника. Потом на мгновение губы под короткими усами тронула улыбка, но ответил он подчеркнуто серьезно:

— Он говорит: этика — если я дал Нине Поперечной пятьдесят копеек, а она по рассеянности вернула шестьдесят,— сказать маме или нет, что получил лишний гривенник?

— Вячеслав Ананьевич, а? Вот растут ребята! — благодушно произнес Литвинов и, заметив, как на бледных висках Петина выступают бисеринки пота, добавил: — Да, Ладо, постой, мы с тобой позабыли поздравить Вячеслава Ананьевича: его ходатайство удовлетворено, и его отсюда отпускают в распоряжение министерства.

Петин побледнел. Бисеринки на висках превратились в капли. Две большие капли поползли по побледневшим щекам. Он не заметил, не смахнул их. Они стекли на подбородок, слились в одну, и та тяжело упала на белоснежный воротничок. А Капанадзе уже шел к нему с протянутой рукой и, улыбаясь, показывал ровные белые зубы:

— Поздравляю, дорогой Вячеслав Ананьевич, поздравляю! Москва! Столица нашей родины! Большой театр, филармония, Художественный... Ах, везет человеку!

— Но я, кажется... не подавал...— едва слышно сказал Петин, губы его дрожали, он уже не замечал и этого.— Я бы мог, мне кажется...

Достойный ответ, который он мучительно подбирал в уме, не складывался.

— Ну, как же, вы запамятовали... И правильно, голубчик, сделали, подав это заявление, сугубо правильно: здешний климат для вас слишком суров. Не всякий организм к нему приспособится,— с полнейшим доброжелательством продолжал Литвинов.— Так ты, Ладо, кланяйся там милой Ламарочке, поцелуй этого своего Эзопа... Этика! Выдумает же мальчишка!

Литвинов присел на уголке стола и позвонил.

— Валентина, никого не пускай,— распорядился он, глядя в упор на Петина.— Все ясно? Или начать мотивировать и обосновывать? — Рука начальника машинально начала перебирать на столе папки.

Петин, спокойный, выдержанный, весьма искушенный в аппаратных делах и управленческих интригах, Петин не знал, что говорить. Пока партийная организация узелок за узелком распутывала канитель с фальшивыми победными рапортами, разоблачала раздутые авторитеты, пока на собраниях гремели сердитые речи, он, лежа дома, через своих людей с редким хладнокровием и упорством боролся, отводил от себя удары. Он знал: конкретные виновники фальшивой шумихи признают ошибки, обещают исправиться, знал, что им объявляют административные выговоры, накладывают служебные взыскания. О нем будто бы и речи не было, и он уже начинал думать, что пронесло. Капанадзе, райком, обком, им выгодно уладить все на месте, оберегая славу строительства, не идти на открытый скандал. И вот эта старая лиса, этот демагог вышвыривает его, Петина, как консервную

банку после того, как съедено ее содержимое. Он уже не мог скрыть ненависти, которую вызывало в нем это массивное, грубоватого склада лицо, мысок седых волос, сбегающих на лоб к переносице. Лицо Собакевича. Теперь, когда сошло наигранное благодушие, это лицо казалось Петину уже страшным. Такой в запале возьмет да и ударит этой своей дурацкой суковатой дубиной.

И тут же мелькнула мысль: и пусть! Пусть будет скандал. Это выход. К Петину сразу вернулось хладнокровие. Удар дубиной! Замечательно! Москва узнает об этом — и конец Старику. Верный конец...

— Я понимаю, я вам больше не нужен, вы выжали из меня что могли. Теперь мой авторитет вам мешает,— сказал он, выгоняя на лицо саркастическую улыбку.— И все-таки вы вчерашний, а я сегодняшний день...

Литвинов спокоен, маленькие васильковые глазки смотрят насмешливо из-под пшеничных ресниц.

— Раскрываете карты? Напрасно, у меня нет никакой охоты вести игру...— И снова собрав в руки все папки, Литвинов внушительно стукнул ими по столу.— Все ясно?

Затрудненное дыхание с шумом вырывается из просторной груди квадратного человека, но он, черт его возьми, кажется спокойным. И Петин вдруг ощутил состояние тягостного оцепенения: какая-то лампочка перегорела, и тончайшая машина его холодного аналитического мозга, умевшего проделывать тысячи операций в секунду, не сумела выбросить в лицо этому «распоясавшемуся Собакевичу» даже самого примитивного ответа.

— Вы человек с маленькой буквы,— звучал высокий хрипловатый голос, доносившийся, казалось, откуда-то издалека.— Я всерьез говорю: тут для вас неподходящий климат. Поняли?

Слово «да» Петин все-таки не произнес, а только кивнул головой.

— До свидания, Федор Григорьевич! — Петин колебался, но Литвинов уже сам тянул ему свою широкую короткопалую лапу:

— Прощайте, Вячеслав Ананьевич! Доброго пути! Если что потребуется с организацией переезда, я, как всегда...— А когда дверь за Петиным закрылась, он так

рванул ворот, что две пуговицы отскочили и запрыгали по столу...

В приемной у двери сидел Пшеничный. Дождавшись шефа, он вскочил, побежал за ним, догнал в коридоре:

— Ну как?

Вместе они вошли в петинский кабинет.

— Ну как, Вячеслав Ананьевич?.. Поговорили?.. Чем кончилось?

Петин снова был спокоен, уравновешен и даже самодоволен.

— Федор Григорьевич был очень любезен, он во всем пошел мне навстречу... Он сказал, что ему, конечно, тяжело со мной расставаться, но мое здоровье... Он ведь сам болел, знает, что такое сердце... Словом, по просьбе оттуда...— Петин многозначительно показал рукой наверх...— ему пришлось отпустить меня в Москву.

— Как? — Пшеничный был поражен.

— Не знаю, Литвинов сказал, что министр и еще один товарищ, вы знаете, о ком я говорю, обеспокоены моей болезнью. Оказывается, профессор-консультант, прилетавший сюда, доложил наверху, что здешний климат для меня губителен. Так что, Юра, спасибо за все и... до свидания!

Совершенно ошеломленным Пшеничный вышел из кабинета. Потом, что-то сообразив, взглянул на часы и бросился в приемную Литвинова.

— Старик здесь? — спросил он Валю.

— Он нездоров, к нему нельзя,— холодно ответила девушка.

— Валенька, милая, солнышко! Это же очень важно. На минуточку, на секундочку.— Сдобное, пышущее румянцем лицо Пшеничного просило каждой своей черточкой.— Ну, Валенька! Ты же понимаешь, это вопрос всего моего будущего... Ну, пожалей меня!

— Нет!

Мальчишеская физиономия Вали была сурова. Глаза, казавшиеся из-за больших круглых стекол огромными, смотрели непримиримо, презрительно щурились.

— Юрий, я готова была возненавидеть Игоря, когда

он сказал мне, что тогда в тайге ты просто струсил и бросил нас. Но этот удар по Дюжеву, это письмо в обком, будто Петина тут травят, ведь ты же это организовывал?.. Нет, Игорь прав, ты нас тогда бросил, чтобы спасать свою шкуру.

— Валенька, родная, потом, потом я тебе все докажу, а сейчас... Ты ко мне всегда хорошо относилась, ну во имя нашей прошлой, ну... дружбы. Я же, наконец, могу быть полезен Федору Григорьевичу. Ты знаешь, в технике я нечто собой представляю.

— Ты? — Брови-щеточки поднялись над дужкой очков.— Ты не нечто, ты ничто. Ничто в привлекательной упаковке. Василиса как-то сказала: Петин — хорек. А ты хвост хорька. Понятно это вам, Юрий Пшеничный?

19

Перекрытие одной из величайших рек мира — это событие, которого в Дивноярске да и во всей Старосибирской области ожидали с таким нетерпением,— произошло, как это ни удивительно, в день, неожиданный для самих его организаторов.

Никогда и нигде человеку не доводилось еще обуздывать такую могучую и такую своенравную реку. Инженерам предстояло предусмотреть все неожиданности и сюрпризы, которые Онь может преподнести. И решено было до того, как приглашать гостей, провести, так сказать, генеральную репетицию перекрытия — проверить все звенья огромных, сложных работ, в которых будут участвовать тысячи людей, сотни машин и механизмов. Все это в час перекрытия должно было слиться в единую, организованную, четко действующую силу. Этой целенаправленной силе и предстояло побороть таежную красавицу, о крутом нраве которой в здешних краях сложено столько песен.

Но когда Павел Дюжев, возглавлявший штаб перекрытия, уже был готов дать из домика прорабства правобережья команду начинать репетицию и привести весь гигантский механизм в движение, Онь, будто учуяв, что здесь против нее замыслили, выкинула один из самых неожиданных своих вольтов. Жаркая погода вызвала

в горах бурное таяние льдов. Гидрологи Старосибирска телеграфировали на строительство: «Вода в верховьях поднялась на полтора метра и продолжает быстро прибывать. Неожиданное половодье катится вниз по течению. Готовьтесь».

Получив телеграмму, Литвинов даже зажмурил глаза: половодье, только этого не хватало! И теперь, когда все рассчитано, расставлено! Он вызвал Дюжева. Ничего еще не зная, тот явился в военной форме, худой, подтянутый, торжественный.

— Разрешите, товарищ начальник, доложить, что репетицию можно начинать... Все готово...

Литвинов протянул телеграмму. Дюжев вздрогнул и побледнел.

— Ну что ж, сыграем отбой? — хмуро спросил начальник.

Отбой сейчас, когда все выверено до мелочей, все рассчитано, предусмотрено?! Вместе с Вороховым Дюжев облазил весь фронт работ — участки, где нагромождены пирамиды песка и гравия, каменоломни, где громоздились хребты диабазовых обломков с загнанными в них железными ушками, чтобы можно было легко и быстро кранами поднимать этот груз в самосвалы. Осмотрели каждую крепь, каждую доску настила банкетного моста, в рекордные сроки построенного на сборно-бетонных опорах системы Дюжева. Ворохов со штабной скрупулезностью уже расставил людей, машины. Он завел карту района работ, всю ее испещрил знаками. Команда — и все это придет в движение...

— Полковник, что с тобой? — спросил Ворохов, ползавший на животе по своей карте. Рядом с разноцветными карандашами, которыми он размечал ее, стоял пузырек с лекарством. Дюжев молча протянул ему телеграмму старосибирских гидрологов. Ворохов прочитал; на физиономии, которая, осунувшись, стала похожей на бульдожью, появилось выражение растерянности. Он вытряхнул из пузырька на ладонь какую-то пилюлю, подержал в руке и вдруг яростно бросил об пол.

— Ч-ч-черт! Везет тебе, полковник, как утопленнику.— И вдруг на обрюзгшем лице появилось прежнее «вороховское» хитрое выражение.— Из каждого положения, полковник, есть два выхода. Один — сказать: пойдем-ка, брат Павлуша, пить чай с Зойкиными вареньями;

другой... Полковник, слушай сюда! Другой...— И он торжественно пояснил: — Превратить репетицию в спектакль. А?! Вот это будет класс.

— Репетицию в спектакль? — Дюжев даже удивился, пораженный простотой этой мысли. В его инженерном, привычном к точности мозгу уже летели, множились, делились, выстраивались в колонки цифры, и выходило, что, если все рассчитано правильно, если есть уверенность, что огромный механизм нигде не пробуксует, если все отобранные для этого люди окажутся на высоте, можно перекрыть реку *до того,* как к Дивному Яру докатится большая вода. Можно встретить ее непроницаемым валом, заставить свернуть в сторону и всей своей массой ринуться сквозь бетонный гребень плотины. Ничего не ответив другу, все еще стоявшему на коленях на своей карте, Дюжев бросился на балкончик, выходивший к реке, где в глубоком «вольтеровском» кресле, неизвестно как добытом Толькидлявасом для этого торжественного случая, сидел хмурый Литвинов.

— Ну? — спросил он, смотря на Дюжева.

— Репетицию к чертям, начинаем спектакль... Разрешите?

Литвинов долго смотрел на бородатого человека. Военная форма. Колодки орденских лент. До блеска начищенные сапоги. Светлые глаза возбужденно блестят. А усы, борода, которые Дюжев в последнее время вовсе позабыл расчесывать, совершенно спутались. Оба эти человека знали, что значит так вот сразу, без репетиции, без своевременного предупреждения Москвы, без разрешения министерства и приглашения гостей, начинать такое дело. Малейший просчет — Онь прорвет дамбу или собьет мост, унесет много миллионов рублей и авторитет их обоих. Но об этом не было произнесено ни слова.

— Кто у тебя на дамбе? — спросил Литвинов.

— Макароныч.

— На механизмах?

— Общее руководство, как всегда, у Сакко.

— За автоколонны кто отвечает?

— Петрович.

Мгновение Литвинов думал, что-то прикидывая, взвешивая в уме.

— Координировать кто будет?

— Ворохов.

— Веришь ему?

— Как себе. Да ведь и я тут буду, рядом.

Литвинов еще подумал.

— Ладно. Трусы в карты не играют. Валя, Москву! ЦК... Потом министра... Потом Старосибирск, облкомпарт, первого...

И через час после этого разговора в разгар обычного рабочего дня неожиданно для всех, кроме тех тысяч людей разных профессий, которые были отобраны для участия в репетиции перекрытия, по диспетчерскому радио разнесся голос Дюжева — даже близкие друзья не сразу узнали его, так он был взволнован.

— Товарищи! Мы приступаем к перекрытию реки Онь.— Короткая пауза. Взоры всех обратились к репродукторам. Голос, ставший уже обычным, отдавал распоряжения: — Всем покинуть котлован!.. Подняться до отметки критического уровня!.. Комендант Федоров, товарищ Федоров, проследите, чтобы в котловане не осталось ни души, и доложите в штаб!.. Проследите и доложите в штаб!..

В этот день Петрович с утра не был дома. Готовя своих ребят к репетиции, он позабыл даже позавтракать. Машины с нарисованными на бортах номерами, со снятыми дверьми кабин, фырча и окутываясь сизым дымом, уже строились в колонну, когда приехал Капанадзе и попросил созвать участников репетиции. Все тотчас же собрались.

— Что-нибудь худое, Ладо Ильич? — спросил Петрович.

— Наоборот, хорошее,— несколько нервно ответил парторг, нетерпеливо следя, как водители сходятся к машине, у которой он стоял.

— А что?

— Репетиция отменяется. Будем перекрывать без репетиции.

И хотя слова эти были сказаны вполголоса и слышали их немногие, эта весть каким-то образом сразу облетела всю площадку, где теснились машины. Впрочем, это был самый короткий митинг из всех, в каких Петровичу когда-либо доводилось участвовать.

— Ребята,— сказал Капанадзе, поднявшись на подножку и тиская в руках кепку.— Ребята, начинается необычное дело. Пятой краснознаменной базе выпа-

ла честь идти головной колонной. Помните, ребята, за вами будут следить все советские люди. Все! Весь мир!

— Помним! — крикнул Петрович, и, прежде чем вездеход парторга скрылся в направлении карьеров, вся колонна, урча, стала перетасовываться в порядке номеров. А пока машины выстраивались, Петрович забежал домой, где, готовясь на смену, переодевалась жена. Он быстро сбросил «повседневный» пиджак и попросил:

— Давай кобеднишние штаны и чистую рубаху. И побыстрей, Мурочка, детка!

— Опять кошачья кличка! — грозно произнесла жена, но, должно быть почувствовав, что происходит нечто необычное, бросилась к платяному шкафу, подала парадную тройку.— Ну, что там у тебя?

— Перехитриваем.

— Кого? — Жена быстро застегивала ему пуговицы на рубашке.

— Кого же! Ее, Онь.— Петрович дрожащими от волнения руками приводил в порядок свой костюм, а жена, тоже заразившаяся его волнением, приглаживала ему щеткой голову, опрыскивая одеколоном «Пиковая дама».

— Не надо бы на тебя такой хороший одеколон тратить. Ну, раз такое дело, дирекция на затраты не скупится.— И вдруг азартное выражение сошло с курносого лица, заменилось растроганной улыбкой.— Ладно уж, беги, а то выйдет — вокзал надул: купил билет и опоздал на поезд.

— Бу сде! — Петрович козырнул и скрылся в дверях.

Жена видела, как он рысцой потрусил через двор, поправляя на ходу галстук. Машины продолжали реветь, двигаться, изрыгать дым.

Мурка постояла у окна. Потом решительно сбросила рабочие полуботинки, комбинезон, разделась, кинулась к шкафу. Она достала оттуда любимое пестрое платье, тонкие чулки, туфельки с каблуками-гвоздиками. Кинув все это у зеркала, она стала переодеваться и, переодеваясь, все время косилась на свое отражение. Ах, как любила она эту ловкую, складную фигурку: высокую грудь, тонкую талию, стройные маленькие ножки! Она могла по-

долгу вертеться нагишом перед зеркалом, приподнявшись на цыпочки, напевая, пританцовывая, делая себе глазки.

Теперь низ живота был большой, тяжелый, соски на груди набухли. Это портило всю картину. Мурка показала своему отражению язык, сердито отвернулась от него, но сейчас же, упрямо встряхнув волосами, ловко и туго перетянула живот плотным поясом, быстро оделась, подкрасила губы, чуть-чуть подсинила веки глаз. Снова взглянув в зеркало, осталась довольна и набросила на плечо ремешок старого цейсовского бинокля, хранимого Петровичем как память о войне.

Идти на каблуках-гвоздиках было трудно. Мурка разулась и с удовольствием зашлепала босыми ногами по нагретому солнцем асфальту.

— Мурка, куда так расфуфырилась? — крикнули ей какие-то ребята, не без интереса следившие за тем, как семенят маленькие стройные ножки.

— Как — куда? Вы что, не знаете: сегодня Онь перекрывают!

Впрочем, о перекрытии знал весь город. Множество людей, свободных от работы, прифранченные, в одиночку, стайками, целыми семьями шли на реку. Двигались вдоль магистрали, по тропинкам, ибо дружинники с красными повязками уже расчищали пути для самосвалов. Котлован был безлюден. Гигантская чаша его, которая вчера еще кишела людьми как муравейник, была мертва. На краю перемычек с двух сторон стояли наготове экскаваторы. Им предстояло проложить новый путь реке. И Мурка знала: в одном из них, в том, над которым сейчас в безветрии обвисает красный флажок, ее брат Константин Филиппович Третьяк.

— Товарищи солдаты, матросы, сержанты, офицеры и генералы,— тоном полководца, принимающего парад, произнесла Мурка, обращаясь к бетонщикам.— Поздравляю вас по случаю перекрытия великой сибирской реки Онь! — И, послав им воздушный поцелуй, она ловко, как циркачка, перехватываясь руками по скобам крана и мелькая крепкими полненькими икрами, стала подниматься в кабину. Приняв смену и едва успев отнести десяток бадей, она услышала, как над котлованом загремел голос:

— Всем на дамбах! За красную черту! — И чуть спустя: — Запал!

Земля вздрогнула так, что кран ощутительно качнуло.

Над дамбой взвились вихри песка. Ударив в небо острыми иглами, они стали неторопливо оседать, и, когда крепчавший ветер отнес пыль, вся дамба оказалась как бы изгрызенной. Но вода еще не шла по новому пути. Экскаваторы, будто проснувшись, на противоположных концах быстро заработали ковшами. Они торопились разбросать земляную, все еще державшуюся преграду. Мурке, наблюдавшей сверху, казалось, что дамбы уже прорваны и что река почему-то медлит, задумчиво крутясь возле этой, уже невидной издали земляной кромки. И тут крановщица увидела, как из кабины, на которой краснел флажок, выбросился высокий человек в комбинезоне. Утопая в развороченном взрывом песке, он добежал почти до середины дамбы и начал быстро разгребать руками невидимую сверху преграду. И вот потоки мутных вод хлынули в маленький проход, который он прокопал. Онь яростно рванулась в котлован, сметая взрыхленные пески. Теперь человек в комбинезоне уже убегал от догонявшего его потока, быстро смывавшего земляной вал. Мутные воды как бы стремились схватить его за пятки.

Он все-таки убежал. Поднялся в машину. Даже в своей стеклянной будочке, вознесенной на сотню метров, в значительном удалении от места действия Мурка услышала возбужденные крики... Кран работал, Мурка продолжала подавать бетон. Она поняла уже, кто этот человек, только что руками освободивший путь воде. Подбородок ее съежился. «Костька, братик, это ж ты! Варьят ты эдакий!» И тут же подумала: «Вот уж сегодня опишу все это маме!»

Под шумное ликование на берегах река быстро заполняла котлован. В бешеном потоке, как солома, крутились бревна, доски. «Мы покорим тебя, Онь!» — эта надпись, выведенная на бетонном волнорезе котлована, над которой когда-то несколько ночей трудились комсомольцы с Игорем Капустиным, начала постепенно исчезать в грязной пене бешеных потоков, рвавшихся к бетонной гребенке. Бетонщики продолжали работать. Кран, эта стальная голенастая птица, у которой был сейчас живой, веселый мозг, все так же старательно поднимал своим длинным клювом огромные бадьи и, задумчиво катясь по рельсам, относил их на плотину. А между тем все уже слышали высокий хрипловатый голос, который многим здесь был известен.

— Товарищи дивноярцы! — говорил Литвинов.— Мы, большевики, приказали реке Онь свернуть со своего пути. Видите, Онь послушалась нашего приказа. От имени Советского правительства, от имени нашей Коммунистической партии благодарю вас за отличную работу. Теперь мы, большевики, приказываем ей оставить старое русло...

— Начинаем перекрытие! — по-военному скомандовал уже другой человек, и Мурка сразу же угадала по голосу того самого симпатичного бородача, Дюжева, что частенько приходил в Зеленый городок навещать Дину Васильевну.

«Сейчас выйдет мой»,— сказала она себе, ведя бинокль в сторону моста. У дамбы, изрыгая сизый дым, теснились вереницы самосвалов. Откос противоположного берега чернел от покрывшей его толпы. И вдруг до будки крана донесся взволнованный шум. «Что такое?» Поднося очередную бадью, Мария одной рукой наводила бинокль туда, где был экскаватор ее брата и куда, видимо, перешел теперь эпицентр событий. Нет, с машиной ничего не произошло. Экскаватор продолжал разгребать ковшом грунт, расширяя путь водному потоку. Но чуть повыше что-то живое, черное барахталось в несущейся воде. Мария уточнила наводку бинокля. Собака! Поток подхватил зазевавшуюся собаку и нес ее в котлован, на бетонный гребень, где яростная вода ломала и разносила в щепы толстые бревна. И люди на дамбе волновались о судьбе дворняжки, отчаянно боровшейся за свою жизнь.

И вдруг все стихло. Экскаватор, это огромное стальное чудовище, прекратил работу. Подняв свою зубастую лопату, он двинулся вперед и, как казалось сверху, остановился над пропастью. «Что он делает, сумасшедший?» — подумала Мурка про брата. И лишь когда машина, застыв над потоком, выбросила вперед стрелу, навесив ее над водой, поняла, в чем дело. В следующее мгновение лопата метнулась вниз, потом в облаке брызг поднялась вверх. Поток крутился, катясь вниз, а черного живого комка в нем уже не было. Стальная махина как бы разжала пальцы своей лапы. На берегу раздались аплодисменты. Ошеломленная собачонка стояла на груде песка, отряхивая воду, а стальной гигант занял свою прежнюю позицию и возобновил работу.

— Ах ты варьят, варьят! — с восхищением произнесла крановщица.

— Экскаваторщик «тройки» Константин Третьяк! Не знаю, получишь ли ты за спасение утопающих медаль, а за дурацкий риск выговор тебе обеспечен,— прокомментировало голосом Литвинова радио.

Голос Дюжева деловито скомандовал:

— Первая колонна пятого парка, вы слышите меня? Первая колонна пятого парка, выходите на банкет начинать перекрытие!

Вереница машин шла на дамбу. Гигантские двадцатипятитонные самосвалы, несущие на своем горбу гору каменных глыб, осторожно, будто на цыпочках, ступали на мост. Над передней кабиной полоскалось на ветру красное полотнище. Ветер усиливался, и оно трепетало, будто стремилось вырваться и улететь. И тут люди па обоих берегах вдруг услышали быстрый диалог, происходивший в комнате штаба и явно не предназначенный для широкой публики:

— Двери сняты, но в первой машине двое. Дюжев, почему не выполнен приказ?

— Это Петрович. Видите, знамя,— ответил голос с грузинским акцентом.— Я говорил ему. А он взял и поехал... Ну, я ему покажу!

Мария уже знала, что ради безопасности, на случай, если летящие вниз с моста глыбы опрокинут и увлекут за собой и сам самосвал, приказано снять двери, чтобы водитель мог выскочить из падающей машины. По тому же приказу в кабинах должно быть по одному человеку. Несколько хороших шоферов муж сам отвел от этого почетного, но опасного дела из-за того, что они не умели плавать. А вот не вытерпел, нарушил свое же распоряжение. Риск большой. Мурка это знала. Но она не сердилась. Следя за тем, как машина с красным знаменем, развернувшись на мосту, пятится к кромке помоста, она впервые гордилась мужем. Гордилась и волновалась. Вот задние баллоны уперлись в бревно ограничителя. Кузов стал вздыбливаться над пропастью. Женщина замерла. В это мгновение у крана с крюка снимали бадью. Выпала свободная минута, она приложила бинокль к глазам.

Кузов начал подниматься. Из кабины, с той стороны, где ветер рвал знамя, показалась круглая голова. Мурка замерла, но тут раздался грохот — огромные камни катились вниз. Передние колеса машины вскинулись, отде-

лились от помоста, машина как бы вставала на дыбы. Мария вскрикнула по-белорусски: «Матулька!» Мост, машина — все скрылось в столбе брызг, поднятых падающими камнями. В следующее мгновение брызги опали. Женщина увидела мост, реку, самосвал. Он развертывался, уступая дорогу другому. Из кабины выпрыгнул приземистый человек. Какие-то люди жали ему руки, а на мост непрерывной чередой выезжали, урча, новые гиганты и, освобождаясь от груза, уходили назад. Теперь казалось, эта вереница создала единую цепь так ровны были интервалы между машинами. «Наверное, это и есть автоконвейер, который они с Поперечным придумали. Оказывается, действительно «вещь»,— снисходительно признала Мурка и вдруг заметила, что в круглом зеркальце, прикрепленном ею к стальной раме кабинки, она видит глаза, заплывшие влагой, и что влага эта смывает с век темную краску. Лизнув палец, она быстро ликвидировала «аварию» и в это время услышала нетерпеливое постукивание по металлу. Только сейчас она прислушалась к голосу бородача, должно быть уже не первый раз произносившего по радио:

— Внимание! Вниманию всех присутствующих на перекрытии! Получены сведения, что с севера приближается полоса шквального ветра с дождем и градом крупной величины. Ветер свыше десяти баллов. Штаб перекрытия рекомендует всем не занятым на работах немедленно разойтись по домам. Перекрытие продолжается. Штаб требует, чтобы все участники перекрытия при любых обстоятельствах оставались на посту! Остальным разойтись по домам.

«Шквал! Что такое теперь шквал? — раздумывала Мурка, беззаботно посматривая со своей вышки на то, как на востоке быстро темнеет небо.— Моего Петровича не снесет: не тот габарит... Нонсенс: боремся с такой рекой, и вот пожалуйте, какой-то там паршивый шквал».

Да и люди, заполнявшие берега, откосы дамб, склоны утесов Дивный Яр и Бычий Лоб, не обратили на призыв штаба внимания. Шквальный ветер, дождь, град. Сколько уж раз видал здесь все это каждый! А вот перекрытия такой реки не видел никто. Будто происходил матч между двумя лидирующими командами, будто, наслаждаясь игрой любимых футболистов, люди смотрели на однооб-

разное движение машин между мостом и карьерами. Что им какой-то шквал!

Снова и снова и все тревожней звучало предупреждение штаба. Мария видела, как внизу милиционеры пытаются рассредоточить толпу. Вот группа молодых ребят, должно быть дружинники, взявшись за руки, старается оттеснить зрителей с откосов. Чудаки!.. Но ветер все сильней врывался в окошко кабины крана. И вдруг сухой грунт, будто бы пущенный из пескоструйного аппарата, секанул по лицу женщины. Она отпрянула, сердито опустила фортку. Кругом так потемнело, что пришлось включить лампочку на приборной доске и зажечь прожектор на стреле. Вихри песка взметывались вверх, и в них, порхая как голуби перед грозой, полетели газеты, женские платки, чья-то соломенная шляпа. Черная туча волочила над всем этим мохнатое, шерстистое брюхо. На фоне свинцового неба и сизой воды пестрая грива порога Буйный стала ослепительно белой. Порывы ветра встряхивали кран. Он вздрагивал. Стальные стропы гудели, будто струны гитары. И вот стекла омыл дождь. Все кругом точно стерлось. Внизу уже едва можно было различить людей, бежавших с берега к навесам, где хранился цемент. Кран пришлось остановить. В стекла барабанил крупный град. Казалось, кто-то в слепом бешенстве бросает щебень горсть за горстью, горсть за горстью...

Сверкнула молния. На мгновение перспектива прояснилась. Оба берега были уже пусты. Закрывая головы куртками, пальто, платками, люди прыгали через лужи, спотыкаясь, падая, продолжали бежать под шатровый навес. Град стучал в стекла, кругом гудело, грохотало. Было темно, как вечером. А на мосту Мурка видела тусклые огни движущихся фар. Фары продолжали перемещаться в полумгле, перемещаться четко, будто и не было этого взрыва стихии, будто не выл сорвавшийся с цепи свистограй.

Мурка была не из робких, и то, что творилось за стеклами кабинки, что гудело в стальных стропах и ощутительно раскачивало железную громадину, будило в ней лишь озорное ликование: ну и пусть, черт с ним, с этим градом! Работа-то на реке идет! Вот снова сквозь свист урагана прорывается голос бородача:

— Третья и четвертая колонны, ликвидируйте интервал! Ликвидируйте интервал! Шестой резервной вступить в дело! На каменном карьере, слышите меня, на камен-

ном карьере? Ускорьте погрузку, ускорьте погрузку, черт вас возьми!

И в бушующем полумраке двигались, двигались огни, и с моста в реку летели бетонные монолиты, обломки скалы, щебень, песок. Это неистовое наступление человека подавляло и бешеное сопротивление реки, и дождь, и град, и сам ураган. Кран уже не встряхивало, его ритмично качало. У Мурки кружилась голова. Бледная, она вцепилась в свое сиденье. Становилось страшно: а вдруг... Может, и в самом деле спуститься вниз? Но уж очень жутко выбираться из кабины в эту воющую полутьму. Еле слышно зазвучал звонок телефона.

— Товарищ Третьяк! Кран зачалили, слезайте! — услышала она в трубке. Это была команда. Когда-то, девчонкой, тренируясь в аэроклубе, Мурка по команде инструктора бросалась с парашютом с самолетного крыла. С тем же хмельным возбуждением она с силой оттолкнула плечом притиснутую ветром дверцу, отжав ее, вылезла на лесенку, цепляясь за железные скобы. Лестница была ограждена обручами.

— «Ни черта, отсюда некуда падать»,— успокаивала она себя. Но в момент, когда она стала уже спускаться, кран вдруг как-то необыкновенно судорожно вздрогнул. Остро взвизгнув, пронесся над головой оборванный стальной трос и, свиваясь в штопор, ударил по будке, выбил стекла. Ветер подхватил осколки и тотчас же унес. Мурка застыла, вся прильнув к железному швеллеру. Бил озноб, и тут всем существом она ощутила ровное, медленное движение: стальная махина, сорвавшись с якоря, гонимая ветром, ползла по рельсам.

Снизу что-то кричали, махали руками. Мозг женщины, уже привыкший ощущать кран как некое продолжение своего тела, с полной точностью предсказал события: толкаемая ветром махина доходит до тупика, спотыкается о загнутые вверх швеллера ограничителя, падает, а стрела, вынесенная вправо, рушится как раз на один из шатров, под который ураган загнал столько людей.

— Ой, матулька моя! — совсем по-детски вскрикнула Мария на родном, полузабытом белорусском языке.— Столько народу!

Это показалось ей таким страшным, что, позабыв бурю, град, вой ветра, позабыв, что ей кричат, может

быть, даже что-то приказывают снизу, она начала подниматься обратно, перебирая руками по скользким железным скобам. Ветер прижимал дверь. С силой рванула она ее на себя и почти свалилась в кабину. Сейчас же вскочила, включила моторы, нажала рычаг. Стрела стала медленно отворачивать. Все это было проделано быстро, но Мурке казалось, что движения ее связывает кошмарная медлительность. А вот кран двигается к тупику с необыкновенной быстротой. И тут женщина ощутила, как ребенок повернулся и спокойно, не чувствуя всего страшного, что происходило вокруг, точно бы потягиваясь, провел чем-то твердым по животу изнутри. «Немовлятко мое родимое»,— прошептала Мурка, уже понимая, что ей не вылезти, что спасения нет. Колеса крана коснулись ограничителей, все его стальное тело вздрогнуло, и он как бы задумчиво, медленно начал валиться вперед.

— Ма-а-а! — отчаянно вскрикнула Мурка и, обеими руками прикрывая живот, валилась вниз вместе с железной махиной навстречу качнувшейся и подпрыгнувшей вверх земле.

...А буря продолжала бушевать. Развернувшийся свистограй выл, ломал и бросал в реку деревья, срывал с палаток брезенты, сдирал шифер с крыш и нес все это над мостом, где Петрович с помощью фонаря регулировал поток машин. В разгар этой схватки с Онью на мосту никто не заметил падения крана, не услышал крик ужаса, вырвавшийся из сотен грудей. Шины самосвалов гулко перебирали мостовой настил. Фары едва пробивали мглу. Потоки воды хлестали по доскам, а машины все шли, шли, шли. Обломки скал, кучи щебня методично валились в реку, и невидимая еще плотина росла под водой все выше и выше. Река бесилась, ее убыстряющийся поток колебал бетонные сваи. Они гудели, но выстаивали перед бешеным напором вод, и когда буря стала стихать и на синее, чисто выскобленное ею небо пробрызнули удивленные звезды, сквозь пенистую гриву реки одновременно в разных местах из воды появились черные острия камней.

— Товарищи, видны первые острячки. Мы побеждаем. Удвоим усилия, большая вода уже в тридцати километрах,— говорил по радио усталый голос. Это было событие мирового значения. Каждый житель Дивноярска ждал этой вести. Но о катастрофе с краном, происшед-

шей в самый горячий час перекрытия, было уже известно, и потому весть о победе над рекой приняли в глубоком молчании.

20

— ...Только к ночи мне удалось привести ее в сознание. Мы сбились с ног. Я совсем отчаялась. И вдруг она приоткрыла уцелевший глаз,— рассказывала Дина Васильевна Дюжеву несколько дней спустя.

Они сидели на вершине Дивного Яра на скамейке под корявенькой, лохматой сосной. Зеленоватая, душистая, звенящая комарами ночь стояла над покоренной рекой. Она была такая прозрачная, эта сибирская летняя ночь, что обильные огни строительства и льдистое мерцание электросварки почти не меняли ее естественных красок. Когда-то, в первый год строительства, чьи-то добрые руки соорудили здесь, на крохотном, вознесенном высоко над стройкой плато эту скамью. С тех пор она верно служила местным влюбленным и мечтателям.

— ...Вся истерзанная, с отбитыми внутренностями, с поломанными костями, она пыталась что-то сказать,— продолжала Дина, глядя куда-то перед собой за реку.— Я наклонилась и скорее угадала, чем услышала: «Маленький, маленький...» Я поняла: она о ребенке. И ты понимаешь, Павел, какое это счастье было сказать ей: «Жив!» Я даже велела, чтобы из нашего инкубатора принесли этот живой комочек, лежавший в вате. И ты не поверишь, Павел,— надо быть женщиной, чтобы поверить,— в одиноком глазе, на лице, представлявшем сплошной окровавленный синяк, я увидела радость, именно радость. Думаешь, я ошиблась? Нет же, нет!.. Я просто потрясена...

Дина закусила губу, замолчала, глядя через реку на утес Бычий Лоб, точно бы прорисованный тушью на фоне зеленоватой ночи.

— А знаешь, как Василиса называла Марию? Кукушка! Вот в ком она ошиблась. Да... Это правда, что решили похоронить ее в парке Героев, рядом с теми партизанами, которых перенесли из тайги?

— Старик об этом говорил.

— А ты его видел вчера, Павел?

— Видел, Дина, за полчаса, как с тобой встретились, видел.

— И это верно, что он посылает тебя в Усть-Чернаву начальником филиала Оньстроя?

— Пока что он посылает меня с комсомольцами бросать там с вертолета в воду чугунную доску: «Еще раз покорись, Онь, большевикам!» Доска готова, она у него в кабинете. Старик ходит вокруг нее и всем показывает. Страшно доволен и все бубнит из «Князя Игоря»...

— Но ты не ответил насчет филиала. Это верно, Павел? Да?

— Ну уж ладно... Это еще не утверждено, но тебе скажу — да.

Маленькие руки женщины лежали в левой руке Дюжева. Правой он осторожно поглаживал их. И он почувствовал, как пальцы дрогнули, сжались, будто от боли.

— Ну что с тобой? Что-нибудь вспомнилось? Почему погрустнела?

— Нет, ничего. Ровным счетом ничего. Так...

— Тебе не хочется, чтобы я принял это предложение? Почему?

— А я? — тихо спросила женщина.

Дюжев просиял, схватил ее, прижал к себе:

— Дурочка, так врачи ж нужны везде. Будущий начальник будущего филиала Оньстроя на реке Чернава, который Старик именует первым эшелоном, приглашает доктора Дину Захарову поехать на новый «дикий брег» и предлагает ей самый лучший угол в палатке «люкс»...

— Смотри, смотри, Павел! Маленькая комета, а может быть, спутник? А? Ну куда ты смотришь? Это даже обидно, я говорю ему про комету, а он смотрит на этот свой дурацкий мост, который уже и не мост, а плотина или дамба,— не знаю, как это у вас там называется!

— Не сердись, Дина, я только подумал: вот судьба и вознаградила меня за все беды. Щедро. С лихвой.

Дина вскинула на него свои серые глаза. Они сияли.

— Павел... Впрочем, наверное, ты думал при этом про свой любезный мост. Так?

— И про мост, конечно, но... Дина, я не умею об этом говорить.

— Ах, все-таки и про мост? — Голос женщины похолодел, она отвернулась, хотела отодвинуться, но они сидели, оба прикрывшись шинелью Дюжева. Его рука ласково и властно удержала ее.

— Фу, Павел, от тебя пóтом несет! Не моетесь вы там, что ли?

Дюжев смущенно опустил большую голову:

— Мы с Вороховым с самого перекрытия собираемся в баню, и все срывается: то это, то то, просто беда.

— Безобразие! Это я тебе говорю не только как женщина, но и главным образом как врач. Никакой ваш энтузиазм, никакие мосты и плотины не могут оправдать такого одичания. Снежные люди какие-то! Ну теперь я за вас возьмусь! Кстати, откуда у тебя взялась моя фотография, которая стоит на твоем столе в вашем знаменитом вагончике?

Дюжев молчал. Внизу, за черным выступом утеса, широко разливалась Онь. Река еще не привыкла к своему новому пути, и в зеленоватой прозрачности летней ночи было видно, как поток с разгона бьет в земляную, уже облицованную базальтовыми глыбами дамбу, как бы удивленный неожиданным препятствием, на миг затормаживает возле нее свой бег, а потом начинает отворачиваться вправо и покорно устремляется на бетонный гребень. Недавний ураган разбил много плотов, вырвал с корнем и бросил в реку огромные деревья. Они прыгали на стрежне Они, как спички, брошенные в ручеек ребенком. С вершины Дивного Яра видно было, как эти черные спички, растягиваясь чередой, тоже покорно движутся к гребню плотины.

— Так откуда же у тебя, Павел, эта фотография? — настаивала женщина.— Что же ты молчишь? — Чувствовалось, ей приятно называть его по имени, обращаться к нему на «ты», приятно и ново, и немножко неловко.

— Мне ее дал Сакко,— неохотно пояснил Дюжев.— Я провожал его на Чернаву. Уложили в машину чемодан, рюкзак — все его имущество. Бурун прыгнул на переднее сиденье. Простились. Я помахал им и вернулся в свою комнату. И вдруг стук: Сакко.

Дюжев замолчал, глядя перед собой. Темные воды реки начали уже светлеть, и волокнистый туман, тянувшийся по ним, заметно редел.

— Ну же, Павел, ну...— Дина трясла его за плечо.— Я знала, у него есть эта фотография. Он давно выпросил ее у Петровича и потом носил в паспорте. И вдруг вижу у тебя на столе. Ну, говори же!

— Он вошел в комнату. Фотографию он держал в руке.

— Ну и что он сказал?

— Он сказал: «На, возьми. Это у меня самое дорогое, но это твое».

— А еще что сказал? Павел, ну как ты не понимаешь, что мне это очень важно!

Дюжев грустно усмехнулся воспоминанию.

— Еще он сказал: «Женское сердце — это магнитофонная лента. Когда на нее записывается новая мелодия, старая стирается начисто». Дурак, кто этого не понимает. Потом сказал, что я мямля, слепец. Кажется, сказал даже: клинический идиот. За последнее не ручаюсь, но это было бы, как показали события, правильно. Так? Потом сказал: «Пишите, мой адрес, как всегда: дом приезжих». Больше он ничего не говорил.

— Как всегда: дом приезжих...— задумчиво повторила Дина.

Посидели молча. Восток чуть светлел, и, как это всегда бывает под утро, все назойливее, свирепее становились комары. Но их злорадного пения на скамье не замечали.

— Какой он хороший, Сакко,— заговорила наконец Дина.— Если бы я не встретила тебя, Павел... Нет, не знаю, ничего не знаю. А тот, он зашел к нам перед отъездом чистый, выутюженный. Вручил мне букет ландышей, маме — какую-то безделку и, я это заметила, усаживаясь, поддернул брюки на коленях. А у нас, как на грех, ничего к чаю. Мама разахалась, побежала на уголок. Павел, это страшно: он вдруг изменился, упал на колени: «Умоляю, уезжай со мной... Ну не сейчас, хотя бы потом. Будет плохо —возвращайся. Твое место никто, слышишь, никто и никогда не займет. Буду ждать». Он рыдал, Павел, по-настоящему рыдал. А мне было жалко, и противно, и страшно. Тут мама загремела ключом в двери. Он сразу вскочил, поправил галстук. Когда она вошла, он уже чинно целовал мне руку.

Дина умолкла. Вздохнула. Потом спросила:

— Павел, неужели и этот утес будет под водой?

— Конечно. И *наша* скамья и *наша* сосна.

— И когда-нибудь я буду плыть на пароходе над *нашей* скамьей и над *нашей* сосной... А когда ты сбреешь свою знаменитую бороду? Ты же обещал.

— Если ты не испугаешься, сбрею хоть завтра. Но я тебе говорил...

— Нет, нет, эти шрамы, ты их не прячь. Карл Мартьянович рассказывал, как ты тогда вбежал на тот мост, когда на него наперли льды и он затрещал. Скажи, страшно было, когда все это обрушивалось у тебя под ногами?

— Не знаю, не помню... Я просто падал вместе с ним.

— И вот ты встал... Я вчера смотрела, как Старик глядит на тебя влюбленными глазами. Ты знаешь, Павел, хочется иметь сына, такого, как ты, большого, русого, голубоглазого.— И тихо призналась: — Давно уже хочется... Ты этого только не замечал.

— А мне дочку с такими же серыми, чуть-чуть раскосыми глазами, которые хотят сразу увидеть весь мир.

Опять замолчали. Так и сидели, прижавшись друг к другу, наблюдая, как светлеет восток; как вдруг зарозовела, будто бы зажглась крона сосенки; как розовый этот свет, сбежав по золотому стволу, окрасил седую, покрытую росою траву, потек вниз по базальтовым откосам; и вот зарозовели уже и воды Они, а там, за рекой, будто выдвинулся вперед хмурый утес Бычий Лоб. И на вершине его, господствующей над всем правобережьем, подсвеченной поднявшимся солнцем, стал виден поверженный бурей стальной кран. Он походил на подстреленную цаплю, этот длинноногий кран, свернувший шею на вершине скалы.

— А если у меня будет дочка, ты знаешь, как мы ее назовем? Мы назовем ее Мария. Ты согласен?

Дюжев молчал.

— И еще знаешь, о чем я думаю, Павел? Как будет выглядеть все это года через три, через пять. Вот бы найти какую-нибудь щелочку и заглянуть туда, в будущее. А тебе никогда не хочется заглянуть в будущее?

Дюжев молчал.

— Ну, чего ты? О чем ты думаешь? Может быть, об Ольге Игнатьевне? Об Олеге?

Дюжев молчал.

Женщина наклонилась, взглянула ему в лицо и засмеялась. Он спал. Его рука продолжала обхватывать ее талию. А восход полыхал по всему горизонту, осыпая все: сосну, утес, реку и облака — потоками золотой дрожащей пыли. В проясняющемся воздухе пели птицы. С материнской осторожностью Дина опустила себе на колени большую русую лохматую голову. Дюжев не проснулся, только пожевал во сне губами и сделал рукой движение, отгоняя комара. Комары назойливо звенели в посветлевшем воздухе. Желая их отгнать, Дина достала из кармана дюжевской шинели свернутую газету. Ей бросилась в глаза какая-то статья, отчеркнутая красным карандашом. «Великая победа на Они» — называлась она. Одно место в статье было обведено:

«...Примером того удивительного технического творчества, которое продемонстрировали строители, является создание сборно-бетонных конструкций мостовых опор, впервые примененных коллективом талантливых молодых инженеров под руководством Дюжева П. В. Я горжусь тем, что мне когда-то привелось помочь этому новаторскому коллективу в реализации смелого замысла...»

Тот же красный карандаш поставил на этих словах жирный восклицательный знак. Что-то очень знакомое почудилось женщине. Осторожно действуя левой рукой, чтобы не разбудить спящего, она развернула газету и прочла имя автора: «В. А. Петин, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии».

«Горжусь, что довелось помочь...» На мгновение мелькнул этот спокойный, самоуверенный, корректный человек. Но только на мгновение. Он возник в памяти как персонаж какого-то забытого, скучного фильма, не оставившего ничего, кроме ощущения даром потерянного времени.

— Плюскомперфект,— произнесла Дина вслух любимое словечко Вячеслава Ананьевича, произнесла искаженно, именно так, как он его выговаривал, и, движимая нахлынувшей нежностью, наклонилась к русой, седеющей голове, лежащей у нее на коленях.

Новое утро вставало над Дивноярском. По-утреннему звонко перекликались птицы, на плотине гудели моторы. Порывистый ветер иногда доносил с порога Буйный глухой шум воды. Ветер был влажен, он пах таежной смолянистой сыростью, к которой, как казалось, уже примешивался едва уловимый запах заводских дымов.

1959—1962
Москва

НАШ ЛЕНИН

БИОГРАФИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ

ОБРАЗ ЛЕНИНА

Нарисовать ленинский портрет — нелегкая задача: человек этот, встающий из дел своих как овеянный легендами сказочный богатырь, в жизни был скромен, прост, имел не бросающуюся в глаза внешность, не любил отличаться от окружающих ни одеждой, ни поведением, ненавидел напыщенность и позерство.

Ленин! При одном этом имени у людей загорался взгляд. Ленин! И сердце того, кому предстояло встретиться с ним, начинало взволнованно биться. А видел он перед собой невысокого человека с широкими плечами, с простым, смугловатым подвижным лицом, с улыбкой, неожиданно возникавшей на губах, между рыжеватыми подстриженными усами и негустой короткой бородкой. Поражали неожиданностью и живость его движений, грудной, несколько глуховатый, баритонального тембра голос, привычка говорить быстро, напористо, подменять твердый русский звук «р» более обтекаемым — французским, и в любой среде оставаться самим собой.

Но не успевал впервые встретивший Ленина человек удивиться обыденности его внешности, как замечал, что широко расставленные темно-карие глаза, в которых не виделось, а скорее угадывалось веселое лукавство, смотрят проницательно, что эти прищуренные (не близорукие ли?) глаза очень зорки. Затем взгляд привлекал высокий лоб, лоб мудреца.

Потом внешность вообще отступала на второй план. Внимание привлекала естественность поведения, ясность речи, острота ума. Человек, казавшийся вначале обыкновенным и даже удививший своей обыкновенностью, начинал незримо расти. Собеседник, слушатель, даже случайный попутчик, наблюдавший Ленина со стороны, незаметно для себя подпадал под его обаяние.

Именно так передают впечатления от первой встречи с Владимиром Ильичем те, кому выпало счастье его видеть.

Это был вождь, каких мир еще не знал.

Он сочетал в себе проницательного теоретика и величайшего знатока жизни, смелого, глубокого ученого и трибуна, умевшего увлекать людей, мудрого деятеля,

провидящего судьбы государств, и простого, доброго, отзывчивого человека, который всегда готов был от всего сердца помочь людям.

ВЕРА В МАССЫ. ОБЩЕНИЕ С НИМИ

Ленин не терпел работников, которые свысока смотрели на массы. Он верил в творческую силу и инициативу масс, изучал и осмысливал их опыт.

Живой пример тому — социалистическое соревнование. В конце 1917 года, во время короткого отдыха (всего четыре дня!) Ленин начал писать статью «Как организовать соревнование?». В ней развивалась мысль о вовлечении масс в творческий труд, который даст им возможность проявить способности, инициативу, обнаружить таланты...

Статью дописать не удалось, в печати она тогда не появилась. Но соревнование возникло по почину самих рабочих, и когда сведения о коммунистических субботниках проникли в печать, Ленин увидел в них зерно того грандиозного дела, о котором мечтал, и откликнулся на него статьей «Великий почин (О героизме рабочих в тылу. По поводу «коммунистических субботников»)». Он расценил их как победу над косностью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоизмом, над привычками, которые капитализм оставил в наследство рабочему и крестьянину.

Это движение через несколько лет после его смерти выросло во всесоюзный поход ударников, в социалистическое соревнование, из края в край охватившее всю нашу страну и, наконец, в наши дни расцветшее как могучее движение за коммунистический труд.

Ленинская вера в творческие силы масс и отличала его как вождя рабочего движения. С нею он шел в рабочие кружки питерских окраин в 90-х годах и пронес ее через всю свою жизнь.

Страдания тружеников отдавались в его отзывчивом сердце острой болью. Но это не было прекраснодушным сочувствием «меньшому брату» либеральствующих народников. Нет, это было действенное чувство, имевшее глубокие корни. В людях эксплуатируемых и подневольных он видел и ценил борцов против эксплуатации и порабощения, будущих строителей нового общества, пред-

ставителей класса, которому историей суждено положить конец всякой эксплуатации на земле.

Ленин всегда стремился знать, чем живут, что думают, о чем мечтают трудящиеся. Еще юношей он искал возможность поговорить с простым человеком, расспросить его о жизни,— заставить его раскрыть душу. И не из интеллигентской, ни к чему не обязывающей любознательности, нет! Так он познавал жизнь. В дальнейшем, изучая таблицы социальной статистики, систематизируя, сопоставляя, анализируя приводимые в них данные, он видел за цифрами живых людей — рабочих, крестьян, интеллигентов; видел их судьбы.

Эта неистребимая жажда знать, чем и как живут люди, знать условия их работы и особенности их быта не оставляла его в самые трудные периоды его жизни, в дни острейших политических схваток...

1907 год. V (Лондонский) съезд партии. Идет острая борьба с меньшевиками. Владимир Ильич страстно доказывает, что рабочая партия должна быть вооружена передовой теорией. Меньшевики, выдвинув своих лучших ораторов, обрушиваются на него с высокомерной критикой: здесь съезд рабочей партии, а не теоретическая дискуссия. Ленину надо готовиться к контратаке, а он в перерыв, в свободные минуты, в уголке, среди делегатов-рабочих, выспрашивает их:

— Ну, а женщины как? Заедает хозяйство? Все-таки — учатся, читают?

Стремление черпать новое из живой действительности, проверять теоретические построения опытом бурно развивающейся жизни, уточнять в беседах с людьми каждую мысль проходит через всю деятельность Владимира Ильича. В сибирской ссылке, в эмиграции, удаленный от рабочих центров, где закалялись силы революции, оторванный от товарищей по борьбе, он знал жизнь своей страны лучше, глубже, чем многие из революционеров, остававшихся в Петербурге, Москве и в других крупных рабочих центрах.

* * *

Ленин учил массы и учился у масс. В этой простой формуле, которая была законом его деятельности, таилось искусство ленинского руководства, позволявшее ему безошибочно распознавать стремления трудящихся, угадывать закономерности их движения вперед, предвидеть ход

исторических событий. В этом секрет его умения по неприметным для обычного глаза признакам, среди множества тропинок и дорог увидеть и указать одну, единственно правильную, умения в зародыше разгадать суть нового явления и своевременно обратить на него внимание партии.

Как бы Ленин ни был загружен, он умел выкроить время для общения с людьми. С первых же дней советской власти, когда он стал во главе первого в мире государства трудящихся, в стране разрушенной, истощенной империалистической войной и сразу втянутой в войну гражданскую, когда на его плечи лег невероятный груз задач непосильных — одновременно и строить и воевать,— он ухитрялся найти часок или хотя бы несколько минут для общения с рабочими, с крестьянами и часто вырывал этот час у отдыха и сна.

По словам Надежды Константиновны Крупской, особенно он был пристрастен к рабочим, «...с ними особо охотно говорил о близком, о заветном, их мнением особо дорожил».

Так было и в самые острые моменты натиска сил контрреволюции, так бывало и в сравнительно спокойные дни.

Рабочий-путиловец П. А. Данилов рассказывал о том, как в ночь с 28 на 29 октября 1917 года, когда генерал Краснов подступал к революционному Петрограду, Ленин приехал на Путиловский завод около часу ночи. Вместе с ним был В. А. Антонов-Овсеенко, три дня назад — член ВРК, командовавший штурмом Зимнего, а теперь член Комитета по военным и морским делам, ведавший внутренней обороной.

Приехали они, чтобы удостовериться, как идет изготовление бронеплощадки для зениток, которую должны были оборудовать путиловцы. Объяснения о ходе работ и причинах задержки давались толково, но в спешке, рабочие торопились выполнить задание и разошлись по своим местам. Только двое дежурных остались в завкоме, варили картошку, кипятили воду для чая.

Пожав дежурным руки, Ленин и Антонов-Овсеенко, изрядно продрогшие в открытом автомобиле, подсели к печке обогреться. Грея над огнем озябшие руки, Ленин спрашивал дежурных о том, что волновало его не меньше, чем натиск белогвардейцев:

— Как смотрят путиловцы на захват власти большевиками?.. Каковы вообще настроения на заводе? Сколько отрядов организовано и отправлено на фронт?.. Есть ли на заводе топливо? — И снова с особой настойчивостью: — Ну, так что же говорят о захвате власти большевиками?

Внимательно слушая ответы, он не удивился, а с удовлетворением кивнул головой, узнав, что за два дня было «наворочено столько, сколько за две недели раньше не вырабатывали».

Закипел чайник, поспела картошка. С некоторой робостью рабочие предложили вместе с ними попить чайку.

— С удовольствием,— ответил Ленин, потирая руки.— Чаек — это хорошо.

Продолжая слушать, он с удовольствием пил чай, ел картошку, обмакивая ее в насыпанную на газету соль...

Так было в критические для Советского государства минуты...

А вот красноречивый документ, показывающий, как и почему Владимир Ильич откликнулся на просьбу работниц... Это записка его секретаря — Марии Игнатьевны Гляссер, переданная ему во время совещания, в разгар напряженного рабочего дня 26 февраля 1921 года:

«Владимир Ильич,— говорится в этой записке,— сейчас пришли две работницы — делегатки от беспартийной конференции; там так настойчиво требуют, чтобы Вы приехали хоть на 5 мин., что никто с ними справиться не может, Семашко не хотели слушать.

Делегатки говорят, что работницы хотят всей массой идти в Кремль, если Вы к ним не приедете. Закрывается в 8 часов. Они просят ответа».

На полях этой бумажки торопливо, острым ленинским почерком написано: «Если на *5* минут, то могу в $2^3/_4$, *если* успеете перенести турецкую делегацию».

Сама записка — свидетельство того, как трудно было вырвать эти пять минут из перегруженного государственными делами дня.

Но Ленин поехал на конференцию, хотя в распоряжении его и на поездку до театра Зимина, где она происходила, и на обратную дорогу, и на речь оставалось только четверть часа.

Он был недоволен, что прием турецкой делегации передвинули только на полчаса, и пожурил секретаря: «Разве можно в пять минут сказать что-нибудь путное?»

На трибуне он появился с часами в руках, сказал, что располагает только пятью минутами, так как должен вести переговоры с турецкой делегацией от имени правительства, и сразу перешел к вопросу, который его беспокоил в ходе прений на конференции.

— Я следил за вашей работой по газетам и читал, что многие крестьянки, выступая здесь, говорили, что рабочий класс забыл крестьянство и плохо помогает ему.

Но рабочий класс никогда не забывал крестьянства и не мог его забыть, так как он сам вышел из недр крестьянства...

Только при полной солидарности рабочих и крестьян, работниц и крестьянок мы сможем выйти из нашей разрухи, в которой мы очутились благодаря войне империалистической и войне гражданской.

Все, что сейчас рабочий класс берет у крестьян, он берет в долг, и этот долг он крестьянству сможет уплатить, когда промышленность наша начнет подыматься...

Речь была короткой и убедительной, и всем стало ясно, что Ленин приехал не потому, что делегатки, добиваясь встречи с ним, грозились идти всей массой в Кремль, а по причине более важной: он не мог допустить, чтобы крестьянки разъехались с конференции в убеждении, что рабочие не хотят знать об их нуждах, чтобы поколебалась их вера в бескорыстный братский союз рабочих и крестьян.

* * *

Подсчитано, что после Октябрьской революции Ленин выступил только в Москве более двухсот раз. Он выступал на заводах, фабриках, перед женщинами, молодежью, красноармейцами, на крестьянских сходах Подмосковья. На рабочих окраинах он был не только желанным, но и частым гостем. Среди ленинских мест столицы особенно «повезло» рабочей столовой Трехгорной мануфактуры, на месте которой теперь сооружен Дом культуры. Здесь Владимир Ильич не только выступал, но и подолгу беседовал с рабочими, отвечал на их вопросы. Как проходили эти встречи, лучше передать словами торопливо написанной заметки репортера «Правды» о собрании, посвященном 14-й годовщине декабрьского вооруженного восстания 1905 года в Москве. Заметка была опубликована по горячим следам, 20 декабря 1919 года.

«...Столовая «Прохоровки» была битком набита народом. Тысяч пять человек заполнили весь зал, все проходы: всюду, где только можно было сидеть, стоять, висеть, уцепившись за какой-нибудь столб или угол стены,— сидели, стояли, висели...

Показывается Ильич, товарищ Ленин... Гром аплодисментов не дает ему начать. Все поднимаются с мест, и тысячи глаз устремляются на Ильича. Его слушают совсем по-особому; ему верят и доверяют, как никому другому: Ильич говорит,— значит, это так. Его и любят так, как никого другого. Вот почему все лица тянутся к нему...»

Это были часы замечательных задушевных общений. К сожалению, никто не вел хотя бы беглых записей этих встреч. Но в памяти тех, кто в них участвовал, они запечатлевались навсегда. По воспоминаниям рабочих той же «Трехгорки» можно восстановить, как серьезны, откровенны и как действенны были эти выступления Владимира Ильича, всегда заканчивавшиеся беседой по душам о самых острых вопросах, волновавших тогда народ.

— Рабочие очень любили Ильича, и стоило ему только появиться, как они устраивали бурные встречи. Приезд Ильича на фабрику был торжественным событием у нас,— вспоминает старый рабочий Ф. Румянцев.

Владимир Ильич с рабочими был всегда откровенен, делился с ними своими мыслями и заботами и никогда не скрывал от них трудностей, промахов и просчетов советских органов. Он чутко прислушивался к критике простых людей, советовался с ними об очередных, только еще намечавшихся мероприятиях советской власти.

Именно поэтому беседы эти имели огромную действенность, доходили до сердец.

— Даже те, кто прежде ныл, падал духом, как будто бы перерождались,— вспоминает старая работница «Трехгорки» А. Жарова.— После каждого приезда Ильича увереннее мы себя чувствовали, лучше работали...

А вот как провел Владимир Ильич Первое мая 1920 года.

Утром он участвовал во Всероссийском коммунистическом субботнике — маевке; работал на уборке Драгунского плаца Кремля от камней и бревен; на просьбу не переутомляться ответил:

— Я тоже житель Кремля, меня это тоже касается.

В 2 часа дня произнес речь на закладке памятника Карлу Марксу, подписал металлическим карандашом закладную доску, закапывал ее лопатой и положил на цемент тринадцать первых кирпичей в фундамент памятника.

Около 3-х часов выступал с речью перед многолюдным митингом на месте закладки памятника Освобожденному труду; затем в Музее изящных искусств (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина) вместе с А. В. Луначарским осматривал выставку эскизов этого памятника.

Позже, приехав на митинг рабочих Трехгорной мануфактуры, в течение получаса, сидя на бревнышке во дворе, ждал, пока соберутся работницы, и беседовал о значении коммунистических субботников. Затем сделал доклад о международном и внутреннем положении.

Трудно поверить, что в этот же день он выступал с речами на митингах рабочих в Басманном и Замоскворецком районах и приезжал на открытие рабочего дворца имени В. М. Загорского в Благуше-Лефортовском районе. Речь его была посвящена значению праздника 1 Мая и памяти секретаря Московского Комитета партии Загорского, погибшего при организованном контрреволюционерами взрыве в здании МК осенью 1919 года.

БЕССТРАШИЕ. ВЫДЕРЖКА

О том, какое значение придавал В. И. Ленин своему постоянному общению с народными массами, можно судить по поведению его в трагический день 30 августа 1918 года.

Летом 1918 года положение в стране было крайне тяжелым. В разных местах бушевали контрреволюционные восстания. Вспыхивали кулацкие мятежи. Правые эсеры перешли к открытому террору. Они решили обезглавить большевистскую партию. 30 августа из Петрограда сообщили об убийстве председателя Петроградской ЧК М. С. Урицкого. День, когда получили это сообщение, был пятницей, а по пятницам Владимир Ильич почти всегда по поручению Московского Комитета партии выступал на митингах на рабочих окраинах Москвы. В этот день у него в кармане лежала присланная МК путевка для выступлений в Басманном и Замоскворецком районах.

Близкие отговаривали его от поездки: нельзя рисковать, когда гремят выстрелы из-за угла. За обедом дружно убеждали его отказаться от выступлений, вернуть путевку, не ехать.

Надежда Константиновна вспоминала, что Владимир Ильич «смеялся, отмахивался, а потом, чтобы прекратить все разговоры на этот счет, сказал, что, может быть, он и не поедет. Мария Ильинична в этот день была больна и сидела дома. Ильич вошел к ней уже в шапке и пальто, готовый ехать. Она стала просить его взять ее с собой. «Ни под каким видом, сиди дома»,— ответил он и уехал на митинг, не взяв с собой никакой охраны».

Проведя один митинг в переполненном рабочими здании Хлебной биржи, ответив на вопросы, он сел в автомобиль и поехал на другую окраину, к рабочим-металлистам, на бывший завод Михельсона, где не раз бывал и раньше.

Как всегда, после выступления он испытывал особый подъем. Его шофер Степан Казимирович Гиль, как и все в этот день, встревоженный и настороженный, наблюдал в косое зеркальце оживленное лицо Владимира Ильича. Он был совершенно спокоен и, кажется, с удовольствием пользовался несколькими минутами отдыха между докладами.

В те бурные дни Ленин ездил чаще всего без охраны. Когда однажды он заметил у Гиля на поясе кобуру, он недовольно поморщился и мягко, но решительно сказал:

— К чему вам эта штука? Уберите-ка ее подальше, чтобы я ее больше не видел.

Гиль расстался с кобурой, но револьвер продолжал носить за поясом, скрывая его под одеждой. Сейчас, когда Москва услышала эхо злодейского выстрела, раздавшегося в Петрограде, шофер, тревожась, посматривал на Владимира Ильича, удивляясь его спокойствию.

Ну вот и знакомая окраина. Низенькие, закопченные дома. Длинный забор, за которым громоздятся черные, подслеповатые цеха. Ворота и возле них большой плакат, извещающий о митинге.

Машина вошла в раскрытые ворота. Митинг еще не начинался, по гулу, доносившемуся во двор, было ясно, что огромное помещение битком набито людьми. Встречавших не было видно, но это не смущало Владимира Ильича. Среди рабочих он был свой человек, и именно как свой человек он, прикасаясь к кепке в ответ на

поклоны, быстро направился в цех, скрылся за дверью, и сначала все большое, приземистое, закопченное здание дрогнуло от аплодисментов, а потом разом стихло. Замерло. Сквозь открытые фрамуги стали доноситься отзвуки ленинского голоса.

Шофер развернул машину, поставил ее поближе ко входу в цех и, прислушиваясь к голосу, доносившемуся из окон, задумался.

Его мысли прервал вопрос.

— Что это, кажется, товарищ Ленин приехал? — спрашивала молодая, худая, бледная женщина, одетая в короткую жакетку.

У С. К. Гиля, давно уже возившего Ленина, было правило никогда не говорить, кого он привез, откуда и куда поедут дальше. Глядя на женщину, он как можно равнодушнее ответил:

— А я почем знаю. Какой-то оратор... Мало ли их возить приходится, всех не узнаешь...— Он заметил, что женщина нервно скривила рот и направилась в цех, где шел митинг.

А митинг между тем был в разгаре. Со своей обычной спокойной логикой, всегда увлекавшей и покорявшей слушателей, Владимир Ильич говорил на тему о двух диктатурах — диктатуре пролетариата и диктатуре буржуазии. Закончил он эту речь знаменательными словами:

— У нас один выход: победа или смерть!

Не пережидая аплодисментов, он быстро сошел с трибуны и сразу окунулся в толпу, будто растворился в ней. Пробираясь к выходу, отвечал на вопросы, дружески беседуя с рабочими. Толпа, двинувшаяся к дверям, вынесла его во двор. Он оказался недалеко от своей машины. Кто-то из рабочих уже открыл перед ним дверцу. Но две женщины продолжали беседу. Жаловались: очень плохо с едой стало. Сами-то ничего, стерпим. А вот детишек кормить нечем. Голодные детишки. А поедешь за хлебом, последние пожитки в обмен на хлеб повезешь, так по дороге свои же и отберут...

Ленин слушал внимательно. Кивал головой. Кругом стояли люди, и шофер, мучаясь нетерпением, ожидал момента, когда кончится этот разговор. Вот наконец Ленин сказал:

— Совершенно верно, есть много неправильных действий заградительных отрядов, но это все, безусловно, устранится.

Простившись с собеседницами, Владимир Ильич сделал шаг к машине, и тут раздался выстрел. Один, другой, потом третий.

Женщина, в ней Степан Гиль узнал незнакомку, которая интересовалась, не привез ли он Ленина, бросив на землю дымящийся револьвер, старалась скрыться в толпе. За ней побежали.

Когда шофер наклонился над упавшим у машины Владимиром Ильичем, тот был в сознании и крикнул:

— Товарищи! Спокойствие. Держитесь организованно...

— Поймали его? Задержали? — спросил он, думая, что в него стрелял мужчина.

Со стороны цеха бежал какой-то человек в матросской бескозырке. Размахивая левой рукой, не вынимая правую из кармана, он бежал прямо на раненого. Шофер закрыл собой Ленина и поднял наган:

— Стой! Стреляю!

Человек в бескозырке круто повернул в сторону и бросился к заводским воротам. Рабочие окружили раненого. Один из них, «не теряя присутсвия духа... перетянул Владимиру Ильичу руку веревкой около плеча, благодаря чему удалось избежать большой потери крови». Он же провожал Ленина до дому. «Этого товарища уже нет в живых, если не ошибаюсь, в 20-м году он умер от сыпного тифа»,— писала позже Мария Ильинична. Фамилию его установить не удалось.

Ленина хотели поднять на руки. Он отказался:

— Ничего, ничего. Я сам.

С помощью дружеских рук Владимир Ильич поднялся на ноги и, сев на заднее сиденье автомобиля, откинулся на спинку, полузакрыв глаза. Двое рабочих сели в машину, и она понеслась по направлению к Кремлю. Мостовые тех дней изобиловали ухабами, машину подбрасывало и мотало. Владимир Ильич все так же полулежал, откинувшись на спинку сиденья, лицо его было бледно, на висках выступали капельки пота, но зубы его были крепко стиснуты, и он не проронил ни звука.

Так доехали они до Кремля. Когда машина остановилась у подъезда, шофер и рабочие хотели поднять Ленина на руки и внести в дом.

— Я пойду сам,— твердо сказал он и попросил: — Товарищ Гиль, возьмите пальто и пиджак, мне так легче будет идти...

Опираясь на провожатых, он, стиснув зубы, двинулся по крутой лестнице на третий этаж. Шел тяжело. Дыхание было прерывистым. Порой пальцы его инстинктивно сжимали руки провожатых, бережно поддерживавших его.

Дома Ленин позволил уложить себя на кровать. Устало прикрыл глаза. Но, чувствуя, как беспокоятся окружающие, видя полные тревоги глаза Марии Ильиничны, попытался улыбнуться и твердо, хотя и слабым голосом, произнес:

— Успокойтесь. Ничего страшного. Кажется, легко ранен в руку...

А когда приехала жена и, встревоженная, вошла в спальню, он, еще не зная точно, как тяжело его ранение, скрывая мучительную боль, тихо сказал:

— Ты приехала, устала. Поди ляг.

Это говорил человек, который чудом спасся от смерти, человек, раненный вовсе не «легко» и не в руку, раненный тяжело и опасно пулями, которые, как потом было установлено, были надрезаны и отравлены...

Владимир Ильич сознавал серьезность своего положения: и самочувствие и назначения врачей — все свидетельствовало о возможности летального исхода. Оставшись наедине с врачом, он попросил предупредить его, если дело обернется плохо:

— Вы понимаете,— сказал он врачу,— мне нужно будет распорядиться...

Врач дал слово и, разумеется, сдержал бы его, солгать Ленину он не мог.

Первая ночь была особенно тяжелой; опасаясь, что прострелен пищевод, ему не разрешали пить, и, кроме болей, его мучила жажда...

Вот как в действительности обстояли дела.

Это выписка из заключения консилиума врачей, обследовавших Ленина, о состоянии его на 23 часа 30 августа. Заключение это было включено в бюллетень № 1, напечатанный 31 августа в «Известиях»:

«Констатировано два слепых огнестрельных поранения; одна пуля, войдя над левой лопаткой, проникла в грудную полость, повредила верхнюю долю легкого, вызвав кровоизлияние в плевру, и застряла в правой стороне шеи, выше правой ключицы, другая пуля проникла в левое плечо, раздробила кость и застряла под кожей левой плечевой области, имеются налицо явления внутреннего

кровотечения. Пульс 104. Больной в полном сознании. К лечению привлечены лучшие специалисты-хирурги».

Таково медицинское заключение. Врачи и близкие люди, знавшие или догадывавшиеся, какую мучительную боль вызывают подобные ранения, вспоминая потом об этих страшных часах, дивились самообладанию и выдержке Владимира Ильича, его воле. Когда ему становилось невтерпеж, он, по словам близких, «стонал очень тихо, сдержанно, точно бы боясь кого-то побеспокоить».

Как только, после 5 сентября, в состоянии Владимира Ильича наступил перелом к лучшему, но ему все еще не разрешали ни сидеть, ни говорить, он потребовал, чтобы ему давали газеты и сообщали важнейшие сведения с Южного фронта и о положении с уборкой урожая в ЦЧО.

А когда его навестил приехавший из Петрограда А. М. Горький, он беседовал с ним о привлечении к работе творческой интеллигенции.

На возмущение Горького по поводу покушения он сказал неохотно, как говорят о том, что надоело:

— Драка. Что делать? Каждый действует как умеет.

Оправившись после тяжелого ранения, Владимир Ильич продолжал выступать на митингах. 6 или 7 ноября он снова поехал к рабочим бывшего завода Михельсона. Они встретили его особенно тепло. Добираясь до трибуны, он слышал со всех сторон:

— Как вы себя чувствуете, Владимир Ильич?

И отвечал, как обычно, просто:

— Хорошо. Спасибо. Очень хорошо.

О шестнадцати днях своей болезни Владимир Ильич вспоминал как об отдыхе. Мария Ильинична писала в статье «Ранение»:

«В марте 1923 года за несколько часов до потери Ильичем речи мы сидели у его постели и перебирали минувшее: «В 1917 году,— говорит Ильич,— я отдохнул в шалаше у Сестрорецка благодаря белогвардейским прапорщикам; в 1918 г.— по милости выстрела Каплан. А вот потом — случая такого не было...»

В ПРИЕМНОЙ. КРЕСТЬЯНСКИЙ «БАРОМЕТР»

Через ленинскую приемную постоянно двигался поток посетителей: рабочих — делегатов завкомов и фабкомов, крестьян — ходоков из дальних волостей и глухих уездов,

интеллигентов, приезжавших со всех концов России со своими просьбами, недоуменными вопросами, предложениями. Владимир Ильич находил время их принять, выслушать, побеседовать с ними.

Товарищи, работавшие в те дни с Лениным, вспоминают, что простому, непосредственному общению с людьми он придавал особое, можно сказать, принципиальное значение. Всегда внимательно выслушивал он рабочего, крестьянина, рядового члена партии, вникал в дело и тут же это дело решал или давал ему направление.

Но главное заключалось даже не в конкретных решениях.

После каждого приемного дня в разные ведомства летели ленинские записки с требованиями и просьбами сделать то-то и то-то.

Секретариат получал указание взять под контроль осуществление многих практических дел. Наркомов Ленин просил, иногда срочно, представить свои соображения по вопросам, выдвинутым посетителями.

Не в пример многим Ленин помнил свои просьбы и предписания и через некоторое время проверял, как выполняется его поручение, родившееся из простой беседы на приеме. Если оно терялось или блуждало в канцелярских дебрях, виновным крепко доставалось, вплоть до того, что с них спрашивали отчет на заседании Совета Народных Комиссаров или ЦК РКП(б).

В ленинских документах за 1921 год хранится свидетельство того, как, прочтя докладную записку начальника строительства первой радиотелефонной станции в Москве П. А. Острякова, в которой упоминалось имя радиоинженера-изобретателя М. А. Бонч-Бруевича, Владимир Ильич на самой докладной записке писал управляющему делами Совнаркома:

«т. Горбунов! Этот Бонч-Бруевич (не родня, а только однофамилец Вл. Дм. Бонч-Бруевича), по всем отзывам, *крупнейший* изобретатель. Дело *гигантски важное* (газета без бумаги и без проволоки, ибо при рупоре и при приемнике, усовершенствованном Б.-Бруевичем так, что приемников легко получим *сотни*, вся Россия будет слышать газету, читаемую в Москве).

Очень прошу Вас:

1) следить специально за этим делом, *вызывая Острякова* и *говоря по телефону с Нижним*;

2) провести прилагаемый проект декрета *ускоренно* через Малый Совет. Если не будет быстро единогласия, обязательно приготовить в Большой СНК ко вторнику;

3) сообщать мне два раза в месяц о *ходе* работ.

26/I. *Ленин*

Записка Ленина ускорила рождение грандиозного дела радиовещания, которому впоследствии предстояло так широко развиться. Характерно, что на следующий день, 27 января, Совнарком принял декрет об организации развернутого радиотелефонного строительства и поручил Наркомпочтелю оборудовать в Москве и наиболее важных пунктах Республики радиоустановки для взаимной телефонной связи.

* * *

Широко известен и такой пример. Сибирский крестьянин О. И. Чернов в 1921 году два месяца добирался по разбитым и расхлябанным дорогам тех времен до Москвы, чтобы попасть к Ленину. Он вез большую крестьянскую заботу. Попав в столицу, он написал Ленину письмо, изложив вкратце мотивы приезда, и 9 февраля был приглашен в Кремль.

Усталый от продолжительного приема, Владимир Ильич поначалу, как показалось Чернову, слушал его рассеянно. Но вот загорелись ленинские глаза. Он сел поудобнее, потом, слушая, стал задумчиво покачивать головой. Суть предложения Чернова сводилась к замене в Сибири продразверстки продналогом. Чернову стало ясно, что для Ленина этот вопрос не нов, что он уже думал над этим. Теперь Ленин услышал, как думают об этом крестьяне Сибири. Особенно заинтересовала Ленина предложенная ходоком система прогрессивного обложения. Расспросив Чернова, Владимир Ильич усадил его за стол в приемной, дал карандаш, бумагу и попросил поподробнее написать, как сибирские крестьяне представляют себе прогрессивное обложение.

Предложения сибиряков с добавлениями, сделанными О. И. Черновым уже после беседы, как статья, по указанию Ленина, были напечатаны в «Правде».

Вспоминая об этой знаменательной встрече, О. И. Чернов писал: «Он не меня, конечно, слушал... а *через меня*

он слушал все крестьянство, и через меня он учел всю сложность обстановки на низах».

Так в беседе с крестьянином Ленин проверил свои мысли о переходе к новой экономической политике. Предложения О. И. Чернова совпали с «Предварительным, черновым наброском тезисов насчет крестьян», переданным В. И. Лениным 8 февраля (то есть накануне приема О. И. Чернова) Политбюро ЦК РКП как директива комиссии, разрабатывавшей декрет о замене продразверстки натуральным налогом.

У Владимира Ильича было замечательное уменье слушать собеседника, проникаться его заботой, располагать его к себе. Когда в кабинет входил рабочий, крестьянин или красноармеец, Владимир Ильич обычно выходил из-за стола к нему навстречу, быстрым своим говорком, чуть картавя, говорил ему:

— Присаживайтесь, товарищ!

Сам садился не за стол, а в кресло напротив, так близко от посетителя, что колени их почти соприкасались.

Если беседа заинтересовывала Ленина, он наклонялся вперед как бы для того, чтобы лучше слышать, задавал вопросы, выспрашивал, выпытывал, давал советы. Посетителю, который мгновение назад робел, ожидая своей очереди в приемной главы правительства, вдруг начинало казаться, что он давным-давно знает этого невысокого, плотного и простого на первый взгляд человека. Он раскрывался и говорил Ленину самое сокровенное, о чем порой поостерегся бы сказать и близкому. Люди чувствовали, что Ленину не чужды их заботы, что он если и не разделяет, то понимает и их точку зрения. Выслушав, Владимир Ильич умел двумя-тремя простыми, житейскими, понятными любому словами разъяснить суть дела, политику партии, а иногда в нескольких фразах нарисовать целую программу действия.

Все, кто хоть раз беседовал с Лениным, рассказывали о его редком обаянии, о непобедимости его логики, об его умении всегда коротко, всегда с покоряющей простотой убедить собеседника, кем бы он ни был. На прием приходили разные люди, и Владимир Ильич умел потолковать с ними на понятном, близком им языке. Он был очень немногословен, не допускал директивного тона, всегда готов был не только терпеливо выслушать возражения, но и прислушаться к ним, спокойно обсудить их.

Он никогда не подделывался под собеседника, «под рабочего» или «под мужика». Всегда оставаясь самим собою, он умел быть понятным любому, умел, не навязывая своих взглядов, а беседуя, споря, как равный с равным, доказать правильность своих мыслей и политики советской власти.

* * *

Постоянное и широкое общение с массой тружеников было не только принципом всей государственной деятельности Ленина, но и действенным способом чувствовать биение пульса жизни новой России. По сведениям, почерпнутым непосредственно из искренних бесед, он безошибочно улавливал и определял тончайшее изменение классовых сил в стране, узнавал подлинные мнения и мечты простых людей, их суждения о декретах советской власти. Мозг впитывал коллективную мысль и опыт масс и претворял их в лозунги партии, которые освещали путь революции.

Знать мнение, настроение рядового рабочего, рядового крестьянина, рядового интеллигента для него — главы Советского правительства — было не менее важно, чем знать суждение народных комиссаров, членов руководящих советских и партийных органов. Эти мнения он предпочитал получать при непосредственном общении с людьми, а не в процеженном через канцелярии виде.

До последних своих дней Владимир Ильич жадно следил за жизнью страны.

Утром он быстро, но очень внимательно просматривал газеты и в них с особым интересом читал письма трудящихся. Эти письма он очень ценил.

— Ведь это же подлинные человеческие документы! Ведь этого я не услышу ни в одном докладе! — говорил он редактору газеты «Беднота» Вячеславу Алексеевичу Карпинскому.

Он требовал, чтобы редакция «Бедноты» регулярно давала ему сводки крестьянских писем по различным вопросам, просил подчеркивать для него в этих сводках настроения, важнейшие злобы дня и внимательно читал их.

Близкие видели, как потом мысли, почерпнутые из писем простых крестьян, находят отражение, поясняются, развиваются в его выступлениях и статьях.

Газету «Беднота», получавшую множество таких писем, Владимир Ильич называл «крестьянский барометр».

— Ну, что показывает наш «крестьянский барометр»? — спрашивал он редактора «Бедноты».

Иногда, оторвавшись от газеты, он просил своих сотрудников связаться с автором какой-нибудь особенно заинтересовавшей его статьи или письма. И те догадывались, что среди неиссякаемых родников народной инициативы Ленин отыскал новый источник и ему не терпится поскорее узнать возможности этой находки.

ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ

В том же 1921 году, 28 февраля Ленин принимал двух ходоков из Владимирской губернии: И. А. Чекунова и Н. А. Ганявина. Крестьянин-опытник И. А. Чекунов бывал у Ленина и раньше. Они привезли протоколы общего собрания своего села с изложением планов подъема сельского хозяйства. Владимир Ильич с интересом беседовал с ними о положении деревни и расспрашивал о мерах, которые предлагали сами крестьяне.

Но от внимания его не ускользнуло, что И. А. Чекунов то поправит рукой очки, то снимет их и с сожалением посматривает на сломанную дужку.

Прощаясь, Ленин вручил Чекунову записочку к наркому здравоохранения Николаю Александровичу Семашко, мимоходом написанную во время беседы:

«У меня сидит тов. Иван Афанасьевич *Чекунов*, очень интересный трудовой крестьянин, по-своему пропагандирующий основы коммунизма.

Он потерял очки, заплатил за *дрянь* 15 000 р.! Нельзя ли помочь ему достать хорошие очки?

Очень прошу помочь и попросить секретаря Вашего сообщить мне, *удалось ли»*.

В этой записке все ленинское: и внимание к человеку, и тщательно выписанное имя и отчество, и стиль обращения — «...попросить секретаря Вашего», и строгая проверка исполнения — *«...удалось ли»*.

На полях регистрационной книги посетителей против фамилии Чекунова Ленин написал: «Старик со светлой головой, не в партии из-за религиозных убеждений». А 1 марта он написал в Наркомзем Н. Осинскому о при-

влечении к работе Наркомзема крестьян, имеющих практический опыт; в частности, рекомендовал И. А. Чекунова.

* * *

С особым вниманием и заботой относился Владимир Ильич к соратникам по петербургскому подполью 90-х годов. Когда он узнал, что участник его марксистского кружка рабочий Б. С. Жуков болен, он заехал к нему на Воздвиженку в 4-й дом Советов, на месте увидел, в чем больной нуждается, побеседовал, подбодрил и дал указание направить больного в санаторий.

Непримиримый к врагам рабочего класса, Ленин был на редкость чутким товарищем. Он постоянно заботился об окружающих, об их здоровье, об условиях работы, об их семьях.

В эмиграции Ленин, живший всегда очень скудно, а порой и просто испытывавший, как он говорил, «сугубое безденежье», делился последним с товарищами, попадавшими в беду. Став во главе Советского государства, до предела загруженный всяческими заботами, нетребовательный во всем, что касается лично его, он внимательно следил за условиями работы окружающих.

Воспоминания о Ленине изобилуют рассказами о том, как он помог тому или другому в трудный момент жизни.

— ...Что-то плоховато стал товарищ такой-то выглядеть,— говорил Ленин, обращаясь к кому-нибудь из ближайших сотрудников.— Вот что, возьмите-ка мою машину и съездите к нему, узнайте, как он живет...

Не раз сотрудникам его доводилось слышать, как он строго обращался к кому-нибудь из окружающих:

— Вот что, вас надо привлечь к ответственности за небрежное отношение к государственному добру — к себе. Да, да, именно к ответственности... Наши люди — ценнейшее государственное достояние.

Вот серия записок Александру Дмитриевичу Цюрупе, наркому продовольствия, с которым Владимир Ильич был связан с 1900 года. Когда в 1918 году А. Д. Цюрупа доработался до обмороков, Ленин буквально взял под свой контроль его пошатнувшееся здоровье.

Летом 1918 года он пишет две записки: одну секретарю Совнаркома Л. А. Фотиевой, другую А. Д. Цюрупе:

Лидия Александровна!

Прилагаю письмо Цюрупе.

Его необходимо перевести на отдых в деревню. Устройте (через Свердлова и брата Цюрупы) поездку Цюрупы сюда (в «Урочище Мальцебродово», где бывал Владимир Ильич с семьей.— *Б. П.*): здесь есть 1 большая чудесная комната, отопление; когда мы уедем, надо найти Цюрупе кухарку и здесь можно устроить санаторий для наркомов. Обязательно сделайте это.

Привет! *Ленин*

Дорогой А‹лександр› Д‹митриевич›! Вы становитесь совершенно невозможны в обращении с казенным имуществом.

Предписание: три недели лечиться! И слушаться Лидию Александровну, которая Вас направит в санаторий.

Ей-ей, непростительно зря швыряться слабым здоровьем. Надо выправиться!

Привет! Ваш *Ленин*

Предписание

13.VII.1918 г.

Наркому тов. Цюрупе предписывается выехать для отдыха и лечения в Кунцево в санаторию.

Предс. СНК *В. Ульянов (Ленин)*

Предписание

[24 августа 1918 г.]

За неосторожное отношение к казенному имуществу (2 припадка) объявляется А. Д. Цюрупе

1-ое *предостережение* и *предписывается немедленно ехать домой...*

Вот еще одна собственноручная ленинская записка, направленная им 4 октября 1922 года наркому внешней торговли Л. Б. Красину:

т. Красин! У Вас работает *Ермаков* (зав. транспортно-материальным отделом?) на правах члена коллегии. Я его видал 2—3 раза в годы гражданской войны исполнителем самых трудных, ответственых и опасных поручений. Это человек недюжинный. Оказалось, что он болен *серьезнейшим* образом (кровь горлом идет). Пробовал лечиться, но *никогда* не выдерживал курса, ибо

всегда местные «ребята» отвлекали его на местную работу. Семья большая; жалованье 200 млн.— гроши.

Так нельзя. Таких людей мы обязаны лечить и долечить. Его надо отправить на несколько месяцев в Германию, а семье помочь. (Черкните мне секретно 2 слова).

Ваш *Ленин*

В результате этой ленинской заботы В. С. Ермаков вскоре был послан на лечение в Италию.

И, пожалуй, один из самых своеобразных случаев заботы о товарищах по работе сохранен в воспоминаниях Н. А. Семашко. В одну из встреч Ленин остановил его.

— Жалуются, что Чичерин устраивает заседания после двенадцати часов ночи и продолжает их до четырех-пяти часов,— озабоченно сказал он.— Поговорите с ним, зачем он калечит себя и других.

Миссия наркома здравоохранения успеха не имела. Чичерин, бывший тогда наркомом иностранных дел, обиделся и стал доказывать, что именно ночью, когда никто не мешает, лучше думается, а выспаться можно и днем. Как всегда, Ленин не забыл своего поручения и при встрече спросил Семашко, что сделано для того, чтобы прекратить ночные бдения в Наркомате иностранных дел. Семашко только развел руками.

Через несколько дней Чичерин получил решение ЦК партии, запрещавшее проводить ночные заседания. Копия решения была направлена Семашко.

Этот факт служит не только примером ленинской чуткости, ленинской заботы о людях, но и показателем ленинского стиля работы.

* * *

Никогда и никто не слышал от Ленина слов о любви к народу, но все знали, что его сердце бьется в такт с сердцами миллионов. Прежде всего это чувствовали рабочие, крестьяне, красноармейцы. И они отвечали ему такой же горячей любовью, заботой о нем, о его здоровье, о его самочувствии.

Ленин запрещал делать ему подарки, сердился, когда их ему приносили. Но такие дары чистого сердца, свидетельства искренней народной любви, все-таки шли и шли в Кремль со всех концов страны. Их, по указанию адресата, пересылали в детские дома, в госпитали,

в больницы. Ленин вместе с народом переносил все тяготы тех дней.

Рабочие фабрики «Петротекстиля» прислали Владимиру Ильичу в подарок изготовленный ими плед. Они писали:

«...чтобы Вы, наш дорогой, ощутили от нашего скромного подарка вместе с физическим теплом и то рабочее сердечное тепло, которым Вас хочется окутать, а также и обратили внимание на то, что в условиях крайней изношенности, разрухи, недохваток и кризисов мы работаем нисколько не хуже довоенного, а следовательно, можем достигать, чего хотим.

Носи, наш дорогой, на доброе здоровье».

Ленин ответил им дружеской короткой запиской:

3.XI.1922.

Дорогие товарищи! Сердечно благодарю за присланный плед, нахожу его превосходным...

Лучшие приветы!

Ваш *В. Ульянов (Ленин)*

Но после получения ткани на костюм от рабочих Стодольской фабрики в Клинцах, носящей его имя, Ленин ответил письмецом, которое должно было предотвратить дальнейший поток подарков:

8.XI.1922 г.

Дорогие товарищи!

Сердечно благодарю вас за приветствие и подарок. По секрету скажу, что подарков посылать мне не следует. Прошу очень об этой секретной просьбе пошире рассказать всем рабочим.

Самые лучшие благодарности и приветы и пожелания.

Ваш *В. Ульянов (Ленин)*

Были, конечно, и исключения — подарки, которым Ленин отводил место в скромном своем кабинете. Например, скульптура из чугуна, изображающая кузнеца перед наковальней. В могучем взмахе застыл молот. На наковальне стальная полоса. Это лезвие меча, которое кузнец перековывает в лемех для плуга. Работа называется: «Перекуем мечи на орала». На постаменте надпись: «Подарок от рабочих Кусинского завода».

В скульптуре этой тогда, в конце гражданской войны, в дни, когда страна лежала в развалинах, рабочие воплотили самую заветную свою мечту — мечту о мире. И это вызвало горячий отклик в сердце Ленина.

В конце декабря 1918 или начале 1919 года у Ленина побывал Ягодинский волостной военный комиссар, крестьянин И. У. Иванов из Судогодского уезда Владимирской губернии. В кабинете у Ленина было холодно. Мороз затянул окна узором. Кончился задушевный разговор, ходок и спрашивает:

— Что же у тебя, Владимир Ильич, так холодно?

Ленин улыбнулся одними глазами.

— Да дров,— говорит,— нет, надо экономить.

А через некоторое время по адресу: Москва, Кремль, Ленину — прибывает из Владимирской губернии вагон дров.

Узнав, что Ленин живет в плохо отапливаемой квартире, Волисполком постановил: «Послать т. Ленину вагон дров на средства исполкома, а в случае надобности, поставить железную печь руками своего кузнеца».

Был даже такой случай. Пришел в Кремль красноармеец-бедняк, добрался до секретаря Ленина, отдал ему половину каравая хлеба.

— Передайте Ильичу, пусть поест на здоровье, время теперь голодное.

Он не записывался на прием и лишь попросил, чтобы ему показали Ленина, когда тот будет проходить мимо.

Шофер С. К. Гиль, несколько лет возивший Владимира Ильича, в простых и очень дорогих именно этой своей простотой воспоминаниях приводит такой случай.

В 1920 году Владимир Ильич выступил на собрании рабочих и крестьян Кунцевской волости с речью о международном и внутреннем положении страны.

Кончилось собрание, и к нему подошли несколько крестьянок. Они попросили разрешения прислать в Кремль немного продуктов.

— Москва-то, чай, голодает,— пояснила пожилая женщина, та, что была побойчее.— Слышали мы, что и вы, товарищ Ленин, недоедаете. Правда ли это? И куда это годится?.. Позвольте уж нам вот прислать вам коечего из харчей, просить вас принять, если вы не обидетесь...

Владимир Ильич был растроган, но твердо сказал:

— Спасибо, спасибо, но, извините, должен отказаться. В Москве действительно не густо с продуктами, как и во всей стране. Но что поделаешь! Ну, а если вы располагаете излишками, то лучше уж угостите детвору, пошлите в детские дома, в ясли. Вот за это скажу вам спасибо. А сам я обойдусь...

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ. ПУНКТУАЛЬНОСТЬ. ТРУДОЛЮБИЕ

Человек кипучей энергии, жизнерадостный, стремительный, Ленин с молодых лет был примером организованности, пунктуальности. Принявшись за дело, он умел отключиться от всего остального, забыть окружающую обстановку и весь сосредоточивался на работе.

Эта черта, обозначившаяся у него уже в детстве, нисколько, однако, не подавляла природной живости его характера. Серьезно относясь к школьным занятиям, он умел первым сделать уроки и, придя по этому поводу в отличное настроение, начинал шалить, ходить по комнате колесом, к досаде сестер и младшего брата, все еще сидевших за учебниками.

Из класса в класс Владимир Ульянов переходил с наградами. Но несмотря на то, что учение давалось ему легко, уроки он готовил тщательно.

Сохранилось воспоминание о том, как писал он школьные сочинения. Сперва он составлял краткий план работы, с введением и заключением. Затем брал лист бумаги, складывал его пополам, на левой половине писал черновой набросок, проставляя при этом цифры и буквы плана. Продолжая работать над сочинением в последующие дни, он вносил на правую, оставшуюся чистой сторону листа пояснения, добавления, поправки, а также ссылки на литературные источники. И только тщательно подготовив материал, он приступал к самому сочинению, причем писал сначала начерно, а потом, проверив, внеся поправки, переписывал начисто. И уже тогда, в детстве, окружающих поражало в нем это счастливое сочетание редкой одаренности с трудолюбием.

С годами эти черты, так отчетливо обозначившиеся в детские годы, развивались. Как известно, он был исключен из Казанского университета за участие в революционном движении студентов. Царские власти отказали

ему в визе на выезд за границу, где он мог бы продолжать образование в одном из европейских университетов. Владимир Ульянов жил под негласным надзором полиции, и лишь весной 1890 года ему разрешили сдать экстерном экзамены за курс юридического факультета при одном из университетов.

Два с лишним года было пропущено. И все-таки Владимир Ульянов окончил университет вместе со своими казанскими однокашниками. Для этого ему за полтора года надо было пройти то, что его товарищи проходили за четыре года университетских занятий. Он проявил поистине «ленинское» умение сосредоточиться на решении задачи, которая далеко не каждому юноше на его месте оказалась бы по плечу. Он строго рассчитал время, отведенное на каждую дисциплину, и составил для себя программу подготовки. Взявшись за дело, он поражал близких упорством, усидчивостью, волей.

Летом, когда вся семья переезжала на хутор близ деревни Алакаевки, под Самарой, он в укромном месте глухой аллеи устроил своеобразный, как шутливо говорили семейные, «рабочий кабинет», состоявший из стола и скамьи, окруженных зеленью. После утреннего чая он приходил сюда, сгибаясь под грузом книг, словарей, тетрадей, и весь погружался в них. В эти часы никто и ничто не могло отвлечь его от занятий или хотя бы рассеять его внимание.

Пообедав, он снова возвращался туда, на этот раз с книгой по общественным вопросам, причем и эту книгу он не просто читал, а изучал, делал выписки, заметки, отмечал для себя вопросы, возникшие при чтении.

Вечером, когда вся семья собиралась на крылечке вокруг вынесенной из дома лампы, он тоже пристраивался у стола с книгой в руках.

В результате такого организованного и упорного труда он в назначенный им самим срок, окончив подготовку, отлично сдает экзамены за четыре университетских курса и единственный из всех вместе с ним экзаменовавшихся получает высшие оценки по всем предметам. Ему присуждают диплом первой степени. Таким образом, лишенный возможности регулярно учиться, он отлично окончил университет, не потеряв ни одного года.

Эту организованность Ленин пронес через всю свою жизнь. Точность всегда и во всем: от обязательства в срок вернуть чужую книгу до привычки всегда минута

в минуту открыть заседание. Требовательность к себе и к окружающим, умение не забывать однажды начатого дела, как бы оно ни было мало, тщательная проверка исполнения — все это вместе может быть названо ленинским стилем работы.

На заседания Совнаркома и Совета Труда и Обороны он выходил из маленькой двери своего кабинета в строго назначенный срок и сразу же, без предисловий, без раскачки, открывал заседание. Требовал, чтобы говорили обдуманно, кратко. Краснобаев, пустословов, мастеров прикрывать отсутствие мысли цветистостью фраз не терпел. Многословие, пристрастие к длинным речам считал серьезным недостатком партийного работника.

Ленин ценил и поощрял коллективность. Он предпочитал преодолеть много препятствий, но добиться всестороннего обсуждения вопроса и коллективного его решения. Коллективность считал важнейшим принципом партийного руководства, тем, что обеспечивает партии полный и прочный успех в достижении ее целей. Он так и говорил:

«Надо подчеркнуть с самого начала, чтобы устранить те или иные недоразумения, что только коллегиальные решения ЦК, принятые в Оргбюро или в Политбюро, или пленуме ЦК, исключительно только такие вопросы проводились в жизнь секретарем ЦК партии. Иначе работа ЦК не может идти правильно».

Этому принципу он сам неукоснительно следовал всю жизнь.

Характерным было и само поведение Ленина на заседаниях Совнаркома и Совета Труда и Обороны.

Обладая огромным авторитетом, большой силой влияния, он не желал подавлять инициативу окружающих, стараясь узнать их непредвзятое суждение, и потому не выступал первым. По привычке тихо постукивая о стол карандашом, он внимательно выслушивал все мнения. Иногда в его живых темно-карих глазах загоралась одобряющая улыбка, иногда они иронически щурились, иногда поражали сосредоточенностью. Окружающие все время чувствовали, что он слушает, взвешивает, сопоставляет. Без надобности Владимир Ильич никогда не прерывал оратора, но умел бросить короткую, лаконичную реплику, всегда точно попадавшую в цель.

Память у Ленина была поразительная. Прослушав выступления, он почти без записи, даже без заметок,

подводя итог сказанному, умел по памяти отобрать, выстроить в ряд, привести в логическое соответствие все самое интересное и важное из того, что было услышано, и заключить своим, тоже обдуманным резюме. Все это у него получалось так стройно и логично, что после его обобщений решения принимались или единогласно, или подавляющим большинством голосов, даже если при обсуждении вопроса на заседании происходили горячие споры. Побеждала ленинская логика, ленинские знания, ленинское умение в подтверждение своей мысли привести неотразимые доводы, которые помогали ему убедить инакомыслящих...

Но Ленин умел оставаться и в меньшинстве. Когда А. А. Иоффе написал ему, что лично от Владимира Ильича зависит решение ЦК партии о дальнейшей работе Иоффе, Ленин ответил ему, что писать так «можно только в состоянии большого нервного раздражения», что «По вопросам организационным и персональным несть числа случаям, когда я бывал в меньшинстве».

НА ТРИБУНЕ

Многие из современников, даже противники его, вспоминая Ленина-оратора, говорили о неотразимости ленинской логики, заставлявшей людей даже против своей воли соглашаться с его доказательствами.

Вспоминая речь Ленина на V (Лондонском) съезде РСДРП, где ему приходилось выступать против сильнейших меньшевистских ораторов, участник этого съезда М. Горький писал:

«Но вот поспешно взошел на кафедру Владимир Ильич, картаво произнес «товарищи». Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через минуту я, как и все, был «поглощен» его речью. Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто».

Просто о сложнейших вопросах! Эти слова можно прочесть в воспоминаниях тех, кому довелось видеть Ленина на трибуне, слышать его речь. К этому можно добавить — и кратко, и предельно логично, и всегда обдуманно. Во всем этом — в этой требовательной обдуманности каждого произнесенного слова, в необыкновенной

ясности и простоте речи — стиль Ленина-оратора, Ленина-агитатора, Ленина-полемиста, Ленина-публициста.

Давний соратник Владимира Ильича Елена Дмитриевна Стасова так говорила о Ленине-ораторе:

«Внешне Владимир Ильич говорил очень просто. Он обычно похаживал взад и вперед, иногда закладывал большие пальцы рук за проймы жилета, иногда выбрасывал вперед правую руку с вытянутым указательным пальцем. Слушая впоследствии Плеханова, я невольно сравнивала его с Владимиром Ильичем. Плеханов был блестящим оратором, говорил красиво, с повышением и понижением голоса и многочисленными жестами, как актер, но у него не было ленинской силы логики, силы убеждения».

Первое впечатление всегда самое яркое и самое запоминающееся. В этом отношении являются необыкновенно ценными наблюдения Т. Кривова — рабочего уфимских железнодорожных мастерских, большевика, ставшего впоследствии профессиональным революционером.

Кривов рассказывает о первой встрече с Лениным в русской Тургеневской библиотеке, существовавшей тогда в студенческом Латинском квартале Парижа.

Как и все большевики, Кривов, разумеется, знал Ленина, был знаком и с его работами. Чуваш по национальности, одиннадцатый сын в бедной крестьянской семье, он с детства батрачил летом у сельских богатеев, зимой бегал в одну из нерусских сельских школ, в том краю звавшихся «ульяновскими», так как учреждены они были заботами Ильи Николаевича Ульянова, которого в приволжских селах знали, уважали и почтительно называли «главный учитель». Спустя годы узнал подпасок, что старший сын «главного учителя» был казнен за то, что поднял руку на царя. Очутившись в Уфе, в железнодорожных мастерских, втянувшись в подпольную революционную работу, Кривов узнал о том, что Ленин — второй сын человека, о котором с таким уважением говорили в селах с нерусским населением.

В Париже он знакомится с Лениным, беседует с ним. Ленин жадно хочет знать, что происходит в России. Он обрушивает на Кривова поток вопросов и слушает, не перебивая. Он весь внимание.

«Звонок прерывает нашу беседу,— вспоминает Кривов.— Зал моментально заполняется людьми. Свободных мест нет. Ленин пожимает мою руку и быстро идет на

эстраду. В его манере выступать нет ничего необычного, броского, рассчитанного на чисто внешний эффект. Разве вот только, когда хочет подчеркнуть какую-то мысль, отступает на несколько шагов в глубь сцены и оттуда идет на слушателей, как бы неся на раскрытой ладони вытянутой руки эту важную мысль. И ему отнюдь не все равно, как его слушают. Если в зале или в части зала чуть ослабло внимание, Ленин сразу замечает это. В ход пущена острая реплика, летит меткое словцо — и аудитория снова в руках. Я потом много раз слышал Ильича. И всегда меня покоряла в нем удивительная внутренняя собранность, невольно передававшаяся всем, кто его слушал».

Ленин не терпел словесных красивостей пустых говорунов. Богатая и чистая ленинская мысль в его устах была одинаково доступна и академику, и неграмотному крестьянину, пленяла аудиторию, приковывала ее внимание, заставляла слушателей мысленно сопоставлять сказанное с собственным житейским опытом и подводила их самих к тем выводам, которые делал оратор.

Известный чехословацкий революционер, один из создателей Компартии Чехословакии, Богумир Шмераль, прослушав выступление Владимира Ильича на IX съезде РКП(б), взволнованно записывает в этот день в своем дневнике:

«Чем дальше говорит Ленин, тем напряженнее масса слушателей. Руки поднимаются для рукоплесканий и словно застывают раньше, чем встретятся: напряженность, вызванная новой фразой, не оставляет им времени для того, чтобы сомкнуться. Только с трудом сдерживаемый кашель показывает признаки жизни этого как бы окаменелого напряжения. Так овладевает в совершенстве Ленин не только своими мыслями, но и своим народом. По лицам делегатов видишь: его мысли — их мысли, его жизнь — их жизнь».

Выступая, Ленин не имел перед собой заранее написанного текста. Он произносил свои речи свободно, укладываясь в положенное время. Но любое его выступление было подготовлено, материал тщательно собран и проверен. Работа его шла над мыслью, а не над словами, в которые мысль будет облечена.

А. А. Андреев, много раз слышавший Владимира Ильича, подчеркивает точность ленинских выступлений,

продуманность каждой мысли, умение схватывать живое. В этой точности заключалась их сила.

«...несмотря на краткость и сжатость его выступлений, каждый раз оставалось впечатление, что он сказал все, что нужно; все остальное, чего он касался лишь вскользь или совсем не касался, имело второстепенное значение. Это оттого, что он всегда говорил о главном, выбирал основное звено, на котором и нужно было сосредоточить все внимание. Речь его была цельная, как глыба, как слиток. Он ставил основную задачу, и все другие вопросы, которых он касался, находились в сцеплении, в прямой связи с главной темой выступления, одно положение — в тесной, неразрывной связи с другими».

Так рисует А. А. Андреев Ленина-оратора.

Последовательное, логическое развитие мыслей формулировалось в кратком плане, часто на четвертушке бумаги, которую Ленин, выступая, держал в руке. Это давало ему возможность строить любую, даже посвященную сложнейшим вопросам, речь в виде свободного разговора, смотреть в лица слушателей и, глядя в них, зажигаться самому и неизменно зажигать аудиторию.

Это было характерно не только для программных ленинских выступлений, но и для речей, произнесенных экспромтом на митингах и собраниях, на деловых заседаниях.

ПРОСТОТА

Горький вспоминает: когда сормовского рабочего Дмитрия Павлова, знавшего Владимира Ильича, он спросил, «какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина? — тот ответил:

— Простота. Прост, как правда.

Сказал он это как хорошо продуманное, давно решенное».

Точнее характеристики не представишь. Теперь, когда собраны и опубликованы воспоминания людей, знавших Владимира Ильича в разные периоды его жизни, работавших с ним в первых рабочих марксистских кружках, встречавшихся с ним в подполье, в ссылке, в эмиграции, в грозовые дни Октябрьских боев и потом, когда он стал главой первого в мире государства рабочих и крестьян, многие из них, вспоминая дорогой образ, говорят об этой ленинской простоте.

Но то была особая простота, не имевшая ничего общего ни с простоватостью, ни с демагогической «игрой под простачка». Это была простота гения, которому для того, чтобы завоевать сердца и души, надо только оставаться самим собой.

Да, это была простота правды. В этом и заключалась ее огромная притягательная сила.

Благодаря этой своей простоте Ленин, ненавидевший всякую позу, не любивший приветствий, аплодисментов, здравиц, юбилейных чествований, старавшийся ничем не выделяться среди других,— несмотря на все это,— не сливался ни с какой толпой и неизменно оказывался в центре внимания.

Прекрасно рассказывает об этой покоряющей ленинской простоте американец Альберт Рис Вильямс, ставший вместе со своим другом Джоном Ридом свидетелем решающих битв Октябрьской революции. А.-Р. Вильямс был участником штурма Зимнего дворца, затем — гражданской войны.

Рассказ этот записан с его слов. Впрочем, все это в несколько ином виде есть в его книге «Ленин-человек и его дело», вышедшей в 1919 г. в Нью-Йорке. Книга Вильямса, как и книга Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», вышедшая тогда же, рассказали западному миру о великом вожде Октябрьской революции.

«...По вечерам, когда мы с Ридом, падая от усталости, добирались наконец до своих номеров в отеле, мы обязательно говорили об этом человеке, которого нам еще не удалось повидать.

Старались представить, каков он из себя, в чем сила его обаяния, чем он так неудержимо влечет к себе сердца всех этих голодных рабочих, оборванных солдат, приезжавших с разрушающихся фронтов, военных моряков, представляющих, как многим казалось тогда, самые необузданные силы революционной стихии.

Ленин, таинственный Ленин, которого одни проклинают, а другие превозносят, считают истинным революционным гением, которого яростно травит печать всех других партий, само имя которого вызывает просто скрежет зубовный у офицеров и зажигает восторгом глаза рабочих, солдат, матросов, этот еще не виденный нами Ленин все больше и больше занимал наше воображение...

Мы расспрашивали о нем наших знакомых из револю-

ционных русских эмигрантов, живших у нас в Штатах и теперь репатриировавшихся в Россию. Некоторые из них знали Ленина, другие были только знакомы с его делами. Но все с восторгом говорили о нем. И характерно — никому из них не удавалось нарисовать его портрет. Нам все больше хотелось увидеть этого человека, а он в те дни вынужден был скрываться от ищеек Временного правительства,— волнуясь, рассказывает Вильямс.

— Ну и каково же было ваше впечатление, когда вы впервые увидели Владимира Ильича?

— Хо-хо — впечатление! Вы думаете, так легко рассказать... Я впервые увидел Ленина в огромном зале Смольного, переполненном толпами солдат, рабочих, матросов. Это было в ту ночь, когда загрохотали пушки «Авроры». Зал клокотал, гудел... Но тут председатель произнес: «Слово предоставляется товарищу Ленину...» На мгновение все стихло, а потом разразились такие аплодисменты и приветствия, что, казалось, задрожали сами массивные колонны.

Мы, сидевшие на журналистских местах, замерли и напряглись: вот сейчас появится этот человек, которого мы так жаждали видеть.

Но сначала, как мы ни приподнимались, можно было заметить лишь движение на сцене, где кто-то пробирался к трибуне среди ликующих и аплодирующих людей. Наконец мы увидели Ленина и были поражены.

Мы представляли, что перед нами появится мужчина огромного роста, сама внешность которого сразу же приковывает внимание, а на сцене стоял невысокий, коренастый, лысый человек с рыжеватой бородкой. Зал, казалось, был готов развалиться от грома приветствий, а он стоял, слегка улыбаясь, делал нетерпеливые жесты, показывал на часы,— дескать, время идет, не надо терять его попусту... И когда ему как-то удалось загасить эти овации, он энергичным, я бы сказал — веселым, голосом произнес слова, которые мы, разумеется, тотчас же записали, но которые вот сейчас, столько лет спустя, я легко воспроизвожу по памяти.

«Товарищи! Мы должны сейчас заняться постройкой пролетарского социалистического государства...» — так начал он...

Это мое первое впечатление»,— закончил Вильямс.

Ленин никогда не стремился быть первым, никогда, ни при каких условиях, не подчеркивал своего превосходства, но его ум, его обширные знания, его опыт, его обаяние, вся его прекрасная жизнь большевика, без остатка отданная революции, неизменно выдвигали его вперед, заставляли прислушиваться к каждому его слову. Это его естественное первенство вынуждены были признать и те, кто его не любил, кто с ним боролся. Это был человек-магнит, к которому тянулись человеческие сердца. Это был народный вождь, которого, несмотря на его интеллигентность и всем известную ученость, рабочие и крестьяне признавали своим человеком. Он был единственным, кого рабочие называли между собой не товарищ Ленин и даже не Владимир Ильич, а — Ильич. Так обращались тогда в их среде к самым любимым, самым уважаемым и именно своим людям.

Ленин никогда не боялся соперничества. В течение всей своей деятельности он старался стягивать к себе и сплачивать для совместной работы самых одаренных людей, людей большого таланта, волевой энергии, людей выдающихся. Он готов был «ухаживать» за такими людьми, радовался их успехам, всячески способствовал росту их авторитета, готов был прощать им человеческие слабости, если слабости эти, разумеется, не касались большевистских принципов. И когда кто-нибудь в его присутствии пытался позлословить об «отрицательных качествах» отсутствующего товарища, Ленин резко прерывал говорившего, кем бы он ни был, какой бы он пост ни занимал в партии и государстве, и говорил:

— Вы расскажите лучше, какова линия политического поведения этого товарища.

Политическое поведение! Вот что служило Владимиру Ильичу первой и самой важной характеристикой работника. Тут уж он не мог терпеть расплывчатости, неопределенности.

Когда, рекомендуя кого-нибудь, ему говорили, что такой-то хороший человек, он нетерпеливо издавал свое так часто звучавшее в его беседах «гм-гм» в самой иронической интонации и тут же спрашивал:

— А при чем тут «хороший»? Лучше скажите-ка, как он себя держит в вопросах политических.

В делах принципиальных, когда речь шла о политическом поведении человека, Ленин был тверд, прям, непреклонен. Как бы он лично ни любил человека, какая бы давняя дружба, какие бы воспоминания ни связывали его с ним, он не прощал искривления партийной линии и не успокаивался, пока тот до конца не признавал свои ошибки и не начинал исправлять их. Когда речь шла о принципах, Ленин не останавливался перед тем, чтобы решительно разорвать старую дружбу, разрушить давний авторитет.

Известно, как в молодости он любил Плеханова и до конца жизни с уважением относился к его марксистским трудам. Когда кто-нибудь из знавших Плеханова или побывавших у него приходил к Владимиру Ильичу, он подробнейшим образом расспрашивал о здоровье, о жизни Плеханова. Однако при всем этом уважении Ленин не прощал Плеханову его измены делу рабочего класса, отхода от действенного, боевого марксизма, не уставал разоблачать его ошибки. Но Надежда Константиновна вспоминала и о том, «с какой радостью он (Ленин.— *Б. П.*) повторял слова Плеханова: «Не хочу умереть оппортунистом».

А вот еще более разительный пример этой ленинской принципиальности и непримиримости. По-человечески Ленин в свое время любил и ценил Мартова. Его связывала с ним революционная молодость, совместная деятельность еще со времен «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В то же время не было в партии человека, который бы с такой прямотой и резкостью выступал против меньшевистских взглядов Мартова, кто бы так прямо и беспощадно разоблачал его, как Ленин. Его друг и жена Надежда Константиновна, перед которой душа Владимира Ильича всегда была открытой, вспоминая об этой ленинской черте, говорила потом: «...Смутить Ильича враждебные взгляды и крики даже близких товарищей не могли, но был он живым человеком и тяжело переживал расколы с людьми, с которыми перед тем работал рука об руку, не спал ночь, нервы у него ходили...»

Выступая на III съезде комсомола, Ленин сказал: «Наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата». Это один из его основных заветов молодежи. Сам он всю жизнь был примером та-

кого самоотверженного служения делу рабочего класса, примером умения подчинять себя всего, без остатка, интересам классовой борьбы пролетариата.

Он редко ошибался в людях. После обмена двумя-тремя фразами с человеком, только что вошедшим к нему на прием, он уже представлял себе собеседника и сразу находил в общении с ним верный тон.

Пристально приглядевшись к человеку, он видел его всего — с его достоинствами, недостатками, с его сильными и слабыми сторонами. А разглядев человека, он старался определить его на такое место, где тот имел бы возможность развернуть все лучшее, что в нем есть. Слабые же стороны тех, с кем он работал, он все время держал под своим контролем, старался не давать им развиваться.

Все, кто близко соприкасался с Лениным, поражались этой его дальновидности, проницательности в отношении людей, сотрудничавших с ним. Поразительный образец этой дальновидной проницательности он проявил, продиктовав в 1922 году «Письмо к съезду» и другие письма и статьи.

Владимир Ильич хорошо сознавал опасность своей болезни, допускал, что ряд важнейших статей и писем, которые он диктовал, могут быть последними, и это придавало им характер политического завещания.

Говоря об этой ленинской черте, Горький писал с некоторым даже удивлением:

«Не всегда хотелось верить в его предвидения, и нередко они были обидны, но, к сожалению, не мало людей оправдало его скептические характеристики».

ЧУВСТВО ДОЛГА

Владимир Ильич был человеком долга в самом высоком и чистом смысле этого слова. Чтобы быть точным, надо добавить — революционного долга. Требовательный к людям, он прежде всего был требовательным к себе. Требуя от членов партии неукоснительного выполнения решений ЦК, он прежде всего сам выполнял их. Стоя на страже советского закона, он первым подчинялся этому закону. Так было в большом и в малом. Рассказывая об этом, никак не обойдешь один характерный случай.

В коридоре, что вел в квартиру Владимира Ильича, комендант Кремля установил пост. В день, о котором идет речь, на пост был поставлен молодой курсант школы ВЦИК, не знавший Ленина в лицо. Он заступил Ленину дорогу и строго спросил:

— Пропуск?

— Вот же дверь в мою квартиру,— удивленно сказал Владимир Ильич, показывая рукой.

— Не могу знать,— ответил часовой.— Есть приказ: никого не пускать без пропуска.

Владимир Ильич не споря отправился в комендатуру, взял разовый пропуск и, предъявив его часовому, прошел домой.

Сдав пост, курсант доложил дежурному по комендатуре о человеке, пытавшемся пройти в жилище Ленина без пропуска. Вся комендатура, разумеется, уже знала о происшествии.

— А знаешь, кого ты не пустил? — строго спросил курсанта дежурный.

— Не знаю.

— Председателя Совнаркома Ленина.

Курсант мучительно покраснел. Он тотчас же пошел к Владимиру Ильичу просить прощения. Тот спокойно, серьезно выслушал его, и, может быть, лишь где-то в уголках прищуренных глаз играли веселые огоньки.

— Нет,— сказал Владимир Ильич,— вам извиняться нечего. Распоряжение или приказ коменданта на территории Кремля — это закон. Как же я, председатель Совнаркома, мог этот закон нарушать? Я был виноват, а вы — правы.

Трогательно заботясь об окружающих, Владимир Ильич часто забывал о себе. Он порою зарабатывался до головных болей, до бессонницы. А дела все наплывали, и не было сил оторвать его от них. Не раз, видя его состояние, Надежда Константиновна звонила в Центральный Комитет партии, и ЦК принимал решение: предоставить В. И. Ульянову (Ленину) столько-то дней для обязательного отдыха. Из ЦК ему сообщали по телефону:

— Владимир Ильич, имеется постановление ЦК, чтобы предоставить вам отпуск на столько-то дней.

В ответ слышалось ленинское «гм-гм-гм», на этот раз в самых сердитых интонациях, и вопрос:

— Когда прикажете приступить к отпуску?

К постановлению Центрального Комитета даже по такому сугубо личному поводу Ленин относился со всей серьезностью.

В Полное собрание сочинений В. И. Ленина включен документ, говорящий о строгости, с которой Владимир Ильич относился к любому отступлению от законов, и прежде всего в отношении самого себя.

В связи с обесцениванием денег, в марте 1918 года, Владимиру Ильичу без согласования с ним была увеличена заработная плата. В связи с этим он написал следующую бумагу:

23 мая 1918 г.

Управляющему делами Совета Народных Комиссаров Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу [1].

Ввиду невыполнения Вами настоятельного моего требования указать мне основания для повышения мне жалования с 1 марта 1918 г. с 500 до 800 руб. в месяц и ввиду явной беззаконности этого повышения, произведенного Вами самолично по соглашению с секретарем Совета Николаем Петровичем Горбуновым, в прямое нарушение декрета Совета Народных Комиссаров от 23 ноября 1917 года, объявляю Вам строгий выговор.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Эта бумага написана сухим, подчеркнуто официальным языком. И именно она служит живым штрихом, дополняющим образ Ленина.

ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Ленин, совмещавший в себе величайшего ученого, пламенного революционера, мудрого государственного деятеля, показывал пример точного соблюдения законов социалистического государства. При всем том в личной жизни он не был педантом, оставался человечнейшим из людей, с душой, широко открытой для общения с друзьями, с природой, для наслаждения литературой, музыкой,

---

[1] Аналогичный документ был направлен и Н. П. Горбунову.— *Б. П.*

искусством. Ленин — человек-монолит, в нем все было целостно, гармонически слито и дополняло одно другое. Это был человек, полный энергии и жизни. Он нес на себе и гигантское бремя дел, и свою подлинно всемирную славу.

С самой ранней юности Владимир Ульянов поражал окружающих умением сочетать внимательное изучение школьной программы, неутомимую любознательность, поглощение разнообразной литературы с увлечением детскими играми, с плаванием, гимнастикой, крокетом, с игрой в шахматы. Впоследствии он состязался с лучшими шахматистами Самары. Уже написано о том, с каким невероятным напряжением готовился он к сдаче экзаменов за университетский курс. Но, прочитав и усвоив положенное им себе на день, проверив усвоенное, он с непосредственностью, которая отличала его всегда и во всем, снова становился самым веселым, самым подвижным членом семьи: шутил, заражал всех бодростью, смехом, с шумом бросался в воду с крутого берега во время купанья, с увлечением занимался гимнастикой на турнике, который он сам и соорудил в глубине алакаевского сада. Он охотно пел в хоре и один, под аккомпанемент сестры, предпочитая веселые, бравурные мелодии и песни, в которых звучали отвага, удаль, высокий подъем, призыв.

Чаще других исполнял он дуэтом вместе с любимой сестрой Ольгой известную песню «Пловец», написанную на текст поэта Н. М. Языкова:

...Но туда выносят волны
Только сильного душой!..
Смело, братья, бурей полный,
Прям и крепок парус мой...

Друг Владимира Ильича и Надежды Константиновны — Мария Моисеевна Эссен, вспоминая о временах эмиграции, рассказывала, каким он был среди друзей, в домашней обстановке:

«Я не встречала более жизнерадостных людей, чем Ленин. Его способность смеяться всякой шутке, умение использовать свободный час и находить повод для веселья и радости были неисчерпаемы.

Вспоминаются вечера, которые мы проводили у Ленина. Владимир Ильич обладал довольно приятным, несколько глуховатым голосом и очень любил попеть в хоре

и послушать пение. Репертуар наш был довольно разнообразен. Начинали обычно с революционных песен — «Интернационала», «Марсельезы», «Варшавянки» и других. С большим чувством пели «Замучен тяжелой неволей», «На старом кургане в широкой степи». Нравились Владимиру Ильичу песни Сибири — «Ревела буря», «Славное море, священный Байкал» — и песнь о Степане Разине — «Есть на Волге утес». Особенно отчетливо пелся куплет:

Но зато, если есть на Руси хоть один,
Кто с корыстью житейской не знался,
Кто неправдой не жил, бедняка не давил,
Кто свободу, как мать дорогую, любил
И во имя ее подвизался,
Пусть тот смело идет, на утес тот взойдет
И к нему чутким ухом приляжет:
И утес-великан все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет...

Очень нравился Владимиру Ильичу куплет, дописанный М. С. Ольминским к «Дубинушке»:

Новых песен я жду для родной стороны,
Но без горестных слез, без рыданий,
Чтоб они, пролетарского гнева полны,
Зазвучали призывом к восстанью.

Утомившись и перепев любимые революционные песни, приступали к слушанию сольных номеров. Замечательно пел С. И. Гусев. У него был сочный голос, и пел он, не жалея сил. Ленин слушал с огромным удовольствием и романсы Чайковского «Ночь», «Средь шумного бала», «Мы сидели с тобой у заснувшей реки», и песнь Даргомыжского «Нас венчали не в церкви», и арии тореодора из «Кармен». Каким отдыхом, каким удовольствием для Владимира Ильича были наши песни! Под конец пела я тягучие волжские песни и разные частушки. Иногда и в пляс пускались...»

В последние годы жизни у Ленина не было времени посещать публичные концерты. Когда же удавалось услышать хорошую музыку, он слушал упиваясь. После одного домашнего концерта, в котором И. А. Добровейн исполнял Бетховена, он с волнением говорил:

— Ничего не знаю лучше «Appassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая

музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!

Так сказать мог только человек, не просто любящий музыку, но и умевший весь проникаться ею. Ленин проникался музыкой настолько, что в дни особенно напряженной работы отказывался даже от домашних концертов. Когда один из его друзей из старой большевистской гвардии, видя, как Владимир Ильич устает, спросил его:

— Почему вы не попробуете развлечься хоть немного хорошей музыкой?

Ленин, покачав головой, ответил:

— Нет, нет, не могу, музыка слишком сильно на меня действует...

Где бы ни жил Владимир Ильич, даже оказавшись на далекой чужбине, в эмиграции, он старался проводить свободное время на лоне природы. И будь то берега красавца Енисея, зеленые саянские увалы или влажная, яркая зелень лондонских парков, причесанные горные красоты Швейцарии или суровые отроги польских Карпат, скупая растительность финских перелесков или скромная и всегда милая его сердцу красота лесов Центральной России — природа властно тянула его к себе. Каждый свободный час (а их у него в жизни было мало) он старался провести на воздухе — в лесу, в горах, на реке, на озере.

Ленина легко представить себе в охотничьих сапогах, с ружьем за плечами. Но все-таки он не был охотником в полном смысле этого слова. Ружье было поводом побродить по рощам, посидеть над водной гладью. И тут, на свежем воздухе, его мозг продолжал неутомимо работать. Бродя по лесам и горам, он наедине с природой сосредоточенно обдумывал свои будущие статьи, книги, речи.

«Когда человеку приходится думать о большом каком-нибудь, решающем вопросе, чрезвычайно трудно переключаться двадцать раз на дню на разные мелкие вопросы, это особенно утомляет. Только на прогулках, на охоте Владимир Ильич целиком отдавался думам своим»,— писала Н. К. Крупская.

Характерно, что в своих охотничьих походах Ленин почти никогда не был одинок, всегда стремился использовать их, чтобы потолковать по душам со спутниками, с рыбаками, с егерями, с крестьянами — хозяевами изб,

где останавливался ночевать. Как всегда, он легко сходился с простыми людьми, быстро завоевывал их симпатии, они охотно раскрывались перед ним.

В воспоминаниях Горького сохранен такой трогательный штрих. Дело было в море, у берегов острова Капри. Каприйские рыбаки, сразу принявшие Ленина в свою компанию, учили его ловить рыбу лесой, без удилища, по местному обычаю привязав ее прямо к пальцу.

— Кози, дринь-дринь. Капишь?

Это значило, кажется, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожание лесы. И вот большая рыба клюнула. Ленин удачно подсек ее и, ведя к лодке, с восторгом ребенка и азартом охотника победно кричал:

— Ага! Дринь-дринь!

Рыбаки, успевшие проникнуться симпатией к веселому, сердечному русскому за короткое время, которое он провел с ними, долго не забывали о нем после того, как он уехал, и все спрашивали Горького:

— Как живет синьор Дринь-дринь? Царь не схватил его, нет?

Уже будучи председателем Совета Народных Комиссаров, по горло занятый и устававший за неделю до тяжелых головных болей, Владимир Ильич не упускал случая хоть ненадолго съездить с ружьем в лес.

Охотился он с Н. В. Крыленко, с братом Дмитрием Ильичем, с Я. Э. Рудзутаком. Рудзутак так описывал отъезд на охоту:

«Иногда, в субботу вечером, сговаривались с ним поехать в праздник на охоту. Часа в четыре утра Ильич будил уже по телефону. В валенках, в черной жеребковой куртке, с охотничьим снаряжением, с неизменным свертком с парой бутербродов, жестяной коробочкой с мелко наколотыми кусочками сахару и щепоткой чаю, Ильич всегда поспевал к моему подъезду, пока я вставал».

С юношеских лет знал он повадки зверья и птицы, умел читать на земле след, хорошо ориентироваться в лесу, умел незаметно подобраться к дичи, знал, когда на охоте спустить собаку и в какой момент стрелять.

Но охотничьи трофеи никогда не были для него самоцелью. Однажды, стоя в секрете, он увидел, как совсем рядом из кустов появилась лисица. Он находился с подветренной стороны. Не чуя засады, лисица, медленно,

осторожно ступая по сверкающему насту, шла мимо него. Она, как говорят охотники, сама лезла па мушку. Но он дал ей пройти мимо и скрыться в кустах...

— Какой великолепный зверь! — восхищенно сказал Владимир Ильич своим спутникам в ответ на их недоуменные взгляды.

Этот случай произвел, видимо, очень сильное впечатление на Владимира Ильича. В феврале 1922 года в статье «Заметки публициста», в подглавке «Об охоте на лис», он описал обстановку этой охоты:

«Говорят, самым надежным способом охоты на лис является следующий: прослеженных лис окружают на известном расстоянии веревкой с красными флажками па небольшой высоте от снегу; боясь явно искусственного, «человеческого» сооружения, лиса выходит только тогда и только там, где эта «ограда» из флажков приоткрывается; а там ее и ждет охотник...»

На природе Ленин весь как-то расцветал, шагал по охотничьим тропам легким, спорым шагом, улыбался, смотрел вокруг сияющими глазами.

Впрочем, как и всегда, эти выезды с субботы на воскресенье с ночевкой, и каждый раз почти в новое место, служили не только отдыху. Вспоминая о вечерах, проведенных в крестьянских избах, где приходилось останавливаться на ночлег, Я. Э. Рудзутак писал:

«Привал в крестьянской избе. Ильич упорно отказывается от стакана чаю, пока все присутствующие еще не получили своей порции. Его жестяная коробочка с сахаром переходит из рук в руки. Заботливо осведомляется, не озяб ли кто, не промочил ли ноги. Заведет беседу с хозяином избы об их житье-бытье, чем плохо, чем обижают органы и отдельные агенты власти, что нужно, по мнению крестьян, делать, чтобы устранить недостатки. Он умел не только учить, но и учиться».

А Дмитрий Ильич описывал забавные случаи на охоте, смущение Владимира Ильича, когда случалось ему упустить зверя, дружеские отношения с егерем М. Плешаковым, который всегда «трогательно объяснял ему (Ленину.— *Б. П.*) все касающееся данной охоты» (па тетеревов, дупелей, бекасов и т. д.).

Тяжело больной, лишенный уже возможности охотиться, Ленин, двигаясь в кресле по дорожкам парка в Горках... искал грибы.

Через всю жизнь Ленин пронес и зародившуюся у него еще в юности любовь к художественной литературе. Правда, среди части его знакомых бытовало тогда мнение, будто бы он читает «только серьезные книжки» и за всю жизнь не прикоснулся ни к одному роману. Дошли такие россказни и до Надежды Константиновны Крупской.

«Товарищ, познакомивший меня впервые с Владимиром Ильичем, сказал мне, что Ильич — человек ученый, читает исключительно ученые книжки, не прочитал в жизни ни одного романа, никогда стихов не читал. Подивилась я. Сама я в молодости перечитала всех классиков, знала наизусть чуть ли не всего Лермонтова и т. п.; такие писатели, как Чернышевский, Л. Толстой, Успенский, вошли в мою жизнь как что-то значащее. Чудно мне показалось, что вот человек, которому все это не интересно нисколько.

...Потом уж, в Сибири, узнала я, что Ильич не меньше моего читал классиков, не только читал, но перечитывал не раз Тургенева, например. Я привезла с собою в Сибирь Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Владимир Ильич положил их около своей кровати, рядом с Гегелем, и перечитывал их по вечерам вновь и вновь. Больше всего он любил Пушкина»,— писала она в статье «Что нравилось Ильичу из художественной литературы».

Художественная литература была для Владимира Ильича не только предметом наслаждения, но и одним из действенных средств познания жизни и воздействия на жизнь. В одном из воспоминаний воспроизведена такая сценка.

1904 год. Женева. Маленькое кафе. За столом сидят Ленин, Воровский, Гусев и автор воспоминаний, впоследствии — меньшевик, эмигрант, Н. Валентинов.

Разговор идет о мировой литературе, о судьбе книг, имевших некогда большой и шумный успех, возбуждавших много толков, но быстро «отцветших» и позабытых. Ленин участия в разговоре не принимал и рассеянно смотрел в сторону. Но вот автор воспоминаний причислил к таким «отцветшим» книгам «Что делать?» Н. Г. Чернышевского. Услышав это, Ленин сразу «взметнулся с такой стремительностью, что под ним стул заскрипел...

— Отдаете ли вы себе отчет, что говорите? — бросил он мне.— Как в голову может прийти чудовищная, нелепая мысль называть примитивным, бездарным произведение Чернышевского, самого большого и талантливого представителя социализма до Маркса? Сам Маркс называл его великим русским писателем.

— Он не за «Что делать?» его так называл. Эту вещь Маркс, наверное, не читал,— сказал я.

— Откуда вы знаете, что Маркс ее не читал? Я заявляю: недопустимо называть примитивным и бездарным «Что делать?». Под его влиянием сотни людей делались революционерами... Он, например, увлек моего брата, он увлек и меня. *Он меня всего глубоко перепахал.* Когда вы читали «Что делать?». Его бесполезно читать, если молоко на губах не обсохло... Я сам попробовал его читать, кажется, в четырнадцать лет. Это было никуда не годное, поверхностное чтение. А вот после казни брата, зная, что роман Чернышевского был одним из самых любимых его произведений, я взялся уже за настоящее чтение и просидел над ним не несколько дней, а недель... Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь. Такого влияния бездарные произведения не имеют.

— Значит,— спросил Гусев,— вы не случайно назвали в 1902 году вашу книжку «Что делать?».

— Неужели,— ответил Ленин,— о том нельзя догодаться?..»

Эта сценка показывает, как Ленин читал художественную литературу, как понимал и как высоко ставил ее великую преобразующую, воспитательную силу. Для него самого художественные произведения служили не только источником наслаждения, но и оружием в идеологической борьбе. В своих работах и в особенности в своих докладах и речах он, чтобы сделать мысли доходчивей, часто обращался к литературным образам, по памяти цитировал классиков. Знания в этой области у него были поразительные. Подсчитано, что в своих сочинениях он около тысячи раз использует произведения художественной литературы и критики, цитируя, приводя образные сопоставления из произведений свыше семидесяти писателей.

В особенности часто обращался он к книгам М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. С. Грибоедова, И. А. Крылова, И. С. Тургенева, А. П. Чехова. Ленин ценил сокрушающую силу сатиры,

и потому среди литературных образов, которые встречаются в его речах и статьях, есть и щедринский Иудушка Головлев, и Кит Китыч Островского, и гончаровский Обломов, и чеховские «душечка» и «человек в футляре» и тургеневский «ученый» Ворошилов.

Одним из многих друзей семьи Ленина была немецкая революционерка Клара Цеткин, человек широко образованный, хорошо знавший и прошлое, и современное для тех дней искусство. С ней беседовал Владимир Ильич об искусстве, о его общественной роли, делился мыслями, которые произвели на Цеткин такое впечатление, что в тот же вечер она их записала. Я позволю себе процитировать их по ее воспоминаниям.

«— Пробуждение новых сил, работа их над тем, чтобы создать в Советской России новое искусство и культуру,— говорил он ей,— это — хорошо, очень хорошо. Бурный темп их развития понятен и полезен. Мы должны нагнать то, что было упущено в течение столетий, и мы хотим этого. Хаотическое брожение, лихорадочные искания новых лозунгов, лозунги, провозглашающие сегодня «осанну» по отношению к определенным течениям в искусстве и в области мысли, а завтра кричащие «распни его»,— все это неизбежно.

— Революция развязывает все скованные до того силы и гонит их из глубин на поверхность жизни. Вот вам один пример из многих. Подумайте о том влиянии, которое оказывали на развитие нашей живописи, скульптуры и архитектуры мода и прихоти царского двора, равно как вкус и причуды господ аристократов и буржуазии. В обществе, базирующемся на частной собственности, художник производит товары для рынка, он нуждается в покупателях. Наша революция освободила художников от гнета этих весьма прозаических условий... Каждый художник, всякий, кто себя таковым считает, имеет право творить свободно, согласно своему идеалу, независимо ни от чего...»

Сказав это, он тут же счел долгом заявить, и это заявление было для него принципиальным:

«— Но, понятно, мы — коммунисты. Мы не должны стоять сложа руки и давать хаосу развиваться куда хочешь. Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и формировать его результаты... Красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже если оно «старое». Почему нам нужно

отворачиваться от истинно прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на том основании, что оно «старо»? Почему надо преклоняться перед новым, как перед богом, которому надо покориться только потому, что «это ново»? Бессмыслица, сплошная бессмыслица! Здесь много лицемерия и, конечно, бессознательного почтения к художественной моде, господствующей на Западе...»

И тут им были сказаны слова, которые любой советский художник, любой мастер подлинно социалистической культуры может считать для себя основополагающими:

«— ...важно не наше мнение об искусстве. Важно также не то, что дает искусство нескольким сотням, даже нескольким тысячам общего количества населения, исчисляемого миллионами. Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их. Должны ли мы небольшому меньшинству подносить сладкие, утонченные бисквиты, тогда как рабочие и крестьянские массы нуждаются в черном хлебе? Я понимаю это, само собой разумеется, не только в буквальном смысле слова, но и фигурально: мы должны всегда иметь перед глазами рабочих и крестьян. Ради них мы должны научиться хозяйничать, считать. Это относится также к области искусства и культуры».

Народность и партийность — вот мера, которой Владимир Ильич мерил художественные ценности.

Свою любовь к художественной литературе, свой интерес к искусству Владимир Ильич сохранил до конца жизни. Надежда Константиновна, которая в 1894 году усомнилась в том, что он «не прочитал в жизни ни одного романа», теперь по вечерам читала ему беллетристику. Это были и Пушкин, и Салтыков-Щедрин, и Горький, и Демьян Бедный.

«Читаешь ему, бывало, стихи,— вспоминала Надежда Константиновна,— а он смотрит задумчиво в окно на заходящее солнце. Помню стихи, кончающиеся словами: «Никогда, никогда коммунары не станут рабами». Читаешь, точно клятву Ильичу повторяешь,— никогда, никогда не отдадим ни одного завоевания революции...»

За два дня до смерти Ленина Надежда Константиновна читала ему рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни». Слушал внимательно, весь погруженный в свои мысли. Следил за тем, как в повествовании раненый, выбившийся из сил, умирающий с голоду человек, преследуемый тоже умирающим от голода волком, уже полумертвый, полубезумный, ползет к своей цели, к своему спасению. Ползет и побеждает. «Ильичу рассказ этот понравился чрезвычайно».

Владимир Ильич сам любил жизнь. Он любил в литературе и искусстве все, что вдохновляет, заряжает, что укрепляет веру в человека, в непобедимость человеческой воли, в торжество доброго начала. От лермонтовского «Мцыри», заученного им наизусть в детстве, через «Что делать?» Чернышевского, прочитанного в юности, линия его литературных симпатий привела к этому небольшому рассказу, утверждающему веру в непобедимость человека.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ОПТИМИЗМ

Ленин с детства любил юмор, ценил и понимал шутку. Люди, знавшие его, говорили, что трудно представить себе человека, который умел бы смеяться так весело, как он. А. В. Луначарский, близко знавший Владимира Ильича, с восхищением писал о том, «...как он заразительно, как мило, как по-детски хохочет и как легко рассмешить его, какая наклонность к смеху — этому выражению победы человека над трудностями! В самые страшные минуты, которые нам приходилось переживать, Ленин был неизменно ровен и так же склонен к веселому смеху». Ленин мог смеяться до слез, захлебываясь смехом, заражал им собеседников, и смех этот открывал его отличный характер, крепкое душевное здоровье.

Ленин был оптимист по натуре, но его оптимизм был особый, глубоко революционный, ленинский оптимизм, коренящийся не только и не столько в характере, сколько в непоколебимой вере в победу правого дела, в сознании величия целей своей борьбы, в любви к народу.

Смелый, честный, он всегда предпочитал смотреть правде в глаза. Как бы ни была горька и даже страшна эта правда, он никогда не скрывал ее ни от окружающих, ни от широких масс. При этом он ни на минуту не

колебался в своей вере в несокрушимость и решающее значение революционной энергии миллионов рабочих и крестьян, вдохновленных большевистской партией.

В тяжелые июльские дни 1917 года Г. К. Орджоникидзе приехал к Ленину, скрывавшемуся под видом косаря в шалаше за озером Разлив; Владимир Ильич внимательно выслушал рассказ о том, что происходит в Петрограде. Вести были самые невеселые. Но Ленин не выглядел ни подавленным, ни растерянным, он задавал вопросы, живо интересуясь всем, что происходит в столице. Потом сказал:

— Меньшевистские советы дискредитировали себя; недели две тому назад они могли взять власть без особого труда. Теперь они — не органы власти. Власть у них отнята.— Все больше вдохновляясь, как о чем-то уже решенном и ясном, он сказал: — Власть можно взять теперь только путем вооруженного восстания, оно не заставит ждать себя долго. Восстание будет не позже сентября —октября...

И Орджоникидзе вспоминает:

«Все это я слушал с напряженным вниманием, впечатление было ошеломляющее. Нас только что расколотили, а он предсказывает месяца через два победоносное восстание».

Да, Ленин умел не унывать и в трудные минуты. Наоборот, трудности превращали его в сгусток кипучей энергии. Энергия эта успокаивала тех, кто дрогнул, вдохновляла людей на новые бои. Она была так заразительна, эта ленинская, излучающая оптимизм энергия, что невольно влияла даже на тех, кто был бесконечно далек от большевиков.

В самый разгар разрухи и голода в Советскую Россию приехал знаменитый английский писатель Герберт Уэллс. Ленин встретил его в своем кремлевском кабинете приветливо и открыто. Он усадил гостя в кресло, сам по обыкновению своему сел в кресло напротив, на отличном английском языке спокойно и откровенно ответил на все вопросы Уэллса, а потом, все больше и больше увлекаясь, стал развертывать перед ним план электрификации России.

Писатель, создавший столько фантастических романов, был поражен. Как? Там, за окном кабинета, огромная и, как ему казалось, повергнутая в хаос страна. Там голод, холод, тьма, расстроенные железные дороги, паро-

возы, ржавеющие в тупиках, а вождь русских большевиков толкует об электрификации!

У писателя-фантаста не хватило фантазии, чтобы представить будущее России таким, каким его видел Ленин.

Он так и писал потом в своей книге «Россия во мгле», вспоминая эту беседу, что вообразить электрификацию России, о которой ему говорил Ленин, можно лишь «с помощью сверхфантазии. В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть эту Россию будущего, но невысокий человек в Кремле обладает таким даром». Заявив, что он бессилен был объять разумом, поверить в ленинскую мечту, Уэллс все-таки признается: «Он говорил с таким жаром, что, пока я его слушал, я почти поверил в возможность этого».

Почти поверил! Как же заразителен был революционный оптимизм Ленина, как убедительна была логика его суждений, какой верой в творческие силы своего народа, в торжество политики своей партии он обладал, если сумел заставить подавленного увиденной разрухой писателя «почти поверить» в план ГОЭЛРО!

Не потому ли до конца своего жизненного пути Г. Уэллс оставался другом Советской России, поддерживал ее в годы второй мировой войны, поддерживал и Коммунистическую партию Великобритании?

Уэллс назвал Ленина «кремлевским мечтателем». Да, марксист, материалист до мозга костей, он был мечтателем самого высокого полета, был человеком, гениальная мысль которого, пронзая туман грядущего, видела славное будущее своего народа и всего человечества и освещала путь к этому будущему.

ЖЕНА И ДРУГ

Когда, осмысливая множество воспоминаний, стараешься представить себе портрет живого Ленина, рядом с ним всегда возникает образ его жены, его друга, его товарища — Надежды Константиновны Крупской. Их связывало не только супружество, не только годы совместной, опасной, порой нечеловечески трудной работы, но и нежнейшая дружба и то полное взаимопонимание, какое можно считать величайшим счастьем в семье.

Обычно Надежду Константиновну представляют по портретам последних лет ее жизни с печатью тяжелой болезни на грустном и добром лице. Любительские снимки особенно его искажали. И мало кто из наших современников знает, что в юности и молодости, в первые дни знакомства с Владимиром Ильичем и в первые годы их совместной жизни это была прелестная статная русская девушка с пышной русой косой, с лицом мягкого овала, со свежим и нежным румянцем, с внимательным взглядом серо-голубых глаз. Это была русская женщина нового поколения разночинной интеллигенции, которая целиком отдалась революции по глубокому убеждению и была готова на подвиг во имя ее победы.

Такой встретил ее Владимир Ульянов в Петербурге, когда она была учительницей в школе для рабочих. Такой полюбил он ее однажды и навсегда. Такой оставалась она для него до конца его жизни. Их совместная жизнь навсегда останется образцом счастливого супружества.

Так думали их друзья, наблюдавшие жизнь их обоих, так говорили все их родственники. На это же обращали внимание и все, кто хоть раз побывал в их доме или просто наблюдал их вместе. В их отношениях не было ничего показного. Все было естественно. Все зиждилось на связывавшем их глубоком чувстве, на цельности их натур, на обоюдном душевном здоровье.

Автору этих строк довелось посетить в Париже тихую улицу Мари-Роз, где когда-то на третьем этаже высокого, закопченного, некрасивого доходного дома Владимир Ильич и Надежда Константиновна снимали маленькую квартиру, из тех, какие во Франции называют «студенческими». Две комнатки и кухня-коробочка. Теперь французские коммунисты организовали в ней что-то вроде мемориального музея и постарались воспроизвести скромную обстановку ленинского быта.

С помощью друзей нам посчастливилось найти француза, помнящего Владимира Ильича. Человек этот жил у внука и был так слаб, что почти не поднимался со старого кресла. В годы, когда Ленин жил в этом доме, он, «кузен консьержки», вернувшись из армии, выполнял обязанности дворника. «Супругов русских», снимавших «студенческую» квартирку на третьем этаже, он хорошо помнил. Он живо рассказывал как «русский мосье» всегда приветливо здоровался с ним, спрашивал как дела,

интересовался мнением собеседника по тому или иному поводу, как заразительно смеялся, как радовался, когда к нему приезжал кто-то из соотечественников.

— ...Он так любил этих приезжих! Однажды он поручил мне заложить его старые серебряные часы, чтобы купить несколько бутылок пива для своих русских гостей,— вспоминал старый француз.— А мадам — она была настоящая русская красавица, стройная, статная и всегда такая приветливая, хотя им обоим тогда и нелегко жилось и они не всегда вовремя вносили квартирную плату. Он ходил в публичную библиотеку пешком или ездил на велосипеде: не было денег даже на метро... Но они всегда были так приветливы и так любили друг друга...

Француз вспоминает, как однажды он, убирая утром улицу, нашел в подъезде книгу на незнакомом языке. Он сразу догадался, что потерял ее жилец третьего этажа, который часто возвращался из библиотеки нагруженный книгами. И он постучался к ним в дверь. Русский очень обрадовался, что книга нашлась. Он и его жена, «у которой были такие пышные русые волосы и такие большие ясные глаза», усадили его, дворника, за стол, на котором стоял небольшой русский, как выразился рассказчик, «кипятильник». Они оба заботливо спрашивали его, сколько кусков сахара класть ему в стакан, а потом оба учтиво проводили до лестничной клетки, «будто я был не дворник, а бог весть какая великая персона...».

Эти простодушные воспоминания старого француза позволяют заглянуть глазами простого человека в семью Ленина в годы, когда он и Крупская были молоды и жили в эмиграции. И невольно задумаешься над тем, какое же эта семья излучала обаяние, если навек вошла в память «кузена консьержки», на глазах которого въезжало в дом на улице Мари-Роз и выезжало из него множество людей!

Трудно даже представить себе более гармонические отношения между супругами. Это неугасимый интерес друг к другу, это стремление воспользоваться каждой свободной минутой, чтобы побыть вместе, обменяться новостями, одинаково интересными для обоих, проверить в доверительной беседе новые мысли, в самый момент их зарождения,— все это началось в те дни, когда они оба были увлечены работой в петербургском подполье.

За этим последовало тюремное заключение Владимира Ильича, ссылка его в Сибирь. Надежда Константиновна писала потом: «Мне дали три года Уфимской губернии, я перепросилась в село Шушенское Минусинского уезда, где жил Владимир Ильич, для чего объявилась его «невестой».

Светлой полосой был этот первый, шушенский, период их совместной жизни.

Общение с нетронутой человеком природой, встречи с друзьями, отбывавшими ссылку в минусинских селах, творческая литературная работа, мечты о будущем — все это в воспоминаниях Надежды Константиновны и письмах их к родным пронизано светом молодости, глубокого взаимного чувства, полнотой и красотой духовной жизни.

Главным в их отношениях были правдивость, честность, простота. Жили они всегда, как это подтверждает и свидетельство француза, более чем скромно. В эмиграции частенько наступало, как говорил Ленин, «сугубое безденежье», когда прекращался приток скромных гонораров за легальные издания его произведений. Тогда Владимир Ильич зарабатывал на жизнь, читая публичные лекции, а Надежда Константиновна давала уроки или брала на дом изнурительную работу по надписыванию адресов на рекламных пакетах иностранных фирм, направляемых в Россию.

Они не держали постоянной прислуги. Надежда Константиновна и ее мать, как правило, справлялись с хозяйством сами.

ЕГО КВАРТИРА

Скромность в быту Ленин сохранил, став главой Советского государства.

Семья Ленина жила в Кремле в четырех комнатах. Одну из них занимал Владимир Ильич, другую — Надежда Константиновна, третью — Мария Ильинична, жившая с семьей брата, а четвертая, проходная, была столовой и гостиной. Здесь они сходились по вечерам у самовара. Здесь принимали друзей, которых у них было немало... Эти комнаты обставлены лишь тем, что было необходимо для жизни и работы. Ничего лишнего и никакого мещанского украшательства.

Ленин получал тот же паек, что и другие сотрудники Совнаркома, и пресекал всяческие попытки друзей как-то увеличить этот паек и хоть чем-нибудь улучшить его стол. Эта его щепетильность, несомненно, была для него органичной: в ней он был воспитан и не изменял ей никогда.

О том, как тщательно Ленин устранял из своей жизни все, что хотя бы отдаленно напоминало комфорт, говорит такой случай. Топили тогда в Кремле, как уже было сказано, скупо. В кабинете Владимира Ильича частенько было холодновато, и, чтобы не мерзли ноги, под стол был положен войлок. Кто-то из Управления делами Совнаркома разжился медвежьей шкурой. Однажды, придя к себе в кабинет, Ленин увидел ее под столом и вскипел: кто разрешил, зачем это сделали? Семьи рабочих мерзнут в нетопленных квартирах, а председатель Совнаркома будет греть ноги в медвежьей полости? К чему эта роскошь?

И снова под стол был постелен войлок.

Что это? Может быть, мелочность, педантизм? Нет, это глубокое сознание того, что руководитель нового общества должен делить с народом и радость и горе, торжество и печаль, делить лишения и тяготы жизни. Эта же поражавшая всех окружающих нетребовательность ко всему, что касалось материальных нужд, была чертой Надежды Константиновны.

СРЕДИ ДЕТЕЙ

У Ленина не было детей. Может быть, это было даже трагедией его жизни, детей он любил, как редко любят их занятые, всегда погруженные в дела, в раздумье люди. Он относился к детям с нежностью, сразу находил с ними общий язык, легко овладевал их сердцами. Он охотно, с непосредственным интересом участвовал в детских играх.

Один из близких к нему людей, Н. А. Семашко, впоследствии народный комиссар здравоохранения, вспоминал, как в годы эмиграции в Париже Владимир Ильич заезжал к нему на велосипеде по воскресеньям.

«У меня тогда было двое малышей: мальчик лет 10 и девочка лет 13,— вспоминает Семашко.— Владимир Ильич, заезжая ко мне, иногда не заставал меня дома и оставался ожидать. И вот, возвращаясь домой, я заставал

картину: мальчишка сидит у него на одном колене, девочка — на другом, и, обнявши Владимира Ильича, они с разгоревшимися глазами слушают его рассказ, и я поражался, как умел Владимир Ильич говорить с детьми — просто и ясно, как друг и учитель. А после серьезных разговоров Владимир Ильич иногда говорил моему сыну:

— Ну, Сергей, засучивай рукава, давай драться!

И мой флегматик-малыш деловито засучивал рукава, серьезно становился в позу против Владимира Ильича, и они начинали боксировать».

Общеизвестно, как широко отражена ленинская забота о детях, юношестве, о будущих гражданах социалистического государства в советском законодательстве. Ясли, детские сады, школы, комиссии по борьбе с беспризорностью — страшным порождением двух войн и разрухи,— всеобщее народное образование и коммунистическое воспитание — все это находилось под неослабным наблюдением Ленина. Обо всем этом он заботился даже в дни, когда белые орды подходили к Москве, когда огромная страна цепенела от холода, голода и сыпного тифа.

Это была забота мудрого главы государства, вождя трудящихся о здоровой смене ветеранам революции, о будущем страны социализма.

Но кроме этого государственного отношения у Ленина до конца дней оставалось к детям еще и задушевное, так сказать, личное отношение. Человек, занятый больше, чем любой из его современников, он в свободные минуты охотно общался с детьми и, совершенно очевидно, от этого общения получал удовольствие не меньше, чем его маленькие друзья. Это было лишь одним из проявлений богатства его натуры.

Выбрать в магазине игрушек для двухлетней дочери Харитоновых забавную собачку с красным бантом за ее «архи-р-р-р-революционный вид», возиться с Людочкой Шкловской, посылать ей «особые» поклоны, гоняться за воспитанником Анны Ильиничны Горой и в азарте опрокинуть обеденный стол, попросить у подростков в Кремле велосипед, чтобы, тряхнув стариной, сделать хоть один круг в свое удовольствие, захватить на закладку памятника Карлу Марксу оказавшегося поблизости Володю Стеклова, среди политических записей на конгрессе Коминтерна сделать пометку: «Игрушек для Ровио

(7 лет)» — вот свидетельства того, как велика была неутоленная потребность Владимира Ильича в общении с детьми, как много тепла берег он для них в своем сердце!

Незадолго до смерти, пораженный беспощадной болезнью, явившейся следствием постоянного нечеловеческого умственного напряжения, он, мало двигавшийся, в разгар зимы почувствовал себя несколько лучше. Организм угасал, но мощный мозг сопротивлялся сковывавшему его склерозу, сохранял память, ясность мышления.

Была пора елок. В Горках, где теперь жил оторванный болезнью от дел Ленин, Мария Ильинична решила устроить елку для детей сотрудников.

Свежая, с мороза, с живыми блестками растаявшего снега, елка появилась в доме, наполнив его своим крепким смолистым запахом. В положенный час пришли маленькие гости. Оставив в прихожей вместе с зимней одеждой стеснительность, детвора хлынула в комнату, наполнив ее веселым гулом голосов, таких же свежих, как запах хвои. А Владимир Ильич с видимым удовольствием наблюдал за этим весельем, отдыхая в спокойном кресле и наслаждаясь радостью шумной ребячьей компании, кипевшей вокруг елки.

Таким вырисовывается Владимир Ильич из рассказов родных и близких, из воспоминаний друзей и соратников, из статей тех советских работников и иностранцев, которым посчастливилось встречаться с ним, беседовать, слушать его выступления. Таким вот простым, как правда, и был Ленин, наш вождь, учитель и друг, память о котором каждый советский человек хранит в лучшем уголке своего сердца.

Г. М. Кржижановский, знавший Ленина с молодых лет и до последних дней его жизни, говорил: «Если вы спросите любого из нас, стариков, имевших счастье быть в непосредственном окружении Владимира Ильича, не было ли в нем каких-либо черт, которые могли бы быть изменены к лучшему, мы все ответим вам единодушно: вот уж когда всякое «лучшее» было бы врагом подлинно хорошего...»

СМЕРТЬ. БЕССМЕРТИЕ

Ленин умер, как солдат, на посту. До последнего дня жизни он живо интересовался материалами, которые помещались в «Правде» в связи с дискуссией, предшествовавшей XIII партийной конференции.

«Суббота и воскресенье (то есть 19 и 20 января.— *Б. П.*),— писала позднее Надежда Константиновна,— ушли у нас на чтение резолюций (XIII партконференции.— *Б. П.*). Слушал Владимир Ильич очень внимательно, задавая иногда вопросы».

Это может показаться невероятным — до последнего времени Владимир Ильич учился писать левой, непарализованной рукой.

Только полное поражение мозга прекратило эту настойчивую и нелегкую работу. Когда после смерти врачи произвели вскрытие, они, опытнейшие медики, были поражены — сосуды головного мозга оказались настолько обызвествленными, что целые участки его оставались лишенными питания. Врачи стояли потрясенные, не могли понять, как человек при таком глубоком поражении значительных частей мозга мог до последнего дня так глубоко и остро мыслить!

Гигантский мозг. Несокрушимая воля. Могущественнейший интеллект.

Ленин умер.

Траурные каймы опоясали газеты, извещавшие о том, что человечество понесло тяжелую утрату. По всей притихшей, как бы окаменевшей в материнском горе стране, по всему миру радио несло эту весть. Города и села одевались в траур, горе будто обугливало кумач знамен.

В час погребения по всей стране, в каждом советском городе, в каждом селе, на площадях замерли толпы народа. Облака морозного пара, клубясь, поднимались над ними. Остановился весь транспорт: паровозы в пути, трамваи, автомобили по дорогам,— в течение пяти минут ничто не двигалось, не шевелилось. Только заводские и паровозные гудки сопровождали гроб Ленина в Мавзолей. Никто не ощущал ни холода, ни острого ветра: хоронили не только вождя великой революции Владимира Ильича Ленина, хоронили верного друга всего угнетенного человечества.

Смерть не властна над таким человеком, как Ленин. Он продолжает жить в сердцах миллионов, в благород-

ных, верных сердцах, где образ его не только не померк, но год от года становится все живее, все ярче. Ленин продолжает быть учителем жизни для советских людей, для наших братьев — народов социалистических стран где восторжествовало учение ленинизма. Он продолжает жить в надеждах тружеников капиталистических и колониальных стран, борющихся за свою свободу.

Ленин продолжает жить в великих и славных делах Коммунистической партии, в коллективном руководстве ее ленинского Центрального Комитета, ведущего коммунистов и всех советских людей по ленинскому пути.

Он, Ленин, жив в несокрушимой монолитности всего нашего советского народа, который, в годы величайших испытаний теснее сплачиваясь вокруг основанной и выпестованной им партии, становится все крепче и закаленнее.

Живая, могучая ленинская мысль, запечатленная в его трудах, будет всегда освещать человечеству путь к светлому будущему.

Как драгоценный радий, она неиссякаемо излучает энергию созидания, эта энергия заряжает миллионы людей на свершения подвигов, на славные дела.

Жизнь Ленина навсегда останется примером для каждого коммуниста, для каждого революционера, для каждого, кто хочет, совершенствуя себя, приблизиться к идеалу человека коммунистической поры.

И нельзя дать юноше и девушке, входящим в жизнь, лучшего совета, чем совет изучать творчество Ленина, читать его книги, знакомиться с его жизнью, полной мерой черпать неиссякаемые идейные богатства, которые он оставил нам в трудах своих.

И сейчас мы говорим о нем, как о живом:

— Да здравствует Ленин!

Он живет и всегда будет жить в гигантском сердце трудящегося человечества.

1958—1967, 1981

КОММЕНТАРИИ

В пятый том вошли роман «На диком бреге» и биографическая повесть «Наш Ленин».

«На диком бреге». Роман (стр. 7).— Впервые — в журн. «Знамя», 1962, № 9—12. Первое книжное издание — М., «Советский писатель», 1963. История создания романа «На диком бреге», впоследствии прокомментированная автором в ряде статей и в книге «Самые памятные» (М., «Молодая гвардия», 1980, с. 342—348), связана с работой Бориса Полевого в конце сороковых — пятидесятых годов в качестве корреспондента «Правды». «После Нюрнберга репортерская работа носила меня из конца в конец по всей огромной стране... Разъезжая по новостройкам, фабрикам, заводам, я писал... о том, что видел и слышал в гуще послевоенного строительства» (Б. Полевой. После победного салюта.— Журн. «Вопросы литературы», 1967, № 8, с. 21—22). Он подолгу жил среди гидростроителей — на восстановлении Днепрогэса, на сооружении Братской, Цимлянской, Сталинградской ГЭС. «На основе газетных очерков, посвященных гидростроителям, я написал роман «На диком бреге» («Самые памятные», с. 348). Непосредственно над созданием романа Полевой работал более трех лет (1959—1962), но задумал его значительно раньше.

О начальном периоде работы над романом Полевой рассказывал: «Новые темы давались не просто. Так было и с романом «На диком бреге», который был задуман как книга *о важнейших свершениях на трудовом фронте* (курсив мой.— *Н. Ж.*). Это был очень нелегкий роман, я задумал его сразу же после войны, в беленькой хатке бакенщика на Днепре, где жил тогда наш замечательный гидростроитель, инженер Ф. Г. Логинов, руководящий восстановлением взорванного Днепрогэса... Я ездил с Днепра на Волгу, с Волги на Ангару, на Иртыш, на Енисей, а тема мне все не давалась. Были люди, образы, картины — не было темы» («После победного салюта».— Журн. «Вопросы литературы», 1967, № 8, с. 22).

Темой романа явилось изображение жизни людей, съехавшихся на строительство гигантской плотины, те острые нравственные проблемы, которые ставит перед ними действительность.

Полевой подчеркивает конкретно-документальное начало в развитии сюжета книги и характеров главных действующих лиц, отмечая и то обстоятельство, что реально существующих героев он свел в вымышленном городе Дивноярске: «...мне необходима была творческая свобода, чтобы показать мир сегодняшних строителей, мир очень сложный. Жизнь людей, первыми приезжающих на неосвоенные места — будь то стройка Сибири, поселок под Тюменью, палаточный городок на целинной земле,— полна не только бытовых трудностей. Она рождает и острые моральные проблемы, создает необычные ситуации, однако все это типично для наших дней, все это приметы бьющей ключом, пусть не гладкой, и нелегкой, но интересной жизни нашего современника» («Горизонты реальной фантазии».— Журн. «Литературное обозрение», 1974, № 5, с. 105).

Основные проблемы, возникающие на страницах книги аккумулируются в образе Федора Литвинова: перед читателем партийный и хозяйственный руководитель ленинского стиля, олицетворение идеалов писателя. Полевой, по его словам, не случайно выбрал для своего героя профессию строителя ГЭС — на взгляд автора, наиболее выразительную «среди массы разнообразных дел коммунистического созидания» («Созидатели морей». М., «Советская Россия», 1975, с. 5).

«В главном герое романа,— признавался писатель,— у меня как бы синтезировались три наших знаменитых строителя — Логинов, Наймушин и Бочкин. Познакомился я с ними в разные годы, но... все трое как бы сошлись в одном образе» («Самые памятные», с. 348).

При создании образа Федора Литвинова писатель использовал и свой жизненный опыт — работу плотогоном в период написания цикла очерков «Записки на плоту» и свои впечатления во время учебы на рабфаке в Твери (ныне г. Калинин).

Заметно портретное сходство Литвинова с другом комсомольской юности Полевого — Андреем Ефимовичем Бочкиным, а также общность их жизненных обстоятельств. О Бочкине в свое время автор писал: «...знаменитый гидростроитель, прошедший большой и нелегкий жизненный путь, отмеченный, как любил он выражаться, «шрамчиками, наложенными им на землю»,— плотинами, оросительными каналами, искусственными морями, человек, нелегко прошедший через войну, где ему довелось взорвать то, что было создано руками его и других гидростроителей...» («Самые памятные», с. 343).

Главным в романе стал именно тип характера человека — преобразователя, борца, в котором настоящее дело, по выражению писателя Юрия Германа, вызывает «аппетит к труду».

Критика оценила роман как значительное явление литературы 60-х годов.

«Роман сложного полифонического звучания, герои которого предстают перед нами в «пестром переплете» судеб и взаимоотношений, во всей широте и сложности жизненных связей,— писал критик В. Литвинов,— отразил характерную для советской литературы 50—60-х годов тенденцию — к «укрупнению» личного плана героя» («Талант в пути».— Журн. «Дружба народов», 1963, № 3, с. 273). «Требование исключительной нравственной чистоты отношений в труде, в семье, в быту, в любви; оно кровно связало сегодняшний день с коммунистическим завтра, поразительно реальным... на такой... передовой стройке, как «Оньстрой» (там же).

Ни одна из книг Полевого не вызвала столь оживленной дискуссии, как роман «На диком бреге». И ни один из его литературных героев не был столь разноречиво оценен читателем и критикой, как Федор Литвинов.

«Литвинов — «собрание идей», конгломерат позиций,— писала Л. Фоменко,— ему не хватает живой плоти» («Делу нет предела».— Журн. «Москва», 1963, № 3, с. 197). «Мероприятия», в которые Литвинов включен на стройке, лишь иллюстрируют этот характер, не давая читателям полнее соприкоснуться с его судьбой» (В. Панков. Берег дикий, берег людный.— «Литературная Россия», 1963, № 7, с. 18—19). В. Щербина находил, что образ Литвинова сходен с образом Алексея Мересьева. «Перед нами люди одного духовного склада»,— писал он («Две концепции времени».— Журн. «Знамя», 1964, № 6, с. 221—233).

Полемизируя с критиками, полагавшими, что «Старик» показан в романе Полевого, в основном, как апологет Дела, руководитель стройки, но не живая личность со своими страстями и ошибками, Б. Бялик писал: «...противопоставлять человека делу — это все равно, что противопоставлять общечеловеческое начало классовому, социальному, идеологическому: ...человек как личность искусственно отрывается от человека как члена общества, творца истории»... «Образ Литвинова пополнил и обогатил созданную советской литературой галерею характеров коммунистов, вожаков гигантских строек» («Литературная газета», 1964, 16 апреля).

«...Немного бы стоил образ Литвинова, оставаясь только «аккумулятором» проблем, возникших у других персонажей романа... Как раз в этом герое главная мысль романа и получила свою предметную, особо яркую конкретизацию. Через все испытания пронес Литвинов нерастраченной высокую человечность большевика, одного из первых строителей новой жизни» (В. Литвинов. Талант в пути.— Журн. «Дружба народов», 1963, № 3, с. 275).

Критика много места уделяла анализу просчетов нравственного поединка Литвинова — Петина.

Борис Полевой многократно подчеркивал, что Петин «не плод голого писательского воображения, но образ реальный и в то же время обобщенный, собирательный». «Петиных сколько хотите, и в литературе и в жизни. И, надо сказать,— преуспевают. Но... преуспевают до какого-то предела, потому что рано или поздно какой-нибудь мальчик скажет: «А король-то голый». И позабудут этого короля» (газ. «Молодость Латвии», Рига, 1975, 1 мая). Позиция писателя выражена в упоминавшейся статье: «...одним из слагаемых победы романтиков...— «должна быть нетерпимая борьба с петиными». И одну из существенных задач романа он видел в том, чтобы воссоздать жизненный конфликт времени в нравственном поединке «большевистских душ с возродившейся после войны породой холодных чиновников, конъюнктурщиков, обретавших на очередном этапе силу. Этаких головоногих людей, одетых в непробиваемый панцирь из всяческих звонких и высоких слов, но с жалкой, мещанской, себялюбивой душонкой» («После победного салюта».— Журн. «Вопросы литературы», 1967, № 8, с. 22—23).

Критика 60-х годов писала о Петине как о художественном открытии Полевым-романистом типа современного «антигероя», отмечала, что Полевому удался «достоверный портрет морального приспособленца» (В. Панков. Носители света.— «Литературная газета», 1964, 18 января); что этот «знакомый незнакомец», словно хамелеон, меняющий убеждения, взгляды, друзей,— опасное общественное явление.

Однако «условия поединка», неоправданные моральные компромиссы Литвинова (финальная сцена романа) вызвали упреки, о чем говорилось в статьях Л. Фоменко, В. Литвинова и др. (См. также: Н. Железнова. Настоящие люди Бориса Полевого. М., «Советский писатель», 1978, с. 238—241.)

В критических отзывах на роман отмечалась также неровность художественного стиля: «Есть в романе страницы, смущающие не то что публицистической перенасыщенностью... а тем, что автор как бы подменяет «беллетристический», «романный» метод исследования действительности методом очерковым, публицистическим комментарием» (В. Литвинов. Талант в пути.— Журн. «Дружба народов», 1963, № 3, с. 276).

Обсуждались также достоинства и просчеты композиции: «Рядом с сильными неповторимыми картинами, с самобытными образами соседствуют избитые положения, много раз повторяющиеся эпизоды... Здесь талант Полевого уступил место пустому описательству» (Л. Фоменко. Делу нет предела.— Журн. «Москва»,

1963, № 3, с. 196). Роман ...несколько грузнеет от обилия фактов, событий, людей. Сюжет порой начинает делать зигзаги, отклоняясь от главной магистрали. Но затем нити вновь стягиваются в один узел, и темп повествования начинает набирать скорость» (Г. Ломидзе. Сила реализма (Заметки о современной прозе).— Журн. «Вопросы литературы», 1963, № 5, с. 61).

О наиболее запомнившихся читательских конференциях по этой книге Б. Полевой рассказал в книге «Саянские записи» (М., «Советская Россия», 1964, с. 51). «На таких вот встречах... на месте действия твоей книги начинаешь вдруг ощущать огромную созидательную силу нашей литературы и ответственность, которую ты несешь перед читателем» (там же, с. 46—47).

Размышляя над вопросом одного из читателей «...как возникают литературные герои? Ведь не может же что-нибудь возникнуть из ничего...» (там же), писатель раскрывает перед читательской аудиторией «секреты» биографий многих героев романа!

Вот пример: «...На Дону в еще неясный авторский замысел вплелась смешная подслеповатая москвичка Валя, которая в жизни, при скромной своей профессии библиотекаря, сумела сделаться на стройке наинужнейшим человеком!» (В романе — секретарь Литвинова — Валя.) И еще: «Над огромными котлованами, рассекавшими заволжскую степь, где когда-то была столица Батыя город Сарай, гремели по диспетчерскому радио остроты и шутки любимицы строительного района» — в романе это Мурка.

Читатели спрашивали Полевого: «Старик — это наш дед, Андрей Ефимович Бочкин?»; «...Остался ли жив ребенок Мурки и где сейчас Петрович? Не скажете ли его адрес, хочется ему написать...». А однажды Полевому, жившему тогда на строительстве Красноярской ГЭС, пришло письмо со следующим адресом: «Тайга, Сибирь, город Дивноярск на реке Онь, на Диком бреге, Борису Полевому». «Я долго вертел его в руках,— много лет спустя признавался писатель.— Нет на карте Сибири реки Онь. Нет города Дивноярска в тайге. Нет, разумеется, и почтового отделения, именуемого Дикий брег. Все это из последнего моего романа... И все же ... письмо, опущенное в городе Любече Черниговской области ... догнало и нашло меня ... именно на Диком бреге ..., Енисея» («Созидатели морей», с. 114).

Роман «На диком бреге» неоднократно переиздавался в СССР, был встречен с интересом и за рубежом. Так, Андре Вюрсмер указывал на «...правдивость и широту охвата Полевым жизни советских людей, многообразие и сложность духовного мира персонажей, удачные жанровые сцены», умение писателя нарисовать пейзаж «одним точным карандашным штрихом». А Андре Стиль в «Юманите» (1965, 2 декабря) писал: «Портреты, чувства, иск-

ренне очерченные, хотя иногда и несколько прямолинейно ... переданы так, чтобы найти признание и резонанс». И далее: «Строгий стиль Полевого, его бесхитростные конструкции — отныне самые классические средства романа». (Цитирую по статье В. Соколова «О человеке, строящем коммунизм». [Отклики во Франции на роман Полевого «На диком бреге»].— «Нева», 1966, № 12, с. 181—182.)

По роману Б. Полевого «На диком бреге» под одноименным названием были созданы исценировка (С. Радзинского) и кинофильм (студия «Мосфильм». Авторы сценария — Г. Капралов, И. Дворецкий, А. Граник. Роль Литвинова исполнил артист Борис Андреев). Как и роман, отмечалось в прессе, фильм «подчеркнуто социален» (Н. Лейкин.— «Литературная Россия», 1964, 17 июля).

«Наш Ленин». Биографическая повесть (стр. 557).— Впервые — М., Детгиз, 1961.

Первое издание книги «Наш Ленин»— текст Бориса Полевого, рисунки народного художника СССР Николая Жукова — предназначалось для юных читателей. Здесь рисунки и текст как бы слились воедино в попытке воссоздать образ В. И. Ленина — вождя и человека. И на титульном листе книги закономерно стоят две фамилии — писателя и художника. Здесь они соавторы. Б. Полевой в обращении к «читателю этой книги» писал: «рисунки в нашей книге не иллюстративный, а самостоятельный художественный материал. И если автор текста, рассказывая о Ленине, не придерживался хронологической канвы, автор рисунков постарался показать дорогой образ последовательно, с тех лет, когда Володя Ульянов был гимназистом, до дней, когда Владимир Ильич Ленин стал руководителем первого в мире государства трудящихся, признанным вождем мирового пролетариата». Впоследствии, при доработке повести для взрослого читателя, текст стал печататься без рисунков, но при каждом новом переиздании Б. Полевой возвращался к тексту, уточнял и дополнял его.

Как отмечалось в откликах (Е. Рябчиков. Рассказ о настоящем человеке.—«Литературная Россия», 1964, 25 июня; М. Прилежаева. Таким был Ленин.— «Правда», 1965, 25 декабря; А. Аренштейн. Таким он был.— «Литературная Россия», 1967, 7 июля), авторам удалось подчеркнуть главные черты вождя революции, высветлить ленинский талант трудиться, удалось создать яркий образ человека, «...встающего,— по словам Полевого,— из дел своих, как овеянный легендами сказочный богатырь» и «простого как правда».

Повесть выдержала более десяти изданий на русском языке

и языках народов СССР, включалась автором в «Избранные произведения» в двух томах (М., «Художественная литература», 1969, т. 1) в авторский сборник «Биографические повести» (М., «Советский писатель», 1977, с. 35). Для Собрания сочинений повесть заново просмотрена и значительно доработана.

Стр. 560. *В конце 1917 года... Ленин начал писать статью «Как организовать соревнование?».*— Статья написана 24—27 декабря 1917 года (6—9 января 1918 года). Впервые напечатана 20 января 1929 года в газете «Правда», № 17. (См.: В. И. Ленин. Т. 35, с. 195—205. Здесь и далее ссылки даются на Полное собрание сочинений В. И. Ленина, издание пятое).

Ленин... откликнулся статьей «Великий почин (О героизме рабочих в тылу. По поводу «коммунистических субботников»)».— (См.: В. И. Ленин. Т. 39, с. 1—29).

Стр. 564. *Здесь Владимир Ильич не только выступал, но и подолгу беседовал с рабочими...*— В. И. Ленин был бессменным депутатом в Моссовете от рабочих Трехгорной мануфактуры.

Стр. 568. *У нас один выход: победа или смерть.*— Заключительная фраза В. И. Ленина из речи «Две власти» на заводе бывш. Михельсона 30 августа 1918 года. Впервые опубликована: «Известия ВЦИК», 1 сентября 1918 года (См.: В. И. Ленин. Т. 37, с. 85).

Стр. 572. *...следить специально за этим делом, вызывая Острякова и говоря по телефону с Нижним.*— По заданию В. И. Ленина в Нижегородской радиолаборатории, возглавлявшейся с 1918 года по 1928 год Михаилом Александровичем Бонч-Бруевичем, была спроектирована и в 1922 году построена в Москве самая мощная в мире радиовещательная станция им. Коминтерна.

Стр. 583. *Летом, когда вся семья переезжала на хутор... близ деревни Алакаевки...*— Алакаевка — деревня в 50 верстах от г. Самары (ныне Куйбышев), близ которой Мария Александровна приобрела хутор, где в 1889—1893 годах семья Ульяновых жила каждое лето.

Стр. 589. *Рассказ этот записал с его слов...*— Запись сделана Борисом Полевым при личной встрече с Альбертом Рисом Вильямсом в 1959 году в Москве, в его последний приезд в Советский Союз.

Стр. 590. *Я впервые увидел Ленина в огромном зале Смольного... в ту ночь, когда загрохотали пушки «Авроры»...*— Вильямс допустил ошибку: на первом заседании II съезда Советов, «когда загрохотали пушки «Авроры», В. И. Ленин не присутствовал. Написанное им воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам» огласил на этом заседании А. В. Луначарский. Не присутствовал

на нем, по-видимому, и Вильямс, так как участвовал в штурме Зимнего дворца. Все, описанное Вильямсом, относится ко второму заседанию съезда 26 октября (8 ноября), на котором В. И. Ленин сделал доклады о мире и о земле. Написанные им проекты соответствующих декретов были приняты съездом. На этом же заседании было сформировано первое рабоче-крестьянское правительство — Совет Народных Комиссаров во главе с председателем СНК В. И. Ульяновым (Лениным).

Стр. 597. *После одного домашнего концерта...* — 20 октября 1920 года Добровейн играл для В. И. Ленина в доме у Е. П. Пешковой концерт-программу, в том числе сонату Л. ван Бетховена «Аппассионату».

Стр. 604. *«Никогда, никогда коммунары не станут рабами»* — строка из стихотворения В. Князева (1877—1937 или 1938) «Клятва коммунаров» («Песня коммуны»). По свидетельству Н. К. Крупской, стихи Князева нравились Ленину.

Н. Железнова

СОДЕРЖАНИЕ

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
ПОЛЕВОЙ

Собрание сочинений

Том пятый

Редактор **З. Батурина**

Художественный редактор
Е. Енейко

Технический редактор
Т. Фатюхина

Корректор
Л. Лобанова

ИБ № 2438

Сдано в набор 22.04.82. Подписано в печать 19.01.83. А-07912. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 32,76. Усл. кр.-отт. 32,76. Уч.-изд. л. 35,31. Заказ № 175. Изд. № III – 402. Тираж 100 000 экз. Цена 2 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва. Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052. г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.

